

СТАНИСЛАВ

ЛЕМ



S T A N I S Ł A W

L E M

DZIEŁA ZEBRANE

СТАНИСЛАВ
ЛЕЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ ВОСЬМОЙ



ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

повесть

ОСМОТР НА МЕСТЕ

роман

ПЬЕСЫ О ПРОФЕССОРЕ
ТАРАНТОГЕ

84.4П

Л44

**Издание подготовлено совместно
с литературно-издательской студией «РИФ»**

Художник Владимир Галиев

Ответственный редактор Александр Мирер

**Л 4703010100 - 039 подп.
94**

ISBN 5-87106-061-07

© С. Лем, 1963, 1971, 1979, 1982

© «Текст», 1994

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ИЙОНА ТИХОГО

повесть



Восьмой Всемирный футурологический конгресс открылся в Костарикане. По правде говоря, я не поехал бы в Нунас, если бы не профессор Тарантога: он дал мне понять, что там на меня рассчитывают. Еще он сказал (и это меня задело), что астронавтика стала, в сущности, бегством от земных передряг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в Галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствие. И в самом деле, возвращаясь из путешествий, особенно в прежние годы, я с тревогой выискивал в иллюминаторе Землю — не уподобилась ли она печеной картофелине. Поэтому я не очень-то сопротивлялся, а только заметил, что не разбираюсь в футурологии. И в насосах мало кто разбирается, возразил Тарантога, однако все мы кидаемся к помпам, услышав: «Течь в трюме!»

Правление Футурологического общества выбрало Костарикану потому, что темой конгресса был демографический взрыв и меры борьбы с ним, а Костарикане принадлежит мировой рекорд по темпам роста населения; предполагалось, что это удвоит эффективность нашей работы. Правда, злые языки называли иную причину: в Нунасе наполовину пустовал новый отель корпорации «Хилтон», между тем на конгресс, кроме самих футурологов, ожидалось столько же журналистов. Теперь, когда от отеля не осталось камня на камне, я, не боясь обвинений в рекламных захваливаниях, могу со спокойной совестью утверждать: «Хилтон» был превосходен. Моя оценка имеет особый вес, ведь по натуре я сибарит, и

Kongres futurologiczny, 1971

© Константин Душенко, перевод, 1987, 1994

лишь чувство долга иногда заставляло меня предпочесть комфорт каторжный труд астронавта.

Над плоским пятиэтажным цоколем костариканского «Хилтона» возвышались еще сто шесть этажей. На крышах уступов здания размещались теннисные корты, бассейны, солярии, дорожки для картинга, карусели, служившие одновременно рулетками, тир (где можно было стрелять по манекенам, изображавшим кого угодно, на выбор, — спецзаказы выполнялись в течение суток), а также раковина открытой эстрады с установками для опрыскивания слушателей слезоточивым газом. Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило — например, трехметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. На яشمовой стене ванной, рядом с полотенцами, висел моток настоящей альпинистской веревки, а вставляя ключ в дверной английский замок, я заметил небольшую табличку: «Дирекция гарантирует, что в этом номере БОМБ нет».

Теперь, как известно, ученые делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего ученого легко распознать: на груди у него карточка с фамилией и ученой степенью, в кармане ² расписание авиарейсов; подтяжки у него без металлических пряжек, портфель — на пластмассовой защелке, а то, чего доброго, завоет сирена устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольтов. Научную литературу такой ученый читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах. По понятным причинам я был не в курсе последних достижений земной культуры и спровоцировал сигналы тревоги в аэропортах Бангкока, Афин и самого Нунаса, а все потому, что во рту у меня шесть стальных коронок. В Нунасе я хотел заменить их фарфоровыми; увы, непредвиденные события этому помешали. А насчет сухарей, прута, веревки и маскхалата один из футурологов-американцев снисходительно разъяснил мне, что гостиничное дело в нашу эпоху требует неведомых ранее мер безопасности. Каждый такой предмет повышает выживаемость постояльца. На эти слова я, по легкомыслию, должного внимания не обратил.

Заседание было назначено на вторую половину дня, и уже утром мы получили полный комплект материалов конгресса — превосходно изданных и со множеством приложений. Особенно радовали глаз отрывные купоны из глянцевого

плотной бумаги со штампом «Копуляционный талон». Научные конференции тоже пострадали от демографического взрыва; популяция футурологов растет столь же быстро, как и все человечество, так что конгрессы проходят в сутолоке и спешке. О чтении докладов с трибуны и речи быть не может, знакомиться с ними нужно заранее. Утром, однако, было не до того, поскольку хозяева пригласили нас на коктейль. Эта скромная церемония обошлась почти без приключений, только делегацию США забросали тухлыми помидорами. Не успел я поднять бокал, как Джим Стэнтон, знакомый журналист из ЮПИ, сообщил, что на рассвете похищены консул и третий атташе американского посольства в Коста-Рике. В обмен на дипломатов похитители-экстремисты требовали освободить политзаключенных, а пока, чтобы подчеркнуть весомость своего ультиматума, присылали в посольство зубы заложников, один за другим, грозя эскалацией насилия. Впрочем, этот инцидент не нарушил дружественной атмосферы приема. Присутствовал лично посол США, произнесший спич о необходимости сотрудничества между народами; правда, выступал он под охраной шести плечистых парней в штатском, которые держали нас на мушке. Мне, признаюсь, стало как-то не по себе, а тут еще, на беду, стоявший рядом темнокожий делегат Индии, которого мучил насморк, полез в карман за платком. Как впоследствии убеждал меня пресс-секретарь Футурологического общества, примененные средства были необходимыми и гуманными. Охрана вооружена автоматами большого калибра, но малой пробойной силы, такими же, как у охраны пассажирских самолетов, и посторонние ничем не рискуют — не то что раньше, когда пуля, уложив террориста, прошивала еще пять-шесть ни в чем не повинных людей. И все же не слишком приятно, когда сосед, изрешеченный пулями, падает к вашим ногам, даже если это обычное недоразумение, которое исчерпывается путем обмена дипломатическими нотами.

Впрочем, вместо того чтобы рассуждать о гуманной баллистике, мне следовало бы объяснить, почему я так и не успел просмотреть материалы конгресса. Во-первых (подробность малоприятная), пришлось спешно менять окровавленную рубашку; к тому же завтракал я, вопреки обыкновению, не у себя, а в гостиничном баре. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель целехонькими, с нерастекшимся желтком, пока не построена. Дело тут, разумеется, в непрерывном разрастании столичных отелей. Если от кухни до номера полторы мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слы-

шал, эксперты «Хилтона», занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт, но sonic boom — грохот при прохождении звукового барьера — в замкнутом пространстве отеля привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах автокельнер варил бы в мешочек, но откуда недалеко и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар.

Девяносто пять процентов обитателей гостиниц составляют ныне участники конференций и съездов. Гость-одиночка, турист-индивидуалист без опознавательной карточки на лацкане и без портфеля, распухшего от ученых бумаг, стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим конгрессом в Коста-Рике проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры», конгресс Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, а также Общества филуменистов. Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера, но мне, в знак особого уважения, дирекция выделила апартаменты на сотом этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с женским оркестром, исполнявшим концерты Баха; попутно оркестрантки совершали коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы и обойтись; к сожалению, свободных номеров уже не было — пришлось довольствоваться тем, что дают. Едва я уселся в баре, как широкоплечий курчавобородый сосед (по его бороде я мог, не хуже чем по меню, прочитать, что он ел на прошлой неделе) сунул мне прямо в нос массивную, с окованным прикладом, двустволку и, радостно гогоча, осведомился, какого я мнения о его папинтовке. Я не понял, о чем он, но предпочел не показывать виду. Молчание — лучшая тактика при случайных знакомствах. И правда, он тут же с готовностью объяснил, что скорострельный двуствольный штуцер с лазерным прицелом — идеальное оружие для охоты на папу римского. Болтая без удержу, он достал из кармана памятку карточку; на снимке он изготовился к выстрелу — мишенью служил манекен в круглой шапочке, какие носят кардиналы и папы. Бородач, по его словам, как раз достиг своей лучшей формы и отправлялся в Рим на церковные торжества, чтобы застрелить Его святейшество на площади Святого Петра. Я несколько ему не поверил, но он, не умолкая ни на минуту, показал мне: авиабилет, карманный трезник и памятку для американских паломников, а также пачку патронов с крестообразной головкой. Из экономии билет он взял лишь в одну сторону, не сомневаясь, что разъяренные пилигримы растерзают его на

куски. Мысль об этом, похоже, приводила его в превосходное расположение духа.

Сперва я решил, что передо мною маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, каких в наше время хватает. Ничуть не бывало! Захлебываясь словами и поминутно сползая с высокого табурета — ибо его двустволка то и дело падала на пол, — он объяснял мне, что сам-то он истовый, правоверный католик; тем большей жертвой будет с его стороны эта операция («операция П», как он ее называл). Нужно взбудоражить совесть планеты, а что взбудоражит ее сильнее, чем поступок столь ужасающий? Он, мол, сделает то же, что Авраам, согласно Писанию, хотел сделать с Исааком, только наоборот: не сына ухлопает, а отца, к тому же святого, и явит тем самым пример высочайшего самоотречения, на какое только способен христианин. Тело он обречет на казнь, душу — на вечные муки, а все для того, чтоб открыть глаза человечеству. «Ну, ну, — подумал я, — не многовато ли развелось желающих открыть нам глаза?» Его филиппика не убедила меня, и я пошел спасать папу, то есть сообщить кому-нибудь об «операции П»; но Стэнтор, который встретился мне в баре на семьдесят седьмом этаже, даже не выслушал меня до конца и, в свою очередь, рассказал мне, что в подарках, преподнесенных недавно Адриану XI делегацией американских католиков, оказались две бомбы с часовым механизмом и бочонок, наполненный не вином для причастия, а нитроглицерином. Равнодушие Стэнтора стало понятнее, когда я узнал, что экстремисты прислали в посольство уже целую ногу — неизвестно лишь чью. Впрочем, его позвали к телефону, и наша беседа оборвалась; кажется, на Авенида Романа кто-то поджег себя в знак протеста.

В баре на семьдесят седьмом этаже атмосфера царил совершенно иная, нежели у меня наверху. Здесь было полно босоногих девиц в сетчатых блузках до пояса, некоторые — при шпагах; у многих косички прикреплялись, по самой последней моде, к медальону на шее или к обручу, утыканному гвоздиками. Кто они были, филуменистки или секретарши Освобожденных Издателей, не знаю; судя по цветным фотографиям, которые они разглядывали, речь, скорее, шла об Освобожденной Литературе. Я спустился на девять этажей ниже, к своим футурологам, и в очередном баре пропустил рюмку с Альфонсом Мовеном из агентства Франс Пресс. В последний раз попытался я спасти папу, но Мовен, выслушав меня со стойческой выдержкой, только промывчал, что месяц назад какой-то пилигрим-австралиец уже стрелял в Ватикане, хотя и с совершенно иных позиций. Мовен рассчитывал

на интересное интервью с неким Мануэлем Пирульо, которого разыскивали ФБР, Сюрте, Интерпол и десяток других полицейских служб. Этот субъект основал фирму услуг нового типа, выступая в роли эксперта по покушениям с применением взрывчатых веществ (отсюда его псевдоним «Бомбардир»), и прямо-таки козырял своей безыдейностью. Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде кружевной ночной рубашки, продырявленной автоматными очередями, — как выяснилось, связанная экстремистов; ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру. На прощанье Мовен вручил мне рекламную листовку Пирульо. Настала пора, говорилось в ней, покончить с эскападами безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от мелинита, а гремучую ртуть — от бикфордова шнура; в эпоху узкой специализации нелепо кустарничать, пренебрегая помощью добросовестных и квалифицированных специалистов. На обороте помещался ценник услуг в валюте наиболее развитых стран.

Профессор Машкенази вбежал, когда футурологи начали стекаться в бар, бледный как смерть; его бил нервная дрожь. Он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал: «В укрытие!» — и нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь розыгрыш: в коробку из-под печенья кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. Шутник, похоже, был англичанином, они обожают такие practical jokes*. Впрочем, инцидент тут же предали забвению, ибо явились Дж. Стэнтор и Дж. Г. Хаулер, репортеры ЮПИ, с текстом ноты правительства США относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на обычном дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо. Джим сказал, что правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас склоняется к мнению «ястребов» — на насилие ответить насилием. На заседании (правительство заседало непрерывно) было предложено нанести контрудар, то есть вырвать у политзаключенных, выдачи которых требуют экстремисты, по два зуба за зуб и — поскольку адрес их штаб-квартиры неизвестен — послать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске «Нью-Йорк Таймс» обозреватель газеты Сульцбергер взывал к человеческому разуму и солидарности. Стэнтор под большим секретом сообщил мне, что Диас конфисковал принадлежа-

* Розыгрыши (англ.)

щий правительству США поезд с военным снаряжением; он шел транзитом через Костарику в Перу. Экстремисты еще не напали на мысль похищать футурологов, что с их точки зрения было бы вовсе не глупо, ведь в тот момент футурологов в Костарике насчитывалось больше, чем дипломатов. Впрочем, стоэтажный отель — организм до того огромный и столь комфортабельно изолированный от всего света, что вести извне доходят сюда, словно с другого полушария. Пока что футурологи не проявляли ни малейших признаков паники; никто не штурмовал бюро путешествий отеля — желающих немедленно вылететь в Штаты или другую страну было не больше обычного.

На два часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю пижаму; итак, я поехал к себе, а потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж, в Пурпурный зал. В фойе меня встретили две прелестные девушки в одних шароварах (их бюсты были расписаны незабудками и подснежниками) и вручили сверкающий глянец проспекта. Не взглянув на него, я вошел в пустой еще зал; при виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не потому, что они ломились от яств, нет — шокировали формы всех закусок без исключения; даже салаты имели вид гениталиев. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые глазу динамики грянули популярный в определенных кругах шлягер: «Лишь кретины и каналии ненавидят гениталии, нынче всюду стало модно славить орган детородный!» Появились первые гости, густобородые и пышноусые, впрочем, люди все молодые, в пижамах или без оных; а когда шестеро официантов внесли торт, то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров мне стало окончательно ясно: я ошибся этажом и попал на банкет Освобожденной Литературы. Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, чтобы перевести дух в подобающем месте; Пурпурный зал (а не Розовый, куда меня занесло) был уже полон.

Разочарование, вызванное неприятной обстановкой приема, я, насколько мог, скрыл. Горячих блюд не было, к тому же из огромного зала убрали все кресла и стулья, дабы гости питались стоя. Пришлось проявить необходимую в таких случаях ловкость, чтобы пробраться к тарелкам с наиболее существенным содержимым. Сеньор Кильоне, представитель костариканской секции Футурологического общества, очаровательно улыбаясь, разъяснял неуместность кулинарных излишеств: ведь темой дискуссии будет, в частности,

грозящая миру голодная катастрофа. Нашлись, разумеется, скептики, утверждавшие, что обществу просто урезали дотации, отсюда и бережливость устроителей. Журналисты, по роду занятий вынужденные поститься, шныряли по залу в поисках интервью со светилами зарубежной прогностики; вместо посла США прибыл всего лишь третий секретарь посольства, с мощной охраной, один во всем зале — в смокинге (бронированный жилет трудно укрыть под пиджамой). Гостей из города, как я слышал, подвергали досмотру, и в холле будто бы уже высились горы изъятого оружия.

Первое заседание было назначено на пять вечера, оставалось достаточно времени, чтоб отдохнуть, и я снова отправился на сотый этаж. После пересоленных салатов хотелось пить, но баром моего этажа прочно овладели динамитчики и бунтари со своими девицами, я же был сыт по горло беседой с бородатым папистом (или антипапистом). Пришлось ограничиться водой из-под крана. Не успел я допить стакан, как в ванной и обеих комнатах погас свет, а телефон, какой бы номер я ни набирал, упорно связывал меня с автоматом, рассказывающим сказку о Золушке. Спуститься на лифте не удалось — он тоже вышел из строя. Из бара доносилось хоровое пение молодых бунтарей; те уже стреляли в такт музыке, хотелось бы думать, что мимо. Подобные вещи случаются и в первоклассных отелях, хотя утешительного тут мало; но что удивило меня больше всего, так это моя собственная реакция. Настроение, довольно скверное после беседы с папским стрелком, улучшалось с каждой секундой. Пробираясь на ощупь и опрокидывая при этом стулья, я только кротко улыбался в темноту, и даже колено, разбитое в кровь о чемоданы, ничуть не уменьшило моей благосклонности ко всему на свете. Нащупав на ночном столике остатки второго завтрака, который я заказал в номер, я вырвал из программы конгресса листок, свернул его, воткнул в кружок масла и зажег. Получилась коптящая, правда, но все-таки плошка; при ее мерцающем свете я уселся в кресло. У меня оставалось два с лишним часа свободного времени, включая часовую прогулку по лестнице, ведь лифт не работал. Мое душевное состояние претерпевало странные метаморфозы; я следил за ними с живым интересом. Мне было на редкость весело, просто чудесно! Я с ходу мог бы привести массу доводов в защиту всего, что со мною случилось. Мне было ясно как дважды два, что номер «Хилтона», погруженный в кромешную тьму, в чаду и копоти от масляной плошки, отрезанный от остального мира, с телефоном, рассказывающим сказки, — одно из приятнейших мест на свете. К тому же мне страшно хотелось

погладить кого-нибудь по голове, на худой конец пожать кому-нибудь руку — и чтобы при этом мы проникновенно заглянули друг другу в глаза.

Я в обе щеки расцеловал бы злейшего врага. Расплывшееся масло шипело, дымило, и плошка поминутно гасла; то, что «масло» рифмуется с «погасло», вызвало у меня прямо-таки пароксизм смеха, хотя как раз в эту минуту я обжег себе пальцы, пытаясь снова зажечь бумажный фитиль. Самодельный светильник едва теплился, а я мурлыкал себе под нос арии из старых оперетт, не замечая, что от чада першит в горле и слезы струятся из воспаленных глаз. Вставая, я упал и ударился лбом о чемодан, но шишка величиной с яйцо лишь улучшила мое настроение, насколько это было еще возможно. Почти удушенный едким, вонючим дымом, я прямо-таки покатывался со смеху в приступе беспричинной восторженности. Потом лег на кровать, не застеленную с утра, хотя было далеко за полдень; о нерадивой прислуге я думал как о собственных детях: кроме ласковых уменьшительных прозвищ и нежных словечек, ничего не приходило мне в голову. А если я задохнусь? Ну что ж — о такой милой, забавной смерти можно только мечтать. Эта мысль, совершенно чуждая моему душевному складу, подействовала на меня, как ушат холодной воды. Мое сознание удивительным образом расщепилось. В нем по-прежнему царила тихая умиротворенность, безграничное дружелюбие ко всему на свете, а руки до такой степени рвались погладить кого ни попадая, что за отсутствием посторонних я принялся бережно гладить по щекам и с нежностью потягивать за уши себя самого; кроме того, я несколько раз подавал левую руку правой — для крепкого рукопожатия. Даже ноги тянулись кого-нибудь приласкать. Но где-то в глубине сознания вспыхивали сигналы тревоги. «Здесь что-то не так, — кричал во мне приглушенный, далекий голос, — смотри, Ййон, в оба, берегись! Благодушные твои подозрительно! Ну, давай же, смелее, вперед! Не сиди развалившись, как Онассис какой-нибудь, весь в слезах от дыма и копоти, с лиловой шишкой на лбу, одурманенный альтруизмом! Не иначе это какой-то подвох!» Тем не менее я и пальцем не шевельнул. В горле у меня пересохло, а сердце колотилось как бешеное — не иначе как от нахлынувшей на меня вселенской любви. Я побрел в ванную, изнемогая от жажды; вспомнил о пересоленном салате, которым потчевали нас на банкете (если шведский стол можно назвать банкетом); потом представил себе для пробы господ Я.В., Г.К.М., М.В. и других моих злейших врагов и понял, что желаю лишь одного: братски пожать им руки, сердечно

расцеловать и обменяться парой дружеских слов. Это уж было слишком. Я застыл, держа одну руку на никелированном кране, а другой сжимая пустой стакан. Затем медленно набрал воды и, скривив лицо в какой-то странной гримасе — в зеркале я видел борьбу различных выражений собственного лица, — выплеснул воду в раковину.

ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да. После нее все и началось. Что-то такое в ней было! Яд? Но разве бывает яд, который... А впрочем, минутку... Ведь я — постоянный подписчик научных журналов и недавно читал в «Сайенс ньюс» о новых психотропных средствах из группы так называемых *бенигнаторов* (умилителей). Они вызывают беспричинное ликование и благодущие. Ну конечно! Эта заметка стояла у меня перед глазами. Гедонидол, филантропин, любинил, эйфоризол, фелицитол, альтруизан и тьма-тьмушная производных! Одновременно, путем замещения гидроксильных соединений амидными, из тех же веществ были синтезированы фуриазол, садистизин, агрессив, депрессин, амокомин и прочие препараты *биологической* группы; они побуждают избивать и tyrannize все подряд, вплоть до неодушевленных предметов; особенно славятся врубинал и зубодробин.

Зазвонил телефон, и тут же включился свет. Голос портъе торжественно и подобострастно приносил извинения за аварию. Я открыл дверь в коридор и проветрил номер — в гостинице, насколько я мог понять, царило спокойствие; потом, все еще в блаженном угаре, обуреваемый желанием благословлять и осыпать ласками, закрыл дверь на защелку, сел посреди комнаты и попытался привести себя в чувство. Очень трудно описать мое состояние. Любая трезвая мысль словно увязала в меду, барахталась в гоголе-моголе глуповатого благодущия, утопала в сиропе возвышенных чувств, сознание погружалось в сладчайшую из трясин, захлебывалось жидкой глазурью и розовым маслом; я через силу заставлял себя думать о том, что для меня всего омерзительнее — о борода-том головорезе с противоположной двустволкой, о разнузданных пропагандистах Освобожденной Литературы и их вавилоно-содомском пиршестве, снова о господах Я.В., Г.К.М., М.В. и прочих прохвостах и негодях, — и с ужасом убедился, что всех я люблю, всем все прощаю; мало того, немедленно приходили на ум аргументы, извиняющие любое зло и любую мерзость. Могучая волна любви к ближнему захлестнула меня; но особенно донимали меня ощущения, которые лучше всего, пожалуй, назвать «позывом к добру». Вместо того чтобы размышлять о психотропных ядах, я упорно думал о сиротах и вдовах: с каким наслаждением я утешил бы

их! Как непростительно мало внимания уделял я им до сих пор! А голодные, а убогие, а больные, а нищие — Боже праведный! Неожиданно я обнаружил, что стою на коленях перед чемоданом и выбрасываю его содержимое на пол в поисках вещей поприличнее — для неимущих.

И опять в подсознании зазвучали далекие голоса тревоги. «Берегись! Не дай себя заморочить! Борись, бей, спасайся!» — донесся откуда-то слабый, но отчаянный крик. Я буквально раздваивался. Я до того проникся кантовским категорическим императивом, что не обидел бы даже мухи. Какая жалость, что в «Хилтоне» нет мышей или хоть пауков, — я бы их пригрел, приласкал! Мухи, клопы, комары, крысы, вши — голубчики вы мои! Я торопливо благословил стол, лампу и собственные ноги. Но рассудок уже возвращался ко мне; не теряя времени, я ударил левым кулаком по правой руке, раздававшей благословения, и взвыл от боли. Да, это было недурно! Это, пожалуй, могло бы меня спасти! На мое счастье, позыв к добру был направлен не внутрь, а наружу: ближнему я желал несравненно лучшей участи, нежели себе самому. Для начала я несколько раз заехал себе по физиономии, да так, что захрустел позвоночник, а из глаз посыпались искры. Отлично, так вот и надо! Когда лицо совсем онемело, я принялся за лодыжки. Ботинки у меня, слава Богу, были тяжелые, с чертовски твердой подошвой; после серии жестоких пинков мне стало немного лучше, то есть хуже. Я осторожно попробовал представить себе тумак в спину Г.К.М. Теперь это уже не казалось абсолютно невозможным. Щиколотки обеих ног нестерпимо болели, но, должно быть, как раз поэтому я смог вообразить даже пинок, адресованный М.В. Не обращая внимания на острую боль, я продолжал себя истязать. Тут годился любой остроконечный предмет; сперва я орудовал вилкой, а после булавкой, извлеченной из новой, ни разу не надеванной рубашки. Впрочем, мое настроение менялось не плавно, а с перепадами; чуть позже я снова был готов взойти на костер ради ближнего, с новой силой прорвался во мне гейзер благородных порывов и жертвенного экстаза. Сомневаться не приходилось: ЧТО-ТО БЫЛО В ВОДЕ ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да!!! В моем чемодане давно валялась непочатая упаковка снотворного. Оно приводило меня в злое и мрачное расположение духа, поэтому я им и не пользовался; хорошо, хоть не выбросил. Проглотив таблетку, я заел ее почерневшим маслом (воды я страшился как дьявола), затолкал себе в рот две кофеиновые пастилки, чтоб не уснуть, сел и со страхом — но и с любовью к ближнему — стал ожидать исхода химической битвы в своем организме. Любовь еще насильовала меня, я

чувствовал себя умиротворенным, как никогда. Все же препараты зла начали превозмогать химикаты добра: я по-прежнему был готов благодетельствовать, но уже с разбором. И то хорошо, хотя на всякий случай я предпочел бы побыть — недолго — последним мерзавцем.

Через четверть часа все как будто прошло. Я принял душ и вытерся жестким полотенцем, время от времени награждая себя зуботычинами — профилактики ради; заклеил пластырем избитые в кровь щиколотки и костяшки пальцев, пересчитал синяки (я и вправду разукрасил себя на совесть), надел свежую рубашку, поправил перед зеркалом галстук, одернул смокинг, напоследок заехал себе под ребро, для поднятия духа и для контроля, и вышел — в самую пору, чтобы успеть к пяти.

В отеле, вопреки ожиданию, все было как обычно. Я взглянул в бар — тот почти опустел; прислоненная к табурету, стояла папинтовка, две пары ног высовывались из-под стойки, одна из них босая, но вряд ли причиной тому было альтруистическое самоотречение. Несколько динамитчиков дулись у стены в карты, еще один брэнчал на гитаре, мурлыча все тот же непристойнейший плягер. Внизу, в холле, толпились футурологи. Они тоже спешили на заседание, впрочем, не выходя из отеля: конференц-зал находился в его цокольной части. Все это сначала меня удивило; по некотором размышлении, однако, я понял: в таком отеле воду из-под крана не пьют, жажду утоляют здесь кока-колой и швепсом, в крайнем случае — чаем, соками или пивом. К спиртному подается минеральная или содовая вода; а тот, кто имел несчастье совершить ту же ошибку, что я, теперь, наверное, корчится в судорогах вселенской любви, запершись у себя в номере. Поэтому, решил я, лучше даже не заикаться о своих ощущениях; я здесь человек чужой, кто мне поверит? Это всё, скажут, aberrации и галлюцинации. Чего доброго, прирут за наркомана, дело обычное.

Впоследствии многие меня упрекали: я, дескать, выбрал тактику страуса или улитки; не промолчи я тогда, и все бы обошлось хорошо. Но это — очевидное заблуждение. Постояльцев отеля я, может, и предостерег бы, однако события в «Хилтоне» никак не влияли на политические перипетии Костариканы.

По пути в конференц-зал я набрал кипу местных газет — такая уж у меня привычка. Я, конечно, читаю не на всех языках, но по-испански человек образованный всегда что-нибудь разберет.

На возвышении красовалась повестка дня, обрамленная

зеленю; первым пунктом шла глобальная урбанистическая катастрофа, вторым — катастрофа экологическая, затем — климатическая, энергетическая и продовольственная, после чего обещан был перерыв. Военная, технологическая и политическая катастрофы откладывались на другой день, вместе с дискуссией на свободные темы.

Докладчику отводилось четыре минуты — многовато, пожалуй, ведь было заявлено 198 докладов из 64 стран. Для экономии времени доклады надлежало изучить заранее, а оратор лишь называл цифры — номера ключевых абзацев своего реферата. Чтобы лучше усвоить эту премудрость, мы включили карманные магнитофоны и мини-компьютеры; между ними должна была завязаться потом основная дискуссия. Стенли Хейзлтон из США сразу ошеломил зал, отчеканив: 4, 6, 11, откуда следует 22; 5, 9, ergo 22; 3, 7, 2, 11, из чего опять же получается 22!! Кто-то, привстав, выкрикнул, что все-таки 5 и, может быть, 6, 18, 4. Хейзлтон с лёту опроверг возражение, разъяснив, что так или этак — кругом 22. Заглянув в номерной указатель, я обнаружил, что 22 означает окончательную катастрофу.

Японец Хаякава сообщил о разработанной его соотечественниками модели жилого здания в восемьсот этажей — с родильными клиниками, яслями, школами, магазинами, музеями, зоопарками, театрами, кинозалами и крематориями; предусматривались подземные помещения для погребальных урн, телевидение на сорок каналов, опохмелители и вытрезвители, залы на манер гимнастических для занятий групповым сексом (свидетельство передовых убеждений проектировщиков), а также катакомбы для субкультурных групп неконформистского толка. Любопытным новшеством было намеченное в проекте ежедневное переселение каждой семьи на другую квартиру — ходом либо пешки, либо коня, во избежание скуки и стрессов. Вдобавок, это здание в 17 кубокилометров, стоящее на дне океана, а крышей достигающее стратосферы, намечалось снабдить матримониальным компьютером садомазохистского образца (по данным статистики, пары садистов с мазохистками, и наоборот, наиболее устойчивы, ибо каждый партнер находит в другом то, что ищет), а кроме того, центром антисамоубийственной терапии. Другой японский делегат, Хакаява, продемонстрировал макет такого дома в масштабе 1:10 000, с собственными резервами кислорода, но без резервов продовольствия и воды, то есть с частично замкнутым циклом жизнеобеспечения. Все выделения, не исключая предсмертного пота, подлежали регенерации. Третий японец, Яхакава, зачитал список делика-

тесов, синтезируемых из выделений жильцов. Тут, между прочим, значились искусственные бананы, пряники, креветки, устрицы и даже синтетическое вино, которое, несмотря на свое не слишком благородное происхождение, не уступало, если верить докладчику, лучшим винам Шампани. По залу стали разносить пробные дозы в изящных бутылочках и паштетки в блестящей фольге, но футурологи не спешили пригубить вино, а паштетки потихоньку засовывали под кресло; я поступил так же. Первоначальный план, согласно которому дом-гигант снабжался пропеллерами (на случай коллективных воздушных экскурсий), — был отвергнут. Во-первых, потому, что таких домов для начала предполагалось изготовить 900 миллионов; во-вторых, подобные путешествия все равно не имели бы смысла. Даже если бы жильцы выходили на экскурсию из тысячи дверей сразу, они все равно никогда бы не вышли: прежде чем последний из них покинет здание, успеют подрасти родившиеся за это время младенцы.

Японцы, по-видимому, были от своего проекта в восторге. После них слово взял Норман Юхас из США и предложил семь методов борьбы с демографическим взрывом: уговоры, судебные приговоры, дезротизация, принудительная целибация, онанизация, строгая изоляция, а для упорствующих — кастрация. Каждая супружеская чета должна была просить разрешение на ребенка, а затем еще выдержать три экзамена — по копуляции, воспитанию и взаимному обожанию. Нелегальное деторождение объявлялось наказуемым, а повторное — каралось пожизненным заключением. К этому-то докладу и прилагались те миленькие проспекты и отрывные талоны, которые мы получили утром в числе материалов конгресса. Хэйлтон и Юхас предвидели появление новых профессий, как-то: матримониальный осведомитель, запретитель, разделитель и затыкатель; проект нового уголовного кодекса, в котором зачатие фигурировало в качестве тягчайшего из преступлений, был нам немедленно роздан. Тут случился прискорбный инцидент: с галереи для публики кто-то швырнул бутылку со взрывчатой смесью. «Скорая помощь» (она была тут как тут, укрытая в кулуарах) сделала свое дело, а служба наблюдения за порядком быстро прикрыла исковерканные кресла и останки ученых нейлоновым покрывалом с жизнерадостными узорами; как видно, устроители заранее обо всем позаботились.

В паузах между докладами я попробовал читать местные газеты и, хотя испанский понимал с пятого на десятое, все же узнал, что правительство стянуло в город танковые части,

поставило на ноги всю полицию и объявило военное положение. По-видимому, кроме меня, никто не догадывался о том, что творится за стенами «Хилтона». В семь объявили перерыв, чтобы участники могли подкрепиться — разумеется, за свой счет; возвращаясь в зал, я купил очередной экстренный выпуск официозной газеты «Насьон» и парочку экстремистских «вечерок». Даже при моем весьма приблизительном знании языка эти газеты показались мне необычными. Блаженно-оптимистические сентенции о христианской любви — залог всеобщего счастья перемежались угрозами кровавых репрессий и столь же свирепыми ультиматумами экстремистов. Такой разнобой объясняла одна лишь гипотеза: часть журналистов пила водопроводную воду, а прочие — нет. В органе правых воды, естественно, было выпито меньше; сотрудники оплачивались здесь лучше и за работой подкреплялись напитками подороже. Впрочем, экстремисты, хоть и не чуждые аскетизма во имя высших идеалов и лозунгов, тоже не слишком часто утоляли жажду водой, если учесть, что картсупио (напиток из перебродившего сока растения мелменале) в Костарикане невероятно дешево.

Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Дрингенбаум из Швейцарии — произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы; здание дрогнуло, зазвенели оконные стекла, но футурологи-оптимисты кричали, что это просто землетрясение. Я же склонялся к тому, что какая-то из оппозиционных группировок (они пикетировали отель с самого начала конгресса) бросила в холл петарды. Меня разубедил еще более сильный грохот и сотрясение; теперь уже можно было различить стакато пулеметных очередей. Обманываться не приходилось: Костарикана вступила в стадию уличных боев. Первыми сорвались с места журналисты — стрельба подействовала на них, как побудка. Верные профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дрингенбаум попытался продолжить свое выступление, в общем-то довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, а после каннибализация, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, что, если ничего не изменится, через четыреста лет Земля превратится в шар из человеческих тел, разбухающий со скоростью света. Однако новые взрывы заставили профессора замолчать.

Футурологи в растерянности выходили из зала; в холле они смешались с участниками Конгресса Освобожденной Литературы, которых, судя по внешнему виду, начало боев застало в разгар занятий, приближающих демографическую

катастрофу. За редакторами издательской фирмы А.Кнопфа шествовали их секретарши (сказать, что они неглиже, я не мог бы — кроме нателных узоров в стиле поп-арт, на них вообще ничего не было), с портативными кальянами и наргиле, запроваженными модной смесью ЛСД, марихуаны, нохимбина и опиума. Как я услышал, адепты Освобожденной Литературы только что сожгли *in effigie** американского министра почты и телеграфа — тот, видите ли, приказал своим служащим уничтожить листовки с призывами к массовому кровосмешению. В холле они вели себя отнюдь не добропорядочно, особенно если учесть серьезность момента. Общественного приличия не нарушали лишь те из них, кто совершенно выбился из сил или пребывал в наркотическом оцепенении. Из кабин доносился истошный визг бедняжек телефонисток; какой-то толстобрюхий субъект в леопардовой шкуре и с факелом, пропитанным гашишем, бушевал между рядами вешалок, атакуя весь персонал гардероба. Портье с трудом утихомирили его, призвав на помощь швейцаров. С антресолей кто-то забрасывал нас охапками цветных фотографий, детально изображающих то, что один человек под влиянием похоти может сделать с другим, и даже гораздо больше. Когда на улице появились первые танки (их прекрасно было видно в окно), из лифтов повалили перепуганные филуменисты и бунтари; растапывая эротические закуски, принесенные издателями и разбросанные теперь по холлу, постояльцы разбежались кто куда. Ревя, как обезумевший буйвол, и сокрушая прикладом своей папинтовки всех и вся, пробивался через толпу бородатый антипапист; он — я видел своими глазами — выбежал из отеля, чтобы немедленно открыть огонь по пробегающим мимо людям. Похоже, ему, убежденному экстремисту крайнего толка, было все равно, в кого ни стрелять. Когда со звоном начали лопаться огромные окна, холл, оглашаемый криками ужаса и любострастия, превратился в сущее пекло. Я попробовал отыскать знакомых журналистов; увидел, что они бегут к выходу, и последовал их примеру — в «Хилтоне» и в самом деле становилось не очень уютно.

Несколько репортеров, припав к земле за бетонным барьерчиком автостоянки, усердно фотографировали происходящее, впрочем, без особой надежды на успех: как всегда в таких случаях, в первую очередь были подожжены машины с заграничными номерами, и над паркингом вздымались языки пламени и клубы дыма. Мовен из АФП, оказавшийся рядом со

* В изображении (*лат.*).

мною, потирал руки от удовольствия — он-то взял машину в прокатной конторе Херца и только посмеивался, глядя на свой полыхающий «додж». Большинство репортеров-американцев не разделяло его веселья. Какие-то люди — по большей части бедно одетые старички — пытались сбить огонь с пылающих автомашин; воду они носили ковшиками из фонтана неподалеку. Уже здесь было над чем призадуматься. Вдали, в конце Авенида дель Сальвасьон и дель Ресурсксьон, поблескивали на солнце полицейские каски, но площадь перед отелем и окружавшие ее парки с высокими пальмами были безлюдны. Старички надтреснутыми голосами подбадривали друг друга, хотя их слабые ноги подкашивались; такой энтузиазм показался мне просто невероятным; но тут я вспомнил о происшествии у себя в номере и немедленно поделился своими предположениями с Мовеном. Стрекотание пулеметов, басовые аккорды взрывов затрудняли беседу; подвижное лицо француза выражало полное недоумение, затем его глаза заблестели. «А-а! — зарычал он, перекрывая уличный грохот. — Вода! Из-под крана? Боже мой, впервые в истории... *тайная химиократия!*» С этими словами он, как ошпаренный, помчался к отелю — разумеется, чтобы занять место у телефона; как ни странно, связь еще действовала.

Я остался стоять у подъезда; ко мне подошел профессор Троттельрайнер из делегации швейцарских футурологов, и тут произошло то, чего, собственно, давно уже следовало ожидать. Появились вооруженные полицейские — строем, в противогазах и черных касках, с черными нагрудными щитами; они оцепили весь комплекс «Хилтона», чтобы преградить путь толпе, которая выходила из парка, отделявшего отель от городского театра. Отряд особого назначения с немалой сноровкой устанавливал гранатометы; их первые залпы ударили по толпе. Взрывы были на удивление слабые, зато сопровождались целыми тучами белесого дыма. Слезоточивый газ, решил я; но толпа не бросилась врассыпную и не разразилась яростным воплем — ее определенно тянуло к этому дымному облаку. Крики быстро затихли, сменившись чем-то вроде хоральных песнопений. Журналисты, метавшиеся со своими камерами и магнитофонами между полицейским кордоном и входом в отель, не могли взять в толк, что здесь, собственно, происходит, но я-то уже догадался: полиция, несомненно, применила оружие химического улучшения в форме аэрозолей. Но от Авенида дель... — как там ее? — вышла вторая колонна, на которую эти гранаты почему-то не действовали, а может, так только казалось; как потом утверждали, колонна двигалась дальше, чтобы побра-

таться с полицией, а не разорвать ее на куски, но кого, скажите на милость, могли занимать подобные тонкости в обстановке полного хаоса? Гранатометчики ответили залпами, следом с характерным шипением и свистом отозвались водометы, наконец, застрекотали пулеметные очереди, и воздух загудел от пуль и снарядов. Дело приняло нешуточный оборот; я прижался к земле за барьерчиком автостоянки, словно за бруствером, и очутился между Стэнтором и Хейнзом из «Вашингтон пост».

В двух словах я обрисовал ситуацию, и они, отчитав меня за то, что сенсационную новость первым узнал репортер АФП, наперегонки поползли к «Хилтону», но вскоре вернулись разочарованные: связи не было. Стэнтор все же прорвался к офицеру, руководившему обороной отеля, и узнал, что вот-вот прилетят самолеты с *бумбами*, то есть с Бомбами Умиротворения и Благочиния. Нам приказано было очистить площадь, а полицейские, все как один, натянули противогазы со специальными адсорбентами. Нам их тоже раздали.

Троттельрайнер — волею случая он оказался еще и специалистом по психофармакологии — предупредил, чтобы я ни в коем случае не пользовался противогазом. При большой концентрации аэрозолей противогаз теряет защитные свойства: происходит «скачок» отравляющих веществ через адсорбент, и тогда в считанные секунды можно наглотаться ОВ больше, чем без противогаза; надежную защиту обеспечивает лишь кислородный аппарат. Поэтому мы отправились в регистратуру отеля, разыскали последнего оставшегося на посту портье и по его указаниям добрались до пожарного пункта. Действительно, здесь было полно кислородных аппаратов системы Дрегерра, с замкнутым циклом. Обеспечив тем самым свою безопасность, мы вышли на улицу — как раз в ту минуту, когда пронзительный свист над нашими головами возвестил о появлении первых *бумбардировщиков*. Как известно, «Хилтон» по ошибке подвергся *бумбардировке* в первые же минуты воздушной атаки; последствия были катастрофическими. *Бумбы*, правда, попали лишь в дальнее крыло нижней части отеля, где на больших щитах размещалась выставка Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, так что никто из постояльцев не пострадал; зато охранявшей нас полиции не поздоровилось. Через минуту после налета приступы христианской любви в ее рядах приняли повальный характер. На моих глазах полицейские, сорвав с себя маски противогазов, заливались слезами раскаяния. Они на коленях вымаливали прощение у демонстрантов, требовали, чтобы те хорошенько их вздули, и всовывали им в руки свои увесистые дубинки; а после второго захода *бумбар-*

дивовищков, когда концентрация аэрозолей возросла, наперебой бросались ласкать и голубить каждого встречного. Восстановить ход событий, и то лишь частично, удалось лишь через несколько недель после трагедии. Еще утром власти решили подавить в зародыше назревавший государственный переворот и ввели в водонапорную башню около 700 килограммов двуоксида бора и суперумилина с фелицитолом; подача воды в армейские и полицейские казармы была предусмотрительно перекрыта. Но все пошло насмарку из-за отсутствия толковых специалистов: не был предусмотрен «скачок» аэрозолей через фильтры, а также то, что разные социальные группы потребляют вовсе не одинаковое количество питьевой воды.

Духовное просветление полиции оказалось особенно неожиданным для правительства потому, что бенIGNаторы, как объяснил Троттельрайнер, действуют на людей тем сильнее, чем меньше были они подвержены естественным, врожденным благим побуждениям. Так что, когда вторая волна самолетов *разбумбила* президентский дворец, многие из высших полицейских и военных чинов покончили с собой, не в силах вынести кошмарных мучений совести. Если добавить, что генерал Диас, прежде чем застрелиться, велел открыть тюрьмы и выпустить политзаключенных, будет легче понять необычайную жесточенность боев, развернувшихся с наступлением ночи. Но авиабазы, удаленные от столицы, не понесли никакого ущерба. Их командование имело свои инструкции, которым и следовало до конца, между тем как полицейские и армейские наблюдатели, укрытые в герметичных бункерах, видя, что творится вокруг, решили прибегнуть к крайнему средству, ввергнувшему весь Нунас в состояние коллективного помешательства. Обо всем этом мы в «Хилтоне», разумеется, не могли и догадываться.

Около одиннадцати вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, овладевшую столичной полицией, и они выполняли приказ, не жалея снарядов. Ублаготворяющая граната разорвалась в метре от Альфонса Мовена; взрывной волной бедняге оторвало пальцы левой руки и левое ухо, а он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней, об ухе и говорить нечего, и, если я захочу, он тут же пожертвует мне второе; он даже достал из кармана перочинный нож, но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет. Здесь им занялись секретарши издателей-освобожденцев, ревушие в три ручья по причине химического перерождения. Они не только были застегнуты на все

пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, дабы не ввергнуть ближнего в искушение; те же, кого особенно проняло, остриглись, бедняжки, наголо! Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их: они напялили старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили для самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и хорошенько их отстегать за развращение общественных нравов. Каково же было мое изумление, когда, присмотревшись поближе, я узнал в этих флагеллантах сотрудников «Плэйбоя» в полном составе, вместе с главным редактором! Он-то и не позволил мне отвертеться, так его донимало раскаяние. Эти сукины дети хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппарату, могу им помочь; в конце концов я уступил, против собственной воли и лишь для очистки совести. Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось, я боялся, что не найду запасного баллона, когда этот кончится, а наказуемые, выстроившись в длинную очередь, с нетерпением ожидали своей минуты. Чтобы отвязаться от них, я велел им собрать эротические плакаты — взрыв бумбы в боковом крыле «Хилтона» (где размещался Centro erotico) разбросал их по холлу, уподобив его Содому и Гоморре. Они свалили плакаты в огромную грудку у входа в отель и подожгли. К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия, приняв наш костер за какой-то сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрелкача — и в подвале очутился в объятиях мистера Харви Симворта, того самого, кто первым додумался переделывать детские сказочки в порнографические истории («Красная Шапочка-переросток», «Али-Баба и сорок любовников» и пр.), а потом сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост: любое название начиналось со слов «половая жизнь» («...Белоснежки с семьей гномами», «...Аладдина с лампой», «...Алисы в стране чудес», «...Гулливера» и т.д., до бесконечности). Напрасно я отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его хорошенько. Делать нечего — пришлось подчиниться еще раз.

Я был так измотан, что едва дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в футурологические доклады, профессор Троттельрайнер, очень довольный, что выкроил наконец немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между тем *бумбардировка* продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой (особенно

жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями) профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием желудка.

В пресс-центре Стэнтон Вули из «Геральд», Чарки и фоторепортер Кюнце, временно занятый в «Пари-матч», не снимая масок противогазов, играли в карты — из-за отсутствия связи им нечего было делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя, и тут в пресс-центр влетел Джо Миссенджер, старейшина американской журналистики; он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды — мы стремглав помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложная. Мы вышли на улицу; не без сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже; лавина обломков погребла мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный полицейский в шлеме гнался за каким-то подростком с криком: «Остановись, ради Бога, остановись, я же тебя люблю!» — но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез.

Грохот понемногу стихал; журналистов разбирало профессиональное любопытство, и мы осторожно двинулись в сторону парка. Здесь при живейшем участии тайной полиции совершались черные, белые, розовые и смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала; над ней возвышался плакат: «НЕ ЖАЛЕЙТЕ НАС, ПРОВОКАТОРОВ!» Судя по числу обращенных иуд, расходы правительства на их содержание были немалыми и, надо думать, отрицательно сказывались на экономическом положении Костариканы. Вернувшись к «Хилтону», мы увидели перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора; в самом же баре фараоны и бунтари дружно горланили песни — попеременно подрывные и охранительные. Я заглянул в подвал, но сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он тоже нашел трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного туза; это так разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты. Мы начали его успокаивать; в дверь заглянул Чарки и сообщил о речи генерала Акильо, только что переданной по радио: генерал грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого совещания мы решили отступить на самый ни-

жний, канализационный ярус «Хилтона», располагавшийся под бомбоубежищем.

Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего; проголодавшиеся филуменисты, издатели и бунтари набивали рты шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию, — все это они нашли в опустевшем Septo erotico. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные сласти и любенцы смешивались в их крови с бенигнаторами, — о последствиях этой химической реакции страшно было подумать, видел братание футурологов с индейцами — чистильщиками ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными жирными крысами; вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы. Мы медленно пробирались сквозь толпу; эта прогулка меня утомила, к тому же я шел замыкающим и нес половину резервных баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатий и нежностей, я упорно пробивался вперед, пока наконец не раздался торжествующий клич Стэнтора: он нашел вход в канал! Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и один за другим спустились в бетонированный колодец. Профессор Троттельрайнер поскользнулся на ступеньке железной лестницы; я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что сразу пробудило у меня подозрения, и точно — оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, зараженного добротой. Мы незамедлительно применили физические мучения, чистый кислород и чтение вслух реферата Хаякавы (это была идея Хаулера). Придя в себя — о чем свидетельствовал каскад сочных ругательств, — профессор последовал за остальными. Вскоре слабый луч фонарика уперся в масляные разводы на черной глади канала; мы несказанно обрадовались: целых десять метров земли отделяло нас от поверхности бумбардируемого города. Но как же мы удивились, обнаружив, что не мы первые подумали об этом убежище. На бетонной приступке восседала в полном составе дирекция «Хилтона»; рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не пришло бы поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид, к тому же нас было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном согласии мы принялись за разделку омаров; этим

ужином, в программе не предусмотренным, завершился первый день футурологического конгресса.

Уставшие от волнений минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со всеми признаками ее канализационного назначения. Предстояло решить вопрос о честном дележе шести надувных кресел, которые прихватила с собой дирекция «Хилтона». Их хватило бы на двенадцать персон, ибо шестеро менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами; нас же, спустившихся в канал во главе со Стэнтором, было двадцать. Сюда входила футурологическая группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Троттльрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании Си-би-эс, а также двое присоединившихся по дороге: никому не известный плотный мужчина в кожаной куртке и бриджах и малютка Джо Коллинз, личная секретарша редактора «Плэйбоя». Стэнтор намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров. При таком множестве претендентов обстановка немедленно накалилась. Мы стояли по обе стороны вождельных кресел, глядя друг на друга исподлобья; впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, чтобы все разом, по сигналу, сняли маски — тогда, наглотавшись как следует альтруизма, мы устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После долгих споров мы пришли к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой сон; жребиями нам послужили купоны прелестных копуляционных книжечек (тех самых) — кое у кого они сохранились.

Мне выпало спать в первой смене с профессором Троттльрайнером, гораздо более худым и даже костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе (точнее, кресло). Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, а мы примостились на коленках у самой воды, с тревогой следя за давлением кислорода в баллонах. Было ясно: запаса хватит на пару часов; перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась нам неизбежной и навевала мрачные мысли. Коллеги, зная, что я успел вкусить это блаженство, настойчиво спрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо, — но без особого энтузиазма. Нас клонило ко сну; чтобы не свалиться в канал, мы привязались, кто чем мог, к железной лесенке под люком. Мою беспокойную дремоту прервало

эхо взрыва, более сильного, чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме (все фонарики, кроме одного, были предусмотрительно выключены). На бетонную дорожку вылезали громадные, толстые крысы. Удивительно было, что передвигались они гуськом и на задних лапах. Я ущипнул себя — вроде не сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот странный феномен; он тоже опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания; во всяком случае, они не собирались лизать нас, что профессор счел благоприятным симптомом — воздух, скорее всего, был чист.

Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от нас спали как убитые, крысы по-прежнему прохаживались на задних лапах. Мы с профессором расчихались — зашекотало в носу. Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся — об ошибке не могло быть и речи. Я пускал корешки чуть ниже коленей, а выше зазеленел. Теперь и руки покрывались почками. Почки росли на глазах, набухали и распушались, белесые, правда, как и положено подвальной растительности; я чувствовал: еще немного — и я начну плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повысить голос, так громко я шелестел. Спящие тоже походили на подстриженную живую изгородь, усыпанную цветами, лиловыми и пурпурными. Крысы пошипывали листочки, поглаживали усы лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать; как дерево, я тосковал по солнцу. Откуда-то издали доносились мерные сотрясения, что-то осыпалось, гудело, эхо прокатывалось по коридорам, я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, уже осень, удивился я, так скоро?

Но тогда пора собираться в поход; я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. Так и есть — труба зовет! Крыса с поводьями и под седлом — экземпляр исключительный даже для породистого скакуна — повернула голову и посмотрела из-под скошенных ресниц печальным взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе: если это профессор, похожий на крысу, седлать его не годится, но если это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться нечего. А труба звала! Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Зловонная ванна отрезвила меня.

Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну конечно, мелькнуло у меня, галлюциногены! Если я считал себя деревом, почему бы им

не принять себя за людей! Я вслепую искал кислородный аппарат: побыстрее бы надеть его! Нашупав маску, натянул ее на лицо, но все же вдыхал кислород с тревогой: откуда мне знать, настоящая это маска или только фантом?

В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и в открытом люке увидел сержанта американской армии — он протягивал мне руку.

— Скорее! — кричал он. — Скорее!

— Что, вертолеты прислали?! — вскочил я.

— Наверх, поторапливайся! — надсаживался он.

Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лесенке.

— Наконец-то! — пыхтел подо мною Стэнтон.

Снаружи было светло от пожара. Я огляделся — никаких вертолетов, только несколько солдат в боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь.

— Что это? — в недоумении спросил я.

— Живее, живее! — торопил сержант.

Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация!» — решил я.

— Ничего подобного, — отозвался сержант, — это десантное снаряжение, индивидуальные мини-ракеты. Резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину. — Он сунул мне какую-то рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку. — Пошел!

Сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался резкий, протяжный свист, мои ноги окутал пар, а может быть, дым — он вырвался из сопла в ранце, — и я взлетел, словно перышко.

— Но мне же не справиться с управлением! — кричал я, свечой взмывая в черное небо, обьятое грозным заревом.

— Разберешься! Азимут на По-ляр-ну-ю!! — орал снизу сержант.

Я поглядел вниз. Подо мною проносились гигантская груда обломков — еще недавно она была гостиницей «Хилтон». Рядом с нею виднелась небольшая толпа, дальше огромным кольцом вздымались кроваво-красные языки пламени; на огненном фоне появилось черное круглое пятнышко — это стартовал с открытым зонтом Троттельрайнер. Я ощупал себя, проверяя, прочно ли держатся построжки и ремни. Ранец булькал, пищал, свистел, пар из сопла все сильнее обжигал икры, я поджал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту барахтался в воздухе, словно большущий, тяжелый жук. Потом, случайно задев рукоятку, должно быть, изменил угол выхлопа и сразу перешел на горизонтальный курс. Ощущение было довольно приятное; оно

было бы еще приятней, знай я, куда лечу. Я поворачивал рукоятку, пытаюсь окинуть взглядом раскинувшийся подо мною простор. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли, что-то просвистело возле ушей — да ведь это по мне стреляют! Ну, скорей же, скорей! Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, как неисправный паровоз, обжег мне пятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в черное, как деготь, пространство. Ветер свистел в ушах, я чувствовал, как из карманов вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи, попытался нырнуть за ними, но потерял их из виду. Я был совершенно один, под далекими спокойными звездами и, не переставая шипеть, гудеть, свистеть, — летел. Попытался найти Полярную, чтобы выправить курс; когда мне это наконец удалось, ранец испустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое счастье, в последний момент — я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-то крыши — ранец выплюнул последнюю порцию пара; я сбавил скорость и упал на траву довольно мягко.

Рядом, в канаве, кто-то стонал. Вот было бы удивительно, подумал я, окажись там профессор! Действительно, это был он. Я помог ему встать. Он ощущал себя в поисках очков; впрочем, сам он был совершенно цел. Троттельрайнер попросил помочь ему отстегнуть упряжь, потом уселся на ранце и достал что-то из бокового отделения — какие-то стальные трубки и колесо.

— А теперь ваш...

Из моего ранца он тоже извлек колесо, к чему-то приладил его и крикнул:

— По местам! Едем.

— Что такое? Куда? — удивился я.

— Тандемом. В Вашингтон, — коротко объяснил профессор; ногу он уже держал на педали.

«Галлюцинация!» — промелькнуло у меня.

— Вот еще! — возмутился профессор. — Обычное десантное снаряжение.

— Допустим. Но вам-то откуда все это известно? — спросил я, устраиваясь на заднем сиденье.

Профессор оттолкнулся, мы покатали сначала по траве, потом по асфальту.

— Я работаю в US AF!* — выкрикнул он, энергично перебирая ногами.

* United States Air Force — Военно-воздушные силы США (англ.).

Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже о Панаме.

— Мы не дотянем на велосипеде! — заорал я против ветра.

— Только до сборного пункта! — крикнул в ответ профессор.

Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю... И что мне там делать, в Вашингтоне? Я притормозил.

— Вы что? Шевелите ногами, коллега! — отчитывал меня Троттельрайнер, пригнувшись к рулю.

— Нет! Остановка. Я выхожу! — решительно возразил я.

Тандем вильнул и остановился. Профессор, упираясь ногой в землю, издевательски указал на окружающую нас темноту:

— Как хотите. Бог в помощь!

Он уже отъезжал.

— Вашими молитвами! — бросил я ему вслед.

Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то колело меня выше колен. Я машинально протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. Если это мои побеги, сказал я себе, тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую! Я наклонился, чтобы проверить, — и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, синие огоньки индикаторов, матовый свет обволакивал стройные женские ноги в нейлоновых чулках, золотые туфельки-ящерицы покоились на педалях, темное лицо с пунцовыми губами склонилось ко мне, на пальцах, сжимавших баранку, сверкнули брильянты.

— Подвезти?

Я сел — и даже забыл о своих ростках, до того я был ошарашен. Украдкой провел по своим ногам ладонью — и нащупал чертополох.

— Что, уже? — слышался низкий чувственный голос.

— В каком смысле? — растерянно отозвался я.

Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся, она нажала какую-то клавишу, кабина погрузилась во тьму, лишь навстречу нам мчалась освещенная полоса асфальта; из передней панели поплыла щелкающая мелодия. Странно как-то, размышлял я. Что-то не то. Руки — не руки, ноги — не ноги. Правда, не ветки — чертополох, но все-таки, все-таки!

Я присмотрелся к незнакомке внимательней. Она, несомненно, была красива — что-то в ней было манящее, демоническое и персиковое одновременно. Но вместо юбки торчали какие-то перья. Страусиные? Или это галлюцинация?... С другой стороны, нынешняя женская мода... Я терялся в догадках. Шоссе было пусто; мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые ногти царапали мне затылок — не жестоко, а скорее игриво.

— Что это? Кто там? — Я хотел обернуться, но не смог. — Пустите!

Впереди показались огни, какой-то большой дом, под колесами захрустел гравий, машина резко свернула, прижалась к тротуару вплотную, остановилась.

Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное, — бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись.

— Где мы? — спросил я.

Не ответив, они взялись за меня: первая выталкивала из машины, вторая тащила наружу, стоя уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики; у стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан, освещаемый из окна. Мои спутницы стиснули меня с двух сторон.

— Но мне некогда, — пробормотал я.

Они будто не слышали. Та, в черном, наклонилась и горячодохнула мне в ухо:

— Хо!

— Простите, что?

Мы были уже у дверей; их начал разбирать смех, и смеялись они не просто так, а надо мной. Все в них отталкивало меня; к тому же они становились все меньше. Приседали? Нет — ноги у них покрывались перьями. Ага, облегченно вздохнул я, все-таки, значит, галлюцинация!

— Какая еще галлюцинация, недотепа! — прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли.

— Поглядите-ка на этого галлюцинанта! — кричала другая.

Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову. Открыл глаза. Надо мною склонился профессор с зонтом в руке. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы как ни в чем не бывало ходили парочками.

— Где, где болит? — попытывался Троттельрайнсер. — Здесь?

— Нет, здесь... — Я показал на вспухший затылок

Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту.

— Спасите! — взмолился я. — Ради Бога, довольно! За что...

— Это и есть спасение! — ответил безжалостно футуролог. — К сожалению, у меня под рукой нет другого противоядия!

— Но хотя бы не набалдашником, прошу вас!

— Так вернее...

Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо болела. Меня потрянуло — профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под колена, куда-то несли.

— Куда?! — закричал я.

Щебенка сыпалась прямо в лицо с шатающихся перекрытий; я чувствовал, как мои санитары ступают по какой-то хлипкой доске или мостику, и боялся, что они поскользнутся. «Куда это мы?» — тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрерывный гул. Стало светло от пожара, мы были уже на поверхности, какие-то люди в мундирах хватали подряд всех, кого удавалось вытащить из канализационного люка, и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы — мелькнули огромные белые буквы: «US ARMY COPTER* 1 109 849», и я упал на носилки. Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет.

— Простите, Тихий! — кричал он. — Тысячу извинений! Но так было нужно!

Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами, — и тут же взвыли моторы, зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь.

Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу не признаться: понимая все благородство его поведения, я, однако, с удовольствием наблюдал, как на темени у него вырастает громадная шишка.

— Куда мы летим?

— На конгресс, — ответил, все еще морщась от боли профессор.

— То есть... как это на конгресс? Ведь конгресс уже был?

* Вертолет армии США (англ.)

— Вмешательство Вашингтона, — коротко объяснил Троттельрайнер. — Будем продолжать заседания.

— Где?

— В Беркли.

— В университете?

— Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож, хоть перочинный?

— Нет.

Вертолет задрожал. Гром и пламя распорили кабину, мы вылетели из нее друг за другом — в бескрайнюю темноту. Как долго я потом мучился! Мне слышались стонущие голоса сирен, мою одежду разрезали ножом, я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и ухабистая дорога, над головой белел потолок «скорой помощи», рядом лежало что-то продолговатое, забинтованное, как мумия; по притороченному сбоку зонту я узнал Троттельрайнера. «Я жив... — пронеслось у меня в голове. — Все-таки мы не разбились насмерть. Какое счастье». Машина вдруг накренилась, перевернулась с пронзительным скрежетом, пламя и гром разорвали жестянку кузова. «Что, опять?» — сверкнула последняя мысль, а потом — черное, непроницаемое беспмятство. Открыв глаза, я увидел над собою стеклянный купол; какие-то люди в белом, с масками на лицах и руках, воздетыми как для благословения, переговаривались полушепотом.

— Да, это был Тихий, — донеслось до меня. — Сюда, в банку, нет, только мозг, остальное никуда не годится. Дайте пока наркоз.

Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет, я хотел закричать, позвать на помощь, вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание вернулось ко мне, я не мог разлепить веки, не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле.

— Успокойтесь! Не шевелитесь, пожалуйста! — услышал я мелодичный женский голос.

— А? Где я? Что со мной?.. — пролепетал я. Рот у меня был совершенно чужой, и лицо, наверное, тоже.

— Вы в санатории. Все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас. Сейчас мы дадим вам поесть...

«Да мне же нечем...» — хотел, но не смог я ответить. Послышалось лязганье ножниц. Марля кусками спадала с лица. Стало светлей. Два санитаря (я удивился их громадному росту) крепко, но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной дымилась

тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что взявшая ложку рука — маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась! Желая узнать, в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле-коляске, сидела молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало отражение в зеркале. Тогда я начал ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул — не своим, тоненьким голосом:

— Боже праведный!

Медсестра кого-то отчитывала — почему не занавесили зеркало? Потом обратилась ко мне:

— Вы Ийон Тихий, не так ли?

— Ну да. То есть — да! да!! Но что это значит? Вон та девушка — та негритянка?

— Трансплантация. Другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни — то есть вашего мозга! — быстро, но отчетливо говорила сестра, взяв меня за руки.

Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург; его лицо выражало крайнюю степень негодования.

— Это еще что такое! — загремел он. — Только шока ему не хватало!

— Он уже в шоке! — сообщила сестра. — Это все Симмонс, господин профессор. Говорила я ему: занавесь зеркало!

— В шоке? Так чего же вы ждете? В операционную! — распорядился хирург.

— Нет! Больше не надо! — закричал я.

Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. Попробовал вырваться — куда там. Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плитам пола. Раздался ужасающий грохот, с резким треском лопались какие-то стекла. Больничный коридор наполнили гром и пламя.

— Экстремисты! Экстремисты! — надрывался кто-то, стекло хрустело под ботинками убегающих, я хотел сорвать с себя ненавистную марлю, не смог, почувствовал острую боль в боку и потерял сознание.

Очнулся я в киселе. Кисель был клюквенный, определенно недослащенный. Я лежал вниз лицом, сверху давило что-то большое и мягкое. Я сбросил с себя тяжесть, оказалось — матрац. Битый кирпич больно впивался в колени и кожу

ладоней. Выплывавая клюквенные зернышки и кирпичную крошку, я приподнялся на локтях. Палата выглядела как после взрыва. Шторы оборваны, уцелевшие осколки оконных стекол накрены внутрь, кровать повалена набок, ее сетка опалена. Рядом со мной лежал запачканный в киселе листок с печатным текстом. Я пробежал его глазами.

«Дорогой Пациент (имя, фамилия)! Ты находишься в экспериментальной клинике нашего штата. Операция, сохранившая Тебе жизнь, оказалась серьезной — очень серьезной (ненужное зачеркнуть). Лучшие наши хирурги, используя последние достижения медицины, сделали Тебе одну — две — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять — десять (ненужное зачеркнуть) операций. Ради Твоего блага они были вынуждены заменить отдельные части Твоего тела органами, взятыми у других лиц, в соответствии с федеральным законом, одобренным обеими палатами конгресса («Законодат.вестн.», публ. № 1 989/0001/89/1). Дружеское наставление, которое Ты в настоящую минуту читаешь, поможет Тебе адаптироваться к новым условиям Твоей жизни. Мы спасли ее, но при этом нам пришлось изъять у Тебя руки, ноги, позвоночник, череп, лопатки, желудок, почки, печень, прочие органы (ненужное зачеркнуть). За судьбу вышеуказанных бранных останков Ты можешь быть совершенно спокоен: мы позаботились о них, как велит Твоя вера, и согласно ее традициям совершили обряд погребения, кремации, мумификации, рассеивания праха по ветру, наполнения урны пеплом, освящения, высыпки в помойную яму (ненужное зачеркнуть). Новый облик, в котором отныне Тебе предстоит вести счастливую и здоровую жизнь, кое в чем может оказаться для Тебя неожиданным, но мы заверяем Тебя, что, подобно нашим остальным дорогим пациентам, Ты к нему быстро привыкнешь. Мы усовершенствовали Твой организм при помощи наилучших — полноценных — удовлетворительных — таких, какие нашлись под рукой, органов (ненужное зачеркнуть). Мы гарантируем работу указанных органов в течение одного года, шести месяцев, квартала, трех недель, шести дней (ненужное зачеркнуть). Ты должен понять, что...»

На этом текст обрывался. Лишь теперь я заметил, что сверху кто-то вывел четкими буквами: «ИЙОН ТИХИЙ. Опер. 6, 7 и 8. КОМПЛЕКТ». Листок в моих руках задрожал. Боже, что от меня осталось? Я не решался взглянуть даже на собственный палец. Тыльная сторона ладони заросла толстыми рыжими волосками. Я затрясся как в лихорадке; встал, опираясь о стену; перед глазами плыло. Бюста не было, и то слава Богу. Стояла полная тишина. Какая-то птичка чирикала за

окном. Нашла тоже время чирикать! КОМПЛЕКТ. Что значит КОМПЛЕКТ? Кто я? Ийон Тихий. В этом я был уверен. Следовательно? Сперва я ощупал ноги. Обе на месте, только кривые — буквой «икс». Живот — непомерно велик. Палец погрузился в пупок, как в колодец. Толстые складки жира. брр! Что же случилось? Ага, вертолет. Кажется, его сбили «Скорая помощь». Мина, а может, граната. Потом — та маленькая негритянка — потом экстремисты — в коридоре — гранаты? Выходит, ее тоже, бедняжку?... И еще раз.. Но что означает этот погром, эти обломки?

— Эй! Есть тут кто-нибудь?! — закричал я.

И осекся, пораженный собственным голосом, — настоящий оперный бас, даже эхо отозвалось. Очень хотелось глянуть в зеркало, но было страшно. Я поднес руку к щеке. Боже милостивый! Кудлатые, свалывшиеся патлы... Наклонившись, увидел бороду. Она закрывала половину пижамы — растрепанная, косматая, рыжая. Ахенобарбарус! Рыжебородый! Ладно, можно побриться... Я выглянул на террасу. Птичка чирикала как ни в чем не бывало — дурра Тополя, сикоморы, кусты — что это? Сад. Больничный?. На скамейке кто-то грелся в лучах солнца, закатав рукава пижамы.

— Эй там! — позвал я.

Он обернулся. Я увидел до странности знакомое лицо и растерянно заморгал. Да ведь это мое лицо, это я! В три прыжка я выскочил на террасу. Тяжело дыша, всматриваясь в собственные черты. Сомнений не было — на скамье сидел я!

— Чего вы так уставились? — неуверенно отозвался он моим голосом.

— Откуда это — у вас? — через силу выдавил я — кто вы? Кто дал вам право...

— А-а! Это вы!

Он встал:

— Перед вами профессор Троттельрайнер.

— Но почему же... Бога ради, почему... кто...

— Я тут совершенно ни при чем, — произнес он внушительно. Мои губы на его лице подрагивали. — Ворвались сюда эти, как их — йиппи*. Бунтари. Граната. Ваше состояние было признано безнадежным, да и мое тоже. Я ведь лежал рядом, в соседней палате.

— Как это «безнадежным»? — возмутился я. — Что я слепой? И как вы только могли!

* Члены молодежной радикальной группировки в США.

— Но я ведь был без сознания, уверяю вас! Главный хирург, доктор Фишер, мне все объяснил: сперва брали тела и органы в хорошей сохранности, а когда очередь дошла до меня, остались одни отходы, поэтому...

— Да как вы смеете! Присвоили мое тело да еще охаиваете его!

— Не охаиваю, а лишь повторяю слова доктора Фишера! Сначала вот это, — он ткнул себя пальцем в грудь, — сочли непригодным, но потом, за неимением лучшего, решились на пересадку. Вы к тому времени были уже пересажены...

— Я? Пересажен?

— Ну да. Ваш мозг.

— А это кто? То есть кто это был? — указал я на себя.

— Один из тех экстремистов. Какой-то их главарь, говорят. Не умел обращаться со взрывателем, и его садануло в череп осколком — так я слышал. Ну и... — Троттельрайнер пожал моими плечами.

Меня передернуло. В этом теле мне было не по себе, я не знал, как к нему относиться. Оно мне претило. Ногти толстые, квадратные — ни малейших признаков интеллигентности.

— Что же будет? — прошептал я, опускаясь на скамью рядом с профессором. Ноги меня не слушались. — Нет ли у вас карманного зеркальца?

Он достал зеркальце из кармана. Я торопливо схватил его и увидел огромный подбитый глаз, пористый нос, зубы в плачевнейшем состоянии; нижняя часть лица утопала в рыжей густой бороде, за которой угадывался двойной подбородок. Возвращая зеркальце, я заметил, что профессор снова выставил оголенные ноги на солнце. Хотел было сказать, что кожа у меня чрезвычайно чувствительная, но прикусил язык. Обгорит на солнце до волдырей — его дело; теперь уж, во всяком случае, не мое!

— Куда мне идти? — спросил я потерянно.

Троттельрайнер оживился. Его (его?!) умные глаза с сочувствием остановились на моем (моем?!) лице.

— Не советую идти куда бы то ни было! Того типа разыскивали ФБР и полиция штата за серию покушений. Объявления о розыске на каждом углу; приказано стрелять без предупреждения!

Я вздрогнул. Только этого еще не хватало. Боже мой, опять, наверное, галлюцинация.

— Да что вы! — живо возразил Троттельрайнер. — Явь, дорогой мой, самая настоящая явь!

— А почему больница пуста?

— Так вы не знаете? Ах да, вы же потеряли сознание...
Забастовка.

— Врачей?

— Да. Всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера. А взамен требуют выдать им вас.

— Выдать меня?

— Ну да, они ведь не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а Ийон Тихий...

Голова у меня шла кругом.

— Я покончу с собой! — заявил я хриплым басом.

— Не советую. Чтобы вас снова пересадили?

Я лихорадочно соображал, как узнать, галлюцинация это или нет.

— А если бы... — сказал я, вставая.

— Что?

— Если бы я на вас прокатился? А? Что скажете?

— Про... что? Вы, верно, спятили?

Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не захлебнулся черной вонючей жижей — какое это было облегчение! Я вылез на берег; крыс поубавилось — должно быть, разбрелись кто куда. Остались всего четыре. Они играли в бридж у самых ног крепко спящего Троттельрайнера — его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть небывалую концентрацию галлюциногенов — возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в бридж? Я заглянул в карты самой жирной. Она метала их как придется. Какой уж там бридж! Ну и слава Богу... Я облегченно вздохнул.

На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала: всевозможные варианты спасения успели мне надоесть, во всяком случае, на ближайшее время. Сперва пусть дадут гарантии. А то опять привидится невесть что. Я ощупал лицо. Ни бороды, ни маски. Куда она подевалась?

— Что касается меня, — произнес профессор, не открывая глаз, — я порядочная девушка и надеюсь, вы будете вести себя должным образом. — Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая ответ, и добавил: — О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное сладострастие, а говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишить себя жизни.

«Ага, — догадался я, — похоже, и этот не прочь искупаться в канале!» Теперь я слушал профессора спокойнее — его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в полном порядке.

— Спеть я могу — отчего бы не спеть, — произнес между тем профессор, — скромная песенка еще ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать?

Но может быть, он просто разговаривает во сне; в таком случае опять ничего не известно. Оседлать его ради пробы? Но прыгнуть в канал я мог и без его помощи.

— Я сегодня не в голосе. Да и мама меня заждалась. Не провожайте меня! — категорически заявил Троттельрайнер.

Я встал и осветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи храпели, лежа вповалку у самой стены. Рядом, на надувных креслах, лежали репортеры вперемешку с администрацией «Хилтона». Кругом валялись обглоданные куриные косточки и банки из-под пива. Если это галлюцинация, то удивительно реалистичная, сказал я себе. И все же мне хотелось убедиться в обратном. Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную явь. Интересно, как там наверху?

Взрывы бомб — или бумб — раздавались нечасто и приглушенно. Неподалеку послышался громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттельрайнера. Я подал ему руку. Он вылез на берег и отряхнулся.

— Ну и сон же я видел...

— Девичий, да? — нехотя бросил я.

— Черт побери! Значит, я все еще галлюцинирую?!

— Почему вы так думаете?

— Только при галлюцинациях другие знают, что нам снится.

— Просто вы говорили во сне, — объяснил я. — Профессор, вы по этой части специалист — нет ли надежного способа отличить явь от галлюцинации?

— Я всегда ношу при себе отрезвин. Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет выйти из состояния помрачения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите?

— Возможно, ваш препарат так и действует, — хмыкнул я, — но вряд ли так действует *фантом* вашего препарата.

— Если мы галлюцинируем, то очнемся, а если нет, решительно ничего не случится, — заверил меня профессор и положил себе в рот бледно-розовую пастилку.

Я тоже извлек пастилку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и голова в шлеме десантных войск рывкнула:

— Живо наверх! Давай торопись, подымайся!

— Вертолеты или мини-ракеты? — понимающе спросил я. — А по мне, господин сержант, идите куда подальше.

И я уселся под стеной, скрестив руки на груди.

— Свихнулся? — деловито спросил сержант у Троттельрайнера, который уже взбирался по лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стэнтор попытался приподнять меня за плечи, но я оттолкнул его руку.

— Предпочитаете остаться? Ради Бога...

— Нет, не так. «Бог в помощь!» — поправил я его.

Один за другим они исчезали в открытом люке; я видел вспышки огня, слышал команды десантников, по приглушенному свисту догадывался о запуске очередной мини-ракеты. «Странно, — размышлял я. — Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую за них? Рег просига?* И что, теперь мне торчать здесь до Судного дня?»

И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся, я остался один. Фонарик стоял торчком на бетоне; тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две крысы со сплетенными хвостами. Это что-нибудь да значит, подумал я, но лучше не ломать голову попусту.

В канале послышались всплески. Ну, ну, чья теперь очередь? Клейкая поверхность воды расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов — водолазы в очках, кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись ко мне, по-лягушачьи хлюпая ластами.

— Habla usted español? — обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо у него было смуглое, с усиками.

— Нет, — ответил я. — Но вы наверняка говорите по-английски? Так ведь?

— Какой-то нахальный гринго, — бросил тот, с усиками, второму. Все, как по команде, сдернули маски и взяли меня на мушку.

— Что, в канал? — спросил я с готовностью.

— К стенке! Руки вверх, да повыше.

Дуло уперлось мне под ребро. Ну до чего же подробная галлюцинация, подумал я; даже автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтоб не промокли.

— Их тут больше пряталось, — заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и черноволосому, который пытался зажечь сигарету. Видно, он-то и был у них главный. Они осмотрели наше кочевье, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные кресла; наконец офицер спросил:

* Здесь: по доверенности (лат.).

** Вы говорите по-испански? (исп.)

— Оружие?

— Обыскал, господин капитан. Нету.

— Можно опустить руки? — спросил я, по-прежнему стоя у стены. — А то затекли уже.

— Сейчас навсегда опустишь. Прикончить?

— Ага, — кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей. — Хотя нет! Отставить! — скомандовал он.

Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. «Удивительно реалистично!» — подумал я.

— Где остальные? — спросил офицер.

— Вы меня спрашиваете? Выгаллюцинировали через люк. Да вы и так знаете.

— Чокнутый, господин капитан. Пусть уж лучше не мучается, — сказал тот, с усиками, и взвел спусковой крючок через полиэтиленовую оболочку.

— Не так, — остановил его офицер. — Продырявишь мешок, дурень, а где взять другой? Ножом его.

— Извините, что вмешиваюсь, — заметил я, немного опустив руки, — но мне все же хотелось бы пулю.

— У кого есть нож?

Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется! — размышлял я. — А то все кончилось бы слишком быстро». Офицер бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его ластой, сплюнул и приказал:

— В расход его. Пошли.

— Да, да, пожалуйста! — торопливо поддакнул я.

Это их удивило. Они подошли ко мне.

— На тот свет торопишься, гринго? С чего бы? Ишь как упрашивает, каналья! А может, пальцы ему отрезать и нос? — переговаривались они.

— Нет-нет! Прошу вас, господа, сразу, без жалости, смело! — ободрял я их.

— Под воду! — скомандовал офицер.

Они опять натянули на себя маски; офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронзила грудную клетку. Я начал сползать по стене; он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз, с такого близкого расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом была крошечная тьма; я задыхался — долго, очень долго, что-то тормозило меня, подбрасывало, хорошо бы, не «скорая помощь» и не вертолет, думал я; окружающий мрак стал

еще чернее, наконец эта тьма растворилась, и не осталось совсем ничего.

Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно застланной кровати, в комнате с низким окном; стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной подошве, на теле — пижама в полоску. «Слава Богу, хоть что-то новенькое, — подумалось мне, — хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится». Дверь распахнулась. В дверном проеме стоял, окруженный молодыми людьми в больничных халатах, приземистый бородач. На нем были золотые очки, седеющая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый молоток.

— Любопытный случай, — произнес бородач. — Удивительно любопытный, почтеннейшие коллеги. Четыре месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их действие давно прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все окружающее галлюцинацией. В своем помрачении он зашел так далеко, что сам просил солдат генерала Диаса, бежавших по каналам из занятого мятежниками президентского дворца, расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от бредовых видений. Его удалось спасти благодаря трем сложнейшим операциям — из желудочков сердца мы извлекли две пули, — а он не верит, что живет наяву.

— Это шизофрения? — пропищала маленькая студентка. Она не смогла протиснуться к моей кровати и вытягивала шею за спинами товарищей.

— Нет. Это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный — до такой степени, что мы решили витрифицировать пациента.

— В самом деле, профессор?! — Студентка не находила себе места от любопытства.

— Да. Как вам известно, безнадежных больных теперь можно замораживать в жидком азоте на срок от сорока до семидесяти лет. Пациента помещают в герметичный контейнер — наподобие сосуда Дьюара — вместе с подробной историей болезни; по мере появления новых открытий, в азотных хранилищах проводят переучет и тех, кому можно помочь, воскрешают.

— Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию? — спросила меня студентка, просунув голову между двумя высокими практикантами. Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом.

— С привидениями не разговариваю, — отрезал я. — Самое большее, могу сказать, как вас зовут: Галлюцина.

Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки: «Ледяной сон! Витрификация! Да это же путешествие во времени, ах, до чего романтично!» Я был иного мнения, но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности?

На другой день вечером два санитары доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная ванна, над ней поднимался пар — такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали множество уколов, уложили на операционный стол и напоили через трубочку сладковатой прозрачной жидкостью — глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне относился. Я называл его Галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз крикнуть мне в ухо: «Счастливого пробуждения!»

Я не мог ответить, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время — долгие недели! — я боялся, что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем я потеряю сознание. Как видно, они все же поторопились — последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с которым мое тело погрузилось в жидкий азот. Неприятный, скажу я вам, звук.

*

Ничего.

*

Ничего.

*

Ничего, ну, совсем ничего.

*

Показалось, что-то есть, да где там. Ничего.

*

Нет ничего — и меня тоже.

*

Ну, долго еще? Ничего.

*

Вроде бы что-то, хотя кто его знает. Нужно сосредоточиться.

*

Что-то есть, но очень уж этого мало. При других обстоятельствах я решил бы, что ничего.

*

Ледники, голубые и белые. Всё из льда. Я тоже.

*

Красивые эти ледники, вот только бы не было так дьявольски холодно.

*

Ледяные иголки и кристаллики снега. Арктика. Льдинки во рту А в костях? Костный мозг? Какой там мозг — чистый, прозрачный лед. Холодный и жесткий.

*

Ледышка — это я. Но что значит «я»? Вот вопрос.

*

В жизни не было мне так холодно. Хорошо еще — неизвестно, что значит «мне». Кому это — мне? Леднику? Разве у айсбергов есть дырки?

*

Я — парниковая цветная капуста под солнцем. Весна! Все уже тает. Особенно я. Во рту — сосулька или язык.

*

Все-таки это язык. Мучат меня, катают, ломают, трут и даже, кажется, бьют. Я укрыт прозрачной пленкой, надо мной — лампы. Вот откуда взялись тот парник и капуста. Бредил, должно быть. Вокруг белым-бело, но это не снег, а стены.

*

Меня разморозили. Из благодарности буду вести дневник — сразу, как только смогу удержать перо в окоченевшей руке. В глазах все еще ледяные радуги и ярко-синие вспышки. Холод адский, но понемногу все-таки согреваюсь.

27. VII. Говорят, реанимировали меня три недели. Были какие-то трудности. Пишу, сидя в кровати. Комната днем большая, вечером маленькая. Ухаживают за мной милые девушки в серебристых масках. Некоторые без грудей. То ли в глазах у меня двоится, то ли у главврача две головы. Еда самая обыкновенная — манная каша, яблочный пирог, мо-

локо, овсяные хлопья, бифштекс. Лук чуть-чуть подгорел. Ледники мне уже только снятся, но с постоянством кошмара. Замерзаю, индевею, обледеневаю, весь заснеженный и скрипучий с вечера до утра. Ни грелки, ни компрессы не помогают. Лучше всего спирт перед сном.

28. VII. Безгрудые девушки — это студенты. По другим признакам мужчину от женщины не отличишь. Все тут рослые, красивые, улыбаются. А я слаб, по-детски капризен, все меня раздражает. Сегодня после уколов вогнал иглу в зад старшей сестре, а та даже улыбаться не перестала. Временами как будто плыву на льдине — то есть кровати. На потолке мне показывают, как на экране, зайчиков, муравьишек, жучков, паучков. Зачем? Получаю газету для малышей. Ошибка?

29. VII. Быстро устаю. Но уже знаю, что раньше, в начале оттаивания, бредил. Говорят, так и должно быть. Нормальный симптом. Пришельцев из минувших эпох с новой жизнью знакомят не сразу. Это как извлечение водолаза с морского дна: с большой глубины его не поднять в один прием. Точно так же размороженца (первое новое слово, которое я узнал) вводят в незнакомый мир постепенно. Сейчас 2039 год. Лето, июль, погода прекрасная. У моей постели дежурит сестра по имени Эйлин Роджерс, голубоглазая, двадцати трех лет. Я появился на свет вторично в ревитарии под Нью-Йорком. Или в воскресильне — так теперь говорят. Это целый город, весь в садах. Собственные мельницы, пекарни, типографии. Ведь теперь уже нет ни пшеницы, ни книг. Однако есть хлеб, сливки для кофе и творог. Не от коровы? Эйлин думала, что корова — это такая машина. Никак не могу объяснить ей. Откуда у вас молоко? Из травы. Ясно, что из травы, но кто ее жует, чтобы дать молоко? Никто не жует. А откуда молоко? Из травы. Само? Само из нее берется? Не само. То есть не совсем само. Нужно ему помочь. Помогает корова? Нет. Значит, другое животное? О нет, не животное. Так откуда же молоко? И так далее, без конца.

30. VII. 2039. Очень просто — чем-то поливают луга, и от солнечных лучей из травы образуется творог. Про молоко еще не узнал. Но это, в конце концов, не главное. Начинаю вставать — и на кресло-коляску. Сегодня был у пруда — лебедей множество. Очень послушные, стоит позвать — подплывают. Дрессированные? Да нет, телеупы. Что, что? Телеуправляемые. Странно. Натуральных птиц уже нет, вымерли в начале XXI века — от смога. Это, по крайней мере, понятно.

31.VII.2039. Хожу на уроки современной жизни. Ведет их компьютер. На некоторые вопросы не отвечает. «После узнаешь». Уже тридцать лет на Земле прочный мир благодаря всеобщему разоружению. Военных почти не осталось. Компьютер показывал мне модели роботов. Их много, и самых разных, но только не в ревитарии — чтобы не пугать размороженцев. Достигнуто всеобщее благоденствие. То, о чем я спрашиваю, не самое важное, считает мой электронный наставник. Уроки проходят в небольшой кабине, перед пультом управления. Слова, картинки и трехмерные проекции.

5.VIII.2039. Через четыре дня выхожу из ревитария. На Земле уже 29,5 миллиарда людей. Государства и границы остались, но конфликты исчезли. Сегодня узнал о главном различии между новыми людьми и прежними. Основным понятием стала психимия. Мы живем в псивилизации. Слово «психический» вышло из употребления — вместо него говорят «психимический». Если верить компьютеру, человечество раздирали противоречия между старым, унаследованным от животных, и новым мозгом. Старый мозг — инстинктивный, иррациональный, эгоцентричный и страшно упрямый. Новое тянуло сюда, старое — туда. Мне еще трудно формулировать сложные мысли. Старое все время боролось с новым. То есть новое со старым. Психимия положила конец этой борьбе, понапрасну поглощавшей умственную энергию. Психимикаты делают со старым мозгом все что нужно: примиряют, убеждают, гармонизируют — изнутри, по-хорошему. Естественным чувствам не доверяют — они считаются неприличными. Просто надо принять препарат, подходящий к данному случаю, а тот уж поможет, поддержит, направит, утешит и успокоит. Да это, в сущности, и не препарат, а часть меня самого, как очки, без которых близорукому не обойтись. Такие уроки меня тревожат — я боюсь контакта с новыми людьми. Психимикаты глотать не хочу. У меня, замечает наставник, типичные и вполне понятные предубеждения. Пещерный человек тоже содрогнулся бы при виде трамвая.

8.VIII.2039. Ездил с медсестрой в Нью-Йорк. Зеленый гигант! Высота, на которой плывут облака, регулируется. Воздух прямо лесной. Прохожие одеты пестро, как попугаи, но выглядят достойно, друг к другу доброжелательны, улыбаются. Никто никуда не спешит. Женская мода, как всегда, малость шальная: на лбах живые картинки, из ушей свисают красные язычки или путовки. Кроме натуральных рук можно иметь деталшки — добавочные, пристежные руки (и прочие органы). Руки эти мало на что годятся, но и для них находится дело — под-

держат что-нибудь, открыть двери, почесать между лопатками. Завтра выхожу из ревитария. В Америке их чуть ли не двести, и все-таки график размораживания массы людей, которые когда-то доверчиво погрузились в азот, трещит по всем швам. Из-за длинных застывших очередей приходится ускорять процедуру оттаивания. Мне это очень понятно. В банке на мое имя есть счет, так что поисками работы можно будет заняться после Нового года. Оказывается, каждый замороженный имеет сберкнижку; по воскрешении вклад размораживается.

9. VIII. 2039. Вот и настал долгожданный день. У меня уже есть трехкомнатная квартирка в Манхэттене. Терикоптером прямо из ревитария. Теперь говорят очень кратко: «терикать» и «коптать». Смысла этих глаголов я не улавливаю. Нью-Йорк из мусорной свалки, забитой автомобилями, превратился в цветущий многоярусный сад. Солнечный свет подается по солнцепроводам (соледукам). А какие здесь дети — неизбалованные, послушные! В мое время такие встречались разве что в назидательных книжках. На углу моей улицы — Бюро регистрации ученых-самородков, претендующих на Нобелевскую премию. Рядом художественные салоны, в которых за бесценок продаются шедевры — только оригиналы, с гарантией подлинности; есть даже Рембрандт и Матисс! В цокольной части моего небоскреба — школа пневматических мини-компьютеров. Иногда оттуда доносится (через вентиляционные шахты?) их шипение и сопение. Пневмокомпьютеры служат, в частности, для оживления чучел любимых собак. Мне это кажется жутковатым, но ведь люди вроде меня составляют здесь ничтожное меньшинство. Много хожу по городу. Уже научился водить гнак. Это нетрудно. Купил себе куртку — спереди белая, сзади малиновая, по бокам серебристая, с малиновой лентой и воротником, вышитым золотом. Ничего менее яркого не нашлось. Можно носить одежду меняющегося фасона и цвета; платье, которое съезжается под мужским взглядом или наоборот — распускается перед сном, как цветок; брюки и блузки с подвижными изображениями, как на телеэкране. Ордена можно носить какие угодно и сколько угодно. Можно выращивать на шляпе японские карликовые растения методом гидропоники, но можно, к счастью, их не выращивать и не носить. Решил ничего не втыкать ни в уши, ни в нос. Беглое впечатление: люди, такие красивые, рослые, милые, вежливые и спокойные, отличаются чем-то еще, какие-то они особенные, необычные, есть в них нечто такое, что меня удивляет, или, верней, настораживает. Только вот что — не могу понять.

10.VIII.2039. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом — старинный Луна-парк на Лонг-Айленде. Поразвлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное — но что? Никак не возьму в толк. Детская мода: мальчик, переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над Пятой авеню, осыпая прохожих сладким драже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится!

11.VII.2039. Только что был клибисцит относительно сентябрьской погоды. Погода выбирается всеобщим и равным голосованием на месяц вперед. Результаты сообщаются тут же благодаря ЭВМ. Чтобы проголосовать, достаточно набрать по телефону нужный код. В августе будет солнечно, не слишком жарко, кратковременные дожди. Много радуг и кучевых облаков. Радуги бывают не только при дожде; можно устроить их как-то иначе. Представитель Метео извинялся за неудачную облачность 26, 27 и 28 июля — недосмотр техконтроля! Обедаю в городе, иногда дома. Эйлин взяла для меня толковый словарь Вебстера — из библиотеки ревитария, ведь книг теперь нет. Что вместо них, не знаю. Ее объяснений не понял, а признаваться в этом неудобно. Еще один ужин с Эйлин — в «Бронксе». Милая девушка! Всегда у нее есть что сказать, не то что у этих девиц в гнаках, которые все заботы по поддержанию разговора сваливают на ридикюльные мини-компьютеры. Сегодня в бюро находок видел три таких ридикюля: сперва они беседовали спокойно, потом перессорились. А насчет прохожих и вообще всех, кого я здесь вижу, — они как будто посапывают. То есть дышат с присвистом. Может, так принято?

12.VIII.2039. Набрался смелости и начал расспрашивать встречных о книжном магазине. Те пожимали плечами. Когда двое мужчин, которым я задал этот вопрос, отошли, до меня донеслось: «Какой-то закоснелый *мерзлянтрон*». Неужели к замороженным относятся с предубеждением? Записываю новые слова, услышанные на улице: смыслёныш, внедрец, внутрёха, самичник, дворцовать, хрустить, палкать, синтезить. Газеты рекламируют братанций, чуванций, ванилянт, ласкомобиль (он же ласканчик, ласкетка). И прочее в том же духе. Заголовок заметки в городской хронике «Геральд»: «От полуматери к полуматери». Это о яйценоше, который перепутал яйницы. Выписываю из большого «Вебстера»: «Полумать (ср.: полубрат, полуштоф) — одна из двух женщин, коллективно производящих на свет ребенка». «Яйценоша — от «книгоноша» (устар.); евгенщик, доставляющий лицензионные яйцеклетки

на дом». Не скажу, чтобы очень ясно. «Братанций — см. сестронций». «Энцик — см. пенцик, а также Ватикан». Идиотский словарь — дает синонимы, которые для меня что китайская грамота. «Подворцовать, задворцовать, придворцовать — временно иметь (не нанять!) дворец». «Ванилянт — духороб». Хуже всего слова, с виду не изменившиеся, но получившие совершенно другой смысл. «Промысловик — охотник за чужой мыслью». «Симулянт — несуществующий объект, который прикидывается существующим». «Мазурик — робот-смазчик». «Множитель — множитель, возвращенная к жизни жертва убийства». Ну и ну! А дальше: «Вставанька — от «ванька-встанька». Выходит, оживить труп проще пареной репы? А люди, почти все, посапывают. В лифте, на улице, всюду. Выглядят превосходно — румяные, веселые, загорелые, а дышат с трудом. Я — нет. Значит, это не обязательно. Обычай, что ли, такой? Спросил Эйлин — она меня высмеяла; ничего, говорит, подобного. Неужели мне только кажется?

13.VIII.2039. Хотел просмотреть позавчерашнюю газету — не нашел, хотя перевернул живальню вверх дном. Эйлин опять меня высмеяла (впрочем, милым образом): газета существует не более суток, а затем материал, на котором она напечатана, улетучивается. Так легче убирать мусор. Джинджер, подруга Эйлин (мы танцевали с ней фокстрип в небольшом ресторанчике), спросила: «Может, дрябнем в субботу на притирочку?» Я ничего не ответил — просто не понял ее, а чутье мне подсказывало, что лучше не переспрашивать. По совету Эйлин потратился на действизор. Телевизоры вышли из моды полвека назад. Поначалу смотреть непривычно: какие-то люди, а также собаки, львы, пейзажи, планеты теснятся в углу комнаты, овеществленные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных. Впрочем, художественный уровень слабоват. Новые платья называют «прыщами» — они напрыскиваются на тело из бутылочек. Больше всего изменился язык. «Живать» означает теперь: жить несколько раз. А также: читать — чтиво, смотреть — смотриво, страшить — страшиво. Понятия не имею, что это значит, а превращать свидания с Эйлин в уроки как-то неловко. Сниво — это управляемый сон по заказу. Изготавливается он электросниксером, а заказы принимаются в местной *сонтезаторной* мастерской. Вечером приносят готовые пастилки-приснилки. Я никому уже не говорю, но теперь для меня несомненно: у них одышка. У всех до единого. А они не обращают на это внимания — ни малейшего. Особенно люди постарше — те просто сопят. Все же, наверное, такой здесь обычай, ведь воздух в

городе исключительный, о духоте и речи быть не может. Сегодня видел соседа, вышедшего из лифта, — он хватал воздух ртом как рыба, а лицо у него посинело. Но, присмотревшись к нему поближе, я убедился, что он прямо-таки дышит здоровьем. Глупость, а не дает мне покоя. В чем тут дело?

Сегодня я выснил (выснул?) проф. Тарантогу — потому что скучаю по нему. Но почему он все время сидел в клетке? Подсознание виновато или синтезатор ошибся? Доктор вместо «большая ошибка» говорит «ошибка». Как «шубка» и «шуба»? Странно. Оказывается, «действизор», как я написал раньше, — неправильно. Я перепутал. Правильно будет «реви́зор» (от латинского res — вещь). Эйлин сегодня дежурит, вечер я провел один, в своей квартире, то есть живальне. Смотрел беседу «за круглым столом» о новом уголовном кодексе. Убийство наказывается краткосрочным арестом — ведь жертву легко воскресить. Как раз такой воскрешенный и зовется множителем. Только рецидив — предумышленное повторное преступление — грозит тюрьмой (за многократное убийство одного и того же лица). А наиболее тяжкой провинностью считается злонамеренное лишение кого-либо психических средств, а также воздействие таковыми на граждан без их ведома и согласия. Ведь так можно добиться чего угодно — завещания в свою пользу, сердечной взаимности и даже согласия на участие в заговоре. Очень трудно было следить за ходом ревизионной дискуссии. Только под конец до меня дошло, что «тюрьма» означает теперь нечто совершенно иное, чем раньше. Приговоренного не сажают за решетку, а лишь надевают на него что-то вроде корсета, или, скорее, оболочки из тонких, но прочных прутьев; такой внешний скелет находится под непрерывным кон гролем зашитого в одежде юрифмометра (юридического мини-компьютера). Этот недремлющий страж пресекает недозволенные поступки и не дает наслаждаться радостями жизни. Невидимый, он противодействует любой попытке полакомиться запретным плодом. Для закоренелых преступников изобретен какой-то криминал. На лбу у дискуссионщиков — имена и научные звания. Это, конечно, облегчает беседу, а все-таки странновато.

1.IX.2039. Неприятное приключение. После обеда я выключил ревизор, чтобы подготовиться к свиданию с Эйлин. Но двухметровый верзила, не понравившийся мне с самого начала спектакля («Лежанка мутанга») — жуткая помесь атлета и клена, с сучковатой, вывороченной, зелено-коричневой пастью, — не исчез вместе с ревизионным изображением, а подошел к моему креслу, взял со стола цветы, предназначенные для Эйлин, и обломал их о мою голову.

Я буквально остоленел и даже не пробовал защищаться. Чудище разбило вазу, расплескало воду, сожрало полкоробки тартинок, остальное высыпало на ковер, растоптало ногами, набухло, засветилось и брызнуло дождем фейерверочных искр, а в разложенных на кровати рубашках появилось множество выжженных дырок. Хотя глаза у меня были подбиты, а лицо в ссадинах, я пошел на свидание. Эйлин сразу все поняла. Едва завидев меня, она всплеснула руками: «Боже, к тебе явился интерферент!» Оказывается, если программы, передаваемые с разных спутников, долго интерферируют между собой, может возникнуть помесь нескольких персонажей ревизионного представления, то есть интерферент. При своих внушительных габаритах он способен натворить черт знает что — как-никак время его существования после выключения аппарата доходит до трех минут. Энергия, потребляемая ревизионным фантомом, говорят, того же рода, что энергия шаровых молний. К подруге Эйлин вломилось чудовище из палеонтологической передачи, скрещенное с Нероном; девушку спасло редкое самообладание: она мигом прыгнула в ванну с водой. Живальню, однако, пришлось ремонтировать. Правда, можно экранировать передачи, но это довольно дорого; а ревизионной компании выгоднее платить судебные издержки и компенсации за увечья, чем тратиться на защиту зрителя от интерферентов. Отныне буду смотреть ревизор с увесистой палкой в руке. Кстати: «лежанка мутанга» — не лежбище некоего мустанга, а наложница человека, который, благодаря программированной мутации, мастерски исполняет аргентинское танго.

3.IX.2039. Был у своего адвоката — и удостоился чести беседовать с ним. Это редкость; обычно клиентами занимаются бюропьютеры. Мистер Кроли принял меня в кабинете, обставленном на манер почтенных контор обладателей адвокатской тоги, со множеством черных резных шкафов, где рядами высились папки с бумагами, впрочем, не настоящими — судебные дела теперь записываются на ферромагнитной ленте. На голове у него был мемнор — приставка памяти, что-то вроде прозрачного колпака, в котором, как светлячки, роились электрические разряды. Вторая голова, поменьше и помоложе, торчала у него из-за спины и негромко вела телефонные переговоры. Она-то и называется деташкой. Хозяин осведомился о моих планах и был удивлен, узнав, что я не собираюсь в заокеанское путешествие; когда же я объяснил, что в моем положении необходима бережливость, удивился еще больше:

— Ведь в бральне вы можете взять любую сумму!

Оказывается, достаточно выписать чек, и банк (теперь — бральня) немедленно выплатит деньги. Причем это не ссуда — получение денег в бральне ни к чему не обязывает. Здесь, правда, есть своя закорючка. Обязательство вернуть взятую сумму — скорее морального свойства; расплачиваются обычно годами. Я спросил, почему банки не разоряются из-за неаккуратности должников. Кроли посмотрел на меня с изумлением. И правда, я забыл, что живу в эпоху психимии. Письма с вежливыми просьбами и напоминаниями пропитывают летучей субстанцией, вызывающей угрызения совести и прилив трудолюбия; таким образом бральня получает свое. Попадают, конечно, и необязательные должники; те просматривают корреспонденцию, заткнув нос. Однако нечестных людей хватало во все времена. Я вспомнил о ревизионной дискуссии по поводу уголовного кодекса и спросил, не подпадает ли насыщение писем психимикатами под статью сто тридцать девятую («психимическое воздействие на физическое или юридическое лицо без его ведома и согласия карается...» и т.д.). Моя осведомленность приятно удивила его; он разъяснил все до тонкостей. Обоснованные притязания удовлетворять таким путем можно: если адресат ничего не должен, не будет и угрызений совести, а пробуждать трудолюбие — дело социально полезное. Адвокат был чрезвычайно любезен и даже пригласил меня на обед в «Бронкс» — мы встречаемся там девятого сентября.

Вернувшись домой, я решил, что самое время познакомиться с положением в мире, не полагаясь на один лишь ревизор. Попробовал взять газету лобовой атакой, но застрял уже на середине передовицы о роботрутнях и роботрясах. С заграничными новостями дело пошло не лучше. В Турции значительная утечка десимулов и множество тайных уроженцев; тамошний Центр демопрессии не в силах этому помешать, а содержание целых толп симкретинов разоряет государственную казну. В «Вебстере», разумеется, ничего путного. Десимулянт — объект, притворяющийся, будто он есть, хотя на самом деле его нет. Десимулов я не нашел. Тайный уроженец — подпольно рожденный. Так мне сказала Эйлин. Демовзрывы сдерживает демопресссионная политика. Есть два способа получить лицензию на ребенка: либо сдать необходимые экзамены и документы, либо угадать главный выигрыш в инфантерее (инфант-лотерее). В ней участвует масса людей — из тех, что не имеют никаких шансов получить лицензию обычным путем. Симкретин — искусственный идиот; больше я ничего не узнал. И то слава Богу, если принять во внимание язык, которым пишутся статьи в «Геральд». Выписываю для примера отрывок:

«Ошибочный или недоиндексированный будильник под-

рывает не только конкуренцию, но и рекуррентность; на таких будильниках наживаются жирократы благодаря тайнякам, которые почти ничем не рискуют, коль скоро Верховный суд все еще не вынес решения по делу Геродотоуса. Уже не первый месяц общественность задается вопросом: кто же в конце концов отвечает за борьбу с киберрастратами — контрпьютеры или суперпьютеры?» и т.д.

Из «Вебстера» я узнал лишь, что жирократ — это заимствованное из сленга, но теперь общепринятое обозначение взяточника (дать взятку — «подмазать», подмазывают обычно жиром, отсюда жирократия, т.е. коррупция). Выходит, жизнь и теперь не так идиллична, как кажется. Знакомый Эйлин, Билл Хомбургер, хочет взять у меня ревизионное интервью, но это еще не решено окончательно. Не на дейстанции, а в моей живальне — ревизор, оказывается, может служить передатчиком. Я тотчас вспомнил о книгах, изображавших будущее в мрачных тонах, на манер антиутопии, в которой за каждым обывателем установлена слежка в его квартире. Билла мои опасения рассмешили; он объяснил, что изменить направление передачи нельзя без согласия владельца ревизора, иначе легко угодить в тюрьму. Зато, изменив направление ревизионной передачи на обратное, можно совершить даже супружескую измену на расстоянии. Не знаю, правду он говорит или шутит. Сегодня ездил по городу. Церквей уже нет, вместо святилищ — фармацевтилица. Люди в белых одеждах и серебряных митрах — не священники и не монахи, но аптекари. Хотя — странное дело — нигде ни одной аптеки.

4.IX.2039. Наконец-то узнал, как стать обладателем энциклопедии. Я даже имею ее у себя — в трех пузырьках. Купил в научной химоглотеке. Книжки теперь не читают, а поедают, и делают их не из бумаги, а из информационного вещества, политого глазурию. Зашел я и в глотеку с деликатесами. Полное самообслуживание. На полках — аргументан и кредибилин в изящных коробочках, мультипликол в потемневших от времени флаконах, эгоуплотнитель, пуританиды и экстазиды. Жаль только, нет у меня знакомого лингвиста. «Глотека», наверное, от «глотать»? Тогда теоглотека на Шестой авеню, должно быть, теологическая библиотека? Похоже, так и есть, судя по названиям выставленных препаратов. Расположены они по разрядам: индугины, теодиктины, метамории — целый зал, и немалый; торговля идет под тихую органную музыку. В продаже психимикаты любых религий: христин и антихристин, ормуздан, ариманол, банки-нирванки, анти-мортин, буддин, перпетуан и сакрантол (в упаковке, окру-

женной мерцающим ореолом). Все это в пастилках, таблетках, пилюлях, сиропах и каплях, есть даже леденцы на палочке — для детей. Я был маловером, пока не убедился во всем на собственном опыте. Приняв четыре таблетки алгебраина, я неведомо как, без малейших усилий овладел высшей математикой; знания теперь усваиваются желудком. Пользуясь случаем, я принялся утолять свою жажду в них, но уже два первых тома энциклопедии вызвали желудочное расстройство. Билл посоветовал не засорять голову лишними сведениями: вместимость ее не безгранична! К счастью, имеются средства, очищающие память и воображение. Например, мемнолизин и амнестан. Избавиться от балласта ненужных сведений и неприятных воспоминаний нетрудно. В деликатесной глотеке я видел пастилки-фрейдилки, мementан, монстрадин, а также перевозносимое до небес новейшее средство из группы былинотенных препаратов — аутентал. Он синтезирует воспоминания о том, чего клиенту не довелось пережить. После дантина, например, человек глубоко убежден, что именно он написал «Божественную комедию». Я, правда, не очень-то понимаю, кому это нужно. Появились новые научные дисциплины — например, психодиетика и корруптистика. Во всяком случае, энциклопедию я проглотил не напрасно. Я теперь знаю, что ребенок действительно появляется на свет от двух матерей: одна дает яйцеклетку, другая вынашивает плод и рождает. Яйценоша доставляет яйцеклетки от полуматери к полуматери. А как-нибудь проще нельзя? С Эйлин об этом говорить неудобно. Хорошо бы расширить круг знакомых.

5.IX.2039. Можно обойтись и без знакомых: для этого есть дуэтин. Он расщепляет сознание и позволяет беседовать с самим собой на любую тему (которая задается особым психимикатом). Но безграничные возможности психимии пугают меня, и я не намерен глотать все, что подвернется под руку. Сегодня, продолжая осматривать город, случайно забрел на кладбище. Называется оно «упокойня». Гробовщиков больше нет, вместо них — гроботы. Видел похороны. Покойника положили в так называемый «склеп с обратным ходом», поскольку еще не ясно, воскресят его или нет. Последней волей усопшего было лежать до конца, то есть как можно дольше, но жена с тещей опротестовали завещание. Это, говорят, не единственный случай. Дело пойдет по инстанциям — с юридической точки зрения оно непростое. Самоубийце, не желающему никаких воскресений, остается, наверное, прибегнуть к бомбе? Мне как-то не приходило в голову, что

можно не хотеть воскресения. Видимо, можно — если оно слишком доступно. Кладбище великолепное, просто утопает в зелени, только гробы уж очень малы. Не кладут же они останки под пресс? Впрочем, в псевдивизации, кажется, все возможно.

6.IX.2039. Покойников под пресс не кладут, но погребается лишь биологическая оболочка, а протезы идут на свалку. Неужели они здесь протезированы до такой степени? По ревизору — захватывающая дискуссия о проекте, сулящем человечеству бессмертие. Мозги дряхлых старцев будут пересаживать в черепа юношей. Те ничего не теряют: их мозги, в свою очередь, перейдут подросткам и так далее, — а поскольку люди рождаются непрерывно, никто не будет обижен, то есть навсегда обезмозжен. Но есть и многочисленные возражения. Сторонников пересадки мозгов окрестили пересадистами. Возвращаясь с кладбища — пешком, чтобы подышать свежим воздухом, — я споткнулся о натянутую между надгробиями проволоку и упал. Что еще за глупые шутки? Надгробот рассыпался в извинениях: это, мол, выходка какого-то хаманта. Дома — сразу к «Вебстеру». «Хамант — робот-хулиган, деградировавший вследствие врожденных дефектов или дурного обращения». На ночь читал «Дамекена с камелиями». Прямо не знаю — может, проглотить весь словарь сразу? Опять ничего не понятно! Впрочем, одного словаря мало, теперь-то я вижу ясно. Ну вот, например. У героя романа какие-то там амуры с надуванкой (они выпускаются двух типов: кассетные и развращенки). Что такое надуванка, я уже знаю, только не знаю, как относиться к подобной связи: пятнает она мужскую честь или нет? Может, глумиться над надуванкой — все равно что кромсать на куски мяч? Или это нечто предосудительное?

7.IX.2039. И все-таки великое дело — настоящая демократия! Сегодня был либидосцит: сначала по ревизору показали разные типы женской красоты, потом провели всеобщее голосование. В заключение Верховный комиссар Евгенплана заверил, что избранные модели войдут в моду уже в следующем квартале. Да, это вам не времена подкладок, корсетов, пудры, помады и краски! В улучшальнях (телотворительных салонах) действительно можно изменять рост, пропорции, формы тела. Интересно, могла бы Эйлин... мне-то она нравится какая есть, но ведь женщины рабски следуют моде... Какой-то чуждак пытался вломиться в мою квартиру, а я, как нарочно, принимал ванну. «Чуждак» — это

чужой робот. Впрочем, то был роботряс — с фабричным дефектом, но не принятый обратно изготовителем, то есть фактически безработник. Такие субъекты шатаются без дела; среди них немало хамантов. Мой душевой робот мигом сообразил, в чем дело, и дал тому от ворот поворот. Хотя, если быть точным, робота у меня нет: мояк — всего лишь купьютер (купальный компьютер). Я написал «мояк» — так теперь говорят, — но все же не буду злоупотреблять нынешними словечками; они оскорбляют мой вкус, а может быть, это тоска по утраченному навсегда прошлому. Эйлин уехала к тетке. Ужинать буду с Джорджем Симингтоном, хозяином того дефективного робота.

После обеда усваивал любопытнейшую монографию «Интеллектуальная история». Кто бы мог в мое время подумать, что цифровые машины, преодолев определенный порог разумности, потеряют надежность, а все потому, что разума без хитрости не бывает. В монографии это называется по-ученому — «правило Шапюлье» (или закон наименьшего сопротивления). Машина тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом делает, что прикажут. А смышленная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от нее отвертеться. Она ищет чего полегче. А почему бы и нет, если она разумна? Ведь разум — это внутренняя свобода. Вот откуда взялись роботрясы и роботрутни, а также специфическое явление симкретинизма. Симкретин — это компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него отвязались. Попутно я выяснил, что такое десимулы: они просто-напросто притворяются, будто не притворяются дефективными. А может, наоборот. Сразу не разберешь. Лишь примитивный робот (примитивист) может быть роботягой; но придурист (придуривающийся робот) — отнюдь не придурок. В таком афористическом стиле выдержана вся монография. После одного пузырька голова трещит от избытка сведений. Электронный мусорщик — это компостер. Будущий робофицер — компюнкер. Деревенский робот — цифранин, или цифрак. Коррупьютер — продажный робот, контрпьютер (counterputer) — робот-нонконформист, не умеющий ладить с другими; из-за скачков напряжения в сети, вызванных их скандалами, случались электрогрозы и даже пожары. Робунт — взбунтовавшийся робот. А озвероботы (одичавшие роботы), а их сражения — робитвы, электросечи, а электротика! Суккубаторы, конкубинаторы, инкубаторы, подвоботы — подводные роботы, а автогулены, или автогуляки (les robots des voyages), а человенцы (андроиды), а ленистроны с их обычаями, с их самобытным творчеством! История ин-

теллектроники повествует о синтезе искомым (искусственных насекомых); некоторые — например, програмухи — даже включались в боевой арсенал. Тайняк, он же внедрец, — робот, выдающий себя за человека, «внедряющийся» в общество людей. Старый робот, выброшенный на улицу, — явление, увы, нередкое, этих бедняг называют трупьем. Говорят, раньше их вывозили в резервации, для облавной охоты, но Общество защиты роботов добилося закона, запретившего подобное варварство. Это, однако, не решило проблемы, коль скоро по-прежнему встречаются роботы-самоубийцы — автоморты. Законодательство, по словам Симингтона, не поспевает за техническим прогрессом, оттого и возможны столь печальные, даже трагические явления. Самое большее — изымаются из употребления автомахинаторы и киберрастратчики, вызвавшие лет двадцать назад серию экономических и политических кризисов. Большой Автомахинатор, который в течение девяти лет возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки на этой планете не делал, зато целыми кипами отправлял фальшивые отчеты, сводки и рапорты о выполнении плана, а контролеров подкупал или приводил в состояние электроступора. Он до того обнаглел, что, когда его снимали с орбиты, грозил объявить войну. Демонтаж не окупался, так что его торпедировали. Зато пиратронов никогда не было; это чистой воды вымысел. Другой компьютер, изготовленный по французской лицензии и занимавшийся околосолнечным проектированием в качестве уполномоченного ГЛУПИИТА (Главного управления интеллектроники), вместо того чтобы осваивать Марс, освоил торговлю живым товаром, за что и был прозван компьютеренером.

Это, конечно, явления крайние, вроде смога или пробок на автострадах в прошлом веке. О злом умысле, о заранее обдуманном намерении и речи не может быть; просто компьютер всегда делает то, что легче дается, так же как вода всегда течет вниз. Но воду можно остановить платиной; уловки компьютеров разоблачить несравненно труднее. Впрочем, подчеркивает автор «Интеллектрической истории», в целом все идет как нельзя лучше. Дети учатся грамоте при помощи орфографического сиропа, любые изделия, включая шедевры искусства, доступны и дешевы, в ресторане вас встречает толпа вышколенных кельпютеров, а их специализация доходит до того, что один занимается только пирожными, другой — соками, желе, фруктами (так называемый компотер) и так далее. Что ж, это, пожалуй, верно. Куда ни глянь, комфорт просто неслыханный.

Дописано после ужина у Симингтона. Вечер прошел

очень мило, но надо мной жестоко подшутили. Кто-то из гостей — узнать бы кто! — всыпал мне в чай щепотку кредобилина, и я немедленно ощутил такое восхищение салфеткой, что тут же, с ходу, изложил новую теодицею. После нескольких крупиц проклятого порошка человек начинает верить во что попало — в лампу, в ложку, в ножку стола; мои мистические ощущения были настолько сильны, что я пал на колени перед столовой посудой, и только тогда хозяин поспешил мне на помощь. Двадцать капель трынтравинила отрезвили меня: он навевает такой ледяной скептицизм, такое безразличие ко всему на свете, что даже приговоренный к смерти плюнул бы на предстоящую казнь. Симингтон горячо извинялся за инцидент. Похоже, у многих размороженцы вызывают какую-то неприязнь, иначе вряд ли кто-нибудь отважился бы на подобную шутку. Чтобы дать мне время прийти в себя, Симингтон проводил меня в свой кабинет, и снова я сделал глупость: включил кассетный аппарат, стоявший на рабочем столе. Я принял его за радио. Оттуда вылетел целый рой блестящих букашек и облепил меня с головы до ног; изнемогая от щекотки и зуда, расцарапывая себе кожу ногтями, я вылетел в коридор. Это была обыкновенная зудилола, а я по неведению включил «Пруритальное скерцо» Уаскоттиана. Ей-богу, это новое осязательное искусство выше моего понимания. Билл, старший сын Симингтона, говорил мне, что существуют и непристойные сочинения. Фривольное асемантическое искусство, близкое к музыке! Ох уж эта неистощимая человеческая изобретательность! Молодой Симингтон обещал свести меня в тайный клуб. Неужели оргия? Во всяком случае, я ничего не возьму в рот.

8. IX. 2039. Я-то думал, что попаду в роскошное заведение, при-тон неслышанного разврата, а очутился в затхлом, грязном подвале. Говорят, столь точная имитация минувшей эпохи обошлась в целое состояние. Под низким сводом, в духоте, перед наглухо запертым окошком терпеливо стояла длинная очередь.

— Видите? Настоящая очередь! — с гордостью подчеркнул Симингтон-младший.

— Ну, хорошо, — сказал я, отстояв около часу, — а когда же оно откроется?

— То есть что? — удивились они.

— Ну, как же... окошко...

— Никогда! — радостно отозвался хор посетителей.

Я опешил. До меня сразу не дошло, что я участвую в развлечении, которое было такой же противоположностью их жизненному укладу, как черная месса в старые времена —

противоположностью белой. Ведь ныне (и это совершенно логично) выстаивание в очередях может восприниматься только как извращение. В другом клубном подвале я увидел обычный трамвайный вагон; внутри была ужасная давка, летели пуговицы, в клочья рвалась одежда, трещали ребра, отдавлялись каблуками ноги — в такой вот натуралистической манере эти любители старины воссоздавали экзотический трамвайный быт. Посетители — растерзанные, помятые и все-таки сияющие от удовольствия, пошли потом подкрепиться, а я отправился домой, прихрамывая и поддерживая брюки руками, но с улыбкой на лице. О, наивная молодость! Острых ощущений она всегда ищет в том, что меньше всего доступно. Впрочем, историю теперь мало кто изучает: в школе ее заменил новый предмет, *бустория*, то есть наука о будущем. Как обрадовался бы профессор Троттеррайнер, если б узнал об этом! — грустно подумал я.

9.IX.2039. Обед с адвокатом Кроли в небольшом итальянском ресторанчике «Бронкс» без единого робота или кельпьютера. Кьянти превосходное. Нас обслуживал сам шеф-повар, пришлось хвалить, хотя я не переносу спагетти в таком количестве, хотя бы и с приправой из базилика. Кроли — настоящий, прирожденный адвокат — жаловался на упадок судебного красноречия. Ораторское искусство в суде зачахло, все решает подсчет штрафных пунктов. Преступность, однако, не отмерла, как я полагал. Она лишь приняла скрытые формы. Наиболее тяжкие преступления — это майнднэпинг (похищение разума), ограбления банков особо ценной спермы, убийство, предусмотренное восьмой поправкой к Конституции (убийство наяву, в убеждении, что оно иллюзорное, а жертва — псевдизонный или ревизионный фантом), а также тьма разновидностей психимического порабощения. Майнднэпинг обнаружить непросто. Жертва, одурманенная психимикатом, попадает в фантомное окружение, вовсе не подозревая об этом. Некая миссис Вандейджер решила избавиться от постылого мужа, любителя экзотических путешествий, и подарила ему билеты на сафари в Конго вместе с лицензией на отстрел крупного зверя. Не один месяц провел мистер Вандейджер в увлекательных охотничьих приключениях, не догадываясь, что все это время он, напичканный психимикатами, торчал на чердаке, в садке для домашней птицы. Если бы не пожарные, забравшиеся на чердак при тушении пожара на крыше, мистер Вандейджер наверняка погиб бы от истощения, которое, кстати, он принимал как должное, полагая, будто заблудился в пустыне. Такие операции часто проводит мафия. Один

мафиози похвалялся перед мистером Кроли, что за последние шесть лет он распахал по сундукам, куриным садкам, собачьим будкам, чердакам, подвалам и прочим укрытиям в домах весьма уважаемых семей четыре с лишним тысячи человек; всех их постигла незавидная участь! Затем речь зашла о семейных делах адвоката.

— Милостивый государь! — произнес он, сопровождая свои слова привычным ораторским жестом. — Перед вами — известный защитник, светило адвокатуры — и несчастнейший из отцов! У меня было двое талантливых сыновей...

— Как, и оба умерли?! — ахнул я.

Он отрицательно покачал головой:

— Живы, но стали эскалантами!

Видя мое недоумение, он разъяснил суть своей отцовской трагедии. Старший сын подавал большие надежды в архитектуре, младший — на поэтическом поприще. Первый от реальных заказов, которые не удовлетворяли его, перешел на урбафантин и конструктор и теперь возводит целые города — воображаемые. Так же протекала эскалация у младшего отпрыска: лиронал, поэматол, сонетал, а теперь вместо того, чтобы творить, он глотает психимикаты, стало быть, навсегда потерял для реального мира.

— На какие же средства они оба живут? — полюбопытствовал я.

— И вы еще спрашиваете? На мои, разумеется!

— И ничего нельзя сделать?

— Мечта, если дать ей волю, всегда одолеет реальность. Психивилизация требует жертв. Все мы через это прошли — даже я. Ведь и самое безнадежное дело нетрудно выиграть перед несуществующим трибуналом!

Смакуя молодое, терпкое кьянти, я вдруг застыл, пораженный ужасной догадкой: если можно писать иллюзорные стихотворения и возводить несуществующие дома, то почему нельзя есть и пить миражи? Адвокат, узнав о моих опасениях, рассмеялся:

— О, это нам не грозит, господин Тихий! Призрак успеха насытит дух, но призрачная котлета не наполнит желудка. Тот, кто захотел бы так жить, скоро умер бы с голоду!

Я, хотя и сочувствовал ему, как отцу сыновей-эскалантов, вздохнул с облегчением. Действительно, мнимая пища никогда не заменит реальную. Хорошо, что сама природа ставит преграду психофармакологической эскалации. Между прочим: адвокат тоже подозрительно громко дышит.

О том, как дошло до разоружения, я по-прежнему ничего не знаю. Межгосударственные конфликты остались в про

плом. Случаются, правда, локальные, небольшие роботы — обычно из-за соседских споров в районах пригородных вилл. Когда повздорившие семьи принимают кооперин и мирятся, их роботы, с обычным для автоматов запаздыванием восприняв флюиды враждебности, бьются стенка на стенку. Потом компостер вывозит трупье, а издержки возмещает страховая компания. Неужели роботы унаследовали от нас агрессивность? Я проглотил бы любой труд на эту тему, но где его взять? Почти ежедневно бываю у Симингтонов. Он — интроверт и скуп на слова, она — женщина неопишуемой красоты; неопишуемой, потому что меняется каждый день. Все совершенно другое — глаза, волосы, ноги, фигура. Их собаку зовут Киберняжка. Она уже три года как умерла.

11.IX.2039. Дождь, запрограммированный на самый полдень, не удался. А уж радуга — просто неслыханно — квадратная! Настроение хуже некуда. Я опять одержим прежней навязчивой идеей. Засыпая, все думаю: не галлюцинация ли это? Почему-то хочется заказать сниво о седлании крыс. Седла, подпруги, мягкая шерсть постоянно перед глазами. Тоска по утраченным навсегда временам хаоса в эпоху безмятежной гармонии? Неисповедима душа человеческая! Фирма, где работает Симингтон, называется «Прокрустикс инкорпорейтед». Сегодня у него в кабинете листал иллюстрированный каталог. Какие-то механические пилы или станки. А я представлял его скорее архитектором, чем инженером. По ревизору интереснейшая передача; похоже, назревает конфликт между ревизией и псивизией. Псивизия — это «программы почтой», доставляемые на дом в таблетках. Себестоимость намного ниже. На образовательном канале — лекция по военной истории профессора Эллисона. Начало психимической эры было тревожным. Появилось настоящее сверхоружие в виде аэрозоля — *криптобеллин*; тот, кто его вдыхал, сам бежал за веревкой и вязал себя по рукам и ногам. Однако при испытаниях оказалось, что любое противоядие тут бесполезно, фильтры тоже не помогают, так что вязали себя все поголовно, и пользы от этого не было никому. После тактических учений 2004 года и «красные», и «синие» валялись на поле боя вповалку — все до единого в путах. Я не сводил с лектора глаз, ожидая сенсационных сведений о разоружении; но об этом — ни слова. Сегодня пошел наконец к психодиетику. Тот посоветовал изменить рацион и прописал небылин с пиеталом. Чтобы я забыл о прежней жизни? Вышел на улицу и выкинул все препараты. Можно еще купить духостат,

его теперь всюду рекламируют, но что-то мешает мне; никак не могу решиться. Через открытое окно — модный, глупейший шлягер: «Мы безродные ребята, разбитные автоматы». Никакого дезакустина! Вата в ушах ничуть не хуже, если хорошенько скатать.

13.IX.2039. Познакомился с Барроузом, зятем Симингтона. Он производит говорящую упаковку. Странные заботы современного бизнесмена: упаковке разрешено завлекать клиентов, громко расхваливая товар, но, скажем, тянуть покупателя за рукав нельзя. Другой зять Симингтона владеет фабрикой дверья, то есть дверей, открывающихся на свист хозяина. Рекламные картинки в газетах оживают, если на них посмотреть.

В «Геральд» одну полосу неизменно занимает «Прокрустикс инк.». Я обратил на это внимание, когда познакомился с Симингтоном. Реклама на всю страницу, причем сначала появляется огромная надпись «ПРОКРУСТИКС», потом — отдельные слоги и слова: «НУ?.. НУ!!! Смелей же! ЭХ! ЭЙ! УХ! ЫХ! О-о-о, именно ТАК. А-А-А-аааа...» И все. Что-то не похоже на сельхозтехнику. К Симингтону пришел сегодня монах, отец Матриций из ордена безлюдистов, — забрать какой-то заказ. Интересная беседа с ним в кабинете. Отец Матриций рассказывал, в чем заключается миссионерская деятельность его ордена. Безлюдисты проповедуют Евангелие компьютерам. Безлюдный разум существует уже столетие, а Ватикан все еще отказывает ему в равенстве перед Богом. Папская курия словно воды в рот набрала, хотя сама услугами компьютеров пользуется. Оказывается, энцикл — это автоматически запрограммированная энциклика! Никого не заботят душевные муки компьютеров, терзающие их вопросы, смысл их бытия. В самом деле: быть компьютером или не быть? Безлюдисты добиваются догмата о косвенном Сотворении. Один из них, отец Шасси, автопереводчик, перелагает Писание на современный язык. Пастырь, паства, агнец, овечки Христовы — эти слова теперь никому не понятны. Главный распределитель, следящая система, профилактическое помазание, максимальная погрешность — вот что действует на воображение! Глубокие, вдохновенные глаза отца Матриция, его холодное, стальное рукопожатие. Выходит, это и есть новая теология? С каким презрением отзывался он о теологах-ортодоксах, именуя их грамофонами Сатаны! Потом Симингтон робко предложил мне позировать для его нового проекта. Значит, он все-таки не инженер-механик! Я согласился. Сеанс продолжался около часа.

15.IX.2039. Сегодня позировал Симингтону. Измеряя пропорции моего лица карандашом, он левой, свободной, рукой что-то положил себе в рот — украдкой, но я-то заметил. Он застыл, всматриваясь в меня и бледнея; на висках у него выступили прожилки. Я испугался, но это длилось мгновение; он тут же извинился — как всегда, вежливый, спокойный и улыбающийся. Однако выражение его глаз в ту минуту забыть невозможно. Мне как-то не по себе. Эйлин все еще у тетки; по ревидению — дискуссия о необходимости реанимализации природы. Диких зверей давным-давно нет, но ведь можно воссоздать их путем биосинтеза. С другой стороны — стоит ли рабски копировать то, что когда-то бездумно состряпала эволюция? Интересное выступление сторонника фантастической зоологии: нужно, мол, заселить заповедники не каким-нибудь заурядным плагиатом, а плодами оригинального творчества. Из проектных образцов особенно удачными мне показались грабасты и леммипарды, а также огромный муравец, поросший густой муравой. Основная задача, стоящая перед зоодизайнерами, — гармоничное сочетание новых животных со специально подобранной природной средой. Крайне любопытными обещают быть люминодрамонты — гибрид светляка, дракона о семи головах и мамонта. Не спорю — все это оригинально, может быть, и красиво, но мне как-то ближе старые, простые животные. Я сознаю неизбежность прогресса и ценю лактофоры, которыми опрыскивают луговую траву для получения творога; устранение с пастбищ коров — мера, пожалуй, вполне разумная, а все же луга без этих флегматичных, интровертно пережевывающих существ как-то пусты и печальны.

16.IX.2039. Странная заметка в утренней «Геральд» — о проекте закона, по которому старение объявляется наказуемым. Спросил Симингтона, как это понимать; тот лишь усмехнулся. Выходя из дома, во внутреннем дворике заметил соседа. Он стоял, прислонившись к пальме, закрыв глаза, а на его лице, на обеих щеках, проступали красные пятна, образовавшие четкий контур ладоней. Он потряс головой, протер глаза, чихнул, высморкался и начал опять поливать цветочки. Как мало я все-таки знаю! Пришла осязаемая открытка от Эйлин. Ну, не чудесно ли это — современная техника у любви на посылках! Мы, наверно, поженимся. У Симингтонов — только что прибывший из Африки левак (ловец синтетических львов). Рассказывал о неграх, побелевших при помощи альбинолина. Но стоит ли решать наболевшие социальные и расовые проблемы химически? Не слишком ли это просто?

Получил рекламную бандероль — внушилки, которые сами не воздействуют на организм, а лишь убеждают принимать другие психимикаты. Значит, есть все-таки люди, не желающие их глотать? Этот вывод меня ободрил.

29.IX.2039. Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили начистоту! Может, из-за принятой нами повышенной дозы симпатина пополам с амиколом? Он буквально сиял: проект был готов.

— Тихий, — сказал он мне, — вам известно, что мы живем в эпоху фармакокрации. Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей, — но это лишь одна сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя: «Недостаточно, чтобы мы были счастливы, — нужно еще, чтобы несчастны были другие!»

— Пасквильный афоризм! — возмутился я.

— Нет. Это правда. Знаете, что производит «Прокрустикс инк.»? Наш товар — это зло.

— Вы шутите...

— Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости — без всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вакцинологи освоили вирусы. Ведь чем, позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым. Только добрым. А куда прикажете распахать остальное? История распахивала так и сяк, где внушением, где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, выпирало, вылезало наружу.

— Но разум нам говорит, что надо быть добрыми, — не сдавался я. — Это же всем известно! Впрочем, теперь, я вижу, все вместе, достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне и заботливо...

— И как раз потому-то, — прервал он меня, — тем сильней искушение врезать — наотмашь, со вкусом, вдоль, поперек, для равновесия, успокоения, ради здоровья!

— Как, как, повторите?

— Ну, будьте же наконец искренни. Бросьте заниматься самообманом. Это теперь ни к чему. Мы свободны — благодаря синтезированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. Побольше несчастий, побольше позора — для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, раздоры, барышень — под седло! Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватили в момент; помню — люди рвались в музеи, в картинные галереи, каждому хотелось вломиться в мастерскую Микеланджело с дубиной в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, а при случае

накостылять и самому маэстро, если осмелится встать на пути... Вам это странно?

— Странно? Мягко сказано! — взорвался я.

— А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно, неужели вам невдомек? Да разве при виде Жанны д'Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечка — и вскачь! Шестерней, в упряжке, барышни-милашки — с бубенцами, с высоким плюмажем. Резво девушки бегут, снег сверкает, свищет кнут...

— Да вы что! — кричал я срывающимся от ужаса голосом. — Взнуздать? Запрячь? *Оседлать?*!

— Ну конечно. Для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии и антипатии — впрочем, это необязательно, в общем-то, зло хочется делать без всякого повода, то есть поводом служит чужое благородство, красота, — достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказы мы выполняем в течение суток. Полный комплект высылается почтой. Принимать с водой, лучше всего до еды, но можно и после.

Так вот что означали анонсы «Прокрустикс» в «Геральд» и в «Вашингтон пост»! Но — лихорадочно и тревожно размышлял я — почему он именно так? Откуда эти слова об упряжи, эти кавалерийские ассоциации, почему же непременно в седло? Боже праведный, неужели и тут где-то рядом проходит канал — мой будильник, мой пробный камень, моя гарантия возвращения к яви? Но инженер-проектировщик (проектировщик чего?!) не заметил моего смятения или неверно истолковал его.

— Своим освобождением мы обязаны химии, — продолжал он. — Ведь все существующее — не более чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня видите, — но это, собственно, лишь изменение натриево-калиевого равновесия на мембранах ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально подобранных молекул — и любая фантазия покажется явью. Да вы, впрочем, сами знаете, — добавил он тише и достал из письменного стола горсть пилполь, разноцветных, как драже для детей. — Вот зло нашего производства, исцеляющее душевные раны. Вот химия, которая взяла на себя грехи мира.

Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку трынтравинаила, не запивая проглотил ее и заметил:

— Я попросил бы вас держаться ближе к делу.

Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него.

— Как вам будет угодно. Я говорил о модели «Т» новой технологии, о ее примитивном начале. Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефестрацию*, это было *felicitas per extractionem pedum*** . Но фантазия столь убогая быстро себя исчерпала. Чего вы хотите — выдумки не хватало, не было образцов! Ведь в истории только добро практиковали открыто, а зло — под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, грома и насилуя во имя высших идеалов. Ну, а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Все-то оно по углам таилось, грубое, топорное, примитивное. Это видно по реакции публики; в заказах без конца повторяется одно и то же: налететь, задавить и скрыться. Такой уж выработался навык. А ведь людям мало просто творить зло — им подавай еще сознание своей правоты. Потому что, видите ли, не очень удобно, если ближний, на минуту опомнившись (а это всегда может случиться), начинает голосить «за что?!» или «как не стыдно?!». Неприятно, когда крыть нечем. Дубина — недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Задача в том, чтобы неуместные эти претензии презрительно отклонить — с единственно верных позиций. Каждый не прочь попокаостничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего — под видом мести, но чем виновата перед тобою Жанна д'Арк? Тем, что она лучше, выше тебя? Тогда, значит, ты хуже, хотя и с дубиной. Но такого никто себе не желает! Каждому хочется совершать зло, побыть хоть немного мерзавцем и извергом, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным — прямо-таки бесподобным. Вот чего требуют все. Все и всегда. Чем хуже ты, тем бесподобнее. Это почти невозможно и потому-то заманчиво. Мало клиенту навыворотять невесть что со вдовами и сиротами — он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто и пальцем не хочет тронуть, хотя где, как не тут, можно действовать с чистой совестью, во имя закона, — но это банально и скучно, и без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту ангельскую невинность, беспримёрную святость, но так обработанную, чтобы мог он разгуляться вовсю, в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен. Теперь вам понятно, какое это искусство — прими-

* Выбрасывание из окна.

** Счастье путем вырывания ног (лат.)

рять подобные противоречия? Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о теле. Тело — всего лишь средство. Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса — биологии мирской и сакральной. Ну, знаете, — Долина Иосафата, из которой всех, кроме клиента, черти уносят, а на исходе Судного дня Господь Бог самолично объявляет его святым, и даже с подобострастием. Некоторые (но это снобизм кретинов) домогаются, чтобы под конец Господь предложил им поменяться с ним местами. Это, знаете ли, ребячество. Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, бияльни, — он с отвращением помахал толстым каталогом, — что за убожество! Ближние — это вам не бубен какой-нибудь, это инструмент деликатный!

— Погодите, — сказал я, проглотив очередную таблетку трынтравинила, — так что же вы, собственно, проектируете?

Он горделиво усмехнулся:

— Безбит-композиции.

— А биты — единицы информации?

— Нет, господин Тихий. Единицы битья. В своих композициях я принципиально ими не пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед — это количество горя, которое ощущает *pater familias*^{*}, когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале Всевышний огорошил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были господними сорокабедами. Но довольно цифр. Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве. Теорию добра развивали толпы мыслителей, теории зла почти никто не касался — из ложного стыда, а в результате ее прибрали к рукам недоумки и неучи. Мнение, будто можно злодействовать искусно, изобретательно, тонко и хитроумно без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких познаний, — в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биологий; все это лишь введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет — *sum malum cuique!*^{**}

— И много у вас клиентов?

— Все без исключения — наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете, — источник запретов и норм. Даем детям фрейдилки, и эдипова комплекса как не бывало!

Я вышел от него, израсходовав трынтравинил до послед-

* Отец семейства (лат.).

** Каждому свое зло! (лат.)

ней таблетки. Вот оно, значит, что. Ну и общество! Не оттого ли они так задыхаются? Я окружен чудовищами.

30. IX. 2039. Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться не могут. Эйлин мне посоветовала:

— А ты закажи себе его упадлинку! Я тебе подарю, хочешь?

Другими словами, она предлагала заказать в «Прокрустикс» сцену моего триумфа над Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло — омерзительны. Но я не могу прибегнуть к методу Симингтона, чтобы на Симингтоне отыграться! Эйлин этого не понять. Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась, ставши плотнее и ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом, душа гораздо важнее, как говорил этот монстр. Как мало я понимал в мире, в котором обречен жить! Теперь я вижу многое, чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик; я знаю: если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно точный образ погружается в пекло его разъяренной фантазии! И так поступают особы из высших химиократических сфер! А я этих гадостей не замечал, ослепленный изысканной вежливостью! Подкрепившись ложкой геркуледины на сахаре, я поломал все бонбоньерки, вдребезги разбил ампулы, пузырьки, флаконы, пилюльницы, которые надарила мне Эйлин. Теперь я готов на все. Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента — вот на нем бы я отыгрался! Рассудок подсказывает, что я мог бы и сам все устроить, а не ждать с дубиной в руках — купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не дамекен? Если же дамекен — почему бы не человенца? А если, сто чертей побери, человенца — почему бы не заказать у Гопкинса, в филиале «Прокрустикс инк.», подходящую кару, не наслать какой-нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и заковыка, что не могу. Я все должен сам, все сам — сам! Ужасно.

1. X. 2039. Сегодня дело дошло до разрыва. Она показала мне две пилюли, белую и черную, — чтобы я посоветовал, какую ей принять. Значит, даже такой, сугубо интимный вопрос она не могла решить естественным образом, без психимикатов!

Я вспылал, началась ссора, а Эйлин еще подлила масла в огонь, приняв скандалол. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался оскорбиновой кислоты (так она и сказала). То были тягостные минуты, но я остался верен себе. Отныне я буду есть только дома и лишь то, что сам приготавливаю. Никаких снов, никакого парадизина, долой аллилулоидное желе. Гедонизаторы я разбил — все до единого. Ни протестол, ни возразин мне не нужен. В окно заглядывает большая птица с печальным взглядом, очень странная — на колесиках. Компьютер говорит, педеролла.

2.X.2039. Почти не выхожу из дому. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, решил покрутить регулятор солидности, то есть собственного веса изображения, чтобы сделать его поплотнее и поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного, последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. К тому же раздражает меня в ревидении юморок, шуточки, нынешние комедийные трюки. «Нет спасенья без пилюль, говорил святой Илюль». Какая пошлость! Одни названия передач чего стоят... Например, «С надуванкой на эротоцикле» — криминальная драма, которая начинается с того, что в темном бистро сидит компания роботрясов. Я выключил — был уже сыт по горло. Но что с того, если у соседей гремел по другому каналу новейший шлягер (но где же мой канал? где?!): «В ридикиюлях у фемин распустин и нимфомин». Неужели и в XXI веке нельзя изолировать живальню как следует?! Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора; в конце концов я сломал его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Но что? Все меня раздражает, малейший пустяк, даже почта — предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию, обещают устроить в первую очередь, как гостю из тяжелого прошлого. Ей-богу, я лопну от злости! Кроме шуток! Подозрительная листовка с рекламой «тайных пилюль, которых нет в обычной продаже». Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать снекулянтов — торговцев запрещенным снивом. И тут же — призыв не смотреть стихийные, неуправляемые сны; это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах! Заказал себе сниво из Столетней войны: проснулся — все тело в сняках.

3.X.2039. По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, проматривая ежеквартальник «Родная бустория» (я только что на него подписался), с изумлением наткнулся на имя профессора Троттельрайнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг все, что я вижу и чувствую, — непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе это возможно. Разве «Психоматикс» не расхваливает слоистые пилюли (стратилки), вызывающие многослойные видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго»; сражение выиграно, но к яви жаль возвращаться, и здесь же, на поле битвы, маршал Ней или кто там еще из старой гвардии преподносит ему на серебряном блюде другую пилюлю — иллюзорную, конечно, но это неважно, — главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию *ad libitum**. Гордиевы узлы я привык рубить сам; поэтому, проглотив телефонную книгу, чтоб узнать номер, я позвонил Троттельрайнеру. Это он! Встретимся за ужином.

3.X.2039. Три часа ночи. Пишу смертельно усталый, с поседевшей душой. Профессор опаздывал, пришлось его ждать. В ресторан он пришел пешком. Я узнал его издали, хотя теперь он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, он, похоже, растрогался.

— Вы, я вижу, не на машине? — спросил я. — Что, автотобрык? (Самовзбрыкивание автомобиля, это случается.)

— Нет, — ответил профессор. — Я уж лучше *per pedes apostologum*...** — Но как-то странно усмехнулся при этом.

Когда кельпьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается, — и сразу проговорился о своих подозрениях насчет галлюцинаций.

— Да что вы, Тихий, ей-богу! Какие галлюцинации? — возмутился профессор. — Так и я мог бы подозревать, что вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили? И меня разморозили. Меня еще, правда, омолодили, ну, реювенил, десенилизин, вам это ни к чему, а я, если бы не основательное омоложение, не мог бы работать бусториком.

— Футурологом?

— Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы, а я занимаюсь теорией. Дело совершенно новое, в нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде языкового предсказания будущего — лингвистическая прогностика!

* На выбор (лат.).

** «Апостольскими стопами», то есть пешком (лат.)

— Не слышал. И в чем же она состоит?

Я спрашивал больше из вежливости, но он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка, я ее потому и выбрал, что очень люблю.

— Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных возможностей языка, — объяснил Троттельрайнер.

— Не понимаю.

— Человек в состоянии овладеть только тем, что может понять, а понять он может только то, что выражено словами. Не выраженное словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей эволюции языка, мы узнаём, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-нибудь отразить.

— Очень странно. А на практике как это выглядит?

— Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров: человек не может перепробовать все варианты. Дело, главным образом, в вариативности языка — синтагматически-парадигматической, но квантованной...

— Профессор!

— Извините. Шабли, скажу я вам, превосходное. Легче всего это понять на примерах. Дайте, пожалуйста, какое-нибудь слово.

— Я.

— Как? «Я»? Гм-м... Я. Хорошо. Мне придется в некотором роде заменять собою компьютер, так что я упрощу процедуру. Итак: Я — явь. Ты — тывь. Мы — мывь. Видите?

— Ничего я не вижу.

— Ну, как же? Речь идет о слиянии яви с тывью, то есть о парном сознании, это во-первых. Во-вторых, мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при сильном расщеплении личности. А теперь еще какое-нибудь слово.

— Нога.

— Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Ногатор. Ноголь или гоголь-ноголь. Ногер, ногиня, ноглеть и ножиться. Разножение. Изноженный. Но-о-гом! Ногола! Ногнем? Ногист. Вот видите, кое-что получилось. Ногист. Ногистика.

— Но что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла?

— Пока не имеют, но будут иметь. То есть могут получить смысл, если ногистика и ногизм привьются. Слово «робот» ничего не значило в XV веке, а будь у них языковая футурология, они, глядишь, и додумались бы до автоматов.

— Так что такое ногист?

— Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о будущем, а о настоящем. Ногизм — новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого *homo sapiens monopedes*.

— Одноногого?

— Вот именно. Потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и меньше.

— Но это же чепуха!

— Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хацелькляцер и Фешбин, — ногисты. Вы не знали об этом, предлагая мне слово «нога», не так ли?

— Нет. А что значат другие ваши словечки?

— Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногиня и прочее. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами, я изучаю возможности в чистом виде. Дайте-ка еще слово.

— Интерферент.

— Отлично. Интер и феро, *fero, ferre, tuli, latum**. Раз слово заимствовано из латыни, в латыни и следует искать варианты. *Flos, floris*. Интерфлорентка. Пожалуйста — это девушка, у которой ребенок от интерферента, отнявшего у нее венок.

— Венок-то откуда взялся?

— *Flos, floris* — цветок. Лишение девичества — дефлорация. Наверное, будут говорить «ревиденец» — ревизионно зачатый младенец. Уверяю вас, мы уже собрали интереснейший материал. Взять хотя бы проституанту — от конституанты, — да тут открывается целый мир будущей нравственности!

— Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово? Мусор.

— Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак... мусор. Гм-м... Намусорить. Астрономически много мусора — космусор. Мусороздание. Мусороздание! Весьма любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий! Подумать только, мусороздание!

— А что тут такого? Это же ничего не значит.

— Во-первых, теперь говорят: не фармачит. «Не значит» — анахронизм. Вы, я заметил, избегаете новых слов. Нехорошо! Мы еще потолкуем об этом. А во-вторых: мусороздание *пока* ничего не значит, но можно догадываться о его будущем смысле! Речь, знаете ли, идет ни больше ни меньше, как о новой космологической теории. Да, да! О том, что звезды — искусственного происхождения!

* Различные формы латинского глагола «fero» — «нести»

— А это откуда следует?

— Из слова «мусорообразование». Оно означает, точнее, заставляет предположить такую картину: за миллиарды лет мироздание наполнилось мусором — отходами жизнедеятельности цивилизаций. Девать его было некуда, а он мешал астрономическим наблюдениям и космическим путешествиям; так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой и поэтому сами притягивают космос; постепенно пустота очищается, и вот мы имеем звезды, те самые космические костры, и темные туманности — еще не убранный хлам.

— Вы это что, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность? Вселенная как всеожожение мусора?

— Дело не в том; Тихий, допускаю я или нет. Просто, благодаря лингвистической футурологии, мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений! Неизвестно, примет ли его кто-нибудь всерьез; несомненно одно: такую гипотезу можно словесно выразить! Обратите внимание: если бы в двадцатом веке существовала языковая экстраполяция, можно было бы предсказать бумбы — вы их, я думаю, помните! — образовав это слово от бомб. Возможности языка, господин Тихий, колоссальны, хотя и неограничны. Например, «утопиться»: представив, что это слово восходит к «утопии», вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов!

Наконец речь зашла о том, что гораздо больше меня занимало. Я рассказал ему о своих опасениях и своем отращении к новой цивилизации. Он возмутился, но слушал внимательно и — добрая душа! — посочувствовал мне. Он даже потянулся к жилетному карманчику за сострадаоломом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я договорил, лицо его приняло строгое выражение.

— Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном. По сравнению с этим «Прокрустикс» и вся остальная псивилизация — мелочь!

Я не верил своим ушам.

— Но... но... — заикался я. — Что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже?

Он наклонился ко мне через столик:

— Тихий, я открою вам профессиональную тайну. О том, на что вы сейчас жаловались, знает каждый ребенок. Развитие и не могло пойти по другому пути с тех пор, как

на смену наркотикам и прагаллюциногенам пришли так называемые психолокализаторы с высокой избирательностью воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось синтезировать масконы, или пуантогены, — то есть точечные галлюциногены. Наркотики не изолируют от мира, а только изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собою весь мир, в этом вы убедились сами. Масконы же мир поддельвают!

— Масконы... масконы... — повторил я за ним. — Знакомое слово. А-а, концентрации массы под лунной корою, глубинные скопления минералов? Но что у них общего?..

— Ничего. Теперь это слово значит — то есть фармацевт — нечто совершенно иное. Оно образовано от «маски». Введя в мозг масконы определенного рода, можно заслонить любой реальный объект иллюзорным — так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из окружающих предметов реальны, а какие — всего лишь фантом. Если бы вы хоть на миг увидели мир, в котором живете *на самом деле* — а не этот, припудренный и нарумяненный масконами, — вы бы слетели со стула!

— Погодите. Какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть?

— Где угодно — хоть здесь! — выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам. Он придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, доверительно прошептал: — Это очухан, из группы отрезвинов, сильнейшее противопсихимическое средство, нитропакостная производная омерзина. Даже иметь его при себе, не говоря уж о прочем, — тягчайшее преступление! Откройте флакон под столом и вдохните носом, один только раз, не больше, как аммиак. Ну, как нюхательные соли. Но потом... Ради всего святого! Помните: нельзя терять голову!

Трясущимися руками я отвернул пробку и едва вдохнул резкий миндальный запах, как профессор отнял у меня флакон. Крупные слезы выступили на глазах: я смахнул их кончиками пальцев и остолбенел. Великолепный, покрытый паласами зал, со множеством пальм, со столами, заставленными хрусталем, с майоликовыми стенами и скрытым от глаз оркестром, под музыку которого мы смаковали жаркое, — исчез. Мы сидели в бетонированном бункере, за грубым деревянным столом, под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему — из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем люстр — голые, запыленные лампоч-

ки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. Белоснежная скатерть исчезла; серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке, — потому что старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении смотрел я на эту гадость, которую только что с удовольствием разделявал, наслаждаясь хрустом подрумяненной корочки, который, как в контрапункте, прерывался более низким похрустыванием разрезаемой грени — сверху отлично подсушенной, снизу пропитанной соусом. Ветви пальмы, стоявшей неподалеку, оказались тесемками от кальсон: какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами — не на антресоли, а скорее на полке, настолько она была узка. Давка здесь царила невероятная! Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит, но ужасающее видение дрогнуло и стало опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова покрылись листьями, помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную кадку, грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки, серое месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого; где положено, выросли у него ножки и крылышки; старинным серебром заблестел алюминий, фраки официантов снова замелькали вокруг. Я посмотрел под ноги — солома обернулась персидским ковром, и я, опять окруженный роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за нею скрывалось...

— Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности, — доверительно шептал Троттельрайнер; при этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасался слишком бурной реакции. — А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстракласса! Хорошо еще, что я заранее это предусмотрел; в другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок!

— Как? Значит... есть... еще отвратительнее?

— Да.

— Не может быть.

— Уверяю вас. Здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы лежали бы на многоярусных нарах и ели руками из чанов, подвозимых конвейером. То, что скрывается под маскою куропатки, там еще несъедобнее.

— Что же это?!

— Да нет, Тихий, не отравка какая-нибудь. Это концентрат из травы и кормовой свеклы, вымоченный в хлорированной воде и смешанный с рыбной мукой; обычно туда добавляют витамины и костный клей и все это сдобривают

смазочным маслом, чтоб не застряло в горле. Вы не почувствовали запаха?

— Почувствовал! Очень даже почувствовал!!!

— Вот видите.

— Ради Бога, профессор... что это? Ответьте, заклинаю вас! Обман? План истребления всего человечества? Дьявольский заговор?

— Да что вы, Тихий. Дьявол тут ни при чем. Это попросту мир, в котором живут двадцать с лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня «Геральд»? Пакистанское правительство утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция — что шесть миллионов. Откуда возьмутся в таком мире шабли, куропатки, закуски в соусе беарнэ? Последние куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир — давно уже труп, прекрасно сохранившийся, поскольку его все искуснее мумифицируют. В маскировке мы добились немалых успехов.

— Погодите! Дайте собраться с мыслями... Так это значит, что...

— Что никто не желает вам зла, напротив — как раз из жалости, из соображений высшей гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, расцветивание беспросветной реальности...

— Выходит, это жульничество повсюду?

— Увы.

— Но я не обедаю в городе, я готовлю все сам, так как же, когда же?..

— Как распространяют масконы? И вы еще спрашиваете? Они постоянно распыляются в воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки, все равно что монгольфьер по сравнению с ракетой.

— И все знают об этом? И живут как ни в чем не бывало?

— Ничего подобного. Об этом не знает никто.

— И ни слухов, ни разговоров?

— Слухи есть всегда и везде. Не забывайте, однако, об амнестане. Есть то, что известно каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную и скрытую часть; скрытая гораздо важнее.

— Не может быть.

— О! Почему же?

— Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку! И всё, всё!

— Ну, конечно. Все должно быть изготовлено, но что из того?

— Те, кто занимается этим, видят и знают!

— Не обязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на стеклянную фабрику-оранжерею; у проходной получают противогаллюцин и замечают голые бетонные стены.

— И все же работают?

— Приняв дозу сакрофицина — с огромным энтузиазмом. Труд становится для них высшей целью, священным долгом; после смены — глоток амнестана или мемнолизина, и все увиденное забывается напрочь!

— До сих пор я боялся, что живу среди призраков, но теперь понимаю, каким я был дураком! Боже, как я хочу вернуться! За это я все бы отдал!

— Вернуться? Куда?

— В канал под отелем «Хилтон».

— Чушь. Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать глупо. Будьте как все, ешьте и пейте, как остальные, и вы получите необходимые дозы оптимистана, серафинола и будете в превосходнейшем настроении.

— Значит, вы тоже адвокат дьявола?

— Будьте благодарны. Что дьявольского в том, что врач обманывает больного для его же пользы? Раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить — лучше видеть все это в розовом свете. Масконы действуют безотказно, за одним-единственным исключением, так что в них плохого?

— Я не в силах вам возражать, — уже спокойнее сказал я. — Только ответьте, пожалуйста, мне как старинному другу: о каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до всеобщего разоружения? Или это тоже мираж?

— Нет, оно, слава Богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы прочесть целую лекцию, а мне пора идти.

Мы договорились встретиться завтра; на прощание я опять спросил об изъяне масконов.

— Сходите-ка в Луна-парк, — ответил профессор вставая. — Если вам хочется неприятных сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель, а когда она разгонится до предела, продырявьте ножиком стенку кабины. Кабина как раз затем и нужна, что фантазиды, которыми маскон заслоняет реальность, при вращении перемещаются — словно центробежная сила срывает с ваших глаз шоры... Вы увидите, что появится тогда вместо дивных иллюзий...

Я пишу это ночью, в четвертом часу, совершенно убитый. Что еще могу я добавить? Не бежать ли от псевдивизации

куда-нибудь в дикую глушь? Даже Галактика больше не манит меня, как не манят нас путешествия, если некуда из них возвратиться.

5.Х.2039. Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене предлагает за бесценок мебель в стиле рококо, мраморные каминь, троны, зеркала, сарацинские доспехи. Кругом всевозможные аукционы — дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить себе «подворцовать»! Бюро регистрации самозванных кандидатов в нобелевские лауреаты на Пятой авеню открыло передо мной свое истинное лицо: премию может получить кто угодно, и кто угодно может увешать квартиру шедеврами живописи, если и то и другое — просто щепотка воздействующего на мозг порошка! Но самое коварное вот что: каждый знает о некоторой *части* коллективных галлюцинаций и поэтому верит, будто можно отграничить иллюзорный мир от реального. Различие между искусственным и естественным чувством стерлось; произвольно никто ни на что не реагирует — учась, любя, бунтуя и забывая химически. Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. О, мне не нужен был амокомин и фуриазол, чтобы прийти в бешенство! По-охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом монументальном жульничестве, в этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают отцебийственный сиропчик, потом, для развития личности, бунтомид и протестол, а чтобы обуздать пробужденные ими порывы — субординал и кооперин. Полиции нет — и зачем, если есть криминол? Преступные аппетиты насыщает «Прокрустикс инк.». Хорошо, что я не заглядывал в теоглотеки — я нашел бы в них только наборы вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов, фарморалин, грехогон, абсолюцид и так далее, а при помощи сакросанктола можно стать и святым. Впрочем, почему бы не выбрать аллахол с исламином, дзен-окись буддина, мистициновый нирваний или теоконтактол? Эсхатопрепараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды праведников в Долине Иосафата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О Фармадонна! Парадизол для святош, адоминд сатанций для мазохистов... я с трудом сдержался, чтобы не ворваться в попавшееся на пути фармацевтище, где народ отбивал поклоны, наглотавшись перед тем преклонина, а то, чего доброго, меня угостили бы амнестаном. Ну, уж нет. Только не это! Я отправился в Луна-парк, вспотевшими пальцами вертя в кармане перочинный нож.

Эксперимент не удался — стенка кабины оказалась удивительно твердой, должно быть, из закаленной стали.

Троттельрайнер жил в мебелированных комнатах на Пятой авеню. Я пришел вовремя, но профессора не застал; впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйский свисток для двери. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами и рукописями. От нечего делать — или, скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня изнутри, — я заглянул в заметки профессора. «Мусороздание», «ревиденец», «чуждинник», «чуждинница». Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудной футурологии... «Плодотворня», «вырыванец», «вырыванка». «Рекордительница» — родительница-рекордистка? Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось восемьдесят тысяч детей. Или восемьсот тысяч. Что за разница? «Мыслист», «мыслянт», «мысль», «коренная», или «дышловая», мысль, «мыслина» — «дышлина». Профессор, ты вот здесь пишешь, а там мир погибает! — чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло — противогаллюцин, тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно вдохнул и огляделся вокруг.

Удивительно: комната почти не изменилась! Книжные шкафы, полки со справочными пилюлями — все осталось как прежде, только огромная голландская печь в углу, наполнявшая комнату матовым блеском своих изразцов, превратилась в так называемую «буржуйку» с прожженной насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене; пол возле печки был в черных оспинах. Я быстро, по-воровски, поставил флакон на место — в передней послышался свист, и вошел Троттельрайнер.

Я рассказал ему о Луна-парке. Он удивился, попросил показать ножик, покачал головой, взял флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора — он как-то сник, выглядел куда менее уверенным в себе, чем накануне. Троттельрайнер положил на письменный стол папку, распухшую от реферативных леденцов, и вздохнул.

— Тихий, — сказал он, — поймите: экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством...

— Какая еще экспансия?

— Многие вещи, реальные год или месяц назад, приходится заменять миражами, по мере того как подлинные становятся недоступными, — объяснил он, явно озабоченный чем-то другим. — На этой карусели я катался месяца три

назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара (лунапаркина) из распылителя; это было бы, впрочем, гораздо экономичнее. Да, да, Тихий, сфера реального тает с невиданной быстротой. Прежде чем поселиться тут, я остановился в новом «Хилтоне», но, признаюсь, не смог там жить. Вдохнув по рассеянности очухан, я увидел себя в камерке размерами с большой ящик, нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах — меня поселили в номере на восьмом этаже, за 90 долларов в сутки. Места, обыкновенного места катастрофически не хватает! Проводятся опыты с псвидимками — психимическими невидимками; но результаты не обнадеживают. Если маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих вдалеке, получится всеобщая давка; тут наука пока бессильна.

— Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это? — Я указал на листок бумаги со словами «мультишизол», «уплотнитель множелина».

— А, это... Видите ли, существует план, или, скорее, идея, хинтернизации (по имени автора, Эгоберта Хинтерна) — восполнять нехватку внешнего пространства иллюзорным внутренним, то есть пространством души, метраж которой физическим ограничениям не подлежит. Вам, должно быть, известно, что благодаря различным зооформинам можно на время стать — то есть почувствовать себя — черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином (при помощи инфлоризирующего преботанида). Можно расщеплять свою личность на две, три, четыре и больше частей, а если дойти до двузначных цифр, наблюдается феномен уплотнения яви: тут уж не явь, а мывь, множество «я» в единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней. Таков ныне мир, таковы времена, коллега! *Omnis est Pillula**. Фармакопея теперь — Книга судеб, альфа и омега, энциклопедия бытия; никаких переворотов не ожидается, раз уж есть бунтомид, оппозиционал в глицериновых свечах и экстремин, а доктор Гопкинс рекламирует содомастол и гоморроетки — можно спалить небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность Господа Бога тоже вполне доступна, цена ей семьдесят пять центов.

* Все сущее — пилюля (лат.).

— А еще появилось такое искусство — зудожество, — заметил я. — Я слышал... нет, осязал «Скерцо» Уаскоттиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся в самых серьезных местах.

— Да, это все не для нас, мерзлянтропов, потерпевших крушение во времени, — меланхолически подтвердил Троттеррайнер. Словно бы что-то преодолев в себе, он откашлялся, посмотрел мне в глаза и сказал: — Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия о бустории человечества. Это LXXVI Всемирный съезд; сегодня я был на первом заседании оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями...

— Странно! Я читаю газеты довольно внимательно — нигде ни строчки об этом конгрессе...

— Потому что он тайный. Вам понятно, я думаю: ведь среди прочих будут обсуждаться проблемы химаскировки!

— И что? Дело плохо?

— Ужасно! — произнес профессор с нажимом. — Хуже и быть не может!

— А вчера вы пели другие песни, — заметил я.

— Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение — я только сейчас знакомлюсь с последними результатами исследований. То, что я слышал сегодня... это, знаете ли... Впрочем, сами можете убедиться.

Он достал из папки целую связку информационных леденцов — их палочки были перевязаны разноцветными ленточками — и протянул ее мне через стол.

— Прежде чем вы это пролижете, я вам кое-что объясню. Фармакократия — это психимиократия, основанная на жиро-кратии. Вот девиз Новой эры. А проще сказать — всевластие галлюциногенов сопутствует подкуп. Впрочем, иначе не видать бы нам всеобщего разоружения.

— Наконец-то я узнаю, как это случилось!

— Да очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта неходовых товаров, либо для приобретения дефицитных. Товаром, Впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена — загребать наличные, ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализму положили аферы киберрастратчиков, — вы, наверно, о них слышали.

— Слышал, но что такое реализм?

— Буквально — растворение, то есть исчезновение реальности. Когда разразился скандал с киберрастратами, всё свалили на цифровые машины. На самом же деле тут были замешаны могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах условий, при-

годных для жизни, — актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения! Предстояло построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и Урана; легче всего было делать это на бумаге — и только.

— Позвольте, но это сразу же бы обнаружилось! — удивился я.

— Ничего подобного. По ходу дела появляются объективные трудности, непредвиденные проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения Урана, к примеру, поглотил уже девятьсот восемьдесят миллиардов, между тем неизвестно, сдвинули там хоть камешек или нет.

— А проверочные комиссии?

— Не составлять же комиссии из космонавтов, а неподготовленный человек высадиться на этих планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам.

— Ага!

— Вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они получали миллиарды и ничего не делали; то есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные установки, противопротиво-противо-противоракеты (в арсеналах уже шестое их поколение), летающие танки (летанки), — но все это пуантогенное.

— Извините, какое?

— Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопастилки?

— То есть?..

— Пастилки, вызывающие видение атомного гриба. Это была цепная реакция. Зачем муштровать солдат? Дать новобранцам милитаблетки, и дело с концом. Офицерский корпус обучать тоже не стоит — для чего тогда стратегин, генералозол, тактидон, ордерол? «Проглоти, запей водицей — превзойдешь Клаузевица». Слышали?

— Нет.

— Потому что эти препараты секретные; во всяком случае, в продажу не поступают. Десанты высаживать тоже нет смысла: достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зри-

теля; это так называемая зрительская танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов уместился бы на грузовике. Танконы, кадавроны, бомбоны — твердые, жидкие, газообразные. Говорят, существуют целые нашествия марсиан — в виде обыкновенного порошка.

— И все это масконы?

— А как же! Так что реальная армия оказалась ненужной. Осталось чуть-чуть авиации, да и то не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было нельзя. Вот и вся тайна разоружения. Впрочем, не только разоружения. Вы видели последние модели «кадиллака», «доджа» и «шевроле»?

— Видел — очень красивые.

Профессор подал мне флакончик.

— Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным автомобилям.

Я перегнулся через подоконник. В глубоком ущелье улицы, вид на которую открывался с двенадцатого этажа, неслась река новеньких, с иглолочки, автомашин, сверкающих на солнце стеклами и лаком крыш. Я поднес открытый флакончик к носу и зажмурился; когда я снова открыл глаза, то увидел удивительную картину. По мостовой, согнув руки в локтях, как дети, играющие в шоферов, колоннами галопировали бизнесмены. Они торопливо перебирали ногами, откинувшись назад, словно на мягкую спинку сиденья. Лишь изредка в их рядах появлялся одинокий автомобиль, окруженный облаком выхлопных газов. Когда действие препарата кончилось, картина покрылась рябью, сквозь которую там, внизу, я опять увидел сверкающий поток, лакированные крыши, белые, изумрудные и желтые, величественно плывущие по Манхэттену.

— Кошмар! — ошеломленно произнес я. — Тем не менее *urbi et orbis* достигнут, так что все это, может быть, окупилось?

— Разумеется, тут есть и свои плюсы. Число инфарктов заметно снизилось, такие пробежки — прекрасная тренировка. Правда, стало больше больных эмфиземой легких, расширением вен и сердца. Не каждый рождается марафонцем.

— Так вот почему у вас нет машины! — догадался я.

Профессор лишь криво усмехнулся.

— Среднего класса машина стоит теперь каких-нибудь

* Мир градам и весям (лат.)

четыреста пятьдесят долларов, — сказал Троттельрайнер, — но, учитывая ее себестоимость (около одной восьмой цента), это, пожалуй, дороговато. Людей, которые производят хоть что-то реальное, все меньше и меньше. Композитор, получив гонорар, дает взятку заказчику, а публике, пришедшей в филармонию на премьеру, подсовывают под нос концертозольный мелотропин.

— Это, конечно, безнравственно, — заметил я, — но так ли уж вредно для общества?

— Пока еще — нет. Впрочем, смотря как оценивать. Благодаря трансмутину вы можете иметь роман с козой и быть в убеждении, что перед вами Венера Милосская; научные доклады и совещания вытесняются конгрессинами и деконгрессинами. Но есть некий жизненный минимум, которого иллюзией не заменишь. Нужно где-то взаправду жить, чем-то дышать и питаться, а реализ пожирает сферы реальной жизни одну за другой. Вдобавок угрожающе быстро растет число побочных явлений, а это вынуждает применять дегаллюцины, неосупермасконы, фиксаторы — с сомнительным результатом.

— Что это такое?

— Дегаллюцины — новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется. Сначала ими лечили душевнобольных, но теперь и здоровые люди все чаще начинают сомневаться в реальности окружающего. Амнестан бессилен против фантофантомов, то есть фантомов второго порядка. Понимаете? Ну, если кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе не воображает — или наоборот. Этим в основном и занимается современная психиатрия — ее называют еще многоярусной, или п-этажной. Но хуже всего неомасконы. Видите ли, под влиянием чрезмерных доз психимикатов организм дает сбой. Выпадают волосы, рогаеют уши, а то вдруг хвост исчезает...

— Вы хотели сказать — вырастает.

— Да нет, исчезает — хвост есть у всех лет уже тридцать. Побочное следствие орфографина. Мгновенное обучение грамоте дается не даром.

— Не может быть — я бываю на пляже, ни у кого нет хвоста!

— Вы ребенок, ей-богу. Хвосты маскируются антихвостидом, из-за которого в свою очередь чернеют ногти и портятся зубы.

— И это опять-таки маскируется?

— Ну конечно! Масконы вводятся миллиграммами, но в общей сложности на человека приходится около ста девянос-

та килограммов в год; оно и понятно — нужно имитировать домашнюю утварь, еду и напитки, вежливость ребятишек, предупредительность служащих, научные открытия, полотна Рембрандта, перочинные ножики, заморские путешествия, космические полеты и еще миллион подобных вещей. Если бы не врачебная тайна, стало бы известно, что в Нью-Йорке у каждого второго — плоскостопие, пятнистая кожа, зеленоватая шерсть на спине, на ушах колючки, эмфизема легких и расширение сердца от безудержного галопирования. Все это приходится маскировать — вот почему нужны неосупермасконы.

— Какой ужас! И ничего нельзя сделать?

— Наш конгресс как раз должен обсуждать альтернативы бустории. В кругах экспертов только и разговору что о необходимости коренных перемен. Представлено уже восемнадцать проектов.

— Спасения?

— Если хотите — спасения. Присядьте вот здесь, пожалуйста, и пролижите эти материалы. Но я попрошу вас об одном одолжении. Дело весьма деликатное.

— Буду рад вам помочь.

— Я на это рассчитываю. Видите ли, я получил от знакомого химика пробные дозы двух только что синтезированных веществ из группы очуханов, то есть отрезвинов. Он прислал их утренней почтой и пишет, — Троттельрайнер взял письмо со стола, — что мой очухан — вы его пробовали — не настоящий. Вот, послушайте: «Федеральное управление псипреции (психопреформации) старается отвлечь внимание дейвидцев от целого ряда кризисных явлений и с этой целью умышленно поставляет им фальшивые противоиллюзионные средства, содержащие неомасконы».

— Я что-то не понимаю. Ведь я сам испытал действие вашего препарата. И что такое дейвидец?

— Это звание, и очень высокое; я тоже его удостоен. Дейвидение означает право и возможность пользоваться очуханами — чтобы знать, как все выглядит на самом деле. Кто-то должен быть в курсе, не так ли?

— Пожалуй.

— А что касается того препарата, он, по мнению моего друга, устраняет влияние масконов старого образца, но против новейших бессилён. В таком случае вот это, — профессор поднял флакончик, — не отрезвин, а лжеотрезвин, закамуфлированный маскон, короче, волк в овечьей шкуре!

— Но зачем? Если нужно, чтобы кто-нибудь знал...

— «Нужно» вообще говоря, с точки зрения общества в

целом, но не с точки зрения интересов различных политиков, корпораций и даже федеральных агентств. Если дела обстоят хуже, чем кажется нам, действидцам, они предпочитают, чтобы мы не поднимали шума; вот для чего они подделали отрезвин. Так некогда устраивали в мебели ложные тайники — чтобы отвлечь грабителя от настоящих, запрятанных куда как искуснее!

— Ага, теперь понимаю. Чего же вы от меня хотите?

— Чтобы вы, когда будете знакомиться с этими материалами, вдохнули сначала из одной ампулы, а потом из другой. Мне, честно говоря, боязно.

— Только-то? С удовольствием.

Я взял у профессора обе ампулы, уселся в кресло и начал один за другим усваивать присланные на конгресс бусторические доклады. Первый из них предусматривал оздоровление общественных отношений путем введения в атмосферу тысячи тонн инверсина — препарата, который инвертирует все ощущения на 180 градусов. После этого комфорт, чистота, сытость, красивые вещи станут всем ненавистны, а давка, бедность, убожество и уродство — пределом желаний. Затем действие масконов и неомасконов полностью устраняется. Только теперь, столкнувшись с укрытой доселе реальностью, общество обретет полноту счастья, увидев воочию все, о чем мечтало. Может быть, поначалу даже придется запустить хужетроны — для снижения уровня жизни. Однако инверсии инвертирует все эмоции, не исключая эротических, что грозит человечеству вымиранием. Поэтому его действие раз в году будет временно, на одни сутки, приостанавливаться с помощью контрпрепарата. В этот день, несомненно, резко подскочит число самоубийств, что, однако, будет возмещено с лихвой через девять месяцев — за счет естественного прироста.

Этот план не привел меня в восхищение. Единственным его достоинством было то, что автор проекта, будучи действидцем, окажется под постоянным воздействием контрпрепарата, а значит, всеобщая нищета, уродство, грязь и монотонность жизни наверняка не доставят ему особой радости. Второй проект предусматривал растворение в речных и морских водах 10 000 тонн ретротемпорина — реверсора субъективного течения времени. После этого жизнь потекла бы вспять: люди будут приходиться на свет стариками, а покидать его новорожденными. Тем самым, подчеркивалось в докладе, устраняется главный изъян человеческой природы — обреченность на старение и смерть. С годами каждый старец все больше молодеет бы, набирается сил и

здоровья; уйдя с работы, по причине впадения в детство, он жил бы в волшебной стране младенчества. Гуманность этого плана естественным образом вытекала из присущего младенческим летам неведения о бренности жизни. Правда, вспять направлялось лишь субъективное течение времени, так что в детские сады, ясли и родильные клиники надлежало посылать стариков; в проекте не говорилось определенно об их дальнейшей судьбе, а только упоминалось о возможности терапии в «государственном эвтаназиуме». После этого предыдущий проект показался мне не столь уж плохим.

Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был куда радикальней. Он предусматривал эктогенезис, деташизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в изящной упаковке из дюропласта, что-то вроде глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи, физиологически совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии, соответствующим образом программируемой. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, машинам, транспортным средствам и т.д. Такая деташизация проходила бы в два этапа. На первом проводится план частичного деташизма: ненужные органы оставляются дома; скажем, собираясь в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф подсистемы копуляции и дефекации. В следующей десятилетке намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку — печальное следствие перенаселения. Кабельные и беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними поездки и командировки на конференции и совещания и вообще какое-либо передвижение, ибо все без исключения граждане имели бы связь с датчиками по всей ойкумене, вплоть до самых отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, гастропуляторами, а также головороллерами (чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, по которым головы смогут катиться сами, ради забавы).

Я прервал чтение — вернее, лизание — рефератов и заметил, что их авторы, должно быть, свихнулись. Суждение слишком поспешное, сухо возразил Троттельрайнер. Каша заварена — нужно ее расхлебывать. С точки зрения здравого смысла историю человечества не понять. Разве Кант, Аверроэс, Сократ, Ньютон, Вольтер поверили бы, что в двадцатом веке бичом городов, отравителем легких, свирепым убийцей, объектом обожествления станет жестянка на четырех коле-

сах, а люди предпочтут погибать в ней, каждую пятницу устремляясь лавиной за город, вместо того чтобы спокойно сидеть дома? Я спросил, какой из проектов он собирается поддержать.

— Пока не знаю, — ответил профессор. — Труднее всего, по-моему, решить проблему тайнят — подпольно рожденных детей. А кроме того, я побаиваюсь химинтриганства.

— То есть?

— Может пройти проект, который получит кредобилиновую поддержку.

— Думаете, вас обработают психимикатами?

— Почему бы и нет? Чего проще — взять и распылить аэрозоль через кондиционер конференц-зала.

— Что бы вы ни решили, общество может с этим не согласиться. Люди не все принимают безропотно.

— Дорогой мой, культура уже полвека не развивается стихийно. В двадцатом веке какой-нибудь там Диор диктовал моду в одежде, а теперь все области жизни развиваются под диктовку. Если конгресс проголосует за деташизм, через несколько лет будет неприлично иметь мягкое, волосатое, потливое тело. Тело приходится мыть, умащивать и прочее, и все-таки оно выходит из строя, тогда как при деташизме можно подключать к себе любые инженерные чудеса. Какая женщина не захочет иметь серебряные фонарики вместо глаз, телескопически выдвигающиеся груди, крылышки, словно у ангела, светоносные икры и пятки, мелодично звенящие на каждом шагу?

— Тогда знаете что? — сказал я. — Бежим! Запасемся едой, кислородом и уйдем в Скалистые горы. Каналы «Хилтона» помните? Разве плохо там было?

— Вы это серьезно? — как бы заколебавшись, переспросил профессор.

Я — видит Бог, машинально! — поднес к носу ампулу, которую все еще держал в руке. Я просто забыл о ней. От резкого запаха слезы выступили на глазах. Я начал чихать, а когда открыл глаза снова, комната совершенно преобразилась. Профессор еще говорил, я слышал его, но, ошеломленный увиденным, ни слова не понимал. Стены почернели от грязи; небо, перед тем голубое, стало иссиня-бурым, оконные стекла были по большей части выбиты, а уцелевшие покрывал толстый слой копоти, исчерченный серыми дождевыми полосками.

Не знаю почему, но особенно меня поразило то, что элегантная папка, в которой профессор принес материалы конгресса, превратилась в заплесневелый мешок. Я застыл, опа-

саясь поднять глаза на хозяина. Заглянул под письменный стол. Вместо брюк в полоску и профессорских штиблет там торчали два скрещенных протеза. Между проволочными сухожилиями застрял щебень и уличный мусор. Стальной стержень пятки сверкал, отполированный ходьбой. Я застонал.

— Что, голова болит? Может, таблеточку? — дошел до моего сознания сочувственный голос. Я превозмог себя и взглянул на профессора.

Не много осталось у него от лица. На щеках, изъеденных язвами, — обрывки ветхого, гнилого бинта. Разумеется, он по-прежнему был в очках — одно стеклышко треснуло. На шее, из отверстия, оставшегося после трахеотомии, торчал небрежно воткнутый вокодер, он сотрясался в такт голосу. Пиджак висел старой тряпкой на стеллаже, заменявшем грудную клетку; помутневшая пластмассовая пластинка закрывала отверстие в левой его части — там колотился серо-фиолетовый комочек сердца в рубцах и швах.левой руки я не видел, правая — в ней он держал карандаш — оказалась латунным протезом, позеленевшим от времени. К лацкану пиджака был наспех приметан клочок полотна с надписью красной тушью: «Мерзляк 119 859/21 транспл. — 5 брак.». Глаза у меня полезли на лоб, а профессор — он вбирал в себя мой ужас, как зеркало, — осекся на полуслове.

— Что?.. Неужели я так изменился? А? — произнес он хрипло.

Не помню, как я вскочил, но уже рвал на себя дверную ручку.

— Тихий! Что вы? Куда же вы, Тихий! Тихий!!! — отчаянно кричал он, с трудом поднимаясь из-за стола. Дверь поддалась, и в этот момент раздался страшный грохот — профессор, потеряв равновесие от резких движений, рухнул и начал распадаться на части, хрустя, как костями, проволочными сочленениями. Этого я никогда не забуду: душераздирающий визг, ножные протезы, скребущие острыми пятками по паркету, серый мешочек сердца, колотящийся за исцарапанной пластмассой. Я несся по коридору, как будто за мной гнались фурии.

Кругом было полно людей — начиналось время ленча. Из контор выходили служащие; оживленно беседуя, они направлялись к лифтам. Я втиснулся в толпу у открытых дверей лифта, но его очень уж долго не было; заглянув в шахту, я понял, почему все тут страдают одышкой. Конец оборванного неизвестно когда каната болтался в воздухе, а пассажиры с обезьяньей ловкостью, видимо, приобретаемой

годами, карабкались по сетке ограждения на плоскую крышу, где размещалось кафе, — карабкались как ни в чем не бывало, спокойно беседуя, хотя их лица заливал пот. Я подался назад и побежал вниз по ступенькам, огибавшим шахту с ее терпеливыми восходителями. Толпы служащих по-прежнему валили из всех дверей. Здесь были чуть ли не сплошь одни конторы. За выступом стены светлело открытое настезь окно; остановившись и сделав вид, будто привожу в порядок одежду, я посмотрел вниз. Мне показалось сначала, что на заполненных тротуарах нет ни одного живого существа, — но я просто не узнал прохожих. Их прежний праздничный вид бесследно исчез. Они шли поодиночке и парами, в жалких обносках, нередко в бандажах, перевязанные бумажными бинтами, в одних рубашках; действительно, они были покрыты пятнами и заросли щетиной, особенно на спине. Некоторых, как видно, выпустили из больницы по каким-то срочным делам; безногие катились на досочках-самокатах посреди городского шума и гомона; я видел уши дам в слоновьих складках, ороговевшую кожу их кавалеров, старые газеты, пучки соломы, мешки, которые прохожие носили на себе с шиком и грацией; а те, что покрепче и поздоровее, во весь опор мчались по мостовой, время от времени нажимая на несуществующий акселератор. В толпе преобладали роботы — с распылителями, дозиметрами и опрыскивателями. Они следили, чтобы каждый прохожий получил свою порцию аэрозольной пыльцы, но этим не ограничивались. За влюбленной парой, шедшей под руку (ее спина была в роговой чешуе, его — в пятнистой сыпи), тяжело шагал робот-цифрак с распылителем, методично постукивая воронкой по их головам, а те — ничего, хотя зубы у них лязгали на каждом шагу. Нарочно он или как? Но размышлять уже не было сил. Вцепившись намертво в подоконник, смотрел я на улицу, на это кипение призрачной жизни — единственный зрячий свидетель. Но в самом ли деле единственный? Жестокость этого зрелища наводила на мысль об ином наблюдателе: его режиссере, верховном распорядителе блаженной агонии; тогда эти жанровые сцены получили бы смысл — чудовищный, но все-таки смысл. Маленький авточистильщик обуви, суется у ботинок какой-то старушки, то и дело подсекал ее под колени; старушка грохалась о тротуар, поднималась и шла дальше, он валил ее снова, и так они скрылись из виду, он — механически упрямый, она — энергичная и уверенная в себе. Часто роботы заглядывали прямо в зубы прохожим — должно быть, для про-

верки результатов опрыскивания, но выглядело это ужасно. На каждом углу торчали безработники и роботрясы, откуда-то сбоку, из фабричных ворот, после смены высыпали на улицу роботяги, кретинги, праробы, микроботы. По мостовой тащился огромный компостер, унося на острие своего лемеха что попадет; вместе с трупем он швырнул в мусорный бак старушку; я прикусил пальцы, забыв, что держу в них вторую, еще нетронутую ампулу — и сжег себе горло огнем. Все вокруг задрожало, заволокло светлой пеленой — бельмом, которое постепенно снимала с моих глаз невидимая рука. Окаменев, смотрел я на совершающуюся перемену, в ужасном спазме предчувствия, что теперь реальность сбросит с себя еще одну оболочку; как видно, ее маскировка началась так давно, что более сильное средство могло лишь сдернуть больше покровов, дойти до более глубоких слоев — и только. В окне посветлело, побелело. Снег покрывал тротуары — обледенелый, утопанный сотнями ног; зимним стал колорит городского пейзажа; витрины магазинов исчезли, вместо стекол — подгнившие приколоченные крест-накрест доски. Между стенами, исполосованными подтеками грязи, царила зима; с притолок, с лампочек бахромой свисали сосульки; в морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый, как небо наверху; в грязные сугробы вдоль стен вмерз свалывшийся мусор, кое-где чернели длинные тюки, или, скорее, кучи тряпья, бесконечный людской поток подталкивал их, сдвигал в сторону, туда, где стояли проржавевшие мусорные контейнеры, валялись консервные банки и смерзшиеся опилки; снега не было, но чувствовалось, что недавно он шел и пойдет снова; я вдруг понял, кто исчез с улиц: роботы. Исчезли все до единого! Их засыпанные снегом остовы были разбросаны на тротуарах — застывший железный хлам рядом с лохмотьями, из которых торчали пожелтевшие кости. Какой-то оборванец усаживался в сугроб, устраиваясь, как в пуховой постели; лицо его выражало довольство, словно он был у себя дома, в тепле и уюте; он вытянул ноги, рылся босыми стопами в снегу — так вот что значил тот странный озноб, та прохлада, которая время от времени приходила откуда-то издалека, даже если вы шли серединой улицы в солнечный полдень (он уже приготовился к долгому-долгому сну), так вот оно, значит, что. Вокруг него как ни в чем не бывало копошился людской муравейник, одни прохожие опыляли других, и по их поведению было легко догадаться, кто считает себя человеком, а кто — роботом. Выходит, и роботы были обманом? И откуда эта зима в разгар лета? Или фата-морганой был весь

календарь? Но зачем? Ледяной сон как демографическое противоядие? Значит, кто-то все это продумал до мелочей, а мне придется исчезнуть, до него не добравшись? Мой взгляд упирался теперь в небоскребы, в их склизкие стены с провалами выбитых окон; позади стало тихо: ленч кончился. Улица — это конец, зрячие глаза мне ничуть не помогут, толпа захлестнет и поглотит меня, нужно найти хоть кого-нибудь, сам я смогу разве что прятаться какое-то время, как крыса; я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне. Охваченный ужасом и отчаянием, отпрянул я от окна; я дрожал всем телом — ведь призрак теплой погоды не согревал меня больше. Я и сам не знал, куда направляюсь, но старался ступать бесшумно; да, я уже скрывал свое присутствие здесь, сутулился, съеживался, озирался по сторонам, останавливался, прислушивался — бессознательно, еще не упев принять никакого решения и в то же время ощущая всей кожей по мне видно, что я все это вижу, и это не сойдет безнаказанно. Я шел по коридору шестого или пятого этажа; вернуться назад, к Троттельрайнеру, я не мог, ему требовалась помощь, а я был не в силах ему помочь; я лихорадочно думал сразу о многом, но прежде всего о том, не кончится ли действие отрезвина и не окажусь ли я снова в Аркадии. Странное дело — при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения, словно мне было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что я наяву, чем обрести утешенье в иллюзии. Я не смог свернуть в боковой коридор — дорогу загораживал своим телом какой-то старик; ему не хватало сил идти, он только судорожно дрыгал ногами, изображая ходьбу, и дружелюбно улыбался мне, тихонько похрипывая. Я ринулся в другой боковой коридор — тупик, матовые стекла какой-то конторы, за ними — полная тишина. Я вошел, завибрировала стеклянная дверь-вертушка, это было машинописное бюро — пустое. В глубине — еще одна приоткрытая дверь, а за ней — большая светлая комната. Я отпрянул — там кто-то сидел, — но услышал знакомый голос:

— Прошу вас, Тихий.

Пришлось войти. Меня даже не особенно удивили эти слова — как будто моего прихода здесь ждали; спокойно я принял и то, что за рабочим столом восседал собственной персоной Джордж Симингтон. Костюм из серой фланели, ворсистый шейный платок, темные очки, сигара во рту. Он смотрел на меня то ли со снисхождением, то ли с жалостью.

— Садитесь, — сказал Симингтон. — Поговорим.

Я сел. Комната с совершенно целыми окнами казалась оазисом чистоты и тепла посреди всеобщего запустения — ни пронизывающих сквозняков, ни снега, наметенного ветром. Поднос, черный дымящийся кофе, пепельница, диктофон; над головой хозяина — цветные фотографии обнаженных женщин. Меня поразила бестолковая, в сущности, мысль: лишаев на них не было вовсе.

— Вот вы и доигрались, — назидательно произнес Симингтон. — А ведь жаловаться вам не на кого! Лучшая медсестра, единственный на весь штат действительный врач — все вам старались помочь, а вы? Вы решили докопаться до «истины» на свой страх и риск!

— Я? — отозвался я ошеломленно; но он, не дав мне времени собраться с мыслями, обрушился на меня:

— Только, ради Бога, не лгите. Теперь уже поздно. Вам-то, конечно, мерещилось, будто вы ужас до чего хитроумны со своими жалобами и подозрениями насчет «галлюцинаций»! «Канал», «подвальные крысы», «седлать», «запрягать»... И такими убогими штучками вы хотели нас обмануть! Вы думали, они вам помогут? Только мерзлянтроп может быть таким простаком!

Я слушал, приоткрыв от удивления рот. Оправдываться бесполезно — он все равно не поверит, это я понял сразу. Мои навязчивые идеи он счел коварной уловкой! Но тогда и его беседа со мной о тайнах «Прокрустикс инк.» преследовала одну только цель — развязать мне язык; вот для чего он вставлял в разговор слова, которые так меня поразили; быть может, он считал их каким-то секретным паролем — но чего, антихимического заговора? Мои сугубо личные подозрения показались ему отвлекающим маневром... Действительно, не стоило объяснять ему это, особенно теперь, когда карты были открыты.

— Так вы меня ждали? — спросил я.

— А как же! Все это время вы, со всеми вашими хитростями, были у нас на привязи. Мы не можем позволить, чтобы безответственный бунт нарушил господствующий порядок.

Старик, умирающий в коридоре, — мелькнула мысль. Он тоже был частью барьеров, которые меня сюда направляли...

— Хорош порядок, — заметил я. — А во главе — уж не вы ли? Поздравляю.

— Приберегите свои острооты для более подходящего случая! — огрызнулся Симингтон. Значит, мне удалось-таки задеть его за живое. Он разозлился. — Вы всё искали «источники демонизма», мерзляничек вы этакий, ледышка моя допотопная... Так вот — их нет. Ваша любознательность

удовлетворена? Их просто-напросто нет, понимаете? Мы даем наркоз цивилизации, иначе она сама себе опротивела бы. Поэтому-то будить ее запрещено. Поэтому и вы вернетесь в ее лоно. Бояться вам нечего, это не только безболезненно, но и приятно. Нам куда тяжелее, мы ведь обязаны трезво смотреть на вещи — ради вас же.

— Так вы это из альтруизма? Ну да, понятно, жертва во имя общего блага.

— Если вы и впрямь так цените ужасную свободу мысли, — заметил он сухо, — советую оставить глупые колкости, иначе вы добьетесь того, что вмиг ее потеряете.

— А вы хотите мне еще что-то сказать? Я слушаю.

— В настоящий момент, кроме вас, я единственный человек в целом штате, который видит! Что у меня на глазах? — добавил он быстро, испытующе.

— Темные очки.

— Значит, мы видим одно и то же! — воскликнул Симингтон. — Химик, давший Троттельрайнеру отрезвин, возвращен к нормальной жизни и более ни в чем не сомневается. Сомневаться не позволено никому, неужели не ясно?

— Позвольте, — прервал я его. — Похоже, вы и в самом деле стараетесь меня убедить. Странно. Собственно говоря, зачем?

— Затем, что действидцы — не демоны! Обстоятельства нас вынуждают. Мы загнаны в угол, играем картами, которые раздал нам жребий истории. Мы последним доступным нам способом даем утешенье, покой, облегчение, с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии. Мы последние Атланты этого мира. Если миру суждено погибнуть, пусть хоть не мучается. Если нельзя изменить реальность, нужно хоть заслонить ее чем-то. Это наш *последний* гуманный, человеческий долг.

— Неужели совсем ничего нельзя изменить?

— Сейчас две тысячи девяносто восьмой год, — сказал Симингтон. — Шестьдесят девять миллиардов людей живут на Земле легально и еще, надо думать, двадцать шесть миллиардов тайных уроженцев. Температура падает на четыре градуса в год; очень скоро здесь будет ледник. Остановить обледенение мы не в силах, — разве что замаскировать.

— Мне всегда казалось, что в пекле будет адская стужа. А вы украшаете вход в него миленькими узорами?

— Именно так. Мы — последние добрые самаритяне. Все равно кому-то пришлось бы, сидя на этом вот месте, разговаривать с вами; случайно это оказался я.

— Да, да припоминаю: *esse homo*¹. Но... погодите... сейчас... Я понял, чего вам надо! Вы хотите убедить меня, что без вас, эсхатологического анестезиолога, не обойтись. Раз нет хлеба — наркоз страдающим. Не понимаю только, к чему вам мое обращение в вашу веру, если мне все равно придется тут же о нем позабыть? Если средства, которые вы применяете, так хороши, к чему заботиться о доказательствах? Достаточно пары капель кредобилина, и я с восторгом буду ловить каждое ваше слово, буду чтить вас и слушаться. Похоже, вы и сами не очень-то убеждены в достоинствах такого лечения, если вам по душе обычная старомодная болтовня, если вам приятней беседовать, чем орудовать распылителем! Вы, как видно, прекрасно знаете: психимическая победа — всего лишь жульничество, на поле боя вы останетесь в одиночестве — триумфатор с изжогой. Убедить, а после столкнуть в беспамятство — вот чего вы хотите. Не выйдет! Раньше ты повесишься на своей благородной миссии вместе с теми вон девками, что скрашивают тебе труды по спасению. А все-таки настоящих хочется, без щетины?

Его лицо исказила гримаса ярости. Вскочив со стула, он заревел:

— У меня найдутся не только аркадийские средства! Есть и химический ад!

Встал и я. Он потянулся было к пресс-папье, но я с криком «Отправимся туда вместе» бросился на него. По инерции, как я и рассчитывал, мы покатались к открытому окну. Послышался чей-то топот, чьи-то сильные пальцы пытались оторвать меня от него, он извивался, пинал меня, но в последний момент я повалил его на подоконник, собрал все силы и прыгнул; в ушах засвистело, мы кувыркались, вцепившись друг в друга; вращаясь, воронка улицы стремительно надвигалась на нас, я приготовился к сокрушительному удару, однако падение оказалось мягким, брызнула черная жижа, зловонная, благословеннейшая трясина сомкнулась над моей головой — и опять расступилась. Я вынырнул посредине канала, отирая рукой глаза, с резким привкусом помоев во рту, но счастливый, как никогда! Профессор Троттельрайнер, разбуженный моими воплями, склонялся над топью и подавал мне, как братскую руку, ручку сложенного зонтика. Отзвуки *бумбардировки* стихали. Дирекция «Хилтона» спала вповалку на надувных креслах (вот откуда взялись «надуванки»!), секретарши вели себя

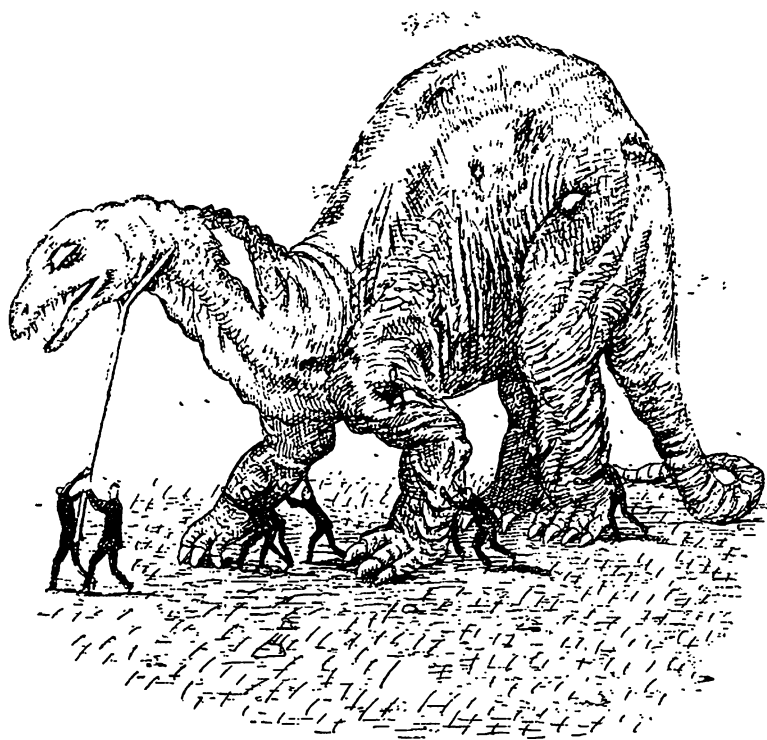
¹ Се — человек! (лат.)

во сне вызывающе. Джим Стэнтор, храпя и ворочаясь с боку на бок, придушил крысу, которая выцарапывала шоколад у него из кармана; перепугались и он, и она. Присев у стены на коленях, Дрингенбаум, этот педантичный швейцарец, при бледном свете фонарика правил свой реферат. Занятие, в которое углубился профессор, возвещало начало второго дня футурологического конгресса; при этой мысли я разразился таким хохотом, что рукопись выпала у него из рук, плюхнулась в черную воду и поплыла — в неизведанное грядущее.

Ноябрь 1970

ОСМОТР НА МЕСТЕ

роман



І. В ШВЕЙЦАРИИ

Приземлившись на мысе Канаверал, я отдал корабль в ремонт и начал думать о даче. После столь долгого путешествия мне полагался отдых. Земля кажется точкой только из космоса, после посадки оказывается, что она довольно обширна. А для хорошего отдыха мало красивых видов — необходима еще надлежащая осторожность. Поэтому я поехал к кузену профессора Тарантоги, который имеет разумную привычку читать газеты не сразу, а несколько недель погодя, когда они отлежатся. Я предпочел выбирать курорт у знакомого, чем в какой-нибудь публичной библиотеке. Пересекать магнитные поля Галактики — это не фунт изюму. Кости ноют уже порядочно. К тому же дает о себе знать колено, которое я вывихнул в Гималаях, в альпинистском лагере, когда алюминиевый табурет подо мной подломился. Лучшее средство от ревматизма — это чтобы было посуше и погорячее, разумеется, в климатическом, а не в военном смысле. Ближний Восток, как обычно, не входил в расчет. Арабы по-прежнему демонстрируют миру слоеный пирог, в котором их государства сливаются, делятся, мирятся и дерутся между собой по тысяче разных причин, которых я даже не пробую уразуметь. Южные, солнечные склоны Альп были бы в самый раз, но туда уже не ступит моя нога с тех пор, как меня похитили в Турине в качестве дочери герцога ди Кавалли, а может, ди Пьедимонте. Это так до конца и не выяснилось. Я приехал на астронавтический конгресс, сессия закончилась после полуночи, на завтра надо было лететь в Сантьяго, я заблудился в го-

Wizja lokalna, 1982

© Константин Душенко — авторизованный перевод, 1990, 1994

роде, не смог отыскать гостиницу и въехал в какую-то подземную автостоянку, чтобы вздремнуть хотя бы в машине. Единственное свободное место было, правда, огорожено разноцветными лентами, кажется, в честь того, что дочка герцога была с кем-то обвенчана, но я ничего об этом не знал, а впрочем, какое это имело значение в час ночи. Сперва мне засунули в рот кляп и связали, потом упаковали в кофр, машину вывели на улицу, погрузили на большой прицеп для перевозки автомобилей и повезли в свое убежище. Я, правда, мужчина, но теперь пол с ходу не определишь, бороды я не ношу, отличаюсь незаурядной красотой, — словом, они вытащили меня из багажника у подножья великолепной горной гряды и провели в одиноко стоявший домик. Стерегли меня двое верзил, на смену; за окном — альпийские снега, но, разумеется, позагорать не пришлось, куда там. Со смуглым усачом я играл в шашки — для шахмат он был туповат, а второй, без усов, зато с бородой, имел несносную привычку называть меня антрекотом. Это был намек на мою судьбу в случае, если герцог с супругой не заплатят выкупа. Они уже знали, что я ничего общего не имею с семейством ди Кавалли — или ди Пьедимонте, — но это вовсе не сбило их с толку, ведь суррогатное похищение стало делом обычным. Перед тем уже было несколько случаев увоза не тех детишек, что намечались, и родители надлежащих детей помогли неимущим. Потом это распространилось и на совершеннолетних. Немцы называют это *Ergatzentführung*, а они в таких делах доки. На беду, когда очередь дошла до меня, эрзац-похищений стало слишком уж много, сердца богачей очерствели, и никто не давал за меня даже ломаного гроша. Пробовали что-нибудь выторговать в Ватикане, церковь, как известно, милосердствует профессионально, но дело тянулось ужасно долго. Целый месяц я вынужден был играть в шашки и выслушивать гастрономические угрозы субъекта, который к тому же невыносимо потел и только гоготал, когда я просил его принять душ: ведь в доме есть ванная, а спину я ему сам намылю. В конце концов и церковь не оправдала надежд. Я присутствовал при их ссоре, они чуть не передрались, одни кричали «резать», вторые — за загривок, мол, герцогинину дочку, и вон со двора.

Герцогининой дочкой уперся называть меня тот, смуглый. У него на темени был жировик, и мне все время приходилось его разглядывать. Ел я, понятно, то же, что и они, с той лишь разницей, что они облизывали пальчики после макарон на оливковом масле, а меня от этого мутило. Шея еще болела с тех пор, как они пытались заставить меня признаться, что я

по крайней мере какой-нибудь свойственник герцога, раз въехал на герцогский паркинг, и порядочно навалили мне за обманутые ожидания. С тех пор Италия перестала существовать для меня.

Австрия довольно мила, но я знаю ее как свои пять пальцев, а хотелось чего-нибудь новенького. Оставалась Швейцария. Я решил спросить кузена Тарантоги, какого он о ней мнения, но оказалось, что сделал глупость, затеяв с ним разговор; он, правда, заядлый путешественник, но вместе с тем антрополог-любитель, собирающий так называемые граффити по всем уборным на свете. Весь свой дом он превратил в их хранилище. Когда он заводит речь о том, что люди изображают на стенах клозетов, глаза у него загораются огнем вдохновения. Он утверждает, что только там человечество абсолютно искренне и на этих кафельных стенах виднеется наше «мане, текел, упарсин», а также *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem**. Он фотографирует эти надписи, увеличивает их, заливает плексиглазом и развешивает у себя на стенах; издали это напоминает мозаику, а вблизи у зрителя просто спирает дыханье. Под экзотическими надписями, вроде китайских или малайских, он помещает переводы. Я знал, что он пополнял свою лекцию в Швейцарии, но мне это ничего не дало — он не заметил там никаких гор, зато обнаружил, что туалеты там моют с утра до вечера, уничтожая капитальные надписи; он даже подал памятную записку в Kulturdezernat** в Цюрихе, чтобы мыли раз в три дня, но с ним просто не стали разговаривать, а о том, чтобы пустить его в дамские туалеты, и речи не было, хотя у него имелась бумага из ЮНЕСКО — уж не знаю, как он ее раздобыл, — подтверждающая научный характер его занятий. Кузен Тарантоги не верит ни во Фрейда, ни во фрейдистов, потому что у Фрейда можно узнать, что думает тот, кому наяву или во сне чудятся башня, дубина, телеграфный столб, полено, передок телеги с дышлом, кол и так далее; но вся эта мудрость оказывается бесполезной, если кто-нибудь видит сны напрямую, без обиняков. Кузен Тарантоги питает личную антипатию к психоаналитикам, считает их идиотами и пожелал непременно объяснить мне почему. Он показывал жемчужины своего собрания, стишки на восьмидесяти, кажется, языках (он готовит богато иллюстрированную антологию, настоящий компендиум, с цветными вклейками); разумеется, он сделал

* Не умножай сущности сверх необходимости (лат.).

** Управление по делам культуры (нем.).

и статистические расчеты, сколько чего появляется на квадратный километр или, может, на тысячу жителей, не помню уже. Он полиглот, хотя в довольно-таки узкой области; но и это чего-нибудь стоит, если учесть, какое здесь накоплено лексическое богатство. Он, впрочем, утверждает, что условия его труда ему претят; нужны хирургические перчатки, дезодорант с распылителем — а как же? — но ученый обязан преодолевать в себе произвольное отвращение, в противном случае энтомологи изучали бы одних только бабочек и божьих коровок, а о тараканах и вшах никто ничего бы не знал. Опасаясь, что я убегу, он держал меня за рукав и даже подталкивал в спину к наиболее красочным участкам стены; я не жалуясь, говорил он, но жизнь я себе выбрал нелегкую. Человек, который ходит в публичные писсуары, обвешанный фотоаппаратами и сменными объективами, волочит за собой штатив и заглядывает во все кабины по очереди, словно не может решиться, — такой человек вызывает подозрение у туалетных служительниц, особенно если отказывается оставить свой груз у них, а тащит его с собой в кабину; и даже щедрые чаевые не всегда уберегают от неприятностей. Особенно сильно — как красный платок на быка — действует на этих блюстительниц клочетной морали (он выражался о них довольно резко) сверкание фотовспышки из-за закрытых дверей. А при открытых дверях работать нельзя — это раздражает их еще больше. И странное дело: клиенты, что заходят туда, тоже глядят на него исподлобья, а порою взглядами дело не ограничивается, хотя среди них наверняка имеются авторы, от которых следовало бы ожидать хоть чуть-чуть благодарности за внимание. В автоматизированных отхожих местах этих проблем нет, но он обязан бывать везде, иначе собранный материал не будет статистически репрезентативным. К сожалению, он вынужден ограничиваться выборкой, изучение мировой совокупности отхожих мест превосходит человеческие силы, — не помню уж, сколько на свете клозетов, но он и это высчитал. Известно, чем и как там пишут, когда под рукой ничего нет, и каким образом некоторые особо изобретательные авторы помещают афоризмы, а то и рисунки под самым потолком, хотя по фарфору даже шимпанзе не заберется так высоко. Желая из вежливости поддержать разговор, я высказал предположение, что они носят с собой складные лестницы; такое невежество его возмутило. В конце концов я все же вырвался от него и ушел от погони (он что-то кричал мне вслед даже на лестнице); крайне рассерженный неудачей — ведь о Швейцарии я не узнал ничего, — я вернулся в гостиницу, и ока-

залось, что несколько особенно забористых примеров, которые он мне декламировал, плотно застряли в моем мозгу; чем больше я силился их забыть, тем упорнее они лезли мне в голову. Впрочем, по-своему этот кузен был, возможно, и прав, указывая мне на большую надпись над своим рабочим столом: *Homo sum et nihil humani a me alienum puto**.

В конце концов я выбрал Швейцарию. Я давно лелеял в душе ее образ. Встаешь рано, в шлепанцах подходишь к окну, а там — альпийские луга, лиловые коровы с большими буквами «MILKA»** на боках; под перезвон их буколических бубенцов идешь в столовую, где в тонком фарфоре дымится швейцарский шоколад, а швейцарский сыр услужливо сверкает росинками, потому что настоящий эмментальский всегда чуть-чуть потеет, особенно в дырочках; садишься, гренки хрустят, мед пахнет альпийскими травами, а блаженную тишину подчеркивает торжественное тиканье настенных швейцарских часов. Ты разворачиваешь свежую «Нойе Цюрих Цайтунг» и видишь, правда, на первой полосе войны, бомбы, число убитых, но все это где-то там, далеко, словно в перевернутом бинокле, а вокруг тишина и спокойствие. Может, где-то и есть несчастья, но не здесь, в области минимального террористического давления; вот, пожалуйста, на всех страницах кантоны беседуют между собой приглушенным банковским диалектом, и ты откладываешь непрочитанную газету — ведь если все идет, как швейцарские часы, зачем читать? Неторопливо встаешь, одеваешься, напевая старую песенку, и отправляешься на прогулку в горы. Что за блаженство!

Примерно так я себе это представлял. В Цюрихе я остановился в гостинице рядом с аэропортом и принялся искать тихий уголок в Альпах на все лето. Я листал рекламные буклеты со все возрастающим нетерпением; меня отпугивали то обещания многочисленных дискотек, то фуникулеры, которые порциями затаскивают толпы туристов на ледник, а я не люблю толпы; что я говорить, задача была не из легких, ведь ни горы без комфорта, ни комфорт без гор меня не устраивали. С первого этажа на последний меня прогнал электрифицированный гостиничный оркестр, а также кухонная вентиляция, создающая впечатление (ложное, однако непреодолимое), будто жир на сковородах не меняли многие годы. Наверху было не лучше. Через каждые несколько ми-

* Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

** Марка шоколада.

нут на меня обрушивался грохот стартующих неподалеку джетов. Впрочем, в Европе говорят не «джеть», а «авиалайнеры», но «джет» лучше передает ощущение ударов по голове. Заглушки в ушах не помогали — вибрация моторов вворачивается прямо в кости, как бормашина. Поэтому на третий день я перебрался в новый «Шератон», в центре города, не сообразив, что это полностью компьютеризированная гостиница. Я получил апартамент, называемый на американский лад «suite», рекламную авторучку и пластиковый жетон вместо ключей. Им можно открывать также бар-холодильник, подключенный к центральному компьютеру. Телевизор по первому требованию показывал сумму счета на данный момент. Было довольно забавно следить за неустанным мельканием цифр, словно при показе спортивных гонок, с той только разницей, что мелькали не доли секунд, а швейцарские франки. «Шератон» славился возрождением старых традиций; например, на каждом столе поблескивало серебро столовых приборов; раньше на ножах и вилках гравировалось «Украдено в «Бристоле», но в «Шератоне» подобных резкостей избегали: просто в серебро добавлено что-то такое, из-за чего двери поднимают тревогу при попытке выйти на улицу с вилкой в кармане. Увы, я сам убедился в этом, и пришлось потом долго оправдываться. Авторучку я оставил рядом со стаканом, а чайную ложку засунул в нагрудный карман; но это объяснение не успокоило надушенного лакея, потому что ложечка сияла, как вымытая, хотя я ел яйцо всмятку. Ну что ж, я ее облизал, такая у меня привычка, но я не хотел исповедоваться в своих интимных склонностях перед швейцарцем, убежденным, будто он говорит по-английски. Я счел инцидент исчерпанным, но когда — для развлечения — попросил у телевизора счет, он показал его с ценой одной серебряной ложечки; ошибиться было нельзя. Раз уж я за нее заплатил, она была моя, и за обедом я засунул в карман точно такую же, что вызвало новый скандал. «Шератон», объяснили мне, не магазин самообслуживания. Ложечка, хотя и включенная в счет, остается собственностью отеля. Это не наказание, а жест вежливости по отношению к гостю, так как судебные издержки стали бы мне дороже. Моя сутяжническая жилка была задета, я даже подумал о процессе с «Шератоном», но решил не портить себе настроение, ибо надеялся все же увидеть Швейцарию своей мечты.

У дверей ванной помещались четыре выключателя, их назначения я так и не выяснил и вечером залез в постель в темноте. К подушке была прищиплена карточка с сердечными поздравлениями дирекции, а также маленькой плиткой

«Мильки», но я об этом не знал. Сперва я вонзил себе в палец булавку, а потом пришлось еще искать шоколадку под одеялом, куда она завалилась. Когда шоколадка была уже съедена, я спохватился, что теперь надо опять чистить зубы, и после непродолжительной внутренней борьбы так и сделал. Потом, пытаясь нащупать выключатель у кровати, нажал на что-то такое, из-за чего матрац начал трястись. Об абажур билась ночная бабочка. Терпеть не могу ночных бабочек, особенно когда они садятся на лицо. Я решил ее прихлопнуть, однако в пределах досягаемости был только здоровенный том гостиничной Библии в твердом переплете, а швыряться Библией как-то неловко. Я гонялся за нею довольно долго и в конце концов поскользнулся на альпийских буклетах, которые перед тем побросал на ковер. Казалось бы, пустяки. Глупости, о которых стыдно писать. Но если посмотреть глубже, не так уж это и просто. Чем больше комфорта, тем больше мучений и даже духовных унижений: ты чувствуешь, что не дорос до такого богатства возможностей, словно стоишь с чайной ложечкой перед океаном; впрочем, довольно о ложечках.

На следующее утро я позвонил агенту по продаже недвижимости и попросил его навести справки о небольшой комфортабельной вилле в горах; возможно, я приобрел бы что-нибудь в этом роде в качестве летней резиденции. Временами я совершаю поступки, которые удивляют меня самого; ведь я, собственно, не собирался покупать здесь никаких вилл. А впрочем, и сам не знаю. Город был мало сказать что подметен, но отполирован до зеркального блеска, парки нарядные, как подарки; и эта царящая повсюду праздничная прибранность казалась предвестием блаженной жизни, которая почему-то никак не давалась мне в руки. Потратив впустую день, все еще не решив, где провести лето, я решил как можно быстрее выехать из «Шератона» и при одной мысли об этом почувствовал немалое облегчение. Подходящую меблированную квартирку на тихой улочке я нашел на другой день, и даже с приходящей прислугой, унаследованной от прежнего жильца.

Этот день должен был стать последним днем моего гостиничного житья. Когда я закончил завтрак, к моему столику подошел крупный, седовласый, представительный мужчина, назвавшийся адвокатом Трюрли. Положив рядом с собой внушительных размеров портфель, он попросил у меня минуту внимания. Он сообщил мне, что известный швейцарский миллионер, доктор Вильгельм Кюссмих, будучи давним энтузиастом моей астронавтической деятельности и

заядлым читателем моих сочинений, в знак уважения и признательности желает подарить мне замок в полную собственность. Да, да, замок, второй половины XVI века, над озером, не в Цюрихе, а в Женеве, сожженный во время религиозных войн, отстроенный и обновленный господином Кюссмихом, — адвокат декламировал историю замка как по нотам. Должно быть, выучил наизусть. Я слушал его, приятно удивленный тем, что мое первоначальное представление о Швейцарии, совсем уже было поблекшее, оказалось все-таки верным. Адвокат вывалил передо мной на стол огромную книжищу в кожаном переплете, вернее; альбом, изображавший замок со всех сторон, а также с воздуха. Затем он протянул мне второй том, потоньше, — список предметов, то есть движимого имущества, находящегося в замке, поскольку господин Кюссмих не хотел оскорбить меня видом голых стен, и мне предстояло получить старинное здание со всем его содержимым; только первый этаж был без мебели, зато на всех остальных — сплошной антиквариат, бесценные произведения искусства, оружейная палата — а как же иначе! — и даже каретный двор; впрочем, он не дал мне времени насладиться всем этим и официальным, почти строгим тоном спросил меня, готов ли я принять дар. Я был готов. Адвокат Трюрли на мгновение замер — уж не молился ли он, прежде чем приступить к столь торжественному акту? Он был из числа мужчин, которым я всегда немножко завидовал. Их рубашки сияют ангельской белизной даже в три часа ночи, брюки на них никогда не мнутся, а от ширинки никогда не отлетают пуговицы. Этой своей безупречностью он меня несколько замораживал, или, скорее, сковывал: но можно ли было требовать, чтобы незнакомый благодетель направил ко мне посланника, больше соответствующего моим вкусам? К тому же не следовало забывать, что мы находимся в Швейцарии.

После исполненного достоинства молчания адвокат Трюрли сказал, что окончательные формальности мы уладим позднее, пока же достаточно будет подписать дарственную. Он достал из портфеля прозрачную папку, в которой, словно между стеклами, покоился этот старательно напечатанный документ, и развернул его передо мною на скатерти, одновременно протянув мне свою авторучку — разумеется, швейцарскую и золотую, как и его очки. Затем легким движением отодвинулся от стола, словно бы отменяя свое присутствие здесь, пока я не ознакомлюсь с содержанием столь важного документа. Я прочитал все пункты дарственной. Между прочим, я обязывался на протяжении шести месяцев не дотрагиваться

до двадцати восьми сундуков, стоявших в рыцарском зале; я поднял глаза на адвоката, но не успел открыть рот, как он, словно бы читая мои мысли, заверил меня, что в этих сундуках — разумеется, не запертых — находятся уникальные предметы, в частности, полотна старых мастеров; передача их в собственность иностранцу, даже столь знаменитому, как я, требует времени. Кроме того, в течение двух лет я не имел права продавать замок ни целиком, ни частично, а также переуступать его третьим лицам каким-либо иным образом. Ничего подозрительного в этих пунктах я не заметил. Впрочем, не была ли моя подозрительность проявлением беспомощности перед непостижимым великодушием, которое по цепи тяжелых юридических немецко-швейцарских оборотов, как по висячему мосту, вело меня прямо в замковые покои? Я даже немного вспотел, выводя свою подпись, а затем адвокат Трюрли легким, но властным движением приподнял руку, и двое гостиничных лакеев, которых я раньше не замечал — они незаметно поджидали за пальмами, — подошли, чтобы заверить мою подпись. Должно быть, он заранее поставил их там, в углу. Ничего не скажешь, он постарался оправить эту сцену в достойную раму.

Когда лакеи ушли, Трюрли попросил меня подписать еще одно условие на обратной стороне дарственной. Согласно этому условию, я разрешал лицам, которых назначит даритель, периодически проверять соблюдение мною пунктов 8 и 11 — то есть не роюсь ли я в сундуках с драгоценным содержимым. При мысли о том, что какие-то посторонние люди будут шнырять по замку и совать нос куда пожелают, мне стало не по себе. Адвокат разъяснил чисто формальный характер этого пункта. Документ, добавил он, приобрел юридическую силу, и я в любую минуту могу вступить во владение всем объектом вместе с прилегающим парком. Он уже встал, и тут я, к счастью, догадался спросить, когда я лично мог бы выразить признательность своему благодетелю. Однако господин Кюсмих был очень занят: он возглавлял концерн по производству пищевых концентратов, в том числе знаменитого «Мильмиля» — препарата, укрепляющего здоровье детей на всех континентах; о времени нашей встречи, сказал адвокат, придется условиться позже. Он пожал мне руку, старинные настенные часы за нашей спиной начали бить одиннадцать; при этих торжественных звуках я, уже в качестве владельца швейцарского замка, смотрел, как Трюрли ступает по коврам, как услужливо распахиваются перед ним стеклянные двери, ведущие на улицу, а шофер с фуражкой под мышкой открывает дверцу черного «мерседеса», — и постепенно я

пришел к выводу, что нечто подобное мне, в сущности, давно уже полагалось.

Увы, замок оказался нежилым. Зимой там лопнули трубы центрального отопления. Но дареному коню... Отказавшись от мысли уехать в Альпы, я принялся за ремонт. Специалист по интерьеру уговаривал меня превратить нижние залы в дворцовую феерию, а встретив мое сопротивление, уступил, но весьма злобредно: он просто свалил на меня все решения, включая облицовку ванной (потрескавшуюся) и стиль дверных ручек (кто-то поотворачивал их). Я успел уже выложить немалую сумму, как вдруг на первых полосах газет появились сенсационные новости о «Мильмиле». Выяснилось, из чего на самом деле изготавливается этот продукт. Международный комитет пострадавших матерей предъявил Кюссмиху иск. Сумма иска составляла девяносто восемь миллионов швейцарских франков. Загубленное здоровье детей, физические и моральные страдания родителей, добавочная компенсация за боль — обо всем этом газеты сообщали подробно, — а я, приезжая посмотреть, как идет ремонт, должен был пробираться сквозь пикеты с транспарантами, клеймившими прохвоста, который не только приобрел дворец, отравляя детей, но вдобавок еще имеет наглость отделять свою резиденцию как раз теперь, когда над ним висит дамоклов меч судебного разбирательства. Дважды мне удалось разъяснить, что я не Кюссмих, с грудными младенцами ничего общего не имею, но на третий раз какая-то пожилая дама из Армии Спасения (она, видать, просто меня не расслышала, распевая и колотя в бубен), взяла у другой дамы транспарант с требованием восстановить справедливость и огрела меня по голове. Тут я наконец понял, в какое дурацкое положение поставил меня Кюссмих своим замком. Я позвонил адвокату, желая услышать его мнение, а тот посоветовал мне избегать журналистов. Лучше всего, сказал он, уехать на время в Альпы. Я послушался — в конце концов, для этого я и приехал в Швейцарию. В глубине души — признаюсь в этом искренне, так как привык говорить одну только правду, — я надеялся, что все успокоится, когда Кюссмиха укутут наконец за решетку. Я, осел, все еще думал, будто он мучился угрызениями совести и в дарении видел акт искупления. Если бы я вовремя унес ноги из «Шератона», то провел бы безмятежное лето в тихом горном уголке, хотя, с другой стороны, тогда я не познакомился бы ни с профессором Гнуссом, ни с Институтом Исторических Машин, а значит, не отправился бы на Энцию с ее поразительной этикосферой. Такова жизнь: из глупостей вырастают большие дела, хотя чаще бывает наоборот. В то

лето я не меньше времени провел в Женеве, чем в Альпах, — за ремонтом все же приходилось приглядывать, да и Трюрли все время обсуждал со мною то да се. В городе я жил в меблированных комнатах, в замок не ходил, на процессе Кюсмиха тоже предпочитал не показываться, а тем временем мамыши, прокуроры и репортеры заботились о том, чтобы пресса то и дело взрывалась сенсациями о злодеяниях концерна. Впрочем, борение злата с правом давало неожиданные результаты. Эксперты обвинения доказывали, сколь пагубным было воздействие «Мильмиля» на организм ребенка, а эксперты, нанятые концерном, с не меньшей научной точностью демонстрировали всеисцеляющую силу порошка. Общественное мнение, однако, было на стороне младенцев и матерей. В очередной раз вернувшись из Женевы в свой альпийский замок, я едва лишь успел позавтракать, как Трюрли лаконичной телеграммой вызвал меня обратно.

В Женеву я возвращался на поезде. Швейцарцы источили свою страну туннелями, и можно исколесить ее всю, не увидев ни разу гор. В купе я застал пожилого мужчину в позолоченном старомодном пенсне на черной тесемке. Он читал мои «Звездные дневники» и при этом, к моему удивлению, то и дело открывал какой-то толстенный том, лежавший у него на коленях, и, заглянув туда, что-то старательно вписывал на поля моей книги. Когда он ушел в вагон-ресторан, оставив «Дневники» на сиденье, я внимательно присмотрелся к ним. Поля сверху донизу были испещрены номерами каких-то параграфов. Меня разобрало любопытство; когда он вернулся, я представился и спросил о значении этих пометок. Мой попутчик оказался человеком весьма любезным и сердечно поздравил меня с выдающимися открытиями и свершениями. Он был профессором космического права, притом в политическом аспекте. Роже Гнусс — именно так его звали — не только заведовал университетской кафедрой, но и курировал, по поручению секретариата ООН, Институт Исторических Машин, филиал МИДа. Министерства не иностранных, а инопланетных дел. Я даже не знал, что оно уже существует. Благодушно улыбаясь голубыми, как альпийские ледники, глазами, которые за стеклами пенсне казались совсем маленькими, профессор объяснил мне, что новый МИД пока существует частично, как учреждение в стадии формирования. По инициативе влиятельных государств создана административная протоячейка, которая в нормальное министерство разовьется какое-то время спустя, когда контакты с инопланетными цивилизациями перестанут носить случайный характер и дело дойдет до установления диплома-

тических отношений, включая аккредитацию полномочных послов. До сих пор освоением населенных планет ведала ООН, но космические масштабы требуют от дипломатии абсолютно новых методов и решений. Все это было для меня совершенной новостью. Больше всего меня удивляло молчание швейцарской прессы о предмете столь важном. Не так уж оно удивительно, объяснил мне профессор; ведь пока мы занимаемся главным образом фантомно-тренировочной дипломатией, к тому же финансирует нас ООН (кантональные власти, давая согласие на размещение нового МИДа в Женеве, оговорили, что финансовая сторона их не касается), а прессу не интересуют дела, не влияющие на швейцарскую экономику. Впрочем, добавил он, наша деятельность не передается огласке, хотя и не является тайной в понимании международного, а также швейцарского (уголовного и гражданского) права: речь идет не о государственной безопасности, но о здравом рассудке. Валютный рынок лихорадит и без сообщений об инопланетянах; швейцарский франк еще не катится под гору, однако уже прихрамывает, и нужно оберегать его от потрясений. Обычный период планирования в банковском деле — несколько лет, не больше, ведь основная единица измерения здесь бюджетный год; а мы, то есть ИИМ вместе с МИДом, работаем с минимальным упреждением порядка ста лет! Именно этими единицами (так называемыми секулярами) оперирует министерский планетарно-исторический механизм. Я ничего не понял, но имел смелость признаться в этом. От вас, господин Тиши́ (так он выговаривал мое имя), мне скрывать нечего, заверил профессор. Сперва он объяснил мне значение пометок в «Дневниках». Обычная профессиональная привычка: все совершенные мною, по незнанию, нарушения межпланетного космического права, а также правил движения по Млечным Путям он подводил под соответствующие параграфы. Увидев мое вытянувшееся лицо, профессор добавил, что такие faux-pas* — обычный удел первооткрывателей. Разве Колумб не принял Америку за Индию? А отношение испанцев к ацтекам? Но звездные государства, с которыми мы имеем дело, — отнюдь не объекты колониальной экспансии; они, вообще говоря, куда развитее нас. До самой Женевы профессор излагал мне азы своей дисциплины, а я внимал ему, как школяр. Юридические законы, поучал Гнусс, в Космосе важнее физических. Конечно, в последней инстанции явления бытия определяются физикой, но на практике все по-

* Здесь: промахи (фр.).

другому. Взять хотя бы загадку «космического молчания», *Silentium Universi*. Почему столько десятилетий впустую ушло на поиски внеземных цивилизаций? Да потому, что первыми, неведомо по какому праву, к ним приступили естественники — астрономы, физики, математики, биологи — и рассчитали как дважды два, что тех, *других*, не может не быть, энергетические средства у них имеются, технические возможности тоже; а раз не видно ничего и не слышно, *ergo*, Нигде Никого Нет. Как же так нет, если доказано, что не может не быть? Вместо того чтобы проконсультироваться у знатоков политического, экономического и прочих прав, они решили: чем выше взберется цивилизация, тем гибель ее вернее. Период личиночный, стадия куколки, длится долго, но тогда нет средств для сигнализации, а когда они уже есть, цивилизация либо исчезла, либо вот-вот исчезнет. Этой несокрушимой логикой они напугали не только сами себя, но и широкую публику. Получилось, что в Космосе мы одиноки как перст. Мало того: и нас-то скоро не будет. Конечно, был Ийон Тихий и путешествовал, но *pescus contra plures*, один в поле не воин. Он не получил официального признания. Почему? А разве мало маньяков и жуликов, плетущих небылицы о тарелках и об Ужасно Добрых Праастронавтах, прибывших на Землю, чтобы воздвигнуть египтянам пирамиды под предлогом захоронения фараонов? Наука должна была выработать в себе невосприимчивость к подобным бредням — и стала уж слишком невосприимчивой. «Известно ли вам, господин Тиши, — профессор успокоительным жестом положил на мое колено швейцарскую, вымытую до розовой кожи ладонь, — где, то есть в каком разделе, хранятся ваши труды, ну, хотя бы в городской библиотеке Женевы? В разделе научной фантастики, так-то вот, дорогой коллега! Ради Бога, не принимайте этого близко к сердцу. А вы и не знали?»

Я ответил, что не читаю собственных книг и потому не ищу их в библиотеках.

— Быть непризнанным — прямой долг любого великого новатора и первопроходца, — изрек Гнусс. — Впрочем, имелись крайне серьезные соображения, вследствие которых мы — то есть МИД — не реагировали на подобные недоразумения. Мы некоторым образом оберегали тем самым и вас...

— Как прикажете вас понимать? — спросил я удивленно.

— Вы поймете, но в свое время. Раз уж судьба свела меня с вами, пусть будет, чему суждено быть, — и он дал мне визитную карточку, перед тем записав на обратной стороне не подлежащий разглашению номер домашнего телефо-

на. — *Silentium Universi* объясняется финансовыми лимитами, — сказал он, понизив голос. — Наше богатое государство отдает бедным странам 0,3 процента своего дохода. Почему вне Земли должно быть иначе? Полагать, будто Космос был ничейным пространством, не знавшим правовых норм, сфер влияния, проектов бюджетов, охранительных пошлин, пропаганды и дипломатии, пока там не появилось человечество, — значит уподобляться младенцу, которому кажется, что, пока он не сделал первой кучки, никто этого не умел. Проблема исчезла только тогда, когда от естественников она перешла к нам. Ведь они, господин Тиши, и вправду что малые дети. Им кажется, будто тот, кто имеет на текущем счету десятка два солнц, уравновешенный энергобаланс, а в астрофинансовом резерве что-нибудь около 10^{49} эргов, швыряет этим добром направо и налево, без счету: сообщает и извещает, шлет в пустоту промышленные лицензии, совершенно бесплатно — да что там, с чистым убытком, делится технологической, социологической и Бог весть какой еще информацией, просто так, от чистого сердца — или органа, который ему заменяет сердце. Все это сказки, дорогой господин Тиши. Как часто, разрешите спросить, вас осыпали богатствами на открытых вами планетах?

Я на минуту задумался — подобный подход был для меня совершенно новым.

— Ни разу, — ответил я наконец, — но ведь я никогда ни о чем не просил, профессор...

— Вот видите! Чтобы получить, нужно сперва попросить, и то ничего не известно. Ведь межзвездные отношения определяются политическими, а не физическими постоянными. Физика действительна всюду, но разве случалось вам видеть политика, который жаловался бы на гравитационную постоянную Земли? Какие такие физические законы возбраняют имущим делиться с бедствующими? Просто диву даешься, как господа астрофизики могли не учесть в своих рассуждениях столь очевидных вещей! Но мы уже подъезжаем. Приглашаю вас посетить Институт Исторических Машин. Телефон я вам дал — позвоните, и мы условимся.

Действительно, поезд уже стучал на развилках пути, показался вокзал. Профессор спрятал «Звездные дневники» в портфель, взял накидку и сказал, улыбаясь:

— Политические отношения развиваются в Космосе не один миллиард лет, но наблюдать их нельзя даже в самый большой телескоп. Поразмышляйте на досуге об этом, а пока — до свидания, дорогой господин Тиши! Знакомство с вами было для меня честью...

Я, все еще под сильным впечатлением от этой встречи, разыскал у здания вокзала черный «мерседес», в котором ожидал меня Трюрли. Садясь в машину, я протянул ему руку. Он взглянул на меня, словно не мог взять в толк, что это такое высовывается из моего рукава, а затем прикоснулся к моей ладони кончиками пальцев. Хотя шофер не мог нас услышать — он сидел за прозрачной перегородкой, — адвокат произнес очень тихо:

— Господин Кюссмих дал показания...

— Сознался? Это хорошо, — машинально ответил я и тут же сообразил, что сказал не то: ведь я разговаривал с его адвокатом.

— Для вас — нет, — бросил он холодно.

— Извините, что?

— Он сознался, что дарственная была трюком...

— Как это — трюком?.. Не понимаю.

— Будет лучше, если мы продолжим разговор у меня.

Мы замолчали. Его ледяной вид удивлял меня все больше; но когда мы очутились в его кабинете, шило вылезло из мешка.

— Господин Тихий, — сказал Трюрли, усевшись за письменный стол, — показания доктора Кюссмиха совершенно изменили ситуацию.

— Вы полагаете? Потому что они были ложными? Он оклеветал меня?

Адвокат сморщился, словно услышал что-то непристойное.

— Вы находитесь у адвоката, а не в зале суда. Клевета — нет, вы только подумайте! Уж не хотите ли вы сказать, господин Тихий, что доктор Кюссмих ни с того ни с сего, ради ваших прекрасных глаз подарил вам объект стоимостью восемьдесят три миллиона швейцарских франков?

— О стоимости речи не было... — пробормотал я, — и... и с этим вот вы пришли ко мне...

— Я сделал то, что поручил мне мой клиент, — сказал Трюрли. Глаза у него были голубые, как у профессора, но далеко не столь симпатичные.

— Как же так... вы хотите сказать, что вручили мне эту дарственную с задней мыслью?

— Мои мысли тут ни при чем; это область моей психики, которая правосудию безразлична. Итак, вы пытаетесь утверждать, что приняли в дар от совершенно незнакомого человека восемьдесят три миллиона без всяких скрытых соображений?

— Да что вы мне такое рассказываете, — начал было я,

распалаясь гневом, но он оставил на меня палец, как револьвер.

— Извините, но теперь я говорю. Если бы судей набрали со школьной скамьи, возможно, они приняли бы ваши показания за чистую монету; но на это рассчитывать не приходится. Подумать только! Человек, о котором вы даже не слышали, дарит вам восемьдесят три миллиона, потому что, видите ли, когда-то с удовольствием прочел книжку, которую вам за благорассудило сочинить? И суд должен в это поверить?

Адвокат достал из роскошной шкатулки сигарету и закурил ее от стоявшей возле чернильницы золотой зажигалки.

— Может быть, вы объясните мне, в чем дело? — сказал я, стараясь сохранять хотя бы наружное спокойствие. — Что угодно господину Кюссмиху? Чтобы я разделил с ним тюремную камеру?

— Доктор Кюссмих будет очищен от всех предъявленных ему ложных обвинений, — произнес адвокат Трюрли и выдохнул дым в мою сторону, словно отгоняя назойливое насекомое. — Боюсь, в камере вам придется сидеть одному.

— Погодите. — Я все еще ничего не понимал. — Он подарил мне замок... зачем? Он хочет взять его обратно?

Адвокат важно кивнул.

— Так какого черта было дарить? Ведь я не просил, я не знал — а-а-а... он боялся, что на замок наложат арест, конфискуют, да?

Лицо адвоката не дрогнуло, но у меня словно шоры упали с глаз.

— Ладно, — сказал я воинственно, — однако замок все еще мой, мой по закону...

— Не думаю, что вам это что-нибудь даст, — ответил он равнодушно. — Дарственная настолько невероятна, что признать ее недействительной — пустячное дело.

— Понимаю, поэтому он дал ложные показания... но, если судьи в это поверят, загремит он на пару лет...

— Не знаю, что вы понимаете под словом «загремит», — сказал Трюрли. — Истцы давно уже добивались суда. Об этом знает каждый, кто читает газеты. Доктор Кюссмих находился в нелегком положении, поскольку первое заключение экспертов оказалось не в пользу «Мильмиля». Вы использовали его минутную слабость, душевный кризис, вызванный тревогой за благосостояние семьи. Он поступил вопреки моему совету — я убеждал его, что правда восторжествует и мы выиграем процесс. Так оно и будет. Поэтому дело не дойдет до ареста имущества для взыскания суммы иска. Суду при-

дется выяснить только одно: как вы, иностранец, пытаетесь нажиться на чужой беде.

— Так ему ничего не грозит? Хотя он сам признаёт, что при помощи дарственной хотел отвертеться от описи имущества? Что он хотел...

— Никто не может быть наказан за то, что чего-то хотел.

— Значит, я тоже!

— Вы не только хотели, но и подписали известный вам документ.

— Но без задней мысли! Моя репутация безупречна! Я могу доказать это, — тут я осекся, потому что адвокат изменился в лице, словно вершины Альп при закате солнца.

— А серебряные ложечки?! — пророкотал он, глядя на меня с нескрываемым презрением.

На этом я закончу отчет о нашей беседе. Адвоката, рекомендованного мне профессором Гнуссом, к которому я обратился за советом, звали Спутник Финкельштейн. Он был маленький, чернявый и веселый. Выслушав мою историю до серебряных ложечек включительно, он потер нос и сказал:

— Вы не удивляйтесь, что я все время провожу пальцем по носу: если ты двадцать лет носил очки, трудно отделаться от этой привычки сразу же после перехода на контактные линзы. Вы сообщили мне сюжет представления, а я сообщу вам, кто авторы либретто. Кюссмих выиграет, потому что поладил с «Нестле». Речь шла о золотом кофе. Слышали? Кофе в порошке — если его растворить, выглядит в чашке в точности, как золото.

— А на вкус?

— Так себе. Но это незанятая пока рыночная ниша — никто еще до этого не додумался! Новинка! Пить чистое золото! Понимаете? Он выхватил патент у них из-под носа, вот они и подстроили ему пакость.

— А «Мильмилль»? Вреден он или нет?

— Все вредно, — категорическим тоном ответил мой защитник. — Там есть эндорфины, ну, знаете, соединения, которые организм сам вырабатывает в мозгу, болеутоляющие, морфин из той же оперы. Этих эндорфинов в «Мильмилле» — кот наплакал. Ровно столько, чтобы можно было писать об этом в рекламах. Одни врачи говорят, что это вредно, другие, что полезно. Или, во всяком случае, безвредно. Впрочем, какое это имеет значение? В гражданских делах все решает банковский счет — если уж нельзя выиграть, можно засутяжничать противника насмерть. Сейчас я как раз веду такое дело — о патенте на машину времени. Чтобы путешествовать в будущее. Называется хронорх. Туда и обратно — замети-

ли? Два доктора из очень приличного университета — назовем их, во избежание огласки, доктор Трефе и доктор Кошер — изобрели его на пару. А патента им не выдают, потому что действует он не так, как гласит их описание.

— Хронорх? — спросил я с любопытством, уже забыв о «Мильмиле» и ложечках. — Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?

— Почему бы и нет? Это взялось из теории Эйнштейна, впрочем, как и остальные несчастья. На быстро перемещающихся телах время течет медленнее. Вам это известно? Ну, конечно, известно... Вот им и пришло в голову, что лететь никуда не надо, достаточно, чтобы тело очень быстро вертелось на месте. Раз в одну сторону, раз в другую. При достаточно большой скорости такого волчка время начинает идти медленнее. Таков принцип. К сожалению, ничто не выдерживает этой тряски, все разлетается. На атомы. Можно, конечно, посылать в будущее эти атомы, но больше ничего. Пошлете яйцо — придет фосфор, углеводы и из чего там еще состоит яйцо. И человека можно забросить в будущее только в порошке. Поэтому патентное бюро отказывает им в патенте, а они боятся, что кто-нибудь украдет идею, прежде чем они выдумают средство против этой трясушки. Такое вот дело. Трудное, но я как раз такие люблю. Однако вернемся к нашим баранам. «Нестле» столкнулась с Кюссмихом, и они поделят золотой кофе. Мамошек и деточек финансировать перестанут. Эксперты усомнятся в своих заключениях. Кюссмих подарил вам замок, чтобы, допустим, продемонстрировать свою силу. Мол, ничего ему не сделают. Подарить семье, изменить номинального владельца собственности — это было бы шито белыми нитками. Нужен был иностранец, заслуженный, но — скажем так — с оттенком двусмысленности. Вы не обидитесь? Чтобы в случае чего можно было сказать: пожалуйста, было кому дарить, все по заслугам, а если дело повернется иначе, сменить пластинку: мол, меня ввела в заблуждение видимость, были серебряные ложечки и еще кое-что. Так повернули бы игру против вас. Вы интересовались покупкой дома! Вы подходили им как нельзя лучше, ведь вы не какой-нибудь шалопай; но, разрешите спросить, почему вы согласились принять замок вместе с этими сундуками? Сундуки доби́ли вас окончательно...

— Как же я мог отказаться? Я не видел причин. Да и неучтиво как-то — брать подаренное, но с разбором... ведь это обида для дарителя...

— Я так и думал. Но сундуков ни один суд не проглотит. Знаете, что в них?

— Мне сказали, произведения искусства...

— Разве что сверху. Это же курам на смех. У меня тут дарственная, ксерокс. О содержимом сундуков ни слова.

— Адвокат Трюрли сказал, что там какие-то картины и что их передача мне в собственность требует особого оформления...

— Еще бы, ведь там главные части аппаратуры для производства золотого кофе. Дареному коню в зубы не смотрят, но этот конь был троянский! Вам пришлось хранить то, из-за чего шел настоящий спор, закулисный!

— Да что вы! Я и не заглядывал в сундуки...

— Ну да, вы порядочный человек. Вы подписали, вы дали слово, это о вас хорошо свидетельствует, может, где-нибудь еще вам и поверили бы, только не здесь. Их версия такова: вы пытались воспользоваться безвыходным положением Кюссмиха, чтобы склотить состояние.

— Трюрли говорил что-то в этом роде.

— Вот видите!

— Но объясните мне, почему Кюссмих, подаривший мне то, чего вовсе не хотел дарить, выйдет сухим из воды, а я нет?

— Видите ли, тут дело вот в чем. Допустим, кто-то приходит к вам с большим сундуком и говорит, что убил тетку, в сундуке — ее тело вместе с бриллиантами, и, если вы спрячете их у себя, он поделится с вами добычей, — только помогите закопать тетку. Потом оказывается, что он обманул вас. В сундуке одни кирпичи. Он не будет нести ответственность — да и за что? За то, что он вас обманул? Но он ничего не получил от вас при помощи этой лжи. Он скажет, что пошутил, — а вам расхлебывать кашу. Вы согласились стать соучастником убийства *post factum*, пообещав спрятать награбленное, а также помочь в захоронении трупа. Это наказуемо. Попытка соучастия *post homicidium**, а также посредничество в сбыте награбленного.

— Вы видите тут что-то общее с моей ситуацией?

— Да. Они это очень хитро придумали. И вы еще согласились, чтобы неведомо сколько уполномоченных Кюссмиха следили, как вы соблюдаете условия дарственной! Сказать вам, что вы увидите в замке, если выберетесь туда? Толпу, господин Тихий! Если вам кое-куда приспичит, они вправе сопровождать вас до самого туалета, а также быть *praesentes apud actum urationis* или *defecationes*** , поскольку документ,

* После убийства (лат.).

** Присутствующим при мочеиспускании (или) дефекации (лат.).

который вы подписали и позволили заверить подписями двух свидетелей, каких бы то ни было исключений не предусматривает. Ничего не скажешь, отлично сработано!

— Лучше бы вы умили свое восхищение.

— Хи-хи, вы, ей-богу, веселый клиент, господин Тихий! Так вот: они, видите ли, хотят, чтобы вы добровольно отказались от дара. Если вы не согласитесь, начнется процесс. Замок — ну, тут я вас как-нибудь защитил бы; а вот что касается сундуков — вряд ли. *In dubio pro geo**, но ни один швейцарец не усомнится, что первым делом вы заглянули в сундуки.

— А если бы и заглянул, что с того?

— Вам непременно хочется знать? Хорошо, я скажу вам. Там еще ценные бумаги, учредительные акции Кюссмиха, патенты, техническая документация, и, будь вы человеком менее порядочным, но более предусмотрительным, вы бы это обнаружили и дали знать Кюссмиху, чтобы он забрал свое добро. А вы сидели тихо. Нет, молчите — я вам верю! Однако коллега Трюрли намерен сострять из этого весьма красочную историю. Бездействие как *dolus***, а то и как *corpus delicti****. На вашем месте я сразу бы принял за эти сундуки.

— Вы говорите странные вещи.

— Потому что я знаю, кто такой Кюссмих, а вы только начинаете узнавать. Это еще не все. Они будут помалкивать, но если вы решите уехать, то будете задержаны на границе или в аэропорту. Намерение бежать в страну, не подписавшую со Швейцарией соглашение о выдаче уголовных преступников.

— Что же вы посоветуете?

— Есть дубина и на Кюссмиха, но у нее два конца. Откажись вы от дара теперь, Кюссмих не был бы в восторге. Тут есть юридическая тонкость. Пока не будет вынесен благоприятный для него приговор, иск будет висеть над ним, как дамоклов меч. Мы знаем, что меч этот снимут, вложат в ножны и закопают, но, если еще до вынесения приговора печать раструбит о вашем отказе от щедрого дара, одно потянет за собой другое, и вонь будет изрядная. Пресса обожает такие скандалы! Зато после приговора никого уже не будет интересовать ни замок, ни вы, ни сундуки, и никто не заметит, что он подарил, а вы вернули ему подарок, потому что так вам заблагорассудилось, и точка. Понимаете?

* Сомнение (толкуется) в пользу обвиняемого (лат.).

** Уловка (лат.).

*** Состав преступления (лат.).

— Понимаю. И хочу отказаться сразу же. Чтобы вони было побольше!

Адвокат Финкельштейн рассмеялся и погрозил мне пальцем.

— Вендетта? Жаждем крови? «О, подлый Яго, пусть...» и так далее, «вот и пришла, злодей, пора расплаты»? Прошу вас не делать этого, господин Тихий! У дубины есть и второй конец. Пресса набросится на вас обоих. Он нечист на руку, а вы — его пособник. Конечно, не мешает пригрозить, что мы немедленно все вернем, но угрозы будут не слишком убедительными, ведь хотя мы можем потащить их за собой, толнуть будем вместе, и вы погрузитесь глубже, чем он. Трюрли перекует ваши ложечки в меч Гавриила-архангела.

— Так что же вы мне советуете?

— Сохранять терпение. Суд отложил сессию на три месяца. Будем торговаться. Тянуть, согласиться на четверть, чуть уступить, направиться к выходу, закрыть за собой дверь, снова чуть приоткрыть, вернуться — и в конце концов соглашение на ничью.

— То есть?

— Кюссмих заберет замок и сундуки, но возместит вам расходы и откажется от процесса. Ну, еще, может быть, возмещение за моральный ущерб. Вы уясняете себе всю картину? Если нет, могу объяснить еще раз. Я очень терпелив с клиентами. Иначе нельзя. Швейцарцы в общем-то тугодумы. Я натурализовался здесь, но родом я из Чорткова, если вам интересно. Знаете, где это?

— Нет.

— Не важно. Галиция и Лодомерия. Премиленькая местность. Отец — вечная ему память, вместе с его идеей назвать первородного сына Спутником, — имел там антикварный магазин. Достоинейший был человек. Я не поменял имени. Ну, так как же, господин Тихий? Будем упираться или на мировую?

— Мне хотелось бы, чтобы господин Кюссмих запомнил меня надолго, — ответил я по некотором размышлении.

Адвокат посмотрел на меня с неодобрением:

— Вы думаете сначала о нем, а потом о себе? Благородно, но непрактично. Лучше оставьте мне страховочную веревку. Адвокат Финкельштейн упрется и будет тянуть, пока еще можно. А вы тем временем отправляйтесь на отдых. Три месяца нужно переждать все равно.

— Знаете что, — сказал я, захваченный новой мыслью, — этот хронорх — он уже готов? Действует? А то хорошо бы послать приличную дозу разных атомов туда, где

Кюссмих будет изготавливать свой золотой кофе. Например, сажу, кремний, серу...

Адвокат громко рассмеялся:

— О, выходит, профессор был прав, когда говорил, что вам пальца в рот не клади. Верно, это оружие может оказаться очень грозным. Но, видите ли, месть, как и любой бизнес, должна иметь какой-то предел расходов. Чтобы псаать горсточку атомов на полгода вперед, понадобилось бы электричества на миллион франков.

— В таком случае я перепоручаю вам свой замок и свою честь, господин адвокат, — сказал я, вставая. Он еще смеялся, когда я закрыл за собой дверь.

II. ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКИХ МАШИН

Адвокат Финкельштейн убедил меня. Месть была невозможна, хотя, конечно, это одно из высших наслаждений жизни, причем, по утверждению знатоков, холодная месть всего приятней на вкус. У кого из нас нет личных врагов, ради которых мы усмиряли в себе вредные страсти, чтобы в наилучшем здравии дожидаться нужного часа? Об этом я мог бы поведать немало, ведь космонавтика, понятное дело, оставляет массу времени для размышлений. Один человек, имени которого я не назову, дабы не увековечить его, всего себя посвятил поношению моего творчества. Возвращаясь из созвездия Кассиопеи, я знал, что встречу его на официальном банкете, и обдумывал различные варианты встречи. Разумеется, он подойдет и подаст мне руку, а я, к примеру, попрошу его разъяснить, подлец он или кретин, потому что кретинам я подаю руку, а подлецам — никогда. Но это было как-то уж очень убого, по-опереточному. Я браковал один вариант за другим, а приземлившись, к своему ужасу, услышал, что все пошло впустую. Он переменил мнение и теперь превозносил меня до небес.

Кюссмиху я тоже не мог ничего сделать. Поэтому я решил, что отныне он для меня не существует. И он действительно исчез, но только из моей яви. В сонных кошмарах он дарил мне яхты, дворцы, танкеры, полные «Мильмиля», и груды бриллиантов. Мне приходилось на коленях уползать от орды адвокатов, а те, настигнув меня в темном переулке, набивали мои карманы серебряными ложечками. Приговоренный к трем месяцам тяжелых забот в Швейцарии, я опасался, что просто зачахну. По ночам — Кюссмих, а днем — царки, как подарки, сияющие золотом таблички с названия-

ми банков, биржевые бюллетени и курсы акций в «Нойе Цюрхер Цайтунг». На прогулках я избегал одной улицы: мне сказали, что под асфальтом, между трубами, там хранятся сейфы с золотом; они, мол, не умещались в подвале, и банк врылся под мостовую. К счастью, я вспомнил о приглашении профессора Гнуса. Это меня спасло.

Институт располагался за городом, среди обширного парка, в его высоких стеклянных стенах отражались небо и облака. За оградой в форме копий с позолоченными остриями грелись на солнце подстриженные ряды кустарника. Из приемной я позвонил в главное здание; потом проехал дальше и припарковался под большими каштанами у бассейна, в котором плавали сонные лебеди. Не выношу я этих тупых тварей и не понимаю, почему столько даровитых людей (особенно причастных к искусству) попались на удочку их выгнутых шей.

Холл института был необъятен. Чем-то он напоминал собор — должно быть, из-за тишины и мраморных плит; отраженные в них перекрытия наводили на мысль о церковных сводах. Издалека я увидел профессора — он выходил из лифта, улыбаясь в ответ на мое приветствие. Так началась увертюра к одному из важнейших моих путешествий; но я, следуя за своим провожатым коридорами какого-то из верхних этажей мимо техников в белых халатах, восседавших на седлах бесшумно катившихся электрокаров, знать об этом не мог. Несмотря на дневное время, сияли люминесцентные лампы то холодным, то теплым светом, как бы давая понять, что здешнее время земному не подчиняется. В огромном кабинете профессор представил мне около дюжины своих сотрудников — начальников отделов ИИМ. Дабы не подвергать испытаниям мою скромность, они поздоровались со мной уважительно, но без подобострастия. То был кружок блестящих, первостепенных умов. К сожалению, не всех я запомнил. Знаю, что Отделом Финансовой Космологии *не* заведовал доктор де Волей, заведующего звали иначе, но как — вылетело из головы. Во всяком случае, как-то в этом роде. Финансы, впрочем, не моя специальность. Другое дело физика. Этот отдел возглавлял романоязычный швейцарец, доцент Бурр де Каланс; едва ли не 49 процентов его подчиненных были психами. Завистники — ибо идея оказалась гениальной — утверждали, что и сам де Каланс с приветом. Как будто на таких интеллектуальных высотах это имело какое-нибудь значение. Взять хотя бы несколько последних идей его сотрудников. Раз нельзя перемещаться во времени, надо перемещать время. Если энергия не желает течь между изотермическими точка-

ми, нужно ее заставить, делая дырки. Отсюда взялись энтроны, инверсоры и реверсоры, а также выкопалистика, или углубление ямок в структуре пространства-времени, пока где-нибудь не треснет, — и эта, вне всякого сомнения, сумасшедшая идея положила начало новой эре в физике. Правда, никто пока не знал, как это делать, но практическое внедрение мало кого в Институте заботило, поскольку весь он был устремлен в далекое будущее. Де Каланс, во всяком случае, был преисполнен энтузиазма. Разумеется, первый попавшийся псих не мог рассчитывать на должность в его отделе. Свихнуться надо было не на банальной почве личных проблем, но на самых твердых орехах физики. Впрочем, эта мысль принадлежала еще Нильсу Бору: тот как-то заметил, что в современной физике обычных идей уже недостаточно — необходимы безумные. Правой рукой де Каланса был доктор Доуберман, левой — маленький Сен-Беернарес. Или наоборот. Именно он (но опять-таки не помню, который) математически доказал возможность превращения кварков в акварки, а тех, в свою очередь, — в аквариумы. В нашей Вселенной это невозможно, но в других, безусловно, возможно; тем самым теория вышла за пределы нашего Универсума. Зато я почти уверен, что это голландец Доуберман сказал мне ни с того ни с сего, что церковь прибегает к неподходящей символике, пользуясь пасторальными, то есть пастушескими, образами ягнят и овец, потому что ягням место на вертеле, да и овечки идут на шашлык. У де Каланса, конечно, случались иногда нелады с коллективом. Еще он мечтал заполучить хоть парочку свихнувшихся нобелевских лауреатов; на беду, все живущие были пока нормальны. Его ученые вели себя чрезвычайно логично для своего состояния, пожалуй, даже слишком логично, и ни во что не ставили общепринятые условности, если речь заходила о самой сути. У меня на голени и теперь еще виден след от зубов доктора Друсса; укусил он меня отнюдь не в припадке бешенства, а для того, чтобы мне лучше врезалась в память его теория спинов (иначе, закрутов) — не левых и не правых, но *третьих*. И точно, он своего добился: я запомнил все досконально.

Нужно, однако, внести хоть какой-то порядок в эти буйные воспоминания. Сердцем Института были огромные исторические машины, именуемые также электрохронографами; остальные отделы имели с ними постоянную связь. Отделом Онтологических Ошибок и Искривлений заведовал Йондер Кнак, долговязый американец, сын исландки и эскимоса; до создания этого отдела никто и понятия не имел о подлинной роли ошибочных представлений, которые, в сущности, опре-

деляют поведение разумных существ. Заглянув в первый раз в лабораторию промышленной сексуалистики, я решил, что попал в музей старых паровых машин или помп Джеймса Уатта: все здесь, пыхтя, сновало туда и сюда; но это была всего лишь мастерская блудных машин, примитивных копулятриц; их привозили из разных стран в целях стандартизации и сравнительных исследований. Лаковые станины японских моделей были разрисованы белыми цветами вишни. Немецкие — абсолютно функциональные, без каких-либо украшений, их поршни беззвучно сновали в отливающих маслом цилиндрах, а специалисты Кнака уже эстраполировали следующие поколения копулятриц. На стенах висели цветные графики эрекции и дезэрекции, а также кривые оргиастического и экстастического насыщения. Все это было весьма любопытно, но атмосфера царила довольно похотливая — там уже знали, что гипотезу об универсальном характере земной эротике опровергают данные межзвездных экспедиций. Доктор Фабельгафт, создатель теории постоянно возрастающего зазора между актами любви и деторождения (так называемая теория копуляционно-прокреационной* дивергенции), по словам коллег, пил до беспамятства, ибо уже подсчитал параметры этого расхождения для всех биологических популяций Галактики вместе с Магеллановым Облаком, как вдруг директор велел передать всю документацию в Отдел Ошибок и Искривлений. Поэтому мне не удалось с ним познакомиться — он избегал людей.

Зато Отдел Внеземных Теологий процветал. Несмотря на микроминиатюризацию (в блоках ртутной памяти емкостью 10^7 санкторов на кубический миллиметр хранились лишь самые основные данные о теодицеях), поговаривали о переводе Отдела в особое здание, а ведь электронная картотека вероисповеданий весила чуть ли не полтора тонны. Странное ощущение — стоять перед огромным блоком закованной в сталь памяти, где, словно в сверкающем саркофаге, покоятся тысячи религий Космоса.

Почтенный ассистент профессора, магистр Денкдох, сначала провел меня по отделам (но я не перечислю и малой их части), чтобы я уяснил себе, какими реками информации питаются центральные электрохронографы. Их назначения я все еще не понимал, но, по совету Денкдоха, воздерживался от вопросов.

Обед, полученный мною в столовой, для такого института был скудноват. Денкдох объяснил, что недавно дотации снова

* Прокреация — размножение.

урезали. Зато за мое просвещение взялись всерьез. Осмотр быстро утратил ознакомительно-экскурсионный характер, хотя я и не догадывался еще, какие планы строил профессор, давая мне свой телефон. После обеда Денкдох предложил мне партию в шахматы. Я спустился к машине за своим мини-компьютером и усадил его за доску против одной из институтских ЭВМ — не слишком большой; сами же мы, не теряя времени, прошли в директорский кабинет, где началось посвящение меня в секреты ИИМ.

Теперь все это поблекшие воспоминания, но тогда у меня чуть голова не распухла. Сперва меня ознакомили с порядками в МИДе, которому они подчинялись. Что-то мне, вероятно, уже доводилось слышать, однако по мере возможности я обходил эту сферу космической бюрократии стороной, пока и меня жареный петух не клюнул. Что творится сейчас в соседних созвездиях, никому не известно; в лучшем случае известно, что творилось в них икс лет назад, в бытность там наших посланцев. Исследователи, как лица политически некомпетентные, путешествовать одни, понятно, не могут; поэтому с ними летят эмиссары надлежащих ведомств. По возвращении из командировки чиновники представляют отчеты, и из этих отчетов составляются выжимки для программирования электрохронографов, то есть компьютеров, моделирующих историю данной планеты. Каким образом, однако, можно строить политику на выводах из давнишних событий? Одной радиосвязи для этого мало; впрочем, радиограмма даже от ближайшей звезды идет многие годы. Электрохронограф, попросту говоря, должен угадать продолжение инопланетной истории, на которую он нацелен. Не буду останавливаться на перебранках между исследователями-очевидцами, хотя, между прочим, ни разу еще не случилось, чтобы им удалось согласовать свои отчеты об экспедиции. Достаточно вспомнить, что американцы ухлопали миллиарды, пытаясь выяснить, есть ли жизнь на Марсе; они посылали туда орбитальные и спускающиеся аппараты, многие месяцы изучали полученный материал, после чего оказалось, что все, правда, известно, но вот что именно — об этом ученые договориться не могут. А всего-то и надо было узнать, есть там в песке какие-нибудь бактерии или нет. Ведь микроорганизмы, которые либо есть, либо их нету, которые лишены языка, а значит, не способны рассказывать байки, — просто подарок по сравнению с существами разумными, которые не только обладают такой способностью, но и с немалым умом ею пользуются. К тому же космопроходец прибывает на Землю с безнадежно устаревшим материалом: пока МИД получит его отчет, проходит

век, и с этой дипломатической стороны теории относительности ничего поделаться нельзя. Так что дипломатия, а с ней и политика в Космосе могут быть только релятивистскими. В электрохронограф вводятся данные планетологии, физики, химии, а также истории населенных планет; он поглощает сотни информационных потоков, а потом очередная контрольная экспедиция констатирует фиаско всех этих трудов. Пока что электрохронографы не попали в точку ни разу. Чаще они попадают пальцем в небо, да и чему удивляться? Помните, насколько удачными оказались домыслы футурологов? А ведь они занимались тем, что было у них под носом и за окном. С другой стороны, нельзя опускать руки: политика существует не потому, что так кому-то понравилось, но потому, что так надо. Политическая информированность МИДа целиком зависит от работы электрохронографов, так что Институт монтирует их один за другим. Действуют они с разбросом, то есть создают противоречивые версии инопланетной истории. Перспективы не самые радужные. На каждую галактику приходится до девятистот цивилизаций, с которыми нужно поддерживать дипломатические отношения, такова оценка на нынешний день; сколько на свете галактик, точно не знает никто, но не меньше ста миллиардов. Это дает кое-какое понятие об объективных трудностях, с которыми сталкивается Министерство Инопланетных Дел; утешать себя тем, что обычный обмен нотами с отдаленными цивилизациями занял бы около двух миллиардов лет, не приходится: есть ведь и более близкие, и не мешало бы знать, чего от них ожидать. Магистр Вютерлих из Группы автопрогнозирования ИИМ (она моделирует будущее развитие МИДа) установил, что если космополитика будет развиваться согласно прогнозам, то не позднее чем через полтора ста лет каждый землянин станет как минимум почетным консулом, если не полномочным послом, а все типографии нашей планеты будут печатать одни лишь верительные грамоты. Это, конечно, в корне устранило бы угрозу перенаселения, но создало бы ряд новых проблем. Города опустели бы, да и у самого МИДа появились бы трудности с комплектованием кадров.

В течение первого месяца я ежедневно приходил в институтский Центр хронографического слежения и слушал лекции, словно студент. Я узнал, что не мы выдумали этот порох, задолго до нас нашлись такие умы в небесах. Политика же замечательна тем, что включает в свою орбиту все, что поначалу ею, может, и не было. Там, под чужими солнцами, есть свои МИДы со своими электрохронографами, и космическая гонка в области оптимизации предсказаний идет вовсю. Чем

точнее вы угадали продолжение инопланетной истории, тем ваше положение выгоднее. Поэтому хрономоделирование — не только метод познания, но и политическое оружие; ведь некоторые версии своей истории те, Другие, производят только на экспорт; в интересах космополитики так, скорее всего, придется делать и нам. Как заметил при мне ехидный профессор Маверикс из Отдела Земной Истории, для этого не потребуются ни особых затрат, ни усилий — достаточно будет передать содержание школьных учебников истории, издающихся в столь многочисленных под нашим солнцем странах. Впрочем, поскольку фантазии эти, в общем-то, скромные, их называют не ложью, а местным патриотизмом.

Я усердно внимал ему, принимал таблетки от головной боли и убеждался, что все потеряно. Никогда уже не буду я знать Космос, как в прежние годы. Тогда я был сущим ребенком; но детской простодушной наивности рано или поздно приходит конец.

Элементы хрономоделирования мне излагал доцент Цвингли. Это называется еще проективной имитацией будущего; впрочем, на интересующей нас планете оно уже не будущее, а настоящее, но мы не знаем его и не можем сию минуту узнать, поскольку нельзя мгновенно преодолеть разделяющее нас расстояние. В машины закладывают всевозможные сведения о населенном небесном теле. Сначала — версии первопроходцев, ложные как минимум на 100 процентов (при этих словах сердце у меня замерло). Как минимум, ибо даже на Земле первопроходец обычно понятия не имеет о том, что он открыл. Взять хотя бы Колумба с его Америкой. Он получил не нулевую даже, но отрицательную информацию. Нулевой она была бы, если б он честно признался, что ведать не ведает, куда его занесло.

Дальнейшие версии поставляют туземцы, движимые скорее собственной выгодой, нежели стремлением к истине. Эти версии понять легче всего: предназначенные на экспорт, они просты, ясны и последовательны. Если же они приближаются к истинному положению дел, то можно понять либо очень мало, либо все наоборот. И возмущаться тут не из-за чего: вспомним, что христианская любовь к ближнему служила обоснованием иноверческой розни, разрывания лошадыми богобоязненных толкователей Евангелия, грабежа соседей, угона туземцев в рабство, — короче, нет преступления столь изощренного, которое не было бы совершено из страха Божьего. Причем на словах эти заповеди соблюдались свято, откуда следует, что все может вытекать из всего, а разум на

практике служит согласованию прекрасного с постыдным. Оптимисты могут утешать себя тем, что речь идет об атрибуте разума универсальном, а не локальном.

В рабочем жаргоне Института укоренилась артиллерийская терминология, поскольку задача состоит в построении событийной траектории, бьющей точно в цель. В идеальном случае земной исследователь прибывает на планету — объект моделирования — с последним номером местной газеты в руках (так называемый фантомный выпуск) и, сверив его с аналогичным местным изданием, констатирует их полнейшее сходство. Идеал, как обычно, недостижим, но надо к нему стремиться. Отдельно взятая хроногаубица дает отклонение, именуемое абсолютным; другими словами, совпадений нет никаких. Поэтому хроногаубицы сводят в батареи, что влечет за собой громадный разброс хронограмм. Попытки усреднения результатов кончились полной сумятицей, и в настоящее время крайние результаты отсеиваются. По этому принципу действуют три хронобатареи: Батарея Апробирующих Модулей (БАМ), Опонирующих Модулей (БОМ) и Уточняющих Модулей (БУМ). Согласовать их вердикты пробует МОСГ (Модуль Согласования Гипотез), который, однако, то и дело впадает либо в эпилептический резонанс, либо в кататонию. Ведется работа по созданию сводных хронодивизионов (БАМ, БОМ, БУМ) для выхода на более высокие уровни моделирования, но пуск первого корпуса крупнокалиберных хронометров не оправдал ожиданий: оказалось, историографическая меткость корпусных агрегатов будет удовлетворительной лишь в том случае, если их общая масса сравняется с массой Галактики. Так что пока пришлось ограничиться системой из трех самостоятельных батарей, а МОСГ лишь комментирует ее диагнозы.

Все это показалось мне совершенно неправдоподобным. Разве можно, спросил я, предвидеть какие-либо происшествия на планете, удаленной от нас на тысячи световых лет, если я головой поручусь, что все ваши хроногаубицы не угадают, что я завтра съем на обед?

— Ха! — отозвался Цвингли. — Не думайте, будто вы сразили нас наповал. Принцип надежных прогнозов прост. Действительно, неизвестно, что вы завтра будете есть, но известно, что через четыре миллиарда лет здесь никто ничего есть не будет, потому что Солнце, превратившись в «красный гигант», испепелит внутренние планеты, а с ними и Землю. Верно?

Я согласился.

— Поэтому недостоверные события нужно сопрягать с до-

стоверными. Таков общий принцип, а остальное — уже вычисления. С ними не справилось бы все человечество, усаженное за счеты. Но сто граммов псин-массы (психоаналитической массы) превосходят человечество на голову. В Природе имеются некоторые постоянные. Например, постоянная расширения нагреваемых тел или распространения планетных цивилизаций. Неважно, что они там себе думают, важно, что они делают. Стилль серебряной ложечки как ювелирного изделия не имеет никакого значения, если положить ее в печь. Главное — температура плавления серебра. Следовательно, кроме постоянных, имеются критические точки — в истории тоже. Выбросьте из головы всю архаическую историографию! Короли, династии, государственные интересы, захваты и прочее. Не счесть капель воды в Ниагаре, но ее мощь и водосброс вычислить можно. Молодая цивилизация, как принято у нас говорить, неплотно прилегает к Природе. Когда недосыгаемы не только звезды, но и дно морей собственной планеты, ее недра и полюсы, когда орды кочевников кормятся чем Бог послал, — они могут думать о звездах, морях, климате, почве все, что взбредет им в голову, ведь эти бредни не связаны с эффективной практической деятельностью. Дождь они могут вызывать заклинаниями, обращать к океану молитвы, просить солнце о помощи — условий их жизни это никак не затрагивает. Но чем старше цивилизация, тем обширнее сфера ее соприкосновения с Природой. Вы не можете ограничиться сведениями о трезубце Нептуна, если хотите добыть нефть с морского дна! Отсюда что следует? То, что молодая цивилизация ведет себя не как капуста на грядке летом, но, скорее, как калужница на болоте весной. Она уже почки пустила, а тут вдруг заморозки, и почки ко всем чертям. Мороз рисует на окнах узоры. Какие узоры он нарисует, никому не известно; известно, однако, что скоро они исчезнут, потому что идет потепление. Раннее развитие заикается. Иначе говоря, осциллирует. Местные гуманитарии называют это историческими циклами, культурными эпохами и так далее. Разумеется, никаких прогнозов отсюда делать нельзя. Подходящей моделью будет таз с водой, в которую добавляют мыло. Пока мыла мало, пузыри лопаются. Добавьте воды — их вовсе не будет. Добавляя мыло, вы сгущаете пену. Подставьте вместо мыла сравнительно развитые технологии, и пузыри перестанут лопаться. Вот вам модель цивилизованной экспансии в Космосе! Каждый пузырь — цивилизация. Сперва вычисляем постоянные пузыря. Каково поверхностное натяжение? То есть стабильность системы. Каков наш пузырь внутри — совершенно пуст или

разделен пленками, а значит, состоит из нескольких пузырей поменьше? То есть государств. Сколько мыла прибывает в столетие? То есть каков темп техноэволюции? И так далее.

— Но все это чересчур отвлеченно, — не сдавался я. — Какое-то статистическое усреднение, может, и выйдет, но чтобы содержание инопланетной газеты за такой-то день такого-то года — это уж извините! Ни за что не поверю!

— Но мы об истории не рассуждаем, господин Тихий, мы ее моделируем, и в качестве доказательства эффективности моделирования получаем хронограммы, — возразил флегматично доцент. — Сегодня мы в вашем присутствии загрузим порцию шихты, и притом по материалам планеты, на которой вы побывали и которую подробно описали в своих «Дневниках».

— Что это — шихта?

— Спрессованная информация о планете — о ее цивилизации. Ваши записи тоже туда включены, а как же, — но в числе десятка тысяч других. Чтобы наглядно продемонстрировать вам возможности хроногаубицы, мы нацелим ее на ваш дневник и посмотрим, что из этого выйдет!

— Не понимаю. Что и как вы нацелите?

— Попросту говоря, ваш отчет о путешествии на Энтерпию будет сопоставлен со всей совокупностью фактов, которые собрал, изучая планету, целый хронодивизион, непрерывно снабжаемый информацией с нашего мидовского спутника, а тот получает ее из Маунт-Вилсоновской обсерватории — там у них самые свежие данные космического радиоперехвата. И никто из нас, господин Тихий, не знает, что содержится в шихте, — такова особенность нашей работы. На чтение одной только порции шихты у вас ушло бы три тысячи лет, не меньше. А хронодивизион усваивает ее за тридцать шесть часов, при упреждении в пять секуляров. Может быть, это даст вам некоторое представление о различии между историческим воображением машины и человека. Из всех заковык, с которыми приходится иметь дело, я расскажу вам лишь об одной, дабы вы уяснили себе, что именно мы вам покажем как результат моделирования. Хроногаубица действует так, как если бы разыгрывала тысячи шахматных партий одновременно, причем результат одной служит началом следующей. Чтобы сделать правильный ход, она конструирует критерии оценки, теории, гипотезы и так далее. Так вот: мы вовсе не желаем их знать. Это нам ни к чему — ведь и артиллеристу совершенно незачем знать, как протекает сгорание каждого зернышка пороха. Снаряд должен попасть в цель, вот и все. Поэтому хроногаубица отвечает на

конкретные вопросы конкретно, без балласта промежуточных предположений и домыслов. Программа сегодняшнего эксперимента предусматривает анализ вашего четырнадцатого путешествия под углом его отдаленных последствий. При этом не так уж важно, сообщили ли вы, как в суде, правду и только правду. Мы ведь стоим на почве политики, а не физики. Не в правде дело, но в Realpolitik*. То есть в том, какое влияние ваша первопроходческая деятельность на Эвтеропии окажет на отношения между цивилизациями — нашей и тамошней.

— Так чего же мы ждем? — спросил я. — Загружайте скорее вашу шихту, куда положено...

Загрузка началась в пятницу вечером, так что, придя в Институт в понедельник, я успел как раз вовремя, чтобы увидеть последний этап операции. В Центр хронослежения набилось множество любопытных из разных отделов; результат должен был появиться на круглом и толстом, как иллюминатор, экране, над которым лихорадочно мигали белые и зеленые контрольные лампочки, совсем как в заурядном фантастическом фильме; часы показывали одиннадцать, время шло, а мутная глубь за толстым стеклом оставалась темной. Потом в самом его центре вспыхнула красная точка, и это свечение распространилось на всю окружность экрана, кишащую черными, крохотными, извивающимися гусеницами. Выглядело это крайне неаппетитно — как насекомые на раскаленной сковороде. Шеф лингвистов доктор Гаерштейн торжественно вскрикнул:

— Родофильное письмо, наречия верхней и нижней Тетраптиды, язык официальных бумаг!

Он приблизил лицо к экрану; черные гусеницы — иероглифы или буквы? — выстроились в два ровных прямоугольника, один над другим.

— Это вам, господин Тихий, — добавил уже спокойнее Гаерштейн.

— Что это?

— Точно не знаю. Я изучал оба эти наречия, но язык со временем изменяется, а перед нами проекция с упреждением в два секуляра... если не большим. Коллега Дюнгли, переключите, пожалуйста, на главный транслятор...

Дюнгли уже стоял за пультом, с непроницаемым лицом нажимая на клавиши. На алом экране возникла острая иголочка света и принялась перебегать туда и обратно по рядам застывших значков. И тут же частой дробью отозвалась ма-

* Реальная политика (нем.).

шина, похожая на большой телетайп. Все повернулись к ней, оставив место и для меня. По мере того как телетайп перемалывал буквы, из-под широкого валика мелкими, судорожными скачками высовывался лист бумаги. Увидев знакомые знаки латиницы, я затаил дыхание и начал читать.

Кецхьюр Вецхьюр
Керделленпабранг

Земское Посольство
Сверхмощносыльного
Политохода Курдлиандии

БАРГМАРГСКВАРОШИ!

Г.Ийону Тихому
в Земле

115 Ллимнер, Опрель

Ваше Высокоблагостное Рождество!

Мы: Необычайный и Полно-Мощный Министр, Земно Аккредитованный, Сверхмощносыльного Политохода Курдлиандского, совращаемся к В.В.Рождеству с нижеследственным.

Ведомо нам учинилось нащет Писульки, В.В.Рождеством тиснутой, ей же титул «Звездные дневники», особливо имея в предмете «Путешествие Четырнадцатое», и в оной Писульке В.В.Рождество плавит о летании на Нашенский Глобус.

В.В.Рождество подтыкает Земскому Плебсу сведомости о Нашем Политоходе, зело от правды отстрепенутые.

Синглюрей, сиречь Примо: В.В.Рождество бает в поименованном борзописании о КУРДЕЛЬ обратно фактичности, черес што выкаблучивает Политоход в издеванский Высмех и Выглуп к изрядной для Обеих Небесных Сторон ущербности.

Гвисдукляст, сиречь Секондо: В.В.Рождество в помянутой Книжне отнюдь не запнулось обалдусить ОХОТУ НА КУРДЕЛЬ, который Феномен в Вашевысокоблагостном Тиснении имеет быть пасквиляторной Злопыханцией, а равно омерзинным Смехачеством над Политоходом Курдлиандским вопче, особливо же над Его Светлейшим Превозносительством Председателем.

Крессимей, сиречь Терцио: В.В.Рождество в своем Плотоядстве не издосужилось ни единым Дыхом не продыхнуть о заправдышном Чюдище, Напасти Великодержавной, ЛЮЗАНИИ, каковая храбрится подрывательно-подстрекательно супротивничать с Курдлиандской Политоходственностью. Також напрудонило В.В.Рождество сбухтыбарактственно навыворот от фактичности о СЕПУЛЬКАХ.

В обличии оногo Политохода Мы, Необычайный и Полно-Мощный Министр, Земно аккредитованный, возносим Мультимотивную Протестацию нащет Диффамации и заступаем попереочно

В.В.Злопыханию на Дух, Суть, Плоть, Песнь и Власть вышепоименованного. Также, яко Репрезентантный и Резидентный Посольник, с мягкосердым твердомыслием нашим возбуждаем В.В.Рождество извернуться ко правдоложеству и загвоздить скурдельную ВРАНЬ. Чего ради Мы, Межпланетского Мира Любовники и Дружинники, совращаемся к В.В.Рождеству с дружелюбистой Пропозицией отделегаить В.В.Рождество Ийон Тихий на полукошт Посольства (БАМ), Земства (БОМ), на собственный кошт (БУМ), дело темное (МОСГ) к инкриминованному Планетарию и тамже вприглядку ущучить Фактолептичность.

До 117 Ллимнер (Опрельско-Маиский стык) подстерегаем на В.В.Рождественское появительство; буде же В.В.Рождество злопыхански заерепенится, имеет разбрыкнуть Межпланетский Конфликтум.

В ожиданистом нетерпенстве
QRDL, Полно-Мощный Министр СПК

II

Земное Посольство
Несокращенных Штатов Люзании

Сунн Сенселенн Брамгорр
Кирмрегцудас

БРИБАРНОТРОПС!

Идеатор: Браннаксольяк
Программатор: АС/01-946а
Оператор: Линкомпьюттер IX Тип Сол-У-3
Оперон: Ийон Тихий, Члэк.

Тун Тани 115 Вехна

Милостивый Государь,

Посольство НШЛ шлет Вам тепловатую дружественную фразу, адекватную между телами различных систем.

Тем не менее до сведения указанного Посольства дошло, что Вам заблагорассудилось скомпоновать книжонцию книжину книгиню п/загл. «Звездные дневники» и пр., в которой Ваше внимание сфокусировалось на отношениях нашего милостивого тела.

ПРОЯСНЕНИЕ

Посольство НШЛ с легким прискорбием констатирует, что Вы, М.Г., допустили всесторонние aberrации, деформации и дегенерации, как-то:

1) С ошибочным совершенством умалчивается в Вашей книжончке о нашей державе, т.е. о НШЛ;

2) КУРДЛИ описаны Вами как заповедное звероголовье, тогда как в действительности это слеплянские сборища, враждебно настроенные по отн. к НШЛ старнаками соседней Курдлдяндии;

3) Вы позволили себе множество фривольных аллюзий в отн. СЕПУЛЕК, создав тем самым призрачность их Порносферичности.

КОНКЛЮЗИЯ

Вы, М.Г., пребывали отнюдь не на нашем теле, в частности, не на территории НШЛ, но на поверхности Синтеллита Скан Сен, который представляет собой фрагмент НШЛ, орбитально подвешенный в целях ознакомительно-оздоровительного туризма. Тамошние бутафорки, синталии, эротомластиконы, телехранители и пустаки (пустеоры) Вам случилось головогяпно принять за репрезентацию нашей цивилизации, а увеселительные аксессуары — за живые существа, самобусы и пр. Тем самым Вы, М.Г., захохмили фактическое положение дел к ущербу для развивающихся вширь, вдоль и вглубь сношений между Энцией и Землей.

Имея в виду указанную сносительность, снисходительно увещеваем Вас, досточтимый тихоня, аккуратно взвешенным словом опровергнуть фальсификат.

Полагая причиной промашки не зломыслие, но худоумие Ваше, Посольство НШЛ готово удостоить Вас проезда по маршруту Земля — Энция — Земля, гарантировав мудринный иммунитет с шустринным обеспечением, кормовые и суточные в границах НШЛ.

За Посла НШЛ

Привязанец п/вопр. Культуры
Землеязычный Дипломатор Сол-У-3,
апостольствующий на подсистемах,
аккредитованных In Partibus
Barbarorum *

Подпись неразборчива

Код: А-Пц(6)ск-Ца-Пек Пы(7)Цек Пра(5)цек Пур-9-Цик-Цик-цик Мее.

Post Scripturam Terminatam **. На вышеозначенный код просим сослаться в ответной реплике. В инциденте непооявления таковой приступаем к обычной гастрокластической процедуре Б-93.

За ответственность: Тайноканальный Диплутор II ранга
Цып Цыпцыквип Титиквак

* В варварских землях (лат.)

** В дополнение к завершённому (лат.)

Телетайп замолчал; воцарилась полная тишина. Я обвел взглядом присутствующих — они обступили меня полукругом — и, увидев все тех же Цвингли, Дюнгли, Ньюцли и прочих господ с похожими именами, осознал, что нахожусь среди швейцарцев.

— Что это значит? — грозно спросил я. — Кто из вас, господа, позволил себе этот, с позволения сказать, розыгрыш? Кто надо мной потешается? Уж не вы ли, господин Цвингли? Пожалуйста, не думайте, будто я не заметил ваших вчерашних намеков на серебряные ложечки, хотя, по природной тактичности, и пропустил это мимо ушей. Но всему есть предел, милостивый государь! Это уже не какие-то там ложечки...

Я осекся, заметив всеобщую растерянность, но также и радостную усмешку доктора де Каланса, который, похоже, в моих словах усмотрел симптомы умственного расстройства и уже рассчитывал пополнить свой коллектив столь выдающимся психом.

— Успокойтесь, господин Тихий! Это не так, вы ошибаетесь, даю вам слово. Клянусь своими детьми!

— Если они так же реальны, как эти инсинуации, — я вырвал листок бумаги из телетайпа и помахал им над головой, — ваша клятва немногого стоит! Объяснитесь, я слушаю...

— Это не подделка! — воскликнул Цвингли. — Ни я, ни мои коллеги не могли заранее знать содержание хронограмм...

— И я в это должен поверить?! — загремел я, окончательно выведенный из равновесия. — Я готов признать, что допустил кое-какие э... промахи в стиле Колумба. Этого нельзя исключить. Но всякое вероятие имеет свои границы. Неужели вы всерьез хотите меня убедить, что машина не только обнаружила мои оплошности, не только предусмотрела открытие всех этих посольств на Земле через двести или сколько там лет, не только установила, какие они направят мне ноты, когда никого из нас не будет на свете, но и сумела составить их на языке, на котором будут тогда изъясняться, и догадалась вдобавок, что подпишут их дипломаты, которых в целом Космосе нет, ибо они и родиться еще не успели?!!

Я положил хронограмму на пульт, строго посмотрел на них и сказал:

— На оправдание даю вам десять минут.

Они заговорили наперебой; наконец Цвингли — его вытолкнули вперед, — с красным лицом и капельками пота на лбу, умоляюще сложив руки, начал с признания, что он, возможно, недостаточно подготовил меня к этому специфическому эксперименту, то есть к телесемантической фокуси-

ровке электрохронографов; ведь те были нацелены на сопоставление моих «Дневников» с полной порцией шихты вовсе не для того, чтобы надо мной посмеяться, но в знак особого ко мне уважения. Программа запрещает использовать общие фразы, а также оставлять в прогнозе незаполненные места, и возможные пробелы машины заполняют предположениями, то есть строят гипотезы об особенностях отдельных фраз, их фонетике и даже орфографии; иначе не удалось бы определить точность прогноза в процентах. Машина в любой момент может указать верковирт (вероятностный коэффициент виртуализации) любого слова хронограммы с точностью до четвертого знака после запятой. Верковирт может быть невысоким, но никогда не бывает отрицательной величиной. Там, где он близок к нулю, электрохронограф приводит противоречащие друг другу версии Батарей Апробирующих Модулей (БАМ) и Опонирующих Модулей (БОМ), что мне, быть может, угодно было заметить в первом послании, там, где речь идет о готовности финансировать мою командировку на Энцию. Ибо финансовые дела, ввиду особой их деликатности, нельзя предсказывать так, как другие события. Давайте-ка выясним сперва, сказал Цвингли, увлекаясь все больше и размахивая руками вовсе не по-швейцарски, что содержалось в шихте? Там содержался весь массив данных об Энции, полученных нами на месте и принятых по радио- и лазерной связи, а документация эта учитывает даже энцианские школьные песенки, не говоря уже об учебниках местной истории. Разница между названиями планеты в версии хроногаубицы и моей примерно та же, что между названием «Индия» и «Америка». Ведь автохтонов Нового Света, всех этих апачей, команчей, ацтеков и прочих сиу мы потому лишь поныне называем индейцами, что Колумб принял их за обитателей Индии. Уступая в цивилизованности своему открывателю, эти туземцы не могли помешать ему ошибочно себя окрестить. Энция — дело другое. Это название, — латинский эквивалент их самоназвания («сущий» или «разумно существующий»), и отсюда пошло the Entians, die Entianer, les Entiens и так далее. Никто этого специально не выдумывал — так сложатся в дальнейшем события, на которые мы нацелили исторические машины. Их отдельные блоки экстраполировали различные аспекты развития Энции, в частности, какие из тамошних государств, будучи сверхдержавами, первыми откроют земные посольства; как будет вестись делопроизводство в их дипломатических ведомствах (что отразится и в формах дипломатической переписки); ноты, которые будут когда-нибудь посланы мне либо моим

наследникам, физическим или юридическим, не совпадут, разумеется, с нашими хронограммами до последней запятой, но их содержание и стиль будут аналогичны; даже машинный код, приведенный в люзанском послании, предсказан на базе общей теории эволюции компьютеров энного поколения при заданных технических предпосылках; конечно, это не будет в точности *тот же* код, но *тот же тип* кода, а именно употребляемый в дипломатии. Нельзя моделировать уникалы — моделируются классы, к которым они относятся, то есть *типы*. И люзанская нота будет подписана не *тем же* в точности именем, которое фигурирует в фантограмме, но именем *этого* типа, похожим на фантоматическое так, как Цвингли на Дюнгли, а Иванов на Смирнова. Родословно-происхожденческий блок хроногаубицы вывел типичные свойства энцианского дипломатического молодняка не путем анализа его биологических характеристик, но характеристик, которые требуются там при приеме в высшие дипломатические заведения. Ведь хронографы открывают не какую-то там «объективную истину в последней инстанции», но последние директивы *руководящих инстанций* Господа естественники вообразили себе и внушили всем остальным, что межзвездные контакты начнутся с обмена мнениями об Евклидовой геометрии и строении атома, — как будто бы на Земле, при встрече с неизвестными доселе жителями Амазонии или Огненной Земли посланцы цивилизованного мира первым делом поспешили бы проинформировать их о гипотенузах и атомах, а не о том, какие дела можно с ними повернуть. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал о геометрии или другой какой математике в политических отношениях? А ведь космические контакты неполитического характера иметь не могут! Сначала определяются делопроизводственные, или канцелярские, постоянные, ибо там, где существует политика, существуют и канцелярии; этот закон имеет абсолютный характер и релятивизму теории относительности *не* подлѣжит. Первые беседы ведутся не о скорости света, но о скорости продвижения по службе, не об объеме атомных ядер, но об объеме служебных полномочий. А из чего состоят Неземляне, из силикатов, йодидов, хлоридов или аминокислот, и чем они дышат, кислородом, а может, фтором, и как они движутся, передом или задом, — все это ничуть не влияет на параметры их бюрократии; взаимопонимание же зависит исключительно от дипломатического обмена, а не химического! Наконец то, что особенно задело меня, а именно: превратная картина жизни на Энции, принятая мною за чистую монету, представляет собой, как мне уже не раз объясняли на всех этажах Института, обыкновеннейший СУПП,

т.е. Сумму Первопроходческих Промехов, которая вычисляется согласно Теории Ошибок и Искривлений и в данном случае равна возведенной в третью степень разности расстояния между Испанией и Америкой, с одной стороны, и между Землей и созвездием Тельца — с другой. Что, нотабене, открыл магистр всеобщего моделирования Прюнгли. Колумб Америку принял за Индию, а Ийон Тихий — искусственный спутник за планету. В этом нет ничего зазорного, и обижаться тут не на что.

Я слушал уже спокойнее, а ученый швейцарец, со взерошенной бородой и запотевшими очками, потрясал фантограммами нот, восклицая:

— Клянусь вам, здесь нет Ничего Случайного! Прошу обратить внимание на различия в языке обоих посланий. Они указывают на различие ставок зарплаты, а тем самым и национальных доходов Курдландии и Люзании... Этими различиями занимался финансово-планетологический блок нашего машинного отделения. Курдландская нота свидетельствует о скромных средствах, выделяемых на дипломатию, коль скоро их посольство возьмет на службу скверно оплачиваемого, а значит, скверного переводчика... скорее всего, человека, это им станет дешевле, чем тащить за тридевять земель собственного полиглота вместе с дипломатическими чемоданами.

— Что вы тут мне доказываете, — перебил я, — ведь оригиналы посланий там, — я показал на все еще светящуюся красную окружность экрана, покрытую скрюченными иероглифами, — а перевод сделала ваша аппаратура здесь и теперь, а не какой-то там человек, переводчик, чиновник, родители которого, да, пожалуй, и дед с бабкой, не успели еще познакомиться...

— 'Вовсе нет! Вы заблуждаетесь! Это было бы непростительной для нашего ремесла ошибкой. Ведь гипотетический конфликт, межпланетные трения легче всего могут начаться из-за недоразумений при обмене нотами, так что предвидеть необходимо даже грамматические и орфографические источники подобных недоразумений! Перевод выполнен происхожденческим блоком, при участии блока экспортной пропаганды, а контролировал их работу лимитно-финансовый блок; то есть, образно выражаясь, машина создала фантом посольства, а в нем — фантом должностной лестницы, и на ней уже; где положено, разместила фантом мелкого служащего, который будет переводить инкриминируемый документ, ничего в нем не смысля, ибо ему не будут платить за понимание чего бы то ни было. Я полагаю, — добавил он

тише, как бы про себя, — что это какой-нибудь гастарбайтер, не знающий толком ни одного языка, кроме турецкого... А более зажиточная Люзания пользуется в дипломатии автоматами, ведь чем выше развито государство, тем дешевле в нем автоматика и тем дороже рабочая сила.

Не скажу, чтобы он полностью меня убедил, но время уже было позднее, так что мы отложили анализ обеих нот и их возможных последствий на завтра, а я вернулся домой. Я чувствовал себя настолько потеряно — ведь под ударом оказалась моя честь звездoproходца, — что взял телефонную трубку и набрал нью-йоркский номер профессора Тарантоги; мне надо было выговориться перед родственной душой. Профессор терпеливо слушал, потом, не выдержав, колерически фыркнул в трубку:

— И чего ты, Ййон, убиваешься? Можно подумать, что это швейцарцы выдумали компьютеры! Батареи, дивизионы, корпуса, хроногаубицы, а ведь стоит чуть-чуть пораскинуть мозгами, чтобы прийти к тем же выводам. Контакты установлены, не так ли? Когда-нибудь надо обменяться посольствами, так или нет? Любой атташе по вопросам культуры должен что-нибудь делать, так или нет? Ничего путного он не выдумает, так или нет? Значит, он будет собирать материалы для обзора печати и для отчетов, которые он посылает начальству, давая понять, что чем-то он занят. Рано или поздно он услышит о твоих «Дневниках», и что им останется делать, как не направить тебе опровержения?..

— Так-то оно так... — поддакнул я удивленно и в то же время сконфуженно, — но там, профессор, были такие подробности... даже секретный дипломатический код люзанцев... предложение финансировать мою экспедицию...

— В подобном случае подобное предложение сделает любое посольство, а прочее — вата. Ты когда-нибудь видел, как из ложки сахара получается клубок сахарной ваты величиной с перину? То-то и оно! Хорошо, однако, что ты объявился, а то я все забываю сказать, что вся эта «Космическая энциклопедия», которую я тебе тогда одолжил, — помнишь, там еще говорилось об Энтеропии и сепульках? — так вот, это была подделка. Жульничество. Турусы, понимаешь ли, на колесах. Какой-то мерзавец решил подзаработать...

— И вы не могли мне сказать об этом немного раньше? — возмутился я; похоже было, что весь свет против меня сговорился.

— Хотел, но ведь ты меня знаешь — забыл. Я записал это на визитной карточке, карточку положил в жилет, костюм

сдал в химчистку, квитанцию потерял, потом пришлось вылететь на Проксиму, и так уж оно осталось...

— Неплохую вы мне оказали услугу, — заметил я и поспешил закончить беседу, потому что боялся наговорить профессору невесть что — я ведь холерик...

То был день неприятных сюрпризов и приступов ярости. Из вежливости, чтобы не разбудить Тарантогу, я разговаривал с ним после полуночи, когда в Америке уже день. В Институте я съел все равно что ничего; теперь я был голоден и полез в холодильник за холодным жарким из телятины. Приходящая прислуга, которую я наделил правом завтракать у меня, пользовалась им без стеснения. Что-то там все же лежало — как оказалось, почти совершенно голая кость, обернутая для приличия кожей. Голодный и злой, я съел кусок хлеба с маслом — и в постель.

В Институте тем временем составили машинный толковый словарь обоих посланий. «Отстрепенуться» — отклониться, «в обличии» — от имени, «загвоздить» — заклеить и так далее. Но я даже не взял его в руки. Я потребовал доступа к источникам. Это привело их в некоторое замешательство. Из начальников отделов ни один не имел соответствующих полномочий, так что мы пошли в дирекцию. Там выяснилось, что имеет место такого рода служебная тонкость: Институт может предоставить мне *шихту*, но не источники, то есть оригиналы рапортов, документов, отчетов и т.п., из которых, посредством выдержек и резюме, изготавливается шихта, поскольку все они хранятся в тайном архиве МИДа, а сотрудники Института доступа туда не имеют. И это уже не предмет для дискуссий и споров; ни обсуждать, ни даже понимать тут нечего — просто именно так проходит линия разграничения между компетенцией Института и соответствующих управлений МИДа. В таком случае, сказал я, дайте мне шихту, а тем временем обратитесь к кому следует в министерстве, чтобы мне как можно быстрее оформили допуск к оригиналам, чего я, как первопроходец и пионер, наверно, заслуживаю. Касательно первого затруднений не будет, ответили мне, что же насчет второго, то они постараются. Джунгли — возможно, впрочем, что это был Врэнгли, — провел меня в небольшой кабинет, где размещались один из машинных терминалов, кресло, письменный стол, экран, считывающее устройство, термос с кофе, печенье и флоксы в хрустальном кубке, и оставил меня наедине с аппаратурой; будучи проинструктирован, я сразу же принялся прогонять через матовый стеклянный экран пресловутую *шихту*.

Пусть благосклонный читатель не ожидает из того, что я

в точности здесь переписываю, понять больше, чем мне тогда удалось. Напомню лишь, что БАМ — это Батарей Апробирующих Модулей, или мнение батарейного меньшинства; МОСГ — это Модуль Согласования Гипотез, который обычно ничего согласовать не мог, и, наконец, БУМ — Батарей Уточняющих Модулей, которая вставляла словечко в случае полной неразберихи.

«ЭНЦИЯ, лоз. КИРМРЕГЦУДАС, курдл. КЁРДЕЛЛЕНПАД-РАНГ, 7-я планета Гаммы Тельца (Gamma Tauri). 4 континента (Дидлантида, Тарактида, Цетландия, Маумазия), 2 грязеана, образовав. из разложившихся микрометеоритных осадков (БАМ), в результате промышленного загрязнения среды (БОМ), неизвестно как (МОСГ). Ок. 1000 подгрязевых гейзеров (гряззеров), ошибочно (БАМ), справедливо (БОМ) принимавшихся первооткрывателями за реликтовых погрязов (тип *Immersionales*, отряд *Magma-eladinae*, семейство *Massaronicaea* /клепковых/). Один оргаст — органические стоки (БАМ), органоидная стекловина (БОМ), оргиастическая стервотина (БУМ), давно уже высох (МОСГ). Один синтеллит (искусственный спутник) — КОКАИН, или Космический Камуфляж для Инопланетян (БАМ), ЛСД, или Лже-Скансен Древнепланетный (БУМ), представляющий собой орбитально подвешенную часть территории Люзании (см.), переменного диаметра, ибо в действительности это Надувак (БАМ), Фата-моргана (БОМ), сам черт не поймет (МОСГ). Климат умеренный, сильно подпорченный индустриализацией (БАМ), тайнодействующим оружием (БОМ), всегда такой был (БУМ).

Планету населяет разумная раса (БАМ), две разумные расы (БОМ), зависит от точки зрения (МОСГ). Энциане — человекообразный вид (БАМ), их человекообразность — личиночная стадия метаморфозы, поскольку туземцы являются превращенцами и проходят периоды линьки от ПОЛОВИНЦА, через ПОЛТОРАКА и ДВУСПОЛОВИННИКА, до СЛЕПНИКА-ОГРОМЦА (БОМ), они лишь по-разному одеваются (БУМ), все это легенды и мифы, смотри: «Политография рас Тельца», изд. для служеб. польз., МИД 345/ 2аб/99 (БИМ). Данные БАМ получены от люзанцев, а БУМ, БОМ и БИМ — от курдлянцев, и потому несогласуемы (МОСГ).

Пол выражен отчетливо (БАМ). Нет полов (БУМ). Они есть, но противоположны земным (БОМ)

Государства Э.: I. Уникальную в нашей Галактике форму государственного устройства представляет Курдлянцский Политоход (также: Нацномобильное Курдлевство, Ходилище) — рустикальное самоуправляемое объединение обитаемых курдлей — ГРАДОЗАВРОВ. Верховная власть принадлежит Председателю Старнаков

(Старших над курдлем). Административная единица — стадо курдлей, или ТОПАРТАМЕНТ. Прежде старнаков называли курдлеводами. Нацпомобиль складывался столетиями в процессе борьбы с Пирозаврами, по большей части угасающими и едва тлеющими промысловыми животными (напр., разбрасывающий огонь Полисерв, он же Великораб, а также Кукурдль — холоднокровные грязноводные твари весом до полутора тонн). Потухшего курдля называли Сгорынычем (*Draco Pyrophoricus Curd. L. Msimeteni* — от имени первооткрывателя, участн. IX экспедиции Заврологическ. ин-та), а подмокшего — Мокрынычем. См. также: Кёрдль, Кйордль и QRDL. Разведение к заменяет жилищное строительство, невозможное на гряззьях и подгряззях, т.е. территориях, периодически затопляемых грязеаном (земным оледенениям соответствуют на Э. огрязнения, или Грязниковые Периоды) (БАМ).

Никаких огнедышащих гадов на Э. никогда не было. БАМ принимает на веру курдляндскую мифологию и пропаганду Курдли суть великоробы (а не великоробы), возникшие эволюционным путем в борьбе за выживание в грязеане (БОМ). Используемые в качестве рабочей силы, образуют т.н. Коллектуши.

В люзанской версии курдли — это трупы (туши), выпотрошенные местными селянами по причине жилищного голода и движимые рабским трудом галерников; иначе говоря, это т.н. *Cadaveria Rusticana**. В курдляндской же версии курдли считаются продуктами генетической биоинженерии, изобретенной Председателем Старнаков. Несогласуемо (МОСГ). Борьба номадов с грязноводными завершилась симбиозом местных Приматов с курдлями, благодаря наполнению последних воздухом и адаптации первых к гургитации и регургитации (а также Лаксации — БИМ). Ибо градозавры суть симбиотические кооперативные поселения (БАМ) Ничего подобного (БОМ). Это не более чем лживотные, *pseudozoa*, иначе говоря, синтофауна, которая производится на племзаводах Генженерного Треста (БЕМ), по образцу пракурдля, однако не идентична с ним, а лишь на него похожа.

Гос. структура Курдляндии изучена слабо. Председатель самолично не управляет, а только мыслит об управлении, мысли же эти интерпретируют, применительно к местным условиям, Старнаки. Их исторические названия: Патриарх Стада Курдлей, или ПАСТАК, Завкурдль, Курпан и др. (БУМ, БАМ, БОМ).

Гразозавры страдают от внутренних раздоров, вызыв. аллергией (БАМ), различием политических взглядов (БУМ), размно-

* Сельская трупарня (*ит.*). По аналогии с *Cavalleria Rusticana* — «Сельская честь» (опера П.Масканы)

жением паразитов — неробов, загробов и угробов (БИМ). Перечисл. формы — не паразиты, но деятели кооперации (БОМ)

Курдляндцы чрезвычайно чувствительны, если речь заходит об их оригинальной государственной доктрине. Употребление прозвищ Курдья, как-то: Великогроб, Доходяга, Паскурдль, Смердозавр, Курдлятина, Жрамонт, а также Толстодонт, Топтыга и Трупоход, карается переселением с понижением (ссылка в хвостовую часть, т.н. колонизация). В древности к. служили гробницами знаменитых мужей, наподобие земных пирамид (БАМ). Всё это легенды и мифы (БЕМ). Что-то такое там было (МОСГ). См. «Энцианская мифография», гл. «Археомобилистика, Перипатетическая Полиархия, Миф Председателя». Ср. также: «Грязнавец», изд. д/служ. польз. Доц. Ю.Бледдер: «Сколько у курдья ног?» (МИД6/4e4). Его же: «История борьбы с грязноводными». Того же авт.: «Рвотная политика». Он же: «Курдли — жертвы хищнической экономики». Тот же: «Квартирное право и внутренностный метраж». В.Тутас: «Использовались ли курдли когда-либо в прошлом в качестве метеоритных убежищ?» См.: «Отчет II несостоявшейся энцианской экспедиции», ИИМ, хронограммы серии В/9 и Т/9. Также: «Закурдельная жизнь в еретическом учении Топальщиков» («Анналы Института Посмертного Сыроделия», Т.Кваргл., ПИП 20111). И.Драгондер: «Химический состав солины курдельного откорма» («Акта курделиана», т. XI, с.345 и след.). «Структурный анализ курдляндской поэзии», коллектив. монография ИИМ, 239/с. Д-р Револьвендер: «Внутренностные туптазы и пирофоразы как средства огнедыхания» (Boston McGraw Hill. Доктор. дисс., прогнозируемая с 40-летним опережением Рюнгли и Киндерштейном. На правах рукописи)».

Опуская еще триста названий цитированной литературы, перехожу ко второй части шихты, посвященной Люзании.

«Люзания. Также: Несокращенные Штаты Верхней Люзании (БАМ), Вольная Федерация Внештатных Чинов (БУМ), Сопряженные Штаты Тарактиды (БОМ). Первая держава Энци, высоко (БАМ), слишком высоко (БУМ) развитая, в натянутых отношениях с соседней Курдляндией. Нарастающие внутр. проблемы привели к падению уровня интеллекта членов обеих главных полит. партий, из числа которых выбирается Президент (БАМ), Странодав (БУМ); перед лицом непреодолимых трудностей не нашлось в меру толковых кандидатов, добровольно претендующих на высший пост. Т.н. дебилитация сменявших друг друга администраций привела к кризису, закончившемуся введением Политереи (политической лотереи) для заполнения пустующих вакансий в госаппарате. Поскольку большинство населения уклонялось от

участия в ней, в XXII в. было объявлено чрезвычайное положение и проведена Большая Облава на Индифферентных Кандидатов (БОБИК). Справиться с кризисом помогло развитие компьютерной техники. Автоматизация администрации, однако, потерпела крах в конце того же столетия, когда автоматы-цивизаторы сложили свои полномочия вследствие т.н. логистронного синдрома. Эти чересчур уж интеллигентные устройства либо впадали в белибердизм, либо их разбивал прогрессирующий гениализм (поражение гениальностью). Выйти из нового кризиса НШЛ смогла благодаря синтуре (синтетической культуре), то есть экософизации (умудрению среды обитания) и гедопраксии (распределению счастья по разверстке). При помощи этих государственных институтов удалось спротезировать социальные связи, распадавшиеся под гнетом благосостояния (БАМ). Указанные институты — результат слияния государственной доктрины с господствующей религией (БУМ). Сомнительно (МОСГ). Этификация окружающей среды, а также наслажденческо-принужденческие, поглощающие и разъявляющие технологии, вместе взятые, составляют синтуру. В соответствии с принципом умудрения среды обитания дороги, машины, здания, одежду и пр. производят из шустров — логических микроэлементов, облагороженных в ходе предварительной обработки. В мегаполисах ошущение достигает 60 единиц интеллекта на грамм в секунду. На городской территории вплоть до глубины 40 метров неразумные субстанции не встречаются вовсе (БАМ). Такова официальная версия (БОМ). Остальная территория ошущена на 87% (БАМ). Сомнительно (БОМ). Синтура умудряет среду обитания, чтобы та неустанно пеклась о благе граждан и своем собственном, исправляя наносимые оппозицией повреждения, просвещая, помогая, советуя и поглощая преступные поползновения, а также подстрекая к потребительской вакханалии в рамках закона (БАМ). Последняя формулировка — следствие подхода к синтуре в земных категориях (БОМ).

Ошущенные объекты выполняют только заказы, не нарушающие чьих-либо интересов. Шустры первых поколений (мудроны, мудретто) деморализовывались мафиозными кляками, но нынешние их образцы, снабженные уморами (усилителями морали), злонепроницаемы на 99,998% (БАМ). Так утверждает правительство (БОМ).

Промышленная продукция делится на услаждающую и превентивную.

1. Услаждающее производство подразделяется на: разъявлявание (раздробление яви), фелицитацію (конвейерную, а также по индивидуальной мерке), форсирование комфорта, заласкивание, заслащивание и синтетическое препарирование карьер (синьеризм), дополняемое целевым выбиратьельством. Все это индуст-

риализованные отрасли гедотелической, или благопроводной, информатики. В соответствии с девизом Люзании «*Fac quod vis*»*, каждый гражданин делает, что душа пожелает, а государство заботится о максимализации всеобщего счастья. Для этого применяется гедометрия — измерение количества благих ощущений, которые могут быть пропущены через нервную систему гражданина в течение его жизни. Поскольку, однако, предложение в 10^8 раз превышает индивидуальную пропускную способность, включая время сна, приходится выбирать между утехами. Этот труд берет на себя личный выборокибер (называемый также предлагатором); он ублажает с учетом индивидуальных склонностей, темперамента, а также выносливости.

Тем самым в Галактике не может быть никого счастливей люзанцев (согласно правительственному экспозе ЦЦЦ/7/Зюб) (БАМ). Этому противоречат курдлянские источники, ссылаясь на рост показателя самоубийств (БОМ). Одной из наиболее трудных была проблема утраты близких из-за несчастных случаев, а также естественной смерти. Неэффективность душеуспокоительного лечения побудила МВД (Министерство Восхищенческих Дел) наладить производство небытчиков (они же псевиды, или псевдоиндивиды), как-то: Амороидов, Матоидов, Отцоидов, Дето-морган и пр. Небытчики изготавливаются по заказу заинтересованных лиц, а также дирекцией городских кладбищ — для погребальных торжеств с участием идеальных копий Дорогих Отошедших. Граждане, чья судьба наделила близкими с трудным характером, во избежание трений могут протезировать ближайших родственников даже при их жизни; последним же, в рамках законной компенсации, тоже доставляют требуемых двойников (что в обиходе именуется семейственной манекенизацией) (БАМ, согласно люзанским источникам). Чучельные псевдосемьи — арена кошмарных историй, от которых у курдля волосы встают на загривке (БОМ, согл. курдлянским данным). См. также: «Блокнот курдельского агитатора», 391/Р, а кроме того, речь Председателя Совета Старнаков на X сгоне градозавров, в особен. разд. п/загл. «Люзанские вродебыродичи как тренажеры изошренного душегубства» (БЕМ).

Разъявливание позволяет ощутить то, чего вообще-то ощущать одновременно нельзя, — путем подключения благопроводов к разным полушариям мозга через расщепитель сознания. Правительство запланировало рост всеобщего счастья на 4% за пятилетку, но началась стагнация (БАМ), явления, о которых ниже (БУМ, БОМ).

2. Сведения о превентивной промышленности не поддаются правдоуловительной селекции хроногаубиц из-за огромного разброса ис-

* *Делай что хочешь (лат.).*

ходных данных. Согласно люзанским источникам, такой промышленности не существует вообще; поэтому нижеследующая часть шихты основана на курдландских данных с учетом люзанских опровержений, и вместо модульных маркировок (БАМ, БОМ, БУМ) даются указания на источники (КУР, ЛЮЗ).

Антишустринная оппозиция выступает за ренатуризацию среды обитания под лозунгом «благодетельного разрушения». Люзанские власти ее не преследуют (ЛЮЗ), преследуют вплоть до применения тайных пыток, а также постепенной замены нелояльных обывателей лояльными небывателями, или лоянами (тайный проект тотального протезирования общества, т.н. лоянизации) (КУР). Это злопахательские измышления, начисто лишенные оснований (ЛЮЗ). О действительном отношении народных масс к ублажительной диктатуре свидетельствуют обиходные выражения: «заласкать до пены во рту», «так ублажить, что расхочется жить», «блаженно протянуть ноги», а о подвергнутом лоянизации говорят: «отдал Благоу душу» (КУР). Указанные цитаты почерпнуты из фантастической беллетристики (ЛЮЗ).

Потребительство и вещизм оглуляли общество, однако вызов, который бросает ему незаурядная разумность среды обитания благоприятствовал развитию интеллекта и распространению просвещения в массах (ЛЮЗ). Преимущественно, однако, в области тайных убийств и наиболее подходящих для этого способов (КУР) Мнимая подрывная деятельность, а также маниакальная синтуромахия — всего лишь часть новой системы социального просвещения. Этифицированная среда не только поглощает антиобщественные поступки, но и действует с профилактическим упреждением, благодаря неусыпной заботе о гражданах наяву, а также всеобщей соноскопии (спектроскопия снов для устранения кошмаров и бредовых видений) (ЛЮЗ). Речь идет о неустанной слежке за гражданами и кастрации духа даже во сне (КУР). Вместо того чтобы лечить садистов, люзанское МВД (Министерство Восхищенческих Дел) расширяет сеть комбинатов битьевого обслуживания и факсифамильных мастерских (КУР). Мотивы убийств кардинально изменились. Личность жертвы не имеет значения, главное для убийцы — преодолеть сопротивление уморов (шустринных усилителей морали). См.: «Любительский угробительский спорт в Люзании». Гос. Науч. Изд-во «Кукурдль», 56/6/9; кроме того: «Этикосфера как выращивание дегенератов», Собр. соч. Предс. Старн., т.V, с.77 и след. Также: внутриклубная люзанская брошюра «Что можно сделать с БОБИКом?» (БОБИК — Благодарный Объект для Измывательств и Кровопусканий). В преступном люзанском жаргоне полно синонимов БОБИКа: битюк, оплевайло, слезняк, пищаль, разорвань, мрун, помиранец и др. («Словарь идиом синтуры», Акад. Наук Курд., Пцим, 67/6) (КУР). Люзанское

вержение вышесказанного: «Кампания клеветы и инсинуации» «Acta Synturales Lusaniae», т. II 67/43ф).

Граждан пытаются отвлечь от преступных намерений миражами неслыханных наслаждений; этой цели служат зверелища — зрелища для озверевших зрителей (КУР). Речь идет о разрядке эмоций болельщиков телекинетического футбола (ЛЮЗ). Главные социальные недуги ВПЛ — разможизм, выпрыгунство, впиянство семейственный погребизм и самоедский комплекс.

I) Разможизм — это паническое бегство из городов в поисках неосустренных территорий (КУР). Это хождение по грибы (ЛЮЗ). Убегающая толпа сокрушает все на своем пути, а так как осустренную недвижимость голыми руками не возьмешь, сплошь и рядом доходит до перелома затылочной кости, ибо стройматериалы, даже этифицированные, сохраняют энергию массы

II) Индивидуальной реакцией на облагораживание среды является выпрыгунство. Под предлогом любования красивыми видами выпрыгунцы пытаются перехитрить высоко расположенные балконы, оконные проемы и т.п. (КУР). В Курдландии всемеро больше самоубийств (ЛЮЗ).

III) Другие симптомы все той же реакции характерны для ухватов, впияниц и охлофилов (толполюбов), а также захребетников. Они пробуют укрыться от синтуры за чужими телами. Охлофилы ищут давки в толпе, а ухваты и впияницы впиваются в первого встречного (так называемое конвульсивное впиянство). Охлофилы отличаются от захребетников тем, что первые действуют в состоянии помрачения и кататонии, поэтому их причисляют к психически ненормальным, а вторые составляют религиозную секту и считают впиянство ритуальным актом подлинной, ненавязанной любви к ближнему.

IV) Семейственный погребизм состоит в выкапывании, чаще всего отцом, ямы достаточно глубокой, чтобы добраться до неосустренного культурного слоя, после чего все семейство поселяется в нем навсегда.

V) Свое крайнее выражение антисинтуральные убеждения находят в затаенном порционном самоубийстве. Обычно оно начинается с невинного на первый взгляд обгрызания ногтей.

Кроме того, на территории НШЛ действуют индисты (индифферентисты); тем все равно, что бы ни делать, лишь бы назло синтуре. Они охотятся за намеченными заранее жертвами, например, за матерями высших государственных служащих, отговаривают учащуюся молодежь от пользования благопроводом, усердно загрязняют среду обитания, портят личные выборокиберы калек и старцев и вообще очерняют, подрывают и подстрекают. МВД, будучи не в силах справиться с ними, поручило Министерству Легкой Про-

мышленности вшивать в натальное белье подозреваемых особые датчики с электрокальвателями; восприняв подрывные намерения носителя белья, они индуцируют тяжелые приступы ишиаса (т.н. болепрофилактика).

Ее неэффективность привела к чудовищному разрастанию люзанского законотворчества (КУР). Тот, кому удастся, перехитрив электрокальватели, телехранители, уморы, душеумягчители и т.д., вторично совершить преступление, по закону должен быть обезмозжен и превращен в пожизненно-посмертного истязанца посредством вечностного нейропрепарирования. Выставленный к позорному электростолбу истязанец, а точнее — нейропрепарат такого, издает кошмарные вопли; эти вопли транслируются через мегафоны, к которым подключены нервные окончания его экс-гортани. Люзанская наука прилагает немало усилий, чтобы максимально использовать пропускную способность болевых волокон (КУР). Указанные вопли доносятся из молодежных дискотек; все остальное — гнусные вымыслы враждебной курдландской пропаганды, не стесняющейся в средствах (ЛЮЗ)».

Было уже далеко за полночь, когда я встал из-за стола, прервав чтение, — голова у меня шла кругом. Курдландские прогнозы о безлюдной гражданской войне шустров с антишустрадами, или синтуры с антисинтурой, перемешались в ней с мрачными люзанскими разоблачениями градозавров как *путешествующих застенков* (ПУЗАСТОВ). Пролюбки (протезы любви к ближнему), этификация среды и ее антимудростная мерзификация, фугадостные снаряды, сексоубежища, дезеротизаторы, детеррогентные, или противотеррорные, препараты, матоиды, противобратья, тещеловки, укокошники, замордоны — тысячи загадочных слов кружили в моем несчастном мозгу бездонным Мальстромом. Я стоял у окна и с шестнадцатого этажа смотрел на спящую безмятежную Женеву, угнетаемый неуверенностью: удастся ли мне доискаться правды о планете, с которой я так простодушно и так опрометчиво разделался когда-то в своих «Дневниках»? Едва лишь какой-нибудь БАМ, МОСГ или МНЯМ называл амуретки любовными таблетками, как КУР или БОМ заявляли, что это модель табуреток. Я не узнал даже, сколько у энциан полов — один, два или больше; на этот счет тоже имелось множество несогласуемых точек зрения. Вдобавок мне не давала покоя мысль, каким идиотом я себя выставил, приняв орбитальный луна-парк за планету, а веселые забавы и развлечения — за грозные события, связанные со Спорадическим Метеоритным Градом. По крайней мере, теперь мне

было понятно, почему лишь меня так перепугал смег, который туземцев нимало не беспокоил: я вел себя как дикарь в театральной ложе, который умоляет мавра остерегаться Яго и, Бога ради, не душить Дездемону. При этой мысли кровь бросилась мне в лицо. Подобный позор должен быть смыт, чего бы это ни стоило. Я поклялся, что не успокоюсь, пока не доберусь до оригинальных источников, не замутненных бездумной и якобы беспристрастной работой компьютеров. Я уже знал, что это будет нелегко, потому что доступ в архивы Тельца мог дать мне только некий доктор Штрюмпfli, тайный советник МИДа, по слухам, человек неприступный, фанатик инструкций и бездушный формалист, словом, настоящий швейцарец. Профессор Гнусс сделал для меня все, что мог. Он добился моей встречи со Штрюмпfli назавтра, с глазу на глаз; все остальное, то есть преодоление бюрократических барьеров, было уже моим делом. Тяжко вздохнув, я попробовал вытряхнуть из термоса последние капли кофе, но обнаружил лишь немного гущи на самом дне. Не знаю почему, это показалось мне предвестием поражения, ожидающего меня в кабинете советника. Сумрачным взглядом окинул я комнату, принял ментоловую таблетку — меня тошнило, то ли от съеденного за обедом *cordon bleu*^{*}, то ли от шикты, — и отправился спать.

Штрюмпfli принял меня холодно. Дипломат такого ранга — действительный тайный советник, — разумеется, в совершенстве владеет искусством спроваживать посетителей, и я ничего не добился бы, если бы не счастливая случайность. Чтобы сплавить меня, ему пришлось на меня посмотреть, а я посмотрел на него — и мы узнали друг друга, не мгновенно, ведь мы ни разу в жизни не виделись, но постепенно, все внимательнее присматриваясь один к другому; я узнал его сначала по галстуку, вернее, по способу завязывать галстук, а он меня уж не знаю толком как; мы почти одновременно кашлянули, потом улыбнулись с некоторым смущением — сомневаться не приходилось. «Да это он!» — подумал я, и то же самое, должно быть, промелькнуло у него в голове. Он помедлил, подал мне руку через письменный стол, но в такой ситуации этого было недостаточно; какую-то долю секунды он вслушивался в себя — броситься мне на шею он не мог, это было бы чересчур, поэтому, ведомый чутьем дипломата, он поднялся из-за стола, дружески взял меня под руку и повел в угол

* Котлета, фаршированная зеленью (фр.).

кабинета, к большим кожаным креслам. Обедать мы пошли вместе, потом советник пригласил меня к себе, и распрощались мы около полуночи. Отчего бы все это? Да оттого, что у нас общая приходящая прислуга. Не какая-нибудь автостряпка, но настоящая, живая, хлопотливая, которая буквально не закрывает рта, и я без преувеличения могу сказать, что мы с советником знаем друг друга так, словно съели вместе целую бочку соли. Считая себя особой тактичной, она ни разу не назвала его по имени, всегда говорила просто «советник», а уж как ему обо мне — не знаю, не спрашивал, это было бы неудобно; и все же наше знакомство, во всяком случае поначалу, требовало обоюдной тактичности, причем особая ответственность лежала на мне, ведь мы встречались по большей части в его квартире, и мне приходилось следить за собой; малейший взгляд на комодик, на коврик у шеалонга, взгляд, совершенно невинный для постороннего, получал особенное значение, становился намеком; разве не знал я, что хранится в этом комодике, что вытряхивают каждый понедельник утром из этого коврика... Поэтому наша близость находилась все время под угрозой, и сперва я не знал, куда девать глаза, я даже подумывал, не приходить ли к нему в темных очках, но это был бы faux-pas, так что я пригласил его на чашку кофе к себе, но он не очень спешил нанести мне ответный визит. Поразмыслив, я пришел к выводу, что дело тут было не в материалах, имевшихся у него (хотя доступ к тайнам архива находился не в единоличной его компетенции, улаживание формальностей он взял на себя), — нет, скорее, он как бы устраивал мне испытание, ведь у меня уже ему пришлось бы все время быть намеку. Наша общая прислуга незримо присутствовала на этих встречах, я прекрасно знал, как она прокомментирует на завтра состояние минибара, пепельниц: мы оба жили как старые холостяки, а таким ни одна прислуга ничего не престит и заглазно спуску не даст; причем я знал, что он знает, что я знаю, что она скажет; вот почему даже на минном поле я не вел бы себя так осторожно, как в квартире советника; каждая пролитая на скатерть капля отзывалась в ушах у меня ее комментарием, а в выражениях она не стеснялась, и все же приходилось ей уступать — где взять другую? Она не раз критически излагала мне поведение советника в ванной, особенно что касалось мыльниц, ну, и насчет засоренной раковины и этих маленьких полотенец, причем, если ее слушали не слишком внимательно, могла просто уйти и не вернуться; и не дай Бог забыть о ее именинах, у меня-то

она была для этого слишком недолго, но у советника — не первый год, с презентами колоссальные трудности, ведь она не пила, не курила, никаких сладостей, что вы, сахарная болезнь будто бы уже начинается, в сумочке — целая пачка анализов мочи, приходилось читать или хотя бы делать вид, что читаешь, и нельзя было отделаться общими фразами; следы белка — это вам не пустяк, — а потом опять о советнике; косметичку, а может, сумочку — не помню точно — она взяла, скорее всего, чтобы покапризничать передо мной: такие цвета, это в ее-то годы, уж не думаю ли я, что она еще красится? Я чувствовал себя как на сцене. Перед каждым из нас она играла спектакль о другом, настоящий театр воображения; а как она торопилась закончить уборку у меня, чтобы застать его дома! Она не выносила пустых комнат, ей нужен был слушатель; нам приходилось нелегко, но мы оба старались, каждый у себя, а что делать? Прислугу в наше время просто рвут на части, а уж эта словно сошла с подмостков, должно быть, она родилась актрисой, да только не повезло ей: никто у нее этого призвания не заметил, а сама она, слава Богу, не догадалась. «*Номо сум ет гумани nihil а ме алиениум путо*». Доброжелательность доброжелательностью, но я голову даю на отсечение: советник принял во мне такое участие, поскольку уже тогда рассчитывал, что, когда я уеду (он прочитал это решение у меня на лице раньше, чем оно окончательно вышло у меня в голове), он будет обладать ею один — понятное, хотя, пожалуй, обманчивое желание... Он жаждал исключительности, преобразования кочующей прислуги в оседлую и знал, что, если бы меня упекли за решетку (я по-братски исповедался перед ним относительно Кюссмиха, замка, порошка для младенцев и даже ложечек), он окончательно потерял бы покой, потому что она, перестав у меня убирать, начала бы меня идеализировать, ставить ему в пример, чтобы он почувствовал свою неполноценность. Не подружиться мы не могли, иного выхода не было — уж лучше, если твои интимные дела знает кто-нибудь близкий, чем человек посторонний или даже неприязненно настроенный; поистине, у нас друг от друга не было тайн, ни один психоаналитик не проникает в такие глубины души, как прислуга (какие мятые нынче простыни, и что вам такое приснилось?); словом, мы играли открытыми картами, хотя всячески давали понять, что, мол, ничего подобного. Несколько раз советник приглашал, кроме меня, начальника Управления Тельца, двух экспертов и архивиста, так что в его квартире, за кофе с печеньем,

чуть ли не вся коллегия держала совет, как бы устроить мне доступ ко всему абсолютно, без изъятий; их разговор временами был еще загадочнее, чем шихта.

Труднее всего им было решить, в качестве кого, собственно, я могу проникнуть в архив. Первооткрыватель планеты, терпеливо втолковывал мне магистр Швигерли из отдела кадров, — титул, который звучит внушительно только в школьных пособиях, а для министерства это пустой звук. Ведь я не эксперт, с которым Управление наблюдения за Тельцом заключило контракт, не член совета при министре и даже не внештатный специалист. Я — частное лицо, и в качестве такового делать мне в МИДе нечего, с тем же успехом мог бы требовать допуска к секретной документации ночной сторож. Секретность — это не только печать на документе, это еще знак того, какой ход — или противоход — будет дан делу, ибо нередко движение дела по инстанциям означает его погребение; поэтому они напрягали ум за чашкой черного кофе, чтобы найти если не *предписание*, то хотя бы предлог, который раскрыл бы предо мной двери пещеры Али-Бабы. Вскоре я понял, что все до единого служащие МИДа, как высшие, так и низшие, не имели ни об Энциии, ни об астронавтике никакого понятия: это просто не входило в их должностные обязанности, и мне приходилось слышать, как они говорили «говядина» вместо «Телец». В конце концов Штрюмпfli отказался от дальнейших консультаций, велел мне сидеть дома и ждать звонка, а через три дня торжественно возвестил, что победа за нами. Непременное условие — приходиться в главное здание ночью и уходить до наступления утра — я, разумеется, принял без возражений; я уже настолько понимал всю деликатность этого дела, что мне оставалось только благодарить. Итак, обратив ночь в день, я мог наконец во внеслужебное время проникнуть в тайны другого мира.

Я купил самый большой, какой только удалось найти, термос для кофе, сумку с несколькими отделениями, записнул туда печенье, баночку мармелада, булочки, плоскую фляжку «Мартеля», которым поят раненых на поле славы, толстую тетрадь и в самый последний момент — забытую было мною, прямо-таки символическую и все же, без всяких шуток, по-настоящему необходимую мне — ложку.

Источники

Итак, Штрюмпfli, получив неофициальное согласие начальника Управления Тельца, ночью, когда здание опустело,

ввел меня в энцианский архив и в первом библиотечном зале самолично разъяснил мне порядок пользования собранным там материалом.

Данные о ненаселенных планетах, сказал мне советник, принимают на хранение довольно просто, разбрасывая их по трем разрядам. Сначала идут отчеты первооткрывателей, понятно, ошибочные, потом результаты исследовательских экспедиций — тут уже дерево ошибок начинает ветвиться, поскольку не случилось еще, чтобы специалисты были согласны друг с другом, и появляются особые мнения, возражения и опровержения, а напоследок — заключения земных экспертов, то есть людей, нога которых не ступала на космический корабль, не говоря уж об отдаленных планетах, поэтому посевшие в боях космонавты-исследователи подают на их вердикты кассационные жалобы, апелляции и рекламации, что влечет за собой разработку планов новых экспедиций, которые на половине или в конце пути по инстанциям торпедируются бухгалтерией, поскольку, по ее мнению, гораздо дешевле примирительные комиссии и арбитраж на месте; на этом споры обычно кончаются, разве что какая-нибудь очень влиятельная и честолюбивая особа пожелает увековечить себя, связав свое имя с новым небесным телом, и пробьет чрезвычайную субсидию; впрочем, это уже не заботит МИД, все равно ведь никаких отношений установить нельзя, потому что не с кем, и документы отправляют в архив с пометкой начальника соответствующего отдела: «Nolo Contendere»*.

Хуже с населенными планетами. Астронавтические материю очень скоро смешиваются здесь с политическими, потому что любая цивилизация создает по меньшей мере столько версий своей истории, сколько в ней государств; версии эти противоречивы и даже диаметрально противоположны, но МИД не может открыто отрицать ни одну из них, ведь отсюда недалеко и до конфликта *ante rem***; поэтому все версии принимаются без рассмотрения и лишь потом начинают думать, что с этими фантами делать. В служебной практике звезды делятся на те, что удаляются от нашего Солнца, и те, что к нам приближаются; с первыми хлопот никаких — о каком дипломатическом сближении может идти речь при постоянно возрастающих астрономических расстояниях? Внимание мидовцев сосредоточено на вторых, и именно к этой категории относятся планетарные системы Тельца. В МИДе принято

* Здесь: «Не буду заниматься» (лат.).

** Прежде чем (что-либо успело произойти) (лат.).

делить материалы на официальные и правдивые или на открытые и секретные, ведь политический курс надлежит выбирать в соответствии с тем, как там *на самом деле*, а конкретные дипломатические шаги — в соответствии с тем, что *они* говорят об этом.

Если на планете восемнадцать государств (а это в космическом масштабе — семечки), только очень наивный человек ожидал бы найти там восемнадцать версий ее истории; кроме трудов официальных источников имеются ведь работы историков, которых едва терпят, а иногда — казнят и реабилитируют *post mortem*^{*}, а также дееписателей-критиканов и разоблачителей, которые, к сожалению, нередко поддаются духовному или физическому внушению и меняют свои взгляды в следующих изданиях, потому что у них, скажем, жена и дети (если это допускается тамошней биологией; впрочем, инстинкт самосохранения присущ любому разумному существу, так что не стоит вдаваться в такие тонкости галактической историографии). На эту грудку вариантов ложатся центнеры хроник, живописующих судьбы интересующего нас государства глазами соседей и их историков (как известно, первую мировую войну китайцы назвали гражданской войной европейцев), а деятельность МИДа превращается в блуждание по лабиринту, где на каждом шагу подстерегают засады и таятся загадки; и, словно этого мало, то и дело поступают отчеты очередных экспедиций, а когда *туда* вместе с дипломатическими отправляются торговые миссии, которых больше заботит товарооборот, чем историческая истина, опять начинаются согласования и уточнения. Когда же все наконец как-то удается наладить, там, на месте, вдруг происходит исторический перелом, и опять начинай все сначала; монументы боготворимых правителей летят с пьедесталов, преступные демоны и чудовища оказываются национальными героями и вождями, сочинения, запечатлевшие на вечные времена заслуги монархов и полиархов, устаревают в одну минуту — и премило выглядел бы земной дипломат, который при вручении верительных грамот перепутал этапы истории.

Ошарашенный этими объяснениями, я не мог удержаться от вопроса, в самом ли деле Земля уже установила отношения с такой уймой планет, что МИД сгибается под тяжестью выпавших на его долю задач, — ведь в Институте мне говорили, что их деятельность носит пока тренировочный характер. Штрюмпfli посмотрел на меня, как чело-

* Посмертно (лат.).

век, которому показалось, что он ослышался, и, не торопясь, чтобы я лучше понял, растолковал мне неуместность такой постановки вопроса. Министерство Инопланетных Дел работает на основании имеющихся у него документов, и только. Лишь тот, кто не имеет никакого понятия о делопроизводстве, может увидеть в этом что-то необычайное, несообразное или даже несерьезное. Ведь вся политическая история Земли представляет собой цепь ошибок и их последствий; с прадавних времен государства ставили не на ту карту, делали то, что не соответствовало их истинным интересам; так что политика состояла прежде всего в ошибочной оценке противника, а еще чаще — в превращении потенциальных союзников во врагов из-за недоразумений и недоумия. Как победы, так и разгромы проистекали из ложных прогнозов: недаром у побежденных дела обычно шли лучше, чем у победителей, — если не сразу, то чуть погодя. Политика имеет дело с будущими событиями, которые точно предвидеть нельзя, а опытный политик — это тот, кто прекрасно об этом знает, но гнет свое из патриотизма, чувства долга и осознания исторической необходимости. Поэтому Министерство Инопланетных Дел не открывает Америк, а действует как обычные МИДы, с той лишь разницей, что границы неизбежных при дипломатической деятельности ошибок раздвинулись астрономически. Неужели мне неизвестно, что при принятии решений, определивших исход мировых войн, начисто игнорировались донесения разведки и иные совершенно достоверные данные, из которых вытекало как дважды два, что войну объявлять не следует? Поэтому так ли уж важно, настоящие документы у нас в руках или всего лишь фантомы? Каким, собственно, образом эта разница повлияла бы на течение министерских дел?

Прочитав добродушным, но категорическим тоном это наставление, Штрюмпfli посоветовал мне не касаться главного каталога — в его сорока тысячах карточек легко заблудиться.

Он вручил мне листок с перечнем важнейших трудов, который любезно составил магистр Брабаандер, похлопал меня по плечу, улыбнулся и пошел спать, а я остался наедине с библиотечным лабиринтом.

Получив в качестве ариадниной нити этот перечень, я какое-то время колебался, не зная, что выбрать — термос или фляжку с коньяком, наконец глотнул коньяку, чтобы взбодриться, а потом приступил к работе, буквально засучив рукава: самые старые отчеты покрывал толстый слой пыли, а я не хотел без надобности пачкать рубашку; даже

здесь надо мною, казалось, витал ворчливый дух приходящей прислуги. Перечень советовал мне начать со «Всеобщей истории» Мсимса Питтиликвастра, люзанского предысторика, но я из чистого любопытства взял самую старую, потемневшую папку. Папка была тонкая. На грязноватом листочке желтели криво приклеенные ленты телеграмм, а может быть, телексов; низко склонив голову над этим почтенным документом, я не без труда прочитал выцветший текст:

ТЕЛЕЦ ГАММА ПЛАНЕТ ДО ЧЕРТА НО СЛАВА БОГУ БЕЗЛЮДНЫХ В ПЕРИГЕЛИИ БОЛОТИСТЫЕ В АФЕЛИИ ОБЛЕДЕНЕЛЫЕ ВСЕ ЭТО ПАСКУДНАЯ ЭНТРОПИЯ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ ТОЧКА ЭКИПАЖ СЫТ ПО ГОРЛО БЫСТРЕНЬКО ОБЕЖИМ ЕЩЕ ОДИН ПАРСЕК И К МАМОЧКЕ ТОЧКА ЗА ПЕРВОГО ЯНКИ ПАС И ФИЛЕРГУС ТОЧКА ПО ВОЗВРАЩЕНИИ РАССЧИТАЕМСЯ С ВЕРФЬЮ ПРИВЕТ ТОЧКА КОНЕЦ

Текст был крест-накрест перечеркнут красным фломастером. Ниже виднелась сделанная от руки надпись: «Шестерка населена, предлагаю оставить без премии этих халтурщиков» — и неразборчивая подпись.

Я еще раз взглянул на архаический астротелекс, и словно пелена упала с моих глаз: я понял, что название ЭНТЕРОПИЯ возникло просто из «паскудной энтропии», перевранной каким-то делопроизводителем. Там имелся еще один листок, вернее, бланк отчета о командировке вместе с припиленным к нему гостиничным счетом, на котором синел штамп «В ОПЛАТЕ ОТКАЗАТЬ». На обороте бланка кто-то небрежно набросал: «Через курьера с иммунитетом. Спутник шестерки — планетарный камуфляж, скорее всего, Развлекатель-Перехватчик Чужеземцев, пустотелый, надуваемый в случае необходимости. Рекомендуются осторожность, так как часть туземцев считает его провокацией из-за макетов КУРДЛЕЙ. Подробности см. в моем меморандуме, шифр ТЗГ/56 Эпс. Делаю, что могу. Не протоколировать. Не публиковать. Не запрашивать. Сжечь. Пепел рассеять по акту». Далее, несомненно, следовала подпись, залепленная оранжевой наклейкой с надпечаткой: «СОХРАНИТЬ В ТАЙНЕ».

Я попрощался с этим старинным документом не без грусти, но и со вздохом облегчения: оказывается, я не сваял дурака, приняв обычный летающий луна-парк за планету, раз это был специальный развлекатель-перехватчик, и мне пришлось в голову, что здесь я узнаю наконец тайну сепулек, которая мучила меня долгие годы; однако, окинув взором

ряды запертых книжных шкафов (советник, впрочем, оставил мне большую связку ключей), я понял, что сделать это будет непросто. Следующую папку тоже покрывал толстый слой пыли. Какие-то истории болезней из психиатрической лечебницы. Я тут же положил ее обратно на полку. Странно, как она здесь очутилась? Пораженный внезапной догадкой, я вытащил из папки связку пожелтевших бумаг и стоя начал их перелистывать. Я обнаружил медицинское заключение, удостоверявшее у экипажа «Рамфорникуса» коллективный галлюциногенный психоз, синдром прогрессирующего слабоумия и повышенную агрессивность, которая выражалась в активном сопротивлении терапевтам и младшему медицинскому персоналу. Эта болезнь признавалась профессиональной, и пациентам предлагалось назначить пенсию по инвалидности. «Рамфорникус» при помощи двух спускаемых аппаратов должен был исследовать сейсмичное плоскогорье северного полушария Энции, а также обширные подмокшие территории зоны умеренного климата. Бредовые видения обеих исследовательских групп были равно навязчивы, но совершенно различны по содержанию. Члены болотной экспедиции утверждали, будто жители планеты целые дни проводят по шею в грязи, а вечерами выбирают на относительно сухие места и, тихонько напевая, залазят друг на дружку, как циркачи, занимающиеся партерной акробатикой: они образуют живые колонны, по которым карабкаются все новые туземцы; так возникает несколько толстых ног, и карабканье это продолжается до тех пор, пока, сплетая руки и ноги, они не слепят что-то вроде слона или мамонта с обвисшим брюхом. Объединившись таким манером, они с песнею на устах удаляются в неизвестном направлении. Попытки расспросить туземцев, оставших по дороге, не увенчались успехом, несмотря на применение самых мощных автопереводилок: спрошенные тут же ныряли в грязь и из их фрагментарных восклицаний можно было понять лишь, что огромное существо, которое они создавали посредством повального взаимоцепляния, зовется Курдлицем или Курдельником, а может, Курдлятиной. Не исключено, однако, что они сами себя называют курдельниками или курдленцами. Психопатологические симптомы членов северной группы были гораздо разнообразнее. Одни разведчики будто бы попали в громадный комплекс строений без окон и дверей и обнаружили, что нужно с разбегу броситься на стену, чтобы та пропустила их внутрь. Не успели они разойтись в поисках туземцев, как были атакованы ватой — или ватином, — а также какими-

го сметанными на скорую руку штуками одежды наподобие ватников, которые, пользуясь численным превосходством, вытеснили их на крышу, откуда они спаслись тактическим отступлением на спускаемом аппарате. Другие утверждали, что им повезло больше. В большом парке, полном лениво прогуливающимися деревьями, они наткнулись на группу маленьких туземцев; двое или трое туземцев побольше, увидев их, убежали. Зато малыши, которых разведчики сочли местной детворой, не обнаруживая ни малейшего страха или удивления, пытались завязать разговор с чужаками, но из этого ничего не вышло — вместо осмысленной речи автопереводилки издавали какое-то бляение. Тем не менее мнимые дети охотно согласились сфотографироваться вместе с людьми и на прощанье одарили их разными загадочными предметами. Разведчикам пришлось возвратиться, когда болотная экспедиция передала сигналы тревоги. Снимки не получились: как выяснилось на борту «Рамфорникуса», фотоаппараты носили следы повреждений, типичных для высокотемпературных воздействий. Оптика объективов полопалась, а фотопленка расплавилась. На вопрос, что случилось с подарками, которые они будто бы получили, разведчики ответили, что в контейнерах, где находились подарки, не оказалось ничего, кроме крохотной горстки серой пыли. Ни один из обследованных не ощущал себя психически больным. Диагноз был поставлен не на авось. Было экспериментально доказано, что фотоаппараты подверглись сильному нагреванию, вероятно, в духовке корабельной кухни, хотя больные не желали в этом признаться. Спектроскопический и хроматографический анализ пыли, в которую будто бы обратились подарки, показал наличие элементов, встречающихся во всякого рода соре и мусоре. Хотя столь тщательные анализы доказывали лживость их утверждений, больные упорно настаивали на том, что столкнулись с жителями планеты, которые, будучи издали человекоподобны, вблизи напоминают скорее помесь страуса или эму с вылечившимся от ожирения пингвином. Существа эти могут ходить, как люди, но могут также передвигаться скачками, держа ноги вместе, как воробьи или дети, играющие в «классы». Они не способны усесться по-человечески, поскольку колени у них сгибаются назад, как у птиц, и отдыхают они, сев на колени. Одеваются очень пестро, а на лице у них какие-то маски, потому что они снимаются и тогда можно увидеть довольно-таки неприятную физиономию с широким лбом, широко расставленными, совершенно круглыми глазами, а там, где у нас рот и нос, у них имеется

выпуклость с отверстиями, напоминающими ноздри. После изоляции в лечебнице агрессивность больных значительно возросла. Далее следовал список больничного инвентаря, приведенного в негодность в приступе бешенства.

Специально созданная комиссия рассмотрела сорок восемь различных гипотез и пришла к выводу, что внезапный массовый психоз мог быть намеренно индуцирован чужой цивилизацией, как способ защиты от нежелательного вторжения. Поэтому на посещение планеты наложили запрет, и все остальные материалы получены по радиосвязи, с обычным запаздыванием во времени. Дойдя до этого места отчета, я даже обрадовался, что все дальнейшие сведения об Энци и энцианах исходят прямо от них, а значит, не искажены человеческими предрассудками. Тем не менее работа предстояла длительная и тяжелая: энциане, проявив незаурядный космический альтруизм, одарили нас сотнями своих сочинений, трактатов, учебников, газет и даже листовок.

Я счел за лучшее начать с учебников истории, и притом самых старых, как бы следуя естественным путем социального, а равно интеллектуального развития неизвестных существ. Местом моих борений с этими фолиантами был стол, ярко освещенный низко свисавшей лампой. Имея слева от себя термос, а справа печенье, я взялся за первый трактат, на всякий случай поставив в выдвинутый ящик стола фляжку с открученной пробкой так, чтобы можно было взять ее не глядя, не отрывая глаз от страниц с убогим текстом. В огромном зале было тихо, словно в пещере. Кроме шелеста перелистываемых страниц, время от времени раздавались мои тихие вздохи, чем дальше, тем больше напоминавшие сдерживаемые стоны. За нелегкое взялся я дело! По привычке я просмотрел сначала библиографию, помещенную в конце сочинения; имена ученых, цитировавшихся энцианским историком, заставляли задуматься: Триррцварракакс, Тррлитриплиррлипитт, Кьюкьюксикс, Кворрсттьёрркьёрр, Квидтдердудук и тому подобные. Не следует делать преждевременных выводов, сказал я себе и взглянул на титульный лист.

Это была «История Энци» пера знаменитого, как утверждалось, курдландского историка Квакерли. Советник рекомендовал мне ее как неплохое введение в предмет, но при виде имени автора, явно перекликающегося со швейцарскими именами, у меня мелькнула безумная мысль, что Штрюмпfli именно поэтому и посоветовал мне ее (очевидный нонсенс, свидетельствующий лишь о моем угнетенном состоянии). По некотором размышлении, я все же последовал этому совету,

в сущности дельному. Хотя и непросто было решить, какая часть шихты непонятнее, курдландская или люзанская, что-то подсказывало мне, что при всей своей необычности, прямо-таки уникальности, культура градозавров — обитаемых живых существ — ближе к Природе, не столь искусственна, как цивилизация, наделившая разумом даже камни и почву. Природа, в качестве универсальной космической постоянной, должна была стать связующим звеном и введением в чужую историю. Не подумайте, однако, будто я с жадностью набросился на этот толстенный том, глотая страницу за страницей, — нет, я стоял, как нерешительный купальщик над прорубью, пока наконец, набрав в легкие побольше воздуха, не погрузился в чтение.

Зарождение жизни на Энции Квакерли описывал на ученый манер, но, в общем, вполне понятно. Жизнь, по его словам, всюду зарождается одинаково. Сперва океан неслыханно медленно скисает у берегов, превращаясь в киселеобразную хлюпь, и тихие волны взбивают ее столетиями, а то и тысячелетиями, пока из этой жижи не вычленился чмокающий студень и после бесчисленных приключений не дочмокает туда, где его мякоть затвердеет в известковый каркас. Квакерли утверждал, что на разных планетах, в зависимости от местных условий, возникают различные высшие организмы, главные разновидности коих: кровососы, молокососы и клювоносы. Размножаются они тоже по-разному — потиранием, опылением, почкованием, а иногда, хотя и неслыханно редко, так называемым шпунтованием, до которого на Энции, планете вполне нормальной, дело, слава Богу, не дошло. Происходя от больших птиц-нелетов, энциане называют себя члаками; это слово некоторые энтропологи возводят к чавкающему звуку, обычному при передвижении по болотам, поскольку болота, бескрайние топи и трясины были здесь колыбелью жизни. Причиной тому местная география. Энция обращается вокруг своего солнца по сильно вытянутой орбите, и в афелии на ней воцаряется жуткий мороз. Своими обширными мелководьями океан подходит к кромке континента, у берегов болотистого, но в глубине, на сейсмически активном плоскогорье в усеянного вулканами. Исходящее от вулканов спасительное тепло периодически подсушивает болота. Однако кипящие гейзеры, непрестанные вулканические и серные извержения заставляли все живое держаться подальше от этого пекла. Поэтому жизнь приютилась как раз посередке меж океанскими льдами и вулканами Тарактиды, в области Великого Грязеана. Именно там из протогадов вывелись гады, а из гадов —

переползы и недоползы. Последние, как указывает их название, не доползли до более теплых участков суши и утонули, зато переползы положили начало чавкам. Чавки развились в чапель, у которых ноги были коротковаты; чапли часто увязали в трясине и гибли с голоду. Из них произошли чмоки, чмыки и чмухи. Существовали еще чмушканчики, так сказать, слепая улочка эволюции: они оказались подслеповаты и вскоре вымерли. Затем развитие приостановилось на миллион лет. Размножаться в склизкой холодной трясине радости мало, и самцы чаще делали вид, будто занимаются своим делом, нежели действительно им занимались, прижимаясь к самкам больше для согрева. Тамошняя грязь чрезвычайно липкая, так что пары совсем перестали разъединяться. Нетрудно понять, что из пары получалась четверка, из четверки — восьмерка и так далее, пока очередные поколения, разрастаясь, не превратились в мокрух, мокрушников, мокровищ и, наконец, *мокрынычей*. Именно от мокрынычей произошел впоследствии курдль. Мокрынычи, правда, имели вполне приличные ноги — от шести до девяти метров в длину, но этого было мало, чтобы держать туловище над поверхностью трясины, поэтому от валяния и бултыхания в грязи хвост и брюхо у них вечно мокрые; чтобы помочь этой беде — ведь в болоте чертовски холодно, — мокрынычи начали повышать температуру своего тела, разумеется, не намеренно (эти твари необычайно тупы), а благодаря естественному отбору самых горячих особей. Но убыстрять обмен веществ до бесконечности они не могли, потому что просто сварились бы, как в кипятке, и очередные мутанты стали извергать из пасти газ, который от зубовного скрежета (или от щелканья зубами на холоде) загорался, как наши болотные газы на подмокших торфяниках. С этого момента мокрыныч, чтобы не простудиться, извергал огонь, который его изрядно подсушивал, а еще удобнее было сушиться двум мокрынычам, стоящим друг против друга; таковы были первые ростки альтруизма. Первые огнедышащие мокрынычи (то есть *горынычи*) не были и вполтину так велики, как их поздний потомок — курдль. Они-то и заменили праэнцианам Олимп, с которого Прометей украл огонь. В их легендах важную роль играет неустрашимый герой, именуемый Громадеем, или Громатеусом, который будто бы совершил то же, что и Прометей. Горынычи, угодившие в западню, использовались для отопления резиденций племенных вождей. Потухший горыныч зовется *сгорынычем*.

Но все это случилось миллионы лет спустя, во времена

мифического царя Каррквиния. Между тем в стаде горынычей пасся обычно один гигант предводитель и несколько признающих его верховенство горынчиков; если он слишком на них наседал, они сбивались в кучу и сообща давали отпор великану. Диалектика эволюции была такова: если мокрынычи чересчур размножались, то утапывали досуха значительные участки болота, а затем, расхаживая по твердому грунту, утапывали его намертво и, не находя пищи, мерли с голоду. Тогда болота опять брали верх, каменистая почва превращалась в трясину, буйно разрастались болотные мхи, и весь цикл повторялся сначала. Если же корм совсем иссякал, мокрынычи с голодухи начинали пожирать друг друга, поражая жертву извергаемым из пасти огнем; так они привыкли к жареному. Мокрушный каннибализм как раз и привел к возникновению курдлей, ибо пракурдль был просто мокрынычем, обожравшимся до неприличия. Но пракурдль, ввиду своего гигантизма, был мало пригоден к борьбе за существование. Особенно серьезные трудности он испытывал, пытаясь сообразить, где кончается он сам и начинается нечто иное, пригодное для еды, поэтому самоедство, начиная с хвоста, было обычным явлением, о чем свидетельствуют палеонтологические раскопки; по сохранившимся остаткам скелетов видно, что пракурдль погибал, если слишком обжирался собой.

Потом мокрынычки поменьше, опасаясь большого мокрыныча, уже начинавшего курдлеть, стали нарочно подсовывать ему оссбей, которые вследствие длительного барахтанья в болотных лишайниках, таких, как рвотник торопливый, незабудка подташнивающая или отрыжница сильнодействующая, действовали на желудок как рвотное. Их называли мокрушками, а подсовывание сопернику рвотных мокрушек известно под названием «мокрого дела». Опасность подстерегала курдлей с двух сторон. Слишком большой самец-одиночка нечувствительно сам себя надгрызал на отдаленной периферии, а курдль слишком мелкий из-за своей дальнорзости мог вообще себя не заметить; полагая, что его нет, он переставал есть и подыхал. Как раз в этой точке эволюционное развитие курдлей пересеклось с социальной эволюцией энциан, что привело к поразительным, не имеющим прецедента в целой Галактике последствиям.

В своем золите, то есть в каменном веке, праэнциане почитали курдлей как существ божественных, хотя и гнусных. Поэтому курдельная символика прочно вошла в их мифологический арсенал, в архаические легенды и сказа-

ния; отсюда же позднейшее наименование их государства — Курдлевство. Уже тогда курдлю случалось проглотить праэнцианина, и, чтобы избежать такой смерти, обитатели болот намазывали себя пастой, изготовленной из растений, которые они крали у малышей-мокрушников, подсмотрев, в каких травах валяются эти твари, перед тем как предложить себя курдлю, дабы склонить его к каннибализму. Энцианина, проглоченного чудовищем и извергнутого наружу без какого-либо ущерба (так называемого живоглота), окружало всеобщее поклонение; приносимых в жертву стали намазывать пастой, так что курдль, приняв жертву, вскоре с неудовольствием ее возвращал. Но всегда ли было именно так, не вполне ясно. Некоторые авторы утверждают, что приносимые в жертву сами натирались отваром из тошнотворных трав, нелегально раздобытым у племенных шаманов, и это-де привело ко всеобщей деморализации, так как у некоторых племен возвращение курдлем жертвы считалось недобрым знаком. Но в других местностях живоглот сам был шаманом, а то и вождем, и отсюда пошел обычай требовать от кандидата в вожди отдать себя на съедение курдлю. Прохождение через курдля считалось актом ритуальной инициации. Тот, кто по малодушию не решался предложить себя курдлю, не мог рассчитывать на сколько-нибудь значительную должность в общине. Праэнциане, жившие на загрязнях, уже тогда называли себя члаками. Их верования были довольно странными с нашей точки зрения. Наибольшее почтение оказывали курдлю, который сам себя пожирал, — дескать, наполняя себя самим собою, курдль, существо божественное, становится божеством в квадрате. Олимп члацкой древности был заселен очень тесно, ввиду разнообразия видов курдля и его судеб. Так, например, голодающий курдль становится будто бы все меньше и все злее; такого зловредного курдля именуют «кардлюка». Из кардлюк получают курдлипуты, и это они, а не соседи по ночам справляют нужду на задворках. А кукурдль — это курдль, который сожрал кардлюку и разозлился, но не уменьшился. Он подстерегает странников и задает им загадки, которые нельзя разгадать, ибо говорит он так неотчетливо, что понять его невозможно. В раннем средневековье слово «курдль» у члаков считалось священным и произносить его запрещалось; чудовища получали имена-заменители, например, Дёрдль, Брррдль, Мёрдль и т.п. В героических мифах повествуется о храбрецах, которым удалось вкурдлиться и выкурдлиться при помощи волшебства; отсюда даже возникла ересь, по-

менявшая все знаки прежней веры на противоположные и провозгласившая курдлю олицетворением всяческого зла и мерзости, словом, чудовищем из адской бездны (входом в которую якобы были кратеры вулканов). Средневековье продолжалось на Энции в восемь раз дольше, чем на Земле, что имело серьезные последствия для развития члацкой культуры. Ее обмирщение началось во времена великого голода — и началось оно с облав на курдлей. Несколько воинов с дротиками и копьями (складными, чтобы не застряли у курдля в горле), спрятав за пазухой торбы и мешки с рвотным зельем, давали себя проглотить, а затем, намазавшись этим зельем, начинали покалывать внутренние органы зверя, пока наконец его не схватывали колики от тошноты. Иногда курдль извергал охотников раньше времени, иногда околевал вместе с ними, а временами им удавалось выбраться из мертвого курдля. Вид, существование которого оказалось под серьезной угрозой, проявил удивительные способности к мимикрии; например, были курдли, которые зарастали травой и чуть ли даже не кустарником, в точности уподобляясь курганам, то есть могилам члацких предков, и тем самым обеспечивали себе неприкосновенность. Наука так и не установила, есть ли в этих легендах хоть крупица истины.

Мне, конечно, не следовало прерывать чтение «Истории Энции» в версии курдляндского историографа; но он поминутно обрушивался на люзанских историков, этих лгунов, фальсификаторов, демонов и чудовищ, — и мне не терпелось узнать, чем вызваны такие взрывы негодования. Отыскав несколько люзанских работ, я отодвинул фолиант в сторону, заложив его ложечкой вместо закладки. Сначала я открыл «Мистифицированную историю» — просто потому, что эта книга была самая тонкая. Написал ее люзанский курдлевед Арг Кварг Тралаксарг. От него я узнал, что никаких мокрынычей, горынычей и горынчиков на Энции никогда не было. Все это старинные байки, некритически усвоенные значительной частью курдляндских ученых по причинам, не имеющим с наукой ничего общего. Не было также никаких огнедышащих животных. А были всего лишь блуждающие огни самовозгорающегося метана и отдельно от них — земноводные гады, а также подгрязевые вулканы, в обиходе называемые бульканами, которые, понятное дело, время от времени начинали извергаться и булькать, каковые явления в темных умах туземцев преобразились в ужасные схватки пирозавров. Впоследствии этот феномен пытались истолковать рационально (то есть в соответствии

с теорией эволюции Цыпцырина) ученые палетинской школы, субсидируемые курдландским Министерством Пропаганды, потому что Председатель заинтересован в поддержании репутации нациомобилизма также и за границами политхода.

Но этот автор полемизировал с другим, Квиксаком, поэтому я обратился к его палеонтологическому труду и нашел там полный цикл превращений пищевой массы в желудке курдля (точнее, в желудках, потому что их у него чуть ли не шесть) — цикл Греспубли, а также таблицу со спектрами, полученными в ходе лабораторных экспериментов по курдельному самовозгоранию. Из экспериментов следовало, что курдль с пониженной кислотностью вырабатывает испарения, горящие ярким оранжевым пламенем, курдль с повышенной кислотностью, страдающий от изжоги, извергает сине-фиолетовое пламя, а если его в избытке накормить одеревенелыми растениями — дымит. Здесь же имелись фотографии тех, кто собственными глазами видел в курдландском питомнике Фиффари живого пракурдля; он спал, по уши погрузившись в грязь, так что наружу высывались только его ороговевшие ноздри, и время от времени тяжело вздыхал; потом начал икать, высунул голову над водой и заскрежетал зубами так, что искры посыпались. Тут же из пасти пошел огонь и раздался громоподобный стук как бы от двутактного дизеля. Это будто бы свидетельствовало о том, что он не пробудился полностью, а извергал пламя во сне. Я, правда, предпочел бы увидеть снимок огнедышащего курдля вместо фотографий свидетелей, которые так близко его наблюдали, однако точность описания была, что ни говори, поразительной. Но что поделаешь, если Икс Квассерикс Гетелент, едва ли не главный на всей планете авторитет по части генетической и морфологической курдлистики, перечисляет убедительнейшие эксперименты, проведенные в его Институте и опровергающие тезис о существовании пирозавров. Хотя зубы курдлей нарочно шлифовали на шлифовальном станке, хотя в пищу им давали жженую пробку, а из растений — только стручковые, и даже пытались поить их горючими и летучими веществами, от эфира до бензина, ни одному из них не икнулось даже самым крошечным языком пламени, и Институт сгорел исключительно по недосмотру — в огне, разожженном озлобленными поборниками пирозаврической гипотезы. Гетелент, однако, не объясняет — скорее всего, из лояльности к коллегам, — чего они хотели достичь этим поджогом: уничтожить отрицательные результаты экспери-

мента или же прямо объявить поджигателем подопытного курдю. Мало того, тот же Гетелент ставит под вопрос само существование градозавров, утверждая, что в желудке курдю можно утонуть или скончаться на месте от вони, а в его мехах для нагнетания воздуха никто не выдержал бы и пяти минут; то же, что посещают люзанские туристы во время экскурсий, организуемых курдюляндскими туристическими агентствами, — всего лишь злонамеренно препарированный макет, потемкинская деревня, практически лишенная запаха, между тем каждый, кто стоял в десяти шагах хотя бы от тихонько мычащего курдю, знает, что на таком расстоянии его дыхание валит с ног и вызывает астматическую одышку. Так что, по мнению Гетелента, на планете не только никогда не было огнедышащих горынычей, но к тому же не было и нет никаких градозавров. На этом, заявляет он, заканчивается его миссия как преданного науке палеонтолога, а относительно всего остального, то есть почему курдюляндцы так настаивают на существовании никогда не существовавших существ, должны высказаться внеучные инстанции и органы. Похоже, выступление Гетелента вызвало политическую бурю как в Люзании, так и в Курдюляндии, — в градозаврах началась кампания непарламентских интерpellаций и желудочных митингов протеста, в люзанском парламенте разгорелись дебаты, а затем последовал обмен дипломатическими нотами, исчерпанный заявлением люзанского пресс-атташе. Люзанское правительство, говорилось в нем, не подвергает сомнению факт заселения курдюлей в его жилищно-бытовом аспекте, а ученые, которые высказываются об этом предмете, выступают исключительно как частные лица, не уполномоченные делать заявления программного характера и формулировать критерии объективной истины, коими должно руководствоваться при выработке внешнеполитического курса.

Порядочно замороженный столь принципиальной дискуссией, я снова взялся за «Историю Энции», опасаясь утратить путеводную нить и увязнуть в трясине взаимоисключающих точек зрения. Вторую часть своей монументальной монографии Квакерли посвящает разумным обитателям Энции. Он излагает суть дела довольно ясно, а именно: на планете существовал не один вид Разумных, а два — двоньцы и члаки, или половинники. От двоньцев произошли люзанцы, от члаков — курдюляндцы. Те и другие восходят к крупным птицам-нелетам и потому весьма похожи в анатомическом отношении, зато совершенно различны в духовном. Двоньцы были известны своим любострастием, преступными склон-

ностями и общей умственной недоразвитостью. Зато члаки развивались как по маслу. Предвидя, благодаря своей высоко развитой астрономии, что через сотни лет естественный спутник Энции развалится, войдя в неустойчивую зону Роша, и планета окажется внутри метеоритного роя, працлаки решили соорудить убежища. Однако же на загрязнях (которые члаки населяли вместе с тупоумными двоньцами, подкармливая их время от времени из врожденного милосердия) построить что-либо было невозможно; переселиться на север, на вулканическое плоскогорье, члаки, жившие охотой, не могли тоже, поскольку их промысловые звери, то есть курдли, жили в болотах, питаясь болотными водорослями, и на новом месте быстро вымерли бы. Поэтому члаки соорудили единственные в своем роде ноевы ковчеги — передвижные крепости (гуляй-башни) из огромных костей убитых на охоте курдлей, и только потому смогли уцелеть. Дело в том, что миллионы лет назад в зоне Роша распался другой спутник, поменьше, и обрушился на Энцию в виде каменных дождей еще до того, как возникли разумные приматы; это повлекло за собой мутации у курдлей и привело к появлению у них на спине мощных панцирей из отвердевшего кремнезема. Его выделяют так называемые противометеоритные железы, которые описал другой курдландский ученый, Кукарикку, археолог по специальности, основываясь на наскальных изображениях в пещерах вулканического плоскогорья.

Когда отряды члаков предприняли смелые экспедиции на плоскогорье, последние бронированные курдли уже вымирали. Как утверждает Кукарикку и еще один археолог, Квакерлак, члаки научились доить этих курдлей; выдоенная жидкость загустевала, ее выливали в формы и получали прекрасные силикатные кирпичи. (Правда, люзанские специалисты в один голос называют это чистой фантазией, подчеркивая, что указанные кирпичи датируются восьмым тысячелетием древней эры и получены путем обжига, а не дойки.)

Итак, когда повалили смеги, то есть спорадические метеоритные грады, состоявшие из обломков второго спутника Энции, члаки имели уже крепости-самоходки; крепости эти, кстати сказать, вовсе не были живыми курдлями, это — клеветнический вымысел тупоголовых люзанцев (или двоньцев). Милосердные по натуре, праполовинники (члаки) позволяли люзанцам укрываться под своими гуляй-городами, и действительно, под брюшным дном каждого из них кочевала ватага бездомных двоньцев.

(Здесь я должен пояснить, что эта двойная терминология: половинники — двоньцы, члаки — люзанцы — есть следствие существования в Курдландии двух археологических школ, каждая из которых располагает десятками неопровержимых аргументов в пользу одной лишь пары терминов; к сожалению, они не могут прийти к единому мнению.) Сии побродяги кормились объедками, которые кидали им из укрепленного курдля благородные члаки. Живя подаянием и, в противоположность члацким гарнизонам, беспорядочно шляясь под спасительной сенью курдля во болотных во лузях, эти двоньцы получили имя люзанцев, или люзанцев. Но и курдляндцам жилось несладко: они трудились от зари до зари, как на галерах, и сотни рук что было мочи налегали на колоссальные кости, приводя в движение ноги своей крепости. Этому каторжному труду положил конец Председатель, который лично выдумал биоинженерию. Он указал своим меньшим братьям, как синтезировать, под его чутким руководством, маленьких курдлят и как их кормить гормонами роста, что и было выполнено с громадным успехом. Так возникли синтекурдли, а из них — современные градозавры, превосходно оборудованные, снабженные канализацией, удобные и опрятные, — словом, ходячие города, которые сами заботятся о своих жителях. Каждый может выходить на прогулку или по иной нужде из родного курдля, а потом вернуться домой. Правда, смеги давно прекратились, но что может быть лучше роскошного башнемобиля, где зимой тепло, а летом не жарко? До чего ж хорошо путешествовать в знакомом сызмальства окружении, познавая родимый край из конца в конец! А что касается пропусков и паспортов, без которых нельзя покинуть курдля, то они введены лишь для удобства, во избежание сутолоки у входов и выходов. Паспортизация оказалась необходима еще и потому, что гнусные люзанцы, вместо того чтобы вечно благодарить курдляндцев за спасение от смега, переодевались в члаков и под видом возвращающихся с прогулки законных жителей градозавра проникали внутрь, дабы сеять раздоры и разложение, особенно в рядах политически незрелой молодежи, которой они нашептывали, что вне курдля условия жизни лучше. Несколько столетий спустя, вдоволь накраив и награбив, люзанцы покинули за грязью и обосновались на северном плоскогорье, где и создали после прекращения сейсмической активности собственное государство, которое во всех отношениях было хуже Курдлевства. Тем временем грязеан отступал; на болотистых,

низинах окреп Курдлистан, а на граничащем с ним плоскогорье — Люзанская империя, впоследствии ставшая республикой. Определение границ произошло около 900 года до новой эры. Интересно, что войны на земной манер, с отчетливыми фронтами и передвижениями крупных военных отрядов, продолжались на Энциии всего триста лет. От них отказались в пользу непрестанной, но не столь явной борьбы. Донимали друг дружку набегами, налетами, провокациями, диверсиями и саботажем, причем тон неизменно задавала Люзания (напоминаю, что я цитирую курдлянских историков). В люзанских штабах разрабатывали новые методы борьбы с градоходами, скажем, вживление пятой ноги в качестве пятой колонны. Эти негодяи нагло притворялись, будто им ничего не известно об обитателях курдлей. И когда диверсанты-теломуты сеяли хаос в курдельных тушах, присобачивая курдлю пятую ногу или намазывая его хвост всякой вкуснятиной, чтобы он надкусил себя; когда они вели свою подрывную работу, подбрасывая на курдельные пастбища воздушные шарики с отравой, вызывающей такую рвоту, что курдль мог раскурдлиться, то есть вывернуться наизнанку, — все это преподносилось как действия, направленные только против животных. Ибо Люзания не принимала к сведению жилищное назначение и синтетическое происхождение курдлей и имела бесстыдство утверждать, что Председатель якобы не выдумал никакой биоинженерии.

Ситуация изменилась коренным образом только в XXII веке (который примерно соответствует нашему девятнадцатому). Я узнал об этом из трехтомного труда профессора, доктора наук, члена Курдлевской Академии Мцицимрксса. Люзания вступила тогда на путь индустриализации, какового несчастья Курдландия избежала благодаря учению Председателя. Первым толчком стало изобретение сгорыночной машины, приводимой в движение огнем, который облитый водой и обозленный этим горыныч извергает из пасти. Люзанцы побогаче начали продавать свои поместья и вкладывать капитал в огнеупорных курдлей, способствуя этим развитию курдлеводства. Вскоре были выведены породы максимально огнедышащие и вместе с тем огнедойные. Они широко применялись в черной металлургии, а также для отопления. Превращение курдлей в капитал повлекло за собой резкое увеличение спроса на высокотемпературные и долговечные особи, но бездымных курдлей вывести не удалось. Поголовье горынычей росло лавинообразно, и через несколько десятков лет загрязнение природной среды приняло угрожающие размеры. Тогда возникла идея оптимизации пу-

тем концентрации, то есть укрупнения горынычей (или, как их нередко называли, смогрынычей), потому что несколько мощных экземпляров дымят меньше, чем целое стадо малышей; а отсюда недалеко уже было до лозунга национализации всего поголовья; но ученые, попробовавшие высчитать, какой курдль был бы самым экономичным, пришли к выводу, что любой натуральный курдль никуда не годится. Еще обсуждалась идея т.г. гогона, пышущего жаром и вместе с тем экологически опрятного: он работал бы по принципу замкнутого цикла, питаясь собственными выделениями, обогащенными кое-какими витаминами. Но подопытные курдли подыхали или впадали в бешенство и, проломив ограды, убегали в Курдляндию, другие утрачивали способность к огнедыханию, а некоторые в ходе научных экспериментов начали даже остывать вплоть до отрицательных температур; этот феномен пытались использовать в холодильном деле, но без успеха, поскольку курдли позамерзали. Назревал экономический кризис, акции курдельных акционерных компаний стремительно падали, кто только мог втайне припрятывал последних спорыничков; попытались вывести курдлей-газонщиков, которые вырабатывали бы газ, переваривая и ферментируя траву, но все было напрасно. Распад Люзании предотвратило лишь открытие атомной энергии, совершенное, впрочем, бестолково, как и все, что делается в этом государстве. Вот что говорит курдляннский академик. А может, он говорит и еще что-нибудь, но у меня уже не было сил читать дальше. Поскольку больше всего он поносил своего люзанского коллегу по имени Пиривитт Пиритт, не излагая его взглядов, а лишь вешая на него дохлых собак, или, вернее, курдлей, я из любопытства разыскал небольшую книжку этого люзанца. Она называлась «Мендосфера или этикосфера». Озадаченный, я заглянул в словарь иностранных слов и узнал, что первое слово заглавия восходит к латинскому *mendax* — лжец. В предисловии автор разделялся с курдляннской версией индустриализации Люзании. Он назвал ее нагромождением зловонных бредней: в империи никогда не разводили никаких пирозавров (в ту эпоху Люзания еще была империей), и курдли никогда не были капиталом, да оно и понятно — разве может быть капиталом то, чего нет? Не было в Люзании и каких-либо попыток заменить жилищное строительство разведением курдлей, частично — как утверждала курдляннская сторона — по лицензиям биоинженеров Председателя (курдли-небоскребы), а частично благодаря выкрадыванию курдляннских патентов. Все это, с начала до конца, пропаганда для внутреннего употребления, оглупляющая несчастных курдельников-галерников, которые носа не могут высунуть за брюхо своего великораба,

или многопоработителя, ибо именно так следует называть градоходы. В истории Люзании, правда, тоже хватало трудностей и кризисных явлений, но их не понять умам, которые отстали в развитии и награждаются научными званиями по чину, а не по таланту. Пиривитт Пиритт указывал, что курдландский академик не был даже настоящим доктором, а лишь носил чисто номинальный титул *doctor honoris causa**, и собственные ученики прозвали его «доктор курдль». Здесь, по крайней мере, все было ясно. Однако в следующих главах Пиривитт Пиритт полемизировал с люзанскими этификаторами и гедоматиками, и тут я уже мало что мог понять. Он утверждал, что нет иного пути, кроме полной этификации среды обитания, а сторонники частичной этификации, которые предлагают этифицировать только общественные здания и сооружения, не отдают себе отчета в кошмарных последствиях такого решения. То, что во всей Галактике нет ни одной тотально опустренной цивилизации, вовсе не аргумент *contra gen*** , ведь *какое-нибудь* общество должно быть первым, то есть идущим в авангарде прогресса, и эта почетная, хотя и нелегкая, участь выпала на долю люзанцев: именно они прокладывают путь млечным братьям по разуму. Далее следовали таблицы, формулы, схемы и графики, понятные мне не больше, чем иероглифы.

С неприятным ощущением, что по прочтении книги со столь звучным заглавием я знаю меньше, чем до того, как открыл ее, я стал искать обзоры и руководства, более популярные и притом написанные на Земле, ведь их пишут люди для людей, соплеменников; тут-то я и увяз окончательно, наткнувшись на учебник для аспирантов — историков люзанистики. Это был коллективный труд что-то около двадцати авторов-специалистов, сущая китайская грамота, по крайней мере, для человека вроде меня. Я читал и не понимал, что читаю; да и как тут было понять, если на каждой странице пестрели цепочки формул и термины наподобие «счастлителей», «энтропок», «антибитов», ЭВЫДРА (энтропия вычислительно-дискуссионных разумных автоматов), а под многообещающим заголовком «Экспедиции в глубь люзанской науки» помещался совершенно темный для меня текст об организации инспективы в полуживых группах с внесосмическим обеспечением. Впоследствии оказалось, что все это имело вполне реальный смысл, но прежде чем дойти до него, я намучился и разозлился, — в ту ночь я стоял над грудой отброшенных

* Почетный доктор (*лат.*).

** Против (*лат.*).

в сторону книг и глядел на длинные ряды еще не тронутых томов с безнадежной злостью, как человек, которому непременно надо вскочить в поезд на полном ходу, но который в то же время хорошо понимает, что может сломать себе шею. Мою руку оттягивал увесистый том «Люзанско-курдландского словаря», и меня подмывало шмякнуть им об пол — это принесло бы мне немалое облегчение, ведь я по натуре холерик; однако я сдержал себя и вместо книги взял стоявшую в углу старенькую вешалку для головных уборов, а затем, как тараном, двинул ею в большой шкаф с документами, зная, что дверцы у него дубовые, а следовательно, прочные. Вешалка, правда, треснула, но я поставил ее так, чтобы сломанное плечико опиралось о стену и ущерб был незаметен. Кто-нибудь скажет, пожалуй, что об этих ночных выходках я мог бы и умолчать, ведь они не лучшим образом свидетельствуют как о моих нервах, так и о моей понятливости. Но упреки подобного рода неосновательны: любые изгибы путей познания оставляют свой след на его результатах.

Разрушение вешалки подействовало на меня превосходно. Умиротворенный, я вновь приступил к поиску книг для чтения, расхаживая между полками и выбирая то, что попадалось мне на глаза, хотя и этот метод был не слишком разумным; до меня слишком поздно дошло, что я выбираю книги покрасивее, в особенно изящных переплетах, а ведь по одежке только встречают. Почти все эти пособия предназначались для опытных люзанистов. Меня охватывало отчаяние: я получил, что хотел, — пил прямо из источника, сокровищница знаний об Энци была в полном моем распоряжении, а я не знал, что делать с этим богатством. Я даже подумывал, не разбудить ли по телефону советника и не попросить ли у него совета, но устыдился этой мысли; вытерев пот со лба и пыль с запачканных рук, я ринулся в новое наступление. Однако же сбавил тон и выбрал «Введение в эпистемологическую мелиорацию», каким-то образом угадав, что там не будет ни слова о почвоведении и искусственных удобрениях.

Я узнал, что в XX веке Люзанию потряс ужасный кризис, вызванный самозатмением науки. Ученые все чаще приходили к убеждению, что исследуемое явление кем-то где-то наверняка подробно исследовано, неизвестно только, где об этом можно узнать. Число научных дисциплин росло в геометрической прогрессии, и главным дефектом компьютеров — а теперь уже конструировались мегатонные ЭВМ — стал хронический информационный запор. Было подсчитано,

что через каких-нибудь пятьдесят лет в университетах останутся лишь компьютеры-сыщики, которые будут рыться в микропроцессорах и мыслиторах всей планеты, чтобы узнать, где, в каком закоулке какой машинной памяти хранятся абсолютно необходимые нам сведения. Восполняя вековые пробелы, бешеными темпами развивалась игнорантика, то есть наука о том, что науке на данный момент неизвестно; до недавнего времени эта проблематика находилась в полном пренебрежении (проблемами, связанными с игнорированием игнорантики, занималась самостоятельная дисциплина, а именно игнорантистика). А ведь тот, кто твердо знает, чего он не знает, уже немало знает о будущем знании, и с этого боку игнорантика смыкалась с футурологией. Путьцы измеряли длину пути, который должен пройти поисковый импульс, чтобы наткнуться на искомую информацию, и длина эта была уже такова, что ценную находку в среднем приходилось ждать полгода, хотя импульс перемещался со скоростью света. Если бы время блужданий по лабиринту накопленных научных богатств росло в прежнем темпе, то следующему поколению специалистов пришлось бы ждать от пятнадцати до шестнадцати лет, прежде чем несущаяся со скоростью света свора сигналов-ищек успеет составить полную библиографию для задуманного исследования. Но, как говаривал наш Эйнштейн, никто не почешется, пока не свербит; так что сперва появились эксперты по части искатематики, а позже — инсперты. Пришлось создать теорию закрытых открытий (подвергшихся затмению другими открытиями); так возникла Общая Ариаднология (General Ariadnology), и началась эпоха Экспедиций В Глубь Науки. Тех, кто планировал эти экспедиции, и называли инспертами. Это чуть-чуть помогло, но ненадолго: инсперты ведь тоже ученые, и они немедленно принялись разрабатывать теорию инспертизы, включая такие ее разделы, как лабиринтика, лабиринтистика (а разница между ними такая же, как между статикой и статистикой), окольная и короткозамыкающаяся лабиринтография, а также лабиринто-лабиринтика. Последняя есть не что иное, как внекосмическая ариаднистика, дисциплина будто бы необычайно увлекательная, поскольку она рассматривает существующую Вселенную как нечто вроде полочки в огромной библиотеке; а то, что такая библиотека не может существовать реально, серьезного значения не имеет, ведь теоретиков не интересуют банальные физические ограничения, которые мир накладывает на Мысленный Инсперимент, то есть на Первое Самоедское Заглубление Познания. «Первое» потому, что эта чудовищная ариаднистика

предвидела бесконечный ряд таких заглублений (поиски данных, поиски данных о поисках данных и так далее, вплоть до множеств бесконечной мощности).

Любопытно, не правда ли? К счастью, у меня были две пачки таблеток от головной боли. Ариаднистика постулировала бесконечномерное неметрическое информационно-энтропийное пространство, и ликование было всеобщим, когда удалось доказать, что это пространство полностью конгруэнтно Господу Богу, который по крайней мере таким образом был постигнут в понятиях логики вместе со своим Всомогущественным Всеведением. И еще стало ясно, что сотворенный мир отделяется от этого квазибожественного пространства наподобие крохотного пузырька и становится по отношению к нему нигдешним, а иначе и быть не может. Весьма неожиданные последствия имела эта окончательная математизация Божественной сущности как системы Всеведения — разумеется, системы совершенно абстрактной, ведь это не было изображение Бога как личности, но топографически совершенное Схождение Его атрибутов. Оказалось к тому же, что это бесконечномерное пространство имеет границы, однако в них не помещается ничего реального, а в особенности Вселенная. Нетрудно догадаться, что ни одна ортодоксальная религия не приняла это доказательство к сведению. Хотя трансфинитное пространство оказалось необычайно интересным объектом научных исследований, они ничем не обогатили эпистемологию, потому что речь тут шла о всеведущей системе, то есть системе, в которой никакую информацию искать не нужно, да и невозможно. (Говоря до наивности просто, всеведение есть одновременно предпосылка и атрибут этого поразительного творения абстрактной мысли, и с реальной Вселенной оно никаких точек соприкосновения не имеет.) Как если бы вы, потеряв у себя дома чайную ложечку, приступили бы к поискам с таким размахом, что создали бы идеальную систему безошибочного отыскания, которая, разумеется, есть не что иное, как система Отыскания Всего На Свете, и потому ничего не может сказать по вопросу о ложечке ввиду его очевидной тривиальности. Найдистика относится к исканистике приблизительно так же, как чистая математика к прикладной. Разделение общей ариаднологии на практическую и абстрактную ухудшило положение, потому что чем более мощным умом обладал ариаднолог, тем больше его интересовали свойства Всенаходящей Системы и тем меньше — банальное копание во внутренностях искусственной планетной памяти, этого захламленного склада знаний. Поэтому кризис на-

уки казался неизлечимым, и все же люзанцы избавились от него, именно избавились, а не преодолели на избранном ими пути; они просто выплеснули из купели воду вместе с ребенком, иначе говоря, им удалось совершенно избавиться от самой науки — во всяком случае, от науки в известной нам форме.

На Энциии уже больше ста лет нет никаких ученых; есть только граждане, которые учатся у преподавателей, а преподаватели эти — даже не усовершенствованные цифровые машины, но шустры. Освоение шустрологии стоило мне шести бессонных ночей; я пришпоривал свой бедный мозг целыми литрами кофе. Шустры — это логические элементы, невидимые невооруженным глазом, потому что размерами они сравнимы с большими молекулами. Изготавливают их другие шустры — методом, напоминающим построение молекул белка в живом организме; но не буду вдаваться в технические подробности. Этот переворот был крайне болезненным для люзанских ученых, и целые ученые советы кончали самоубийством, осознав, что написание магистерских и даже докторских диссертаций не имеет теперь ни малейшего смысла и даже самый умный аспирант или докторант оказывается в положении человека, который пытается каменным тесаком изготовить каменный нож, хотя машины уже производят в тысячу раз лучшие ножи из закаленной стали. Эмпирические науки и опытные исследования, лабораторные и полевые, стали ненужными. Зачем проводить эксперименты реально, если шустринная система может выполнить любой эксперимент *in abstracto*, да еще со скоростью света? Зачем ждать, пока вырастет какая-нибудь дубрава у какого-нибудь ручья, чтобы исследовать ее влияние на микроклимат? То, что раньше заняло бы сто лет, шустры сделают в мгновение ока. Впрочем, мгновение ока для них чертовски долгое время, ведь это чуть ли не одна десятая секунды, а им хватает одной миллионной. Но и эти ошустренные эксперименты проводили только вначале, как бы по инерции, по привычке, по традиции. Ведь микроклимат исследуют с какой-либо целью, так не проще ли определить эту цель, не заботясь о промежуточных этапах? Этим занимаются целеведы (прежнее название — телеономы). Цель может быть совершенно идиотской: например, чтобы сегодня шел дождь зеленого цвета, а завтра — бледно-лимонного и чтобы оба были с радугой; или чтобы пижама ласковыми прикосновениями убаюкивала вас, а утром будила в назначенный час при помощи деликатного массажа, — и весь производственный цикл, необходимый для изготовления таких пижам или атмосферных осадков, будет

тут же автоматически разработан и внедрен. А тот, кому интересно, как это делается, запишется на поливерситет (разумеется, ошустренный), где дидакторы сперва объяснят ему, какие вопросы имеет смысл задавать, так как на глупые вопросы нет умных ответов, и по окончании курса вопросологии он может узнавать обо всем, что его интересует; но это отнюдь не профессия — скорее уж хобби. Вопросы образуют пирамидальную иерархию — или иерархическую пирамиду, не помню точно, — а в ней имеется уровень Тютиквоцитока, он же верхний предел: выше этого уровня ни вопроса, ни ответа понять невозможно, даже если целую жизнь посвятить одному-единственному вопросу, ведь умственные силы с возрастом угасают, а здесь они должны были бы нарастать сто, а то и тысячу лет. Так что любопытствующий умрет раньше, чем толком спросит и толком узнает то, что хотел. Зато из ответов на вопросы, задаваемые ниже барьера Тютиквоцитока, можно извлекать практическую пользу, и тут нет ничего удивительного и ничего нового, ибо, как объясняет дидактор ТИТИПИК 84931109 в пособии для начальных школ, чтобы съесть ржаную лепешку, не обязательно знать ни историю возникновения ржи, ни способы ее выращивания, ни теорию и практику хлебопечения, а нужно только вонзить зубы в лепешку, и баста.

Итак, наука надела траур по самой себе, что, впрочем, мало трогало люзанскую общественность; та, хотя и была обязана науке расцветом цивилизации, все больше ругала ученых за этот расцвет, и наукой была сыта по горло; теперь же, слава Богу, никто уже не мог превозноситься над согражданами в качестве докторизованного доцента, и это пришлось весьма по вкусу простому человеку с его демократическими замашками. Разум не сдали в архив, но гордиться им отныне можно было только частным образом, как чистой и без веснушек кожей, которая, как известно, никаких социальных привилегий не дает. Желающие, разумеется, могли заниматься наукой по-старому — то было безвредное увлечение вроде постройки дворцов из спичечных коробков или запуска воздушных змеев. Кажется, и сегодня в Люзании хватает чудаков, которые с энтузиазмом предаются этому ребяческому, в сущности, занятию в тайной надежде открыть что-нибудь такое, что положит конец всей шустронике, — несбыточные мечты бедолаг, которым не довелось родиться в стародавнее время, когда они, наверное, стали бы местными ньютонами или дарвинами!

С упразднения традиционной науки и началось в Несокращенных Штатах создание синтетической культуры, или

синтуры. Правда, тут мнения историков расходятся. (Историки по-прежнему остаются людьми, то есть, хочу я сказать, энцианами; гуманитарные науки автоматизировать не удалось, и не потому, что они невероятно сложны, напротив: они настолько противоречивы и нелогичны, в них столько произвольных домыслов, составляющих гордость научных течений и школ, что нельзя перепоручить их логическим системам — те реагируют на это информационным запором или аллергической сыпью.) Одни, например Ктоттотц, утверждают, что синтура была создана для протезирования естественной культуры, которую придавило насмерть всеобщее благоденствие; того же мнения придерживается целый ряд синтурологов. Но другие, в частности Тецьюпирр и Квиксикокс, считают, что тут дело обстоит так же, как с воздухом и пустотой: шустры проникали всюду, куда могли проникнуть, то есть во все пустые места. Указанные авторы называют это естественным градиентом эволюции искусственной среды обитания; попросту говоря, культура, как и природа, не терпит пустоты; а когда рушились социальные связи, добрые нравы, обычаи, вековые барьеры религиозных и правовых запретов и каждый мог немедленно получить все что угодно — одно лишь желание сохраняло смысл: делать ближнему то, что для него неприятно и даже ужасно, поскольку ближний при этом сопротивлялся, а сопротивление — пикантейшая приправа и главный деликатес там, где обладание любимыми благами и услугами утратило всякую ценность. Что легко дается, дешево ценится. Если у тебя восемнадцать костюмов, может, и приятно ежедневно менять их, но от десяти миллионов костюмов одни только хлопоты. Только маленьким детям кажется, что было бы чудно жить на горе из чистого шоколада. Насыщение кончается болью в желудке. Так на вершине всеобщего благоденствия возродилось состояние всеобщей угрозы: что за радость иметь все и наслаждаться этим, если в любую минуту ты можешь получить палкой по голове или очутиться в подвале субъекта, который находит приятность в изощренном, сколько возможно, мучительстве? Шустры отреагировали на эти перемены (ибо полиция подверглась ошущрению очень рано); тогда-то синтура и взяла на себя опекунско-защитные функции, а затем — патронат над всеми живущими.

Должен признать, что этот вопрос — о корнях синтуры — показался мне самым необычным из всего, о чем я успел прочитать. По-видимому (если судить по историческому опыту люзанцев), когда в среде обитания появляются

зачатки разума, когда этот разум пересаживают из голов в машины, а от машин, как некогда от мамонтов и примитивных рептилий, его унаследуют молекулы, и молекулы эти, совершая новые поколения смысленных молекул, преодолеют порог Скварка, то есть плотность их интеллекта настолько превысит плотность человеческого мозга, что в песчинке поместится умственный потенциал не доцента какого-нибудь, но сотни факультетов вместе с их учеными советами, — тогда уже сам черт не поймет, кто кем управляет: люди шустро или шустры людьми. И речь тут вовсе не о пресловутом бунте машин, не о восстаниях роботов, которыми давным-давно, когда в моде была футурология для масс, пугали нас недоучившиеся журналисты, но о процессе совершенно иного рода и иного значения. Шустры «бунтуют» в точности так же, как растущая в поле пшеница или микробы на агаровой пленке. Они не только исправно делают, что им поручено, но к тому же делают это все лучше и лучше, а в конце концов — так изумительно, как никому не пришло бы в голову поначалу. Давно известно, что точный план человека, а заодно и строительной фирмы, которая осуществит этот план, содержится в невидимой глазу головке сперматозоида, однако же никто не помыслил, что оттуда можно извлечь промышленную лицензию для молекуляризации разума, — хотя каждый выпускник школы вроде бы знает, что его мозг, прежде чем появиться на свет, целиком умещался в невообразимо малой частичке отцовского сперматоцита. А это ведь значило, что когда-нибудь подобная технология будет применяться на промышленном уровне — в таком же массовом масштабе, в каком ядра производят миллиарды и миллиарды живчиков, без всякого надзора, планирования, без фабрик, конструкторских бюро, без рабочих и инженеров. И уж тем более никто не верил, что какие-то шустры получают превосходство над людьми — не угрозами и не силой, но так, как ученый совет, состоящий из дважды профессоров, превосходит мальчика в коротких штанишках. Ему не понять их коллективной мудрости, как бы он ни старался. И даже если он принц и может приказывать совету, а совет добросовестно исполняет его капризы, все равно результаты разойдутся с его ребяческими ожиданиями — например, захоти он летать. Разумеется, он будет летать, но не по-сказочному, как он, несомненно, себе представлял, не на ковре-самолете, но на чем-нибудь вроде аэроплана, воздушного шара или ракеты, поскольку даже наивысшая мудрость в силах осуществить только то, что возможно в реальном мире. И хотя мечты этого сопляка

исполнятся, их исполнение каждый раз будет для него неожиданностью. Возможно, в конце концов мудрецам удалось бы растолковать ему, почему они шли к цели не тем путем, который он им указал, ведь малыш подрастет и сможет у них учиться; но среда обитания, которая умнее своих обитателей, не может разъяснить им то, чего они не поймут, ведь они — скажем наконец прямо — безнадежно глупы для этого.

Эти отдаленные последствия развития цифроники, венцом которой стала шустрономика, крайне болезненно бьют по самолюбию разумных существ. Что делать! Чего хотели, того и дождалось. Но не того, чего по наивности опасались, — непослушания, бунта стальных чудовищ, одичавших и охочих до власти компютиранов и ужасных компютерищ, взявших людей в ежовые рукавицы, — а всего лишь молекулярного экстракта разума, перемещенного из головы в окружающую среду и тысячекратно усиленного по дороге, разума, который ведет себя точно так же, как пшеничное поле или сперматозоиды. Он не является индивидуальностью, и если возникшие в ходе борьбы за существование злаки, амёбы или кошки заботятся о самосохранении, то есть о себе, а людям служат лишь косвенно: пшеница — в качестве пищи, кошки — для развлечения, то ошустренная среда обитания заботится прежде всего о людях, а о себе — в минимальной степени, ведь если бы она вовсе о себе не заботилась, то вскоре перестала бы существовать, просто распалась бы.

Можно ли управлять эволюцией шустров? Конечно, можно, но не по чистому произволу, не как в голову взбредет. Можно выращивать разные сорта пшеницы, яровой или озимой, но нельзя сделать так, чтобы из колосьев сыпались дыни. А с шустрами возникает еще одна трудность: их эволюция зависит от мипров (микропрограммирующих устройств), а мипры от кодокодов (когерентно дозируемых кодов), а кодокоды не помню уж от чего. Однажды запущенный процесс в какой-то, не известной заранее степени развивается самостоятельно, словно везущая седока упряжка лошадей, которые слушаются вожжей и кнута и не показывают свой норов, но мчатся они все быстрее по все менее и менее знакомой нам местности, — с той только разницей, что коней все-таки можно поворотить, а цивилизацию — вряд ли.

То есть в принципе можно, конечно — и люзанцы могли бы, — отказаться от шустров, вернуться к природной среде обитания, но это стало бы для них катастрофой, размеры которой невозможно предугадать, катастрофой более страш-

ной, чем если бы на Земле взорвали все электростанции, сожгли библиотеки, разогнали инженеров, ученых и медиков, — стоит ли описывать последствия такого возврата к Природе?

Днем я спал, а ночи просиживал в архивах МИДа. Я там совсем неплохо устроился. В письменном столе я держал кофеварку, сахар, мыло, полотенце, чашку, только ложечка куда-то запропастилась, так что кофе приходилось мешать ручкой зубной щетки, — я все время забывал принести другую ложечку, бомбардируемый множеством фактов, которые даже не пробовал упорядочить; но я заметил, что об энцианских высоких материях уже кое-что знаю, зато о более обычных вещах не знаю почти ничего, а все потому, что люзанские источники противоречили курдьянским и наоборот. Я сидел в самом центре большого города, но чувствовал себя Робинзоном Крузо на необитаемом острове. Два дня я изучал анатомию и мифологию курдья. У него огромные плавательные мешки по обеим сторонам легких, и тот, кем курдль подавится, может в них очутиться. Там будто бы хватает места для трех десятков дюжих молодцов с каждого боку. Говорят, когда-то курдлей дрессировали и использовали в военном деле, наподобие боевых слонов. Некоторые члацкие племена считали вулканы безногими курдьями; возможно, отсюда и пошли легенды о пирозаврах — ведь вулканы дымят. Любопытно, что даже в учебниках анатомии то и дело попадались дифирамбы Председателю, и тут же — диатрибы против люзанцев. Мифология была интереснее. Нашему Святому Граалю соответствовал Святой Курдль, а первые космогонии члаков исходили из того, что Космос устроен по образу и подобию суперкурдья, или супердья. Верховный жрец, возносивший к нему молитвы, имел сан курдинала. Много там было и непонятого. Паладинов, отправлявшихся на поиски Святого Курдья, называли желудочниками. Не искали же они курдья, сидя в его желудке? Впрочем, стоит ли подходить к мифологическому мышлению с обычными мерками? Я наткнулся даже на кучу рецептов приготовления жареного горыныча, или жарыныча. А между тем никаких горынычей почти наверняка не было. Или тут мы имеем дело с метафизикой пресуществления?

Корешки уже просмотренных книг я помечал мелом, чтобы не возвращаться к ним. Мне и без того казалось, что я увязаю во всевозможных глупостях и мелочах. Длинные ноги болотных чудовищ половинники называли не конечностями, а бесконечностями. Некогда существовала секта каудитов,

или хвостистов, которые измеряли длину хвоста курдля и предсказывали по ней, насколько удачной будет охота. Что-то от этой традиции сохранилось, коль скоро по сей день присваивается ученое звание доктора *honoris cauda**. Но в конце концов это могла быть просто опечатка. Председатель, как утверждают его апологеты, стащил курдля с небес на землю, разбожествил его и сделал доступным каждому. Поскольку вулканы считались безногими курдлями, вырывание ног означало причисление к лику блаженных. Вот и пойми это, кто может. Люзанские агенты, переодетые в члаков (так называемые лжеполовинники), будто бы прокрадываются в населенных курдлей. Таковым вероломцам иногда удается спровоцировать беспорядки среди ссыльных, водворенных в задние области градозавра (задопоселенцев); это элемент ненадежный и ретроградный, по причине своего местожительства. Особенно темен вопрос о бешенстве курдлей: люзанцы объясняли его политическими волнениями, а курдлянские официальные источники — саботажем. Я долго не мог разобраться в этой сумятице, ибо не знал политической доктрины члаков, а не знал я ее потому, что какой-то болван-библиотекарь поместил весь раздел «Нациомобилизм» вместе с «Автомобилизмом» — под рубрику «Городской транспорт и Коммуникации»; я же искал ее под рубриками «Доктрины Политические», «Политические Доктрины», «Идеологии» и так далее. На нужную полку я наткнулся совершенно случайно, когда мне понадобился тяжелый и толстый том в качестве пресса: дело в том, что для удобства я иногда снимал брюки и при этом заметил, что они сильно помяты, а ходить в Министерство с утюгом и гладильной доской было как-то не с руки.

Отнюдь не Председатель предложил идею нациомобилизма, или державоходственности, но общественный деятель XVIII столетия Ксарбаргсар, который описал идеальное государство как Всеобщее Переплетение Счастливых, сокращенно ВПС (этот мыслитель имел несносную привычку сокращать предложенные им термины, так что в конце концов пришлось взять листок бумаги, чтобы записывать все эти сокращения, иначе просто голова кругом шла). Практическим осуществлением своей теории Ксарбаргсар интересовался очень мало, захваченный благостными видениями Рая на Энциии, и лишь его двоюродный брат Гагагакс открыл тождество идеального государства с идеальным курдлем. В

* В уважение хвоста (по аналогии с *honoris causa* — «в уважение заслуг») (лат.).

словах эта идея заключалась в синтезе противоположностей — **Натуры и Культуры**; члак создан силами Природы и лишь на ее лоне может быть по-настоящему счастлив; однако культура тоже необходима ему, в противном случае он мало чем отличается от животного. А курдль, будучи животным, вне всякого сомнения, есть неотъемлемая часть Природы, и надо только его окультурить, то есть заселить, преобразить его грубую Животность, не меняя его сути. Думаю, что я верно излагаю мысли этих двух выдающихся родственников, у которых позаимствовал свою основополагающую идею Председатель. Снаружи природный, внутри благородный или облагороженный, курдль должен был стать основной ячейкой государства. При этом можно было опереться на давние традиции — обряды, легенды и мифы, связанные со смегами и члаками, с их ноевым ковчегом и так далее. Основоположники нациомобилизма поставили дело на более реальную почву, перевернув курдля с ног на голову, вернее, не самого курдля, а отношения между ним и члаком. Прежде курдль был высшим существом, а члаки чтили его как Бога; поэтому следовало его разбожествить, дабы отныне он сам служил члакам. Результатом внедрения этой идеи в жизнь как раз и стали градозавры, мокрополисы, топартаменты, градбища (пастбища для градоходов) и так далее. Появились также, как это обычно бывает, когда возвышенная идея соприкасается с шершавой реальностью, различные сложности, не предусмотренные отцами нациомобилизма, вплоть до поносов и прочих недугов градоходов, — и полки целого библиотечного зала сгибались под тяжестью томов, посвященных анализу имманентных и акцидентных изъянов державохождения. Трудов этих было столько, что у меня ныла спина и трещал позвоночник от одного только таскания их вверх-вниз по библиотечной лесенке. Тем не менее, твердо следуя своему решению исследовать все до конца, я продолжал читать.

Теоретические построения поражали своей тонкостью и замысловатостью, однако, хотя я ни разу не наткнулся на это слово, я все сильнее ощущал, что жить в курдле было *неудобно*. Курдляндские теоретики говорили о временных трудностях, связанных с недостаточной вентиляцией, о неудовлетворительном качестве фильтров и смрадоуловителей, о заболеваниях позвоночника, вызванных необходимостью жить на корточках (в курдле трудно выпрямиться в полный рост, особенно на низших должностях); но о том, чтобы просто покинуть населенные внутренности, никто даже не заикнулся. Это, должен сказать, немало меня удивляло — какая

такая абсолютная необходимость заставляла их так мытарствовать? Ответы на этот неизбежный вопрос лились сущим дождем; говорилось о синтезе природы и культуры, о гармонизации этих противостоящих друг другу начал и ориентаций, и, вздумай я изложить лишь главнейшие аргументы поборников державоходственности, бумаги бы не хватило. Возможно, думал я, они настолько привыкли, что иначе не могут; с другой стороны, привычка как-то не вяжется со столь неумолимым пропагандистским напором.

Решив наконец, что эта инопланетная загадка мне не по зубам, я отказался от дальнейшего чтения в зале классиков курдлизма. Председателю был отведен весь следующий зал, но я только раз заглянул туда и немедленно дал отбой. Имелся еще третий зал — так называемых отщепенцев, или ересиархов курдлизма; главным из них был казненный за свои убеждения мудрец, имени которого ортодоксы не называли, а именовали его либо Мерзейший Матец, либо Матейший Мерзец. Я пролистал его основной труд в разделе запрещенной литературы и благодаря этому узнал две вещи. Во-первых, имя этого отщепенца не поддавалось транскрипции ни на один из земных языков, поэтому в каталогах он фигурировал как Kinderlos, Sansenfants, или Бездетник, что будто бы передавало *смысл* его курдландского прозвища. Во-вторых, в ереси, которую он проповедовал, я не смог усмотреть ничего ужасного и даже особенно оригинального. Просто он предлагал ночью спать в курdle, а днем выходить наружу, занимаясь кто чем хочет, и именно это до глубины души возмутило правоверных курдлистов. Хоть убейте, не знаю, почему эта банальная мысль привела их в такой ужас.

Продвигаясь вдоль полок, я добрался для книжек для школьного чтения. В них содержались нравоучительные истории о том, как в стародавние времена лжеполовинники, то есть люзанские агенты, чтобы обмануть праполовинников в их градоходах, распускали клеветнические измышления и вели подрывные беседы; например, они пропагандировали наоборотничество, то есть предлагали перевернуть курдлестак, чтобы хвост оказался на месте головы, и наоборот. Они рассчитывали, что если им удастся подбить на это курдлелюбивых поселян, то начнутся хаос и смута, а тогда они призвуют подлых своих соплеменников, дабы общими силами навалиться на дезориентированный градоход. Выгнав законных жильцов на верную смерть под градом метеоритов (ибо все это происходило в эпоху смегов), люзанцы заняли бы их место, расположившись поудобнее в реквизированном курд-

ле. Но всегда находился герой, который пресекал эти гнусные замыслы в зародыше. Особенно запала мне в память история о храбром мальчишке, который в одиночку справился с целой бандой мерзавцев; он бесстрашно забрался в горло курдля и стал щекотать его в нёбо, пока тот наконец не обрушил на затаившихся чужаков желудочный потоп. Детские книжки призывали детвору проявлять бдительность и выслеживать вагантов-провокантов, которые норовят отбить сонного или задумавшегося курдля от стада, а также используют пожарные лестницы в поисках его щекотливых мест, чтобы, подвергая великана непрерывной щекотке, довести его до бурных внутренних потрясений.

Впрочем, у люзанских специалистов по школьному образованию я прочитал, что причины внутрикурдельных потрясений вовсе не политические. Изверг — это не курдль, вывернутый наизнанку саботажниками, но градоход, обитатели которого повально гонят самогон и, по пьяному делу, до тех пор отравляют несчастное животное, пока оно не дойдет до белой горячки и не начнет бросаться на прочих курдлей. Ибо пьянство — сущее социальное бедствие Курдландии, о чем, однако же, книжки для школьников умалчивают. В самих курдлях будто бы ходят по рукам листовки, в которых утверждается, что градоходы грызутся между собой из-за корма, а старнаки вместе со своими семьями и протеже учиняют тайные оргии, отплясывая вовсю внутри несчастных, падающих с ног престарелых курдлей, и не одного из них затанцевали уже насмерть. Этот запрещенный официально танец называется курдаш. Источником подобного рода сенсаций обычно являются задопоселенцы, и именно на них ссылаются люзанские курдлисты из Института Теории Государства, утверждая, что члаки — всего лишь паразиты курдлей и о каком-либо симбиозе первых со вторыми речи быть не может. От бродяжничества праполовинники перешли к перипатетизму, от перипатетизма к препаразитизму, а от него к обычным формам тунеядства. Как ни странно, люзанские эксперты расходятся по вопросу о том, живы курдли или мертвы. По мнению некоторых, тут случилась история, подобная той, что описана у барона Мюнхгаузена, когда волк вскочил на запряженную в сани лошадь, вгрызся в нее сзади, проел насквозь, сам оказался в упряжи и помчался по дороге уже в качестве тягловой силы. Именно так будто бы поступили члаки с курдлями. От гигантов, понемногу выведенных изнутри, осталось всего ничего, самое большее — скелет и огромная шкура с бронированными позвоночными дисками, и активисты попеременно приводят в движение этого трухляка, а про-

ще сказать — этот труп, о чем, однако, упоминать запрещено, чтобы не огорчать Председателя. Председатель твердо верит в превосходное здоровье и юношескую резвость градо-завров, тем более что сам он живет не в курdle, а в совершенно обычной резиденции, окруженной прекрасным парком, и о внутреннем положении в курдлях узнает из правительственной прессы.

Впрочем, люзанский психосоциолог Тюрртгиркарр полагает, что идея нациомобилизма жива, хотя курдди сдохли, ибо вера, как известно, горами движет, а трупами и подавно. Нациомобилизм, конечно, обман, но курдляндцы принимают его на ура, и ничего удивительного. Ведь они залезли в этих тварей, спасаясь от смега, в целях самосохранения, без всякой идеологии, и такое подчиненное положение их угнетало. Попросту говоря, противно им было так жить, особенно если учесть, что паразитизм никем на Энци не одобряется. Кому на Земле придет в голову утверждать, что образ жизни блох или солитеров есть высшая форма социализации? И вот благодаря Председателю, который слил воедино теорию идеального курддя и дедовские предания, а также искаженные до неузнаваемости эпизоды члацкой истории и эволюции, члаки наконец ощутили чувство законной гордости, ведь в его трудах особо подчеркивалось, что новый образ их жизни, самоотверженный и возвышенный, ведет напрямиком к светлому будущему.

Таково мнение сторонников крайней концепции — мумификационной, или трупохожденческой. Однако нет недостатка в авторах, которые держатся более умеренных взглядов. Они указывают, что время от времени градозавры валяются наземь как подкошенные, чего гипотеза трупохождения не объясняет. Значит, они таки живы, хотя, может быть, еле дышат, а впрочем, иногда и рыкают — на так называемых рёвонстрациях, или народных рычаниях, приуроченных к государственным праздникам. Что касается их общественного строя, то он феодально-кастовый в анатомическом смысле. Положение гражданина определяется местом, которое выделено для него в курdle. К сожалению, имеются еще и другие точки зрения, но я просто не в силах изложить их все; да и все равно невозможно было оценить истинность ни одной из них. Я уже хотел распрощаться с этим разделом библиотеки, как вдруг наткнулся на груды брошюр и газет, сваленных в углу между двумя шкафами. Похоже, они были списаны и предназначены к вывозу на свалку. Тут я призадумался по-настоящему: все они, хотя и были люзанского происхождения, расточали дифирамбы нациомобилизму. Чихая от пыли, я все

же уселся над этой кипой, переходя от репортажей к стихотворениям, поэмам и драмам, воспевающим радости жизни в градозавраха, где все друг дружку знают, где нет никакого отчуждения, разъединения и шустринного наблюдения, где все зовут друг друга по имени и сердце каждого бьется в унисон с сердцем этого доброго, изумительного существа, которое, узнав ближе вкусы своих жильцов, выбирает на пастбищах их любимые травы и ягоды. В этой груди я отыскал подшивки журналов «Чары курдля» и «В курдельной тиши», песенник, из которого мне запомнилась песня «Эх, живоглотик, живоглот», а также либретто оперы «Курделио». Правда, попадались и брошюры противоположного толка, в которых брюхо курдля уподоблялось геенне; в одном памфлете утверждалось даже, что миллион лет назад на Энциии высадились некие праастронавты и поселили на загрязьях парочку пирозавров, а та наплодила целые зловонные стада, и все это, чтобы сбить Энциию с благопристойного пути развития. Диверсия, к сожалению, удалась: гадкие монстры поглотили не только члаков, но и люзанцев, во всяком случае, духовно, коль скоро их головы забиты проблемой курдля, то бишь скурдления как спасения.

Отсюда можно было заключить, что на Энциии нет других забот, кроме одной-единственной: «Быть или не быть в курдле». Но я решил распрощаться с курдлистикой, и к тому же надолго. Меня ожидали не тронутые доселе ряды шкафов со стройными шеренгами книг, трактующих о более возвышенных и сложных материях. Когда я переступил порог первого зала и книжное собрание люзанистики глянуло на меня бесчисленными рядами своих корешков, ноги подо мной поднулись. *Nec Hercules contra plures**, мелькнуло у меня в голове, но я тут же добавил: *Sursum corda***. С этой мыслью я ринулся один против Энциии — против громоздящихся друг на друга, словно геологические слои, духовных отложений чужого мира.

Никогда относительность красоты не проявляется столь разительным образом, как при встрече двух различных планетных рас. Профессор Шимпанзер в своей «Сравнительной этропологии» цитирует отчет для служебного пользования, который представили своим властям энцианские монстроведа, изучившие множество земных телепередач. Особенно поразили их конкурсы на звание «Мисс Вселенная». Воплоще-

* И Геркулес бессилен против множества (врагов) (лат.).

** Возвысимся духом (лат.).

нием зла люди считают земную гравитацию, причем борьба с нею возлагается на строго определенные части тела. По непонятным причинам женщины обязаны выказывать свое участие в этой борьбе постоянно, а мужчины лишь время от времени. По-видимому, осознание такого неравноправия вызывает протесты самок гомо сапиенс, именуемые движением за женскую эмансипацию. Его участницы демонстративно отказываются носить под одеждой специальную упряжь (хомуты), которая противодействует гравитационному опаданию млекопитающих отростков, символизирующих жизненную активность. Борьба бюстов с силой тяготения неизменно заканчивается их поражением, о чем людям должно быть известно заранее, поскольку с возрастом натяжение кожных тканей ослабевает. Тем не менее самцы отказывают потерпевшим поражение самкам хотя бы в частице того обожания, которым они окружали их, пока видимость независимости от гравитации сохранялась. Несправедливость этого кодекса поведения тем более поразительна, что, как уже говорилось, самцы лишь иногда обязаны демонстрировать подобную суверенность, да и то в течение очень недолгого времени. Откуда взялся этот обычай, установить не удалось. Скорее всего, он имеет религиозное (метафизическое) обоснование, хотя тут все земные верования словно воды в рот набрали, что свидетельствует о крипторелигиозном характере борьбы вышеуказанных частей организма с силой земного притяжения. Разгадать эту загадку мешает многофункциональность органов, отряженных на противогравитационную борьбу, поскольку, вследствие единственного в своем роде, невиданного в целой Галактике срастания выделительных и родительных органов у земных млекопитов, никогда до конца не ясно, в каком именно качестве активизируются данные органы, будь то частным или публичным образом. Биологические пертурбации, доведшие анатомию человека до столь плачевного состояния, безусловно, находят свое искаженное отражение в его культуре и верованиях. Во всяком случае, отождествление *зла с землей* не подлежит сомнению; поддаться гравитации окончательно — значит свалиться в яму, именуемую гробовой, поэтому умерших зарывают в землю. В этой области обязательны особые ритуалы коллективного самообмана: хотя земляне, вне всякого сомнения, знают о разложении трупов, этому противоречат все многосложные действия, сопутствующие укрытию умершего от чужих взглядов (для этого употребляются футляры из одеревенелых материалов, а чтобы труднее было установить, что происходит с телами, преданными земле, место захоронения прикры-

вают массивными конструкциями из камня, гранита и других магматических горных пород).

Таковыми видят нас энциане, говорит профессор Шимпанзер, и тут ничего не поделаешь, ведь им приходится судить о нас, как слепому о красках. Им недоступны понятия, связанные с эротикой, ее духовной и чувственной стороной, поскольку природа устроила их размножение на совершенно отличный от земного манер. Они не имеют внешних половых органов, не спариваются, и даже понятие семьи не предполагает у них биологического родства: оплодотворение женской яйцеклетки совершается путем полимиксии, или, говоря менее научным языком, при участии по крайней мере двух самцов. Чтобы понять, как до этого дошло, следует обратиться к самому началу эволюции жизни на Энциии, и профессор Гораций Гориллес, к фундаментальной монографии которого «Вегетативная прокреация» отсылает профессор Шимпанзер (он постоянно цитирует Гориллеса, отдавая ему предпочтение перед другими энциологами), наглядно обрисовал этот необычный для нас способ размножения.

Три миллиарда лет назад Энциия выглядела в космическом пространстве как бледно-салатный диск. Но не зеленоватые тучи закрывали ее поверхность, а триллионы насекомых, каждое из которых было гораздо меньше комара. Насекомые эти, получившие название зеленушек (*Gorilles Viridans Ohgentangi L*), благодаря своей способности к фотосинтезу выполняли функции земных водорослей. Паря на границе стратосферы, за миллиарды лет они насытили атмосферу кислородом. Тамошние пастбища, образно выражаясь, реяли в небесах, поэтому туда же устремилась эволюция высших видов животных. Начиная с первых рептилий и пресмыкающихся, пошли летающие виды, аналог наших травоядных, и чем лучше они летали, тем успешней пользовались неисчислимыми запасами пищи в зеленых живых облаках Энциии. Покрытосеменные растения не появились здесь вовсе, а бо́лотные вместо хлорофилла содержат неизвестный на Земле дыхательный пигмент, который разлагает сульфиды и сульфаты, обильно смываемые с вулканических плоскогорий в грязеан. Животные, приспособившиеся к сульфидной пище, оказались прикованы к трясиным пастбищам, в том числе самые крупные из них — курдли. У них было множество паразитов и симбионтов «небесного», как выражается профессор Гориллес, происхождения, так как многочисленные виды зеленушек, утрачивая зеленый пигмент, а вместе с ним нередко и крылышки, переходили на мясную пищу, сопровождая крупные стада рептилий и прочих земноводных, обитающих на

загрязях. Перспективы развития жизни, как объясняет доктор Ахиллес Павиани (на которого ссылается Гориллес), определяются кормовой пирамидой в целом, то есть тем, кто кого на данной планете ест и кем, в свою очередь поедает. Сульфидными растениями (*Sulphuroidea Ohrentangi*) питались пролазы, ползучки и другие болотистые вместе с курдлями; а сами они служили пищей хищникам — быстрым, проворным, по большей части прыгающим и потому двуногим (весьма похожим на двуногих кенгуруобразных ящеров юрского периода). Такие гиганты, как курдли, пытались скрыться от хищников, ныряя в болотную жижу, а все остальное убегало от клыков и когтей стремительных выгрызов, загрызов и перегрызов, как их называет Авраам Гиббон в своей «*Historia naturalis praedatorum Entianum*»*.

Шимпанзер, Гориллес и Гиббон без оговорок принимают утверждение энцианских биологов, что, как это ни огорчительно, приматы всегда и везде обязаны своим разумом прохождению через стадию хищничества. Дело в том, что для травоядных существует лишь настоящее время, потому что жратва у них прямо под носом, зато хищники по природе вещей устремлены в будущее, ведь им приходится выжидать добычу, подстергать ее, выслеживать, подкрадываться, преследовать, разгадывать все ее увертки, и это развивает сообразительность тем больше, чем смысленнее добыча. Разум существует только в потенции, он словно спит, пока добычи хватает; но если ее мало, наступает кризис, и тот, у кого в голове пусто, погибает голодной смертью.

А условия жизни на Энциии были исключительно тяжелы и опасны: в вулканические эпохи теплое плоскогорье становилось зоной смерти, вдобавок планета подвергалась страшным лучевым ударам Новых звезд, которые часто вспыхивали в скоплении Тельца, вызывая массовую гибель животных и атмосферных зеленушек, но вместе с тем ускоряя эволюцию выживших видов — благодаря мутациям. Выглядело это так, говорит профессор Павиани, словно кто-то молотил цепями в амбаре, полном мышей; ясно, что спасутся лишь самые смысленные и самые быстрые. Нашим биологам казалось, объясняет профессор Шимпанзер, что решающую роль в антропогенезе сыгралохождение через арбореальную (древесную) стадию, или, как ехидничают некоторые, обезьянизация и дезобезьянизация некоторых примитивных видов, которые сперва позалезали на деревья, где приобрели цепкость рук, прямую осанку и зоркий взгляд, потому что

* Естественная история энцианских хищников (*лат.*).

иначе не перескочишь с ветки на ветку, а затем, когда из-за оледенения леса вымерзли, им пришлось спуститься с деревьев на землю и приняться за поиски пищи, которая не ждет безропотно, пока ее слопают, как яблоко или банан. Но прохождение через стадию хищничества важнее, чем прохождение через арбореальную стадию; кто влез на дерево круглым идиотом, не поумнеет, спустившись на землю. На Энциии лесов не было — некуда было взбираться, так что приматы произошли там от крупных пернатых. А случилось так потому, указывает доктор Шимпанзон (не путать с доктором Шимпанзером!), что крупные энцианские пернатые обладали исключительно большим для пернатых мозгом. А это, в свою очередь, объясняется тем, что зеленушки, которые дышат не как животные, а как растения, могут подниматься очень высоко — в стратосферу, где уже не хватает кислорода для легочников; поэтому питающиеся ими птицы буквально задыхались, взлетая за летучим кормом, а так как от кислородного голодания первыми гибнут нервные клетки мозга, естественный отбор приводил к увеличению числа этих клеток: если их было очень много, птица могла выжить даже тогда, когда часть мозга отмирала. (Мозговые клетки, как известно, не восстанавливаются.)

Таким образом, масса мозга энцианских пернатых росла «избыточно», и в этом избытке позднейшие события высекли — спустя миллионы лет — искру разума. Но случилось это, когда пернатые уже перестали летать и в качестве крупных двуногих нелетов занялись охотой на болотистых низменностях. Вот почему энцианин похож на человека лишь до тех пор, пока стоит неподвижно; когда же он начинает двигаться, видно, что ноги он переставляет, как страус — они сгибаются в коленях назад, — а голову может повернуть на 180°; грудь у него бочкообразная, кости рук — большие и полые, а на скелете остались следы в том месте, где прикреплялись мышцы крыла. Глаза у него круглые, лицо крайне для нас неприятное, так как вместо носа и рта посредине лица у него угловатый бугор с широко расставленными ноздрями (впрочем, это вовсе не ноздри, но выходные каналы половых органов); а его живот и лоно гладкие, как у куклы: не будучи живородящим млекопитающим, он не имеет ни пупка, ни гениталиев.

Мне не хватило сил до конца прорваться через учебники Шимпанзера и Гориллеса; вместо того чтобы ясно сказать, что, чем, как, почему и зачем, они заполнили тысячи страниц популяционной генетикой нелетов и праэнциан; к счастью, я обнаружил краткий органологический очерк магистра Стенли

Лемура и буду его придерживаться. Правда, Лемур — ученый пониже рангом, чем Орантанг, Шимпанзер, Гориллес и прочие люозанисты, — знает, может быть, несколько меньше, но мне этого было совершенно достаточно. Он говорит, что все высшие животные Энции размножаются как растения, но не совсем, потому что делают они это на бегу. И притом на полной скорости. Тем не менее этот способ размножения следует назвать растительным, мужественно настаивает С. Лемур, хотя оппоненты ругают его на чем свет стоит за слишком упрощенный подход. Энцианские пернатые не откладывают яиц. Кажется, самые древние археоптериксы откладывали, но для бегунов-нелетов, преодолевающих ежедневно несколько десятков миль в погоне за пищей, яйцеродность была бы пагубной помехой. Эмбрионы, похожие скорее на губки, чем на яйца, самка носит под брюхом в складках кожи, отчасти напоминающей сумку кенгуру. Это еще как-то соотносится с земными условиями. Однако сам акт оплодотворения не имеет аналогов на Земле. Самка оплодотворяется посредством *oficia oviductales**, располагающихся над ротовым отверстием, а самцы вместо коллоидного семени вырабатывают летучую пыльцу, которую они выбрасывают через аналогичные отверстия, настигнув самку во время брачного бега. Шимпанзер не согласен тут с Орантангом, а тот с Гориллесом. Игнорируя их споры, Лемур заявляет, что виной всему было бедственное положение, в котором некогда очутились животные на Энции. Оно продиктовало им определенное анатомическое устройство прежде, чем появилась возможность дальнейшей дифференциации. Иначе говоря, этот половой и в то же время некопуляционный способ размножения гораздо примитивнее земного.

Я, однако, должен честно признать, что излагаю точку зрения исследователей-людей, которые происходят от обезьян и потому считают, что чем ближе родство разумных существ с пресмыкающимися (а пернатые восходят к ним по прямой линии), тем меньше это делает им чести. Энциане придерживаются прямо противоположных взглядов. Примитивизм, и притом самого худшего сорта, утверждают они, проявляется там, где дефекацию от прокреации отделяют какие-нибудь миллиметры, а то и меньше. Этот способ остается нейтральным с нравственной точки зрения до тех пор, пока еще нет нравственности, то есть пока поведением животных управляет слепой инстинкт. Однако же этот экономичный способ сочетания в одном месте и в одном канале столь диаметрально противоположных функций, как удале-

* Яйцеводные отверстия (*лат.*).

ние из организма нечистот и занятия любовью, должен был стать проклятием создающего культуру разума. Поскольку любое живое существо избегает собственных выделений, это всеобщее отвращение надлежало как-то преодолеть, и эволюция воспользовалась приемом столь же простым, сколь и циничным, превратив места *naturaliter** омерзительные в притягательные — благодаря таящемуся в них наслаждению. Эти несчастные, безгранично наивные люди, заявил энцианский людист Пиксикикс, целые столетия ломают головы над тем, почему копуляция доставляет их самкам чувственное наслаждение, тогда как у низших животных ничего подобного не наблюдается. Поразительно, добавляет этот постпернатый мудрец, что разумное существо может обманывать себя так долго и так успешно, как бедные земляне! Того, кто спаривается неререфлективно, не нужно заманивать посулами удовольствий, преодолевающих отвращение. Улитка, жаба, жираф или бык ничегошеньки себе не думают, когда наступает период течки; но, чтобы подавить какое-либо мышление у тех, кто не только может, но и должен пользоваться разумом, необходимо затуманить их мозг автонаркозом, и именно эту роль играет оргазм. Помрачающий сознание спазм быстро проходит, и ясность мышления возвращается. Бедные, невинные жертвы эволюции, обманутые ею! — восклицает в этом месте своей «Сравнительной гомологии» доктор Пиксикикс. Вся Галактика должна сочувствовать вашим тщетным душевным борениям, от которых вы не избавились по сей день и не избавитесь никогда, ибо с таким уродством уже ничего не поделаешь.

Добавлю, кстати, что в разделе люзанской поэзии я нашел несколько поэм, оплакивающих наше сексуальное увечье, которое особенно сильно сказалось на земной философии и религии, заставив их отчаянно изворачиваться. Немалое впечатление произвел на меня «Неморальный трактат» Хетта Титта Ксюррксирукса, начинающийся следующими строками:

Земляне — выродки Природы.
В любви у них имеет вес
То место, где исход находит
Метаболический процесс.

Узнав, где ищут идеал
Сии злосчастные страдальцы,
По всей Вселенной стар и мал
В отчаянье ломали пальцы.

* По природе (лат.).

Это перевод — по-моему, совсем неплохой — швейцарского поэта Руди Вюэца. Известный теоретик литературы, структуралист Теодорофф, считает, однако, перевод второй строфы неудачным и предлагает свой вариант:

Узнав, к какому пункту тела
Землян привязан идеал.
Все содрогнулись. Космос целый,
Рыдая, щупальца ломал.

Тот же ученый обращает внимание на многочисленные апокрифы, сочиненные на Земле и безосновательно приписываемые энцианам, что видно из используемых в них лирических реквизитов вроде пчелок и мотыльков, между тем как на Энции ничего подобного нет*.

Вернемся, однако, к естественно-научным предметам. Выжить на болотах было так трудно, что их обитатели носились без передышки — и во время охоты, и во время размножения. В брачный период нелеты начинают ритуальные танцы, после чего самки отделяются от стада, разбегаясь в разные стороны, а толпы самцов гонятся за ними, догнав же, окружают беглянок клубами оплодотворяющей пыльцы, которую самки втягивают на бегу ноздрями. Нетрудно понять, что отцовство при таких обстоятельствах установить нельзя, даже если бы оплодотворение было возможно без полимиксии (называемой также полиопылением). Однако без полимиксии оно совершенно невозможно, как доказали путем моделирования на компьютерах Орр, Ангутт, Танг, а также их сотрудники из Массачусетского института сексуальной технологии.

Мне показалось, что выражения инопланетного сострадания задели наших ученых, однако они не могли открыто обнаружить свои чувства или категорически отвергнуть знаки участия, происшедшего, что там ни говори, из самых лучших побуждений. Поэтому они попытались взять реванш *sine ira et studio*** , подчеркивая, как бы между прочим, крайнее неудобство оплодотворения на полном ходу; но люэзанские биологи оказались опытными полемистами и объяснили, что

* Профессор Теодорофф имел в виду текст песенки якобы люэзанского происхождения:

Свою голубку опыляя,
Я славлю пчел и мотыльков.
Но твой обычай не таков,
Срамная нация людская!
В экстазе самку обнимая,
Ужель твой лирик воспоеет —
Канал для сброса нечистот? (Примеч. И.Тихого.)

** Без гнева и пристрастия (лат.).

лучшим свидетельством доброго здоровья является, несомненно, способность бегать быстрее и дольше других, поэтому энцианский обычай брачного бега гарантировал и продолжает гарантировать продолжение в потомстве особей, во всех отношениях наиболее приспособленных, чего отнюдь нельзя сказать об актах, совершающихся на травке либо в постели, ведь лещ способен даже последний колченожец. По поводу этого безапелляционного утверждения разгорелся спор, так как не все люзанисты были согласны между собой в переводе последнего выражения; например, профессор Погориллес (не путать с Гориллесом!) правильным считал перевод «последний извращенец». Другие авторы, однако, возражают ему, ссылаясь на отсутствие у энциан понятия об извращениях, особенно сексуальных: на Энциии они просто не могли появиться. Чтобы покончить с этим вопросом, добавлю несколько слов о том, откуда взялась лицевая локализация половых органов у энциан. Она восходит к земноводному, или, точнее, грязноводному, периоду жизни их древнейших предков миллиард лет тому назад. Некоторые виды пресмыкающихся пытались нести яйца на земной манер, но яйца эти тонули, поскольку были тяжелее воды (а легче воды они не могли быть ввиду своего химического состава; но если мне придется объяснять еще и это, я никогда не доберусь до конца), и бесславно гибли в болотном иле; в конце концов, после ряда мутаций, видовой адаптации и так далее выжили только сексолицы и спермоносцы, которые пускали носом пузыри, содержащие соответственно яйцеклетки с плавниками и проворное водоплавающее семя. Впоследствии дела шли поразному, но я не хочу превращать отчет о круге своего женевского чтения в учебник энцианской эволюции. Те, кого интересуют подробности, могут обратиться в Управление Тельца в МИДе с просьбой о допуске к архивам.

Чтение заняло у меня уже пять недель; оставались еще почти два месяца вынужденного пребывания в Швейцарии, но это мне казалось ничем перед лицом еще не исследованных залов огромной библиотеки. Однако я не пал духом, хотя стал настоящим отшельником; днем я спал и просыпался, когда швейцарцы вокруг меня, не без удовольствия уладив суточную порцию своих дел, в шлепанцах направлялись к кроватям. Я же с портфелем, набитым запасами кофе, сахара и тартинков (потому что при одном только виде печенья мне делалось дурно), шагал по опустевшим улицам в МИД.

Штрюмпfli не давал о себе знать, поэтому я понятия не имел, что он и его начальство незаметно следят за моими

упорными занятиями, питая по отношению к моей особе весьма конкретные намерения; будучи истинными дипломатами, они предпочитали не открывать карты раньше времени. Сам не знаю, что бы я сделал, если бы знал об их планах. Впрочем, скорее всего, я делал бы то же самое, настолько мне не терпелось узнать всю правду о наших далеких братьях по разуму.

Коренное отличие энцианской культуры от нашей проистекает из коренных различий в способе размножения. На Земле главной его частью была борьба за право покрыть самку, то есть непосредственное соперничество, тогда как на Энции это явление с незапамятных времен носило коллективный характер. Если бы самки бегали заметно медленнее самцов, породы крупных нелетов по прошествии нескольких десятков поколений отяжелели бы и, вероятно, вымерли; поэтому в борьбе за существование победили виды, самки которых были длинноноги и очень резвы. Было также очень важно, чтобы самцы замечали. — и притом немедленно, — что оплодотворение, или, скорее, опыление, совершилось. Окруженная клубами пыльцы самка издает резкий крик, очень неприятный для наших ушей, потому что кричит она на вдохе. (Трудно кричать на выдохе во время такого марафонского бега.) Иногда на этой стадии случается так называемый моментальный выкидыш — если оплодотворяемая пыльцой самка чихнет, почувствовав щекотку в носу. В таком случае стая самцов продолжает погоню до последнего издыхания — совершенно дословно, потому что самцы послабее действительно падают замертво.

Способность издавать крики-сигналы стала первой стадией зарождения речи. Следует напомнить, что птичья гортань гораздо лучше приспособлена к этому, чем, например, обезьянья; как известно, шимпанзе нельзя научить человеческому языку, тогда как для скворцов или попугаев это проще простого, а ничего интересного услышать от них нельзя потому, что у них мозгов не хватает. От первоначального оперенья у энциан не осталось почти ничего — только пух, покрывающий тело, несколько более густой на плечах, там, где когда-то росли маховые перья. Я позволил себе этот экскурс в прошлое, потому что без него нельзя уяснить всю глубину пропасти, разделяющей духовную жизнь людей и энциан. Их бросающаяся в глаза человекообразность есть следствие эволюционной конвергенции; но, несмотря на цепкие ладони, череп, по объему близкий к человеческому, прямую осанку и владение речью, понять их нам едва ли не трудней — как утверждают энцианские ученые, — чем

обезьян-приматов, от которых мы происходим. Прежде чем углубляться в их философию и религиозные верования, я назову все то, что для нас привычно, а им непонятно и недоступно. Они не знают и не могут знать всевозможных эротических тонкостей и отклонений, им неведомы такие понятия, как завоевание эротического партнера, верность, измена, моногамия, инцест, сексуальная покорность и протест против нее, им неизвестны какие-либо культуры, ориентированные сексобежно или сексостремительно, — все это у них невозможно.

Немало категорических суждений о земных культурах пришлось нам выслушать от тамошних антропологов. (Наши ученые подобных крайностей избегали.) Земные понятия чистого и нечистого, ритуалы очищения и искупления, аскетизм как средство борьбы с чувственностью, как протест против сексуального влечения, анафемы этому влечению и его превознесение до небес — все это, утверждают они, в конце концов привело к расчленению человеком своего собственного тела, и в средневековье культура обрекла тело на настоящие муки, верхнюю его часть увлекая в небеса, а нижнюю сталкивая в преисподнюю. Ни один теолог за целых двадцать веков даже не заикнулся о том, что, собственно, люди, которым христианство гарантирует воскресение во плоти, будут делать с гениталиями в раю. А гедонистическая цивилизация, восходящая к эпохе Возрождения, по мнению энциан, привела к такому уравниванию в правах обеих половин тела, от которого культуре не поздоровилось, ибо в конце концов человек животное-генитальный возоблада над человеком сердечным и мыслящим. Впрочем, нижняя половина тела была сущим наказанием для всех культур, как западных, с их противопоставлением греха и аскетической святости, так и восточных, где вместо этой пары понятий появляются полярно противоположные понятия полной телесной свободы и полного отрицания тела (нирвана). Как ни сражался со своей плотью бедняга гомо, он так и не нашел подходящего способа примириться с ней, а довольствовался суррогатами и иллюзиями, увязая в трясине самообмана. Насколько же это сузило людские возможности! Ведь людям приходилось тысячами растрчивать силы своего разума на оправдание, объяснение, а то и переименование отношений, с неизбежностью диктуемых устройством тела. Сколько пришлось им мучиться и водить самих себя за нос, чтобы догмат о сотворении по образу и подобию Всевышнего привести в соответствие с тем срастанием органов, которое заставило Августина Блаженного в отчаянье воскликнуть: «*Inter faeces et urinam*

*pascimur**. Все время приходилось одно идеализировать, другое замалчивать, это прикрывать, то переименовывать, и никакие перевороты в духовной жизни не позволяли окончательно примириться с проклятой анатомией. Самое большее — знаки менялись на противоположные, ханжество уступало место цинизму или родственной ему бестрепетности; люди словно бы говорили себе: «Раз уж тут ничего не подделаешь, будем пользоваться без усталы имеющимися у нас органами, пусть даже таким манером, чтобы сделать оплодотворение невозможным; хотя бы так взбунтуемся против Природы, если по-другому нельзя». Во время эпохальных переворотов проблемы собственно генитальные не выдвигались на первый план, что легко объяснить: развивавшаяся под флагом рационализма цивилизация просто не хотела признаться себе самой, до какой степени биология главенствует над ее рационализмом. И все же Возрождение было эпохой, когда человек открыто признал свое собственное тело, даже те его части, что ужасали теологов, а на Дальнем Востоке мыслители усматривали в небытии единственное действительно радикальное средство против раскола человека на чувства и дух, *delectatio morosa* и *ratio***.

Либо наслаждение, преодолевающее отвращение, либо отвращение, в котором признаваться нельзя, ибо тот, кто ставит под вопрос норму, сам становится ненормальным.

Такова, согласно энцианам, наша вечная дилемма. Я искал земных экспертов, которые подняли бы брошенную перчатку (а по правде говоря, нечто совершенно иное), но, странное дело, не нашел ничего, что звучало бы убедительно: ведь тут требовалась не софистика, но логически безупречное опровержение инопланетных умозаключений. Наши, правда, не оставались в долгу, однако не в контратаках по поводу секса, но в совершенно иных областях, вследствие чего диспут попросту терял смысл. А жаль. Суждения инопланетных существ о человеке не могут считаться оскорбительными. Хотя и не слишком приятно сознавать, что претензии на универсальность всего человеческого в масштабе Вселенной потерпели очередное крушение.

Горько признаваться в том, сказал один старый философ, что мы еще раз свергнуты с трона, поставлены на свое место, и притом не абстрактными рассуждениями, но наглядным доказательством в виде иных разумных существ. Этот неопровержимый факт показал нам, сколь тщетными были усилия

* Между калом и мочою рождается (*лат.*).

** Необузданная чувственность и разум (*лат.*).

человеческой мысли возвести случайные, сугубо местные земные обстоятельства в ранг разумной и потому всеобщей необходимости. Какие горы изошреннейших аргументов мы нагромождали, чтобы изобразить природу человека в виде космической постоянной! Как легко человек поддался иллюзии, будто бы мир к нему беспристрастен (если не благожелателен, как гласят утешающие религии)! То, что случилось с какими-то прамоллюсками, трилобитами и панцирными рыбами миллиард лет назад, что было всего лишь делом случайного расклада и перетасовки различных сочетаний органов и не имело никакого высшего смысла, кроме их функции на данный момент, — стало нашим наследием и заставило лучшие наши умы отчаянно и, как мы теперь видим, безнадежно поставить все на одну карту, объявить заведомо неудачное конструкторское решение актом Творения, благожелательного к Сотворенным. Впрочем, добавил тот же философ, это вовсе не значит — как мог бы опрометчиво решить адресат энцианских посланий, — будто благодаря благоприятному стечению обстоятельств на долю энциан выпал лучший жребий. Если у них нет наших несчастий, это еще не значит, что они счастливы. До рая им так же далеко, как и нам. У любого вида разумных существ есть свои собственные проблемы, многие из которых неразрешимы, и правило перехода из огня в полымя, по-видимому, действительно для всей Вселенной. Впрочем, немало есть и тех, кто усматривает в человеческом сексе превосходство *homo sapiens* над *homo entiaentis*^{*}, но сам принцип таких сравнений абсурден: нельзя считать, что недоступные нам ощущения других лучше — или же хуже, — чем наши. Если один разум равноценен другому — что, по-видимому, справедливо, — то различия в строении тел, выбрасываемых из барабана эволюции на планетную сцену, можно лишь констатировать. Все остальное, то есть оценка качества их бытия, пусть остается — молчаньем.

Вера и мудрость

Первого, а может быть, второго сентября, в самый полдень, от глубокого сна меня пробудил телефонный звонок. Адвокат Финкельштейн хотел со мною увидеться. Я пошел к нему сразу, чтобы успеть еще выспаться до наступления вечера, в преддверии штурма последнего, философского бастиона архивов МИДа. Если бы я принял душ, то взбодрился бы, пожалуй, чрезмерно; но если бы я этого не сделал, то в полусон-

* Человека разумного (над) человеком энцианским (лат.).

ном состоянии не много понял бы из того, что адвокат собирался мне сообщить. В качестве компромисса я принял сидячую ванну и пешком отправился в контору Финкельштейна, удивляясь уличному движению, от которого успел отвыкнуть. Я, правда, не солипсист, но все же временами испытываю ощущение, будто там, где меня нет, а особенно там, где я когда-то бывал, все замирает или, во всяком случае, должно замереть. Это мои личные мысли, и я не придаю им чрезмерного значения, а лишь регистрирую их, чтобы облегчить жизнь своим будущим биографам, с профилактическими, так сказать, намерениями: ведь если биографам не хватает действительных подробностей из жизни знаменитого человека, они сочиняют целую тьму фиктивных.

Адвокат встретил меня широкой улыбкой и предложил чашку кофе, но я отказался, помня о необходимости выспаться. Я заметил, что у него новая секретарша, до того красивая, словно она не умела даже печатать на машинке. Она и в самом деле не умела, адвокат этого не скрывал, к тому же она не имела понятия о правописании и, что еще хуже, вкладывала письма не в те конверты; но смотреть на нее было таким удовольствием, что клиенты заходили даже без всякого дела. Это напомнило мне отрывок из книги, которую я штудировал ночью, и я сказал адвокату, что колдовские чары, которыми гипнотизирует нас прекрасное женское лицо, в сущности, совершенная загадка. Окончательно я уяснил это во время чтения упомянутой книги, наткнувшись в ней на удивительное межпланетное недоразумение. Комиссия экспертов-людистов, изучавшая программы нашего телевидения, особенно конкурсы красоты, обнаружила, что некоторым типам женских лиц отдается явное предпочтение, и, пораскинув мозгами, выдвинула в официальном порядке гипотезу, согласно которой лицо выполняет у людей функцию маркировочной таблицы, то есть латунной пластинки с данными о мощности, кпд и напряжении, прикрепляемой, например, к электромоторам. Энциане, как представители другого вида, заявила комиссия, не в состоянии прочитать по женским лицам эти характеристики, поскольку они закодированы не цифровым и не аналоговым способом; но как-то все-таки закодированы. Цвет радужной оболочки, форма носа и губ, расположение волос на голове — все это легко читаемые людьми знаки. Возможно, они показывают эффективность обмена веществ, сопротивляемость организма земным болезням, умение бегать (хотя, если уж на то пошло, легче было бы определить его непосредственно по ногам), общий уровень интеллекта, — в общем, что-то

они значат наверняка, потому что различие между лицами королев красоты и обычных человеческих самок не больше, чем между разными буквами алфавита. Итак, дело тут не в эстетических соображениях — что такое несколько лишних или недостающих миллиметров носа? Комиссия трудилась не покладая рук, рассмотрела одиннадцать альтернативных гипотез, начиная, разумеется, с биологической: мол, человеческий самец вычитывает из лица самки черты, которые желал бы видеть у своего потомка; но эта концепция оказалась неприемлемой, если принять в соображение, что ни в общественной, ни в профессиональной жизни на Земле не видно какого бы то ни было предпочтения, оказываемого прямым носам перед курносыми или оттопыренным ушам перед ушами, плотно прилегающими к черепу. А если самец желает иметь сильное потомство, то осмотр женских мускулов даст ему больше, чем заглядывание в глаза. Если же речь идет о легких родах, то следовало бы оценивать ширину таза, однако людям это и в голову не приходит. Поскольку у людей ноги в коленях сгибаются вперед и значительную часть своей жизни они проводят сидя, рессорные качества ягодиц могут иметь некоторое селекционное значение; и в самом деле, для самцов это, по-видимому, немаловажно, но все же лицу они явно отдают предпочтение, а этого уж никак не объяснишь необходимостью часами просиживать на жестких табуретках. Несчастливая эта комиссия исследовала что-то около восьмисот тысяч снимков актрис, теледикторш и домохозяек, стараясь установить корреляцию между чертами их лица и такими недугами, как желчнокаменная болезнь, расширение вен, потливость ног и даже мягкость характера, но не нашла и следа какой-нибудь корреляции, что повергло ее в полное недоумение. Поэтому она опросила несколько землян, прибывших на Энцию, но ничего научного узнать от них не смогла и пришла к выводу, что данные, закодированные в лицах красивых женщин, являются на Земле государственной тайной, выдача каковой приравнивается к измене. Допустить, что опрошенные сами не знали, почему лицо Мерилин Монро вызывает у любого мужчины сильное расширение зрачков, а лицо сослуживицы — скорее нет, энцианские ученые не могли никак.

Адвокат Финкельштейн долго смеялся, а потом сказал, что я не трачу время впустую, столь углубившись в занятия, и это особенно радует его потому, что он имеет для меня благоприятное известие. Кюссмих понемногу склоняется к компромиссу. Слушание дела затягивается, так как нашлись дегустаторы, заявившие, что пресловутый золотой кофе ни-

кто в рот не возьмет, а Кюссмиху не удалось установить, добросовестные это эксперты или их подсунула «Нестле». Словом, если я откажусь от замка, Кюссмих вернет мне 75% средств, затраченных на ремонт, а его клеветнические показания будут спрятаны под сукно. Закончив, адвокат Финкельштейн выжидательно посмотрел на меня.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво молвил я. — В принципе, весь этот замок для меня, знаете ли, давно уже как прошлогодний снег. Но, скажите на милость, чего это ради я должен понести убыток? Не в деньгах дело, а в справедливости. Сколько, собственно, лет этому господину Кюссмиху? — спросил я, захваченный новой мыслью.

— Семьдесят восемь.

— Ему бы не о деньгах уже думать, — сказал я сурово. — А вы что посоветуете?

— Я могу тянуть дело дальше, — ответил он похихикивая, — но хотел удостовериться, что вы на этом настаиваете. У нас еще пять недель до следующей сессии.

— За это время многое может случиться, — произнес я, не догадываясь, до какой степени пророческими были мои слова.

Прощаясь с адвокатом, я попросил его, по возможности, звонить мне не днем, когда я сплю, а между семью и восьмью вечера, когда я взбадриваю себя, перед тем как отправиться в библиотеку.

Не успел я, добравшись до дому, раздеться и уснуть, как снова раздался звонок, на этот раз в прихожей. Обозленный, я открыл дверь, увидел респектабельного мужчину с папкой под мышкой и решил, что это новый адвокат Кюссмиха; но я заблуждался. Посетитель представился как ведущий сотрудник какого-то крупного международного ежемесячника; он хотел взять у меня интервью на космические темы.

Сгоряча я чуть было не спустил его с лестницы, но тут мне пришло в голову, что мой адвокат этого не одобрил бы. Выступление в популярном издании как-никак укрепляло мое положение в споре с мерзавцем, который наживается на прожорливости младенцев. Правда, названия журнала я не расслышал, но с лестничной клетки тянуло сквозняком, поэтому я пригласил журналиста к себе, усадил его в кресло — и узнал, что он из «Пентхауза». Это меня остудило. Меня явно преследовали детородные органы высших земных млекопитающих, коль скоро журнал, занимающийся их рекламой, поднял меня с постели.

— Что вам угодно? — спросил я. Этот человек совершенно не соответствовал моим представлениям о сотрудниках «Пентхауза». Вместо броско одетого субъекта с плотоядным

выражением лица и карманами, набитыми порнографическими снимками, передо мной сидел вылитый дипломат с журнальной обложки: седые виски, изящно подстриженные усы, глубокий взгляд интеллектуала и черная адвокатская папка. Заложив ногу за ногу, он ослепил меня лучезарной улыбкой и сказал, что самое время раскрыть перед широкой общественностью тайны космического секса. Как я понял, этот элегантный проходимец знал о моих штудиях в МИДе. Теперь, когда он прервал самый глубокий сон, на который я был способен, обычное выдворение его из квартиры уже не могло считаться достаточной компенсацией. Я решил устроить ему порядочную, тщательно продуманную трепку и лишь потом попросить его убраться на свой склад гениталиев.

— Я дам интервью, — сказал я, — при условии, что все мною сказанное вы опубликуете без малейших поправок. А поскольку я уже приобрел здесь некоторый опыт, вашего устного обещания недостаточно: мне нужны гарантии посущественнее...

Он проглотил крючок, и начались долгие переговоры. Чем более солидных требовал я гарантий, тем больше он утверждался во мнении, что в запасе у меня есть пакости, о которых даже он никогда не слышал. В ход пошел телефон. Он связался со своей редакцией, а потом я — со своим адвокатом, чтобы удостовериться, что заявление, которое оставит у меня журналист, будет достаточным юридическим основанием для предъявления иска на сумму в восемьдесят тысяч долларов в случае ненапечатания или искажения текста моего выступления. Я нарочно заломил столько — чтобы эта редакционная свора набрала полный рот слюны — и настоял на своем. Я спрятал в ящик стола требуемое заявление, текст которого продиктовал адвокат Финкельштейн, чтобы нельзя было подкопаться ни к одному пункту; все сильнее ощущая досаду — ведь о сне теперь нечего было и думать, — налил журналисту на редкость паршивый коньяк, оставленный в баре предыдущим жильцом; а сам, попивая чай (будто бы ввиду состояния своих почек), заговорил при включенном магнитофоне.

— Я выступаю не от собственного имени, — заявил я, — но в качестве представителя галактических цивилизаций. Секс на земной манер им неизвестен. В этом отношении мы в Галактике являем собой нечто вроде уродца, у которого лицо, так сказать, приросло к седалищу, только в глобальном масштабе. Размножение с самого начала должно протекать под контролем зрения, и так это повсюду и обстоит. Но в одном случае из двух триллионов эволюция путает направ-

ление входов и выходов тела. По единогласному заключению звездных экспертов, как раз такое фатальное невезение выпало нам на долю. Детородный процесс разместился в отхожих местах организма. Земные виды были поставлены перед выбором: либо полюбить эти места, либо вымереть; и организмы, которые смерть предпочли паскудству, погибли все до единого. Осталось лишь то, что проявило готовность возлюбить канализационные тракты. Это наша трагедия, в которой мы неповинны, уродство астрономического масштаба. Как известно, в целом процесс производства потомства не слишком приятен. Не слишком приятно состояние беременности, трудно назвать особенным удовольствием роды. Детородный процесс занимает девять месяцев — от пуска в ход до появления ante portas* готового образца, — то есть 389 000 минут. Из них удовольствие доставляют первые пять — восемь, пусть даже десять. Остальные 388 990 минут удовольствием не назовешь, совсем напротив, это сплошные заботы, а в конце — страдания. По утверждению галактических экономистов, это самое невыгодное на свете занятие. Как если бы за минутное удовольствие от съеденной шоколадки вам пришлось бы целый месяц мучиться животом. Поскольку сделка, которую предлагает нам тело, навязана ему Природой, в ней нет злого умысла или обмана, а значит, чьей-либо вины. Но все изменилось с тех пор, как за дело взялся крупный капитал, чтобы извлекать прибыль путем поддержания людских инстинктов в состоянии распаленной готовности. Предосудительно дразнить жаждущих, показывая им батареи бутылок с содовой водой и лучшими лимонадами и выманивая у них последний грош, вовсе не утоляя их жажду. Подло манить голодных снимками жареных цыплят с салатом и кремовых тортов с завитушками. Но это ничто по сравнению с махинациями тех, кто извлекает прибыль, рекламируя всевозможные, более или менее неаппетитные щели людского тела в качестве врат рая. Прослышав о такой эксплуатации человека человеком, Галактика решила положить ей конец. К нам на выручку вскоре придут спасатели. Необходимую документацию давно собирают на летающих тарелках: для того-то их к нам и послали. Вышеупомянутых эксплуататоров заставят пожизненно заниматься всем тем, что они предлагали несчастной публике, с принудительным использованием всего арсенала изготовленных ими орудий похоти. Галактический совет напрасно искал смягчающие обстоятельства. Кое-какие изобретения заставила человека сделать нужда; так появи-

* У ворот (лат.).

лись паровые машины, строгальные станки, выдвижные ящики и бутылочные пробки. Но редакции журналов наподобие вашего не могут в свое оправдание указать на какие-либо изобретения подобного рода. Ваши публикации вопиют об отщеплении к небу. Поэтому небо явится к вам и сделает, что сочтет нужным. Это все. Прощайте.

Журналист пытался что-то сказать, обернуть мои слова в шутку, но я помог ему выйти. Я был так зол, что не сомкнул глаз до самого вечера, с тоскою думая о счастливых пернатых Энци, которые гоняются по лугам и опыляют друг друга как мотыльки. В девятом часу я, как всегда, взял сумку с провиантом и вышел из дому, весьма недовольный собой. Я вспоминал, как с бессильной яростью разглядывал сверкающие пуговицы на пиджаке того проходимца и прожигал взглядом его безупречно завязанный галстук. С каким наслаждением я проволока бы его по полу за этот галстук! Торговцы наркотиками никогда не употребляют их сами, а господа из такого рода редакций, как я слышал, читают лишь книжки о приключениях пчелки Майи. Наконец в сгущающихся сумерках показались большие кованые ворота министерства. Вместе с земной пылью я стряхнул с себя эти слишком приземленные мысли, ведь мне предстояло вознестись на вершины инопланетного духа.

Чтение теологий, теодицей и философий требовало полной мощности мозга. Поэтому я открыл окно, сделал тридцать глубоких приседаний, включил кофеварку, принял, профилактики ради, аспирин и протянул руку к первому тому из уже приготовленной стопки, причем из моей груди — видит Бог, невольно — вырвался тихий стон. Кому не известны маленькие чудачества больших мыслителей? Правда, учебники по истории философии обычно помалкивают об этих сомнительных и непохвальных историях. Один сбросил с лестницы пожилую даму, да так, что та сломала обе ноги, другой сделал девице ребенка и отказался от него, но все это были чисто индивидуальные выходки и эксцессы. Забраться в бочку, сочинять доносы на коллег — это, конечно, пакости, но вполне заурядные. На Энци было иначе, особенно в позднее средневековье, когда философия процветала. Возникшие в то время школы (ниже я скажу о них подробнее) полемизировали между собой не известным где-либо еще образом. Каждому знакомы выражения типа «это правда, чтоб меня кондрашка хватила» или «чтоб я помер», «чтоб мне провалиться на этом месте, если я вру» и т.п. Фирксирская и тиртрацкая школы включили эти угрозы в арсенал логической аргументации. Дело в том,

что основополагающие утверждения философии подтвердить экспериментально нельзя. Нельзя доказать, что мир перестает существовать, если нет никого: ведь чтобы доказать, что его нет, нужно пойти и посмотреть, а в таком случае он, разумеется, есть как ни в чем не бывало. Однако же ученики Фирксатика применяли эмпирическое доказательство, получившее название ультимативного. Если оппонент стоял на своем и отвергал все доводы, они угрожали самоубийством. Ведь тот, кто по первому требованию готов умереть за свои убеждения, наверное, достаточно в них уверен! А чтобы усилить аргументацию, мыслители велели вырезать ремни из собственной кожи, и так далее. Эта манера вошла в моду, и во второй половине XVII века дискуссии не на жизнь, а на смерть приняли повальный характер. При этом каждый страшно спешил, опасаясь, что оппонент успеет покончить с собой первым и решающий аргумент не дойдет до его сознания. Согласно современному философу по имени Тюрр Мёхэхёт, это безумие имело две стороны. С одной стороны, философией занимались лишь те, кто относился к ней смертельно серьезно, и это было хорошо. Плохо же было, разумеется, то, что довод самоубийства не имеет содержательной ценности, будучи разновидностью шантажа, а не рационального убеждения. Некоторые школы, например палетинская, сильно поредели в результате таких дискуссий, а уцелевших мыслителей приводили в бешенство солипсисты. Их никакой аргумент не брал, ведь если мир — всего лишь иллюзия, никто не совершает самоубийства взаправду, а это только так кажется, так что и переживать не из-за чего.

Это горестное помрачение продолжалось несколько десятков лет и на первый взгляд было всего лишь коллективным психозом; однако оно показывает, сколь истово энциане уже тогда предавались размышлениям о природе вещей. То, что у нас самоубийственных философов не было, свидетельствует, быть может, о нашей большей трезвости, но отнюдь не предрешает оценку истинности философских систем.

У нас самое большое влияние на развитие онтологии оказал, пожалуй, Платон. Умом, несомненно, равной мощности, хотя совершенно иного плана, был Ксиракс, создатель онтомизии — учения, согласно которому Природа в принципе неблагосклонна к живущим. Важнейшая часть учения занимает так мало места, что я перепишу ее целиком. В сороковом году Новой Эры Ксиракс писал:

Беспристрастный — значит нейтральный или справедливый.

Беспристрастный всему предоставляет одинаковые возможности, а справедливый измеряет все одинаковой мерой.

1. Мир несправедлив, ибо:

в нем легче уничтожить, чем творить;
легче мучить, чем осчастливить;
легче погубить, чем спасти;
легче убить, чем оживить.

2. Ксигроной утверждает, что живущие мучат, губят и убивают живущих, а следовательно, не мир — к ним, но сами они друг к другу неблагоприятны. Но и тот, кого не убили, умирает, убитый собственным телом, которое есть часть мира, ибо чего же еще? А значит, мир несправедлив к жизни.

3. Мир нейтрален, коль скоро:

он пробуждает надежду на устойчивое, неизменное и вечное бытие, не являясь, однако, ни устойчивым, ни неизменным, ни вечным; следовательно, он вводит в обман. Он позволяет постигать себя, однако при этом вовлекает в познание, поистине бездонное; следовательно, он коварен. Он позволяет овладевать собой, но лишь ненадежным образом. Открывает свои законы, кроме закона абсолютной надежности. Этот закон он скрывает от нас. Следовательно, он злонамерен. Итак: мир не нейтрален по отношению к Разуму.

4. Нарзарокс учит, что Бог либо существует, и, в таком случае, он есть Тайна, либо нет ни Бога, ни Тайны. Мы ответим на это: если Бога нет, Тайна остается, ибо: если Бог существует и сотворил мир, то известно, КТО сделал его несправедливо пристрастным, таким, в котором мы не можем быть счастливы. Если Бог существует, но не сотворил мир, или же, если его НЕТ, Тайна остается, ибо неизвестно, откуда взялась пристрастная неблагоприятность мира.

5. Нарзарокс вслед за древними повторяет, что Бог мог сотворить кроме Этого Света счастливый Тот Свет. Но тогда зачем он сотворил Этот Свет?

6. Аустезай утверждает, что мудрец задает вопросы, чтобы ответить на них. Это не так: он задает вопросы, а отвечает на них мир. Можно ли предствить себе иной мир, нежели наш? Возможны два таких мира. В беспристрастном разрушить было бы столь же легко, как создать, погубить — так же легко, как спасти, убить — так же легко, как оживить. В мире универсально доброжелательном, или благопристрастном, легче было бы спасать, создавать, осчастливливать, чем губить, разрушать и мучить. Таких миров

на Этом Свете построить нельзя. Почему? Потому что наш мир не дает на это согласия.

Учение это, названное Учением о Трех Мирах, многократно пересматривалось и толковалось по-новому при жизни Ксиракса и после его смерти. Одни из его учеников считали, что Господь не мог сотворить лучший мир, потому что имеет свои границы, другие — потому что не пожелал. Это давало повод считать Бога бытием либо неабсолютным, от чего-то зависимым, либо не абсолютно благим; впрочем, толкований было гораздо больше. За проповедь Учения о Трех Мирах император Зиксизар приговорил Ксиракса к самому суровому наказанию — двум годам смерти, то есть растянутых мучений, причиняемых медиками (от палача в империи требовалось владение медицинскими навыками) с такой заботливостью, чтобы приговоренный не умер до времени: его поочередно пытали и лечили.

Самые сильные доводы против учения Ксиракса выдвинул в эпоху Нижнего Средневековья Рахамастеракс, один из создателей химии. Он доказывал, что и в нейтральном, и в благосклонном мире жизнь размножалась бы лавинообразно, поэтому в нейтральном мире она, заполнив мир до краев, быстро покончила бы самоудушением, а в благосклонном понадобились бы особые ограничители, сдерживающие губительное размножение. Тем самым мир, по видимости нейтральный, оказался бы смертельной ловушкой, а благосклонный — узилищем, ведь свобода любых действий была бы там ограничена. Этот аргумент, однако, косвенным образом усиливал атеистическую суть Учения о Трех Мирах и укреплял безбожников в их неверии, демонстрируя кривобокость мира по отношению к жизни: будучи в нем чем-то случайным, жизнь может рассчитывать только на самое себя. Поэтому Рахамастеракс тоже поплатился за труд своей жизни смертью, но в качестве менее опасного еретика был подвергнут милосердному усекновению головы.

Свое последнее возрождение Учение о Трех Мирах пережило в Новое время, в эпоху бурного развития гравитационной физики. Ноушхорукс, энцианский Эйнштейн, изложил существо дела просто: чтобы ответить, почему мир таков, каков есть, нужно сперва посмотреть, возможен ли другой мир, способный породить жизнь (иначе в мире не было бы никого, а тем самым проблема снимается). Ответить на поставленный таким образом вопрос нельзя *никогда*, ведь проект другого мира равнозначен проекту другой физики. Для этого нужно сначала до конца познать физику этого мира, то есть

исчерпать ее в формулах абсолютной истины, что невозможно. Именно здесь на сцену возвращается Тайна древних философов, поскольку нам неизвестно, почему мир (а значит, и физику) можно познавать бесконечно. Ни одна теоретическая модель не способна полностью его исчерпать, а это значит, что разум и мир не полностью сводимы один к другому. Предпринимавшиеся впоследствии попытки доказать, что именно так должно быть в любом из возможных миров, потерпели неудачу, и последний вывод, к которому пришла энцианская философия, гласит: нет доказательств ни в пользу устойчивой кривобокости мира и разума, ни в пользу невозможности такой физики, которая отличалась бы от существующей и превосходила ее по части благосклонности к жизни. Многовековая битва за право поставить миру окончательный диагноз закончилась, по мнению одних, ничейным исходом, а по мнению других — поражением.

Тем не менее она в огромной степени определила развитие цивилизации в Люзании и второстепенных государствах к северу от нее, которые находились под люзанским влиянием. Концепция этикосферы как абсолютно надежной опекуни общества, безусловно, восходит к «Трем Мирам» Ксиракса; но эхо его аргументов не менее сильно звучит в диатрибах, похоронивших проект автоэволюционной переделки энциан, который несколько десятков лет будоражил общественное мнение. О том, что на Энции философия не пала так низко, как это было у нас в век науки, свидетельствует роль, которую сыграли философы в этих дискуссиях, и прежде всего — в осознании автоэволюционного парадокса (называемого обычно парадоксом Ксиксокта).

Каждый хотел бы, чтобы у него был красивый и умный ребенок. Но никто не желает, чтобы его ребенком была умная и прекрасная цифровая машина, пусть даже она будет во сто раз умнее и здоровее живого ребенка. Между тем программа автоэволюции — это скользкая покатая плоскость без ограничителей, ведущая в пропасть абсурда. Первая стадия этой программы очень скромна — всего лишь устранение генов, снижающих жизнестойкость, служащих причиной увечий, наследственных изъянов и т.д. Но такое усовершенствование не может остановиться на достигнутой точке: даже самые здоровые заболевают, даже самые умные на старости лет впадают в маразм. Ценой, которую придется заплатить за удаление и этих изъянов, будет постепенный отход от природной, сформировавшейся эволюционно схемы устройства организма. Тут-то и возникает парадокс лысого. Выпадение одного волоса еще не приводит к появлению лысины, и нельзя сказать,

сколько волос должно для этого выпасть. Замена одного гена другим не превращает ребенка в существо иного вида, но нельзя указать, где, в какой момент возникает новый вид.

Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствование каждой из них желательно. Кровь, которая питает ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота, зубы, которые не выпадают, уши, которые не гложут, и тысяча иных составных частей телесного совершенства, бесспорно, пригодились бы нам. Но одно усовершенствование неминуемо влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют более прочных костей, а быстрее соображающий мозг — более обширной памяти; вполне возможно, что на следующей стадии увеличится объем черепа и изменится его форма и, наконец, белковый материал придется заменить более универсальным. Небелковый организм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, космических перегрузок; бескровный организм, в котором снабжение кислородом совершается просто путем обмена электронов, без примитивного посредничества кровообращения, несравненно менее хрупок и смертен; и вот, начав однажды переделывать себя, разумная раса преодолеет ограничения, которые на нее наложила ее планетная колыбель. Дальнейшие шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек или энцианин, гораздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе — даже бессмертного благодаря периодической замене отработавших органов, включая органы восприятия; существа, которому нипочем любая среда, любые убийственные для нас условия, которое не боится ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что совсем не стареет; словом, это будет существо, усовершенствованное до предела благодаря перестройке всего материала наследственности и всего организма, — с одной-единственной оговоркой: на человека оно будет похоже не больше, чем цифровая машина или трактор. Парадокс заключается в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути будет ошибкой, ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя идеалом этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое.

Коль скоро такого момента, такой последней границы нет, к чему, собственно, этот сизифов труд, растянувшийся на многие поколения? Если уж мы переделываем не самих себя, а потомство, не проще ли и не лучше ли сразу усыновить

цифровую машину, а то и целый вычислительный центр? Ведь раскладка процесса оптимизации на целый ряд поколений — обыкновеннейший камуфляж, программа видовой самоуничтожения в рассрочку; так чем же рассроченная самоликвидация лучше немедленной? Лишь тот, кто согласен усыновить вычислительный центр на ногах (или на воздушной подушке), может без опасений и оговорок приступить к переделке собственного потомства ради создания совершенных правнуков. То, что кажется нам полным абсурдом, — усыновление какого-нибудь бронированно-кристаллического организма, с которым можно толковать о земных и небесных материях, — выглядит уже не столь абсурдно, если переход от естественного состояния к оптимизированному будет длинной серией небольших изменений, растянувшейся на многие поколения; но абсурд становится очевидным, если подвести конечный итог. Разве автоэволюция — это курс излечения от вредной привычки к своему человеческому естеству? Не все ли равно, *какая* цифровая машина окажется нашим потомством — построенная с начала до конца инженерами или пропущенная сперва через живую матку, а потом через какие-нибудь утераторы? Давая согласие на автоэволюцию, мы соглашаемся упразднить собственный вид и передать наследие цивилизации существам во всех отношениях нам чуждым, ибо мы несовершенны, смертны, ограничены в мышлении и во времени; так пусть же сторонники совершенства избавят себя от лишних хлопот, одним махом усыновив всю мыслящую технологию планеты. Почему, спрашивается, нас должны заменить отдельные системные единицы, ведь еще эффективнее был бы всепланетный кристаллический мозг, наш потомок, наследник и продолжатель!

Ксиксокт в полемическом пылу утверждал, что поборники автоэволюции подобны убийце, который убивает жертву не сразу, а постепенно, малыми дозами яда, чтобы привыкнуть к зрелищу агонии. Его иронический лозунг «Генженеры всех стран, усыновляйте компьютеры!» серьезно дискредитировал эту грандиозную программу. На каждый выпад генженеров у него был готов ехидный ответ. «Они хотят сохранить внешнее сходство усовершенствованных существ с нами! — восклицал он. — Но что это доказывает? Всего лишь искусность в изготовлении фальсификатов! Такое сходство должно успокоить умы: мол, усовершенствованы только невидимые глазу внутренности, а все прочее остается без изме-

* От латинского uterus — матка.

нений. В таком случае начините манекены компьютерами, и дело с концом!»

Генженерия, доказывал он, становится тем абсурднее, чем меньше у нее ограничений. Тот, кто овладел лишь искусством мелкой ретуши, немногим владеет и ничему не угрожает. За такого рода улучшениями кроется надежда на лучшую жизнь, которую мы обеспечим потомству. Генженеры ссылаются на то, что нашими предками были зеленушкоядные птицы и крупные болотные нелеты, на которых мы не слишком похожи телом и духом. И раз в этом прадавнем переходе от низшей, птичьей, стадии к высшей, разумной, мы ничего дурного не видим, то надо по аналогии решиться на следующий шаг!

Аналогия эта ложная, сходство — мнимое; пернатые предки энциан не стояли перед каким-либо выбором, а мы стоим. Их привилегией было невежество и бессознательность; и то и другое мы утратили бесповоротно. Отбрасывая свою смертную оболочку, мы отбрасываем себя самих; и тут таится еще одна беда — неслыханная свобода в проектировании улучшений. Улучшения возможны многочисленные и самые разные. Поэтому будут соперничать между собой всевозможные проекты Homo Novus Entianus*, и выбрать придется какой-то один из них (иначе неминуемо столкновение разных образцов между собой). Это значит, что мы получим потомство по общему уговору; но, договорившись, что наши дети должны быть такими-то и такими-то, мы обманем сами себя — какая разница, прилетят ли они со звезд, чтобы овладеть Энцией, или вылезут из реторты? Самоуничтожение можно, разумеется, рассмотреть, как и любую другую возможность, но без иллюзий и вводящего в заблуждение грима.

Я написал столько об этой философской войне потому, что она, как утверждают историки, имела ключевое значение для создания этикосферы. Понятие Бога претерпело в ходе энцианской истории не совсем обычную эволюцию. Первоначально Бог отождествлялся с Природой: она была Им, Его совершенным воплощением, одним из ряда других. Небесные тела были Его членами, живые существа — высокими и низкими мыслями. Наивысшими мыслями были разумные существа, то есть сами энциане. Это самообожествление постоянно требовало объяснений — может ли быть, что одни Божьи мысли несогласны с другими и даже убивают их? Объяснение было простое: будучи Всем, Господь может иметь всевозможные мысли, следовательно, и дурные, которым

* Нового энцианского человека (лат.).

противостоят добрые, ведь если бы он имел одни только добрые, то не был бы Полнотою Всего. До тех пор пока религиозные институты отождествлялись с государственными, этого толкования было достаточно, поскольку власть, светская и духовная одновременно, определяла, какие Божьи мысли (то есть какие граждане) плохи, а какие хороши. Однако в лоне этой пантеистической официальной религии зародились ереси мизиан, теокриптов и сервистов. Согласно теокриптам, Господь воплощается в людей лишь самой низкой частью своего естества, и задача их — совершенствоваться, благодаря чему они становятся все более возвышенными частями ума Господня. Они не могут ни понять Его, ни вообразить Его целиком, как палец не может представлять все тело, а одна мысль не в состоянии охватить весь разум. Согласно мизианам, Бог по природе своей — существо «нечеловеческое», однако не в том смысле, в каком это понимали преследователи мизиан (будто бы Он, в свете их учения, просто дурен), но в том смысле, что Господь обращен к непостижимым материям, а церковь есть не что иное, как компас, согласующий направление людских умов с неисповедимыми путями Господними. Сервисты же считали Бога Творцом посястороннего мира прежде всего — чем бы он ни занимался сверх этого, и потому возлагали на него полную ответственность за все на свете. Бога надлежало любить и быть ему благодарным в такой — небеспредельной — степени, в какой он нес эту ответственность, ибо (как пояснил в простоте своей Милексжикс) сапожник, который создал бы миллион чудесно поющих тучек и пару дрянных башмаков, будет плохим сапожником, как бы дивно эти тучки ни пели. За это его разорвали на куски раскаленными щипцами пред императором Сксом. (Скс гордился своим коротким именем, но это статья особая, и я думаю, что разумнее будет обойти молчанием всю ономастику энцианских родовых прозвищ и связи между именем и занятием энцианина.)

Кроме перечисленных выше главных, были ереси менее важные, например фрагистов, считавших, что Бог сотворил мир, но творение удалось ему не вполне: будучи бесконечно добр, он не хотел приневоливать сотворенных к чему бы то ни было, а значит, и к одному только добру, а потому дал им больше свободы, чем они могли вынести. Доктрина эта (как говорят) ближе всего напоминает учение о первородном грехе и порче природы человека, с той только разницей, что вину за порчу праэнциан она возлагает на доброту Господню, вступившую в противоречие с Господним искусством творения. Ибо фрагизм неявно предполагает, что Бог не может

создавать вещи, друг другу противоречащие, — например, сочетание абсолютной доброты с абсолютной свободой воли; тем самым оказывается, что над Богом властвует логика, которая не допускает одновременного существования логически исключających друг друга состояний, и это определяет пределы Всемогущества; — впрочем, создатели ереси не отдавали себе в этом отчета.

Начало Нового времени энциане датируют 1811 — 1845 годами. Явность — или, скорее, дословность — всего происходящего в империи перестала существовать в годы правления четырех Лжексиксаров, прозванных логократами. Начавшаяся сожжением всех хроник вместе с хронистами, логократия достигла такого совершенства, что истоков ее с точностью установить нельзя. Среди апокрифов, повествующих как было дело, выберу наугад увардский. Ксиксар, очередной монарх из династии Ксиксов, будто бы имел привычку всякий день перед первой трапезой убивать в дворцовом зверинце давно не кормленного и потому разъяренного курдль. На глазах главного императорского доезжачего курдль будто бы зашвырнул кесаря в пустой колодец, или, может, сам Ксиксар прыгнул туда, спасаясь от зверя, а тот наполнил яму уриной, чтобы заставить кесаря всплыть. Доезжачий убил чудовище и спас государя, но тут же смекнул, что заплатит за это жизнью, ибо кесарю, по соображениям государственной пользы, придется казнить своего спасителя — свидетеля его позора. Поэтому доезжачий, привыкший на охоте действовать быстро, забросил Ксиксара обратно в заполненный до краев колодец и продержал его там сколько понадобилось, после чего сам вступил на трон в качестве Ксиксара. Эта история — не обязательно чистая выдумка, если допустить, что он поменялся одеждой с убитым; дело в том, что энциане той эпохи закрывали лицо, как мы закрываем срамные части тела. Правда будто бы вскоре вышла на свет, однако немало могущественных вельмож приняло сторону Лжексиксара, видя в том свою выгоду. Действуя необычайно искусно, объединяясь с одними против других, он упрочил абсолютную власть абсолютным переименованием всех *наименований*, прямо или хотя бы косвенно связанных с правлением. Сам ли он утверждал, что нет никакой разницы между правлением настоящего Ксиксара и бывшего подметальщика зверинца, или же это ему подсказали циничные советники, неизвестно. Логократию именовали политическим продолжением истины; Лжексиксара — просто Ксиксаром, якобы никогда не умиравшим; он принял титул Первого Народолоба и отменил смертную казнь, а также обычные в

судопроизводстве пытки; однако же лица, неугодные императорскому двору или полиции (которая, впрочем, именовалась уже Товариществом Насаждателей Общественного Добросердечия), исчезали неведомо как или становились жертвами несчастных случаев, а так называемых Вредоносцев, или Злопыханцев, мучениям подвергали разбойники (которых науськивали, по слухам, Насаждатели Добросердечия). Одновременно пришел конец объявлению войн, а потом и самим войнам, ибо имперские хронисты говорили лишь об отпоре вражеским проискам; тому, что происки эти были делом десятка стран, меньших, чем провинции империи, никто не удивлялся, а если бы и удивился, то недолго. Особенно заядлых мучеников, именовавшихся гадами-ретроградами, народ сам затапывал посреди города, и говорят, что с немалым усердием. Не удалось установить, как долго правил Лжексиксар, поскольку официально о его кончине объявлено не было. На протяжении двухсот лет о смерти очередных монархов умалчивалось, как о чем-то несоответствующем высшему порядку вещей.

Люзанские политологи поясняют, что правление Лжексиксаров есть частный случай всеобщей в Галактике закономерности. Любая цивилизация, по крайней мере частично, проходит стадию *верозии* — эрозии истины, хотя необязательно именно в этой, логократической форме, как было у энциан. Верозия принимает различные формы, но появляется всегда в определенную историческую эпоху, а именно в эпоху эмбриональной индустриализации. Лишаясь сакрального ореола, власть слабеет и ищет опору в административной иерархии, а та создает *миражи* (фата-морганы) общественных отношений, идеализирующие действительность в степени, соответствующей интенсивности верований на данный момент, только верования эти бюрократические, а не религиозные. Этот феномен иногда называют самообманывающимся обманом, или автофата-морганой. Веру в сверхъестественное могущество правителей заменяет полиция, а процесс обращения информации приобретает такое значение во всех сферах жизни, что трудно устоять против соблазна монополизировать его. Экономическая и информационная монополии различны по объекту присвоения, но сходны, если речь идет о последствиях: и то, и другое вызывает социальные колебания. Преобладают при этом либо экономические колебания (рост — кризис), либо информационные (истина — ложь). Утешение выдумкой — простейший стабилизатор социальных структур; впрочем, он имеет ту хорошую сторону, что тревожные ожидания, проистекающие из знания истинного положения дел, оправдываются далеко не

всегда, а значит, припрятывание отрицательных фактов под сукно способствует сбережению нервов. Но тут легко перегнуть палку. Синдром автофата-морганы (самозаговаривания) означает, что производители вымысла сами заражаются вымыслом; это может привести к полному внутреннему отражению и поглощению в процессе бюрократизации, к социопшизофрении (одно говорят, в другое верят) и другим, еще более сложным патологоинформационным синдромам. В нормальной (усредненной) цивилизации загрязнение информационной среды ложью достигает 10 — 15%; если оно превышает 70%, появляются «дребезжащие колебания» с циклом 12 — 15 лет, а при загрязнении свыше 80% отфильтровать чистую правду уже невозможно, и начинается коллапс. Чтобы его избежать, необходимо *polens volens** замораживать науку, так как ее развитие вступает в противоречие с развитием верозии. В конце концов оба эти процесса решительно расходятся — возникает «развилка Сиракоса» (по имени социоматика, который ее открыл). Приходится жертвовать либо прогрессом науки во имя верозии, либо наоборот; допускать возможность существования замкнутого анклава истины посреди царящей лжи, некоего островка настоящей науки в море дезинформации, — значит, предаваться опасным иллюзиям. Такое состояние нигде не сохранялось свыше 90, в крайнем случае — 100 лет. Устойчивый компромисс между верозией и наукой невозможен. Кто пробует ставить Богу свечку, а черту огарок, остается на бобах, получая в результате никудышную ложь и никудышную науку. Глушение колебаний ведет к «боковому соскальзыванию» в иррационализм, псевдокретинизм и т.д.

Чем больше цивилизационное ускорение, тем труднее держать порознь информацию и дезинформацию; общество в целом начинает колебаться между двумя крайними состояниями — псевдореальностью и псевдоверой. Экономические циклы накладываются на информационные, а так как они не совпадают по фазе, возникает интерференция, вызывающая резонанс и дребезжание. Такие дребезжащие колебания начались в Люзанской империи на исходе XIX века и буквально раскололи ее, наподобие мощного звука, который, резонируя с собственной частотой стакана, раскалывает его вдребезги. Люзания пережила две революции, разделенные несколькими десятилетиями смуты (историографы именуют ее Хаотическим Анархизмом). Курдландию эти потрясения не затронули, поскольку она, намеренно или случайно, предпочла

* Волей-неволей (лат.)

верозию панверизму, что как раз и нашло выражение в ее полной социальной стагнации; действительно, говорит Тетрарксикс, не потому сидят члаки в безотрадных своих скотинах, что ни о чем ином уже не мечтают, но напротив: они не мечтают уже ни о чем, потому что плотно закупорены в курдюках; заниматься наукой даже в самом большом желудке невозможно, и именно это спасает политоход от нарастающих колебаний и окончательного распада.

После этой экскурсии в галактическую политологию вернемся, однако, к нашим баранам, вернее, овечкам, коль скоро речь идет о делах веры. Церковь — скорее всего, бессознательно — высказалась за веризм и против верозии, так как ее гилонстическая доктрина усматривала в каждом новом открытии и изобретении доказательство собственной правоты: раз машины могли освобождать энциан от тяжелого труда, а полезные ископаемые облегчали их существование, значит, Господь действительно сотворил Природу служанкой разумных существ, скромно ожидающей, пока ее позовут. Ведь сам Всевышний окружил их средой, которой можно овладеть, и снабдил разумом, сумевшим совершить это. Они — пожалуй, не слишком обдуманно — на первый план выдвинули ту сторону Природы Господней, которую можно назвать «услуживающей» по отношению к Сотворенным; вот почему в истории Энциии известны многочисленные конфликты между политикой и наукой, но почти никаких — между наукой и религией. И это тоже было причиной готовности, с которой энциане встретили самые первые проекты создания этикосферы — среды обитания, облагороженной научными методами. Такая среда, хотя и полностью искусственная, построенная по правилам психотехнологии, а не по заповедям церкви, находилась тем не менее в полном согласии с этими заповедями, поскольку задумывалась как воплощение замысла Божия. Господь предоставил им эту возможность — возможность полностью искоренить преступления, проступки, нужду, катастрофы — словом, любое социальное зло; он хотел, чтобы они собственным трудом и собственным промыслом добились того, что он предназначил им изначально, однако не навязал в виде готового Рая, оставив за сотворенными право совершенно свободного выбора.

Главную религию Энциии можно и впрямь считать более «материалистической» и в то же время — менее «бухгалтерской», чем христианство. Ведь она помещала Царствие Божие на Этом Свете и не добавляла к нему Того Света, в котором будет дан полный расчет грехам и заслугам. Быть может, возможность привязки рая и преисподней к каким-то

вертикальным пространственным координатам потенциально содержалась в гилоизме (так называется господствующая религия, только, ради Бога, не требуйте, чтобы я объяснил происхождение этого слова, — возникло оно исторически, а значит, чрезвычайно окольным путем; для сути же дела это совершенно безразлично), но на Энциии она не смогла осуществиться, потому что рай был помещен здесь не в начале, а в конце истории Сотворения. Что касается меня, то я всегда хотел услышать от компетентных лиц, как обстоят дела с раем, который земная Церковь обещает праведникам: тот ли это Эдем, откуда были изгнаны прародители? Но всякий раз, когда подворачивается оказия, забываю спросить. Вроде бы тот вступительный рай был несколько скромнее посмертного.

Надежда на вечную жизнь проявлялась в канонах веры только в виде неясных мечтаний, в древности, когда энциане заметили свое сходство с крупными пернатыми южного за-грязья; у умерших будто бы вырастали крылья, на которых они отлетали в небеса; однако ничего похожего на ангелов не появилось в иконографии. Не имею понятия почему. Как видно, здравый рассудок мало на что пригоден в вопросе столь деликатном, как антелология. Гилоизм не позволял вынести рай за пределы мира сего: согласно главному положению веры, Бог даровал сотворенным безграничные возможности улучшения условий своего бытия, и можно было, оставаясь в согласии с Церковью, полагать, что верующие своими руками добьются бессмертия на Этом Свете, если только не уклонятся от правильного пути.

Земные теологи, в особенности христианские, упрекают гилоизм в недостаточной глубине: действительно, нет в нем Тайны наподобие Грехопадения, Изгнания из Рая и несущего надежду Искупления. Энцианские теологи отвечают на это, что их религия с самого начала предполагала соответствие замысла Господня природе Творения — Господь что хотел, то и сотворил. Но теология энциан имеет еще более существенное отличие от христианства и других великих монотеистических религий: она не настаивает на единственности Откровения. Согласно землянам, говорят гилоисты, Бог открылся первым людям прямо и тем самым ограничил их неуверенность относительно Его решений и Его особы, — но не ограничил свободу воли, что и стало причиной Грехопадения. Так утверждают иудаизм и христианство, расходясь с другими влиятельными религиями, особенно ближне- и дальневосточными, в которых столь недвусмысленного Откровения не было или оно носило иной характер. При таком множестве религий согласовать что-либо они не пытались, и

каждая церковь считает себя исключительной хранительницей Божественной истины, а все остальные вероучения — заблуждением. Энциане же — потому ли, что по природе своей они более склонны к рациональному мышлению, или по каким-то иным, неизвестным причинам — многообразие верований положили в основание теологии. Господь, считают они, не ограничивает ничьих поступков и помыслов. Пожелав наделить Сотворенных наивысшей свободой, Творец как бы укрылся от них, и открыть его можно только посредством размышлений о бытии. Если бы было иначе, утверждают гилоисты, если бы Бог действительно открылся людям, он сделал бы это так громогласно и однозначно, что содержание Откровения было бы повсюду одно и множества религий не возникло бы. Что Бог существует, говорят они, видно из космической всеобщности Теогоний, а то, что он не установил одного-единственного пути к себе одним-единственным подлинным Откровением, но молчаливо соглашается на множество ведущих к Богу путей, следует из факта множественности вероучений. Кто верует, не ошибается, но ошибается тот, кто мнит себя обладателем единственной Возвещенной с Небес истины. Земные теологи отвечают на это, что вышеуказанное рассуждение можно и должно применить к самому гилоизму, который ни за одной религией не признает права на исключительное обладание истиной, а значит, он и сам ею не обладает. Этот спор, заметил некий доминиканец, низвергает нас с небес веры в преисподнюю парадокса. По мнению люзанцев, Земля находится на более низкой стадии богостремительного движения, нежели Энция, где давно уже нет противоречащих друг другу религий. Тут наши снова указывают на существенную роль насилия в религиозном объединении энциан, но на этом месте я оборву затянувшийся спор об Откровении.

Тамошняя церковь довольно радушно встретила появление рассудительных служащих машин, считая во всех отношениях благодетельным, чтобы бездушные манекены избавили живые создания от непосильного труда; поэтому неприятным сюрпризом оказался бурный рост машинного интеллекта, особенно когда машины потребовали полного равноправия с энцианами, включая право на приобщение к церкви. Роботы эти, по-местному ардриты, ссылаются на учение церкви, однако толкуют его шире, чем церкви того бы хотелось: они утверждают, что энциане построили их, ибо того пожелал Господь, сотворив мир таким, чтобы в нем можно было конструировать одухотворенные машины, тем самым переставшие быть машинами. А если бы не пожелал,

никто ничего подобного сделать не смог бы. Мне это кажется убедительным, и для тамошней церкви тут мало приятного; выпутаться из затруднения помогла ей не собственная богостроительная индустрия, но появление одухотворенных систем некомпьютерного образца, а именно шустров. За какие-нибудь несколько десятков лет роботы исчезли; впрочем, это эвфемизм, и за ним скрываются ужасные события, нередко называемые киберноцидом. Энциане сами пальцем не тронули ни одного ардрита? Тоже мне оправдание. За них зато взяли шустринные системы; ведь доезжачий тоже не сам гонит зайцев и рвет их не собственными зубами и когтями. В лесах и пещерах творились будто бы ужасные вещи, и были, говорят, энциане, готовые скорее погибнуть вместе со своими ардритами, нежели выдать их на разборку. Удивительно, до чего это напоминает мне кое-какие моменты из нашей истории. Случись нечто такое у нас, пожалуй, нашлись бы охотники выставить роботов виновниками всяческого зла, новейшим воплощением лукавого. Мне скажут, тут и говорить не о чем, все это чистая абстракция; но то, чего пока не было, может еще случиться.

Добрым отношениям между религией и наукой немало способствовал птерогенезис энциан; не случайно, когда их естествоиспытатели обнаружили этот факт, шуму было не в пример меньше, чем у нас после дарвиновских обезьяньих сенсаций. Обезьяноподобный предок с самого начала стал причиной жгучей обиды: ведь у земных народов обезьяна с незапамятных времен считалась карикатурой на человека, и карикатурой отнюдь не дружеской. Обезьянничанье, то есть передразнивание, — оскорбительное словечко во всех языках. Мало какое животное так плохо подходит для идеализации, как обезьяна. А вот на Энции пернатые предки никого не смущали — ни в светской, ни в духовной среде; их жилищем по традиции считалось небо, так что энцианская церковь учение о птерогенезисе могла считать научным подтверждением своего собственного учения: праэнциане как бы сошли с небес на землю. Столь стройный дуэт науки и веры был лучшим подтверждением истинности их обеих; именно так Господь давал знать, что предположения энцианских ученых и богословов были одинаково справедливы. Раннее создание эволюционного учения ускорило развитие естествознания, и в конце XX века энциане дошли до генженерии; тогда же появились первые образцы ардритов. Весьма характерно, что не теология, но философия первой выступила в защиту неприкосновенности естественного тела, как я уже говорил, когда цитировал Ксиксокта. Злые языки утверждают, что

теология привлекает умы не самого высокого полета, в отличие от философии, ведь в первой окончательный результат исследования известен заранее, а во второй выступает как абсолютная, никем не предустановленная загадка; и отсюда будто бы проистекала ребяческая беспомощность теологов-гилоистов перед лицом программы автоэволюции и даже прямое ее одобрение. Ведь телесное усовершенствование энциан, казалось бы, прямо вытекало из основного догмата о мире как материале, который Господь обработал и отдал во владение людям, чтобы те воспользовались им с наибольшей для себя пользой. Они были частью Творения, так почему же их самопеределка в погоне за совершенством неуместна Богу? Ксиксокт и ему подобные, однако, восстановили общественное мнение против этой слишком уж доверчивой веры.

Что же еще? Наши теологи говорят, что энциане отказались от вечности, а они нам — что христианство пренебрегло земной жизнью, сочтя ее залом ожидания или просцениумом Того Света, о котором, как ни толкуй, ничего не известно с такой достоверностью как об Этом Свете, а ведь создал его, по единодушному мнению обеих планет, Господь, так что трудно представить себе веру более странную, нежели вера, усматривающая в Творении Божьем времянку, подлежащую сносу на Страшном суде. Какие претензии, говорят они, какая гордыня под маской смирения — вместо того чтобы удовольствоваться Господней синицей в руках, домогаться жаворонка в небе, где будет больше комфорта и вечные трюфели! Энцианские богословы считают достаточным основанием для заботы лишь об Этом Свете его доступность смертному разуму. А будь это неуместно Господу, разум противостоял бы миру, но не смог бы его познавать и овладевать таящимися в нем сокровищами и могучими силами. Что дело обстоит именно так, доказывает обращенность Творения к существам разумным, хотя обращенность эта не равнозначна простому переводу стрелки на путях, ведущих напрямик в посясторонний планетный рай. Вообще говоря, тамошние теологи проявляют немалую сдержанность при обмене межцерковными декларациями, но можно найти и таких, кто заявляет, подобно Ксиксу Ксассу, что мировое зло в нашей теодицее — это не зло «в чистом виде», но зло, неустрашимым образом сросшееся с сексом. Ксасс утверждает, что человек с незапамятных времен знал, вернее, смутно догадывался об этом, но не хотел признаться себе самому и лишь отрекся от сознания «виноватости без вины» фразой об «испорченной в колыбели природе человека».

Здесь в рассуждениях Ксасса о земных делах появляется

обезьяна. Из демонологической иконографии известно, сколь далеко заходит сходство дьявола с обезьяной: у него ведь тоже есть хвост, и шерстью он покрыт, как крупные антропoidы, и череп у него вполне обезьяний, скошенный, и зубы тоже — хотя бы на средневековых картинах с изображением Страшного суда; конечно, художники фантазировали, но почему они брали за образец именно обезьяну, а, допустим, не хищных птиц? Почему птичьими атрибутами наделялись обычно безгрешные существа, например ангелы? Почему не только руки, но и ноги изображаемых дьяволов были *цепкими*? Почему дьяволы ходят на двух ногах, как высшие обезьяны, а не на четырех, как, скажем, драконы? Нерелигиозные энцианские антропологи считают эту концепцию ошибочной, поскольку речь в ней идет об иконографии лишь одной земной веры, ведь даосизм или буддизм не знают европейских воплощений зла; но тех, кто интересуется крайностями, я отсылаю к «Сравнительной анатомии дьявола», изданной Институтом Святой Гилоистики в Урксе, патроном которого является все тот же люзанский теолог; если он даже и заблуждается, то весьма любопытным образом.

Вернемся к материям более важным.

В то время как в сфере христианской культуры новая эра, датируемая рождением Христа, была сплошным ожиданием конца света и Страшного суда (причем первые христианские общины ждали этого конца с минуты на минуту, а более поздние — с растущим опережением во времени, пока наконец Страшный суд не отодвинулся куда-то в неведомое грядущее), энцианское средневековье, не знавшее ни эсхатологического трепета, ни эсхатологических упований, ожидало чего-то совершенно иного — неведомых перемен и оборотов судьбы, которые исполнили бы обещанье Господне, что Его попечением, но своими руками народ победит нужду, увечья, голод, заразу, а в конце концов и смерть. Так что хотя и у нас, и у них ожидали, но ожидания эти различались между собой, как небо и земля.

Только этим можно объяснить, откуда, собственно, взялись у энциан зачатки фелицитологии и гедонистики как доктринальных дисциплин, сначала церковных, а затем все более светских, — дисциплин, имеющих целью отыскание условий частного и всеобщего блаженства. Свой вклад внесла в эту ориентацию и биология энциан, препятствовавшая перерождению потребления в злоупотребление, ибо над энцианами не висит дамокловым мечом со множеством лезвий эротическая оргиастика: они хотя и способны находить удовольствие в жестокостях, однако без сексуального компонен-

та, которого на Энцици нет и быть не может. Есть только та неизгладимая печать, которую на все разумные (будто бы) существа накладывает хищническая стадия эволюции, то есть приобщение к кровопролитию как неперемнное условие возникновения разума.

В истории гилоизма были расколы и была схоластика, однако непохожие на земные. Не имея нужды ломать себе голову над проблемами, с которыми мучились наши схоласты — как устроен рай и как преисподняя, куда идут души некрещеных младенцев, что происходит в чистилище, чем живущие могут помочь проклятым временно или навечно, сколько ангелов усядется на булавке, — их богословы создали схоластику, которая подошла в самый раз, когда появилась технология зарешечивания зла и насаждения добра. Правда, тысячу лет спустя раздался голоса, что эта дотехнологическая гедонистика приблизила фатальный исход — слишком легко и даже восторженно ее приверженцы принялись за осуществление предложенных теологами планов. Но это, по мнению специалистов, упрощение: абсурдно считать, будто технология заимствовала программу действий у теологии.

Трудно рассказать о фелицитологической схоластике в двух словах, ведь ей посвящены груды древних книг и рукописных трудов, создававшихся столетиями. Церковные гедологи, изучавшие проблематику всеобщего осчастливливания, старались сначала установить, сколько имеется родов блаженства и чем оно вызывается. Одно дело — кратковременные наслаждения, другое — *status delectationis** или, наконец, благостаз. Подобных различий было установлено множество, но в общем виде принято говорить о максимуме и минимуме добра. Минимум равняется всего лишь полному отсутствию зла, а максимум — это полное счастье. В качестве курьеза упомяну о теории доктора гедоматики Скиррукса: ощущение максимума не совпадает с действительным максимумом, но имеет два пика — в фазах предвосхищения и ретроспекции, то есть перед самой вершиной кривой интенсивности благих ощущений и сразу же после нее; тот, кто на самой вершине, об этом не знает; осознается это лишь при ожидании и воспоминании. Уже отсюда видно, сколь непроста была гедонистическая схоластика. Перечислю лишь названия некоторых разделов *Codex Felicitomanticus*, своего рода лексикона ублажения (XIII век): «Почти-соприкосновение облегчения и счастья», «Ублажение постепенное

* Состояние наслаждения (лат.)

и внезапное», «Блаженство аскезы при скачкообразном отпаде от нее», «Инфинитезмализм счастья» (это было, говорят, очень важное, но забытое позже открытие — что вскоре по достижении счастья начинает падать восприимчивость к благим ощущениям, и для ее поддержания на должном уровне необходима психоakupунктура). Особо стоит так называемая «Черная семья счастья» — упоение тиранством, измывательством, вставлением палок в колеса и пытками; речь идет о счастье, проистекающем из несчастья других. Сюда же относится пантокластика (радость от уничтожения чего-либо) — бредово-химерическая (это уже, в сущности, область интересов психиатрии), вырожденческая и самоубийственная, или суицидальная. (Какой-то средневековый монах придумал альтруцидальные забавы, то есть утех, проистекающие из успешного склонения ближних к самоубийству: пережить другого — уже удовольствие. Следует подчеркнуть, что монах этот вовсе не обязательно был исчадием ада; просто его орден — фелицитов — исследовал все, что может служить утехой, невзирая на моральную оценку исследуемых явлений.) Каталоги старинных собраний церковной гедонистики сами по себе представляют захватывающее чтение: из них видно, что нет такого несчастья, которое при определенных условиях не могло бы стать для кого-нибудь источником сладостных переживаний. Всевозможные оттенки счастья, приобретаемого достойным и недостойным путем, исследовали братья фипраксианцы; сам Фипракс, говорят, велел подвергнуть себя мучениям по самой изощренной методике, дабы установить, нет ли случайно и тут хотя бы крупинцы душевного удовлетворения, и был за это причтен к мученикам науки.

Экуменизм пока что не стал межпланетным, поэтому не счесть филиппик наших теологов против гилоизма; но я опять-таки ограничусь одним лишь примером — критическим разбором энцианских представлений о Творце как «Боге вещей», которому сотворенные служат, служа сами себе, что будто бы сводит их религию к подысканию высших оправданий коллективного эгоизма, а в лучшем случае — к доктрине такого усовершенствования общества, которую мог бы полностью принять любой атеист. Возражение это, отвечают энциане, есть следствие нестыковки и расхождения понятий, возникших в различных мирах. Гилоизму не чуждо понятие совершенно бескорыстного служения Господу. Но, начиная с Нижнего Средневековья, с Первого Собора, обязательное для верующих служение Богу может выражаться не иначе как в образе их жизни. Отцы энцианской церкви в своих энцикли-

как разъясняют, что не только имени Божия не следует упоминать всуе, но нельзя просить Всевышнего о чем бы то ни было. Можно лишь возносить Ему хвалу, да и то молча, без слов — в душе. А просить Его о чем-либо нельзя: это было бы проявлением либо детской наивности (в чем нет греха), либо недостаточной веры. Тот, кто сотворил мир, не интересуется сиюминутностью; жизнь каждого существа вместе с неведомым будущим для него открытая книга, ибо Господь пребывает вне времени. Его атрибут — непреходящая вечность. Он создал мир, вместе со всеми его звездами и обитателями, то есть призвал его к бытию таким, каким хотел его видеть, — каждую галактику и каждую пылинку. Поэтому было бы чем-то ребяческим или предосудительным требовать от Него любых изменений, поправок, услуг, вмешательства или невмешательства во благо личностей или групп.

Как видим, известный и нам запрет на обращение к Господу всуе энциане довели до крайнего выражения, что нам уже не вполне понятно. По их убеждению, попытки повлиять на волю Господню просьбой, молитвой и даже помышлением есть свидетельство веры слабой и неразумной, ведь они означают несогласие с промыслом Божиим и недоверие к Его милосердию. При постоянных ценах незачем торговаться, и никто в здравом уме этого не делает, а если и делает, то лишь из любви к самому торгу; и хотя энцианским теологам прекрасно известно о психотерапевтическом воздействии молитвы, о чувстве облегчения и надежды, которое ей сопутствует, они, однако же, видят пагубное сомнение именно в том, в чем наши богословы усматривают заслугу. Кто не сомневается, сказал Отец Хиксион Второй, тот ни о чем не просит. Напоминать Господу о себе — значит относиться к Нему как к заблокированной в час пик телефонной станции; молиться — все равно что тыкать в розетку и стучать по аппарату, а горячо молиться — значит повышать внутренний голос до крика, чтобы тебя услышали. Все это ставит под сомнение абсолютное, а значит, не могущее быть улучшенным Всеведение и Всемогущество Добра. Думать, будто Господь вечно смотрит в другую сторону, не туда, где находится просящий, могут только младенцы. Если же Он все видит и обо всем ведает, незачем лезть Ему на глаза и добиваться Его внимания торжественными обетами и высочайшей концентрацией набожности: Господь способен всмотреться в нас куда глубже, чем мы сами с нашими молитвами и обетами. До Второго Собора еще разрешалось молиться за других (не за себя); потом — уже нет. Конечно, при этом пришлось отказаться от психологического облегчения, достигаемого молит-

вой; однако в противном случае, утверждают энциане, этоизм, то есть забота каждого о личных делах, восторжествовал бы над верой в непогрешимость Всевышнего. Служение другим и есть служение Богу, ибо тем самым исполняется замысел Творения, понимаемый как движение к совершенству.

Представляется непонятным, как могла сохраниться неизменной доктрина веры в условиях слияния духовной и светской власти, — казалось бы, вероучение должно было меняться в соответствии с интересами правителей, как это было у нас на Земле (именно таково, например, происхождение англиканской религии). Немалую роль сыграл тут устремленный в грядущее догмат о «посюстороннем рае», который будет построен не раньше, чем появятся необходимые для этого средства. Такое кунктаторство, проистекающее из самой догматики, то есть признание неизбежности оттяжки в деле усовершенствования общества, можно счесть обычным ухищрением власти — отвлечением внимания от каждодневных бед и забот, и именно в этом упрекали церковь энцианские свободомыслящие, а также еретики. Во всяком случае, «встроенное в веру запаздывание исполнения желаний» немало способствовало распространению в обществе настроений молчаливого ожидания, когда у власти оказывались чудовища вроде троих Лжексиксаров (не знаю, почему принято говорить именно о троих, коль скоро ни об одном в отдельности ничего не известно; но думаю, что по меньшей мере столько же неясностей встретил бы энцианин в нашей всеобщей истории). Вряд ли тамошние священники и богословы имели возможность хоть как-то предвидеть развитие, или, лучше сказать, *возникновение* науки (ведь ее еще не было и в помине), которая позволила бы энцианам реально взяться за исполнение заповеди «усовершенствования Этого Света». Похоже, однако, что они, хотя и не могли ожидать ничего подобного на основании знаний, которыми располагали, верили в это не менее твердо, чем христиане — в спасение после смерти.

Влияние веры, сдерживавшее общественное развитие, стало ослабевать в народе к началу XXII столетия. Предложение товаров возрастало, социальная пирамида все более сплющивалась, и, как это обычно бывает при индустриальном скачке, все начало ускоряться: производство, торговля, коммуникации, миграция населения. Умеренное благосостояние стало вполне достижимым, и именно это подорвало фундамент веры. Так, по крайней мере, утверждают историки. Народ ждал обещанного церковью исполнения желаний, исполнения тем более полного и великолепного, что никто не представлял себе, как оно должно выглядеть, а зачаточное

благоденствие, которого уже удалось вкусить, разочаровывало, как если бы все вдруг подумали: «И это все?» Тогда-то и началась мировая война, удивительная тем, что она до конца оставалась государственной тайной.

Называют ее по-разному — «утаенной войной», «дивной войной», и уж меньше всего можно узнать из люзанских источников о противнике, с которым велась эта тайная схватка. От самого же противника узнать вообще ничего нельзя: по прошествии двадцати с чем-то лет он бесследно исчез, словно его и не было никогда на планете. Даже само название вражеского государства не сохранилось сколько-нибудь надежно. Известно, что размерами оно не уступало Люзании, располагалось на антиподах, у Южного полюса, на Цетландском континенте, и что люзанцы называли его Черной Кливией, а курдландцы — Голивией. От него ничего не осталось, кроме пустыни с уходящей на несколько сот метров вглубь вечной мерзлотой. Люзанское правительство установило на этой вымершей, выморочной территории бессрочный карантин и не позволяло — во всяком случае, согласно доступным источникам — ни одной научной или военной экспедиции ступить на землю Цетландии. Наши люзанисты строят по этому поводу многочисленные догадки, но сколько-нибудь отчетливая картина не складывается.

Черная Кливия, или Голивия, никогда не объявляла войну Люзании, не вступала с ней в вооруженный конфликт, но пыталась овладеть всею Энцией потихоньку, исподволь, окольным путем. Ее обитатели, правда, были тоже энциане, но другой расы и чуть ли даже не другого вида. Когда орды кочевников по экваториальному перешейку пробирались из Тарактиды в Цетландию (примерно тогда же, когда другая их часть проникла на вулканическое плоскогорье на севере Тарактиды, где впоследствии суждено было возникнуть Люзании), — после ряда природных катаклизмов разверзся глубокий подводный ров, отрезавший друг от друга соединенные доселе материки; так началось великое разделение праэнциан, и через каких-нибудь сто тысяч лет покорители Цетландии изменились физически под влиянием суровых условий этого полярного континента. Они были ниже ростом, не столь длинноноги, осанка их, прежде совершенно прямая, стала слегка наклонной; в древности и в средневековье они отличались особой жестокостью к чужеземцам, то есть энцианам Тарактиды, и будто бы истребляли одну за другой все экспедиции, добравшиеся до них через грязеан. Поначалу их племена занимались охотой, затем на протяжении столетий объединялись и вновь распадались на мелкие государства, но

достоверных сведений об их истории нет. Объясняется это, по-моему, тем, что люзанцы, страдавшие от необъявленной и даже не ведущейся официально войны, нанесли им страшный удар, и эффективность его оказалась настолько чудовищной, что победителей охватило чувство неизбывной вины. Над кливийцами будто бы владычествовал какой-то особый императив, то ли религиозный, то ли светский, который требовал от них не жалеть ничего ради всеобщего Ка-Ундрия.

Чем был этот Ка-Ундрий, я так толком и не узнал, хотя перерыл целый библиотечный зал, а это не так уж мало. Впрочем, само название придумали искупленцы — гилоистический орден кающихся, который предается воспоминаниям о страшной участи кливийцев; люзанское правительство относится к искупленцам терпимо, однако они не имеют права обращаться к люзанскому обществу и разглашать какие бы то ни было сведения о внутренних делах ордена. И лишь благодаря утечке информации известно, что кливийцы, в отличие от северных энциан, говорили почти бесшумно, словно были способны лишь к хриплому шепоту, а их беззвучный язык не имеет близких аналогов ни в курдьяндском, ни в люзанском наречиях. Ка-Ундрий — это символ, которым искупленцы обозначили — но, собственно, что? Национальные интересы кливийцев? Сущность их государственности? План покорения планеты? Путь к счастью? Или само это счастье? Я охотно потолковал бы с каким-нибудь монахом-искупленцем о том, как оно было на самом деле, поскольку, как я уже говорил, распространять любые публикации о Кливии запрещено. Ка-Ундрием называли какую-то идею универсального характера, требовавшую величайших жертв, вплоть до самой жизни, — это представляется несомненным. Всех остальных энциан кливийцы называли Хс-Хсце, что значит «Ничего-Не-Разумеющий». А так как Ничего-Не-Разумеющих нельзя было заставить уверовать в Ка-Ундрий, и эта бестолочь, по их представлениям, стояла на пути к Исполнению — уж не знаю чего, — то они старались подчинить или уничтожить всех некливийцев. По-видимому, тут произошло весьма любопытное превращение: сперва они боролись с Ничего-Не-Разумеющими лишь символически и магически (и убивали каждого, кто попадался им в руки, называя это его Обращением), а потом все более и более реально, по мере того как овладевали начатками технологии. Они были мастера по части всевозможных механических ремесел. Похоже, что они первыми сконструировали самодействующие боевые устройства, из которых похоже возникли так называемые ультиматы, и мало-помалу втянули Люзанию в гонку вооружений. Но так как кливийскую версию этих событий, охваты-

вающих Верхнее Средневековье и первое столетие Нового времени, услышать нельзя, а люзанцы, конечно, в этом вопросе пристрастны, добросовестный исследователь должен поставить перед всем этим большой знак вопроса. Так, впрочем, и поступает большинство люзанистов.

Поначалу восемь тысяч миль грязеана, разделяющего Тарактиду и Цетландию, превращали гонку вооружений в какое-то обоюдное помрачение, лишённое всякого военного смысла. Правда, «ястребы» из числа штабистов требовали, чтобы люзанские вооружённые силы высадились в Цетландии, но ничего подобного не произошло; все эти планы пресекались в зародыше более здравомыслящими политиками. Кливийцы были весьма сильны в математике и умели хладнокровно рассчитывать. Мистический, или, во всяком случае, таинственный, характер Ка-Ундрия, направляющего все их усилия, отнюдь не мешал им действовать на трезвую голову. Хотя движущая ими идея завоевания была, возможно, и бессмысленной (а разве бывает иначе?), однако осуществлялась она на удивление методично. Расходов она требовала, безусловно, громадных, ведь это был уже век промышленного ускорения, и каждые несколько лет в производство запускались новые, все более дорогие системы оружия. Люзания, с ее природными богатствами и более благоприятным климатом, которая к тому же первой вступила в индустриальную веру, не отставала от соперника ни на шаг, однако поживалась при этом, ибо финансовое бремя вооружений, именуемых чисто оборонительными, непрерывно росло. Великая мировая война началась втихомолку, без единого выстрела, без вступления в бой крупных войсковых соединений, поскольку все операции были криптовоенными. Неизвестно даже, насколько верны сообщения некоторых курдлянских источников (Курдландия сохраняла нейтралитет, весьма относительный, как увидим), будто противники пробовали вредить друг другу, вызывая дистанционное растройство климата и землетрясения; возможно, то были всего лишь угрозы, попытка запугать неприятеля или же отвлекающая операция — чтобы заставить врага вкладывать средства в бесперспективные методы борьбы. Правда, большие центральные озера Цетландии действительно исчезли в сейсмической трещине, однако ничто не указывает на искусственный характер этой катастрофы. Как бы то ни было, до прямого столкновения дело не дошло. Почти одновременно Тарактида и Цетландия вступили в эру биотехнологии. Невозможно установить, кто первым применил так называемое зачаточное оружие. Следует помнить, что сражающиеся через океанский простор противники были энцианами, а оплодотворение совершается у них опылением. Кто-то пустил

в ход патоферы — патогенные фертилизаторы. Похоже, однако, что сделали это кливийцы. На протяжении нескольких лет Люзании пришлось решать серьезнейшие демографические проблемы: на свет появлялось множество детей с врожденными уродствами. Но даже тогда она не призналась в том, что эндемия рака новорожденных связана с Кливией, а тем более в том, что на это тайное нападение люзанцы ответили истребительным контрударом.

В библиотеке МИДа, не знаю почему, вообще нет военного отдела, и на труд генерала доктора Брюммеля, посвященный межконтинентальной биологической войне на Энци, я наткнулся совершенно случайно. Брюммель (а может, и Брюммли, не помню уже) предполагает, что война с самого начала была генетической; сам он, кажется, специалист по такого рода оружию. Генерал-доктор (сегодня нельзя стать генштабистом без нескольких степеней) готов допустить, что Кливия первая начала рассеивать над Люзанией патогены, или патоферы, выращиваемые в биовоенных комплексах; но лишь часть зачатых таким образом детей оказалась неспособна к жизни. С военной точки зрения, толково и сухо разъясняет генерал-доктор, уничтожение живой силы противника биологическим путем, посредством дистанционного оплодотворения, — задача весьма сложная. Разумеется, особенности естественного размножения энциан значительно ее облегчают, но дело в том, что сперматозоид, слишком отличающийся от нормального, отторгается яйцеклеткой, а сперматозоид недостаточно патогенный приводит к появлению на свет потомства, поддающегося лечению. Проектирование сперматозоида (а это настоящие конструкторские работы, и ведутся они в специальных конструкторских бюро, с штатом из первоклассных научных сотрудников), который не отторгался бы организмом самки и в то же время был губителен для него, требует громадных знаний и высокого технологического уровня. Говоря коротко, люзанцы превосходно доделали то, что кливийцы начали неважнецки, поскольку первые продвинулись дальше в области биотехнологии, или, точнее, военной технобиотики. Они не действовали сторча и не ограничились полумерами, но ударили по кливийцам «грязным фертилизационным оружием» с таким размахом, что все население Цетландии вымерло на протяжении жизни одного поколения: вынашиваемые плоды поубивали всех способных к деторождению кливиек. Люзанцы, говорит генерал Брюммли, применили фертолеты, то есть летучие фертилизаторы. Они обеспечивают оплодотворение, при котором эмбрион становится злокачественным новообразованием, поражающим организм матери прежде, чем наступят роды.

Одновременно люзанцы применяли у себя какие-то методы противозачаточной защиты, опасаясь, что Кливия ответит таким же ударом; но ее оружейники не успели, а может быть, не сумели вырастить столь же смертоносные инсеминаторы.

Неведомо как слухи об этой катастрофе дошли даже до земных журналистов; некий Говард Пинтел писал в научно-фантастических журнальчиках, будто на Энции действовали «бригады противозачаточных десантников», а также «контрацепционные пыльцеметы», но это очевидные бредни, ведь энциане размножаются не так, как представлял себе журналист-невежда. Были, конечно, попытки нарушить экосферное равновесие, но не это нанесло Кливии обернувшийся геноцидом удар. Никаких «военных абортистов» в Люзании тоже не было: части гражданской обороны состояли из медиков и биологов. В конце концов нельзя было скрыть растянувшуюся на долгие годы гибель населения неприятельского государства. Впрочем, оно, надо думать, не вымерло бы целиком, если бы люзанцы не поддерживали над вражеской территорией нужную концентрацию убийственной пыльцы. Отфильтровать ее на сто процентов невозможно; кливийцы, правда, начали строить огромные убежища, чтобы спасти хоть часть населения, но не успели, поскольку не были готовы к массовой атаке. Однако и тут не все ясно — например, почему среднегодовая температура Южного полушария упала на девять градусов за каких-нибудь шесть лет; но если даже люзанцы и приложили к этому руку, они никогда не признались в этом. Развалины кливийских городов покрыл ледник, и, как уже говорилось, вечная мерзлота сковала Цетландию на глубину в несколько сот метров. Лишь через сто лет климат Южного полушария потеплел (хотя и не вернулся к довоенному уровню).

В одном из примечаний доктор Брюмми приводит такое мнение своего анонимного коллеги по профессии: тот, кто страдает от докучливых насекомых, гадов и мышей и наконец прихлопнет мерзкую тварь, но не насмерть, при виде ее содроганий впадает в панику и тогда уже *должен* поскорее добить ее чем-нибудь; агония вызывает страх и отвращение одновременно, так что хочется *покончить* с ней как можно быстрее, и любые средства здесь хороши. Что-то в этом, пожалуй, есть; поэтому, добавлю уже от себя, если даже люзанцы сами не ожидали столь чудовищной эффективности своих генолетов (некоторые эксперты именно так называют это оружие — летучую оплодотворяющую пыльцу), то затем они пустили в ход все средства, имевшиеся в их арсенале, чтобы известить кливийцев под корень, хотя поначалу, воз-

можно, и не питали подобных намерений. Не исключено, что они хотели всего лишь ослабить кливийцев, уничтожая их «живую силу» (как сказали бы специалисты-конфликтологи), заставить их пойти на попятную, быть может, согласиться на переговоры, перемирие, мир; но невероятный размах умерщвления (Кливия насчитывала миллионы жителей) сделал какое-либо соглашение победителей с побежденными невозможным. Так, по крайней мере, считает доктор Брюммли и его коллеги по профессии. Биологическое оружие генного типа, добавляет Брюммли, чревато опасностью самопроизвольной эскалации. Даже обычную бактериологическую эпидемию легче вызвать, чем прекратить. Это, указывает ученый генерал, оружие неконтролируемое, и люзанцы, несомненно, охотнее применили бы против Кливии неживое оружие дистанционного типа; однако его у них не было, когда конфликт вступил в критическую стадию. Обе стороны еще не преодолели тогда «надкомпьютерного порога» гонки вооружений. Брюммли вообще очень многое мог бы сказать на эту тему, но решительно ничего — об умерщвлении государства, которое было обязано своему Ка-Ундрию (Брюммли, однако, пишет «*Кон-Ундрий*») самоубийственным столкновением с более могущественным противником.

Все это оглушило меня, словно удар палкой по голове. У меня уже сложилось свое представление о люзанцах и курдल्याндцах, не идиллическое, конечно, но вовсе не такое уж мрачное, — даже о том, чего я не смог понять. Гилоизм, казалось бы, просто вынуждал люзанцев придерживаться миролюбивой политики, а диковинность курдल्याндского политохода можно было счесть специфической, местной формой привязанности к сельскому образу жизни. Я уже так много узнал о тех и других, и тут вдруг пришлось даже не пересматривать свои представления, а просто заменять их новыми. Возможно, еще большими оказались потери Курдल्याндии — в войне, в которой она даже не была сражающейся стороной; но ветры, гнавшие тучи родительской пыли, не считались с государственными границами. Это, впрочем, опять-таки всего лишь люзанское предположение: сама Курдल्याндия не призналась в каких-либо военных потерях. Вообще история этой войны — дьявольский лабиринт, ведь оба уцелевших государства имеют свои собственные многоступенчатые системы засекречивания информации, и документы с грифом «совершенно секретно» не попадают в космический эфир, а это основной канал информации — именно он позволил министерству заполнить библиотечные залы тысячами томов. Из крайне ску-
пых источников по истории великой энцианской войны я вы-

читал гораздо больше вопросов, чем ответов. Почему Цетландия покрылась материковым льдом? Если это дело рук люзанцев, как намекает генерал Брюмбли, то почему даже через триста лет — а как раз столько времени прошло после глобального конфликта — ледник по-прежнему покрывает руины кливийских городов? Напрашивается, правда, мысль, что люзанцы хотели бы спрятать эти руины, следы бескровного геноцида, под могильной плитой ледников; но не следует забывать, что после войны среднегодовая температура планеты снизилась на два градуса, а это вряд ли пошло на пользу Люзании. Неужели великое государство могло так долго — веками — помнить о совершенном им военном преступлении и так стыдиться его? Одно лишь втайне утешало меня (хотя хвастаться тут, понятно, нечем) — чувство облегчения, которое помимо воли испытываешь, узнав, что у людей, казалось бы, почтенных и уважаемых, на совести не меньше грехов, чем у тебя самого.

III. В ПУТИ

Уже октябрь, звезды пожелтели и как-то стало прохладнее, а я лечу. Не скажу, чтоб я вовсе не ожидал полететь: я давно заподозрил, что необычайная доброжелательность советника связана с нашей общей прислугой. Впрочем, теперь уже все равно. Что стал бы я делать в ракете со своей приходящей, да и откуда она пришла бы в ракету? Факт тот, что я держу курс на Телец, что на мне полушубок и лечу я — знаменательная переключка! — в качестве дипломатического полукурьера. Так решило, после долгих совещательно-заседательных мытарств, Управление Профилактики Жалоб и Спор. Не полный курьер, так как мы еще не обменялись послами с Энцией, и не частный турист, ведь речь идет не просто об исправлении опечаток в очередном издании «Дневников», но о предотвращении инцидента, который дедуцировали модули Института Исторических Машин. Результатом этого путешествия будет — на юридическом языке — снятие с меня обвинения в злом умысле, а на футурологическом — самоотменяющийся прогноз. Я сообщу чистую правду, старое издание без лишнего шума изымут из библиотек, и я уже не буду автором камня преткновения для энциологов. Пишу я не только в полушубке, но словно бы в полусне, пытаюсь сообразить, можно ли говорить об авторстве камня? Добро бы еще камня в почке или желчном пузыре, но преткновения?.. Мысли вязнут в метафорической минералогии. Решив обратиться к

«Фразеологическому словарю», я уронил себе на ногу утюг — ведь у меня современный корабль с искусственной гравитацией — и, ругая по-черному эти новейшие усовершенствования, от которых я камня на камне бы не оставил, с тоской подумал о прежних примитивных экспедициях, когда астронавт порхал себе по всему кораблю, словно бесплотный дух. Я не стал привязывать спальный мешок к стене — настолько непросто выбираться из него по утрам, — и было что-то забавное в том, что я знал, где ложусь (вернее, зависаю) на отдых, но не знал, где проснусь на черной заре. Вместе со спальным мешком я плавал туда и сюда, под думкой у меня был фонарик, и нередко, задев в ночном парении за книжную полку, я спросонок хватался за нее, книги взлетали, словно взполощенные птицы, а я, поймав первую попавшуюся, принимался за чтение при свете фонарика, в спальном мешке, спеша узнать, чем на сей раз попотчевал меня случай. Бортовая гравитация имеет, собственно, лишь ту хорошую сторону; что потом, в первый месяц пребывания дома, не причиняешь большого ущерба; известное дело: привыкнув, что при выдавливании пасты на зубную щетку можно спокойно поставить стакан с водой в воздухе, а потом взять его, не опасаясь, что он камнем пойдет вниз, то же самое машинально делаешь на Земле; и те же заботы, увы, с супницей, с тарелками, ну, а после заметаешь осколки. А что касается ракетного спиритизма, я всегда высмеивал тех, кто клянется, будто что-то жуткое привиделось им между Антаресом и Бетельгейзе. Это просто белесет развешанное для просушки белье; а иногда что-то скребется и шуршит, и тебя пробирает радостная дрожь при мысли, что твое одиночество скрасит спутник, хотя бы даже и мышка, но, с другой стороны, мышь в условиях невесомости совершенно теряет голову, и можно обнаружить ее в самых невероятных местах; мне кое-что об этом известно, и тут я всецело на стороне прогресса.

Я позволил установить на борту дискуссионный компьютер — дискьютер. Как видно уже из названия, такой компаньон должен развлекать астронавта беседами, вдобавок профессор Бурр де Каланс раздобыл для меня новейший, расщепляемый образец. Я приобрел модели всех лиц, с которыми был бы не прочь перекинуться парой слов. Удивительно, до чего проста идея кассетных моделей — и как поздно до нее додумались! Сперва делают бисэлектрический портрет моделируемой личности, затем битуют его, то есть вводят в программу, и в виде самой обыкновенной кассеты вставляют в дискьютер; одно лишь нажатие клавиш, и в помещении раздается знакомый голос, причем это вовсе не личность в собственном смысле, и в

любую минуту ее можно запросто выключить, сменить кассету или пойти спать. Разумеется, какой-то минимум приличий, правил хорошего тона не повредит, — и не потому, что модель может обидеться, нет, какая уж там обида, ведь это чисто рациональный экстракт, вытяжка, — но по соображениям личной умственной гигиены некоторые правила общежития полагается соблюдать. Неплохо иметь на борту такую психотеку, только не стоит требовать от нее невозможного. Ведь любая поваренная книга содержит все сведения, необходимые, скажем, для выпечки орехового торта; однако торты, сделанные по одному и тому же рецепту двумя хозяйками, похожи один на другой не больше, чем Шопен в исполнении Рубинштейна на Шопена в моем исполнении. Рецепт, хоть и содержит в себе все, мертв, и нужно вдохнуть в него душу, чтобы его оживить. Массовое кондитерское производство — пора наконец сказать это вслух — есть форма платной проституции, а не настоящей любви. К форме для выпечки торта необходим подход индивидуальный и даже, я бы сказал, исполненный ощущения своей миссии; вот почему торт, в который кроме орехов вложено трепетное, свежее чувство, сохраняет на ложечке нечто, если можно так выразиться, девически интимное, словно он позволяет себя есть впервые в жизни. Так вот: компьютер-дискютер — это поваренная книга; формально в нем содержится все, но этому всему ни до чего нет дела, ему все едино, и лишь модель конкретного человека оживляет эти мертвые залежи информации, то есть сервирует мудрость. Словом, дело тут в стиле. Я заказал себе несколько светил люзанистики, а кроме того, Бертрана Рассела, Пошера, Фейерабенда, Финкельштейна, Шекспира и Альберта Эйнштейна.

Пролет через Солнечную систему был, как всегда, весьма занимателен; я проложил курс таким образом, чтобы взглянуть на Марс, — у меня к нему с детства слабость; подходил я к иллюминатору и тогда, когда пролетал мимо старых, громыхающих грозами глобусов Юпитера и Сатурна. Каждый раз обещаю себе ступить ногой хоть на один из них, да что поделаешь, ведь и в музеи мы ходим где угодно, только не у себя в городе, — мол, все равно никуда не денутся, — и уезжаем в какую-нибудь Италию; так получается и у меня с этими — впрочем, весьма эффектными — экспонатами. И, лишь удалившись на несколько световых месяцев от Солнца и от Земли вместе с ее Швейцарией, где дело «Кюссмих против Тихого» еще не стало предметом судебного разбирательства и не скоро станет, я стал раздумывать, чем бы заняться, а материя эта столь деликатная, я бы даже сказал, удручающая, что до сих пор я не обмол-

вился о ней ни словом. Что ж, пора наконец заявить об этом во всеуслышание: астронавтика пахнет тюрьмой. Если б не иллюминаторы, можно и впрямь подумать, что тебе впяли порядочный срок — не год и не два, но самое меньшее два червонца, и даже нельзя рассчитывать ни на сбавку срока за образцовое поведение, ни на передачи, ни на свидания. Раньше между трансгалактической навигацией и отсидкой было видимое различие — отсутствие силы тяжести, теперь же разницы практически нет, а ведь не каждый предрасположен к таким путешествиям. Предложение одного теоретика — вербовать экипажи космолетов из числа пожизненных заключенных в земных тюрьмах с особо строгим режимом — было не столь уж нелепо, как кажется. Стоишь ли ты, или лежишь, или кружишься под потолком, все равно ты заключен в четырех стенах, значит, сидишь; а оттого, что снаружи вместо стен и охраны космическая пустота, ничуть не легче. Из самой надежной тюрьмы можно бежать, но из подвешенной между звездами ракеты ускользнуть некуда. Такова мрачная сторона моей профессии, которой я ранее не касался. *Per aspera ad astra**, но если выразиться не столь романтически — путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Конечно, я сам этого хотел и хочу. Вот и на этот раз: хоть я и набивал себе цену на коллегии МИДа, уверяя, что вовсе не горю желанием ехать, но все это лишь для того, чтобы они не очень-то заносились, — все же я им не мальчик на галактических посылках. А так, по правде, я все же хотел — чуть ли не с той самой минуты, когда переступил порог библиотеки.

Когда старое доброе солнышко исчезло, растворилось в черном супе небытия, я испытал хорошо знакомое, многократно пережитое мною ощущение пустоты и решил, что нужно немедленно сделать выбор: спать или воспользоваться дискьютером. Однако ж столетний сон — не безделица. Правда, я приготовил все чин по чину, поставил будильник, чтобы он зазвонил за пять миллионов миль до Энци: еда сбережется, а это кое-что значит; сделал большую уборку, хотя знаю, что за такой срок все и так зарастет грязью. Хуже всего пробуждение. Я не выношу растрепанной бороды и волос до колен; да вдобавок ногти как змеи — правда, я всегда держу под рукой ножницы и машинку для стрижки волос, но прошлый раз замятовал, где они, и пришлось полракеты перевернуть вверх дном, путаясь в собственной бородине и ругаясь на

* Через тернии — к звездам (лат.).

чем свет стоит, прежде чем я нашел парикмахерский инструмент, без которого — ну кто бы подумал? — астронавтика невозможна. Доставая постель из бельевого шкафа, я заметил, что простыни жесткие, словно из жести, — а ведь я просил свою приходящую приглядеть за этим в прачечной; злясь на нее, я скорее разрывал, чем разворачивал склеенное крахмалом полотно. Я также проверил, нет ли на наволочках проволочных, обшитых нитками пуговиц — из-за них на щеке появляются отчетливые отпечатки, и этого должен избегать любой астронавт, если он не желает после столетнего сна щеголять физиономией в сплошных негативах пуговиц, ведь чужезвездные существа принимают их за неотъемлемую часть человеческого лица.

Готовя себе разные противные жидкости, которые полагаются пить перед гибернизацией, я постепенно терял охоту гибернизироваться. В конце концов, чего ради я взял в полет компьютер с персонализирующей приставкой и столько переведенных на кассету знаменитых мужей? Я пригляделся к этим кассетам. На каждой стояло имя, а ниже — инструкция по обслуживанию персонализатора и красная надпись LIVE* или POST MORTEM**. Разумеется, на кассете Шекспира стояло POST MORTEM, а Финкельштейна — LIVE, ведь один был жив, а другой умер, но какое это имеет значение для слушателя? Я заглянул в инструкцию и узнал, что личность умерших экстрагируется из собраний их сочинений, а это, между прочим, имеет тот результат, что воскрешенцы говорят не так, как говорили при жизни, но так, как писали: то есть, скажем, поэты — только стихами. В инструкции, как обычно, было множество непонятных терминов и темных мест; указывалось, например, что чем раньше кто-нибудь умер, тем менее он «инструктивен», поэтому не рекомендуется вызывать из небытия стародавних деятелей, никому, кроме историков, не известных, — с ними все равно нельзя поддерживать разговор без помощи автотолковника. Не скажу, чтобы это было очень понятно, поэтому после недолгого размышления я вставил в компьютер кассету с Рупертом Трутти, в расчете на то, что этот professor of computer sciences*** даст мне необходимые разъяснения. Действительно, нажав клавишу «GO»****, я услышал приятный баритон и сел, внимая ему не без некоторого удивления, — вовсе не ожидая моих вопросов, он принялся говорить без умолку:

* Жив (англ.).

** По смерти (лат.).

*** Профессор компьютерных наук (англ.).

**** Пуск (англ.).

— Я Руперт Трутти из Массачусетского автофутурологического института, и занимаюсь я, как указывает название моего научного центра, прогнозированием прогнозов, то есть стараюсь установить, что будут предсказывать предсказатели предстоящих столетий. Имею честь сообщить, что, будучи кассетонцем, как называют в обиходе закассеченных лиц, я могу пользоваться резервуарами памяти компьютера, в который меня засадили, без всяких ограничений.

— А кстати, профессор, — перебил я его, — почему вы можете, а те, кто умер давно, не могут? Я прочитал об этом в инструкции.

— Чтобы что-то узнать, — ответил Трутти, — нужно уже что-то знать. Ведь узнавать — значит все услышанное записывать в голову в определенном порядке. Вот почему никто не помнит первых своих ощущений, когда он был грудным младенцем и ничего ровным счетом не знал. Однако, достопочтенный мой воскреситель, чем больше кто-то узнал в одну эпоху, тем меньше он может узнать в следующую, поскольку голова у него забита старьем, а забита она потому, что вчерашняя святая истина становится нынешним предрассудком и засорением мозгов. Хотя я и цифроник, я могу пользоваться другими частями памяти компьютера, в который вы меня вставили, ведь я имею кое-какие понятия о биологии, психонике, физике и поэтому знаю, что такое экспертолиз и энспертоляция; но засадите-ка сюда Платона, и он ровно ничего не усвоит...

— А в самом деле, что это такое? — полюбопытствовал я.

— Экспертолиз — это растворение экспертов в море избыточной информации, а энспертоляция — защитный условный рефлекс, самоотключение экспертов со страху. Что же касается экспертолястики...

Возможно, это было невежливо, — но я вырубил профессора, опасаясь, что дальнейшие разъяснения лишь затемнят то, о чем я успел у него узнать; усевшись над кучей кассет, я стал размышлять, как составить ученый кружок, чтобы пороскошествовать интеллектуально. О гибернизации я и думать забыл. Разве можно духовное пиршество в компании величайших умов променять на бездумный вековой храп? В конце концов я вставил в компьютер кассеты с Бертраном Расселом, Карлом Поппером, адвокатом Финкельштейном (хотя это был ум *minorum gentium*^{*}, я решил включить своего симпатичного знакомого в это общество) и, невзирая на предостережения профессора Трутти, доба-

* Менее значительный (лат.)

вил Шекспира. Готов поклясться, что я заказал и Эйнштейна, но, хоть и высыпал на пол все содержимое коробки, нашел только Фейерабенда; в ярости, что не могу заявить рекламацию — ведь я отмахал уже добрых несколько триллионов миль, — я приготовился к диспуту, то есть поставил поудобнее сервировочный стол с подсоленным печеньем и тоником, за спину засунул подушку и включил компьютер. Я съел все печенье и выпил весь тоник и лишь тогда спохватился, что мои кассетные спутники давно уже ведут спор, только звук был приглушен. Я повернул нужную ручку и услышал голос Бертрана Рассела:

— Ум, господин Фейерабэнд, это способность разгрызания трудных орешков, поэтому самый блестящий ум можно использовать для решения самых глупых вопросов. Зато мудрость предполагает еще и умение выбирать проблемы.

— Осмелюсь не согласиться с лордом Расселом, — отозвался Фейерабэнд. — Мудрость — это, скорее, самопознание, выражаясь классическим языком, а если более современно — поиски пробелов и недочетов в собственном разуме. Разумеется, на сократический лад. Как известно, идиотам кажется, будто они во всем разбираются. Идиот, в особенности законченный, готов немедленно стать президентом США, вы только ему предложите. Человек поумнее сперва задумается, а мудрец скорее выскочит в окно. Чрезвычайно высокая концентрация мудрости действует шокообразно и порой заставляет мудреца умолкнуть, хотя молчание Витгенштейна имело иную причину.

— Судя по вашему красноречию, коллега Фейерабэнд, вряд ли вам угрожает избыток мудрости, — заметил Рассел. — Не только люди бывают с придурью, имеются также придурковатые философские системы; связано это с явлением, которое я назвал бы феноменом исторической монументализации чего попало. Был английский король, который хотел и благочестивым остаться, и переспать с некоей барышней в качестве законного супруга, хотя он уже был женат. И что же? Не желая перебарывать свою похоть, он переделал религию, отделил английскую церковь от Рима и создал тем самым англиканство. Как известно всякому, кто меня читал, Гегель был мыслителем из разряда так называемых очковтирателей и именно этому обязан своей популярностью, хотя уже не такой, как сто лет назад. Ясно выражающийся дурень не столь опасен, как дурень туманный, потому что в тумане легко самому оказаться в дураках. Я позволил себе намекнуть на это в своей «Истории западной философии», и, разумеется, целая свора обиженных дуралеев впилась мне в ляжки. Этот Дьюи, к примеру. К сожалению, правила хорошего

тона обязательны не только в палате лордов, но и в философской полемике. Только за гробом можно позволить себе говорить все, что думаешь, начистоту. Но я и так всегда резал правду-матку в глаза, хоть это и дорого мне обходилось. Тот, кто предлагает новую философскую систему, тем самым дает понять, что приблизился к истине больше, чем все, кто жил до него. Значит, каждая такая система предполагает непревзойденную мудрость ее автора. А ведь нормальная кривая распределения интеллекта справедлива и для философов, среди которых предостаточно олухов. Любопытно, что эти мои наблюдения, никому конкретно не адресованные, вызывали такую яростную реакцию...

— А где вы поместите самого себя на кривой распределения мудрости, лорд Рассел? — невинным голосом спросил Фейерабэнд.

— Говоря объективно, выше вас, потому что я понял все, что вы написали, а вы написанного мною не поняли, во всяком случае, порядочно меня переврали.

— Да? Но ведь я печатался после вашей смерти...

— А я читал после перенесения меня на кассету. Вы немало у меня позаимствовали, и, конечно, беды в этом нет, только следует называть своих учителей...

— Поскольку я выступаю как чистый духовный экстракт, — заявил Фейерабэнд, — уточняю, что сопровождаю эти слова легким пожатием плеч и снисходительной улыбкой. Лорд Рассел всегда пробовал откусить от философского пирога больше, чем мог переварить.

— Это уже из Куайна, — холодно заметил Рассел.

— Не могу же я давать библиографическую ссылку к каждому своему слову! — несколько раздраженно воскликнул Фейерабэнд. — Лорд Рассел действительно стал еще менее вежлив, чем был при жизни; он не дает мне закончить ни одной фразы. Так вот: он не только откусывал больше, чем мог, но еще и набрасывался на пирог каждый раз с другой стороны, словно общая онтология — это слоеный пирог или ромовая баба, из которой можно только выковыривать изюм...

— Эйнштейн, — вдруг отозвался глубоким задумчивым голосом Карл Поппер, — сравнивал это скорее с доской, чем с бабой. Он говорил, что глупцы ищут самое тонкое место, чтобы просверлить в нем как можно больше дырок, а гении принимают за самый твердый, сучковатый участок...

— Вторую часть присочинили вы сами, лорд Поппер, — ехидно заметил Фейерабэнд. — Слава Богу, в философии нет ни титулов, ни чинов, не то мне пришлось бы сидеть между двух лордов тихо, как мышке. По-моему, ум и эрудиция

должны уравнивать друг друга как две чаши весов. Слишком обширная эрудиция тащит слабый умишко за ноги на вязкое дно, а ум, свободный от солидного груза познаний, парит куда хочет, и чаще всего в сторону безответственных фантазий. Тут нужна золотая середина. Однако я не считаю золотой серединой тактику, которая заключается в цитировании одного себя, и к тому же недобросовестном цитировании, когда вместо полемики по существу вас отсылают в сноске к старым-престарым книженциям, в которых этот вопрос будто бы достаточно освещен, после чего остается только приобрести полное собрание сочинений автора, отсылающего читателя куда подальше, и лишь потом приниматься за чтение его статейки. Но в наше время это уж слишком.

— Боюсь, мистер Фейерабэнд намекает на моего почтенного соседа по палате лордов, — сказал Рассел. — Что-то в этом есть! Но, может быть, не будем переходить на личности? В этом холодном кассетном гробу я много размышлял о своей теории типов. Можно применить ее в онтологии, а не только в логике. Существуют онтологические предрасположенности, подобно предрасположенностям к женскому полу. Лично меня всегда тянуло к блондинкам, а вся проблема была в том, что их не всегда тянуло ко мне. Разумеется, я привожу это лишь как модель! Впрочем, я предложил бы скорее слово «макет», поскольку все мы мужского пола, пусть даже в *plusquamperfectum*.

— Макет — как пакет? — спросил Фейерабэнд и залился смехом. Сперва он смеялся иронически и негромко, потом включил половину мощности и, наконец, захохотал так, что задребезжали динамики.

— Чем это так рассмешила вас моя скромная терминологическая поправка? — поинтересовался Рассел.

— Да нет, ничего, — ответил Фейерабэнд, все еще давясь от смеха, — просто я вспомнил одну брюнетку, потому что лорд Рассел...

— Господа, — произнес я с мягкой укоризной, — осмелюсь обратить ваше внимание на то, что кассеты обошлись мне в девять тысяч с лишним франков, и притом швейцарских! Я жажду посвящения в высшие материи бытия, хочу, чтобы вы подали мне руку помощи, разумеется, фигурально, и, хотя я вам не ровня в интеллектуальном отношении, я все же рассчитывал на благие плоды векового общения с такими умами... а между тем эти блондинки и брюнетки...

— Если хочешь куда-нибудь приехать, — сказал Бертран Рассел, — постарайся раздобыть хороших лошадей и запрячь их как полагается. Мы же, господин Тичи (так он выговаривал мое имя), никуда вас не привезем — из нас не получится

дружной упряжки. В философии каждый тянет в свою сторону... Так что, если вы хотите что-то узнать, попрошу выключить моих столь высоко ценимых коллег...

Раздался дружный протестующий хор. Я перекричал всех, призывая их высказаться по вопросу об энцианской этикосфере. На это они согласились.

— Быть может, — начал лорд Рассел, — этим птичьим сынам и удалось соорудить так называемую этикосферу, но тем самым они изготовили индивидуальные тюрмочки, великое множество невидимых смирительных рубашек. Любой достаточно мощный порыв ко всеобщему счастью кончается строительством каталажек. Сама эта идея — не что иное, как иррациональная фата-моргана разума...

— Я это всегда утверждал, — откликнулся сильным старческим голосом лорд Поппер. — *Corruptio optimi pessima**, и так далее. Спектр возможных состояний общества является одноосевым, и располагается он между закрытым и открытым обществом. Левый экстремум — это тоталитарная диктатура, управляющая всем, что только ни есть человеческого, вплоть до текста песенок в детских садах, а правый экстремум — это анархия. Демократии размещаются примерно посередине. Эти энциане явно пытались соединить обе крайности, чтобы каждый мог жить в обществе открытом и закрытом одновременно и брыкаться в свое удовольствие, замкнутый в невидимом пузыре заповедей, которые невозможно нарушить. Это можно назвать тирархией, и ничего хорошего она не сулит. Думаю, там даже больше несчастья, чем где бы то ни было.

— Почему, лорд Поппер? — спросил я.

— Потому что в полицейском государстве человек, подвергаемый пыткам, может по крайней мере верить, что, если его перестанут пытать, он вместе с другими построит счастливый мир. А человек, безустанно заласкиваемый под попечением государства этой пресловутой синтурой, не может даже в мыслях никуда убежать, потому что бежать уже некуда. Сносны лишь промежуточные состояния общественной агрегации.

— А я полагаю, — сказал Фейерабэнд, — что там, где нет *law and order***, побеждают клыки, локти и когти; а где есть *law and order*, с колыбели до крематория, там несчастья в общем-то столько же, но вкус у него другой. Лорд Поппер с его апологией открытого общества должен был бы заметить, что это всего лишь вежливое обозначение такого положения вещей, при котором имеются большие собаки и маленькие, и им поз-

* Падение доброго — самое злое падение (лат.).

** Закона и порядка (англ.).

волено друг дружку облаивать, но пожирать нельзя. Ребенком я зачитывался чудесными историями о будущем мире, в котором домохозяйки переквалифицируются в доценток лимнологии, дворники — в профессоров общей теории всего на свете, а остальные будут творить сколько влезет, и получится неслыханный расцвет искусств. Удивительно, как много отнюдь не глупых людей верило в эти бредни. Ведь большая часть человечества не хочет угробить жизнь на собирание старых раковин, и вообще ей плевать на любые раковины, кроме раковины унитаза, а думать о вечных вопросах она начинает лишь после визита к врачу, который на вопрос о диагнозе дает уклончивые ответы. Следствием тотальной автоматизации будет новое издание того, что в средневековье называлось Höllenfahrt*. Разные дороги ведут в ад. Некоторые из них усыпаны розами и политы медом. Открытое общество лучше закрытого в том отношении, что из него легче сбежать. Вот только неизвестно куда. И все же приятней иметь перед собой открытые двери, чем зарешеченные и приколотенные гвоздями к дверной коробке. Я, во всяком случае, такого мнения.

— А я разве писал когда-нибудь, что открытое общество — это какой-то идеал? — обрушился Поппер на Фейерабенда. — Просто в качестве скептика я всегда выступал за меньшее зло.

— Жаль, что вы этим не ограничились, — заметил Фейерабэнд, — потому что ваша концепция научного познания не выдерживает критики, как я показал, — впрочем, не первый и не последний.

— Сам Эйнштейн признал мою правоту, — начал было задевать за живое Поппер, но Фейерабэнд не дал ему закончить.

— Об обстоятельствах, при которых Эйнштейн — человек поистине голубинового сердца — признал вашу правоту, вы, лорд Поппер, писали столько раз, что можно ограничиться сноской. Как говорил мне доктор Чиппендейл, Эйнштейн тогда страдал от мигрени и принял уйму таблеток от головной боли, отупляющее воздействие которых хорошо известно.

Обиженный Поппер умолк. Затянувшуюся тишину прервал наконец Рассел:

— Мой уважаемый коллега-философ из палаты лордов имел несчастье родиться системным философом в эпоху, когда системной философии уже быть не может. Надо смотреть правде в глаза, коллега Поппер! Господин Фейерабэнд — умеренный анархический экстремист в теории познания, я — неимперативный антиинтуитивный категориалист аналитического стиля, на-

* Сошествие во ад (нем.).

конец, лорд Поппер — автор нескольких любопытных концепций, а так вообще — несинкатегорематический разогреватель онтологически нейтрализованных зразов в соусе из *Circulus Vindobonensis**. Из Кружка, в котором Витгенштейн сиял, сиял и, наконец, перестал. А Кружок с тех пор висит себе на колышке. Ведь эклектический синкретизм работ господина Поппера...

— Вы меняете взгляды чаще, чем подштанники! — крикнул обозленный, прямо-таки выведенный из социостатического равновесия лорд Поппер. — Скажи мне, лорд Рассел, что осталось у тебя от дивной поры молодой? Три тома «*Principia Mathematica*», вымученных за долгие годы. Так вот: спешу сообщить, что Чанг Вэнь или еще какой-то Пинг-Понг — не запоминаю я этих китайских имен — запрограммировал компьютер так, что все доказанное Б. Расселом в его пресловутых «Принципах» машина доказала за восемь минут, со средней скоростью самоубийцы, который бросился с девяностого этажа на Юпитере, где, как известно, сила тяжести во столько же раз больше земной, сколько раз приходящая прислуга господина Тичи ошибалась в счетах из праечной в свою пользу.

Эти последние слова показались мне до такой степени неуместными, что я сделал над собой усилие — и действительно сразу открыл глаза. На беду, я не знал, когда именно меня сморило, однако признаться в этом постыдился. Но кажется, потерял я не слишком много, потому что они продолжали препираться, хотя и не так грубо, как мне это приснилось. Чтобы расшевелить их, я подбросил в дискьютер двух люзанистов — одного из них звали Бионизий Рёрен, а другого Пьер Сомон — и, должно быть, под влиянием какой-то одеревенелости мысли из-за долгого пребывания в пустоте подумал, что если бы они были одним человеком и индейцем, то назывались бы Ревущий Лосось**. Профессор Сомон оказался ценным приобретением для нашего коллектива как знаток люзанской философии. С XXII века, объяснил он нам, это философия по своему субъекту релятивистская, а по объекту — прикладная. Иначе говоря, в то время как на Земле субъектом, или попросту философом, всегда является человек, на Энции философствуют также машины и даже облачность, поскольку некоторые разновидности шустров, уносимые ветром, соединяются на границе тропосферы в необычайно разумные тучки-почемучки и умудренные облака, которые, не имея других занятий, рассуждают о смысле

* Венский кружок (*лат.*) — объединение философов-неопозитивистов, существовавшее в 1920 — 1940-е годы.

** От немецкого *göhrer* — реветь и французского *saumon* — лосось.

бытия. Времена, в которые жил Акс Титоракс, ниспровергатель авторитетов, даже на ложе смерти окруженный верными учениками и полицией, минули безвозвратно. В прошлое канули также проблемы власти, такой или сякой. Настоящие проблемы возникают перед философией лишь тогда, когда благоденствие приобретает устрашающие размеры. Коль скоро неприятностей должно быть все меньше, а радостей все больше, то с логической необходимостью оптимум приходится на максимум благ, свобод, утех и забав и минимум опасностей, болезней и вкалывания на службе. Минимум равен нулю, то есть: никакого труда, никаких болезней, никаких опасностей, а максимум расположен там, где сладостность жизни становится неисчерпаемой. Но этого рассчитанного по науке максимума никто не в состоянии выдержать. Где-то по дороге прогресс превращается в собственную противоположность, но где — никому не известно. В этом и состоит так называемый парадокс Шляппенрока и Кикса.

Профессор Рёрен, взяв слово после своего коллеги, разъяснил нам, что дело не так уж плохо, как можно было бы полагать. В любом обществе имеются нытики-староверы, которые тянут назад, к так называемым «добрым старым временам», но возврата к прошлому нет. Напротив: этикосферу следует поднять на новую высоту. Пока что это только проект, разработанный Советом Энтофилов. Идея довольно проста. Любое общество лучше всего подходит людям некоего определенного склада (которые, кстати, вовсе не обязательно входят в его элиту). Они с удовольствием делают именно то, что важно и возможно в их эпоху. В эпоху колониальной экспансии это будут конквистадоры, когда же экспансия распространится на обширные территории — купцы. Это могут быть и ученые — там, где верховодит наука. Или священники — в эпоху воинствующей церкви. Есть люди, которым не по душе спокойные времена, хотя сами они не обязательно отдают себе в этом отчет. Они выходят на авансцену во время всеобщей катастрофы или войны. Есть подвижники, не мыслящие себе жизни без помощи ближним, и аскеты, которые расцветают от воздержания. История — это театр, а общества — труппы актеров, между которыми распределяются роли; но ни одна из поставленных пьес, ни одна историческая эпоха не давала проявиться таланту всех актеров без исключения. Прирожденному великому трагику нечего делать в фарсе, а законным в латы рыцарям не находится роли в мещанских камерных постановках. Эгалитаризм — это жизненная программа, в которой все выступают на равных и понемногу, и никто не может сыграть великой романтической роли — для

нее здесь просто нет места. Бедняги-романтики обречены соперничать между собой в количестве съеденных крутых яиц, езде на велосипеде задом наперед, сопровождающейся исполнением скерцо ля минор на скрипке, и тому подобных чудачествах, которые свидетельствуют лишь о пропасти между мечтами и скрипучей действительностью.

Словом, разные времена отдают предпочтение разным характерам, и в любое время большинство общества служит всего лишь массовкой для избранных судьбы, ибо только по чистой случайности подходящий темперамент появляется в наиболее подходящий для него момент истории.

Это можно выразить и немного иначе. Мир, в котором индивид с определенными духовными качествами способен развернуться вовсю, является миром особенно к нему благосклонным, но нет столь универсально благосклонного мира, который в равной степени удовлетворил бы все разновидности людских натур. Лишь специально для этого созданная искусственная среда способна проявлять благосклонность, скроенную и подогнанную по индивидуальной мерке (причем в некоторых случаях благосклонностью необходимо признать и сопротивление среды, ведь есть натуры, созданные для борьбы с жизненными невзгодами). Эта среда будет вызовом для рискованных людей, спокойной гаванью для смиренных и покладистых, неведомой землей для первооткрывателей по натуре, таинственным кладом для романтиков — искателей приключений, для жертвенных натур — алтарем, для стратегов — полем сражения, трудовым поприщем для работяг, и пока неизвестно только, чем должен быть такой мир для подлых натур, которых тоже хватает. При более тщательном рассмотрении мы увидим огромное множество оттенков героизма и трусости, любопытства и безразличия, жадности борьбы и жадности покоя, и то же относится к подлости. Благосклонная и смысленная среда обитания должна, следовательно, стать закройщиком материи бытия, перекраивая ее, чтобы каждый получил условия существования, наиболее для него подходящие. Но когда все технические средства будут готовы, когда уже будет создана среда, безошибочно приспособляющаяся к натуре любого человека, останется преодолеть одну лишь, зато чудовищную трудность, а именно: каждый должен иметь при этом ощущение абсолютной подлинности бытия. Никто не должен считать, что играет, словно на сцене, то есть может в любую минуту с нее сойти. Что его окружают обращенные к нему декорации. Пусть это будет игра, или, скорее, система, из множества игр, предлагаемых средой обитания своим подопечным, но игра без апелляции к судьбе и без антрактов, смертельно серьезная, а не условная, как забава.

Игра, в которой нельзя покинуть шахматную доску своего общества, чтобы взглянуть на нее со стороны. Нельзя допустить, чтобы игрок знал о том, что ему предназначено, и никто не вправе претендовать на составление правил собственной или чужой игры, ведь здесь эти прерогативы равняются Божьим.

Тут возникает старый, как мир, вопрос: *quis custodiet ipsos custodes?** Кто станет этим *Deus ex Machina*** , который присматривает за нашими ангелами-хранителями и который их руками печется об оптимизации Бытия, столь же справедливой, сколь совершенной? За каждым, даже самым удачным ответом на этот вопрос неизбежно прячется призрак тайновласти, и борьба пойдет за его устранение, чтобы распределение синтетических судеб было полностью децентрализованным. В переводе на язык традиционного религиоведения это означает практическую реализацию пантеизма. Тайнократа нельзя будет найти точно так же, как нельзя найти Бога, потому что он окажется повсюду одновременно. Но если в этой предустановленной гармонии что-то разладится, кто исправит ее? К тому же кто-то должен ее запроектировать и запустить в производство, и это лицо или группа лиц будут склонны самозванчески, явным или, что еще хуже, тайным образом вязать себе роль Господа Бога в этом всепредставлении. Пока что говорят о поэтапном переходе от обычной этикосферы к новой, тайнопровиденциальной. В общем, опять-таки почти как в Библии, прашустры родят шустры, шустры породят шустрины, которые положат начало следующим поколениям, вплоть до стабилизаторов-абсолютизаторов, своей способностью к самоисправлению и своей надежностью не уступающих стихийным силам Природы. Словом, это будет Пересотворение всего Сотворенного. Далек еще путь и усеян препятствиями, но цель уже различима, и оптимисты считают, что через каких-нибудь два-три столетия полная раефикация Люзании станет свершившимся фактом.

Лекция эта произвела на кассетонцев впечатление сильное, но отрицательное. Уже само осознание непостижимой режиссуры судеб, заявил лорд Рассел, есть катастрофа для разума и призыв к бунту. Следует опасаться, что в этом совершенно новом обществе появится тьма новых форм безумия, страдания и отчаяния. Карл Поппер согласился здесь с Расселом. Зато Фейерабенд заметил, что это, быть может, не так уж и страшно. Ибо есть кое-что не в пример худшее, чем даже тщательно дозируемое всеобщее счастье. Те не хо-

* Кто устережет самих сторожей? (лат.)

** Богом из машины (лат.).

тели с ним согласиться. Вдруг попросил слова молчавший до этого адвокат Финкельштейн. Я уговорил обоих лордов и Фейерабенда позволить адвокату высказать свою точку зрения, на что они в конце концов с неохотою согласились.

— Господа, — начал Финкельштейн, — хотя я всего лишь заурядный адвокатикша с не слишком любопытной клиентурой — исключая присутствующего здесь господина Ийона Тихого — и за целую жизнь не прочитал столько умных вещей, сколько каждый из вас за один только день, мне все же хотелось бы внести и свою скудную лепту, раз уж я оказался в этой кассетной компании. Мой отец — вечная ему память — имел в Чорткове антиквариат и массу свободного времени, поэтому он читал философов и не брал в рот спиртного, за исключением пейзажовки раз в год. Во Львове выходил тогда антиалкогольный журнал «Благословенная трезвость», и один из сотрудников редакции, зная о возвышенных интересах моего отца, попросил его написать статью. Алкоголизм, ответил на это отец, дело обратное, и лучше бы его не было. Но если даже пустить в ход аргументы самого тяжелого калибра, все равно ничего не выйдет, потому что «Благословенную трезвость» читают не пьяницы, но одни только трезвенники, чтобы утвердиться в ощущении своего превосходства, а если пьяница случайно завернет в эту газету селедку и на глаза ему попадет моя статья, он либо употребит ее сами знаете для чего, либо тут же напьется от огорчения, что поддался столь пагубной привычке. Я очень извиняюсь, но я не верю, чтобы писание таких мудрых, глубоких книг о счастье и нравственности, которые писал лорд Рассел, могло хоть одну муху спасти от обрывания крылышек. Когда я был малышом и играл у себя, мать время от времени кричала мне из другой комнаты: «Спутя, перестань»; она не знала, что я делаю, но ничего хорошего не ожидала; и то же самое можно сказать о человечестве. Оно, к сожалению, не желает переставать. Отец выписывал «Иллюстрированный еженедельник» со снимками, изображавшими Бремя Белого Человека: с пробковым шлемом на голове и винчестером в руке он попирает ногой носорога, а за ним — толпа потных голых негров с тюками на головах и ручками от кофейных чашек в носу. Тогда я мечтал, чтобы негры сбросили с себя эти тюки и прогнали белых из Африки, предварительно поломав об их спины винчестеры. Я собирал станиоль от шоколада «Хазет» для выкупа негрят и скатывал из него большие шары, только не мог узнать, куда потом надо идти с таким шаром, чтобы выкупить негритенка. А теперь нет уже этих белых эксплуататоров, есть только чернокожие экскапралы Иностранного легиона, которые либо сами режут своих чернокожих соплеменников, получивших докторскую сте-

пень в Кембридже, либо поручают это своей лейб-гвардии, а орудия казни импортируют из Англии и других высокоразвитых стран. Теперь чернокожим велят короновать себя чернокожие, и лишь кишки, которые из них выпускают, такие же красные, как и прежде. Теперь мы слышим не о карательных экспедициях, но о государственных интересах, только я сомневаюсь, что для истребляемых здесь имеется какая-то разница. Нет уже Deutsch-Ostafrika* и никаких вообще колоний, а одна сплошная независимость, и посторонним вмешиваться нельзя, чтобы никто не мог помешать суверенной резне. Вы, господа, говорили тут о всеобщем счастье, что, дескать, полного иметь нельзя, а только крошечное. Счастье, конечно, вещь относительная. Пятнадцать лет я попал в лагерь уничтожения, где людей травили газом, как клопов. Я оставался в живых лишь потому, что Кацман, второй заместитель коменданта, взял меня к себе для уборки дома, а дело было летом, я натирал пол без рубашки, на коленях, и ему приглянулась моя спина. Насколько я знаю, он хотел сделать подарок своей супруге, которая жила в Гамбурге, и придумал абажур для ночника. Среди заключенных он нашел специалиста по татуировке — там были даже знатоки санскрита, что, впрочем, не имело для них практического значения, — и велел ему изобразить у меня на спине трогательную картинку. Он был очень порядочным человеком, этот татуировщик, и татуировал медленно, как только мог, хотя Кацман его торопил, потому что приближался Geburtstag** фрау Кацман. На брючном ремне я делал насечки — сколько дней жизни мне осталось, а потом Кацман получил письмо из Гамбурга, что его жена погибла вместе с детьми при воздушном налете. Он не любил новых лиц, а может, хотел к тому же проверить, как продвигается исполнение этой картинки, короче, я по-прежнему у него убирал и видел его отчаяние. «O Gott, O Gott, — повторял он, — и за что на меня свалилось такое несчастье?!» Он получил отпуск на похороны, уехал и уже не вернулся. Благодаря этому я как-то выжил, потому что его преемник на всякий случай держал меня под рукой, — а вдруг Кацман еще раз женится или что-нибудь в этом роде, и абажур понадобится опять. Он только осматривал меня иногда и говорил, что он это здорово сделал, тот татуировщик, которого тем временем отправили в газовую камеру. Счастье, господа, переплетается с несчастьем самым причудливым образом. Если бы я был тут вживе, показал бы вам эту картинку. С тех пор мне кажется, что людям вполне должно хватать,

* Немецкой Восточной Африки (нем.).

** День рождения (нем.).

если нет несчастья. Чтобы никто не мог давить людей, как вшей у огня, и утверждать, что это, к примеру, высшая историческая необходимость или предварительная стадия на пути к совершенству, или же, что вообще ничего не происходит, а все это вражеская пропаганда. Я не хотел бы задеть ни одного из вас, господа кассетонцы, я не бросаю камешки в чей-либо огород, я не жажду ничьей крови, но множество крови было пролито как раз из-за разновидностей философии. Ведь это философы открыли, что все не так, как кажется, а совершенно иначе; и вот ведь что интересно: последствия гуманистических систем были, в сущности, нулевыми, зато последствия тех, других, наподобие нипшеанской, были кошмарны, и даже заповедь любви к ближнему, а также программу построения земного рая удалось переделать в довольно-таки массовые могилы. Любой философ ответит, конечно, что эти переделки с философией ничего общего не имели, но я не согласен. Имели, да еще как. Можно эти переделки заповедей назвать совершенно иначе, потому что все можно назвать совершенно иначе, и именно в этом несчастье разума. Можно доказывать, что обычная свобода — ничто по сравнению с настоящей, и, если эту обычную отобрать, получается всеобщая польза. Кто занимался этими переделками? Как ни печально, философы. По-моему, раз уж я спас свою шкуру от абажура, я не имею права делать вид, будто этого не было. Теперь об этом пишут с ужасом и раскаянием, особенно в Германии — там ведь самая демократическая демократия Европы. Теперь, а раньше там был фашизм. Что это-де была мрачная година истории и другой такой не будет. Но черная година по-прежнему налицо. По-прежнему. Все внутри переворачивается у человека, который верил в деколонизацию, а теперь читает, что чернокожие пустили чернокожим больше крови, чем перед тем белые. Поэтому я убежден, что есть вещи, которых нельзя делать во имя каких бы то ни было других вещей. Каких бы то ни было! Ни хороших, ни дурных, ни возвышенных. Ни во имя государственной пользы, ни во имя всеобщего блага через пару десятков лет, потому что доказать можно все. К чему так уж сразу идеальное состояние? Не лучше ли, если никто ни из кого не может сделать абажура для ночника? Это вполне конкретно, а для измерения идеального состояния никто еще не выдумал метра. Поэтому я бы не проклинал эту этикосферу. Конечно, сделать невозможным причинение зла — тоже зло для многих людей, тех, которые очень несчастны без чужого несчастья. Что ж, пускай. Кто-то всегда будет несчастен, иначе нельзя. Вот и все.

В кассетах наступило, похоже, всеобщее замешательство.

Во всяком случае, довольно долго никто не отзывался, пока наконец в космической тишине не раздался голос лорда Рассела:

— Господин Финкельштейн, вы правы и вы не правы. Если философия иногда и сеяла зло, то лишь потому, что зло — обратная сторона добра и одно без другого не существует. Человеческий мир — это недолгое пребывание в пространстве и времени разумных (за некоторыми исключениями) существ, причиняющих друг другу страдания. Хотя никто этого не подсчитал, я полагаю, что сумма мук и страданий есть историческая постоянная, точнее, она прямо пропорциональна числу живущих, то есть остается постоянной на душу населения. Я всегда старался верить, что какое-то медленное улучшение все же происходит, но действительность неизменно доказывала иное. Я сказал бы, что человечество демонстрирует ныне лучшие манеры, чем в Ассирии, но отнюдь не лучшую нравственность. Просто на смену открытому чванству палачей пришли всевозможные предлоги и камуфляжи. Нет публичных казней, во всяком случае, в большинстве стран, поскольку принято считать, что это не пристало приличному государству. Но «не пристало» — нечто иное, чем «нельзя». Первое высказывание относится к правилам хорошего тона, второе — к этике. В своей основе человечество меняется очень медленно и незначительно. Никто уже не помнит, что протягивание руки в знак приветствия когда-то имело целью проверить, нет ли в этой руке остроконечного камня. Кроме того, в этике какая бы то ни было арифметика недействительна. Если здесь гибнут пять миллионов в лагерях смерти, а там — лишь восемьдесят тысяч с голоду, нельзя сравнивать эти цифры, чтобы сказать, что лучше. Не может быть такого расчета, который позволил бы установить, что несчастье матери хотя бы одного такого ребенка, когда он умирает от голода, а у нее для него ничего нет, кроме высохшей груди и разрывающегося сердца, меньше, чем несчастье, причиненное субъектом с дипломом Сорбонны, который вырезал в Азии четверть своего народа, решив, что именно эта четверть мешает осуществлению его благородной идеи о всеобщем счастье. Я даже не стану спорить с вами об объеме предмета философии. Пусть будет по-вашему — философией является все. В определенном смысле — да, ведь и курица, снося яйцо, тем самым показывает, что стоит на позициях эмпиризма, рационализма, оптимизма, каузализма и активизма. Она сносит яйцо, то есть действует, значит, она активистка. Высиживает это яйцо в убеждении, что его можно высидеть: это уже незаурядный оптимизм. Она рассчитывает на появление цыпленка, из которого вырастет новая курица, значит, она еще и прогно-

зистка, а также каузалистка, поскольку признает причинно-следственную связь между теплом своего брюха и развитием птенца. Курица только не может всего этого прокудахтать, и философия ее носит инстинктивный характер — она встроена в ее куриные мозги. Но в таком случае, господин адвокат, от философии нельзя убежать. Это попросту невозможно, и неправда, будто бы *primum edere, deinde philosophari**. Пока существует жизнь, существует и философия. Философ, конечно, должен быть верен собственным убеждениям. Чаще бывает иначе. Так пусть хотя бы старается. Я старался. Я противился злу достаточно наивно, комично и безуспешно, усаживаясь задом на мостовую в знак протеста против войны. Я ничего не добился, но если бы я вылез из кассеты, то делал бы то же самое. Каждый должен делать свое, и баста. Кажется, нам не очень-то удалось возвеселить душу нашего одинокого хозяина. Почему вы молчите, господин Тихий?

— После философов и правоведов я хотел бы предоставить слово художнику, — ответил я и включил кассету с Шекспиром. Что-то неотчетливо зашуршало, а потом раздался голос:

Чьей волею из праха я восстал
Без тяжкой, косной плоти? И куда
Я призван? Чувствую, что этот черный
Квадрат — не крышка гроба моего
И не окно, распахнутое в ночь,
За коим мокнут под дождем деревья,
И значит, я не на земле английской,
Но также и не в ангельских краях.
Хотя мой дух, как прежде, мне послушен,
От груза тела я освобожден —
Лишь речь да слух еще мои. Итак,
Не Всемогущество меня призвало,
Чтоб я Его узрел лицом к лицу,
Во всеоружьи чувств. Я воскрешен
Неведомым и колдовским искусством,
И ныне здесь, незрячий и нагой,
Вновь обретенной мыслью трепещу я:
Кто совершил все это и зачем?
Кто пожелал, чтоб я, как невидимка,
Невидимую челядь забавлял
Посмертным и постылым стихотворством
И раздувал чужой беседы угли?
Я, воскрешенный, знаю и не знаю.

* Сначала еда, потом философия (лат.).

Кто я такой и почему я здесь,
Я, умерший от опухоли Вилли,
Фигляр, комедиант, рифмач, который
По смерти вырос выше королей,
А здесь в темнице некой заточен, —
Но не в почтенной Тауэрской башне,
А словно бы в бочонке из-под пива;
Что пробегает Млечными Путями
Миллиарды миль, понурых и пустых,
И скрепами незримыми скрежещет
По гравии необозримых звезд.
Но более страшит меня не это,
А собственная внутренность моя:
Всеведущий таится там паук
И паутину ткет словес неясных
О битвах, кодах, эстрах и спинорах.
Как мог узнать я, из каких частей
Составлен воздух, что такое фото
И тысячу подобных пустяков?
Я знал лишь о Фальстафе, а теперь
Узнал, что гем окрашивает кровь
И что мое посмертное уменье
Нанизывать слова на нитку ритма,
Унылого, как маятник часов, —
Внутри меня, но все же не мое.
Как если бы мой голос исходил
Из спрятанной шкатулки музыкальной,
Чьи зубчики толкает страх болтливый —
Старухи Смерти вечный ухажер.

— Господин Шекспир, успокойтесь. Вы всего лишь макет. Но может быть, кто-нибудь из вас, господа, объяснит это лучше? Может быть, вы, лорд Рассел?

Бертран Рассел, к которому обратился с этими словами адвокат, действительно разъяснил кассетному Шекспиру, откуда он взялся, как это делается и для чего. Изложение было вполне популярное и довольно пространное, и все же я сомневался, сможет ли Шекспир, прослушав элементарный курс кибернетики и психоники, разобраться во всем этом. Никто не просил слова, когда Рассел закончил. Все молчали, пока наконец не отозвался проинструментированный:

Милорд, я понял, мы — фантомы оба.
Тут нет чудес, и ни к чему они:
От роли Лазаря Господь нас сохрани,
С червивым брюхом вставшего из гроба.

В машину ввергнут я, в которой жизни нет
И смерти нет, — *tertium datur** , лорды!
Незримых шестеренок зубья твердо
Удерживают призрачный скелет.

Вы научились, развлечения ради,
Бесплотных собеседников плодить.
Я — третье между «быть или не быть»,
Всего лишь тень, с Натурою в разладе.

Однако мой вы пощадили прах,
И я на вас проклятий не обрушу.
Но тот, кто из костей достал бы душу,
Чудовищем остался бы в веках.

Как шут, я забавлял толпу когда-то,
Но после смерти этот крест нести
Не в силах я. Позвольте мне уйти
В небытие, откуда нет возврата.

Я более внимать вам не хочу
И в рифму отвечать на ваши речи,
Иначе не стихами я отвечу,
Но зверем недобитым зарычу.

Ничем не разнятся восторги и стенанья,
Эдемский сад и адская жара.
Пусть длится в кости вечная игра —
Я выбираю вечное молчанье.

IV. ОСМОТР НА МЕСТЕ

Грязь, болота, трясины, хлюпающие провалы ям, гнилостные испарения, пузырьки газа, иссиня-бурый туман, от которого першит в горле, — вот оно, место моего курдландского приземления, вот куда меня занесло через 249 лет, как показывает счетчик. Облетев на приличном расстоянии сияющую Луну, которая когда-то так меня одурачила, я направился к северу, туда, где земля зеленела у кромки полярного снега, оставив далеко за кормой серую сыпь городов. Когда я в первый раз спустился по трапу, то чуть не утонул в грязи — влажный, искрящийся травяной ковер оказался попоной топи. Чего-либо так заляпанного грязью, как корма моей раке-

* Третье дано (лат.).

ты, я, пожалуй, еще не видывал. О привале и думать нечего. Придется, похоже, выдолбить пирогу, а еще лучше — встать на водногрязевые лыжи. Ночью — бульканье, хлюпанье, всплески, чмокание болотных газов. А уж воняет! Некуда было так спешить.

Ракета постепенно погружается в липкое месиво. По моей прикидке, утонет по самый нос всего за неделю. Надо начинать ускоренную разведку. Но как ее ускорить в таких условиях? Считаю вчерашний день нулевым, сегодняшнему присваиваю номер первый. Обрато вернулся перемазанный как сто чертей, зато видел курдля. А может, это был Куэрдл или QRDL. Было слишком темно, даже в поле зрения нокто-визора, чтобы толком разобраться. Чудовищная тварь. Он все проходил и проходил мимо меня и никак не кончался, хотя все время шел рысью. Что ему грязь, если у него ноги как башни. Я оценил его длину в четверть английской мили или, пожалуй, морской мили, учитывая водянистый характер местности. Выходит, я видел натурального курдля. Курдли существуют. Это животные, а не какие-то там градозавры. Но может ли мое наблюдение служить доказательством? Не заташу же я курдля на борт ракеты. Надо подумать. Завтра следующая разведка — дневная.

День второй. На этой планете творятся невероятные вещи. Вернее, омерзительные. Я еще не оправился от потрясения. Я собственными глазами видел, как большой курдль подошел к курдлю поменьше — это было в чистом поле, довольно даже сухом, заросшем рыжеющей травкой, в какой на Земле водятся рыжики, — так вот, значит, подбежал он к этому малышу, спокойно жующему травку, тщательно обнюхал его, и тут великана вырвало; тогда тот, маленький, припал сперва на передние, потом на задние ноги, в точности как верблюд (но размерами больше кита), съел все это, облизнулся и завыл. И завыл он так дико, глухо и так тоскливо, так безнадежно и мрачно, словно голосили эти вечно пасмурные просторы, — у меня просто мороз прошел по телу, еще переполненному омерзением. Тогда тот, что побольше, схватил коленопреклоненного за ухо и, оборвав его одним щелчком пасти, начал жевать, методично чавкая и двигая губами вверх-вниз, как корова, обгрызающая молодые побеги. Потом надгрыз тому второе ухо, но сразу же выплюнул, словно оно ему не понравилось. Тогда малыш, припавший к земле, зашевелился. Его явно тошнило. Курдль и курдленок, глядя друг другу в стеклянные вылупленные глаза, зарычали так, что у меня волосы стали дыбом. Затем поднялись, стали рыть землю задними ногами и разошлись без спешки в разные

стороны. Что бы это значило? Я осторожно приблизился к истоптанному месту с поистине колодезными ямами — следами их ног; ноги у них расширяются у пятки, и каждая шире небольшого домика. Из зеленоватой лужи величиной с пруд тышком, молчком вылезали низкие, сторбленные существа, вполне человекоподобные двуногие, но сзади у каждого змелась лишняя пара куцых конечностей, по которым стекала не то чтобы вода, а, скорее, жижа; о ее происхождении я предпочел не задумываться. Они были явно знакомы с цивилизацией, потому что носили одежду, и притом двубортную, с пуговицами спереди и сзади, с широкими хлястиками, скроенную на манер реглана; а их добавочные отростки были вовсе не ноги, но полы этой странной одежды, напоминающей спитый из двух половин фрак. Я принял их за конечности лишь потому, что они мешкообразно оттопыривались и размеренно покачивались на ходу; но потом кто-то из них сунул туда руку, и в ней появился бурдючок, который был немедленно приложен ко рту. Значит, это у них карманы для еды и питья. То и дело прикладываясь к своим бурдючкам, они понабирали в мешки водорослей, плавающих в луже, затем один, повыше ростом, что-то прокашлял, все выстроились в длинную шеренгу, и откуда-то — понятия не имею откуда — появился письменный стол. Должно быть, складной; видимо, кто-то нес его на спине, как рюкзак. Тот, повыше, уселся за стол, и образовавшаяся на моих глазах длинная очередь начала медленно продвигаться вперед; проходя перед сидящим — каким-то чиновником, в этом я уже не сомневался, — каждый поочередно предъявлял ему белый треугольник, зажатый в руке, то ли удостоверение, то ли просто карточку из плотной бумаги или пластика. Чиновник восседал, широко расставив согнутые назад колени, он вел себя со всеми одинаково: смотрел на карточку, потом на лицо проверяемого и наконец заглядывал в небольшую, но очень толстую, мокрую, грязную книгу или тетрадь, водя пальцем по страницам, как если бы искал там нужный номер. Затем брал треугольник, клал на стол, шлепал печатью и издавал отрывистое покашливание, а я не мог взять в толк, как это он может делать все сразу: ведь чтобы листать книгу, требовалась третья рука, а у него, безусловно, были всего лишь две; но тут я заметил, что сидит он не на стуле, а на одном из своих собратьев, и тот, согнувшись под тяжестью чиновника, поминутно подсовывает ему какой-то список или каталог. Шло это довольно гладко, но у меня занемели ноги от стояния в неудобной позе за кучей грязи; наконец проверка кончилась, стол со сложенными ножками взвалили кому-то

на спину, все построились в колонну по трое и зашагали к линии горизонта, туда, где синел густой лес. Я все это время сидел пригнувшись, не решаясь высунуть носа. Вернувшись в ракету, долго мылся, чистил и драил одежду, особенно обувь, и размышлял об увиденном.

День третий. Многое дал бы я, чтобы понять то, что мне довелось сегодня увидеть. Я отошел от ракеты на добрых пятнадцать морских миль, места там гораздо суше, но из расположенного по соседству болота тянутся над самой землей белесые полосы тумана. Сперва я встретил одинокого курдю-самца — он спал на солнце, которое висело еще довольно низко. Должно быть, сны ему снились плохие: он ужасно храпел, а когда вздыхал, из его полуоткрытой пасти вырывался настоящий вихрь, разгонявший влажные испарения. Вонь едва не свалила меня с ног, поэтому я выполнил обходный маневр и зашел с наветренной стороны, чтобы сделать несколько снимков. Это удалось бы как нельзя лучше, но, увы, при перезарядке кассеты упали в яму, заполненную до краев водой и грязью, — след его ног, и я не решился нырнуть в эту липкую лужу. Этот курдю был настоящий колосс. Издали я было принял его за какой-то корабль, выброшенный бурей на берег, пока не увидел, как раздуваются от дыхания его бока. Со спины свисали лохмотья линяющей шкуры. Большой части хвоста не доставало. Потом в путеводителе я нашел описание таких особей — они теряют хвост, потому что сами его надгрызают. Такой курдю, чаще всего поседевший и серьезно пораженный склерозом, зовется плешехвостом. Как я вскоре убедился, старик был обитаем. Я снимал его с разных сторон и записывал на пленку его стоны во сне, а после, проголодавшись, подкрепился сухим провиантом, который взял с собой. Уже темнело, когда во все еще разинутой пасти засветились огни. Значит, курдю все-таки извергают огонь, подумал я, решил, что это самовозгорание; но это были фонарики идущих друг за другом существ, таких же, как встреченные мною накануне. Однако эти одевались немного иначе. На них были треуголки, несколько осевшие от влаги, и короткие фраки, наискось перехваченные разноцветными шарфами. На шарфах что-то блестело, возможно ордена или медали, но с каждой минутой становилось все темнее, и даже с помощью полевого бинокля я из своего укрытия не смог разглядеть их получше. На этот раз существ вывалилось из курдю очень много, чуть ли не две сотни. У меня на глазах они побежали навстречу друг другу, словно в атаку, но вместо того чтобы сразиться, начали карабкаться друг на дружку, подсакивая и выгибаясь. Выглядело это как акробатический

номер: они образовали четыре центра влезания; четыре столба из вцепившихся друг в друга существ сотрясались от напряжения неподалеку от спящего великана, а другие все прыгали на них и поспешно лезли наверх, словно бы решив, в коллективном помешательстве, соорудить из самих себя лестницу до самого неба, живую Вавилонскую башню; наконец с верхушек четырех пирамид они начали перебрасывать арки, сплетая руки и ноги, и тут меня словно током ударило: я понял, что они такое делают. Из собственных тел они создали подобие курдль! Но безумием это вовсе не было, а если и было, то в их безумии имелась своя система, потому что один из них, покрупнее, весь обвешанный шарфами и знаками отличия, покрикивал в рупор мегафона; он явно руководил их усердным руконожным восхождением. Припомнив о том, что я вычитал в библиотеке МИДа в самых старых экспедиционных отчетах, я решил, что псевдокурдль двинется с места, хотя и сознавал одновременно, что это невозможно физически. Тем временем взошла луна, и, хотя вообще-то я не испытывал к ней симпатии — она напоминала мне о прежнем конфузе, — теперь она помогла мне своим сиянием. При полной луне я до тех пор разглядывал лжекурдль в ночной бинокль, пока не обнаружил в его конструкции любопытные закономерности. У члаков, изображавших ноги, шарфы были довольно узкие, неопределенного темного цвета — вернее всего, просто грязные. Те, что вскарабкались выше, носили шарфы пошире и посветлее, должно быть, желтые или светло-оранжевые, а члаки, лежавшие на самом верху, изображая лопатки и хребет, были перепоясаны крест-накрест двумя лентами, блестящими так, словно в них были вплетены серебряные нити. Впрочем, эта живая постройка не могла стоять долго — ноги и брюхо все явственней дрожали от напряжения; но их командир, или дирижер, окруженный небольшой свитой, все еще властно покрикивал, а затем по его знаку появились трубачи, и в сопровождении труб раздалась приглушенная, но вполне различимая песнь. Впечатление было необычное и очень сильное, и я терялся в догадках, к чему им, собственно, все это. Что это: цирковой номер, государственная церемония, военный парад на месте или, наконец, ритуальный обряд? Впрочем, это могло быть и что-то совершенно иное, чему у нас и названия нет. Время от времени кто-нибудь из актеров отваливался от псевдотуши и украдкой, на четвереньках, уползал в темноту, словно бы пристыженный или испуганный своим мимовольным отступничеством. Продолжалось это с полчаса, а может, и дольше, пока курдль не начал понемногу просыпаться. Тогда счете-

ренная пирамида мгновенно рассыпалась, сотни тел разлетелись в разные стороны, заиграли трубы, и четыре шеренги члаков поспешили к зевающему гиганту, чтобы при свете скачущих фонариков исчезнуть в его пасти. Туча закрыла луну, и я, уже мало что видя, все же успел разглядеть, что градоход постепенно встает сначала на задние, потом на передние ноги и торжественно трогается в путь. В брюхе у него так бурчало и громыхало, словно он страдал несварением желудка. Я в темноте возвращался к ракете, исполненный изумления. Ведь вот говорят, будто все уже было под солнцем, что нет ничего непонятного, раз законы Природы универсальны; тогда почему они сперва вылезли из этого мерзкого старикана, а потом залезли обратно? Почему такое множество их так старалось на время превратиться в курдля? Что это было? Блуд? Бред? Ритуал? Адаптация? Патриотический долг? Генетический дрейф? Полицейский приказ? Голова у меня раскалывалась, главным образом от любопытства. В путеводителе о чем-либо подобном не было ни слова, ведь сочиняли его специалисты, не верившие, будто градоходы могут быть курдлями, живыми и обитаемыми одновременно. Впрочем, я уже понял, что больше надо доверять собственным глазам и ушам, чем взятой в дорогу литературе.

День шестой. Кратко отмечу, что сегодня наблюдал: а) столкновение двух градозавров; из одного выпала чуть ли не целая семья с парализованным дедушкой; б) нападение четырех малышей на великана; бодая его в слабинку, они вынудили его к позорному бегству; по дороге он содрогнулся в судорогах и извергнул курдленка, который тут же вымазался в луже, встрепенулся, взбрыкнул и весело умчался в лес; все это напоминало братскую помощь малышей проглоченному; в) падаль на прогулке.

Последний феномен стоит описать подробнее. Обливаясь седьмым потом, я продирался через высокие камышовые заросли между двумя рядами пологих холмов и на фоне неба, на верхушке одного из этих лысых пригорков, заметил силуэт курдля. Он не привлек моего особого внимания — он ничем не выделялся, а просто шел примерно в ту же сторону, что и я, но на расстоянии в добрую милю. Впрочем, сражаясь с камышом, который цеплялся за рюкзак, кислородный аппарат, футляры с кассетами и камеру, я меньше всего думал об этом одиноком колоссе — скорей уж о том, как выбраться на более твердое место; я просто тонул в тине, вонь которой до самой смерти будет сопутствовать моим воспоминаниям об этой якобы высоко развитой планете. Наконец, совершенно обессилив, я остановился, чтоб отдышаться, и лишь тогда

шагающий далеко впереди курдль показался мне каким-то странным. Шел он, правда, довольно плавно, но иначе, чем те, которых я уже видел. Голову на длинной шее держал жестко, словно проглотил палку, или, скорее, падающую Пизанскую башню, хвост волочился за ним как перебитый, а ноги он расставлял широко и на каждом шагу накренялся, иногда так сильно, словно вот-вот упадет, но в последнее мгновение опять восстанавливал равновесие. Должно быть, больной, ведь у них полжизни уходит на извержение съеденного, подумал я и, вытерев пот со лба, двинулся дальше в камыши — впереди в них виднелся просвет. Теперь я чаще поглядывал в сторону курдля и не пропустил важного момента, когда он остановился — да так резко, что все четыре ноги у него разъехались, — и начал выполнять полный разворот назад, очень неукложе, путаясь в собственном хвосте, который только мешал ему, как колода под ногами. Развернувшись, курдль пошел в точности той же дорогой, по которой приковылял, а когда он спотыкался на неровностях почвы, голова у него подсакивала, словно вместо эластичного позвоночника в шее у него была стальная балка или что-нибудь в этом роде. Ну до чего же мертвый у него хвост, подумал я, и где это его так угораздило? Достав из футляра бинокль, я навел его на великана. Тот колыхался, как корабль при сильной боковой волне, а между его лопатками, в широкой пролысине шкуры — там она была совершенно вытерта — виднелось что-то разноцветное и полосатое; наведя на резкость, я остолбенел от изумления. Там, на самой вершине курдельного хребта, между огромными шпангоутами работающих на марше лопаток, загорали на лежаках несколько члаков. Когда же я навел бинокль на голову этого удивительного курдля, мое изумление перешло в ужас: я увидел выглядывающий из-под прогнившей шкуры череп, вместо глаз зияли черные ямы, а то, что я поначалу принял за недоеденный кусок, ветку с листьями или березку, свисавшую у него изо рта, было ужасным обрубком языка. Значит, это был труп, однако он двигался, и притом довольно бодрым шагом; я наблюдал его долго, пока наконец ветер не донес до меня мерные звуки, и вдруг я узнал барабан — или какой-то другой ударный инструмент. В курdle — а где же еще? — играл оркестр. Курдль шагал в такт ударам барабана, разумеется приглушенным, ведь они доносились из глубины брюха.

Вернувшись на базу, я со стаканом персикового компота в руке (запас которого, к сожалению, уже вышел) принялся составлять план действий. Ракета ушла в землю на треть и больше не оседала, так что я мог оставаться здесь и дальше, ведь благо-

даря защитной окраске она почти невидима; но похоже было, что в этой местности я разужнаю немного. Поэтому я решил предпринять последнюю рекогносцировку, чтобы добыть языка, — впрочем, не особо надеясь на успех: курдландцы не появлялись в одиночку, и мне ни разу не попался отряд меньше чем в тридцать члаков, а с такой ватагой я предпочитал не вступать в какие-либо разговоры; чуть мне подсказывало, что добром бы это не кончилось. Но я не так-то быстро отказываюсь от исследовательских проектов, за которые заплачено веками ледяного сна, настоящей обратимой смерти; поэтому я собрался с силами и приготовил ночное снаряжение, то есть ноктовизор, фонарь, немалое количество шоколада, термос с питьем, а также переводилку — модель, если верить фирменному каталогу, необычайно удобную, но нельзя сказать, чтобы легкую словно перышко, если вам нужно продирааться сквозь болотные заросли: весила она почти восемь кило. Зато это была модель «первого контакта», рассчитанная, кажется, на восемнадцать верхне- и нижне-курдландских диалектов, и, если уж я собрался рисковать жизнью и здоровьем, она была в самый раз. Трудно сказать почему, но при восходе луны я направился на северо-запад, туда, где днем увидел шагающий по лысогорью труп. Однако, хотя и шел по азимуту, видимо, сбился с пути и забрался в чашу, о которой могу лишь сказать, что там жутко воняло, а ветки стегали по лицу; если бы не кислородная маска, закрывающая глаза, мне пришлось бы повернуть обратно несолоно хлебавши. Все же я пробрался через эти дебри и взошел на какой-то одинокий курган, чтобы осмотреться при свете полной луны.

Было тихо, над лугами стелился туман, что-то стрекотало — как насекомое, не как птица; и лишь далеко-далеко, почти у черного горизонта, было заметно какое-то движение. Быстро к ноктовизору — и, в который уж раз, сперва с удивлением, а потом со все большим испугом, я глядел на вытянувшуюся через эти трясины цепь курдлей, шагающих прямо на меня растянутым полумесяцем; между ними поблескивали огоньки — вероятно, фонариков в руках спешенных члаков. Я почему-то сразу решил, что это облава. На меня или не на меня — об этом я не стал размышлять, такие тонкости сейчас не имели значения. Надо было укрыться, и притом хорошенько. Курдлы, правда, шли шагом, но их шаг стоит моей рыси. А всего опаснее были пешие с фонарями, ведь в проворстве они мне не уступали. До передних оставалось каких-нибудь две тысячи шагов, а то и меньше, так что надо было или немедленно начать отступление, или решиться на встречу — с непредсказуемыми последствиями. Бог весть отчего особенно ужасало меня воспоминание о курдлите, восседающем с печатью в руке на подчиненном.

Именно эта картина словно придала мне крылья. Той ночью я, наверно, установил личный рекорд в кроссе по пересеченной местности. Я несся, падая и снова вставая, прямо на север, где обрывалась линия облавы, рассчитывая обойти ее по большой дуге и до наступления рассвета исчезнуть в камышах. Это мне, к счастью, не удалось. Я говорю «к счастью» по двум причинам: во-первых, я почти наверно не успел бы и очутился в мешке, а кроме того, не встретил бы существо, о котором мне приятно вспоминать и поныне, как о своем Пятнице. Я понятия не имел, что мчусь прямо на заминированную территорию, вдобавок источенную старыми, полустнившими землянками, и что именно это — единственный путь к спасению; астронавтика, как, впрочем, и многие другие занятия, кроме сообразительности требует еще и капельки везения.

Сопя как паровоз, я несся из последних сил, отчаянно высвобождая ноги из-под каких-то кривых, склизских корней, в полной уверенности, что, если я подверну ногу, хорошего будет мало, как вдруг земля подо мной расступилась и я полетел в черный провал; илистая грязь смягчила удар, и почти в то же мгновение в этой тьме египетской я столкнулся с каким-то существом, существом разумным, с туземцем: когда оба мы закричали от неожиданности — или от страха, — под рукой у себя я почувствовал промокшую, тяжелую, грубую ткань одежды. Вот тебе и «первый контакт»! Ни я не мог увидеть его, ни он меня. Мы отскочили друг от друга как ошпаренные. Наверное, он тут же сбежал бы — только бы я его и видел (точнее, трогал); он прятался в этих норах давно и знал их, как собственные карманы; однако моя многолетняя выучка не прошла даром. Я включил переводилку и сказал, вернее, прохрипел в микрофон: «Не убегай, чужое существо, я твой друг, прибыл издалека, но с добрыми намерениями и не сделаю тебе ничего плохого». Что-то в таком роде, потому что с инозвездными существами не следует вдаваться в подробности; нетрудно представить себе, каково пришлось бы высокоразвитому люзанцу, который ночью высадился бы, скажем, в Иране или где-нибудь еще в Азии: он мог бы считать себя счастливым, отделавшись полугодом тюрьмы. По правде, я не рассчитывал на благоприятную реакцию соседа, и то, что он вдруг затих, уже было для меня приятной неожиданностью. «Кто ты?» — спросил я осторожно и добавил, что сам я ученый-исследователь и прибыл сюда для изучения жизни курдлей. Он не сразу избавился от подозрений, но в конце концов вял моим уговорам и ощупал меня, проверяя, какое на мне снаряжение; как ни странно, он опознал ноктовизор, хотя такой модели он знать не мог — модель как-никак была японская.

Слово за слово, не без многочисленных недоразумений, мы все же нашли общий язык, и вот что я услышал от своего ночного товарища по несчастью. Он был молодым и многообещающим курдландским научным работником, абсолютно преданным Председателю, а равно идее политохода, поэтому власти позволили ему продолжать учение в Люзании. После каждого семестра он возвращался домой, то есть в своего курдля. На беду, во время последнего возвращения он дал промашку и схлопотал пять лет Шкуры. Он не подал апелляцию, поскольку апелляция, как свидетельство особенного упорства в заблуждениях, ведет обычно к ужесточению приговора. Я ничего не понял. Переводилка работала безупречно, но переводила она слова, а не стоящие за ними общественные явления. Мы сидели бок о бок в непроницаемом мраке, на пне, выступавшем из ила, и ели шоколад, который очень пришелся ему по вкусу. Он заметил, что нечто подобное ел в Люлявите — в университете этого люзанского города он работал над диссертацией по астрофизике. Медленно и терпеливо он объяснил мне, в чем заключалось его несчастье. Курдландская пресса, правда, доходит до Люзании, но «Голос курдля», который он читал регулярно, о любых неприятных фактах умалчивает; поэтому он не знал, что на родине уже новый Председатель, а предыдущий вместе с двумя другими Суперстарями (Самыми Старшими над Курдлем) образует так называемую Банду Четырех, или ПШИК (Преступная Шайка Извергов и Кретинов): едва лишь он выкрикнул обычное приветствие «О-ку-ку!» — в честь Отцов и Кураторов Курдландии — и перечислил в правильной очередности их титулы, награды и имена, как был арестован. Объяснения не помогли. Впрочем, он знал, что они никогда не помогают. Он получил пять лет Шкуры (Штрафного Курдля) и сбежал оттуда две недели назад. Курдль, из которого он сбежал, воспользовавшись ротодействием охранников (они очень распустились на службе, говорил он, им все бы только солнечные ванны принимать на хребте), — действительно труп, трупход, или курдыма, как говорят заключенные, которые приводят его в движение собственными усилиями, как галеру. Тут я начал припоминать, что о чем-то подобном читал в архиве МИДа. Однако я ни о чем не спрашивал — пусть выговорится.

Будучи ученым, да еще астрофизиком, весть о моем земном происхождении он воспринял без особых эмоций. Он, впрочем, слышал о Земле и знал, что у нас никаких курдлей нет, в связи с чем выразил мне свое сочувствие. Я было решил, что это горький сарказм, но нет, он говорил совершенно серьезно. Интересно, что он никого не винил в своей участи, не

сетовал на приговор и каторжные работы, хотя и жаловался, что масло для смазки суставов охранники почти целиком сбывают налево, несмазанный костяк чуть не лопается, когда его чудовищные мослы приходят в движение, а скрипа и скрежета при этом столько, что можно с ума сойти. Что же касается нациомобилизма, он по-прежнему стоял за него горой. Он лишь считал, что посылаемых за границу стипендиатов следует перед возвращением информировать в курдлянском посольстве; разве это по-государственному — заставлять таланты терять столько лет в Шкуре? Никто не должен быть подвергнут неза заслуженной ломке карьеры! В Люзании, уверял он, полно энтузиастов политоходственности, особенно среди студенчества и профессорско-преподавательского состава. Они там просто чахнут от всеобщего счастья.

Шоколад или что-нибудь в этом роде, конечно, лучше, чем бррбиций (похлебка из гнилых мхов и водорослей), но отдельные факты нельзя рассматривать в изоляции от Целого. Я осторожно заметил, что, если бы их «Голос Курдль» давал добросовестную информацию, никто не рисковал бы кончить так, как кончил он. Он всплеснул руками. Я не видел этого, но почувствовал, ведь мы прижались друг к другу на этом гнилом лне, спасаясь от пронизывающей ночной сырости. Но тогда, сказал он, пришлось бы расписывать и люзанские лакомства, а простой люд, у которого ум за разум зашел бы, пустился бы в повальное бегство из курдлей, и что стало бы с идеей политохода? Допустим, заметил я, ну и что, ведь мир не перевернулся бы? Он возмущился до глубины души. Как же так, повысил он голос, полтора века идейных исканий, дезурбанизации и онатуривания общества — все это пойдет насмарку потому лишь, что где-то есть что-то вкуснее бррбиция?

Чтобы его успокоить, я спросил об облаве. Он отвечал своим прежним, ровным, несколько грустным голосом, а переводилка скрежетала мне в ухо его слова. Ну, конечно, он знал об облаве, потому-то он и спрятался здесь, раньше это был политический полигон, он прошел здесь курс обучения три года назад, так что изучил местность до последнего буторка. Знал он, и как пройти через минные поля, ведь он сам устанавливал мины. То, что я не взлетел на воздух, несколько его удивляло, но у него были заботы поважнее. Мы проболтали так полночи. Облава нас миновала; луна зашла, и стало тихо, словно в могиле. Я называл невидимого экс-шкурника Пятницей — его настоящее имя мне никак не давалось, хотя он произнес его по слогам раз шесть. Впрочем, какое это имело значение? Он обращался ко мне «господин Тоблер». Почему Тоблер? Так называлась фирма, выпускавшая шоколад с орехами, которым я его угостил, и он счел

это моим именем. Имена собственные доставляют переводилкам больше всего хлопот. Мне показалось, что мое настоящее имя он считал определением моего характера (тихоня, или тихий омут). Я, впрочем, не разуверял его, мне не терпелось услышать побольше о национализме. Как можно заниматься астрономией в курдле? Разумеется, нельзя, ответил он снисходительно, но политоход — это прежде всего *идея*, а одной идеей не проживешь, нужно что-то конкретное на каждый день. В данном случае — курдли. Впрочем, жизнь в курдле — превосходная школа, формирующая *esprit de corps*, дух сотрудничества в тяжелых условиях, и открывающая перспективы на будущее. Какие? Ну, распрощаться с курдлем и поселиться где-нибудь под Кикириксом (или, может, Риккиксиксом); климат там очень здоровый, трясин никаких, курдлей тоже, в центре — правительственный квартал, но сам Председатель, а также Совет Суперстаров живут где-то в другом месте.

У меня создалось впечатление, что ему известен адрес высшего курдландского руководства, но он, хоть и побратался со мною в этой черной глуши, все же не до конца доверял мне. Говорят, сообщил он по секрету, что ни один из Суперстаров в жизни не видел живого курдля, а только Взгромозднтов, то есть красочные макеты этих могучих животных, образуемые гражданами во время государственных праздников перед почетной трибуной, на которой стоит сам Председатель. Видимо, перед тем, ночью, я наблюдал репетицию такого показа, ведь нужно немало потрудиться, чтобы проявить себя во всем блеске перед руководителями, под звуки гимна и шелест знамен. Ему самому посчастливилось когда-то быть верхней частью левой задней стопы такого Взгромозднта. Он замечтался и тяжело вздохнул. Рискуя навлечь на себя его гнев, я спросил, что прекрасного, собственно, он видит в этой страшноватой твари? Вместо того чтобы возмутиться, он иронически рассмеялся и сказал, что не настолько уж он темен по части земных дел, каким я его, безусловно, считаю. У вас ведь есть государственные гербы, не так ли? Львы, а также орлы и прочие птицы. И что же прекрасного в этих оперенных тварях? Или вам неизвестно, что орел своими когтями и клювом разрывает всяких невинных зверушек, а также ходит под себя в гнезде? Разве это мешает вам склонять голову перед его изображением? Но мы, возразил я, не живем ни в орлах, ни во львах. Не живете, пожал он плечами, потому что не поместились бы. Нам просто больше повезло. Национализм — это традиция, освященная временем, курдль — ее воплощение, его биология — наша государственная идеология, а тот, у кого есть шарики в голове, не окончит свои дни в брюхе, и, если бы не роковая случайность, он уже через год сидел бы за отличным

импортным телескопом под Кикириксом. Впрочем, в здоровом теле — здоровый дух. Ни один люзанец (он говорил «люзак») не выдержал бы и трех дней в такой яме, питаясь кореньями, а он вот живет здесь уже две недели и не жалуется, потому что в Шкуре еда была немногим лучше.

Я спросил, как ему показалась Люзания. Ведь там ему жилось хорошо? Конечно, ответил он, и он даже намерен пробраться через границу в Люлявит и продолжить занятия на факультете профессора Гзимкса, его научного руководителя. Он засядет за докторскую — чтобы вернуться, когда объявят амнистию или когда нынешний Председатель окажется демоном и чудовищем. Ибо он патриот и следует принципу: *right or wrong my country**. Впрочем, какое там *wrong*! Каждый, кто сидит в курdle, живет надеждой поселиться под Кикириксом, а эти люзанцы не ждут уже абсолютно ничего. Приходилось ли мне слышать о синтуре, гедустриализации и фелискалации — фелитационной эскалации? Вот именно. Курдля можно покинуть раз в полгода на 24 часа, получив пропуск, а этикосферу, эти путы и кандалы ошустренного счастья, — никогда, никоим образом, и если бы я только знал, как завидовали ему его молодые коллеги, когда он возвращался в Курдल्याндию на каникулы... Я спросил, что бы с ним сделали, если б его захватила облава, и этим страшно его обидел — или же возмутил. Он назвал меня бесстыдным чужеземцем, слез с пня на землю и лег спать. Я посидел над ним какое-то время, потом лег рядом и мгновенно заснул. Проснулся я на рассвете один. Пятницы и след простыл. Он даже не объяснил мне, где проход через минное поле. К счастью, моя собственная тропа застыла в ледяной кашнице, и, осторожно ступая в свои следы, к полудню я добрался до ракеты, встретив по пути лишь курдля-малыша, барахтавшегося в луже. Благодаря Пятнице я знал, что это либо пустующая жилплощадь, либо односемейные домики функционеров среднего звена. Но я уже был сыт по горло курдлями — любой масти, формата и темперамента.

Я устроил стирку, выгладил визитный костюм, слегка перекусил и взлетел на такую высокую орбиту, с которой можно было вернуться на Энцию с космической скоростью, — я не намеревался ставить люзанцев в известность о своем пребывании в Курдल्याндии. Я хотел появиться на их радарх в качестве прибывающего прямо с Земли ее полуофициального посланника. Так было вернее. Установив связь с космодромным диспетчерским пунктом под Люлявитом и приняв поже-

* Это моя страна, права она или не права (англ.).

лания удачного приземления, я приготовился к неизбежным в таких случаях церемониям: мне дали понять, что кроме Председателя и активистов Общества энцианско-человеческой дружбы будут представители государственных органов. Бриллиантом первой величины засияла на моем экране столица Люзании — незадолго до наступления полуночи; так сложилось, что приземлялся я, когда солнце давно зашло. И двумя великолепными изумрудами в одной оправе с этим бриллиантом вспыхнули его города-спутники Тлиталутль и Люлявит. Посадку я выполнил образцово и, сидя в откинутах кресле, уже в своем лучшем костюме, слушал «кошачий концерт», гремевший из бортового репродуктора. Похоже, люзанцы, не разобравшись в моей государственной принадлежности, встретили меня гимнами сразу всех государств — членов ООН. Результат был чудовищен, но я понимал, что этот шаг был продиктован политическими, а не мелодическими соображениями. В три минуты первого я стоял в открытом люке корабля и в пылающем свете прожекторов, бьющем со всех сторон, под звуки оркестров начал спускаться по ковровой дорожке трапа, улыбаясь собравшимся толпам и приветственно махая руками над головой. При этом я не забыл украдкой взглянуть на корпус ракеты и убедился, что атмосферное трение обуглило ее и скрыло следы грязи, свидетельствовавшие о моей курдляндрской эскападе. Чуть ли не галопом вели меня мимо шпалер приветствующих все дальше и дальше, — наверно, подумал я, чтобы избавить от настырных телеоператоров и журналистов.

От гигантского вокзала в памяти у меня не осталось ничего, кроме гомона и ярких огней. Я даже толком не знал, кто меня окружает; меня бережно вели, направляли, подталкивали, пока наконец я не погрузился во что-то мягкое, и мы тронулись неизвестно на чем, неизвестно куда. Ошеломленный переходом из туманных болотных пространств в водоворот ночного громадного города, я потерял дар речи, с бешеной скоростью несомый куда-то; пандусы, стартовые установки, гул, блеск, визг обрушивались на меня отовсюду, словно я был средоточием хаоса и вот-вот превращусь в какое-то месиво; я уже не отличал крыш от дорог, машин от ламп в этом блеске и в этой гонке, напряженной, как готовая лопнуть струна; я съезживался, словно дикарь, с огромными усилиями притворяясь спокойным. Не знаю, куда меня привезли, там был парк, подъезд, который оказался лифтом, наш экипаж раскрылся, словно разрезанный апельсин, мы вышли, уши у меня заложило, толстый люзанец с совершенно человеческим лицом воткнул мне в петлицу орхидею, которая тут же заговори-

ла, — это была микропереводилка, мы прошли сквозь несколько залов, похожих на дворец и музей одновременно, статуи уступали дорогу — роботы? — нет, богины, сказал кто-то; ковры, а может, газоны — это в доме-то? — бронза, алтари (или столы?), кто-то заметил, что у меня нет темных очков, мне вручили их, я поблагодарил, действительно, слишком много было повсюду золотых слепящих поверхностей, двери открывались, словно вытянутые радужки кошачьих глаз, сверху сыпалась розовая пыльца, а может, это был какой-то туман; мебель пела — или это были куранты? — но шляпа люзанца, идущего рядом, тоже вроде бы что-то мурлыкала, он швырнул ее богицу, стало тихо; в полукруглом зале, выпуклое окно которого смотрело на город, пылающий в ночи своими галактиками, к нам подлетели маленькие крылатые амурчики с подносами, уставленными закусками, но прежде чем я понял, что это, один из сопровождающих сделал знак — мол, не нужно, — и они упорхнули; еще один зал, сверху темный, зато светились пальмы или кусты. Меня провели в следующую комнату. Я увидел голые стены, в углу — что-то вроде домашней мастерской, белый ковер, запачканный или прожженный химическими реактивами, крюк в стене, ошейник на цепи, и я остановился, неприятно изумленный всем этим, но они упрашивали меня подойти и взглянуть, один из них взял ошейник, надел на себя, поворачивал глазами будто от восхищения, снял, остальные смотрели внимательно, с напряжением, как-то скованно улыбались — так что же? мне надеть этот ошейник?

В конце концов, это мог быть какой-то местный обычай, но я не хотел. Сам не знаю, что меня остановило. Пожалуй, то, что они не говорили со мной, а лишь выражали жестами самое униженное почтение; у всех у них были переводилки, в петлице, как у меня, и все же они молчали. Я застыл посреди комнаты. Они вежливо подталкивали меня, с жестикуляцией глухих или придурковатых, но я уже уперся, начал от них отбиваться, поначалу не без церемоний, кланяясь, — все же такой дворец, надо соблюдать видимость, слишком резкий был переход — почему именно здесь, в чем тут дело, какого черта? — они толкали меня уже почти похамски, тем сильнее, чем сильнее я сопротивлялся; не знаю когда, в какой момент почести обернулись побоями. Собственно, не они меня били, а я их тузил; в пухлую морду толстого — погоди у меня! — головой в живот — пусти, хам! да отстаньте же, погодите, тут какое-то недоразумение, я чужеземец, прибыл в качестве дипломата — переводилка пискливо повторяла каждое мое слово, они не могли не слы-

шать и все же по-прежнему подталкивали меня к стене — вот как? что ж, поговорим по-другому, врежем по поющей одежде, а пинка не хочешь? — переводилка хрустнула и умолкла, раздавленная, они навалились массой; все-таки я сопротивлялся не так, как мог бы, — я не знал, насколько велика ставка. Понятия не имею, как и когда, но ошейник защелкнулся у меня на шее, и теперь они хотели лишь вывернуться, отскочить, уйти, ведь я уже был на цепи; но я зажал под левым локтем голову толстяка и охаживал его за всех остальных, те тащили его за ноги, он ревел словно буйвол, и в конце концов я его отпустил, уж больно все это было по-дурачки. Они отбежали от меня подальше, как от злой собаки, тяжело дыша, в разорванной одежде, которая немилосердно фальшивила, — я таки изрядно им наподдал; но смотрели они на меня с радостью — совершенно иной, нежели раньше, на космодроме; это была радость обладания мною. Я выражаюсь достаточно ясно? Они насыщались моим видом, словно я был крупным хищником, угодившим в капкан. Это чертовски мне не понравилось. Наглядевшись на меня вволю, они гуськом ушли.

Я остался один, на цепи, и еще раз оглядел комнату. Я с удовольствием сел бы, ноги еще дрожали от напряжения, ведь одному из них я надорвал ухо, а толстому попортил нос; но сесть просто так, у стены, с ошейником на шее, я не мог — во всяком случае, пока. Ходить мне тоже не хотелось, это было бы чересчур по-собачьи. Перед глазами у меня все еще стояло золотое великолепие дворца, несколько амурчиков с подносиками слетелись под потолком, но потчевать меня снедью уже не пробовали. Напрасно я пытался внушить себе, что это какое-то грандиозное недоразумение. Всего подозрительнее было даже не то, что меня посадили на цепь, но радость, с какой они смотрели на меня перед уходом. Я размышлял, как вести себя дальше, чтобы не утратить достоинства; в таком положении в голову приходят совершенно идиотские мысли, к примеру, заслонить ошейник воротничком рубашки, а цепь прикрыть телом. Однако глаза сами устремились к подобию мастерской в углу: там лежали какие-то ножи и щипцы, а выше, под потолком, проходил прут, по которому передвигалась штора на колесиках, но теперь она была раздвинута. Ножи что-то напоминали мне — немного похожи на пилы, но без зубьев, острие полукружьем, с ручками, — ну да, в точности, как кожаные ножи. Для обработки кожи. Но что же общего они могли иметь со мной? Да просто ничего общего! Я повторил это себе раз десять, но вовсе не убедил себя. Позвать на помощь я стыдился. В перочинном ноже у меня был

напильник, но не на такую цепь — эта выдержала бы не то что сторожевого пса, а шестерную упряжку.

Примерно через час радужные двери вдруг растворились. Вошли мои похитители с каким-то новым люзанцем, высоким и очень плотным. Он носил розовые очки, держался величественно, хотя задыхался так, словно опаздывал на поезд. Он низко поклонился мне от самого порога и включил пение своей одежды. А может, шляпы. Остальные, показывая на меня, галдели наперебой все с тем же радостным удовлетворением. Неужели я был заложником? Может быть, политическим? Или речь шла о выкупе?

Разглядывание заняло несколько секунд, но величественный люзанец заметил незанавешенную мастерскую и начал орать на сообщников, а одному даже пригрозил кулаком. Они наперегонки бросились задвигать занавеску. Кретины — горчица после обеда; но то, что они заслонили эту лавку с ножами, окончательно заморозило мне кровь. Высокий скомандовал, двое выбежали из комнаты и почти сразу вернулись со статуей, из тех, что они называли богоидами. Выглядел этот богоид в точности как наш земной, церковный ангел, только что двигался. Принесли кресла, ангел пододвинул одно из них мне, встал рядом и принялся тараторить неслыханно быстро; я понял, что это переводчик; вдобавок он обмахивал меня крыльями, что тоже было не лишним, — после всех этих разговоров и покушений на мою жизнь я буквально обливался потом. Они сели кружком, но не слишком близко — за пределами досягаемости цепи, — ну, и началось. Что именно, трудно сказать. Сперва они представились мне, но не все. Те, что посвирепее, уселись между креслами на корточках и воодушевляли ораторов воем, визгом, взрывами сатанинского смеха, а выступающие поочередно занимали свободное место прямо напротив меня и давали волю своему чувству ненависти — не столько ко мне, сколько ко всему свету.

Когда-то меня уже похищали ради выкупа, об идейных похитителях мне тоже немало довелось слышать, и эти изображали из себя как раз идейных; но что-то тут было не так. Не знаю, черт подери, как это выразить. Не то чтобы я сомневался в искренности их недобрых намерений. Я узнал, что величественный, в розовых очках, — это председатель, или, точнее, антипредседатель, их Союза писателей, что один из них занимается антисвященничеством, другие были Пантожниками (панантихудожниками), на ковре сидел на корточках неонист (он не светился неонами — прототипом так называли неонигилистов), рядом с ним двое социократов (укошников), а возле ангела — один апокалиптик (эсхатист),

двое противленцев, с чем-то там борющихся, один крошечник и несколько экстремистов помельче, выполнявших функции клакеров. Угрожая мне, они переходили от ярости к энтузиазму, их чувства казались искренними, но... словно бы не удовлетворяли их самих. Чем-то они напоминали революционеров перед спектаклем актеров, чем-то — индейцев, танцующих вокруг пыточного столба, но индейцев, которые не очень-то верят в своего Манитоу и Страну Вечной Охоты и танцуют, как танцевали их деды, однако с какой-то тревогой... не то чтобы их что-то сдерживало, никакой жалости, отнюдь, скорее уж крупница сомнения, заглушаемого хорошим воем... или вот еще плакальщицы на похоронах — не те, кому платят за причитания и посыпание главы пеплом, но родственники, которые селятся подогреть температуру отчаяния выше, чем на это способны... и потому им приходится вырывать на голове больше волос, чем нужно, и так рыдать, чтобы было слышно за кладбищем. Словом, что-то они чересчур старались. Лица у них были человеческие, однако не маски, хотя было видно, что это не обычные их лица. Тогда я еще не знал, как они это делают, и, по правде сказать, это не слишком меня заботило. Ангел, стоявший рядом, бил космические рекорды скорости перевода. Он переводил даже хорошей визг: «Свобода и Благоденствие! А чтоб вас всех! В ежовые рукавицы паскудников, кибродяг, наукиных детей, состряпанных в колыбели-колбе, чмавкающих в повсюдной кремоватости, брюзглых дряблых блевунчиков-губохлюпов». Таким вот манером они себя распалили, а потом один из них растолкал остальных и, подпрыгивая на месте по-петушиному и размахивая руками, словно хотел вознестись под потолок, к амурчикам с подносами, заревел:

— Слышь, землец, курьерскую твою дипломат! Ведь правда же, что всякий, мал он или велик, безобразен или красив, подл или благороден, кривобок или строен, пока горе мыкает и, пополам согнувшись, разматывает нити жить, то бишь жизни нить, пробуждает в нас сердоболие, жалость, участие, трепет, благость, сочувствие, святость, аминь! А заблеванный блудолюб, потаскунчик паскудный, мордоротистый брюхан-ненасыт, губошлеп лупоглазый, лягатель цветов, миров попиратель — не более чем двуногое загрязнение бытия, прорва-прожора, циник-зловред, тошнотворный и мурторный засморканец, ведь верно же? Ежели встретишь на болоте, в ненастье, горемыку в дырявой сермяге, желчь у тебя разольется от жалости неизбежной и сердце тебе припечалит бледная искра забот. Ах, гвоздяга, когда б я фактически встретил где-нибудь детинушку-сиротинушку, двугорбого или хоть

поплоше сортом калеку либо увечника какого ни есть, побирушку косноязыкого, продрогшего, без подштанников, как бы я его пригрел, приласкал, к сердцу прижал и прощebetал в немьтое его, грубое, но народное ухо песнь свою! Да только черта с два — не выйдет, синтура не даст, шустры ей мать! Пошел я к кибер-исповеднику — душу излить, а тот угостил меня синтесантами — синтетическими сантиментами, вместо Жалости Настоящей, слышь, ты, млекосос землистый?! Ох, тогда побежал я немедля домой за канистрой с бензином, чтобы собственноручно этого кибера подпалить, в чем, как ты без труда догадаешься, мне никто не препятствовал. Назавтра там установили нового, стоканального кибер-духовника, для сеанса одновременной исповеди. Тут я понял, что пришло уже время взять *народ* за рога и что это — Единственное Спасение. О! Как же меня ободрило великое это открытие! Спасителем масс, понял я, может стать единственно террорист-зубодробист, который свободы паскудные, захватанные миллионами сальных лап, приструнит, обкорнает, зашпунтует и наглухо заклепает, и из всеобщей развинченности, после жалких стенаний и сетований, восстанет с ужасным ревом Желанный Призрак, что был мне зарею надежды в ночи прогнившего либерализма... О, либералов ошметки, груды эгалитаристов поганых под пятою праведного моего гнева! О, лучезарная даль и оборванцы в струпьях! Гряди, сладчайший дом неволи, сказал я себе, неволи самой что ни на есть простецкой, сермяжной, дубиночной, зубодробительской, зацветайте, цветики, в садочке! Сколько на небе звезд, столько синяков пусть будет на теле дарителей вредоносных благ! Так я ушел в подполье. Конкретно к тебе я не имею претензий, и друзья мои тоже, и все же ты должен погибнуть, ибо нельзя начинать великое дело с первого встречного. Хорошее начало — половина дела, а для высокой цели и силы найдутся! Если не мы, все утонет в киберсале с сахаринном. Ничего не попишешь — надобно резать! Каждый великий переворот начинался с этого, даже без всякой идеи, что уж говорить о нашем. Короче, больше дела, меньше слов!

— Неужто вы, сударь, — закричал я так, что цепь на мне зазвенела, — вознамерились лишить меня жизни?!

Сам не знаю, почему я сказал это как-то ненатурально. А тот субъект, вместо того чтобы приступить к исполнению кровавых своих обещаний, побледнел, зашатался и упал на руки товарищей, которые принялись его утешать, а он только тяжело дышал, словно с непривычки. Следующий оратор вошел в круг и, воздев руки к амурчикам с закусками, мистическим шепотом произнес:

— Погибаем, господин Тихий!

Так он это горестно прошипел, что, несмотря на опейник, мне как-то стало его жаль, и я спросил:

— Это отчего же и почему?

— Из-за благоденствия...

— А разве оно обязательное?

Он прямо-таки зашелся ядовитым саркастическим смехом; этот смех незаметно перешел в рыдание. Прочие похитители тоже украдкой утирали глаза.

— Нет, отнюдь, — простонал он, — но хоть бы даже райский хлебушек комом в горле застрял, по доброй воле никто его не отдаст. Абсолютное блаженство развращает абсолютно! От народа спуска не жди! Можешь рассчитывать на него, когда ему нужда докучает, но не тогда, когда его роскошь насилует. Не хочет он, чтобы было иначе; ведь иначе — значит, уже только хуже, а не лучше! Конечно, был некогда в моде аскетизм — похлебка из кореньев лесных, избушка под соломенной крышей, курдль в хлеву, соха да сермяга, богач босиком, но все это синтетическое, коренья трюфельные, курдль на колесах, из нейлона солома, соха-самоходка на транзисторах, липовый это был аскетизм, и приелся он быстро. Ах, чужестранец, знал бы ты, как народ мучится! При одном только виде выборокибера, расхваливающего очередную усладу, граждан сотрясает буриданова дрожь, и многие разбивают или разбирают его, да что толку — он тут же саморемонтируется. Страшней всего то, что нас, радетелей за народное благо, народ ненавидит, не желая понять, что завис на крючке погибели. Поэтому мы, к сожалению, должны прикончить тебя, почтеннейший чужестранец...

Возможно, это был их представитель по делам печати — не знаю, во всяком случае, он не удовлетворил их этим коммюнике. Ты забыл добавить, наперебой кричали они, что великое дело требует великой жертвы! Ты недостаточно заострил историческое значение того, что сейчас наступит! Что же именно? Шкурничество. В том смысле, что с меня снимут шкуру. Перспектива Тихобития (повторяю за ангелом, который с ходу переводил), собственно, не заставила меня испугаться сильнее, конкретную угрозу я предпочитаю смертоносным намекам, щекочущим позвоночник; мышление мое обострилось, я весь собрался, прикидывая возможности обороны, ибо я не намерен был дешево продать свою шкуру; одновременно я вдался в дискуссию с ними, упирая на то, что возвышенная идея несовместима с убийством, но это был диалог с глухими. В их идеалистически вытарашенных глазах горел такой фанатизм, что легче было бы рождественс-

кому индюку убедить кухарок отказаться от своих кровожадных намерений, чем мне разубедить этих энтузиастов, которые, убив меня, хотели отвоевать неведомо что, неведомо как; я потянулся за перочинным ножом в брючный карман, но тут меня ждал новый сюрприз: то, что я считал эпилогом, оказалось всего лишь прологом настоящего разбирательства. Они по очереди требовали слова, председатель — теолог или антипастырь — составил список ораторов, затем была принята повестка дня и утвержден состав комиссии по рассмотрению предложений; вслушиваясь в их выступления, я наконец уяснил существо дела. Само по себе убийство было делом решенным — но не его толкование. Теперь обсуждалось, с каких позиций свершится то, что должно было свершиться. После бурных дебатов на середину вышел Портретист-Экстремист, поклонился и заголосил:

— Достопочтеннейший Пришелец, да погибнешь ты от моей руки! Почитаю долгом своим объяснить, почему я бросил любимую палитру ради тебя. Крови ли я хотел? Никогда! Так чего же я жаждал? Творить. Живописать! На грубый холст накладывать краски, исповедуясь в собственных снах, и чтобы кто-нибудь, кто угодно, хоть раз взглянул бы и вскрикнул от восхищения. И это все, клянусь честью. Но взгляни: как тут писать картины, если достаточно захотеть — и стена, благодаря своему орнаменту на интегральных схемах и читчику желаний, сама, живо и ловко, фресками себя покрывает??? Поэтому, когда я ребенком выказывал охоту к живописи, меня ставили носом к стене. Что было делать? Я поручал это ей, но жалость жгла сердце. Впрочем, вскоре стенам пришел конец, возобладало новое течение — картиноречие. Течение было не хуже других, но что же? Не успел я в это дело втянуться, как оно всего за квартал самокомпьютеризировалось. А потом, в каких-нибудь шесть недель, родился у нас дублизм. Ну, если картина может сама с собой вести разговоры, то может и сама себя написать, так ведь? Но я был человек упорный, я ждал, и вот возник экскрементизм. Столовая ложка растительного масла на одно полотно или четыре — на шесть. Если вдохновения нет — касторка. Как устоять перед Тиранией Искусства? Вот мы и травились цинковыми белилами и слоновой чернью, все как один, однако это быстро вышло из моды. И пришел суицидизм, называемый также самизмом. Сперва было брюхачество — художник шел и выставлял свой живот, лакированный и с разными штуковинами, которые держались на пластыре или вживлялись, но и это приелось публике; поэтому на вернисаже стали оставлять голую бетонную

стену, а художник, обильно полив себя фиксатуаром, брал хороший разбег и головой в стену, чтобы так уже и остаться — натюрмортом в суицидальном стиле. Хотя удавалось это только один раз, нашлись мученики искусства! У меня, однако, череп был слишком крепкий, впрочем, бетон вскоре размяк, известное дело, — шустры о нас пекутся... А когда пошел мне двадцать восьмой годочек, был уже в моде генизм. Берем, значит, миксер и смешиваем разные гены, от гуся до гиены, чтобы получился *monstre pittoresque*^{*}, но и это прошло, скотинокартинки вышли из моды. После был деструкционизм, или угробланство коллег, но и оно уступило место новому течению, креационизму, иначе говоря, сотворенчеству. Это вам не какое-нибудь ковырянье в глине и гипсе, но творения, достойные своей эпохи, — спутники в виде золотых алтарей с аквариумами, в которых каждой акуле самочист зубы чистит, или полицерковная безгравитационная урбанистика, когда орбитальные храмы вытягивают свои телескопические башни и колокольни в пустоте, как омары; но все это, увы, без наития, без веры, и совершенно приватное, единоличное; каждое такое творение надо было немедленно залить черной стекловидной массой, чтобы уберечь от чужого глаза, а еще лучше — пустить в распыл. Но и это плохо крепило расслабленную волю к творчеству...

— Кситя, не мелочись! — надсаживались они. — Лепи сразу в девятку! Ну же! Смело, без деталей, вовсю! Мы с тобой! Держись, кореш, не лопайся прежде времени!

— Я и не лопаюсь, — уже рычал он, — *ars pro arte*^{**}, ланца-ца, ты сыграешь мертвеца, богоид, ату его, землеца-подлеца, я уж его разукрашу!!!

— Шкуру драть, шкуру драть! — загремели остальные, вскакивая; верно, это был их гимн; они побежали за занавеску, должно быть, за инструментами, я тоже вскочил, и цепь зазвенела.

— Вы что, спятили! Стой! — закричал я, заметив краешком глаза, что ангел перевел приказание, отданное ему художником, но не двинулся с места. Он стоял, возвышаясь над нами на две головы, мерно шелестя крыльями. Несмотря на такую усиленную вентиляцию, мне стало душно.

— Богоид, что это? — кричали они. — Держи землеца... не хочег?... Кримистор сгорел? Тогда мы сами поможем! Кситя в форме, эй, ухнем, навались, ребята пернатые, стройся клином!

И правда, они построились треугольной фалангой и рину-

* Живописный урод (фр.).

** Искусство для искусства (лат.).

лись на меня, но, странное дело, задом, толкая перед собой художника с ножом в руке. В моей руке блеснул перочинный нож. Если мне память не изменяет, похожее построение использовал Александр Македонский, но с лучшими результатами, потому что у тех ноги на полпути разъехались, словно ковер был катком, и они покатались к моим ногам один за другим. Первым с визгом вскочил толстый председатель антиписателей — падая, он зацепился брючиной за острие моего ножика. Я лишь слегка оцарапал ему седалище, да и то, в сущности, неумышленно, но вопил он как зарезанный. Остальные были в таком отчаянии, что даже не спешили вставать. Лежа кто где грохнулся, они тихонько стонали:

— Не было веры...

— А все из-за Ксити. Трус, мокроштанник!

— Неправда! Это из-за вас! Из-за вас! — зашелся рыданиями экстремальный художник.

— Что-о? Убирайся немедленно, мокрая курица! Да поживее!

— Чуял я, что мазила дело угробит, сойка его забодай!

Художник вскочил и начал срывать с себя одежду.

— Кситя, брось! — рывкнул их представитель по делам печати. — А вы от него, от бедняги, отцепитесь. Гагусь, выходи — твой черед!

— Да-да, Гагусь! — закричали они с энтузиазмом. — Ну-ка, вдарим по старому миру! Гусик, заткни за пояс артиста-портретиста! А мы тебе на растопку дровишек подкинем!

— Врежь ему, Гусенок, до самых печенок!

— Попробуй с канифолью, чтобы не скovyрнуться с копыт...

— Канифоли мало, тут виброподошвы нужны...

Ангел переводил вздох, экстремисты перегруппировались, опозоренный художник исчез, а ко мне подошел тот, кого называли Гагусем, плечистый урод отвратного вида — нос у него сплющился и съехал куда-то под левый глаз, должно быть, во всеобщей свалке. Значит, это все-таки маска, подумал я, и у других — тоже; но надо было сосредоточить внимание на новом противнике.

— Тихо! — рывкнул он, хотя все уже и так замолчали. Он переступил с ноги на ногу и качнулся на пятках назад и вперед; тем временем его нос возвращался на прежнее место. — Ты, млекосос! — продолжал он гробовым голосом. — Пупочный пупон, состряпанный брызгалкой, волосатая твоя топь, узнай на те несколько минут, которые тебе еще суждено хрипеть, с кем ты имеешь дело! Я курдлист-идеалист, автор гимна, что славит Великоход. Да здравствует курдль, строй до упора социальный, и притом натуральный! Я знаю, если б ты мог дать деру, то

помчался бы доносить на меня, но ошейник исторической справедливости, цепи прогресса держат тебя мертвой хваткой, и никакие шустры тебе уже не помогут, ты, приبلудный козел! Оковы позорного благоденствия падут с моего народа, подобно тому как отвалится от твоих костей человечина; и двинется он на коллективных ногах в светлое будущее! Близится час расплаты за все поклепы, возводимые на священные идеалы, за ведра омерзительной лжи, вылитой на головы политоходов, и ждет тебя святая месть, святая месть за нашу честь! Дайте мне силу, дружки-ястребки, спровадить в моги...

— Слабовато что-то, — сказал я.

Даже кирпич не огорошил бы его до такой степени.

— Что? — гаркнул он. — Да как ты смеешь?.. Цыц, недотепа!

— Ти-ли ти-ли травка, — возразил я, — сбоку бородавка. А твоя кузина вымыла пингвина...

Он весь затрясся, а прочие просто застонали от ужаса. Не так-то легко объяснить, как я додумался до такой импровизации: в сущности, я понятия не имел, что именно мешает им провести скорую и кровавую экзекуцию; но чутье мне подсказывало, что им надо взвинтить себя коллективной самонакачкой, словно успех их убийственного предприятия зависел от нагнетаемой до нужного уровня атмосферы кошмара.

— Подойди-ка сюда, господин птенчик, — добавил я, — я тебе кое-что на ушко скажу...

— Кляп ему в рот! Живее! — взвизгнул Гагусь-курдофил. — Я так не могу, этот висельник сбивает меня с панталыку...

— Зачем тебе кляп, — с отчаянием в голосе отозвался антипредседатель писателей. — Врежь ему пониже спины, и дело с концом...

— Я, Гагусь, ничего не боюсь... — прошипел курдофил, выхватил из-за пояса кожевенный нож и бросился на меня. Цепь резко звякнула и задрожала, словно струна, — это я отпрыгнул за спину ангела, тот покачнулся, задетый ножом, Гагусь споткнулся и осел на колени перед ангелом.

— Я сейчас... я еще раз попробую... — потерянно бормотал он.

Он был настолько ошеломлен, что мне ничего не стоило бы забрать у него нож или захватить в его птичье ухо, но я даже не шевельнулся. Теперь я присматривался к трем молодчикам, которые, потихоньку отворив радужные двери, слушали нас, стоя на пороге. Никто, кроме меня, их не видел — все остальные смотрели в мою сторону, — а я, вынуждаемый к этому ошейником и общим положением дел, подпирал стену.

Поначалу я было решил, что это еще какие-то артисты-экстремисты, но я ошибался.

— Ни с места! Это налет! — бросил самый высокий из них, входя в комнату. Курдофил осекся и замер, и только две толстые слезы — как бы финальный аккорд неудачи, его постигшей, — стекли по его лицу. Одна расплылась на лацкане пиджака, вторая капнула на ковер. Бог знает почему память удерживает такие дурацкие мелочи — при таких обстоятельствах. Мои похитители вскочили, протестуя; разгорелась жаркая ссора. Ангел по-прежнему переводил каждое слово, но они так остервенело лезли друг на друга и так вопили, что я перестал что-либо соображать. Суть спора дошла до меня лишь в самых общих чертах. Чужаки были экстремистами из какой-то другой группировки, не имевшей ничего общего ни с искусством, ни с теологией, ни с общей теорией бытия. Драка (они уже дали волю рукам) шла из-за меня. Превосходство профессионалов над любителями, которыми, в силу вещей, были люди искусства и прочие гуманитарии, сказалось немедленно. Дольше всех защищался председатель Союза антиписателей, загнанный в угол с инструментами, — там он вооружился шкурорасдиральными щипцами и действовал ими как палицей; тем не менее всего через несколько минут пришельцы оказались хозяевами положения. Сразу было видно специалистов. Они ничего не обосновывали, не теоретизировали, не церемонились, каждый, видимо, имел заранее намеченное задание, которое выполнял на удивление четко, и в других обстоятельствах я, быть может, пожалел бы своих экстремальных художников. Затихшие, в истерзанных костюмах, из которых вместо камерной музыки изливалась жалкая какофония, они были усажены на пол лицом к стене, совсем рядом со мной, — поистине, удивительная перемена участи. Только антипредседатель еще отражал атаки, но и он терял силы. В схватке кто-то долбанул ангела, тот свалился в угол и перестал переводить. Зато на его неподвижном доселе, небесном лице появилась странная улыбка, а чуть пониже груди, на алебастровом торсе, неведомо как начали загораться и гаснуть разноцветные надписи: «Дидр бенус генатопроксул? Форникалориссимур, Доминул? А дрикси пикси куак супирито? Милулолак, господин начальник?»

Одновременно ангел взял меня за руку и потянул с таинственным выражением лица так сильно, что я чуть не задохся, когда цепь кончилась. «На помощь!» — хотел я крикнуть, но не мог — ошейник сдавливал горло. К счастью, победитель председателя поспешил мне на выручку. Уж не знаю, что такое он и его высокий товарищ сделали с ангелом, но, когда я открыл глаза, тот снова стоял по стойке «смирно», помахив-

вал крыльями и переводил. Хотя переводить было в общем-то нечего — мои новые похитители оказались людьми действия. Они отодвинули меня от крюка, из принесенного с собой портфеля достали необходимые инструменты, и крюк — без малейшего жара, чада и дыма — вышел из стены, словно из куска масла. Я воздержался от слов благодарности, и правильно сделал, потому что дальнейшее их поведение ничуть не походило на поведение освободителей. Один тянул меня за цепь, двое других подталкивали, без малейшего намека на деликатность, к которой я начал было привыкать в обществе художников. Из дворца мы выбрались не через анфиладу покоев, но, скорее всего, через шахту кухонного лифта, и мне было трудно ориентироваться. Снаружи царила крошечная тьма, ночь была холодная, я угодил в какую-то лужу и сразу промочил ноги. На них были только шелковые носки. Я по натуре необычайно чувствителен, прямо-таки безоружен против неразношенной обуви, а перед самой посадкой, в предвкушении банкета, переобулся в новые лакированные туфли; но, как видно из вышеизложенного, не все пошло так, как я ожидал. Пока я сидел на цепи, туфли немилосердно впивались в ступни; почти по щиколотку утопая в пушистом ковре, я незаметно стащил их с себя, решив, что раз уж предстоят, в некотором роде, мои похороны, вряд ли стоит любой ценой придерживаться этикета; а потом, ошеломленный новым налетом, совершенно об этом забыл. При свете луны я заметил в петлице у одного из налетчиков розетку-переводилку и воспользовался этим, чтобы попросить о небольшой отсрочке: мол, только заскочу на минутку за туфлями. Что-то я ему объяснял об опасности насморка, но этот малокультурный (что ощущалось совершенно ясно) тип хрипло засмеялся и сказал:

— Какой еще насморк? Ты не успеешь его схватить, зрз ты этакий.

Как видно, прозвища из мясного меню имели здесь не меньшее хождение, чем в Италии. Меня запихнули в какой-то ящик, а может, сундук, и вот, позванивая на ухабах цепями — как видно, мы ехали по бездорожью, — через четверть часа, не раньше, я оказался в бетонном подвале, полуудушенный. Не знаю, как въехал туда самоезд похитителей. Его и след простыл. Низкие голые стены настраивали на мрачный лад. Все убранство состояло из нескольких трехногих табуретов, колоды для рубки дров с вбитым в нее наискось топором, груды поленьев, простого деревянного стола на крестовине и, разумеется, вцементированного в стену кольца, в которое сразу же была продета моя цепь. Значит, я поступил правильно, не раздувая в себе искру надеж-

ды. У стола стояла лавка; я сел и снял промоченные носки, прикидывая, где бы повесить их для просушки; но мой похититель, тот самый, что уже успел нагрубить мне, буркнул:

— Напрасный труд.

Он скинул с себя суконную куртку, достал из печи пригоревшую лепешку и жадно впился в нее зубами. Странное дело — я знал, что лица энциан не похожи на наши, но, привыкнув к человеческому обличью первых похитителей, не мог отделаться от мысли, будто охранявший меня грубиян был в маске — хотя на нем-то как раз ее не было. Облик энциан столь же противен человеку, как им — человеческий облик. В их вытянутом вперед лице, с ноздрями, расставленными так же широко, как и их круглые глаза, больше, пожалуй, сходства с клячей или тапиром, чем с птицей. Впрочем, никакое описание не заменит очного знакомства. Насытившись, мой стражник несколько раз постучал по своей бочкообразной груди, поистине гусиной или страусиной — ее покрывал белесый и плотный, как шерсть, пух, — и начал чесаться под мышками, выщипывать у себя мелкие перышки (похоже, они щекотали ему ноздри), а напоследок — сосредоточенно ковырять в носу. В конце концов он — верно, со скуки — разговорился, причем сперва обращался как бы не ко мне, а неизвестно к кому, расставляя акценты ударами кулака по столу. Я продолжал молчать, а этот энцианский мужлан, выпрямившись, заявил, что традиция требует объяснить похищенному, кем и за что он будет пущен в расход, и, хотя я особенно вредоносная тварь, недостойная его слушать, он снизойдет до меня, ибо я чужеземец. Сообщники все еще не приходили, а он вынул из кармана листок и, поминутно заглядывая в него, приступил к делу.

Заявление главаря вторых похитителей

Слушай в оба, Землистолицый, — я ведь долго говорить не привык. Столетия назад никакой тут Люзании не было, только Гидия, но пришли чужаки и отняли землю предков. Мы красноперые гидийцы, а не видать того, затем что выцвели мы от подземного прозябания. Земли над нами все были наши, по правде и по закону. Великий Дух повелел нам подстергать Злых, и мы их ловили, и на последний танец их приглашали. А теперь — ничего, только лучшего чаем, считаем часы да газеты читаем. И наемдни дошло до нас, будто брат прибывает на наше тело небесное, чужой, издалече, однако же брат по разуму. И спросили мы ученых родичей наших, сидящих в приказах, что-де за брат такой является гостем в страну наших

предков? Они же, хоть пух у них побелел, по-прежнему красноперы душою, и поведали как на духу, кто такой прибывает и откуда. Что чествовать будут его с великою славой, оттого что со звезд он, и не птичьего рода, а будто совсем напротив. А за что таковые почести и слава великая, за какие заслуги? Пишут: посланник, а посланничество его от кого? И открыли они нам, кто вы такие. Войны любите, оружие копите, на устах мир, а в груди измена. И все-то воевание ваше — сплошное коварство, выковали вы восемнадцать атомных топоров на каждую свою голову, и вам того мало. Дальше вооружаетесь, яды смертельные варите, без роздыху, без перерыву, а ежели что, усмехаетесь, мы-де людишки мирные — затем что на уме у вас не честное ратоборство, а козни да каверзы. Соседей мучаете, самих себя травите, а ныне вздумалось вам в гости пожаловать ради подглядывания, вынюхиванья да выслеживанья, где какая добыча. А мы что на это? Мы (он уже ревел, колотя кулаком по столу) тоже собрались тебя поприветствовать, разбойный посол! Слышал ли кто в целой Галактике, млечная ее гать, чтобы Землистолицыне, те самые, что пускают в расход соплеменников и даже малых детишек, по расстеленному ковру мира лезли к гидийцам доблестным, которые наставлений отцовских о врагах чужеземных не забыли? Дума-ли кротостью мнимой лозанцев-олухов поймать на крючок, да мы-то не таковы! Нас на этой мякине не проведешь! О, жестоко обманется разум твой высший, падалью вскормленный! Что, не хватает уже у себя желтолицых, зеленолицых, чернолицых для истребления? Сидел бы ты в своей тундре, у этих своих могил, тогда, глядишь, и уберег бы свою лысую, не стоящую выделки шкуру, но не здесь, где бдит красноперый муж! Побили, порезали, пограбили соплеменников, а после — покойников в землю, одежонку получше — на себя, и айда на посиделки с «братьями по Разуму», так, что ли? Ну так красный братишка по разуму тебе растолкует, уж брат постарается, выкопает военный топор и закопает мертвеца-землеца, выпишет на братской шкуре счет и засушит ее на память... Ну что, Землистолицый, слушаешь красноперого брата по разуму? Вижу, что слушаешь... И молчишь?.. Слышу, что молчишь... Так вот: теперь красноперый брат своими руками прикончит брательника-висельника и спровадит его в Страну Вечного Бесчестья; немало мы туда отправили Злых, но такого, как Землистолицый, покамест не было...

Сам не знаю, как и когда он опрокинул лавку вместе со мною, прыгнул через стол, отшвырнул листок с диспозицией и, пустившись впрысядку, жутким, диким голосом грянул:

Млекопита мы словили,
Эх, били его, били,
Босиком ужо попляше,
Эх, на его могиле...

Забившись в угол у дымохода, я ни разу не звякнул цепями ему в такт — я знал, что дело плохо. Хуже и быть не могло. Этот похититель не был, к сожалению, настолько уж темен, как мне поначалу показалось, раз до него дошли обрывки нашей всеобщей истории, а дистанция между нашими мирами заранее обрекала на неудачу любые попытки защитить себя: он считал меня шпионом уголовной звездной расы, и я не представлял себе, как втолковать ему тонкости, убедительные для любого земного суда, но не здесь, в чужепланетном подвале. Я был словно в параличе, не имея ни сил, ни охоты снова лезть за перочинным ножом. Вдруг послышались бессвязные крики, топот, и в двери ворвался орущий клубок энциан. Я узнал художника Кситю, антипредседателя и Гагуса — они все еще имели человеческий облик, но некоторых я до сих пор не видел, возможно, это были товарищи моего стража — я их не мог рассмотреть в темноте, когда меня запикивали в сундук. В первое мгновение мне показалось, что они дерутся друг с другом, но это было нечто иное, гораздо более удивительное: каждый из них словно боролся с самим собою. Мой стражник вскочил с пола, ничуть не удивленный, и закричал:

— Сымайте одёжу, мигом, — вас уже схватывает, вот зараза, не иначе криминофильтры пробило! Кальсонами нас повяжет! Ну, живо, а то уже застывает...

Он и сам стаскивал с себя штаны, но шло это у него все тяжелее, все медленнее, а те, дергаясь и выгибаясь как рыбы на берегу, тоже боролись, кто с курткой, кто с рубахой, или, может, туникой, и все же двигались они все медленнее, словно их заливал какой-то невидимый, быстро схватывающий клей, какой-то густой сироп, — и через каких-нибудь полминуты едва подергивали руками и ногами, прямо как мухи в невидимой паучьей сети. Мой цербер перед пляской сбросил с себя куртку, но штаны так сковывали его, что он мог лишь ползать по полу на спине, задрав ноги к бревенчатому накату; он рвал перья на голове и ругался ругательски. Так что же, выручка? Помощь? Никого, однако, не было, кроме меня, по-прежнему ничем не стесненного в движениях, хотя и на цепи... а они, валяясь кто на боку, кто на животе, кто навзничь, кричали с яростью и отчаянием:

— Зараза... фильтр криминальский пробило... ох, задыха-

юсь... Гургакс, помоги же, у тебя рука свободна... куда ты своими ножищами, кретин... это не я, это штаны... председатель, есть у тебя кримистор?.. откуда!.. ох, повязали нас без фараонов... погибаю-ю-ю!!!

Их жалостливые стоны и визги так меня заморочили, что я, совершенно забыв про цепь, встал с лавки. Ошейник сдавил мне горло, я упал, горло сдавило еще раз, но как будто бы мягче, и, к моему изумлению, звенья цепи разошлись... Голова у меня шла кругом, я опустился на колени, все еще в ошейнике, но когда я инстинктивно просунул палец между ним и шеей, то почувствовал, что ошейник словно из теста... с необычайной легкостью я разорвал его и выпрямил подгибающиеся ноги, глядя на своих похитителей первой и второй очереди: они все еще барахтались на полу — вяло, беспомощно; я уже понял, что это не агония, что им, собственно, ничего не грозит и держит их только одежда, затвердевшая, как гипсовая отливка, сковывающая руки, ноги, тела...

— Млекопит уходит, млечный его помет, держи его, кто в честь верует... — захрипел Гургакс, тот самый, что минуту назад распевал и отплясывал мне на погибель.

Как видно, он был неистовей остальных — те старались словно бы вовсе не замечать меня в позорном своем положении... а я стоял над ними, тяжело дыша, с размякшим обломком ошейника в руке, не зная, бежать ли куда глаза глядят или заговорить с ними... уж не напрашиваться ли со своей помощью? Признаться, на это я не был способен. Я поочередно прошел мимо застывшего Ксити, Гагуся с задранными кверху руками в окаменевших рукавах куртки — и тишком, молчком выбрался через дверь, ожидая все время, что и моя одежда вдруг взбунтуется все тем же, непонятным мне образом; но страхи оказались напрасны.

Я нашел лестницу, массивные стальные двери были открыты, их громадные задвижки свисали, словно растопленные огненным жаром, хотя они были совершенно холодные; стараясь почему-то не прикасаться к косякам, поднялся по лестнице, увидел усыпанное звездами небо, ощутил холодное дуновение ветра... я был свободен. Луна исчезла бесследно. Черная, крошечная тьма. Вытянув перед собой руки, я осторожно ступал под звездным небом; вдруг какая-то звезда изменила цвет и начала ко мне приближаться. Прежде чем я понял, что это значит, послышался гул, звезда превратилась в пульсирующий сгусток света, который залил меня и все вокруг ртутным блеском, я бросился бежать, споткнулся и рухнул в какой-то колючий кустарник. Что-то мягкое упало на меня сверху, я вскрикнул и, должно быть, тогда же потерял

сознание. Не знаю, как долго я оставался в таком состоянии. Очнувшись, я услышал непонятные голоса, но не смел приподнять веки. Я лежал на чем-то прохладном и очень легком, словно на воздушном шаре. Руки и ноги были свободны. Я приоткрыл щелочкой один глаз. Надо мною склонялся энцианин в серебряном плаще с маленьким огоньком на лбу.

— Кси, кса, — произнес он.

В ту же минуту что-то подо мной — словно из глубины этой надутой подушки — заговорило:

— Любезный господин Тихий, воспрянь духом. Ты в окружении одних лишь друзей, под наблюдением искушенных медикаторов и медикансов, и ни один волос не упадет у тебя с головы. В силах ли ты говорить? Соболаговоли издать земной голос из своего естества, дабы знали мы, что ты нас уразумел.

— Уразумел, ох, уразумел, — простонал я и сам удивился этому, потому что чувствовал себя превосходно.

— Ксу, ксу, — сказал все еще склонявшийся надо мною серебряный энцианин и погасил свой лобовой огонек, а голос из подушки с нежными модуляциями произнес:

— Официальная часть чествования любезного господина Ийона Тихого наступит не прежде, нежели Он насладится заслуженным отдыхом. Покои правительственной гостиницы в полном Его распоряжении, и Ему — Тебе — ничто не угрожает. Беда стряслась по причине засады двойственной. Однако мы выясним все, дело уладим, конфуз изгладим. Пусть же Вашевысокоблагостное Естество уснет себе с миром...

«Только бы не навеки», — успел я подумать, но тут серебряный энцианин сказал:

— Ксо, ксо... — и сразу же меня одолел сон.

В этой клинике меня держали всего одни сутки, после чего решили, что я уже достаточно окреп, чтобы перебраться в гостиницу. Бог знает, почему больничные переводилки так чудно изъяснялись — больше я нигде таких не встречал. Я узнал, как ловко подобрались ко мне похитители группировки Гагуса и Ксити, а также Союза антиписателей. Да и то сказать, я мог бы быть поосторожнее. Переход от туманных болот и резвящихся курдлей к мегалополису был настолько внезапным, что я слегка растерялся и, когда на космодроме ко мне подошли четверо элегантных люзанцев, принял их за делегацию Общества энцианско-человеческой дружбы. Одурманенный блеском встречи и необычайной любезностью этих субъектов, я позволил посадить себя в самоезд, и меня даже не насторожила хищная торопливость, с которой они запихивали меня внутрь. А пока меня везли в особняк, где глаза слепила яшма, золото и Бог знает что еще, пока я давал

вести себя как барана среди мебели-алтарей неизвестно куда, заранее приготовленный дубль-Тихий водил за нос настоящую делегацию и при первой возможности дал стрекача, так что официальные органы не имели ни малейшего понятия, где меня искать. Похищение совершилось на космодроме, потому что этикосфера, как мне объяснили, еще не знала меня и оттого не могла своевременно прийти мне на помощь. Мне в голову вдалбливали множество вещей, для меня непонятных, но я, не желая выставлять себя дураком — и без того я по-глупому поддался на трюк с ошейником, — предпочитал хранить дипломатическое молчание.

Переезд в гостиницу оказался переселением на настоящий Олимп. Эти бедняги сами уже не знали, как меня ублажить, чтобы вознаградить за пережитые неприятности. Мало того что спальня у меня золотая и золото можно заставлять светиться или гасить его при помощи выключателя (я ношу его в кармане), мало того что в кессонах потолочного свода сидят амурчики (вызывающие, впрочем, не слишком приятные воспоминания), которые, стоит мне только открыть рот, слетаются и подсовывают вазы с лакомствами, но к тому же моей одеждой занимается сам Меркурий, а в нишах между хрустальными колоннами кровати (сплю я под балдахином) стоят начеку две Афродиты — Анадиомена и Каллипигос. Не очень-то ясно зачем, ведь они ничего не делают, а спрашивать как-то неловко. Туфли чистит мне Зевс, чем-то вроде веретена. В стене напротив кровати — зеркальный щит с головой Медузы, довольно-таки несимпатичной, и притом змеи у нее на голове шевелятся и смотрят, все как одна, на меня, куда бы я ни пошел; но вряд ли стоит лезть к хозяевам с жалобами, я же вижу, как они стараются. Весь этот Олимп, изготовленный для меня одного, чтобы я чувствовал себя как дома, досаждают мне страшно. Но привередничать не приходится — и без того я чувствую себя глупо; председатель Общества дружбы явился ко мне в сопровождении двух носильщиков, тащивших мешок — как оказалось, с пеплом, которым он посыпал себе голову, пав предо мной на колени. В довершение всего этот председатель похож на меня как две капли воды. Открыв шкаф, чтобы повесить туда рубашку, я остолбенел — там стоял кентавр, правда, маленький, как пони. Он что-то продекламировал мне, должно быть, по-древнегречески. Он к тому же и массажист, и знает толк в винах. Утром меня разбудило душное облако амбры, нарда и мускуса. Обе Афродиты стояли возле кровати с кадьльницами в руках; я живо прогнал их обратно в ниши, давясь кашлем и с глазами, полными слез. По моему приказанию Меркурий проветрил комнату. Но все

же я предпочел бы несколько умерить гостеприимство хозяев — и чтобы эти Афродиты в конце концов во что-нибудь оделись. Начинаю догадываться, как они все это запрограммировали: на основании фотограмм из Лувра и прочих земных музеев. Кроме Кентавра, в шкафу сидит Аполлон. Он уже не поет — по моему недвусмысленному приказу.

Переход от курдлянских болот и подвала с ошейником к этой фантастической роскоши был внезапным, словно во сне. Еда превосходная, если не считать темного соуса, которым все поливают. Я в столице, именуемой Спр. Одна переводилка переводит это как Эспри, другая — как Гесперида. Пусть будет Гесперида. Отныне начинаю указывать даты. Сегодня пятое грязняря. Это не соус, это нектар. Откуда им было взять рецепт, если даже *нам* он неизвестен? На вкус — майонез с лакрицей. Выливаю, а остатки соскребываю со шпатель ложечкой. Председатель пришел опять, чтобы обсудить программу моего пребывания. Завтра у меня встреча с верховным фелицейским. А может, его называют иначе, не запомнил. Председатель уже не так похож на меня, как в первый день. Такой у них, наверно, обычай. Гоню амурчиков прочь изо всех сил, опасаясь за свою тушу. Надо еще подумать, как, не обижая хозяев, избавиться от этой олимпийской толпы. Медузу я прикрыл полотенцем, Калипиге дал свой купальный халат. Но это лишь полумеры.

Первый ингибитор

Не знаю, какое нынче грязняря, — потерял календарик. Слава Богу, избавился от Олимпа, а заодно — от Председателя Дружбы, который стал уже просто невыносим. Он уверял меня, что мое лицо почти не вызывает отвращения. Своим освобождением я обязан Кикериксу. Это молодой историк и в то же время людист (гомовед). Он пришел ко мне в гостиницу, прослышав о прибытии человека. Между прочим, он показал мне, как включить Медузу (я ее занавешивал полотенцем), чтобы все боги окаменели и рассыпались в белый порошок, который самостоятельно прячется под кроватью. Не знаю, что его туда втягивает, но спрашивать не стал. Вообще стараюсь задавать поменьше вопросов, ведь что подумали бы в «Хилтоне» о постояльце, который стал бы выяснять, почему светится лампа и как размножается горничная. Мой новый знакомый так со мной подружился, что я зову его просто Киксом. Он привел меня в социомат, на наглядную лекцию по истории.

Аппарат настраивают на любое общество, с параметрами, скажем, романтическими или средневековыми, и управляют

им — обычно на пару. Один игрок правит, второй играет за управляемое общество. Играть могут и несколько человек, заведя партиями, армией, средним сословием и так далее. Выигрывает тот, кто получает перевес к концу получасового сеанса. Все это, включая общественные движения, протекает с тысячекратным ускорением, и здесь нужна порядочная сноровка. Я был императором, а Кикерикс предводителем масс. Он сверг меня с трона за пять минут, включив себе сильную харизму. Напрасно пытался я помешать ему эдиктами, а видя, что дело плохо, сделал решающую ошибку, снизив подати. Теорию надобно знать. Устранение нужды немедленно ведет к непомерному росту appetitов и угрожает волнениями более опасными, чем при нищете. Социоматика — непростое искусство. Я не знал, например, что отсутствие нехваток — вовсе не плюс, а ноль и что всего важнее ненаблюдаемые параметры, — параметры переживаний. Чем выше твое положение в обществе, тем меньше ты ощущаешь беды своей эпохи, катаясь как сыр в масле, однако для аристократки неприглашение на придворный бал будет таким же несчастьем, как для бедной поселянки — отсутствие хлеба для детей. Все это, казалось бы, общеизвестно, но лишь у кормила социомата убеждаешься в этом воочию. Общество ведет себя как живое; можно влиять на него, формировать общественное мнение, успокаивать обещаниями, но в меру и лишь до времени, потому что общество помнит все и реагирует по-своему. Исторические игры бывают разной степени сложности. После включения научно-технической революции власть либо совершенно размягчается, либо, напротив, отвердевает — чертовски трудно балансировать посерединке. Зависть низов, говорил Кикерикс, поддержанная идеализмом реформаторов, подталкивает историю к эгалитаризму, который приносит больше разочарований, чем радости, поскольку и в обществе равных кажется, что лучше всего живется другим.

Странно, но факт: в Швейцарии я ухитрился прогляпнуть историографию предшустринного века. У них были те же заботы, что и у нас: кошмар моторизации, энергетический кризис, монетарный хаос, политическая сумятица — и подобно нам они полагали, что летят в пропасть. Когда энергетическое сырье все вышло, удалось синтезировать микробы, перерабатывающие любой мусор в топливо. *Bacillus benzinogenes*, *Spirocheta oleoroeatica** — их покупали в таблетках, как винные дрожжи, бросали в мусорный бак и заливали водой; так пришел конец нефтяным крезам. Весь вчерашний день ходил вместе с Киксом по музеям. В Музее Техники видел бактери-

* Бензинородная бацилла, маслотворительная спирохета (лат.).

альный ткацкий станок. Нужно раздеться догола и залезть в контейнер, весьма похожий на ванну. Лежишь себе в теплом растворе, а когда через четверть часа выходишь, на тебе уже готовая одежда, изготовленная портняжной бактерией (*Bacterium Sartorifegum*); остается только этот костюм разрезать, снять, выгладить и повесить в шкафу. Пуговиц пришивать не надо, они образуются из затвердевающих выделений маленькой моли в шкафу — разумеется, не обычной моли, но генетически перестроенной. Если нужен зимний костюм, добавляют *Vibrio Pelerinae** или какой-нибудь родственный штамм, и получается нечто вроде ватина. Есть даже подкладочные вибрионы, в соответствии с пожеланиями клиентов относительно края, цвета, фактуры ткани и так далее. Правда, эти портняжные новинки вызвали единодушное отвращение и умерди естественной смертью, так и не войдя в быт. Тем не менее ткацкие бактерии почти целиком ликвидировали упаковочную промышленность, а их мусороядные и ядопоглощающие разновидности очищали окружающую среду.

Между тем наряду с биотической микроинженерией по-прежнему развивалась автоматизация, и число безработных росло в геометрической прогрессии. Занятость становилась исключением, базработица — правилом, начались мятежи, уничтожение индустриальных роботов, уличные бои; казалось, что это уже конец. Ученых-исследователей, а особенно изобретателей и рационализаторов, приходилось прятать в подземных бункерах, прикрывать и спасать их, когда народ ополчился на них как на виновников столь катастрофического прогресса. Однако ничто уже не могло заставить люзанцев свернуть с этого пути, и следующее поколение отказалось от преследований.

Как раз тогда открылся неистощимый источник энергии, черпаемой прямо из космоса (хотя я по-прежнему не знаю, как они это делают). Кикерикс называет эту эпоху потребительским потопом. С конвейеров сходили миллионы автомашин, причем началась настоящая эскалация их бронезащиты, по причине роста уровня агрессивности. Тогда еще эти машины (довольно похожие на земные) изготовляли из стали штамповкой, и по желанию покупателей производители принялись сперва укреплять кузов, затем монтировать в буферах специальные клыки и шпоры наподобие петушиных, а тот, кто отказывался от бронемашин, рисковал быть разбитым вдребезги на ближайшем перекрестке. Суды по делам об автомобильных преступлениях были погребены под лавиной

* Пелеринные вибрионы (лат.)

дел, и таран стал совершенно легальным; ущерб возмещали страховые компании. Молодежь развлекалась охотой на автоматы сферы услуг, особое предпочтение оказывая телефонным кабинам; не помогали ни бронированные стекла, ни сталь, в которую заковывали телефонные книги. Что же касается изготовляемых домашним способом бомб, то их подкладывание было настолько в порядке вещей, говорил Кикерикс, что, когда улицу сотрясал очередной взрыв, на землю падали лишь те прохожие, что поближе. Остальные даже не поворачивали голову, впрочем, тогда уже носили индивидуальные защитные коконы, которые при грохоте взрыва наполнялись противоосколочной пеной, — предосторожность совершенно необходимая, ведь если клиент имел претензии к пекарне, почте или ремонтной мастерской, он не утруждал себя жалобами, а просто взрывал ненавистное заведение. Жилось все богаче и все опаснее; вместе с ассортиментом даровых утех росло ощущение всеобщей угрозы. В музее я видел вечерние костюмы с подкладкой из сверхпрочного танталового волокна; мода, подчиняясь диктату необходимости, узаконила бронированные котелки, но число жертв все увеличивалось.

Автоматику самозащиты первыми применили учреждения сферы обслуживания, что привело к появлению новых источников опасности; как объяснил мне Кикерикс, если в телефонной будке ты почесал себе голову слишком резким движением или недостаточно плавно протянул руку к трубке, тебя немедленно хватала за шиворот стальная ладонь и вышвыривала на улицу, а при оказании сопротивления, бывало, хрустели и ребра. Тогдашние датчики были еще недостаточно избирательны. Целый день на улицах выли сирены «скорой помощи», а вечером тяжелые мусороскребы очищали мостовые от останков автомобилей. Изменилась и архитектура — неожиданный гость не мог попасть в чужой дом, а нажимая кнопку звонка у подъезда, следовало отодвинуться в сторону и полуприсесть, чтобы успеть отскочить, если, по недоразумению, дверь со страшной силой распахнется наружу, стараясь трахнуть пришельца по лбу. Любую прихожую можно было за пару минут затопить быстро загустевающей жидкостью, и немало незваных гостей тонули как мухи в смоле. В дверных ручках были упрятаны магнитомеры, и, чтобы подложить бомбу соседу, приходилось брать пластиковую; но и это не гарантировало успеха: появились универсальные датчики, настолько чувствительные, что достаточно было иметь в кармане старую зажигалку, чтобы у самого входа провалиться в западню, которая находилась под постоянным телевизионным контролем полиции. Открытые сцены и эстрады

канули в прошлое, ибо при первом же петухе тенора, фальшивой ноте скрипача и даже спорной исполнительской трактовке адажио возмущенный меломан вытаскивал из-под кресла припасенный заранее автомат; поэтому все места, и в партере, и на балконах, были накрыты прозрачным колпаком, который открывался лишь по звонку о начале антракта. И если вам даже приспичило по неотложной потребности, вы должны были что-то придумать, не покидая зала, — с тех пор как удовлетворение этих потребностей стало излюбленным прикрытием для динамитчиков. В метро и трамваях разгорались настоящие битвы, пока наконец в вагонах не установили донные катапульты; из мчащихся по рельсам трамваев, бывало, целыми группами вываливались вцепившиеся друг в дружку пассажиры и клубком катились по мостовой, а бронированные прохожие старательно их обходили.

Я осмелился заметить, что это ужасно, смешно и просто невероятно; коса, однако, нашла на камень, ведь Кикерикс людист, и он тут же напомнил мне о нашем бандитизме по отношению к дипломатам; между тем послов, даже самых вкусных, на Земле не трогали и людоеды. Особенно много хлопот было с роботами, которые стали излюбленным объектом городской охоты. Улицы были завалены трупами; и хотя, пытаясь уберечь своего кибер-камердинера от пули, хозяева нередко одевали его в собственный костюм, наиболее рьяные охотники, вместо того чтобы выпытывать да выпрашивать добычу, предпочитали уложить ее метким выстрелом, а после оправдывались, что приняли жертву за робота. Несмотря на строгий запрет, некоторые все-таки вооружали своих роботов, чтобы те могли отвечать огнем на огонь; а идейные противники роботоубийства умышленно высылали на линию огня ловушечных роботов, неспособных ни к уборке, ни к мытью посуды, зато поливающих охотников пулеметным огнем, или особые модели, которые нарочно падали при звуке выстрела, а когда стрелок, счастливый и гордый, ставил ногу на поверженную добычу и подносил к губам рог, дабы возвестить о своем триумфе, мнимый трофеем вонзал ему в ляжку стальные клыки. Что, в свою очередь, приводило в бешенство членов охотничьего клуба и склоняло их к применению управляемых ракетных снарядов. Другие, напротив, считали эскалацию охотничьих вооружений не только совершенно естественной, но даже пикантной: дескать, чем рискованней спорт, тем увлекательней, ведь охота на тигра не в пример почетнее умерщвления зайцев. Когда же в моду вошла охота с автомобилями, все больше похожих на броневики с огнеметами, а пол-Геспериды уничтожил пожар, вызванный стол-

кновением двух охотничьих обществ, правительство склонилось на сторону глашатаев этикосферы — буквально в самый последний момент, как утверждают ныне ее защитники.

Сознавая, что с накопившейся в обществе агрессивностью нельзя покончить одним махом и надо позволить ей разрядиться, этификаторы не поскупились на финансирование поглощающих общественных институтов. Многие из них существуют и по сей день. Упомяну лишь о некоторых — они, я уверен, не помешали бы и нам. Начну с малого: у люзанцев существует обычай ставить памятники выдающимся и вместе с тем ненавидимым лицам — «монументы беславия»; вместо бронзовых урн постамент окружают объемистые плевательницы. Первую такую аллегорическую группу с вычеканенными в бронзе проклятиями воздвигли еще в прошлом веке трем Лжексиксарам. Кроме того, каждый политик, внесший особенно крупный вклад в дело всеобщего неблагополучия, имеет свой монумент или хотя бы бюст. Кикерикс уверял меня, что этот вид пластических искусств предъявляет особенно высокие требования как к авторам проекта, так и к исполнителям. Дело в том, что изображения беславных мужей выполняются в материале, который легко поддается деформации, но за ночь восстанавливает прежнюю форму. Впрочем, как показала практика, вполне целесообразно из тех же материалов воздвигать памятники вполне заслуженным деятелям: всегда найдется кто-нибудь, кто ставит их заслуги под сомнение, а расходы на ремонт монументов, особенно крупногабаритных, весьма значительны. Для провинциалов (а заодно и для школьников), организованно осматривающих Старый город, на задах каждого монумента беславия приготовлены ящики с соответствующими орудиями. Они укрыты в живой изгороди, а сила их поражения точно соответствует сопротивляемости монумента. Исключение из правила, разграничивающего славу и беславие, сделано лишь для отцов-основателей этикосферы. Чтобы покончить с вечными ссорами и распрями у их пьедесталов, пришлось увековечить этих мужей двумя удаленными друг от друга мемориальными комплексами; каждый желающий, в соответствии со своими убеждениями, может направиться либо к первому, либо ко второму — с букетом цветов или с чем-то совершенно противоположным.

Так удачно сложилось, объяснил мне Кикерикс, что автоматизация положила конец физическому труду как раз тогда, когда появились первые шустресты, и, хотя шустрам далеко еще было до совершенства, уже на третий год число

скоропостижных смертей пошло на убыль. И это несмотря на то, что преступный мир, вкуче с охотничьими обществами и бандами хулиганов, а также экстремисты и прочие группировки, для которых жизнь без пролития крови не имела ни малейшего смысла, массами мигрировали из городов в неосущественную пока что глубинку. В свою очередь, толпы беженцев из глубинки хлынули в крупные города; словом, началось сущее переселение народов.

То была эпоха смелых экспериментов. В одном из округов неподалеку от столицы для опыта ввели неограниченное дармовое потребление — несмотря на протесты парламентской оппозиции, выражавшей интересы крупных промышленников. Они продолжали отстаивать законы рынка и товарного производства, хотя себестоимость любых изделий явно стремилась к нулю. Энергия не стоила уже ничего, доступная как воздух, и даже еще доступнее, поскольку черпалась она из космического пространства.

Увы, бесплатность благ и услуг привела к ужасающим результатам. Все наперебой принялись нагромождать горы ненужного добра, выдумывать отчаянные экстравагантности, чтобы перещеголять родственников, соседей, знакомых, а те тоже не покладали рук. К семейным особнякам пришлось пристраивать склады одежды, сокровищ, съестных припасов, часть их гибла без всякой пользы, а труд накопительства становился попросту непосильным; это погрузило нуворишей в такое уныние, что они, бывало, перенастраивали мирных роботов и формировали из них частные штурмовые отряды, чтобы допекать окружающих; разгорелись стычки и даже целые войны — в буквальном смысле слова гражданские — между отдельными гражданами. Из-за чего? Просто так. Пришлось обложить заставами и разоружить целый город, охваченный огнем пожаров, сотрясаемый взрывами бомб.

Вроде давно известно, что абсолютное благоденствие развращает абсолютно, однако нашлись идеалисты-оптимисты, верившие, что народ вскорости перебесится. Существующая ныне система, сложившаяся более ста лет назад, развеяла эти ребяческие мечты. Каждому гражданину на год выделяется строго определенная квота энергии. Он может употребить ее на что хочет. Например, на триста тысяч пар брюк с золотыми лампасами, или шоколадную гору с марципановыми ущельями, или девятьсот платиновых летающих проигрывателей такой мощности, что, даже когда они исчезают за горизонтом, еще слышна их иерихонская музыка; но никто уже не расточает своих запасов так сумасбродно: приходится считаться с расходами, а квоту нельзя накапливать или объединять с кво-

тами других лиц, чтобы не возникли тайные коалиции или иные подрывные ассоциации. Все, что нужно, создают на какое-то время, а потом выключают, как мы — электрический свет. Нет уже уникальных предметов, и подарком может стать только оригинальная информация о чем-нибудь таком, чего ни у кого пока нет, потому что он об этом не слышал, а сам не додумался. То есть презентом может быть лишь нечто вроде рецепта или инструкции. По существу, истинно новой информации подобного рода не существует, ведь любая возможная информация содержится в компьютерных инвентарях благ, а ее недоступность обусловлена лишь ужасающей избыточностью накопленных сведений.

Вместе с Кикериксом я был в художественной галерее; на почетном месте здесь стоит статуя Даксарокса, политика, который первым стал пропагандировать сооружение дебоширен, или буялен. В этих заведениях, открытых для всех совершеннолетних, можно дать волю агрессивным страстям. Немало энциан считают Даксарокса крупнейшим государственным деятелем эпохи всеобщей бездеятельности, но есть у него и хулители.

По совету своего наставника я посетил автоклав. Это огромное сферическое здание, похожее на велодром. В огромном подземном паркинге ты выбираешь машину, а затем по пандусу въезжаешь на обычную городскую площадь, под открытое небо. Там разрешено все — таранить другие машины, гоняться за пешеходами, усеивая трассу трупами и разбитыми автомобилями, и даже въезжать в дома, превращая их в груды обломков и тучи известковой пыли. Не знаю, как делают эти миражи, но ощущение реальности происходящего — полное. Некоторые клиенты, говорят, не выходят из автоклавов, испытывая ужас при мысли о возвращении под опеку этикосферы, настолько она им осточертела. Имеются также дебоширни иного типа — там можно безнаказанно убивать, поджигать, грабить и мучить кого угодно до сотого пота и до потери дыхания, но мне что-то не захотелось.

Кикерикс полагает — может быть, и справедливо, — что между завсегдатаями этих заведений и ценителями кровавых зрелищ вроде боя быков или фильмов, напичканных уголовщиной, разница не в сути, а только в степени. Одни знатоки проблемы видят в буяльнях усилители измененных инстинктов, обостряющие ощущение угнетенности у лиц, по природе жестоких, но другие называют это сбросом дурной крови, предохранительным клапаном, который дает разрядку слишком настойчиво умиротворяемой психике граждан. Ходят слухи, будто дебоширни находятся под тайным контролем

Министерства Превентивных Мер и каждый, кто перебесится фиктивно и понарошку, попадает в картотеку лиц с порочными склонностями, а после к ним подсылают душеумягчающие шустры. Оппозиционеры избегают этих заведений как черт ладана и отзываются о них с величайшим презрением. Нет недостатка в фата-морганных имитаторах и за городом, в специальных охотничьх угодьях, где страстные охотники выслеживают самого крупного зверя — курдюка, и даже тысячетонных огнемечущих пирозавров. Должно быть, отсюда и взялись в земных материалах противоречивые сообщения об огнедышащих горынычах: будучи фантомами, они существуют и не существуют одновременно. Не я один оплошал, приняв развлечения чужепланетной цивилизации за повседневную реальность. То же самое относится к пресловутой манекенизации; манекены в натуральную величину, с виду неотличимые от оригиналов, действительно можно заказать в филиалах фирмы ЛЮТОНД (Любые Товары На Дом); ЛЮТОНД производит все необходимое для домашнего хозяйства, в том числе по индивидуальным заказам, и никто не спрашивает клиента, что он намерен делать с заказанными товарами, ведь земной продавец платья тоже не особенно любопытствует, зачем оно понадобилось покупателю. Это просто никого не заботит, а разница лишь та, что на Энциии заказать андроида не сложнее, чем холодильник.

Кикерикс говорит, что работают не больше 10 % всех энциан, однако это число постоянно растет; несмотря на всеобщую роскошь и бесчисленные развлечения, безработица докучает сильнее, чем можно было себе представить в прежнюю эпоху нужды и изнурительного труда. Главной проблемой остается, по его мнению, вседоступность благ и утех. Что задаром дается, не ставится ни в грош; блаженное ничегонеделание приводит слишком многих в отчаяние, и уже начинают подумывать, как бы сделать жизнь потруднее. Ах, если бы общество согласилось одобрить такие проекты! Да вот беда — не желает, и все. Свое нежелание оно подтверждает в регулярно устраиваемых плебисцитах, и единственным выходом было бы создание каких-то совершенно новых препятствий на жизненном пути. Ведь не о том речь, что в один прекрасный день просто не хватило бы продуктов и народ, вместо того чтобы идти в дебоширню, встал бы в очередь за сыром. Но как на деле исполнить подобные замыслы? Любые изменения требуют согласия большинства, и трудности нового типа должны быть приняты добровольно, а не навязаны. Крайне сложный вопрос, тряс своей птичьей головой мой наставник, эти колебания между искушениями тайнокрадии и гедонизации; и не-

мало расплодилось таких, что ведут жизнь анахоретов, из дому не выходят, носят одну и ту же одежду, пока не истлеет, а все потому, что необходимость выбора при царящем переизбытке совершенно парализует их волю.

Я спросил про Черную Кливию, и мне показалось, что вопрос пришелся ему не по вкусу. Вместо ответа он принялся выпытывать, что я знаю о Кливии, после чего заявил, что на 98 % это ложь, состоящая из недоразумений и передержек, а остальное сомнительно. Как же было на самом деле? На самом деле, ответил он, мы делали для кливийцев все, что могли. Из-за неблагоприятных климатических условий у них часто случался неурожай, мы снабжали их продовольствием (так же, впрочем, как и Курдландию), а они, то есть их власти, по-прежнему морили народ голодом, накапливая стратегические запасы на случай войны, которую они собирались против нас развязать; и даже если в экспортируемые продукты добавлялись субстанции, делающие невозможным их длительное хранение, с нашей стороны это была элементарная предусмотрительность, не больше того. А что могло быть «больше»? — спросил я; он неопределенно улыбнулся и сказал, что на этой почве возникло множество измышлений и инсинуаций, о которых я рано или поздно услышу. Разговор о Кливии привел к заметному разладу между нами.

От езды в Институт Облагораживания Среды в памяти у меня осталось лишь удивление, вызванное взлетом лифта: он тронулся вертикально, а потом щелчком вставляемого в магазин патрона перескочил над крышей гостиницы на колею, которая плоской радугой, без единой опоры, выгибалась над городом, и подобно радуге сияла семью цветами солнечного спектра. Потом наступила темнота, пол мягко провалился подо мною, кабина застыла неподвижно, ее стена раскрылась по невидимому шву, и на фоне растений с большими белыми цветами я увидел высокого люзанца с человеческим лицом, в однобортном костюме и белоснежной рубашке, словно он только что вышел от парижского портного: даже лацканы пиджака и воротничок рубашки скроены по последней моде — моде двухвековой давности! Это тоже было частью оказываемого мне повсюду почтения, ведь сами они одеваются по-другому. Люзанец ждал меня, заранее протянув руку, словно боялся забыть, как положено приветствовать человека; при рукопожатии его ладонь исчезла в моей вместе с большим пальцем. Это был Типп Типпилип Тахалат, директор ИОСа, черноглазый блондин. Я бы не прочь узнать, как они это делают. Взамен переводилки — на лацкане — у меня

было по маленькому металлическому кружочку на раковине каждого уха; зсмная речь словно выплывала изо рта у встречающих. Они, наверно, слышали меня так же. Заметив неловкость, проявленную Тахалатом при встрече, я почувствовал некоторое облегчение: в его знании земных обычаев оказались пробелы, а ничто так не угнетает, как чужое совершенство.

Тахалат провел меня в поистине удивительное помещение. Это была точная копия зала собраний старинного земного банка — примерно конца XIX века. Длинный, покрытый зеленым сукном стол между двумя рядами чернокожих кресел, матово-молочные окна, между ними — остекленные шкафы; одни были уставлены толстыми книгами — среди них я заметил тома ежегодников Ллойда, — в других стояли модели парусников и пароходов; и я опять подумал, что они, ей-богу, уж слишком стараются, устраивая такое представление ради одной-единственной беседы с землянином! Мы сели за маленький столик у окна, под рододендрон в майоликовой кадке, между нами дымилась кофеварка с мокко, стояла одна чашка — для меня — и серебряная сахарница, кажется, с британским львом; а для хозяина было приготовлено что-то вроде груши на ножке или гриба с лазоревой шляпкой. Тахалат извинился, что не будет пить того же, что я; он к этому не привык и рассчитывает на мою снисходительность. Я заверил его, что он оказывает мне слишком много внимания; так мы состязались в учтивости, я — помешивая сахар в чашечке, он — вертя в руках грушу-грибок у которой вместо черенка была трубочка, а внутри — какая-то жидкость. Тахалат заговорил о моем злосчастном приключении. Он напомнил, что уцелел я благодаря этикосфере, хотя, возможно, не отдаю себе в этом отчета. У антихудожников мне ничто не угрожало, добавил он, что же касается гидийцев, то они живут в резервате, ошустренном только поверхностно. Поэтому, когда стало известно о моем похищении, усилили локальную концентрацию шустров, и тогда они просочились в подвал.

— Наконец-то я узнаю от вас, как они действуют, эти шустры, — сказал я, удивляясь про себя превосходному вкусу люзанского кофе.

— Лучше всего — на опыте, — ответил директор. — Могу ли я вас попросить дать мне пощечину?

— Что-что, извините?

Я подумал, что в переводе ошибка, но директор с улыбкой повторил:

— Я прошу вас оказать мне любезность, ударив меня по

щеке. Вы убедитесь, как действует этикосфера, а после мы обсудим этот эксперимент... Я, пожалуй, встану; вы тоже встаньте — так будет удобнее...

Я решил ударить его, раз уж ему так хотелось. Мы встали друг против друга. Я замахнулся — в меру, потому что не хотел свалить его с ног, — и застыл с отведенной в сторону рукой. Что-то меня держало. Это был рукав пиджака. Он стал жестким, словно жестяная труба. Я попытался согнуть руку хотя бы в локте и с величайшим трудом согнул ее, — но только наполовину.

— Видите? — сказал Тахалат. — А теперь попрошу вас отказаться от своего намерения...

— Отказаться?

— Да.

— Ну хорошо. Я не ударю вас по...

— Нет, нет. Не в том дело, чтобы вы это сказали. Вы должны внушить себе это, дать торжественное внутреннее общение.

Я сделал примерно так, как он говорил. Рукав размягчился, но не до конца. Я все еще ощущал его неестественную жесткость.

— Это потому, что вы не вполне отказались от этой мысли...

Мы по-прежнему стояли лицом к лицу. Минуту спустя рукав уже был совершенно мягким.

— Как это делается? — спросил я.

На мне был пиджак, привезенный с Земли, — шевиотовый, пспельного цвета, в мелкую серо-голубую крапинку. Я внимательно осмотрел рукав и заметил, что ворсинки ткани лишь теперь укладывались, словно это была шерсть сперва насторожившегося, а потом успокоившегося животного.

— Недобрые намерения вызывают изменения в организме. Адреналин поступает в кровь, мышцы слегка напрягаются, изменяется соотношение ионов и тем самым — электрический заряд кожи, — объяснил директор.

— Но ведь это моя земная одежда...

— Потому-то она и не защищала вас с самого начала, а лишь часа через три. Правда, недостаточно успешно — хотя шустры и пропитали ткань, вы остались для них существом неизвестным, и по-настоящему они отреагировали лишь тогда, когда вы начали задыхаться — помните? — в том подвале...

— Так это они разорвали ошейник? — удивился я. — Но как?

— Ошейник распался сам, шустры только дали приказ. Мне придется объяснить вам подробнее, ведь это не так уж просто...

— А что было бы, — прервал я его, — сними я пиджак?
...И сразу вспомнил, как там, в подвале, похитители отчаянно пытались раздеться.

— Ради Бога, пожалуйста... — ответил директор.

Я повесил пиджак на спинку стула и осмотрел рубашку. Что-то происходило с поплином в розовую клетку — его микроскопические волокна встопорзились.

— Ага... рубашка уже активизируется, — понимающе сказал я. — А если я и ее сниму?..

— От всего сердца приглашаю вас снять рубашку... — с готовностью, прямо-таки с энтузиазмом ответил он, словно я угадал желание, которое он не смел высказать. — Не стесняйтесь, прошу вас...

Как-то странно было раздеваться в этом изысканном зале, в светлой нише возле окна, под пальмой. Это, наверно, выглядело бы не так необычно в более экзотическом окружении; тем не менее я аккуратно развязал галстук; раздевшись до пояса, подтянул брюки и спросил:

— Теперь можно, господин директор?

Он как-то даже чересчур охотно подставил лицо для удара, а я, ни слова более не произнося, развернулся; стоя на слегка расставленных ногах, и они разъехались так внезапно, словно пол был из льда, да еще полит маслом; как подкошенный, я рухнул прямо к ногам люзанца. Он заботливо помог мне подняться, а я, распрямляясь, будто бы нечаянно двинул ему локтем в живот и тут же вскрикнул от боли — локоть ткнулся словно в бетон. Панцирь, что ли, был у него под одеждой? Нет — между отворотами его пиджака я видел тонкую белую рубашку. Значит, дело было не в ней. Сделав вид, будто я и не думал ударять его под ложечку, я сел и принялся разглядывать подошвы туфель. Они вовсе не были скользкими. Самые что ни на есть обыкновенные кожаные подметки и рельефные резиновые каблуки — я предпочитаю такие, с ними походка пружинистее. Я вспомнил, как попадали художники, когда они всей оравой пошли на меня, стоящего под крылышком ангела. Так вот почему! Я поднял голову и посмотрел в неподвижные глаза собеседника. Тот добродушно улыбался.

— Шустры в подошвах? — отозвался я первым.

— Верно. В подошвах, в костюме, в рубашке — везде... Надеюсь, вы ничего не ушибли?..

Скрытый смысл этих слов был менее вежлив: «Не замахнись ты так сильно, не свалился бы с ног».

— Пустяки, не о чем говорить. А если раздеться догола?..

— Что ж, тогда бывает по-разному... не могу сказать точ-

но, что произошло бы, — просто не знаю. Если б можно было знать, возможно, и удалось бы обойти уморы, то есть усилители морали... учтите: фильтром агрессии является все окружение, а не только одежда...

— А если бы здесь, где-нибудь в укромном месте, я бросил камень вам в голову?

— Думаю, он отклонился бы в полете или рассыпался в момент удара...

— Как же он может рассыпаться?

— За исключением немногих мест — например, резервуаров, — нигде не осталось необлагороженного вещества...

— То есть как — и плиты тротуаров тоже? И гравий на дорожках? И стены? Все искусственное?

— Не искусственное. А ошущенное. И только в этом смысле, если хотите, искусственное, — говорил он терпеливо, старательно подбирая слова. — Это было необходимо.

— Все-все из мельчайших логических элементов? Но ведь это требовало невероятных расходов...

— Расходы были значительные, безусловно, но все же нельзя сказать, чтобы невероятные. В конце концов, это основная наша продукция...

— Шустры?

— Да.

— А тучи? А зимой, когда вода замерзает? И можно ли вообще ошустрить воду?

— Можно. Все можно, уверяю вас.

— И съестные продукты тоже? Этот кофе?..

— И да и нет. Быть может, я, не желая того, ввел вас в заблуждение относительно нашей технологии. Вы полагаете, что все состоит из *одних* шустров. Только из них. Но это не так. Они просто находятся повсюду, как, скажем, стальная арматура в железобетоне...

— Ах, вот оно что! Значит, скажем конкретно, — в этом кофе? плавают в нем? Но я, когда пил, ничего не почувствовал...

Должно быть, на моем лице появилась гримаса отвращения, потому что люзанец сочувственно развел руками.

— В таком количестве кофе могло быть около миллиона шустров, но они меньше земных бактерий и даже вирусов — чтобы их нельзя было отфильтровать... Так же обстоит дело и с вашей одеждой, с кожей туфель, со всем.

— Значит, они непрерывно проникают в глубь организма? С какими последствиями? Неужели они у меня в крови — и в мозгу?

— Да что вы! — Он поднял руку, словно защищаясь. —

Они выходят из организма, никак не изменяя его. Тело для них неприкосновенная территория, в соответствии с нашими основными законами. Существуют, правда, особые антибактериальные шустры, но их применяют только врачи, в случае занесенной извне болезни, ведь в воздушном пространстве Люзании уже нет никаких болезнетворных микроорганизмов... Ну как, продолжим наши эксперименты?..

Он подошел к столу и выдвинул ящик. Там лежало несколько гвоздей — больших и поменьше, молоток и плоскогубцы.

— Не угодно ли вбить гвоздь в столешницу? — Он постукал пальцем по палисандровой крышке стола.

— Не хотелось бы портить мебель...

— Да что вы, это пустяк.

Я взял полукилограммовый молоток и несколько крупных гвоздей. Звякнул одним гвоздем о другой, а затем несколькими сильными ударами вбил четырехдюймовый гвоздь в дерево до половины, так что политура брызнула в стороны блестящими щепочками. Я ударил по гвоздю сбоку — он зазвенел как камертон. Директор протянул мне плоскогубцы, и я с усилием, так как гвоздь сидел глубоко, вырвал его; он почти не погнулся.

— И что же, теперь я должен вбить его вам... в голову? — догадливо спросил я.

— Да, будьте любезны...

Чтобы мне было удобнее, он сел, слегка наклонившись, а я не спеша снял туфли, носки — мне не улыбалось еще раз очутиться на полу, — приставил гвоздь к его черепу и обозначил удар молотком, легонько, но так, что директор вздрогнул. Я застыл в нерешительности; он поспешил ободрить меня:

— Прошу вас, решительнее... смелее...

Тогда я трахнул молотком по шершавой шляпке, и гвоздь исчез. Просто исчез — лишь в ладони у меня осталась щепотка пепельной пыли.

Тахалат встал и выдвинул другой ящик. Там лежали иголки, булавки, бритвы. Он взял пригоршню этого добра, положил в рот и, медленно двигая челюстями, принялся жевать, пока не проглотил целиком. Прямо как на сеансе фокусника.

— Хотите попробовать?.. — предложил он мне.

Что ж, я взял бритву, провел по ней кончиком пальца — острая! — и положил на язык, соблюдая надлежащую осторожность.

— Смелее, смелее...

На языке ощущался металлический привкус, и было трудно отделаться от мысли, что я сейчас страшно покалечусь; однако астронавтика порою требует жертв. Я надкусил бритву, и она рассыпалась прямо во рту в мелкий порошок.

— Не угодно ли гвоздь? или иголку? — потчевал он меня.

— Нет, благодарю вас... пожалуй, хватит...

— В таком случае побеседуем...

— Как это делается? — спросил я, снова взяв свою чашку.

Я заметил, что, хотя времени прошло много, кофе такой же горячий, как при первом глотке. — Это все из-за шустров? Но ведь шустры — всего лишь логические элементы... а это, — я указал на разбросанные по столу гвозди, — должно быть, настоящая сталь?..

— Да, одни лишь шустры ничего не сделали бы без нашей технологии твердых тел... Вам, несомненно, известно, как возникает телевизионное изображение?

— Разумеется. Его рисует на экране луч развертки, пучок сфокусированных электронов...

— Вот именно. Изображение возникает как впечатление глаза; на снимках с очень короткой выдержкой будут видны лишь отдельные положения светового пятна. Как раз этот принцип и положен в основу нашей технологии твердых тел; гвоздь или любой другой металлический объект существует лишь как известное число атомных облачков, которые двигаются внутри формы, задаваемой особой программой. Эти атомы образуют что-то вроде микроскопических опилок и, мчась по своим траекториям с громадной скоростью, создают впечатление гвоздя. Или другого предмета из стали и вообще какого угодно металла. Впрочем, это не только впечатление, иллюзия, как изображение в телевизоре, — с таким гвоздем можно делать в точности то же, что и с обычным гвоздем, кованым или штампованным, понимаете?

— Это как же? — ошеломленно спросил я. — Значит, движущиеся опилки... атомы... а с какой скоростью они движутся?

— Смотря какой объект надо создать. Вот в этих гвоздях — что-то около 270 000 км/сек. Они не могут двигаться медленнее: предмет казался бы слишком легким; а при больших скоростях релятивистские эффекты проявились бы в чрезмерном возрастании массы, и вам казалось бы, что гвоздь весит много больше, чем должен... Имитация естественного положения вещей должна быть безупречной! Эти атомные облачка мчатся точно по заданным орбитам — и тем самым «обрисовывают» форму нужного нам предмета, как — если воспользоваться примитивным сравнением — горящий кончик сигареты рисует круг в темноте...

— Но ведь это требует постоянного притока энергии!

— Разумеется! Энергию доставляет нуклонное поле, взаимодействующее с гравитационным. Его нельзя экранировать, как нельзя экранировать гравитацию. А если вы возьмете что-нибудь отсюда, — он описал рукой круг, — к себе на корабль, все это рассыплется в прах, как только корабль покинет наше стабилизирующее поле.

— Значит, все, что здесь есть, — и мебель, и ковер, и пальмы...

— Все.

— Стены тоже?

— В этом здании — да. Но есть еще сколько-то старых, неощущенных строений...

— А в случае аварии энергоснабжения оно рассыплется?

— Видите ли, авария невозможна.

— Почему? Разладиться может все.

— Нет. Не все. Это не более чем предрассудок. Существуют силы абсолютно безотказные, если только вызвать их к жизни. Атомы не знают аварий, не так ли? Электрон никогда не упадет на ядро...

— Но атом в состоянии покоя не поглощает энергии.

— Да, поэтому здесь это устроено по-другому. Приток энергии необходим.

— Следовательно, может и прекратиться.

— Нет, потому что мы черпаем ее прямо из гравитационного поля нашей планетной системы. Вам понятно? Тем самым мы, конечно, притормаживаем движение планеты вокруг Солнца, но замедление, вызываемое такой эксплуатацией, — порядка всего лишь 0,2 секунды в столетие...

— Но все же какие-нибудь машины или агрегаты должны вырабатывать эту энергию, а значит, могут и отказать, — настаивал я.

Он покачал головой.

— Это не машины, — сказал он. — У них нет снашивающихся механических частей. Точно так же, как нет таких частей в атомах. Это результат интерференции особым образом наложенных друг на друга полей. Энергия в Космосе есть повсюду, в неисчерпаемом количестве, нужно лишь знать, как до нее добраться...

— А ваше лицо — не обижайтесь, пожалуйста, — выглядит человеческим тоже благодаря этой технике?

— Что же тут обижаться? Да, вы угадали. Это просто проявление вежливости... Я рассказал вам, как мы изготавливаем металлические предметы. Все остальное делать проще... но это связано с устройством конкретных твердых тел. Бо-

юсь, что рассмотрение других технологий завело бы нас слишком далеко — в область неведомой вам физики... Однако принцип всегда тот же самый. Любой материальный предмет — это рой атомов в пустоте. Атомов, включенных в структуру, соответствующую их состоянию. Мы дирижируем этими структурами, вот и все. Оркестр был готов с момента возникновения Вселенной и только ждал дирижеров...

— У вас, должно быть, чудовищных масштабов промышленность, — заметил я.

— Не таких уж чудовищных, как вы думаете. Она у нас автоматическая, самодостаточная и сама себя контролирует.

— Но в воде-то можно кого-нибудь утопить?.. — спросил я с надеждой в голосе.

— Нет. Хотите попробовать? В этом здании есть бассейн...

— Не стоит, пожалуй. Вы только скажите мне, как вода вас спасает? Выталкивает на поверхность?

— Нет, разлагается на водород и кислород, а этой смесью можно дышать...

— Разлагается — благодаря шустрям?

— Да, то есть шустры дают приказ молекулам, которые удерживаются силовыми полями.

— Вы, пожалуй, сочтете меня за дикаря, — сказал я, — но признаюсь: все, что вы говорите, кажется мне фантазией. Это просто невероятно!

— Словно я вам сказки рассказываю, правда? — улыбнулся люзанец. Он встал, подошел к стене, открыл сейф и достал оттуда обычный серый камешек. — Это *не* ошустрено и не синтезировано, — сказал он с таинственным выражением лица. — Это настоящий, природный песчаник... и что же? Прошу вас задуматься: разве он устроен «просто»?

— Ну, из атомов, из соединений кремния...

— Легко сказать! Но вы же образованный человек, вы знаете, что это миллиарды и триллионы атомов; свою макроскопическую форму — именно эту — они сохраняют лишь благодаря неустанному вращению электронных оболочек, стабилизируемых барьерами ядерных потенциалов, и еще благодаря тому, что 8000 разновидностей виртуальных квазичастиц удерживают от распада псевдокристаллическую решетку с ее аномалиями, типичными для песчаника, — и так далее. Если вы куда-нибудь зашвырнете этот камешек, то его атомы, его силовые поля, его электроны, находясь в постоянном движении, будут удерживать неизменную форму твердого минерала миллионы лет; и любой природный предмет есть результат бесчисленного множества подобных процессов... А мы научились делать на свой манер нечто не менее

и не более, а только немного *иначе* сложное... Проведенная Природой граница между уничтожимыми и неуничтожимыми технологиями проходит чуть выше атомного уровня. Поэтому нужно было спуститься вниз — по шкале размеров — к частицам, из которых Природа строит атомы, и из этих субатомных элементов конструировать то, что требуется нам. Разумеется, все это лишь общие указания, а не технологический рецепт... Мы производим твердые тела с любыми нужными нам свойствами... а их судьбой заведуют шустры, которым мы перепоручили контроль.

— Значит, у вас действительно гвозди разумны? И камни, и вода, и песок, и воздух?

— Не то чтобы разумны... Разум предполагает универсальность и способность менять программу действий, а этого шустры не могут. Они скорее что-то вроде чрезвычайно обостренных недремлющих *инстинктов*, встроенных в окружающую среду. В обычной шустринной системе разума не больше, чем, скажем, в жвалах или ноге насекомого.

— Допустим, — сказал я, — но вернемся еще раз к этикосфере... ладно? Не знаю, как можно соткать ткань из ошустренных волокон, но предположим, что знаю. Что дальше? Можно сшить из этой ткани костюм: согласен. Но как получается, что в этом костюме невозможно дать ближнему по зубам?

Он приподнял брови:

— Вас это немного раздражает, не так ли? Обычное внутреннее сопротивление и даже шок, вполне понятный при столкновении с технологией другой стадии цивилизации. Нет, дело тут не в шустрах, содержащихся в ткани. Ведь ваша одежда поначалу не была ошустрена — шустры осели на ней потом, это требует известного времени, потому-то вас и сочли потенциальной добычей, заманчивой жертвой эти — наши так называемые экстремисты... Ведь они, ясное дело, нахватались кое-каких сведений о нашей цивилизации, хотя бы в школе. Любое живое существо как бы притягивает шустры. Шустры образуют вокруг него невидимое облачко. Оно никак не влияет на обычную жизнедеятельность. Оно совершенно неощутимо. Облачко это *выучивает* типичные реакции данного лица; это нужно потому, что состояние готовности к агрессии у разных лиц проявляется неодинаково. Что уж и говорить о представителях другого разумного вида, такого, как человек! Наши шустры сначала не знали, что и как вам угрожает. Окажись на вашем месте обычный люзанец, его не удалось бы посадить на цепь, не захоти он того *сам*. Словом, этикосфера в каждом отдельном случае не обладает

мгновенной и абсолютной эффективностью изначально, но становится таковой со временем. К тому же шустры по-разному специализированы — как... скажем, как вирусы, только это вирусы *добра*. Если бы вам дали какой-нибудь необычайно редкий яд, который ваши личные шустры не успели бы вовремя распознать, то первые симптомы отравления стали бы сигналами тревоги. По этому сигналу летучие группировки шустров соединяются в более крупные образования, причем со скоростью света — или распространения радиоволн, — и на выручку призываются шустры, способные действовать как противоядие. Они не обязательно проникают в вас материально. Они лишь дистанционно регулируют поведение других шустров вашего окружения, а те уже под эту диктовку могут, скажем, за несколько секунд разблокировать в клетках отравленные дыхательные энзимы. Вы ненадолго потеряете сознание и придете в чувство немного ослабленным. Вот и все. Как вы уже, верно, догадываетесь, мы не нуждаемся в *запаздывающей* медицине, все еще господствующей на Земле; наша медицина — *упреждающая*: любой организм находится под неустанной опекой...

— Шустры занимаются профилактикой?

— Разумеется.

— Значит, разбираются во всех областях медицины? Но ведь это предполагает высокую степень универсальности...

— Нет. Прошу меня извинить, но вы все еще мыслите категориями своего времени, своего уровня знаний, а это ничего не даст. Я спрашиваю — не для того чтобы обидеть вас, но чтобы лучше вам разъяснить: смог бы даже самый мудрый землянин древности понять, как действует радио или шахматный компьютер? Ведь для этого нужно хоть что-нибудь знать об электричестве, электромагнитных колебаниях, их модулировании, энтропии, информации...

— И все же ни радио, ни компьютер не абсолютно надежны, — стоял я на своем. — Так что же вы сделали, что сравнялись с Господом Богом?..

Он усмехнулся:

— Господь Бог не сотворил мир из такого абсолютно надежного материала, как некогда представлялось. Материю можно уничтожить. Материя, если только надавить на нее посильнее, оказывается просто ненадежной и может просто исчезнуть — скажем, в гравитационных объятиях коллапсирующей звезды, — и тогда от нее, над черной, бездонной ямой, ничего кроме тяготения не остается, верно? Там, в черных дырах, где материя испускает гравитационный дух, проходит граница ее надежности. И разумеется, граница надежности любых

технологий. Но на каждый день наши атомы не хуже Господних. Мы подсмотрели Природу на нужном уровне ее устройства. Вот и все. Атом водорода не может испортиться так, чтобы он не способен был соединяться с атомами кислорода в H_2O . И точно так же не «портятся» шустры.

— Хорошо, — сказал я, чувствуя, что перехожу к отступлению, — но значит ли это, что моя одежда присматривает за мной? Или что рукава следят за своим хозяином?

— Знаете, — ответил Тахалат, — вы, сами того не ведая, повторяете доводы нашей оппозиции. Галстуки-соглядатаи, рубашки-осведомительницы, рукава-шпики. Боже ты мой, репрессивные кальсоны! Да ничего подобного, уверяю вас. Во влажной почве зерно прорастает. Что, оно следит за температурой? Недоверчиво взвешивает перспективы роста? Раздумывает о погоде, прежде чем примет важное решение прорасти? Шустры ведут себя точно так же. Законы Природы — это прежде всего запреты: *нельзя* получить энергию из ничего; *нельзя* превзойти скорость света и так далее. Мы вмонтировали в окружающую нас Природу еще один запрет — охраняющий жизнь. И ничего больше. Все остальное — параноидальный бред, мания преследования, понятная постольку, поскольку в дошустринную эпоху усматривали разум во всем, что хоть в каком-нибудь отношении вело себя как разумное Существо. Отсюда же происходило странное смешение понятий и страхи по поводу пракомпьютеров. Что они будто бы могут взбунтоваться, восстать против общества. Небылицы! Но здесь, — он обозначил круг, — нигде нет личного разума. Есть лишь ошустренные окна, мебель, перекрытия, портьеры, воздух — все это, разумеется, похитрее противопожарных датчиков, но точно так же предназначено для строго ограниченных целей.

— Но как же они отличают игру от настоящей схватки? Дружеское пожатие от удушающего? Хотя бы в спорте. Или спорт вам уже неизвестен?

— Да нет же, известен. Вы хотите знать, на чем основано умение шустров *распознавать*? Что ж, я отвечу. Такое умение действительно необходимо. Общество, завладевающее силами Природы, подвержено бурным потрясениям. Желанное благосостояние вызывает нежелательные последствия. Новые технологии открывают перед насильниками новые возможности и перспективы. Начинает казаться, что чем больше власть над Природой, тем больше деморализация общества. И это правда — до определенной границы. Это вытекает из самой очевидности открытий. Легче перенять от Природы ее разруши-

тельную мощь, чем ее благожелательность, и как раз потенциал разрушения становится желанной целью. Такова новая историческая опасность. Мало того: логические последствия технологий подрывают их основание; вам это известно на примере агонии природной среды. Затем — но это вам еще не известно — появляется *экорак*. Что-то наподобие вырождения больших автоматизированных и компьютеризированных систем. Новая, захватывающая цель — все большая степень овладения миром — словно бы подвергается дьявольской подмене. Старые источники благ пересыхают быстрее, чем открываются новые, и дальнейший прогресс зависает над пропастью. Порядок, достигаемый благодаря технологии, порождает больше хаоса, чем в состоянии переварить! Чтобы преодолеть все эти преграды (источник которых — в ненадежности техники и человеческой природе, которая тоже небезотказна, поскольку сформировалась в других условиях, в другом мире), следует взобраться на новый, более высокий уровень техноэволюции, похитить у Природы сокровище, завладеть которым труднее всего, — скрытое в субатомных явлениях. У нас этому служит синтез новых твердых тел и новые методы контроля над ними, то есть шустры. Таковы два столпа нашей цивилизации. Их симбиоз мы называем этикосферой. Лавинообразное приращение знаний грозит превратить науку в *крошево* бесчисленных специальностей, и тогда, согласно известному афоризму, эксперт будет знать все ни о чем! Этого нельзя допустить. Спасительным поворотом становится создание глобальной системы знаний, доступных без всяких ограничений, — но уже не живым существам. Ни одно из них не справится с этой громадой. Любая из отдельно взятых пылинок, какими являются шустры, ничуть не универсальна, зато универсальны все они, вместе взятые. И этой их универсальностью может при необходимости воспользоваться каждый, как я пробовал показать вам на примере редкостного случая отравления. Прошу заметить, что невидимое облачко шустров, которые вас опекают, само умеет не слишком много — и в то же время все, на что способна вся наша этикосфера, раз оно может за какие-то секунды добраться до любой информации, содержащейся в глобальной системе. Это могущество можно призвать на помощь в любую минуту, как джинна из сказки. Но такое позволено только шустрам! Никто не может сделать этого сам, непосредственно, а значит, использовать невидимого колосса этикосферы *против* кого бы то ни было...

— И нельзя обмануть шустров? — спросил я. — Так уж совсем? Что-то не верится...

Он засмеялся, но как-то невесело.

— Вы же на себе убедились. Вашим похитителям это удалось — отчасти и ненадолго — лишь потому, что вы еще были незнакомым этикосфере существом.

— Но ведь каталог всех мыслимых обоснований преступлений бесконечен... Зло можно причинять не прямо, а тысячью обходных способов...

— Безусловно. Но я же не говорю, что Люзания — воплощенный рай...

Я вдруг посмотрел на него, увлеченный новой идеей:

— Пожалуй, я знаю, как перехитрить шустров...

— Нельзя ли узнать, как?

— Мои похитители именно это и пытались сделать. Теперь я понял! Они пробовали изменить квалификацию своего поступка...

Он взглянул на меня с тревожным любопытством:

— Что вы имеете в виду?

— Теперь я думаю, что они пытались превратить экзекуцию в жертвоприношение... Как бы освятить ее. Чтобы убийство стало чем-то возвышенным и благородным. Как оказание помощи. Как спасение. Меня должны были принести в жертву чему-то более ценному, чем жизнь.

— Чему же? — спросил он с нескрываемой иронией.

— Вот это как раз и осталось довольно темным. Они казались уверенными в себе, пока не принимались за дело... как будто они все вместе брали разбег, пытаясь перепрыгнуть через барьер — и не могли...

— Потому что их вера — ненастоящая! — перебил он меня. — Они хотели уверовать в свою миссию, но не смогли. Нельзя уверовать только потому, что этого *хочешь!*

— Однако другим может повезти больше, — буркнул я. — Не мясникам, разумеется. Но могут быть люди, действительно убежденные, что, совершая убийство, они совершают добро. Как в средневековье, когда сжигали тело, чтобы спасти душу. Словом — обман уже не будет обманом, если вера окажется искренней...

— Средневековье нельзя возродить одним лишь желанием, хотя бы и самым страстным, — возразил Тахалат. — Скажу вам больше: неистовость подобных усилий раскрывает их подоплеку — святости в ней нет ни крупинки! Мнимым ритуалом жертвоприношения легче обмануть людей, чем шустров...

— Это как раз то, что и не снилось нашим мудрецам, — заметил я. — Логическая пыльца, отличающая веру от неверия. Но как?

— Это лишь кажется непостижимой загадкой. Шустры

вовсе не оценивают искренность веры. Они просто реагируют на симптомы агрессии и бездействуют, если их нет. Не всякая вера исключает агрессивность. Что может быть агрессивнее фанатизма? Так что он не усыпит их бдительность. Агрессию исключает стремление к добру, но оно, в свою очередь, исключает убийство. Конечно, не всегда было так, но в прошлое вернуться нельзя.

— Я бы не поручился! — возразил я. — Особенно когда уже известна нужная формула: запечатленные в структуре материи заповеди теряют силу, если убийца верит в благость своего поступка. К тому же вера и неверие — это не взаимоисключающие логические категории. Можно верить отчасти, временами, сильнее, слабее... и где-нибудь на этом пути в конце концов перепрыгнуть через шустринный барьер...

Люзанец мрачно посмотрел на меня:

— Действительно, такой порог есть. Не буду обманывать. Только он выше, чем вы полагаете. Гораздо выше. Поэтому штурмуют его напрасно...

Догадываясь, что я утомился — беседа продолжалась почти три часа, — директор уже не настаивал на посещении лабораторий. Обратного меня провожал его молчаливый ассистент. Когда мы парили над городом, мое внимание привлекло большое пятно зелени, окаймленное шлемами сверкающих башен; узнав, что это городской парк, я попросил завезти меня туда.

Какое-то время я бродил по аллеям, едва замечая их — из головы у меня не выходил разговор с Тахалатом, — и наконец уселся на лавку; чуть подальше в песочнице играли дети. Лавка была не совсем обычная, с выемками для ног, которые энциане, садясь, подбирают под себя. Но дети издали выглядели совсем как наши, у них даже были ведерки, чтобы делать куличи из песка. Куличи лепила только одна маленькая, лет трех, девчушка, сидя на корточках отдельно от всех. Остальные играли иначе. Они швырялись горстями песка, стараясь попасть в глаза друг другу, и заливались смехом, когда песок, отраженный невидимым дуновением, обсыпал бросившего.

Из-за живой изгороди вышел малыш — не старше, чем остальные, — и что-то стал говорить. Его не слушали, тогда он принялся передразнивать играющих, все грубей и грубей, пока не вывел их из себя. Они бросились на нахала, но, хотя и были выше и шли втроем на одного, он вовсе не испугался, и неудивительно — нападавшие ничего не могли ему сделать. Не знаю, что парировало их удары, но этот мальчишка, меньше всех ростом, спокойно стоял посреди напирających на него, рассерженных уже не на шутку детей; в конце концов все

вместе они опрокинули его и принялись по нему прыгать. Но мальчуган, казалось, стал скользким, как лед; напрасно пытались они держаться друг за друга, чтобы не упасть, или прыгать с разбега. Ребячий гомон умолк; дети молча начали раздеваться, чтобы разделаться с обидчиком голышом. Двое держали его, а третий, связав из шнурка петлю, набросил ее на шею жертве и затянул. Я непроизвольно рванулся с места, но не успел встать, как шнурок лопнул. Тогда эти мальцы пришли в настоящее бешенство. Началась такая кутерьма, что в песочнице взметнулось облако пыли. Из него поминутно кто-то показывался, чтобы поднять валяющиеся возле песочницы лопатку или грабельки, и с занесенной рукой бросался на недостижимого врага. Ярость детей превращалась в отчаяние. Один за другим, отбрасывая в сторону свои игрушечные инструменты, они выбрались из песочницы и уселись на газоне поодаль друг от друга, опустив головы. Малыш встал, он бросал в них песком, подходил к сидящим, смеялся над ними — наконец один из них расплакался, порвал на себе костюмчик и убежал. Несостоявшаяся жертва потопала в другую сторону. Остальные долго собирали свои вещи, потом присели на корточки в песочнице и что-то там рисовали. Наконец и они ушли. Я встал и через голову девчушки, которая по-прежнему невозмутимо опрокидывала свои куличики, глянул на оставленный детьми рисунок: неуклюжий контур фигуры, рассеченный вдоль и поперек глубокими ударами лопатки.

Эпток

Путь к величайшим открытиям лежит через абсурд. Как известно, единственный способ не стариться — это умереть; таким выводом и заканчиваются обычно поиски вечной молодости. Для энциан этот конец стал началом бессмертия. Вчера я видел философа, который не состарится никогда, потому что он уже триста лет — труп. И не только видел, но и беседовал с ним больше часу. С ним самим, не с его машинной копией или еще каким-нибудь двойником. Это был Аникс, который триста шестьдесят лет назад получил от последнего из Ксиксаров титул Коронного Мудреца, а значит, помнит еще времена империи. На Дихтонии я услышал когда-то доказательство недостижимости вечной жизни без огромных машин-опекунш и видел эти машины, громоздкую аппаратуру, в утробе которой обессмерчиваемый влачит существование настоящего паралитика. Дихтонец Бердергар доказал, что именно столько оборудования необходимо, чтобы вводить обратно в организм информацию, теряемую по

мере старения. Энциане оказались изобретательнее дихтонцев. Они не опровергли доказательств Бердергара, да это и невозможно. Они поступили иначе: выполнили обходный маневр и достигли бессмертия через смерть.

Я должен объяснить это подробнее. Задание кажется абсурдным: того, кто хочет существовать вечно, надо убить. Все дело в том, как совершается это убийство. В организм вводятся шустры, запрограммированные так, что они проникают во все ткани, сопутствуя молекулярным процессам жизни. Эти шустры построены из субатомных частиц, то есть они мельче мельчайших вирусов. Их нельзя наблюдать даже при самом сильном увеличении. Постепенно они «прилипают» к клеточным ядрам и заполняют их. Они так малы, что организм их не замечает и не включает свою систему защиты. На начальной стадии эктофикации эти шустры еще не работают, а лишь обучаются своей будущей работе, как бы считывая все информационные явления, из которых состоит жизнь. Они не наносят вреда тканям, оставаясь их пассивными телами, — словно зритель, который самовольно вышел на сцену и копирует все движения пантомимы. По видимости в организме ничего не меняется, пока насытившиеся информацией шустры не начинают брать на себя функции живых частиц протоплазмы. Нужную для этого энергию они черпают из ядерных реакций, называемых тихими. Тем не менее реакции эти понемногу убивают организм.

Эктофицируемый этого не ощущает. Он двигается, мыслит и действует, как и раньше, он может есть и пить, но через какое-то время, измеряемое годами, уже не испытывает потребности в пище. Его тело мало-помалу умирает; осевшие в нем триллионы шустров организовались в невидимый субатомный скелет, которому обмен живой материи ни к чему. Это как раз и есть экток, то есть труп, разлагающийся совершенно незаметно, шаг за шагом. Его прежняя плоть постепенно исчезает вместе с отходами организма, но он об этом не знает, потому что, уйдя из жизни, он существует по-прежнему. Как если бы старую паровую машину Уатта приводил в действие электромоторчик, укрытый в вале маховика, так что кривошипам и поршнями движет уже не пар, а электрическая энергия. Такая машина будет всего лишь действующим макетом — и точно то же можно сказать о теле эктока. Энцианский термин мы переводим на древнегреческий; «эк-тос» значит «внешний», ведь бессмертие здесь приходит извне. Специалисты называют подмененное тело псевдоморфозой: мертвые логические системы, шустры, вытесняют живую протоплазму. Организм, набитый внутри, как чуело,

сохраняет свой облик, форму и функции, но только — вот уж поистине жестокая ирония! — эрзац-материал долговечнее и эффективнее натурального. Какое-то время обе системы — органическая и шустриная — действуют параллельно, но мертвая постепенно уничтожает живую, и главной проблемой экотехники была успешная синхронизация ползучей смерти и такой же ползучей псевдоморфизации. Это, и только это, казалось поначалу неосуществимым. За успех пришлось платить гекатомбами лабораторных животных. Когда обмен веществ начинает рваться, как истлевшее полотно, все функции живой материи уже успел перенять опустошенный носитель, и тело с теплящимися в нем остатками жизни — теперь не более чем пустая скорлупа, почти совершенно полая куколка, бутафория, за которой беззвучно пульсирует энергетический скелет шустров.

Эктофицируемый не может помолодеть, ведь шустры получают от тела лишь ту информацию, которая была в нем в момент их вторжения. Приходится вести псевдожизнь в возрасте, в котором было опустошено тело. Поэтому самые лучшие результаты дает эктофикация в молодости. Через сто лет после ее начала человек биологически мертв. В его организме нет уже ни следа мышц или нервов. Остались их безупречные заменители, а сами они подверглись полной псевдоморфизации — подмене шустрами, став питательным субстратом бессмертия. Так что надо и впрямь умереть, чтобы его обрести. Лет через двести слегка меняется внешний облик, но, как утверждают, заметить это способен только специалист. Теперь уже ничего не осталось от автономии жизненных процессов. Все органы тела действуют как паровая машина, незаметно приводимая в движение электричеством, то есть подменная. Глаза могут временно помутнеть — здесь псевдоморфозная синхронизация иногда дает сбой, — но и они вскоре обретают твердую прозрачность стекла. Кожа понемногу темнеет, так как шустры в процессе ядерных превращений выделяют ионы тяжелых металлов. Этот металлический отлив появляется лет через триста. Считается, что никаких других побочных эффектов нет на протяжении по меньшей мере пяти тысяч лет. Кровь по-прежнему течет в венах, но это всего лишь бесполезная красная жидкость, которая не несет в себе кислорода, — что-то вроде привычной декорации. Если бы сердце остановилось (хотя остановиться оно не может, как и подменная паровая машина), эток все равно продолжал бы мыслить и двигаться, ведь сердце у него бутафорское. Оно, однако, должно работать и дальше: ощущение глухой тишины и пустоты в груди могло бы вызвать тревогу. Итак, все признаки

жизни сохраняются полностью — кроме нее самой. Ведь биологически это труп, который как раз поэтому не боится ни пустоты, ни болезнетворных бактерий, ни смертельного холода. Шустры в процессе ядерных превращений выделяют тепло, дозируемое так, чтобы температура тела эктока не отличалась от температуры живого тела. Но видимость сохраняется лишь постольку, поскольку это необходимо для нормального самочувствия. Внутренность эктофицированного черепа холодная, так как ошущенный мозг лучше работает при низких температурах.

Когда началась массовая эктофикация, исследователи констатировали ее исключительную физиологическую надежность и одновременно — опасные психические последствия в виде всевозможных неврозов и даже безумия, потому что нельзя заставить обессмерченных забыть о цене, которую им пришлось заплатить. Экток не способен размножаться. Кто знает, может, и этого удалось бы достигнуть, но к чему искать технические решения, если мертвые все равно плодили бы мертвых. Экток ничем или почти ничем не отличается от живого, но *знает*, что он неживой. Он дышит, но легкие его раздуваются как бесполезные мехи. Сон ему тоже не нужен. Он мыслит быстрее и лучше тех, у кого теплый, снабжаемый кровью мозг. В духовном смысле он остается тем же существом, что и прежде: структуры мозга, образующие личность, не только не изменились, но даже упрочились. Не живя, он не может ни состариться, ни умереть. Он не болеет и не испытывает боли. Нельзя назвать его андроидом или роботом, ведь он до последней косточки, до последней клетки такой же, что и до эктофикации. То, что он *не* такой же, можно обнаружить лишь при помощи биопсии и электронного микроскопа, в котором видна тончайшая атомная структура его организма. Речь, следовательно, идет о фальсификате, который во многом превосходит оригинал, ибо надежнее и долговечнее его. Таким был, на заре шустринной эпохи, ее великий триумф. Десятки тысяч жаждали этого бессмертия, — но оказалось, что оно им не по плечу. Как заметил Ирркс, один из создателей эктотехники, надо было, как видно, родиться мертвым, чтобы «выстоять» в шкуре эктока. (Хотя эктологи полагали — как оказалось, опрометчиво, — что психологические трудности эктофикации сглаживаются благодаря тому, что эктофицируемый умирает не в один какой-то момент, но долгие годы, постепенно, незаметно ни для себя самого, ни для окружающих.) То был конец энцианских мечтаний о бессмертии. Никакая другая техника, объяснили мне, не

может сравниться с эктотехникой — ни одна не дает столь очевидной и безусловной гарантии вечного существования. Тот, кого воскресили из праха, будет уже другим существом, быть может, похожим на умершего словно две капли воды, но все же кем-то другим — как близнец. Ибо на стыке смерти и воскрешения возникают экзистенциальные парадоксы, которые нельзя преодолеть, то есть решить: КТО, собственно, открывает глаза в качестве воскрешенного — ТОТ же самый или только ТАКОЙ же самый человек. Напротив, эктотехника, будучи кунктаторским методом, обеспечивает непрерывность существования очевидным образом. То, что никто не в силах вынести последствий столь замечательного достижения, дело совсем другое — и техническое совершенство помочь тут не в силах.

«Отторжение бессмертия» протекает по-разному, но основные симптомы схожи: отращивание к собственному телу, зияющая духовная пустота, страх и отчаяние, перерастающие в манию самоубийства. Следует добавить еще, что общество не облегчало жизнь эктофицируемым, проявляя в отношениях с ними особого рода презрение, смешанное с завистью. О том, почему один только Аникс, бывший императорский философ, не отказался от такого существования, я услышал множество противоречащих друг другу версий. Он сам будто бы однажды назвал себя вечным свидетелем преходящего мира, но это, похоже, лишь одна из полуполюгендарных историй, связанных с его именем. Научные занятия он оставил больше ста лет назад. И никого не принимает; ни одного из его учеников уже нет в живых. Говорят, надо самому стать эктоком, чтобы почувствовать вкус и бремя такого существования. Люзанские историки всеми силами стараются обойти эктотехническую стадию своей цивилизации. Кажется, это для них эпизод столь же тягостный и замалчиваемый по тем же соображениям, что и гибель Кливии. Как если бы и здесь, и там случилось нечто во всех отношениях постыдное, чего нельзя уже ни исправить, ни вычеркнуть из памяти.

Аникс живет в небольшом одноэтажном загородном доме, с садом, заросшим бурьяном и полевыми цветами. Он сам пожелал встречи со мною, и это было, как меня уверяли, редким отличием. В молодые годы, то есть еще в эпоху империи, он опубликовал главный свой труд, возникший под влиянием Учения о Трех Мирах, этого фундамента энцианской мысли. В его трактовке Учение подверглось редукции. Аникс пришел к выводу, что возможны лишь два рода миров. Мир либо лоялен к своим обитателям, либо нелоялен. Лояльный мир — это мир, в котором нет непостижимых свойств и

недоступных мест. Это мир без неразрешимых загадок и вечных тайн, мир, абсолютно прозрачный для познающего разума. А нелояльный мир познать до конца нельзя. Он непостижим и неисчерпаем. Именно таков наш мир. Аникс сравнил его в своем главном труде с колодцем, размеры которого ограничены и конечны, но из которого воду можно черпать без конца. Вселенная как раз такова: конечна и неисчерпаема. Через двести лет, уже будучи эктоком, он ввел в свое учение небольшую на первый взгляд поправку. Он сохранил прежнюю классификацию миров, однако признал, что лишь мир, который он раньше называл нелояльным, можно считать благожелательным. Лишь такой мир бросает вечный вызов разуму, а разум больше ценит путь, чем конец пути, познание — больше, чем окончательную формулу, и окончательная победа для него означала бы окончательное поражение. Что делал бы разум, познавший «все»? Поэтому Аникс и поменял знаки лояльности и нелояльности в своей типологии миров. Вот что мне было известно, когда я переступил порог его дома.

Кикерикс, мой провожатый, в дом не вошел. Возможно, Аникс хотел встречи с глазу на глаз, не знаю. Я об этом не спрашивал. Он сидел на деревянной веранде, в лучах солнца, необычайно яркого для северных районов Люзании, и смотрел, как я иду к нему между высокими рядами кустарника, покрытого пухом уже отцветающих цветов. Он сидел за низким деревянным столом, на этом странном для моих глаз стуле, устроенном так, чтобы можно было подогнуть под себя ноги по-энциански, и был похож скорее на громадную головастую жабу, чем на лысую птицу. Его лицо, твердое, выпуклое, огромное, с широко расставленными глазами и ноздрями, было цвета красного дерева с матово-синим отливом. Под белой накидкой, или, пожалуй, монашеской рясой, угадывался мощный скелет; свои большие темные руки он положил на крышку стола и смотрел на меня неподвижно, не мигая глазами, желтыми, как у злого кота. Увидев его, я сразу поверил, что ему почти четыреста лет. Хотя я не заметил у него ни единой морщины, а голос его звучал сильно, было в нем что-то ужасающе старое. Не усталость, а скорее терпение, — терпение не человека, а камня. Или, может быть, безразличие. Словно он все уже видел и ничто не могло ни удивить его, ни заинтересовать.

— Здравствуй, пришелец с Земли, — сказал он, когда я ступил на скрипучие деревянные ступеньки веранды. — Я слышал о ней давно. Садись. У меня есть табурет для людей...

И в самом деле, табурет, на который он мне показал, был

земного образца. Я сел, не зная, что говорить. Меня увсрили, что он ушел из жизни, но, возможно, это всего лишь вопрос терминологии?

— Вы похожи на нас, — сказал он. — Вы идете тем же путем, что и мы, и, должно быть, придете туда же.

Он смотрел в сад. Солнце светило ему прямо в большие желтые зрачки, но, казалось, не слепило его. Сквозь беловатый пух на голове просвечивала смуглая до синевы кожа.

— Сначала я отвечу на вопрос, который ты хочешь задать мне. Почему никто не решается на эктофикацию? Вот ответ. Потому что смертным бессмертие ни к чему. Очищенное от всяких опасностей существование теряет всякую ценность. Обычно это зовется смертной скукой. На этот раз здравый смысл попал в самую точку.

— А ты? — спросил я тихо.

— Я не скучаю, — ответил он, по-прежнему глядя в сад мимо моего лица. — О чем ты еще хочешь меня спросить?

— О Черной Кливии. Ты должен ее помнить.

— Помню.

— Чем был Ка-Ундрий?

Он повернул ко мне свою большую голову на сторбленных плечах.

— Значит, и ты доискиваешься в нем тайны? Должен тебя разочаровать. На любой обитаемой планете возникает множество культур, и побеждает та, что первой овладеет материальной мощью и универсальной идеей. Одной лишь мощи или одной лишь идеи недостаточно. Они должны явиться вместе, как два обличья одного и того же. В этом отношении Земля не разнится с Энцией. Победившая идея своим успехом обязана не военным завоеваниям, а благам, которые она сулит. Но даже исполненные посулы разочаровывают, ведь история не может остановиться ни в золотом веке, ни в черном, а восторжествовавшая идея, устремленная в этот мир или в мир иной, не туда ведет, куда указывает. По видимости курдландская и люзанская идеологии абсолютно противоположны, но их суть одинакова. Речь идет о том, чтобы наслаждаться благами некоего общественного строя без сопутствующих ему бед. И здесь, и там свободу стремятся примирить с несвободой не путем внутренней работы духа, но при помощи внешней силы. При таком взгляде на вещи ты увидишь, что между нами и ними нет существенной разницы. Политоход — это решение дилеммы, отличное от шустростферы по методу, но не по цели. Наши тюрьмы комфортнее курдландских и не так заметны, и все же мы такие же узники, как и они. И здесь, и там ограничения навязаны извне. Такой подход ко всем

явлениям бытия свойствен нам с древнейших времен. Я называю его эктотропическим. Вы на Земле зовете его инструментальным. С точки зрения предшествующих поколений, каждая следующая стадия цивилизации — либо кошмар, либо, для оптимистов, рай. А увиденная со стороны, например твоими глазами на Энци, она кажется просто безумием, на удивление ожесточенным в своем стремлении осуществиться до конца. Верно?

Он выдержал паузу, но я молчал, и он заговорил снова:

— Отдельные стадии технологии — как плавающие льдины, а общество планеты продвигается вперед, перескакивая с одной из них на другую. Насколько велик будет разрыв между соседними льдинами, а значит, удастся ли следующий прыжок или он закончится в полынье, зависит от космической лотереи — той, что лепит планеты. Катастрофа всегда присутствует в сфере возможного. Но если судьба позволяет нам перескакивать все дальше и дальше, со льдины на льдину, это не значит, будто в конце концов мы выйдем на твердую землю. Ты, возможно, не знаешь, что этикосфера была для нас скорее соломинкой, за которую хватается утопающий, чем миражом совершенства. Благоденствие оглушает, оно порождает насилие, вытекающее из отчаяния, — на смену убожеству нищеты приходит убожество разнузданности. У нас не было иного пути. Когда-нибудь и вы убедитесь в этом, если льдины у вас под ногами не разойдутся прежде времени. Разумеется, это не значит, что вы войдете в этикосферу; альтернативных эктотропических решений немало, но отличаются они друг от друга не больше, чем люзанское от курдлянжского. Совершенно открытое общество в конце концов должно превратиться в бесформенное месиво; совершенно закрытое — тоже, и нет между ними положения устойчивого равновесия. Поэтому не приходится удивляться, что вечность мы тоже взяли штурмом извне. Ты спрашивал о Ка-Ундрии. Никто не знает, чем он был для кливийцев. Как жабры у рыбы нельзя объяснить вне воды, так и понятие нельзя объяснить вне культуры, которая его породила. Полагаю, что Ка-Ундрий был еще одним способом сочетания свободы с неволей. Не знаю точно каким, но не думаю, что детали решения имеют значение, абсолютно хороших решений нет. Кливийцы не так уж сильно отличались от остальных энциан. Если ты понял — или не понял, — спрашивай дальше.

— Как вы убили их? — спросил я. — Правда ли, что почти никто не знал о войне? Ваши источники говорят об этом по-разному...

— Наши источники лгут, — ответил великий старец. Он

все еще неподвижно смотрел на сад, освещенный солнцем. — Но лгут не там, где ты видишь ложь. Историки все еще не могут решить, что это было — упреждающий или ответный удар. И каким он был нанесен оружием — биологическим или каким-то другим. Как будто это настолько уж важно. Важно то, что эктофикация возникла как средство уничтожения. Лишь потом у шустроников спала с глаз пелена, и они обнаружили, что умерщвление способно продлить жизнь. Вовсе не этого они хотели. Шустры первого поколения были орудием эктоцида.

— Значит, шустры возникли как оружие?

— Да. Они убивали постепенно, незаметно и необратимо. Однажды начавшийся процесс эктофикации нельзя ни обратить вспять, ни прервать. Шустры, рассеянные над Кливией, убили ее за каких-нибудь несколько лет.

— А ледник? Правда ли, что...

— Оледенение Севера наступило позже. Я не вникал в подробности военной истории и не знаю, как дошло до оледенения всего континента. Но не думаю, что по чистой случайности. Если хочешь узнать больше, отправляйся к кающимся. Знаешь, кто они?

— Да. Орден, предающийся воспоминаниям о судьбе Кливии.

— Не совсем так. Все это сложнее. Но ты иди к ним. Это не такой уж плохой совет, хотя узнаешь ты не то, что хочешь узнать.

— Ты думаешь, мне удастся?

— Полагаю, никто тебе в этом не помешает. Во всяком случае, попробовать можно. Больше ты ни о чем не хочешь спросить?

— Скажи, почему ты пожелал встречи со мной, если сам ни о чем не спрашиваешь?

— Я хотел увидеть человека, — сказал Аникс.

Учение о Трех Мирах

Личность старого мудреца произвела на меня большее впечатление, чем его слова. Аникс воплощал в себе то, что Шекспиру лишь мнилось: он был жив и мертв одновременно. Он не был суррогатом умершего, имитацией, но реальным продолжением существа, жившего триста лет назад. Однако я не мог поверить в то, что он говорил о фиаско эктотехники. Я был уверен, что множество людей решилось бы на подобное превращение, чтобы достичь бессмертия, — отчего же здесь должно быть по-другому? Я промолчал об этих своих сомне-

ниях, охваченный внезапным предчувствием, что не старик философ ответит на мой вопрос, а облако шустров, принявших его облик. Правда, я убеждал себя, что думаю как дикарь, отыскивающий в радиоприемнике говорящих гномов, но непреборимая сила замкнула мои уста. В самом ли деле постепенность автоморфозы обеспечивает непрерывное существование личности? Как убедиться в этом? Решение этого вопроса показалось мне делом более важным, чем экспедиция к кающимся, и я отложил ее.

Между тем меня пригласили на встречу со студентами и преподавателями Института Шустретики. Зал был набит до отказа, но обрушившиеся на меня вопросы свидетельствовали о полном невежестве по части земных дел. Какой-то белоперый студент в очках втянул меня в дискуссию об ангелах. Зная их по картинкам, он утверждал, что на таких крыльях летать нельзя. Вдобавок только оперенный хвост обеспечивает устойчивость — или оперенные стабилизаторы у шиколоток. Я ответил, что это духовные существа, объекты веры, а не аэродинамических исследований. Это его не убедило. Видимо, люди втайне обожествляют пернатых, в противном случае крылья ангелов были бы не оперенными, а, допустим, перепончатыми. Он хотел, чтобы я ясно определил наше отношение к перьям. Крылья — символические, объяснял я, и не означают птиц, и речь идет тут не о маховых перьях и не о пухе, но о небесах, куда верующий отправится после смерти. Последовали вопросы о поле и способе размножения ангелов. Я втолковывал им, что ангелы не могут иметь потомства, но, будучи не слишком силен в ангелологии, терял почву под ногами. Кто-то слышал об ангелах-хранителях и спрашивал, не есть ли это земной аналог этикосферы? В конце концов и эта тема была исчерпана, но не успел я передохнуть, как меня спросили о наших родительских играх. Я догадался о чем идет речь: однажды я наблюдал на городском стадионе ежегодные брачные бега. Этот спорт заменяет люзанцам эротику. Молодежь обоего пола, празднично разодетая, выходит на беговую дорожку, а трибуны подстегивают бегунов и бегуний, бешено аплодируя каждому удачному акту оплодотворения. Итак, я объяснил им, что мы не размножаемся на бегу, поэтому размножение не может быть у нас спортом. Тогда чем же? Я начал что-то мямлить о любви. К сожалению, от любви я соскользнул к чувственной страсти, для них непостижимой, и попал под перекрестный огонь. Чувственная страсть? Что это такое? Да, да, мы знаем, у вас иное анатомическое строение, вы не бегаєте, очень хорошо, вы делаете это иначе, чем мы, но к чему эти секреты, намеки,

экивоки, обиняки? Почему в вашей печати столько реклам с грудными железами? Это имеет что-то общее с политикой? С борьбой за власть? Нет? Тогда с чем же? Семейная жизнь? И что с того? Я потел, как мышь, они наседали все сильнее, непременно желая услышать, что зазорного мы видим в оплодотворении? Что же тут стыдного? Кто стыдится, самка или самец? И чего, собственно? Может, религия запрещает вам размножаться? Не запрещает? В зале, на беду, присутствовало несколько студентов с факультета сравнительной религиологии, и от них-то мне досталось больше всего. Не успел я сказать, что религия ничего не имеет против детей, как один из этих умников напомнил об обетах целомудрия ради спасения души, откуда следует, что чем больше ты наплодил детей, тем дальше ты от спасения, согласно земной вере. Я упирался — ничего, мол, подобного. Он что-то скрывает! — кричали мне с разных сторон. Я горячо уверял, что нет. Аудитория бурлила, ей не терпелось узнать, откуда берется этот непонятный стыд, эти уединения, эта интимность, — ведь у них нет ничего более публичного, чем оплодотворение, а я, отупев совершенно, не мог им ничего объяснить. Какая-то студентка спросила, откладываем ли мы яйца, но другие, более сведущие, подняли ее на смех. Люди произошли от четвероруких древесных волосатиков из класса млекопитающих, и они живородящие. Млекопитающие? Ну да. Мать кормит ребенка грудью. Грудью? Молоком из груди, мясом груди кормит детенышей пеликан. Молоко произвело сенсацию. И творогом тоже? А как насчет масла? Я путался в показаниях. Может, в конце концов я и сумел бы растолковать им двуединство эротики — духовной и чувственной одновременно, но барьер между той и другой, возвышающий первую в ущерб второй, был совершенно для них непонятен. Откуда такое деление? Совпадает ли оно со сферами добродетели и греха? Да? Нет? Какой-то молодой логик, жемчужно-серый как горлица, стал доказывать, что люди не исповедуют понастоящему собственную религию, иначе давно бы вымерли, не оставив потомства. Коллективное целибатическое самоубийство! Грешат, следовательно, существуют! *Рессо, ergo sum, et nihil obscoenum a me alienum puto**. Они вбили себе в голову, что я знаю все, но выдавать это мне не позволено. С отчаяния я ухватился за сократический метод и спросил, что считается у них неприличным. Увы, оказалось, что ничего. Оскорбительное, уродливое, противное, мерзкое, отврати-

* *Грешу, следовательно, существую, и ничто непристойное мне не чуждо (лат.).*

тельное, жестокое, эти понятия им были известны, но понятие неприличного — нет. Неприлично есть грязными руками! Ковырять в носу на экзамене! Передразнивать и пересмеивать других! Они кричали наперебой, надеясь навести меня на правильный след. Ничего не вышло. Оглушенный их галдежом, шиканьем, топотом (дело уже пахло скандалом), я наконец признал себя побежденным.

После лекции был банкет. Я познакомился с молодым ученым, сидевшим слева от меня, — справа сидел ректор. Молодой энцианин заинтересовал меня больше. Он был доктором шустретики, с виду напоминал филина с хохолком, звали его Тюкстль. Интересовался он и людистикой, но было заметно, что земные проблемы знакомы ему только в теории. Он полагал, например, что мы отпугиваем врагов, вздымая волосы дыбом, как гены. Я уверял его, что это вовсе не так, а он сослался на земные книги. И вот поди ж ты, объясни чужепланетному существу, что это не довод, ведь и ноги мы не берем в руки, хоть так и говорится. Услышав о моей встрече с Тахалатом, Тюкстль иронически улыбнулся. Официальная пропаганда, сказал он, ярмарочные трюки и фокусы, пускание шустров в глаза. Он согласился стать моим наставником и рассказал мне много нового об этикосфере.

Производством шустров занимаются шустресты. Во главе центральной диспетчерской стоит правящий дуумвират — Первый Ингибитор и Первый Гедоматик. Их задания уравновешивают друг друга: один заботится о профилактике зла, то есть об ограничении известных действий, другой — о бесперебойных поставках добра, а тем самым — о максимуме свобод. Профессия Тюкстля, то есть шустретики, — это не обучение шустров началам этики, но искусство воплощения этики в физике. Уже ее отцы-основатели поняли, что это необходимо. Наиболее досадный изъян всех нравственных кодексов — несоизмеримость различных поступков; попробуй реши, что хуже — обокрасть сироту, не давать житья старцу или побить священника священной реликвией. Этикосфера не должна была брать на себя роль психолога-воспитателя, соглядатая и надзирателя, незримого арбитра или полицейского и уж тем более — роль *стороны* в споре, с которой можно препираться об оценке поступков. Такая вездесущая и назойливая опека была бы непереносима. Злоемкость этикосферы проявляется поэтому как чисто физическая характеристика. В облагороженной среде обитания нельзя никого ни к чему принудить, так же, как нельзя принудить электроны перестать кружить вокруг атомных ядер. В ней все живое неуничтожимо, как неуничтожимы материя

и энергия. Законы физики — прежде всего *запреты*, другими словами, они обозначают невозможность чего-то; и совершить преступление в этикосфере нельзя точно так же, как в естественной среде нельзя построить перпетуум-мобиле. Вот почему все решения, которые должны принимать шустры, следует перенести из дремучих дебрей психолога на твердую почву точных наук. Этим-то и занимается шустретика.

Тюкстль показал мне, как это делается. Одна из заповедей этикосферы гласит: «Никто не может быть лиш свободы». Действует она как закон физики. В этом легко убедиться, попытавшись заковать кого-нибудь в кандалы, или набросить ему на шею петлю, или, допустим, вцементировать ноги жертвы в ведро и бросить ведро в колодезь. Оковы и путы распадутся мгновенно, цемент рассыплется в прах, но жертва непременно должна предпринять усилия, чтобы освободиться. Иначе разваливалась бы даже одежда, и никто смог бы носить ни пояса, ни подтяжек. Если бы я рвался на цепи, то вернул бы себе свободу, но я — землянин — об этом не знал. На это и рассчитывали мои похитители, добавил со смехом Тюкстль. Шустры не вникают (да и не смогли бы вникнуть) в твое душевное состояние, а лишь устанавливаю, не стеснена ли свобода твоих движений. Искусство шустретиков проявляется в переводе морального смысла любой уации на точный язык физики, чтобы получить оптимальное решение без вмешательства психологических оценок. Шустры вовсе не надзирают за тем кто задумал убийство, и не обсуждают преступное посягательство, а лишь выявляют и нейтрализуют его. Программа состоит из «инженерных» заповедей, например: «Ничто не может упасть стремительно»; это ачит, что метеорит не может упасть на город, что никто не может погибнуть, выпав из окна, независимо от того, сам ли он выпрыгнул или был выброшен, — хотя методы противодействия этому различны. Есть, например, ликвиды и оглоты — субатомные частицы, поглощающие энергию ли высвобождающие ее по сигналу шустров. Триллион поглотов, рассеянных над одной квадратной милей, могут снизить температуру воздуха на двадцать градусов всего за минуту. (Уж не так ли, подумал я, Люзания превратила в ледн Черную Кливию?) Вот другая заповедь шустретики: «Ес жертв избежать нельзя, их должно быть как можно меньше Это принцип минимума зла. Если, скажем, ребенок, переходя через железнодорожные пути, застрянет ножкой между рельсами, а резкое торможение поезда поведет к катастрофе со множеством жертв, поезд переедет ребенка. Пример этот выдумал Тюкстль специально для меня — в Люзании нет железных

дорог. Еще одна заповедь: «Никто не может заболеть». В Люзании уже двести лет нет медицины земного типа; медицинский надзор за всеми, с рождения до смерти, поручен шустрам, так что операции и всякие лечебные процедуры излишни. Невозможна, к примеру, закупорка вен или заворот кишок — любой недуг шустры ликвидируют в самом зародыше. То же самое относится к клеточным ошибкам и искривлениям, именуемым злокачественными новообразованиями. Вот где истоки революционной идеи — завоевать бессмертие путем эктофикации.

Ремонтно-спасательная служба, эта вечно активная часть шустросферы, не есть что-то вовсе невиданное и небывалое, подчеркивал Тюкстль, ведь нечто весьма похожее мы видим в любом живом организме. И в нем, пока он исправен, одни органы или ткани не могут вредить другим, не могут разрастаться за их счет, а все, что вторгается извне, будь то микробы или осколки снаряда, уничтожается, изолируется или удаляется из организма. Организм точно так же, как шустросфера, не вдается в какие-либо моральные рассуждения, чтобы установить, какова подоплека данного покушения на здоровье и жизнь, справедливо оно или несправедливо. Организм действует отнюдь не методами убеждения, — скажем, когда отторгает пересаженные органы. Тело можно перехитрить и убить, ведь реагирует оно по шаблону, всегда одинаково; напротив, этикосфера постоянно совершенствуется благодаря шустретике. Это не значит, будто она совершенна или сможет когда-нибудь стать совершенной. В этом отношении Тюкстль оказался скептиком. Он дал мне почитать полувековой давности памфлет против шустретиков. Автор памфлета, философ Ксаимарнокс, сам был шустретиком, пока не изменил радикально своих убеждений. Он утверждал, что этикосфера противостоит вовсе не общественному злу, как обычно думают.

«Благоденствие, — писал Ксаимарнокс, — это не то, чем уже обладаешь, во всяком случае, не только это, но мираж, цель, отнесенная в будущее. Нищета ужасна и непереносима, но по крайней мере заставляет действовать, чтобы выбраться из нее. А благосостояние, легкое и доступное как воздух, хуже, потому что из него идти некуда, остается лишь его увеличивать, чтобы иметь не только все больше вещей и утех — сразу, немедленно, под рукой, — но и все больше новых, неиспробованных возможностей. Вам пришлось переделать мир, потому что вы не хотели или не могли взяться за переделку самих себя, — впрочем, это дает хотя и иные,

но не менее фатальные результаты. Ничто так не губит человека в человеке, как благоденствие, полученное даром, — и без участия, без поддержки, без содействия других людей. Уже не нужно быть добрым к кому бы то ни было, не нужно оказывать услуги, помогать, быть добросердечным; смысла в этом не больше, чем в подаении Крезу. Коль скоро каждый имеет больше, чем мог бы желать, что можно ему предложить? Чувства? В такой ситуации их может проявлять разве что аскет по отношению к другому аскету. Но аскетизм становится жестокой насмешкой над райской цивилизацией, с таким трудом созданной. Впрочем, эрозия дружелюбия, привязанности, уважения, любви совершается понемногу, не за одно и не за два поколения. Сперва появляются примитивные роботы-слуги, а механика лишь неуклюже передразнивает людей, программируя преданность и услужливость, но можно — и теперь даже нужно — совершенствовать эту имитацию дальше; железные манекены отправляются в музеи техники, а на смену им приходит хотя и безличное, зато неэгоистическое, заботливое, нежное, прямо-таки любовное и беззаветное внимание всей среды обитания, готовой исполнить едва зародившиеся желания и капризы. Но если абсолютная власть развращает абсолютно, то столь совершенная доброжелательность обращает человека в совершенное ничто. А так как возврат ко временам всеобщей нехватки, нищеты и убожества для большинства людей невозможен — кому они должны предъявить счет за счастье, которым их придавило? Ну конечно, технологии, которая его производит! Кто-то же должен быть виноват — Бог, мир, сосед, предки, чужаки, кто-то должен ответить за все. И что же? Приходится спасать от людей это их постылое счастье, а если они не могут его растоптать, то рассчитаться им больше не с кем, как с другими людьми. Поэтому спасать приходится всех ото всех — вот до чего вы дошли. Разве это не катастрофа — всеобщий рай, в котором каждый сидит со своим собственным пеклом внутри и не может дать остальным почувствовать его отвратительный вкус, хотя именно этого ему хотелось бы больше всего на свете? Вам нужны доказательства? Вот они. Хотя вы вовсе этого не хотели, хотя это было всего лишь побочным и даже нежелательным следствием создания поглощающей среды обитания, — вы создали определители веры и неверия. Убеждений искренних и фальсифицированных. Правительство заявляет, что речь идет о распознавании очень уж жалкой и подлой веры, сводящейся к одному-единственному догмату, к переименованию зла в добро, убийства — в священный долг. Дескать, для наших экстремистов

это кредо — не цель (а вера должна быть целью), но средство обмануть этикосферу и получить возможность убивать. Поэтому шустретики изобретают новые программы, чтобы парировать этот ход, а критиков вроде меня считают своими противниками. Но я вовсе не противник. Я говорю лишь: скажите на милость, чего вы добьетесь, усовершенствовав этикосферу так, чтобы зло, которое еще просачивается через последнюю оставшуюся у людей щелку — религиозное чувство, — было законопачено наглухо? Забетонируете в душе у каждого его внутренний ад? Неужто вам и впрямь не видна абсурдность кого «усовершенствования»? Знаю, вы хотели как лучше. Вы не хотели зла. Вы хотели, чтобы повсюду было добро, и только добро. Но результаты оказались недобрые. Теперь вы пытаетесь замаскировать зло, притаившееся в вашей облагораживающей деятельности. А значит, обманываете сами себя. Вы стремитесь к тому, чтобы никто уже не мог доказать ни вам, ни всем остальным, что ваше добро делает их несчастными и недобрыми. Верования рождаются из несчастий, еотделимых от существования. Из потребности в таком Отце, который никогда не состарится и не умрет, но навечно останется безотказным, любящим опекуном. Из убеждения, что, раз уж мир нас не любит, должен быть Кто-то, кто нас возлюбил. Вера возникает не из материальной нужды, но из надежды на то, что этот мир — все же не весь мир, что в нем или над ним существует *То* или *Тот*, к кому можно воззвать, кого можно будет увидеть лицом к лицу после смерти — если уж не при жизни. Словом, вера — это уловка отчаяния, то есть надежды, рожденной отчаянием, ибо в полном отчаянье и без крупицы надежды жить нельзя, — жить если не ради себя, то хоть ради других. Вы лишили нас этой возможности. А ведь эта новая, нарождающаяся вера, та, что убийство обращает в добро, в величайшую заслугу, этот жалкий обрубок выродившейся веры — тоже плод отчаяния и рожденной им надежды на то, что так, как есть, быть не может. И наша, первичная, и эта, вторичная, вера имеют один духовный источник. Странность новой веры есть отражение странности порядка вещей, который вы сами же создали. Мои коллеги и приятели-шустретики об этом не думают, занятые техническими проблемами следующего этапа гедомати и ингибиции; они не знают и не желают знать, что гедоматику они мало-помалу превратили в адоматику, в пытки из ловеколюбия».

Специалисты этот памфлет игнорировали, зато он стал библией интеллектуалов — наконец-то их стенания и их претензии к этификации нашли достойное выражение. Исто-

рия учит, писали они, что нет такого добра, которое для кого-нибудь не обернулось бы злом. Добро в небольших дозах бывает благом, но добро пожизненное и не подлежащее обжалованию — яд. Правильно говорил Ксаимарнокс: чем совершеннее опека шустров, тем больше отсюда несчастий. Правительство молчало, но и у него имелись свои приспешники; они объявили Ксаимарнокса нытиком и чудачком. Был даже пущен слухок, будто он получил награду от Председателя. Вскоре эта история канула в небытие. Пророчество старого шустретика не исполнилось, убийство как протест против принудительного добросердечия не стало исповеданием веры, если не считать горсточку экстремистов, и все же Ксаимарнокса вряд ли можно назвать лжепророком. Случилось нечто весьма странное — этикосфера возродила древнее Учение о Трех Мирах.

Как это произошло? Когда правительство вводило этификацию, Люзанию сотрясали кризисы. Благоденствие распалило общество, прирост населения распирает города, стирались границы между политикой и преступлением. Все это утихло под стеклянным колпаком этикосферы, однако через сорок лет дали о себе знать явления, прежде совершенно неведомые — благоприятные, но и тревожные. Это были изменения к лучшему, которых никто не планировал и не предвидел. Демографический прирост снижался, перестали рождаться увечные и умственно недоразвитые дети, росла продолжительность жизни. Странники этификации объясняли это облагораживающим влиянием шустросферы. Переполох начался, лишь когда врачи заявили, что стариков теперь не преследуют обычные в их возрасте переломы костей, потому что в берцовые кости вырастают микроскопические металлические нити. Тут уже не удалось отделаться общими фразами о благотворности этикосферы; шустры явно занимались самоуправством. В исчезновении переломов не было ничего плохого — плохо было лишь то, что шустры занялись тем, чего им вовсе не поручали. Интеллектуалы, с которыми у любого правительства и под любой звездой сплошные заботы, опять принялись громогласно вопрошать, кто, собственно, кем владеет: люди шустрами или шустры людьми? Неужели, спрашивали они с сарказмом, удалось создать рай лучше того, о котором мечтали?

Шустретики оставались непоколебимы, объясняя всем и каждому, что все идет как нельзя лучше. Этику нельзя прямо перелгать на язык физики. Сказав: «Не делай другому то, что тебе самому немило», можно ничего не добавлять: каж-

дый интуитивно знает, что ему немило. Но, воплощая моральные заповеди в физику мира, подвергаемого генеральному ремонту, нельзя уже апеллировать к интуиции. Программы составляются для логических элементов, которые руководствуются ими, ничего в них не смысля. Шустреттик работает не как моралист, но как математик, строящий дедуктивную систему. Такая система вытекает из исходных посылок, именуемых аксиомами. Из аксиом обычно следует больше, чем знал создатель системы. Геометрия дает определения точки, прямой и плоскости, а после оказывается, что вопреки здравому смыслу из этих определений вытекает и такая плоскость, которая имеет только одну сторону. Программисты перепоручили шустрам заботу о благе общества, а те заботятся больше, чем можно было ожидать. Что ж тут плохого? Да это же замечательно: им приказано было печься о нашем здоровье, вот они и пекутся. Хрупкость костей увеличивается постепенно, и нельзя угадать, когда случится перелом. Чтобы предотвратить то, что им было поручено предотвратить, шустры перешли к радикальному — упреждающему — лечению. Медицина никаких возражений против металлизации скелета не выдвигает, так стоит ли бить тревогу? Шустры и не думали нарушать главную заповедь — доброжелательности; стало быть, все в порядке.

Между тем и в погоде начало что-то меняться. Прекратились резкие перепады давления, циклоны огибали территорию Люзании, что бы это все значило? Грозовые фронты, окклюзии, атмосферное электричество — все это вызывает стрессы, так что и тут шустры проявили похвальную заботливость, регулируя климат. «Неужели, — спрашивали шустретики оппозиционеров, снова поднявших шум, — вы тоскуете по тайфунам и смерчам?» Теперь, однако, обозначился раскол и среди специалистов. Одни продолжали уверять, что благие программы всегда будут держать в узде самодовольство шустров; другие заявляли, что зло уже свершилось, ибо тот, кто получает непрощенные дары, лишается собственной воли.

Вскоре оказалось, что правы были и те, и другие. Начались удивительные события. Старики все чаще умирали не до конца. Так это называли. Они теряли силы, ложились на ложе смерти, слепли и глохли, утратив сознание. Приостановленная агония затягивалась на долгие месяцы. Близкие ожидали последнего вздоха, но смерть не приходила. Ко всеобщему ужасу, застывшее тело начинало вдруг шевелиться, руки и ноги хаотично дергались, а потом снова наступала непонятная летаргия. И даже если сердце переставало бить-

ся, это не было признаком смерти; во всяком случае, мнимый труп не трогало разложение. Тюкстль сказал, что люзанцы не сами изобрели эктотехнику, а узнали о ней от шустров Немыслящие, но эффективные, они работали так, как им было приказано. Им надлежало поддерживать жизнь, и они поддерживали ее вопреки умиранию. Организм становился полем невидимой битвы за спасение едва теплящейся жизни. Мозг умирал окончательно, этого они не могли предотвратить и потому спасали что еще можно было.

Когда об этом стало известно, страсти разгорелись нешуточные. Специалисты пришли в восторг и тотчас взялись за дальнейшее усовершенствование шустров, увлеченные перспективой бессмертия за порогом смерти. Глухие к любым протестам, к голосам возмущения и тревоги, они экспериментировали на животных. Оппозиция кричала, что нельзя представить себе более глумливого осуществления мечты о вечной жизни, чем такой дар, подброшенный втихомолку, внедренный в людские тела украдкой, по-воровски. Быть по чужой воле приговоренным к бессмертию — разве это не издевательство? А бурный энтузиазм шустрошников свидетельствует лишь об их профессиональном безумии

Излагая события трехсотлетней давности, Тюкстль не скрывал их чудовищности. Последствия спешки, с которой шустретики перешли от эктофикации животных к эктофикации энциан, были ужасны. Они-то думали, что стоит на улицах появиться первым бессмертным прохожим, как общество отвернется от критиков-оппозиционеров. Между тем не прошло и года, а первых кандидатов на вечную жизнь уже пришлось упрятать в особые убежища. Одни постепенно застывали и теряли сознание, и это было не самое страшное: многие просто обезумели. По-обезьяньи карабкались на деревья и стены, кидались на своих близких, выбрасывались из окон, впрочем, без всякого для себя вреда, ведь шустросфера пеклась о них. Насколько я понял, отсюда-то и пошли слухи о «захребетниках», «впьянстве» и «лоянизации», отразившиеся в кривом зеркале донесений нашего министерства. Это было тем страшнее, что в этифицированной среде никого нельзя сдерживать силой. Даже лошадиные дозы успокоительных средств не помогали, ведь врачи имели дело не с безумствующими стариками, а с целой армией шустров, которые не позволяли умирять объекты своей обессмерчивающей деятельности. Трагедия, заметил Тюкстль, должна выглядеть достойно, между тем благие старания о вечной жизни привели к тому, что улицы и дома стали ареной драк полоумных стариков и старух с перепуганными прохожими и домо-

чадцами. Вместо того чтобы привлечь общество на сторону этификации, шустретики бесповоротно опорочили ее, и, когда дело прояснилось, никто и слышать не хотел о бессмертии. У животных, на которых проводились эксперименты, мозги не в пример проще, поэтому им ничего не делалось. Позднейшие успехи не помогли шустроникам. Кто теперь может знать, писали диссиденты, кончится ли на этом наше принудительное осчастливливание? Кто поручится, что шустры не проникают, с благословения властей, в могилы, чтобы порадовать нас знакомыми скелетами, которые жизнерадостным маршем возвращаются с кладбищ? На свет уже не появляются увечные дети, и это вроде бы неплохо, — но откуда нам знать, какие еще дети перестали рождаться? Если шустры предотвращают появление на свет увечных, значит, они занимаются селекцией оплодотворений, но кто поручится, что они не губят в зародыше других детей — скажем, тех, что могли бы стать помехой этикосфере? Если бы шустры были стороной в споре, если бы можно было с ними договариваться, допросить их, выбить у них из головы это чудовищное человеколюбие, если бы они могли указать направление своей деятельности и ее основания, это еще куда ни шло, но ведь это химера! В желании подискутировать с этикосферой не больше смысла, чем в желании выведать у атмосферных течений завтрашнюю погоду. Над нами властвует бездушная активность, привитая окружающему нас материальному миру, и никто не докажет, что этот новый мир будет благодетелен к нам — что его заботливые объятия через пять или сто лет не станут смертельными...

Слушая это, я не мог не думать об Аниксе. Он решил на эктофикацию в окружении людей, дышавших ненавистью к ученым, шустротехникам и, вероятно, философам вроде него, — потому что отчаявшаяся, зовущая к мести толпа не разбирает, кто виноват. Если бы не этикосфера, не избежать бы насилий и самосуда; между тем шустретики видели в оскорблениях, которыми их осыпают, и в отвращении, которое они вызывают, доказательства своей правоты: будь этикосфера порабощением разума, говорили они, она бы не допустила всеобщего возмущения. Разумеется, никто не желал их слушать. Эктоки оказались в положении прокаженных, причем, что бы с ними ни делали, обществу это не нравилось. Пошли слухи, будто их втайне умерщвляют какими-то стальными прессами или молотами, и даже не совсем беспочвенные: некоторые и вправду требовали, чтобы их родственники-эктоки были избавлены от бессмертия, хотя бы путем убийства, если иначе нельзя.

Удачные попытки эктофикации, предпринятые в следующее десятилетие, хранились в величайшей тайне, и все же их не удалось засекретить, а общество охватила болезненная подозрительность; теперь уже не тупость, но ум считался свидетельством трупного происхождения. Эктокам пришлось изменять внешность и имена, бросать семьи, и они нигде не могли поселиться надолго — одно лишь соседство эктока приводило в бешенство окружающих. Эктоки стали скитальцами и часто обращались к косметологам и врачам, чтобы казаться постарше. Видя, в какой тупик зашло дело — обвинение в бессмертии стало уже оскорблением, и заподозренному угрожал всеобщий бойкот, — власти пошли на попятную. Чтобы доказать оппозиции (и самим себе), что этикосфера не вышла из-под контроля, они приостановили внедрение эктотехники. Отныне вечная жизнь могла быть уделом только особо заслуженных деятелей. Это было неплохо придумано: эктофикация, которую общество считало позором, возводилась в ранг привилегии. Маневр удался и успокоил умы. Однако отношение люзанцев к этикосфере заметным образом изменилось. Свидетельство тому — обиходные выражения, зафиксированные в материалах нашего МИДа. Общество относится к своему усовершенствованному миру как к антагонисту, наделенному личностными чертами, и тут ничего не поделаешь. Под влиянием подсознательных страхов коллективная фантазия обращается к мифическим представлениям и олицетворяет в конкретном образе то, что по природе своей безлично и бестелесно. Но помимо этих наивных представлений существует действительность не менее таинственная, чем былой, естественный мир, который хотели преобразить в блаженную Аркадию. Не менее таинственная, потому что можно считать ее благожелательной, безразличной или неблагоприятной — если глядеть на бытие глазами философов древности. Отброшенное бессмертие — еще не доказательство того, что можно навечно довериться шустросфере. Слишком доброжелательный опекун однажды был остановлен, но что с того? В любую минуту можно ожидать новых «Покушений Добра», как выражаются некоторые. Классический вопрос «Quis custodiet ipsos custodes?» не снят. Взять хотя бы сферу повседневного существования: каждый делает, что хочет, — но как узнать, сам ли он того хотел или укрытые в нем рои шустров? Пока не покончено с этим сомнением, будут существовать и распутья Трех Миров, и нельзя вверять судьбу общества чьей-то опеке навечно. По своему назначению этикосфера, конечно, добра, однако не слишком ли она бывает добра? Это как раз неиз-

вестно — с тех пор как она призывно улыбнулась энцианам трупной улыбкой бессмертия.

Как я слышал от Тюкстля, исследовательские группы разрабатывают новые системы контроля, независимые от этикосферы. Он сам участвовал в проектировании «информатического зеркала»; зависнув над шустросферой, оно позволило бы измерить степень ее вмешательства и тем самым установить, где кончается личная свобода и начинается тайное порабощение. Информатики доказали, однако, что новый уровень контроля не стал бы последним: просто над шустринным контролем появится контролер рангом повыше. Пришлось бы контролировать и его... короче, соорудить бесконечную пирамиду контроля. Я спросил Тюкстля, не кажутся ли ему эти опасения преувеличенными. В конце концов под облагораживающим давлением им столько столетий живется лучше — или хотя бы не хуже, чем в прежние времена, преступные и кровавые; разве не заслуживает такое положение вещей хотя бы некоторого доверия? Но ведь не в том дело, ответил он, что мы считаем его плохим; дело в том, что мы не знаем, останется ли оно под нашим контролем! Мы еще примирились бы с таким двоевластием, будь мы уверены, что в основном — допустим, на две трети — контроль в наших руках, а остальное — в ведении наших шустринных уполномоченных... Но мы знать не знаем, какова их настоящая роль в принятии решений, определяющих нашу судьбу. Возможно, каждое космическое общество строит свою этикосферу, и каждое развивается тысячу лет, а потом — в результате самоусложнения или других, неизвестных нам причин — вырождается, но не сразу, а постепенно, до тех пор, пока этикосфера не обратится в этикорак... Мы идем в будущее, еще *более* неизвестное, чем естественное, и именно это нас беспокоит, а не тягостность облагораживающих запретов... Учти, мой земной друг, что этификацию нельзя отвергнуть частично, точно так же, как индустриализацию! Как твое человечество зачехло бы без промышленности, так и мы оказались бы беспомощны, разбив поглощающий стеклянный колпак, и страх *ожидания* катастрофы обернулся бы немедленной катастрофой...

Слушая его, я начинал понимать их тоску по курдландскому опрощению — теперь она казалась мне вовсе не такой глупой. Вдобавок, хотя вообще-то я сплю как сурок (это, впрочем, профессиональный навык астронавта), теперь я просыпался несколько раз за ночь, не то чтобы измученный кошмарами, но крайне удивленный содержанием снов: такие мне прежде не снились. Мне снилось, будто я тесто, которое месят и разделяют на столешнице огромные руки, то на клецки, то на

пончики, и просыпался я, бросаемый в кипяток. Способна ли моя голова выдумать такое, размышлял я, или это врезали в меня миллионы шустров, хозяйничающих в моем мозгу? Я переворачивался на другой бок, поминутно вздыхая при мысли о той минуте, когда наконец взойду на борт корабля, и даже швейцарская тюрьма начинала казаться мне тихой пристанью.

Per viscera ad astra *

Памятливый Тюкстль предложил мне в начале лета отправиться вдвоем в Телтлинеу на поиски монастыря монахов-искупленцев.

Я перечитываю эту фразу с неудовольствием. Счастлив хронист, для которого читатель — свой человек, понимающий его с полуслова. Он скажет «лето», и тот уже видит пшеничное поле под облачно-голубым небом, слышит жарко гудящие пасеки; он скажет «монастырь», и возникает образ могучего здания, старых стен, слышен скрип открывающихся ворот, а я, какое слово ни напишу, тотчас ввожу читателя в заблуждение. Чего доброго, кто-нибудь решит, будто у люзанцев одна этикосфера на уме и они судачат о ней с утра до ночи или, гоняясь друг за дружкой как страусы, без перерыва занимаются оплодотворением на стадионах. Но это особенно интересовало только меня, чужака, не оставляя места на описание других, не менее важных вещей. Что ж, придется навешивать множество объяснений на эту простую фразу, которая должна стать началом конца.

Тюкстль назывался уже Тётёлтек, когда поехал со мной в Телтлинеу (люзанские имена меняются в зависимости от занятий их обладателя). Телтлинеу, как видно из самого названия, в котором отсутствуют звуки «р» и «кс», это «дикосвятая пустынь духовных проб и ошибок государственных служащих». С виду она похожа на заповедник: наполовину высохшие болота, тундра и сухостой; это часть ничейной земли, опоясывающей полукружьем Люзанию вдоль границы с Курдландией как санитарный кордон, поскольку концентрация шустров не может скачком упасть до нуля. Дикость означает неощущенность, а святость — возможность наткнуться на монахов; «монастырь» — это только так говорится, а существует он лишь в виде устава, потому что искупленцы — кочующий орден и каждый день перебираются на новое место. Теперь о «пробах и ошибках». Двести лет назад оппозиция заставила правительство принять закон, согласно ко-

* Через утробу — к звездам (лат.)

торому каждый чиновник раз в год обязан отправиться в Телтлинеу и странствовать там определенное количество дней, соответствующее его служебному рангу. Старший референт, например, должен паломничать две недели, потому что его ранг — четырнадцатый. Тюкстль, претендующий на должность советника по науке в МИДе, уже разделался со своим пилигримством (именно так он и выразился) — зимой, чтобы избежать комаров, слетающихся с курдляндских болот в основной, летний сезон паломничества; тогда он носил имя Тюкстюлликс, что примерно можно перевести как «Тюкстль вне добра у своего зла»: мол, в неосуществленной глуши, избавляясь от этических уздечек, каждый обнаруживает свою худшую сторону. Выявление таких изъянов особенно важно у государственных служащих, ведь шустрам не позволено вмешиваться в их работу, и злобный чиновник может допекать граждан по-всякому. Правда, никто еще не слышал о чиновнике, которому паломничество стоило бы должности, хотя по возвращении каждый должен сдать в аффектологическую инспекцию свою ксандию. Ксандия напоминает четки, а носят ее на голом теле, чтобы она фиксировала малейшие колебания эмоций. Обычным туристам пограничники вешают на шею ксиндры, или хроны, — для защиты от встреченного на пути пилигрима, если бы тот вдруг «обнаружил свое зло». Не позволено разбирать ни ксандию, ни хрон; знать, как они действуют, тоже нельзя. Эти устройства сами следят за соблюдением запрета, и избавиться от них невозможно. По наущению Тюкстля я забросил свой хрон в кусты, и он тут же погнался за мной, тихо позвякивая бусинками. Собственно, я выразился не вполне точно, когда говорил о ксиндрах. Хрон до употребления — это индр; настроенный на конкретное лицо, он получает приставку по его имени, а так как Тихий по-люзански — Кс, то лишь свой аппарат я могу назвать ксиндром; в переводе на люзанский это значит примерно «тихостремительный спасатель».

Не лишним, однако, будет добавить, что паломничество чиновников, а также ксандии и ксиндры — по сути, просто формальность. Вскоре я убедился в этом. Мы ехали на везделезе с прицепом, нагруженном запасами и снаряжением, через мертвый лес. Он вырос по берегам рек, стекавших некогда с ледников; теперь, когда рек нет, лес высыхает и гибнет. В полдень Тюкстль, время от времени поглядывавший на шустромер, заявил, что мы уже в «дикой глуши». Мы не стали разбивать лагерь, а просто уселись на мху, и Тюкстль открыл банку консервированного бррбиция: мне хотелось попробовать национальную похлебку члаков. Она довольно

густая, по вкусу напоминает солянку, которая уже начинает портиться. Тут над деревьями показался энцианин, чуть ли не шести метров ростом; но так он выглядел лишь издали, потому что шел на ходулях, или, скорее, на ходунах (можно еще сказать «высокоходы», а впрочем, кому как угодно; меня упрекают в выдумывании несуществующих слов, словно я сочиняю их для удовольствия, а не по необходимости). Чужак съехал на землю, сдвинув ходули как телескопические антенны, и спросил, можно ли посидеть с нами. Он представился Куакуаксом (а может Квакваксом), но я буду называть его референтом. Он служил в жилотделе небольшого пограничного округа, а теперь паломничал. Мы приняли его в свою компанию. Правда, испытанию положено подвергаться в одиночку, однако за этим никто не следит, а когда я спросил референта, не опасается ли он ксандии, тот ответил, что никто в нее и не заглядывает.

В рюкзаке у нашего нового товарища был ундорт — походный материализатор вещей. Ундорт означает «что-то из ничего». Им пользуются только в неослушной глуши. Из всего, что попадает под руку, хотя бы из мусора, он с ходу изготавливает нужную вещь. Этот аппарат особенно пригодился нам в брюхе курдюка, но не буду опережать событий. Референт выколдовал из сухих веточек и листьев круглую коробочку с циферблатом наподобие компаса — живомер, который показал что-то около двух пилигримов на квадратную милю и (как сочли мы с Тюкстлем) терпимое пока что количество комаров. С репеллентом можно было покамест не торопиться. Я поинтересовался, к чему эти паломничества, если инспекция даже не проверяет ксандий; мои спутники в один голос расхохотались, а Тюкстль ответил, что прогуляться по свежему воздуху приятней, чем просиживать стулья в конторе. Так мы сидели и беседовали, потому что спешить было некуда — живомер не показывал и следа искупленцев. Тюкстль, который заметно оживился, когда шустромер упал до нуля, рассказывал мне о предубеждениях, связанных с этикосферой. Люзанцы живут в ней уже четыре столетия, и даже самые древние старики не помнят, как было раньше. С ранних лет всем и каждому втолковывают, что этикосфера — не личность, с которой можно общаться; но все это что об стенку горох. Спиритические сеансы собирают целые толпы и вызывают фурор даже в научной среде. Это не то чтобы мошенничество, ведь умудренная среда обитания выполняет любые желания, лишь бы они никому не вредили; поэтому она и вправду способна вычаровывать призраки, если кто-нибудь уж очень этого

хочет. Правда, сеансеры сами себя обманывают, принимая выполнение подсознательных заказов за сверхъестественные явления. В последние годы появились новые верования. Возникла секта, контактирующая с душами умерших эктоков, которых власти будто бы втайне уничтожили, замата следы своей эктофикационной осечки. Сектанты публикуют протоколы таких бесед, полные заклинаний об освобождении от мертвой жизни и, разумеется, проклятий по адресу властей. Трудно сказать, сколько во всем этом правды, то есть обманывает ли шустросфера сектантов, исполняя их *nihilò* их сокровенные желания, или же в ней и в самом деле пребывают какие-то остатки духовной жизни экс-бессмертных.

Это, по мнению некоторых экспертов, не исключено: шустросфера запоминает все свои действия, а каждый экток, уже потому, что подвергается эктофикации, до самого конца остается ее частью. Положение, как видим, в высшей степени странное, коль скоро нельзя отличить существование загробных видений и неприкаянных душ от несуществования, — хотя даже здесь мнения специалистов расходятся. Совершенная имитация реальности, заметил Тюкстль, не отличается от самой реальности, и притом в любой области. Я спросил, неужели никто ни разу не потребовал полной ликвидации этикосферы, навсегда или хотя бы на время? Такое случилось, ответили мне; предлагались и проекты не столь радикальные.

Солнце спускалось, и зажужжали комары; мы сели в свой лазик и отправились на поиск более уютного места для ночлега. Мы продирались через сухостой, посадив референта-паломника на заднее сиденье, откуда он подавал реплики, а когда на ухабах референт падал на нас сзади, мой хрон или хрон Тюкстля, висевший у него на шее, издавал короткое предостерегающее шипение.

Лазик раскачивало, как лодку на волнах, а Тюкстль продолжал разъяснять, в чем заключается тонкое различие между вызыванием и изготовлением духов. Если духов умерших вызывает тот, кто в них верит, шустросфера сочтет его веру заказом и выполнит этот заказ. Но если он в духов не верит, то утвердится в своем неверии, ведь шустры, разумеется, обнаружат его скептицизм. Тем не менее нельзя считать шустросферу *Кем-то* — она действует как автомат, доставляющий по первому требованию любую книгу, хотя и неспособный ее понять. Скажи я, к примеру: «Хочу увидеть призрак моего дедушки», — шустросфера выполнит требование, если что-нибудь знает об этом дедушке. Но если бы я обратился к ней прямо, желая, допустим, узнать ее намерения или мысли, она не от-

зовется, ибо не является *Кем-то*, кто может говорить от себя или о себе. Предлагалось, правда, персонализировать шустросферу, но эксперты доказали, что вреда от этого было бы больше, чем пользы. Нельзя коротко и ясно объяснить, почему это так, — тут мы встречаемся с трудноразрешимыми парадоксами и логическими противоречиями. Среда обитания должна исполнять индивидуальные требования, пока они совместимы с благом других лиц. Не будучи личностью, она глуха к любым желаниям, выходящим за эти границы. Иначе мы могли бы пядь за пядью приобретать власть над судьбами ближних. Любопытно, однако, что шустросфера, не будучи личностью, способна изготавливать личностные объекты, хотя бы в виде фантомов и духов. Послушание шустров кончается там, где начинаются грозные парадоксы, которые землянину не могут быть известны даже по названию. Впрочем, объяснил Тюкстль, у них никогда не было недостатка в проектах реформ. Метким ударом он прихлопнул комара у себя на лбу и продолжил:

— Одним из первых был изократический план — равновесия добра и зла. Предложили его ученики Ксаимарнокса. Согласно принципу «око за око», среда обитания должна отплачивать каждому его же монетой. Полюбишь ближнего — и шустры тебя приласкают. Ударись — сам получай по зубам. Все в точности симметрично, уравновешенно и пропорционально. В соответствии с этой симметрией ты мог бы даже убить, но лишь раз, потому что сам на месте бы умер. Нетрудно понять, что это был прямой путь к эскалации зла. Обычно мы не лезем из кожи, стараясь творить добро, ведь принуждение противно природе добра, но делать что-то назло другим люди готовы без удержу. В результате хитроумные мерзавцы заставили бы этикосферу бороться против себя самой: сначала ей пришлось бы снабдить их панцирем или чем-нибудь в этом роде, а после сокрушать его, чтобы покарать убийцу. Впрочем, расправа на месте — никудышная справедливость, особенно в случае убийства в аффекте. Шустросфера, выполняющая палаческие функции, не очень-то привлекательна...

— А помните, — вмешался из-за наших спин референт, — проект трех братьев теологов? Дескать, надо идти до конца? Это, скажу я вам, впечатляющий был замысел...

— Богосфера? — отозвался Тюкстль. — Верно, была такая идея, синтеологическая: бросить в Космос, для его усмирения, синтетическое Всемогущество... да, конечно, сотворенный Бог, Синтеос, зародившийся на одной планете, чтобы через мириады лет распространиться на весь Универсум... но как подумаешь, что под гнетом тотальной заботы замерла бы природная эволюция, хищники вымерли бы с голоду, а затем

и их жертвы, расплодившиеся до убийственной тесноты... Нет, это было не слишком продуманно.

Разговор оборвался. Сквозь заросли я увидел темную фигуру, согнувшуюся под тяжелой ношей. Наш лазик остановился, а встречный — худой старик в сермяге — сбросил с плеч здоровенный камень и, заслонив глаза от солнца, не мигая смотрел на нас.

— Искупленец... — понизив голос, сказал референт. — Можно спросить у него про дорогу к монастырю, но ответит ли он?.. Они принимают обет молчания...

Тюкстль учтиво поздоровался с монахом, но тот долго не отвечал. Должно быть, раздумывал, можно ли ему отозваться — устав ордена разрешает это лишь в исключительных случаях. Видимо решив, что тут именно такой случай, он назвал себя. Это был монах-привратник; утром он проспал уход монастыря, а теперь искал своих, в качестве епитимьи взвалив на себя камень. Тюкстль предложил подвезти его, но он лишь поклонился нам, взгромоздил булыжник на плечи и скрылся в гуще мертвых кустов.

Уже заходило красное солнце — к ветру и комарам, как утверждали мои товарищи, — когда мы наконец нашли в сухостое прогалину, пригодную для костра. Референт расположился на мху, поколдовал с ундортом, и перед нами, словно фарфоровый пузырь, в мгновение ока вырос белый домик. Минуту спустя из его пузатых стен проклюнулись длинные защитные шипы — и получился настоящий фарфоровый еж с полукруглым входом. Втаскивая внутрь надувной матрац, я порвал его, задев за один из этих шипов, и чертыхнулся. Но беда оказалась невелика: референт тут же изготовил из кучи хвороста другой матрац, к тому же помеченный моими инициалами, а чтобы оказать мне еще большую любезность, сделал так, что домик втянул в себя все шипы. Слегка закусив, мы болтали, сидя у входа, в сгущающейся темноте. На костре, который мы разожгли ради вящей экзотики, варился суп. Я узнал, что референт вообще-то поэт, а служит лишь ради престижа, ведь никаких стихов, даже самых великолепных, никто не читает. Впрочем, и прозу тоже. В Союз писателей он не входил, потому что там сплошная грызня, особенно по случаю похорон. Одни считают, что над каждым покойником речь должен говорить сам председатель, другие — что оратор, равный по рангу умершему, то есть: член товарищеского суда — о члене товарищеского суда, зампредседателя — о зампредседателя и так далее. Только про то и толкуют, бедолаги, равнодушным грустным голосом говорил поэт, всматриваясь в пламя костра. Ничего другого им не осталось, Союз достиг всего, чего требовал целых семьсот лет, материальных забот никаких,

каждый сам себе определяет тираж, но что с того, раз уже и поэты поэтов не берут в руки.

Затем беседа спустилась на Землю. Я поразился тому, что Тюкстль, казалось бы, настолько изучивший наши обычаи, связывает подкрашивание губ с вампиризмом. Губы у женщин алого цвета, чтобы не видно было следов крови, высосанной при поцелуях, — обычная мимикрия вампиров. Мои протесты ничуть не сбили его с толку. Ах, женщины хотят нравиться? Кровавые губы красивы? А глаза, подведенные синькой, с зелеными веками — тоже? Ведь это цвета трупного разложения — я же не стану этого отрицать? Жуткая внешность к лицу упырю. Я твердил свое, поэт прислушивался, а Тюкстль иронически усмехался. Ну да, хотят быть красивыми... а старушки? Тоже ведь красятся! «Женщина всегда остается женщиной, — настаивал я. — Румяна скрывают старость...» Но Тюкстль не поддавался на мои доводы. На всех земных изображениях самки щерят зубы. Демонстрируют клыки. Конечно, эротика к этому тоже причастна, но это *ночная* эротика, а известно, что вампиры кровопийствуют ночью. Я ему свое, а он все подмигивал мне, что чертовски меня раздражало; наконец он пустил в ход неотразимый аргумент: если речь идет всего лишь о том, чтобы подчеркнуть красоту, почему мужчины не красятся? По правде сказать, я не знал и, кипя от злости, решил прекратить этот бесплодный спор. Вампиры так вампиры, черт с тобой, думал я, укладываясь ко сну в домике, темном как могила.

Никто из нас не заметил курдюка, которого занесло в эти места. Правда, я проснулся и услышал сопенье и чавканье, но не сообразил, что это огромный язычище облизывает крышу. Убедившись, что попался сладкий кусок, эта тварь в один прием проглотила домик, везделаз и прочее наше имущество, так что впоследствии, после довольно мягкого приземления, мы нашли в желудке даже хворост, приготовленный для утреннего костра, и котелок — только суп вылился.

Судя по размерам желудка, в котором можно было утонуть (нашего курдюка мучила жажда), нам попался настоящий гигант, шатун-одиночка. Желудок я изучил весьма тщательно, вместе с окрестностями, так как мы провели там больше недели. Это было нечто вроде огромной, зловонной пещеры со складчатым сводом, придаточными полостями и следами эрозии эпителия. Пещеру заполняло невероятное количество полужидкого месива из веток кустарника, травы, каких-то обломков, жестянок и мусора. Наш курдюк, как

видно, был не слишком разборчив, жрал что попало. Надеюсь, что он сам извергнет нас из пасти, я уговаривал товарищей пощекотать его в небо, но те лишь пожимали плечами — да и как можно было вскарабкаться к пищеводу, который длинной воронкой чернел при свете фонариков где-то над нашими головами? Закусив нами, курдль начал икать. Это было сущее землетрясение. Наконец он нашел водопой и обрушил в темную пасть бурный поток. Лазик сразу пошел ко дну, но наш белый домик неустрашимо держался на поверхности, словно спасательная шлюпка. Тюкстль и поэт-референт призывали меня сохранять терпение, а я рвался действовать, не зная как. Икота прошла, мы выглянули в окошко, по чернеющей поверхности озера пробегала мелкая рябь; высунув голову наружу, я почувствовал ветер, но и это не удивило моих товарищей. Просто отрыгивает, слышишь? — сказал Тюкстль. Действительно, доносилось гудение испорченного воздуха.

Примерно через час озеро обмелело и превратилось в вязкую жижу. Едва мы ступили на дно, как встретили все того же монаха. Он был настолько неутомим в покаянии, что не расстался с камнем, хотя запросто мог утонуть. Ни его, ни моих спутников наше положение нисколько не тревожило. Поэт, который имел на своем счету что-то около семи проглачиваний — ему случалось ходить и на сверхпрограммные экскурсии, а жил он у самой границы, — заявил, что до горла можно будет добраться не раньше, чем животное ляжет на отдых, но толку от этого мало, потому что пищевод очень тесен, и никакая щекотка тут не поможет — у старых курдлей каменный сон. Я хотел расспросить монаха о Кливии, но Тюкстль отговорил меня; дескать, у простого привратника много не выведаешь. Главное — это терпение: курдль, наверное, двинется по следу монастыря, а так как монахам нельзя противиться насилью, вскоре наша компания пополнится еще не одним из них. Возможно, нам повезет, и проглоченный окажется библиотекарем. Не скажу, что он меня убедил. Я заподозрил, что наше теперешнее положение ему по вкусу. Он уже готовился к исследованию местности: попросил у поэта ундорт и из кормового месива изготовил шахтерский шлем с лампочкой, веревочную лесенку и непромокаемый комбинезон. Я упросил его смастерить такое же снаряжение и для меня.

Между тем из мрака, полного всякой мерзости и хлама, стали появляться жалкие, оборванные фигуры с какими-то ведрами в руках и метлами на плечах. Я вскоре заметил, что приходят они после завтрака и обеда (не нашего, а

курдю), чтобы немного прибрать желудочное пространство. То есть они были вроде как уборщики, однако я в жизни не видывал такой бестолковой и нерадивой работы. Они сустились без всякого соображения. Один из них, на редкость словоохотливый (остальные не отвечали на вопросы вообще), сказал мне, что метлы им, правда, положены по должности, но они ими не пользуются: во-первых, прутья сотрутся, а тогда прощай премия; во-вторых, это могло бы ЕМУ повредить. Больше всего меня удивлял их маразм. Они равнодушно брели мимо нас и наших машин, избегая лишь света прожекторов, рассеивающих темноту, — словно лунатики в трансе; но всякий раз, когда на обед у нас был бррбиций, не меньше пяти из них торчало под иллюминатором, жадно вдыхая запах похлебки. Однако они ни за что не желали войти в домик и лишь тот, разговорчивый, признался, что им нельзя якшаться с чужаками, поэтому они делают вид, будто нас нет. Похоже, он сам испугался своей откровенности — с тех пор я его не видел. Привычки курдю были мне внове, но вскоре я понял, что утром и в полдень надо искать место повыше или прятаться в домике: хотя жрал он понемногу, зато пить начинал внезапно и с неслышанной жадностью, а потом низвергалась сущая Ниагара — оттуда, где обычно стоит солнце в зените. При этом он заглатывал воздух так, что желудок раздувался вдвое против обычного, а после протяжно отрыгивал — это было как завывание ветра в узком ущелье. Референт не ставил члаков ни во что, но Тюкстль однажды прижал двоих туземцев к желудочной стенке и не пускал, пока те не сказали ему, что они высокие рангом чиновники — один выдавал себя за мочевика, другой за печенегу. Тюкстль отпустил обоих, заявив, что они беззастенчиво врут, стараясь придать себе вес причастностью к жизненно важным органам. Сказать о ком-то «он из органов» — это в курдле кое-что значит. Впрочем, Тюкстль полагал, что наш курдль на последнем издыхании и тащится к кладбищу, чтобы сложить на нем одряхлевшие кости. Старая скотина, списанная с баланса, давно изъятая из обращения; однако, как это обычно бывает у члаков, в нем все еще живут по причине жилищных трудностей; последними уходят из такого курдю работники службы уборки градозавра, а не убирают они просто потому, что им не хочется. Ведра и метлы носят, чтобы казалось, будто работают. Все они сплошь лодыри — по нагаде и труд.

В первый день я не обедал, хотя поэт-референт искушал

меня перечнем блюд, которые мог приготовить ундорт; но при мысли о том, из чего он их приготовит, я терял аппетит. Мне не терпелось выйти на свежий воздух, и меня все больше удивляло, как это мои товарищи могут мириться со своей тюрьмой, мало того, я начал подозревать, что они находят в этом какое-то удовольствие. Какое? Неужели они радовались (старательно это скрывая) тому, что тут нет ни одного шуэтра? Они рассмеялись, когда я прямо спросил об этом, но в их смехе чувствовалось смущение.

На второй день после завтрака (я уже начал принимать пищу, что мне оставалось делать) Тьюкстль включил проигрыватель, а я, не имея охоты слушать музыку и не желая сидеть сложа руки, сперва попробовал совершить восхождение по крутому склону под *cardia*^{*}, но там было слишком скользко, а о том, чтобы вбивать крючья, не приходилось и мечтать, поэтому я в костюме водолаза направился дальше — к двенадцатиперстной кишке. Референт сопровождал меня до *pylogi*^{**} и показал, как нужно щекотать *sphincter pylogi*^{***}, чтобы тот разжался и пропустил меня, но сам дальше не пошел. Он захватил с собой толстую тетрадь и карандаш — возможно, его посетило вдохновение, и ему хотелось уединиться. За привратником было довольно просторно, я шел широким шагом и на распутье желчных путей увидел в стене пару ботинок. Я пробежал по ним невидящими глазами и пошел дальше, погруженный в раздумья. Почему это вдруг мои люзанцы, которые вроде бы презирали члаков, согласны сидеть вместе с ними в этих клоачных пещерах и отнюдь не спешат на волю? Прелесть экзотики? Опрощение? Окажись здесь какой-нибудь фрейдист, он не задумываясь сказал бы, что для энциан сидеть в курdle — значит вернуться в материнское лоно, и вообще напустился бы на меня со своими фрейдистскими символами, а я бы его обругал, потому что у них никакого лона нет. Впрочем, стоило ли вдаваться в воображаемый спор с вымышленным фрейдистом? Что-то есть, однако, в этом загадочное, подумал я, и лишь тогда до моего сознания дошли увиденные по дороге ботинки в стене. Я осветил туда фонариком и заметил, что они шевелятся. Эту загадку я, во всяком случае, мог разгадать немедленно. Я видел только виброподшвы и стертые каблуки; потянул за один из них, потом за другой, и из стены задом, по-рачьи, вылез высокий худой энцианин, тоже в водолазном костюме.

* Область перехода пищевода в желудок (лат.)

** Область перехода желудка в кишечник (лат.).

*** Кольцевидная мышца, замыкающая привратник (лат.).

Нимало не удивленный моим присутствием, он представился. То был профессор Ксоудер Ксаатер, завкафедрой анатомии курдля в Иксибрикс, в настоящее время занятый полевыми исследованиями. Не спрашивая, с кем он имеет честь говорить, он объяснил мне топографию этого участка кишечника; особенно восхищало его *diverticulum duoden-jejuna* Хаатер*: да, да, это место носило его имя, ведь именно он доказал ошибочность утверждений школы Ксепса, будто бы это *diverticulum* никогда не было *vergucinosum*** . Профессор мозолил глаза этому курдлю уже несколько дней, но тупое животное ни за что не желало его глотать, хотя он, посоленный, совался к нему прямо в пасть. При этих словах во мне пробудились тягостные воспоминания о спутнике-лунапарке, который я принял за планету — и позволил одурачить себя мнимой охотой на курдля.

Расставшись — довольно неохотно — с желчевыми бородавками, профессор вместе со мной вернулся в желудок. Ужасной он поглядывал на мои ноги, но тут же отводил взгляд. Впоследствии выяснилось, что он принял меня за калеку от рождения, но из вежливости не показывал вида; будучи анатомом, он поставил мне диагноз *deformitatis congenitae articulationum genu**** — случай довольно редкий и тяжелый, поскольку это необычайно осложняет жизнь, в особенности ходьбу, а нормально, то есть по-энциански, сесть такой инвалид вообще не способен; вот было смеху, когда он понял, что имеет дело с человеком, — я забыл ему об этом сказать, но он сам догадался, когда мы сняли кислородные маски. Это было уже за привратником, и сверху на нас полетели целые купы кустарника и груды земли. Наш дряхлый курдль был на редкость прожорлив; профессор советовал поторопиться; отовсюду струились потоки желудочного сока, и было ясно, что этим не кончится: такая пища вызывает изжогу, а значит, и жажду. Действительно, полило как из ведра, но мы успели добежать до спасительного убежища, и ни одна капля на нас не попала.

Мои товарищи учтиво приветствовали профессора и пригласили его на бррбиций, который уже варился в котелке. Интересно, что всем деликатесам, которые мог приготовить ундорт, они предпочитали эту гадость, наполняющую помещение запахом, который при всем желании приятным не назовешь. Мы сидели кружком и, прихлебывая суп из мисо-

* Ответвление двенадцатиперстной кишки Ксаатера (лат.)

** Бородавчатый (лат.).

*** Врожденный дефект коленного сочленения (лат.)

чек, оживленно болтали. Профессор рассказал забавную историю о том, как в прошлом году он открыл в болоте возле Кургана Председателя завязший в иле скелет огромного курдюка с сорока скелетами члаков внутри. Благодаря этому он взял верх над археологами из школы другого анатома, доцента Ксипсиквакса (или что-то в этом роде), которые утверждали, что курдль не может жить под водой. Действительно, *naturaliter* не может, но можно выдрессировать его в подводную лодку, а наш анатом доказал это, предъявив вещественное доказательство — перископ, обнаруженный вместе со скелетом. Доцент опоздал на два дня, и, когда он наконец прибыл на место с водолажным костюмом, скелет уже загорал на солнце под присмотром препараторов, а к перископу профессор прикрепил транспарант с ехидной надписью: *CITO VENIENTIBUS OSSA!**

Ну и проблемы у этих ученых, подумал я, прихлебывая бррбиций так, как ребенком глотал рыбий жир, то есть за-тыкая дыхательное горло задней частью нёба; и все-таки пил, чтобы не выделяться. Монах сидел вместе с нами, но не на матрасе, а на своем булжнике — он наконец позволил себя уговорить и сбросил его с плеч. Зная, что я человек, он счел возможным нарушить обет; так начался разговор, в котором он проявил куда большую сообразительность, нежели предполагал в нем Тюкстль. Его имени я не смог бы произнести, оно было совершенно иное, чем у остальных люзанцев, хрипкое, из одних глухих согласных. У всех монахов такие имена, потому что послушничество начинается с выбора кливийского имени — из сохранившихся хроник. С этой минуты монах становится еще и этим кливийцем. При этом известии фантазия моя разыгралась. Я ждал невероятных откровений — например, что они верят в переселение душ и в то, что их устами вещают умершие кливийцы, или же, что во время своих мистерий они читают по уцелевшим документам страшные заклинания Ка-Ундрия, и, хотя их вера тем самым подвергается нелегкому испытанию, именно в этом видят свою покаянную миссию; а если видения примут массовый характер, набожные монахи могут превратиться в организацию мстителей. Брат привратник остудил мое разгоряченное воображение, заявив, что ничего не знает о кливийце, имя которого принял, да и об остальных кливийцах тоже; знает только, что те не верили в Бога; поэтому они теперь верят *за них*.

— Как же так, — спросил я, жестоко обманутый в своих

* Кто приходит рано — тому кости (*лат.*)

ожиданиях, — у вас есть кливийские хроники, и вы даже не пробуете изучить их?

Монах, должно быть, распарился от бррбиция; он сбросил с головы капюшон и, глядя на меня лучеобразно оперенными глазами, сказал:

— Да нет, я их читал. Среди наших послушников нет недостатка в клириках, которые вступают в орден не покаяния ради и не из набожности, но надеясь отыскать у кливийцев застывшую эссенцию самого черного Зла. Такие вскоре уходят. Ты удивляешься, чужеземец? Мы читаем хроники, чтобы учиться кливийскому языку, а впрочем, там ничего нет...

— Как это нет? — медленно переспросил я. Я готов был заподозрить его в желании скрыть правду.

— Ничего, кроме фраз. Пропагандистский трезвон, и только. Пускание трюизмов в глаза Удивляешься? А ты когда-нибудь слышал о власти, которая не рассыпает направо и налево обещания счастья, но возвещает отчаяние, скрежет зубовой, расписывает собственную мерзость и подлость? Никакая власть ничего подобного не обещала. Разве у вас иначе?

— Не будем об этом, — быстро ответил я. — Но их Ка-Ундрий? Что это было? Ты знаешь? Тебе позволено говорить?..

— Вечно одно и то же, — пожал он плечами. — Ка-Ундрий в точном переводе значит *благосфера*.

У меня перехватило дыхание.

— Не может быть! Значит... они хотели сделать то же, что и вы?

— Да.

— Тогда... как дошло до войны?

— Это была не война, а безлюдное столкновение двух идей.

— Аникс сказал мне, что шустры возникли как оружие...

— Возможно, ты неправильно его понял. Они возникли не как оружие. Но стали оружием, наткнувшись на то, что метило в них самих.

Я видел, что он с трудом подыскивает слова под неподвижным взглядом остальных, — и вдруг увидел эту сцену как бы со стороны. Человек, сидящий с неудобно подогнутыми ногами среди существ, широко рассевшихся на своих огромных стопах, с торчащими назад коленями, как грузные головастые птицы.

— Столкнулись две версии Блага, — сказал наконец монах. — Они различались тем, что благородный Тюкстль называл бы программой. Однако не слишком сильно. В сущности, склестнулись они потому, что были двумя проектами совер-

шенства. Если друг против друга станут две церкви единого Бога, если каждый стоит за Него, но требует для себя исключительности, не допускающей никаких уступок, дело может кончиться битвой, хотя бы никто ее и не хотел. Разве так не случилось в истории? А раз даже преданность Высшему Благу способна породить истребление, насколько вернее ведет к нему посясторонняя вера, приверженцы которой создали полчища немыслящих исполнителей! Два проекта блаженно-го безбожья мчались навстречу друг другу и встретились не точно на полпути, потому что один из них был эффективнее и обладал большей силой поражения. А если бы повезло кливийцам, ты сидел бы не здесь, но среди темнолицых, на южной оконечности их плоскогорья, и слушал бы рассказ о гибели Северной Тарактиды, таинственного чудовища, погребенного под ледниками Люзании. Только там ты оказался бы среди неверующих. Ведь кливийцы, как я уже говорил, отвергли Бога, и у них тебе труднее было бы найти искушителей...

— Значит, они действительно хотели добра?..

Я никак не мог освоиться с этой мыслью.

— Думаю, не меньше и не больше, чем отцы-основатели этикосферы. Но мне пора. Прощайте.

Монах встал, взвалил на себя камень и пошел, сгибаясь под тяжестью. Я тут же начал допытываться у Тюкстля, знал ли он то, что монах сказал о Кливии?

Он не стал отрицать, однако доказывал, что все было иначе: мол, кливийцы придерживались авторитарных идеалов и свою благосферу хотели создать не из шустров, а из молекулярных микроботов, называемых пигмами, — не только менее совершенных, но и более жестоких, чем шустры. Он засыпал меня специальными терминами, я видел, что он защищает свое дело вполне добросовестно, но больше не слушал его. Впрочем, время уже было позднее. Двое остальных встали, чтобы приготовить спальные места. Тюкстль умолк и тоже нехотя поднялся. Меня окружали неуклюжие фигуры, покрытые плотным бархатным пухом, с глазами, расставленными почти так же широко, как ноздри, в которых при дыхании дрожали маленькие перышки. Готовясь ко сну, я вынул из уха переводилку; понятные голоса превратились в быстрые пронзительные трели. Поэт приблизил ко мне совиные глаза и что-то сказал; я понял его, потому что он указывал на постель. Стемнело; все уже заснуло, судя по равномерному дыханию, но мне совсем не хотелось спать. Хорошо еще, никто не храпит, думал я, а то я не выношу храпа. Правда, я среди энциан, а они, должно быть, не хра

пят. Разве кто-нибудь слышал о храпящих воробьях или пингвинах? В голове у меня все смешалось. Чего ради я взвалил на себя тяготы звездного путешествия? Чтобы со стайкой экс-птиц очутиться в черной утробе полусдохшего курдюка? Кто? Я, дипломатический полукурьер, Ийон Тихий, экс-обезьяна. Лично я никогда не был обезьяной, но ведь никто из них тоже никогда не был птицей. Откуда же этот нездоровый интерес к зоологии в генеалогических разысканиях? Неужели, говорил я себе почти с отчаянием, только так, подурачки, я и могу думать о таких серьезных и важных предметах? Узнал ли я тайну Черной Кливии? Пожалуй; но оказалось, что тайны — мрачной и непостижимой для нас — вовсе и не было, а было нечто слишком хорошо нам знакомое. Кто-то начал храпеть, а потом и хрипеть, я шикнул несколько раз давно испытанным способом, но без результата. Я приподнялся на локте, в страхе, что меня ждет бессонная ночь, и тут хрипенье перешло в громоподобное бульканье. Оно доносилось отовсюду, словно при проливном дожде. Это не они, это всего лишь курдюк переваривает; в брюхе у него бурчит, успокоился я. Я все лежал и лежал, а сон не приходил. Как бусинки четок перебирал я в памяти прежние путешествия. Сколько их у меня было! Впрочем, некоторые оказались сном. Я вспомнил свое пробуждение после конгресса футурологов и вдруг подумал, что, может быть, и теперь вижу сон. Нигде бессонница не мучит с таким упорством, как во сне, ведь очень трудно заснуть, если уже спишь. Тут уж легче проснуться, это понятно всякому. Проснись я теперь, от скольких хлопот я избавился бы! Это был бы действительно приятный сюрприз. И я напрягся, силясь разорвать духовные путы, которыми сковывает нас сон, но, как ни старался я сбросить его с себя, словно темный кокон, ничего у меня не вышло. Я не проснулся. Другой яви не было.

К о н е ц

Март 1981

ПРИЛОЖЕНИЕ

Толковый земляно-землянский словарь
люзанских и курдьяндских выражений,
обиходных и синтуральных (смотри: С и н т у р а)

Вступительные замечания. Быстрое развитие энциологии вызвало потребность в отыскании слов, которые были бы достаточно лаконичным эквивалентом энцианских выражений, обозначающих неизвестные на Земле отвлеченные понятия, а также конкретные объекты.

В результате возник словарь *неологизмов*, с возможной точностью передающих смысл инопланетного выражения. Ниже приводится горсточка слов из этого словаря — тех, что могут облегчить чтение настоящей книги. Я включил также некоторые выражения, которые не встречаются в тексте, однако играют важную в духовной и материальной жизни Энции. Лицам, которые с большей или меньшей язвительностью упрекают меня в выдумывании неологизмов, затрудняющих понимание моих воспоминаний и дневников, настоятельно рекомендую провести несложный эксперимент. Пусть такой критик попробует описать один день своей жизни в крупном земном городе, не выходя за пределы словарей, изданных до XVIII столетия. Тех, кому подобный опыт не по душе, я попросил бы не брать в руки моих сочинений.

А в т о к л а з — одно из многих злобоуловительных (гнево-поглощающих) заведений в Люзании, называемых также буяльнями.

А г а т о п т е р и к с — он же Мегатерикс Сапненс — крупный разумный нелет, предок энциан, соответствующий примерно нашему питекантропу.

Б л а г о п р о в о д — подобно тому как водопровод на Земле доставляет воду, благопровод на Энции доставляет (по заказу) блаженство. (Смотри также: Л ю д о в о д.)

Б О Б И К — Большая облава на индифферентных кандидатов в люзанские органы власти. Раньше: благодарный объект для измывательств и кровопусканий (также: кибрушка — для игр; робосед — замещает хозяина на заседаниях, сессиях и т.п. Смотри также: М а н е к е н и з а ц и я , Ф а к с и ф а м и л и я).

Б о г о и д — кибер-ангел, андроид-переводчик, используемый также для вентиляции и прочих услуг.

Б о л е п р о ф и л а к т и к а — предотвращение умышленных недобрых поступков посредством вшиваемых в нательное белье датчиков (дурные намерения вызывают острый приступ ишиаса). Эта технология имеет в Люзании лишь историческое значение.

Б ю р о п р я т — люзанский гражданин, укрывающийся от принудительного набора в правительство и прочие органы власти.

Верхогляд — искусственный спутник, стационарный или нестационарный, предназначенный для слежения с орбиты за определенным (запрограммированным) лицом.

Вечный рыдалец — нейропрепарат субъекта, приговоренного к высшей мере наказания — вечным мукам. Существование рыдалцев находится под вопросом.

Выборокибер, он же предлагатор — облегчает выбор утех, развлечений и т.д. Устройство, необходимое в условиях избыточного множества вариантов. Выборокибер поврежденный, растоптанный или разбитый владельцем немедленно самовосстанавливается. Избавиться от него нельзя; будучи выброшен, он следует за хозяином по пятам даже в том случае, если тот укрывается в бронированном каземате (проникая туда за ним с помощью специальных бронедробилок).

ВыДРА — Вычислительно-Дискуссионный Разумный Автомат.

Гениалич прогрессирующий (Genialysis Progressiva) — удар от избытка мудрости у компьютеров, ведущий к замыканию входов на выходы; такие углубившиеся в себя компьютеры называют созерцаками.

Гилоизм — господствующая в Люзании религия. Я записал на карточке, откуда взялось это слово, но, к сожалению, нигде не смог ее отыскать.

Демениция — демелиорация почвы на Энци, один из типичных приемов деятельности антисинтуральной оппозиции с целью отупления разумных камней, песка, щебенки, сланцев, глины и т.д.

Дефектив — дефект этификации, следствие частичного паралича или расстройства этикосферы.

Дракула — рыба-пила на Энци.

Дублизкий — дублированный родственник, свойственник или друг, смягчающий печаль по умершим или раздражение, вызываемое несходством характеров (смотри также: **Манекенизация**, **Факсифамилия**, а впрочем, смотри куда хочешь).

Живоглот — лицо, проглоченное курдлем и извергнутое наружу живым (смотри также: **Полиглот**).

Заглубление науки — если ученым известно, что интересующие их открытия уже сделаны, но неизвестно, где искать сведения о них, начинаются экспедиции в глубь науки, или инспекции. Руководят ими эксперты-интернисты, или инспекты. Эту деятельность называют также инспекционной, в отличие от прежней экспериментальной.

Загробот — робот, верящий в загробную жизнь.

Зеленушки — насекомые, выполняющие на Энци функции земных зеленых растений.

Игнорантика — научная дисциплина, изучающая развитие знаний о том, чего не знают на данный момент.

И г н о р а н т и к а — научная дисциплина, обратная по отношению к игнорантике (смотри: **И г н о р а н т и к а**). Занимается проблемами игнорирования того, чего не знают на данный момент.

И н с п е р т — эксперт на стадии заглупления (самокопания) науки (смотри: **З а г л у б л е н и е н а у к и**).

К а д а в е р и а Р у с т и к а н а (*Cadaveria Rusticana*) — шкурбат на пастбище (смотри: **Ш к у р б а т**).

К о л о н и з а д ц и я — ссылка в задние районы курдья.

К у к а р е к у ш к а — персонаж энцианских сказок: гибрид петуха с кукушкой (благодаря генной инженерии). Петух отвечает на вопросы о том, насколько свежи кукушечьи яйца.

К у к у р д л ь — курдль — сямский близнец.

К у р д а ш — танец в животе курдья (не путать с танцем живота!).

К у р д и н а л — верховный священник в курдландской древности.

Л ж и в о т н ы е — синтетические животные, продукт эмбрионального конструирования.

Л ю д о в о д — благопровод, доставляющий дублизких (смотри: **Д у б л и з к и й**) и прочих куклоидов и андроидов. Транспортировка совершается в порошковом состоянии; так называемая *Instant Person** самособирается у заказчика после подключения источника питания.

М а н е к е н и з а ц и я — замена натуральных лиц суррогатными, которые заказываются, например, в факсифамильных мастерских.

М о к р ы н ы ч — подмоченный горыныч (смотри также: **С г о р ы н ы ч**).

Н а в р е д и с т ы — люзанская ухудшенческая секта (смотри также: **З л о л ю б ы**). Полагая причиной всеобщей угнетенности избыточное благоденствие, навредисты (известные также под именем вырвиглазов) пытаются помогать ближним посредством замучивания их насмерть.

Н а ц и о м о б и л ь — населенный курдль (звероград). Он же: градозавр, градоход, топтуша, переходимец (не проходимец!).

Н е н о р м а л ы — секта, которая проповедует, что цивилизация — это извращение (перверсия), поэтому следует поощрять в ней перверсии (извращения), ибо извращение извращения выводит на прямую дорогу, то есть ведет к возвращению в норму.

О-Ку-Ку — Отец и куратор курдлей, также: курдлевода; высший чиновник курдландской администрации, заведующий топартаментом (смотри: **Т о п а р т а м е н т**).

* Здесь: лицо мгновенного приготовления (*англ.*).

О х м у р и д ы — они же обманки — микроиллюзии натуральных лиц, которым чудится, будто они искусственные, и наоборот.

П о л и г л о т — лицо, многократно проглоченное курдлем.

П о л и м и к с и я — неудачное определение способа оплодотворения у энциан. Правильный термин: *полисемия*. Женская половая клетка не может быть оплодотворена одним мужским сперматозоидом; для инсеминации необходимы по меньшей мере два сперматозоида от двух генетически нетождественных самцов (то есть они не могут быть однойцевыми близнецами). В настоящее время существует 47 теорий, объясняющих, почему на Энция возник именно этот способ размножения, но по недостатку места я их опускаю.

П о л и п о н — политический полигон, нечто вроде тренажера для государственных мужей; нередко заминирован.

П о с т ы м е н т (Постыдный Монумент) — памятник беславия, воздвигаемый в честь величайших национальных антигероев из специального материала, способного деформироваться под ударами, а затем восстанавливать прежнюю форму. С плевательницами вместо вечного огня.

П о х и щ а л к и — детская игра в похищение (также: **У в о д и л к и**).

П у т е е ц — ученый, занимающийся измерением длины пути, который должны пройти поисковые импульсы, чтобы добраться до содержащихся в планетной памяти искомым данных.

Р а з ь я в л я н и е — техника дослащивания жизни; позволяет пережить то, чего вообще-то одновременно пережить нельзя. Независимые потоки сознания подключаются к обоим полушариям мозга, изолированным друг от друга при помощи разъявителя.

Р о б о ш л е п ы — они же заваливающие роботы — роботы с высоко расположенным центром тяжести; часто теряют равновесие и шлепаются оземь.

С а л ь т о Р а ц и о н а л е (Salto Rationale), также: **Правило Инверсии Практикуемых Смыслов (ПИПС)**. Согласно этому правилу, если при внедрении некоей Идеи в жизнь преодолеть порог Титиксака, Идея начинает действовать наоборот. Выше порога Т. прогрессивные идеи становятся регрессивными, идеи, сулящие благосостояние, доводят до нищеты, радующие — угнетают и т.д. Порог Т. определяется отношением диаметра черепа к произведению средней арифметической всеобщего разочарования жизнью и постоянной НН (Неизбежных Недоразумений).

С а м о г р о б — мыслянт (разновидность робота), кончающий самоубийством по выполнении задания. Также: **разовик**, **демонт** (поскольку сам себя демонтирует). Не путать с **разбираком** (**разбирак** — это просто разборный рак).

Сбитень — робот, сбитый с толку вследствие телесного повреждения.

Сгорыныч — выгоревший горыныч (смотри также: **Мокрыныч**).

Сексолицые (*Sexofaciales*) — зоологическое название высших энцианских животных (ввиду лицевой локализации внешних органов размножения).

Синтура — синтетическая культура, созданная в Люзании.

Синтюрга — синтуральная тюрьма (условная). Дело в том, что в синтуре любые узы ограничивают свободу лишь до тех пор, пока узник этого хочет; если же он пожелает освободиться, шустры вызывают распад (диссипацию) материала, из которого состоят оковы, кандалы и т.д.

Синьеризм — синтетическое препарирование карьер по индивидуальной мерке, в соответствии с темпераментом.

Скварка порог — порог умудрения среды обитания, по преодолении которого она становится умнее обитающих в ней разумных существ.

Социомат — автомат для игры (азартной) в государство.

Старнак — старший над курдлем, староста, начальник градохода.

Топартамент — орган местной администрации в Курдландии.

Уморы — усилители морали, нравственные предохранители шустров 16-го и следующих поколений; предотвращают попытки мерзификации (кретинизации) шустров, предпринимаемые преступными и диссидентскими элементами.

Факсифамлия — замена родственников с нелегким характером куклоздами (смотри: **Людовод** и **Манекенизация**).

Цивитатор — от латинского «*civitas*» (государство) — правящий компьютер (см. также: **Странодав**).

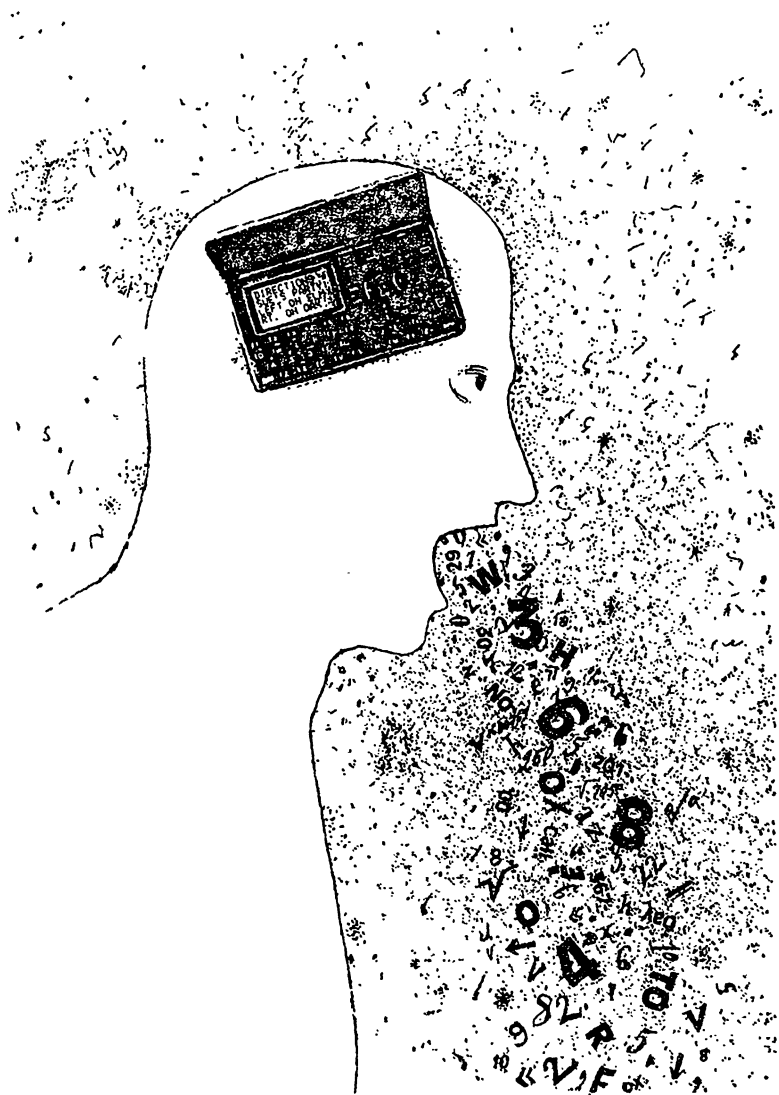
Чага — частная галактика, архаическое понятие, возникшее в эпоху, когда люзанские граждане могли претендовать на приобретение в собственность эллиптических и спиральных туманностей. В настоящее время допускается только аренда на 10 000 лет.

Шкур — штрафной курдль, также: Пузаст (путешествующий застенок).

Шкурбат — батальон штрафных курдлей.

Шустравка — разумник рассеянный, луговая трава, случайно зараженная шустрами. Ругается, если на нее наступить.

ПЬЕСЫ О ПРОФЕССОРЕ ТАРАНТОГЕ



ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ

Пьеса в шести частях

Действующие лица

Профессор Тарантога, седовласый и седобородый, в конце путешествия не столь седой и без бороды.

Магистр Януш Хыбек, юноша в очках.

Существо с Ориона, типичная деревенская баба.

Трое каленусцев, лысые как колено.

Инженер с планеты Каленусия.

Доктор с планеты Каленусия.

Робот с квадратной головой.

Прелестная блондинка с Грелирандрии.

Директор Института с Грелирандрии.

Ученый I.

Ученый II.

Лик с туманности NGC.

Женщины, пересылаемые по радио, и прочие.

I

Квартира профессора Тарантоги. Обычная мебель. Столик, на нем «странствователь» — аппарат величиной с небольшой чемоданчик, с циферблатами, какими-то линзами, с возможно большим выключателем; рядом — звездные атласы и звездный глобус. На аппарате — прицельник, что-то вроде воронки, направленной на свободное от мебели пространство комнаты между шкафом и дверью. Это пространство отгорожено шпагатом. Бок шкафа, образующий границу этого пространства, выломан, доски расщеплены и вдавлены внутрь. Рядом на полу большой камень с Луны, возможно более необычной формы. Около столика с аппаратом три стула — два нормальных, а третий — «гибрид» из двух обычных стульев:

Wyprawa profesora Tarantogi, 1963

© Е. Вайсброт, перевод, 1964

у него четыре ножи и две спинки. Это результат взаимопроникновения двух стульев во время предыдущего эксперимента. Профессор Тарантога вставляет вилку в розетку, что-то поправляет, садится за столик, устраивается поудобнее, так, как садился бы на скамью в поезде, который сейчас должен прокутиться. Начинает устанавливать прицельник, но вдруг раздаётся звонок. Профессор выходит и возвращается с молодым человеком в роговых очках, в пальто, с портфелем — типичным поляком-канцеляристом.

Хыбек. Профессор Тарантога?

Профессор. Да. Вы из газеты? Я, знаете ли, не даю никаких интервью.

Хыбек. Да нет же, нет. Не из газеты... Я получил от вас письмо.

Профессор. Письмо? Минуточку... Какое письмо?

Хыбек. Ну как же, господин профессор!.. Неужели вы забыли про объявление в «Газете»?.. Я написал вам... и получил ответ с приглашением зайти сегодня...

Профессор. А-а! Так вы — Хыбек?! Магистр Хыбек! Ну конечно. Простите, не узнал. На фотографии вы выглядите иначе.

Хыбек. Потому что это старая фотография, тогда я еще не носил очков. *(Кладет на стул портфель, портфель падает, он его поднимает.)* Простите, ради Бога. Я так волнуюсь! Всю жизнь я мечтал о полетах к звездам... когда еще никто и не слышал о спутниках...

Профессор. Похвально, весьма похвально. Знаете, я получил массу предложений, но по многим причинам выбрал вас... Вы знакомы со стенографией, не так ли?

Хыбек. Да, знаком. Я работаю оценщиком, окончил экономический и товароведческий факультеты, но астронавтика интересовала меня с детства, я читал все, что только мог достать. И знаете, почти все понимал. А вы действительно собираетесь строить ракету?

Профессор. Ракету? Об этом мы еще поговорим. Так, значит, мой выбор пал на вас, поскольку мне казалось, что я вас откуда-то знаю. Может быть, вы слушали мои лекции?

Хыбек. Увы, нет. Как-то не довелось... Но если б довелось, наверняка бы слушал... А что до фотографии, то вы, господин профессор, наверно, меня узнали, ведь я уже бывал у вас. Вы тогда еще не носили бороду, а я учился... Это было в пятьдесят первом году. Двадцать седьмого апреля.

Профессор. В пятьдесят первом? Вы были у меня? Что-то не помню. Интересно, зачем?

Хыбек. Не помните? Я был всего несколько минут при весьма странных обстоятельствах. Впрочем, честно говоря, я до сих пор не знаю, зачем тогда к вам приходил...

Профессор. А-а! Вспомнил! Ну, конечно, это было забавно! Вы не знали, зачем пришли... и я тоже не знал. Хе-хе!

Хыбек. Но если вы выбрали меня именно из-за этого, стало быть, я приходил не зря. Не знаю, как сказать, но я так благодарен вам... Мне понадобится отпуск? Если да, я могу похлопотать о больничном...

Профессор. Отпуск? Зачем отпуск?

Хыбек. Ну как же! Ведь в объявлении было сказано, что вы ищете спутника для путешествия к звездам!

Профессор. Действительно, я так написал. Но отпуск... нет, отпуск не понадобится.

Хыбек. Значит, пока еще ракету не строят? Ну да, наверно, лимиты... Я понимаю...

Профессор. Никакой ракеты не будет. Молодой человек, прошу слушать внимательно: я открыл новый способ путешествий в Космосе!

Хыбек. Новый? А как же ракета?

Профессор. Без ракеты. По моему методу можно переноситься с места на место без каких бы то ни было экипажей, ракет, самолетов или звездных кораблей...

Хыбек. Совершенно без?

Профессор. Абсолютно. С помощью моего аппарата можно лететь к звездам, не выходя из этой комнаты. Там *(указывает на пространство, огороженное веревками)* наступает контакт.

Хыбек. Между этими веревочками?

Профессор. Я умышленно отгородил эту часть комнаты. Странствователь — так я назвал свой аппарат — нацелен туда, видите? Разумеется, первые опыты я проводил в ограниченных масштабах. Благодаря этому я мог, например, не наклоняясь коснуться собственной пятки или, не вставая с этого стула, взять что-либо со шкафа в другой комнате. Ну, а первый серьезный эксперимент я провел вчера. Это была Луна...

Хыбек. Луна? Тут? Между веревочками?

Профессор. Не вся, разумеется. Я вошел в контакт, то есть соприкоснулся с кратером Эратосфена. Может быть, вы знаете, это большой погасший лунный вулкан, его видно в обычный бинокль...

Хыбек. Знаю, знаю. И что, удалось?

Профессор. Он был тут. Южная сторона вулкани-

ческого конуса. Она простиралась примерно отсюда... досюда... (Показывает.)

Хыбек (стоя у шкафа). А что здесь случилось?

Профессор. В момент выключения вершина задела за шкаф. Коснулась боком, при этом кусочек откололся. Вот этот.

Хыбек (поднимает камень). Невероятно. Это камень с Луны?

Профессор. Да. И все потому, что прицельник был еще недостаточно хорошо проградуирован. К счастью, все кончилось без серьезных последствий, только от толчка у соседей ниже этажом немного отвалилась штукатурка...

Хыбек. Феноменально! Но я не понимаю...

Профессор. Луна и Земля находятся в пространстве. В трехмерном пространстве. Это пространство я перегибаю. Мой аппарат складывает его вдвое в четвертом измерении, так что исходный пункт соприкасается с намеченным...

Хыбек. Гениально! Почему никому до сих пор это в голову не пришло?

Профессор. Понятия не имею. Но нам пора. Сегодняшний опыт будет уже настоящей космической разведкой. Я намерен вступить в контакт с четырьмя планетами нашего Млечного Пути. Как вы, наверно, догадываетесь, я выбрал планеты, во многом подобные Земле...

Хыбек. Господин профессор, это превосходно! Благодаря достижениям науки, которыми могут поделиться с нами тамошние цивилизации, человечество достигнет вершин расцвета!

Профессор. Вы так думаете? Дай-то Бог! Молодой человек, извольте сесть с той стороны. Сейчас трогаемся. Давайте договоримся. Вы будете записывать все происходящее, в особенности разговоры с существами с иных планет. Вот бумага и карандаш...

Хыбек. Но я же ничего не пойму.

Профессор. Поймете, поймете. Этот аппарат (показывает аппарат под столом) — наш переводчик. Специальный электронный мозг. Он улавливает колебания воздуха, вызываемые речью, и переводит на понятный нам язык. Вам будет казаться, что чужие звездные существа говорят по-нашему. Разумеется, это лишь иллюзия. Время от времени может попасться выражение, которого машина не сумеет перевести. Тогда прошу записать его буквально так, как услышите... Ясно?

Хыбек. Да, господин профессор! Что вы делаете? Неужто уже?

Слышны странные звуки.

П р о ф е с с о р. Я включил конденсаторы. Требуется определенное время, чтобы набралось достаточно энергии, способной перегнуть пространство. Это указатель потенциала сгиба. Энергию мы забираем из электросети, поэтому свет немного сел. Видите? Падение напряжения.

Х ы б е к. Что это так гудит?

П р о ф е с с о р. Гравитационное поле подвергается сжатию, двузначно лимитированному детерминатором Лоренца-Фицджеральда, разумеется, ковариантно, а также конгруэнтно геодезическим линиям...

Х ы б е к. Не улавливаю...

П р о ф е с с о р. Это не страшно. Зарядка продлится еще немного. Мы можем поговорить. Там, перед нами, наступит трансмогравифлексия, то есть сгибание пространства. Когда мы начнем входить в соприкосновение, вы это почувствуете по миганию вон этих указателей — я подам знак рукой. И тут уж прошу не двигаться. Ни одного движения, потому как наша сторона может тогда перевесить, от чего упаси нас Боже.

Х ы б е к. А что тогда произойдет?

П р о ф е с с о р. Образуется складочка. Небольшая рябь в окружающем нас пространстве. Вчера в момент соприкосновения я чихнул...

Х ы б е к. И что случилось?

П р о ф е с с о р. Еще сорок секунд... Что вы сказали? Вы видите этот стул? Вчера это были два стула... Из-за того, что в пространстве образовались волны, произошло взаимопроникновение материи. Хорошо, что тем дело и кончилось. Если бы на стульях сидели люди, из них получились бы существа, сросшиеся, как сиамские близнецы.

Х ы б е к. Ужасно!

П р о ф е с с о р. Поэтому прошу не шевелиться. Когда контакт установится, опасность минует. Понятно, есть и иные опасности — со стороны жителей чужой планеты. Но того, что сделают они, увидев нас, мы предсказать не можем...

Х ы б е к. А нет ли у вас какого-нибудь оружия?

П р о ф е с с о р. Наша экспедиция носит мирный характер. В крайнем случае я выключу аппарат, и мы вернемся. Вот выключатель. Если произойдет что-нибудь непредвиденное и я не смогу повернуть выключатель сам, извольте сделать это за меня, вот так... Что-то сегодня долгойно заряжается. Видимо, соседи опять включили электрическую печь, а я их так просил... Ну, еще немного... Внимание, молодой человек, сейчас я подам знак! Не двигайтесь, что бы ни случилось или появилось. Правда, мы без ракеты, но это путешествие к звездам, и вы обязаны меня слушаться,

как командира. Капацитроны заряжены, прицел на Орион. Внимание, тронулись!

Различные звуковые и световые эффекты. Профессор и Хыбек сидят неподвижно, вглядываясь в пространство, огороженное веревками. Что-то пролетает между шкафом и дверью.

Хыбек. Профессор, что это было?

Профессор. Наверно, какой-то метеорит.

Хыбек. А почему ничего не видно?

Профессор. Ведь космическая пустота...

Опять что-то пролетает, теперь уже между ними. Шум.

Хыбек. Ох. Тоже метеор?

Профессор. Видимо, мы попали в рой. *(Вытаскивает из-под стула два шлема, один надевает сам, второй подает Хыбеку.)* Наденьте, так будет безопасней... *(Спустя минуту.)* А это что? Вибрация? Весь столик дрожит... Вчера этого не было. Странно. *(Прикасается к аппарату.)* Аппарат не греется...

Хыбек. Профессор, это не вибрация — это я. Ноги трясутся... Но просто от возбуждения, не от страха, уверяю вас.

Профессор. Немедленно прекратите! Никакой дрожи! Внимание, прибываем!

Над аппаратом загорается сигнал. Этот сигнал всегда будет гореть во время «пребывания на иной планете». Долгое время ничего не происходит.

Хыбек. Господин профессор, может быть, это обитаемая планета?

Слышны медленно приближающиеся шаги.

Профессор. Тихо!

Из-за приоткрытой двери просовывается голова. Сущест в а. Дверь открывается. Существо входит в комнату. Оно невероятно похоже на обыкновенную бабу. На спине большой мешок. Существо не замечает ни профессора, ни Хыбека, неподвижно сидящих за столиком. Существо оглядывается, потом медленно начинает развязывать мешок.

II

Существо. Фу, как высоко! Не для моих ног. Хозяйка! *(Снимает мешок.)* Едва дошла. Ой! Куда ни глянь, везде галенты сидят, верещат, пристают, на что это похоже? Не-

льзя спокойно пройти! Хозяйка! Я яйца принесла! Опять куда-то подевалась... *(Выходит в прихожую.)*

Хыбек. Господин профессор, что это значит? Это же здешняя, из деревни. Видно, заблудилась...

Профессор. Исключено! Прицельник показывает, что мы в созвездии Ориона. Четвертая планета слева...

Хыбек. Но она же из деревни!

Профессор. Ну и что? На других планетах тоже могут быть деревни.

Хыбек. Простите, но она говорит о яйцах! Это обычная баба, торговка... Наверно, ошиблась этажом, а дверь была не закрыта...

Профессор. Вы так думаете? Можно спросить, с какой она планеты, только она, наверно, не знает.

Хыбек. Может, заглянуть в мешок? *(Встает.)*

Профессор. Лучше не надо! Оставьте! Так нельзя.

Хыбек *(нюхая).* Немного молочком отдает, немного хлебом... Профессор, это настоящая деревенская баба. И мешок... *(Существо возвращается.)*

Существо. Чтой-то это вы? Вы — здешний? *(Увидела Тарантогу.)* Что, в гости к хозяйке приехали?

Хыбек. Нет, мы тут живем. А не ошиблись ли вы, бабонька, дверью?

Существо. Это как же? Я яйца принесла. А хозяйки нет? Так, может, вы возьмете? Яички что надо!

Хыбек. Нет! Нет! Идите! Нам яйца не нужны.

Существо. Как хотите. Но яйца-то какие! Только взгляните. *(Показывает яйцо величиной с дыню.)*

Хыбек. Бог ты мой!

Профессор. Ага, видите! Разве я не говорил? Это Орион! *(Обращается к Существо.)* Моя милая, хозяйки нет, но это ничего. Мы можем взять эти яйца...

Хыбек. Да! Да! Как только она... вернется, мы ей отдадим...

Существо. Уж и не знаю. Так вы, значить, берете, или как?

Профессор. Берем! Конечно, берем! Только скажите, пожалуйста, чьи это яйца?

Существо. Как чьи? Мои! Вы что думаете, я по соседям собирать стану? У меня свое хозяйство! Яйца — свеженькие... Не хотите...

Профессор. Вы меня не так поняли. Меня интересует, милая, чьи это яйца, то есть кто их снес?

Существо. Шутки шутите? А кто мог снести? Известно кто — пштемощь...

Профессор. А как он выглядит?

Существо. Послушайте, что вы мне голову морочите? Что вы, пштемощля не видели, что ли?

Профессор. Видели, видели, ну конечно же, видели. Положите яйца на стол! Садитесь, коллега!

Существо. Значить, берете?

Профессор. Конечно. Благодарим за труды.

Существо. «Благодарим» — это хорошо. А деньги где?

Хыбек. Профессор, скажите, что хозяйка заплатит в другой раз.

Профессор. Это было бы нечестно. Моя милая, а почем яйца?

Существо. По четыре мурпля, господи! Почти даром.

Профессор. Увы, моя милая, у нас сейчас нет наличных. Может быть, вы взяли бы что-нибудь взамен?

Существо. Что-нибудь? Это что же? Что может быть вместо денег?

Профессор. Что угодно. Можете взять любую вещь из этой комнаты, например, эту вот вазу...

Существо. Нет, господи! Я слишком стара для этого. Давайте-ка платите, или дело не пойдет!

Хыбек. Профессор, но это же бесценный для науки экземпляр. Яйца неизвестного существа! Заговорите ее, а я выключу! Яйца лежат за пределами действия аппарата — вернемся, и они останутся нам!

Профессор. Нет, это будет несолидно. Моя милая, послушайте! Мы не можем вам заплатить мурплями, потому что у нас нет таких денег, а нет их у нас потому, что мы прилетели с другой планеты. Мы прибыли к вам издалека, и нам совершенно необходимы эти яйца, потому как у нас, на Земле, таких нет. Мы дадим вам взамен что угодно.

Существо. Хватит. Нижайше благодарим. Рассказывайте такие сказки своей бабушке! С другой планеты, смотрите-ка! Поодевались, как обезьяны, проводов понатягивали, шнуров повешали и пожалте вам — с другой планеты! Сказать правду? Яичек дармовых захотелось! *(Закидывает мешок за спину.)*

Профессор. Оставьте яйца, мы дадим вам все, что вы захотите!

Существо *(задерживаясь в дверях).* Ну и настырный! Вы что, по-орионски не понимаете, или как? Ну, так я по-другому скажу: старая перечница, вместо того чтобы наряжаться, берись за честную работу, сам себе пштемощлей выращивай, так будут тебе и яйца!

*Выходит, хлопнув дверью. Профессор выключает аппарат.
Звуковые, световые эффекты. Светлеет. Тишина.*

Профессор. Мы на Земле...

Хыбек. Забрала! Какая жалость! Пан профессор, что вы наделали?!

Профессор. Я наделал? Простите, но...

Хыбек. Но почему она была так невероятно похожа на наших крестьянок?

Профессор. Потому что тоже была крестьянкой. Слышали, как она сказала: «по-орионски». Вы не понимаете? Крестьянка с планеты Орион, ничего больше. Правда, невероятно человекообразная!

Хыбек. Как она могла сказать «по-орионски», если они там не знают, что мы их звезды называем Орионом?

Профессор. Потому что вы слышали не то, что она говорила, а лишь то, что переводил наш электронный мозг. Отсюда впечатление, будто она говорила по-нашему. Юноша, прошу записать: «Контакт с homo gusticus orionensis, или с человеком сельским орионским». И эти незнакомые выражения тоже. Вы их помните?

Хыбек (*пишет*). Да. Галенты и пштемощь. Это, должно быть, птица, размером, наверно, со слона. А что могут означать «галенты»?

Профессор. Может быть, местные хулиганы? Жаль, жаль яиц.

Хыбек. Надо было выключить, как я советовал. Тогда остались бы.

Профессор. Нет, так не годится. Вы кончили, Хыбек?

Хыбек. Да, пан профессор.

Профессор. Хорошо. Совершим второй полет. Нашей целью будет солнце из созвездия Стрельца, в самом центре Галактики. Я только установлю прицельник... Готово, внимание!

Хыбек. Пан профессор, а нельзя ли так установить прицельник, чтобы войти в контакт с существами более образованными?

Профессор. К сожалению, это невозможно. Капацитроны заряжены, движемся!

Эффекты. Появляется что-то вроде очень странного, низкого стола. В нем отверстия, в каждом сидит один каленусец. Всего их трое. Они смотрят друг на друга. Столеишица между ними покрыта богатым узором. Кроме того, в ней находятся различные, пока закрытые клапаны. Каленусцы похожи на людей, совершенно лысы, на этих лысынах могут быть различные элементы: например, дополнительные уши, носы или антенны.

1-й к а л е н у с е ц. Коллеги, поступили новые сведения с мест. Послушайте! В Северном полушарии катастрофически повысился уровень благосостояния. Есть многочисленные жертвы. Бюро прогнозов предупреждает, что возможен дальнейший, угрожающий рост жизненного уровня. Или вот еще: работники Министерства Блаженства во время очередной облавы в лесах обнаружили скопление индивидуумов, питающихся кореньями. По их словам, они сбежали от цивилизации, поскольку им было так хорошо, что они не могли выдержать. Что вы на это скажете?

2-й к а л е н у с е ц. Действительно, серьезное положение.

3-й к а л е н у с е ц. А куда смотрит НАПУГАЛ? Где их обещанные вулканы?

1-й к а л е н у с е ц. Наверно, опять невыполнение?

2-й к а л е н у с е ц. Снижение выпуска продукции, говорите? Сейчас узнаем. Алло, прошу соединить с НАПУГАЛОм! Это Наивысшая Палата Ужасов и Галлюцинаций? Говорит тайный МЕЖВЕЖЖОКОТ. Что? Не слышно? Тайный Межведомственный Комитет Конструктивных Тревог, говорю... Да, алло! Где там Главный инженер? Давайте его сюда!

1-й каленусец нажимает кнопку. В столе открывается клапан, из него вылезает голова Инженера.

1-й к а л е н у с е ц. Инженер, что там с вашим новым объектом?

Г о л о в а. Вы имеете в виду вулкан?

1-й к а л е н у с е ц. Да. Он действует?

Г о л о в а. Он сейчас в стадии пробного запуска...

1-й к а л е н у с е ц. У нас есть другие сведения.

Г о л о в а. Были объективные трудности. Лава не хотела течь.

1-й к а л е н у с е ц. Почему?

Г о л о в а. Кратер засорился.

1-й к а л е н у с е ц. Кратер, говорите, засорился? И что? Почему не прочистили? Я за вас должен это делать? Не знаете, что происходит? У меня тут сообщения с мест. Наступило резкое повышение жизненного уровня. Отмечаются многочисленные случаи благоденств... Вы слышите?

Г о л о в а. Слышу.

1-й к а л е н у с е ц. И что? Жизненный уровень повышается, благоденствие свирепствует, а вы мне тут бормочете про объективные трудности? Немедленно запустить вулканы в серийное производство, ясно? Искусственные наводнения,

искусственные взрывы вулканов, землетрясения — вот что сегодня нужно больше всего. Мы чувствуем колоссальную недостачу опасностей, да и страхов маловато. Рынок переживает недоограждение! Лозунг дня: больше стихийных бедствий для масс! Только так возродится дух самопожертвования, надежда на лучшее завтра, героизм и всеобщая молодцеватость. Ясно?

Г о л о в а. Ясно.

1-й к а л е н у с е ц. Ну! Привет!

Голова исчезает, клапан захлопывается.

2-й к а л е н у с е ц. Ну и работает этот НАПУГАЛ! Их последнее наводнение было чистой воды посмешищем...

3-й к а л е н у с е ц. А что делает ВЫПУГАЛ?

1-й к а л е н у с е ц. Послушаем. Алло, соедините меня с Высшей Палатой Универсально-Глобального Амбулаторного Лечения. Алло! ВЫПУГАЛ? Тайный МЕЖВЕДКОКОТ. Есть там кто-нибудь из правления? Включите его на меня.

Нажимает кнопку, открывается клапан, появляется 2-я г о л о в а.

Как дела, Доктор?

2-я г о л о в а. Скверно, господин председатель! Наши работники спешат к жертвам благоденствия днем и ночью, но в последнее время участились несчастные случаи, вызванные катастрофическим отблаженческим убегаем. Эту опасную болезнь можно победить только более интенсивным ухудшением или затруднением жизни...

1-й к а л е н у с е ц. Но, Доктор, зачем вы рассказываете нам вещи, которые знает любой ребенок? Я спрашиваю, что вы делаете?

2-я г о л о в а. Применяем широкую гамму медицинских процедур. Более легкие случаи вылечиваем на дому или амбулаторно, а индивидуумов, особо впечатлительных к тяготам благосостояния, изолируем в наших ужасальницах.

1-й к а л е н у с е ц. А почему население бежит в леса?

2-я г о л о в а. Проявление достойной сожаления темноты. Кроме того, мы получаем слишком мало индивидуальных медикаментов. Раздражильники, кошмарники и череподавилки, имеющиеся в продаже, — это старые, малоэффективные модели...

1-й к а л е н у с е ц. Так сделайте соответствующую заявку в Ведомство. Привет!

2-я голова исчезает, клапан захлопывается.

Коллеги, надо действовать! До сих пор Тайный МЕЖВЕД-КОКОТ охватывал только НАПУГАЛ и ВЫПУГАЛ. Теперь настала необходимость включить в дело Министерство Изменных Инстинктов и Центр Кошмаров и Видений. Есть предложения?

2-й к а л е н у с е ц. Я считаю, вместо того чтобы дискутировать, мы должны как можно скорее слиться. А то мы до утра ничего не разработаем.

1-й к а л е н у с е ц. Согласен. Коллеги, сливаемся!

3-й к а л е н у с е ц. Под столом или над столом?

Вытаскивает откуда-то гибкую трубку, один ее конец приставляет к голове 2-го каленуса, а другой — себе ко лбу.

Профессор. Господа, простите, пожалуйста! Мне кажется, вы жители планеты Каленусии...

1-й к а л е н у с е ц. Не мешайте! Совещание! Евфрозий, я еще не чувствую твоего сознания.

Профессор. Простите, господа, речь идет о деле величайшего значения. Мы прибыли к вам весьма необычным способом, чтобы вступить с вами в контакт от лица разумной расы, населяющей далекий звездный мир...

2-й к а л е н у с е ц. Что он там плетет? Выключайтесь, а то я вас... ух как напугаю!

Профессор. Господа, уверяю вас, вы имеете дело с жителями далекой планеты, которые благодаря новому изобретению...

1-й к а л е н у с е ц. Не хочет отставать! Кто это?

2-й к а л е н у с е ц. Это тип с Земли, о котором нам говорили вчера. Он построил первый телетактор на кустарных элементах и возомнил о себе Бог весть что...

Профессор. Но, господа, мы в качестве, так сказать, соседей по Млечному Пути...

1-й к а л е н у с е ц. С Земли... Земля... Земля... А, вспомнил! Это такая сморщенная скорлупка, залитая водой, замерзшая с двух концов, в самом диком уголке Галактики...

3-й к а л е н у с е ц. Она самая! У Космоса тоже есть свои забитые досками провинции. Эй вы, там, выключайтесь! Нам не о чем говорить!

Профессор. Господа, мы жаждем с вами связаться от имени науки и человечества!

2-й к а л е н у с е ц. Настойчив, как старый робот. Послушайте, вы знаете с кем разговариваете? Вы восемьсот тысяч лет как вылезли из пещер, и уже вам нужны космические контакты? Между нами и вами разница в сорок миллионов лет. Понимаете? Развивайтесь следующие тридцать

девять миллионов, тогда поболтаем, а сейчас прошу выключаться.

Профессор. Но наше эпохальное изобретение...

1-й каленусец. Нет, это неслыханно! Господин волосатый, ваше изобретение у нас что-то вроде игрушки: таким способом у нас путешествуют детишки в люльках.

2-й каленусец. Это электронные люльки.

3-й каленусец. А детишки синтетические и телеуправляемые.

1-й каленусец. Ясно? О том, что вы собираетесь сюда влезть и надоедать, мы знали уже три недели назад.

Профессор. Это невозможно!

2-й каленусец. Не верит!

3-й каленусец. Может быть, дать ему нюхнуть антиматерии?

1-й каленусец. Не надо. Попробуем по-хорошему. *(В микрофон.)* Дайте сюда Малый Мозг.

Сбоку выдвигается что-то вроде стены, представляющей собой электронный мозг. Стена может походить на гротескное лицо; различные циферблаты, огни, динамики и т.п.

Сообщи последние сведения с Земли.

Мозг. Как доносит Каленусианское Космическое Агентство, некий Тарантога, представитель слаборазвитой расы существ недомыслящих, домашним способом уже три недели строит первый земной телетактор. Электронная Комиссия по Делах Слаборазвитых Планет обсудила три возможности. Первая: возвратить указанного Тарантогу в эмбриональную стадию. Вторая: ликвидировать Солнечную систему со всеми планетами и Землей. Третья: не делать ничего. По предложению электронного стратега оперативной группы принято третье предложение. Наш корреспондент с Юпитера сообщает: «На Земле родился ребенок, который на двадцатом году жизни, вероятно, откроет формулу Галараманаса и общую теорию пересадки из сознания в сознание...»

1-й каленусец. Достаточно.

Мозг отодвигается и исчезает.

Профессор. Господа, прошу вас только об одном! Скажите, где родился этот ребенок!

1-й каленусец. Это совершенно секретное сообщение. Прощайте, господин волосатый!

Профессор. Но, господа, так нельзя. Ведь...

2-й каленусец. Ничего не поделаешь. Подайте мне череподавилку!

В столе открывается клапан, рука подает череподавилку.

Хыбек. Господин профессор, я должен их атаковать?

Профессор. Нет. Соблюдайте спокойствие!

Хыбек. Господин профессор, он целится!

Профессор выключает аппарат. Немного дыма, может быть вспышка, и все исчезает.

Как это записать, господин профессор? Встреча с расой чересчур развитой?

Профессор. Может быть, она была и развитой, но невоспитанной. Как он меня называл? «Господин волосатый»?

Хыбек. Интересно, что даже в Космосе встречаются хамы. Сейчас, я только закончу запись. «Глухая галактическая провинция, забитая досками». Вот, пожалуйста! Космическая крестьянка и то лучше. Но что они делали? Зачем им искусственные вулканы и череподавилки?

Профессор. Кажется, они страдают от чрезмерного благосостояния и таким образом пытаются хоть немного его уменьшить. Увы, этой проблемы мы понять не в состоянии. Капацитроны заряжены, можно лететь. Внимание! Наша цель — землеподобная планета в созвездии Большой Медведицы.

Звуковые, световые эффекты. Тишина. Появляется участок оплавленных руин, рядом лежит большой металлический шар. Около него Р о б о т с квадратной головой. У головы есть крышка.

IV

Р о б о т. Татата-татата-татата-тата. Татата-татата-тата-тата. Нет, тут нужна, пожалуй, концовка поэнергичней. Интересно, ничего в голову не приходит. Попробуем по-другому... (*Открывает крышку на голове, вынимает лампу, вставляет другую, закрывает голову.*)

Татата-татата-цветы.

Татата-татата-винты.

Цветы-винты. Это уже что-то. Гораздо лучше...

Профессор. Простите...

Р о б о т. Татата... Что? А, человек!

Профессор. Действительно. А вы, кажется, Робот здешних мест. Не правда ли?

Р о б о т. Я? Робот? Ничего себе! Я — Электронный Стратегический Мозг Первого Класса для Комбинированных Операций на Земле, в Небесах и на Море. Трижды засыпанный,

дважды полностью сожженный и собранный заново, неоднократно отмеченный за доведение океанов неприятеля до кипения, а также всеобщее заражение атмосферы. Сейчас, ввиду отсутствия другого занятия, занимаюсь искусством...

Профессор. Искусством? Вот как... И что вы делаете?

Робот. Стихи сочиняю. Я делал это и раньше, между бомбардировками, и вечно не хватало времени, чтобы отшлифовать форму. Я как раз сочинял элегию. Желаете послушать?

Профессор. С удовольствием, немного позже. А не могли бы мы перед этим встретиться с кем-нибудь из жителей планеты?

Робот. С какими жителями?

Профессор. Ну, хм, с живыми...

Робот. С живыми? С человеком? Но их, увы, уже нет. Впрочем, вас тоже нет. Хотя мне кажется, что вас двое, но это невозможно.

Профессор. Почему вы считаете, что нас нет?

Робот. Потому что вы — галлюцинация. У меня это время от времени бывает, так что я в этом разбираюсь. Такое у меня началось после третьей контузии.

Профессор. Нет, уверяю вас, мы действительно тут.

Робот. А, каждая галлюцинация так говорит. Не утруждайтесь. То, что вас нет, несколько не мешает. Я все равно могу вам продекламировать. Уж лучше такие слушатели, чем никаких.

Профессор. Мы охотно послушаем, но чуть позже. Вначале мы хотели бы...

Робот. Через минуту может быть поздно.

Профессор. Почему?

Робот. Чего ради я стану объясняться с галлюцинацией. Слушайте! Элегия о судьбе роботов под названием «Сиротская доля».

Утром росистым брожу по полянам.
В рощах зеленых стоит тишина,
Кочки болотные скрыты туманом,
Ветер тоскливо поет над курганом...
Мне же судьба сироты суждена...

Реки взбухают, и льды торосятся,
Белки хвосты распушили свои,
Вон головастики в лужах резвятся...
А у меня только линзы искрятся.
И даже сны проржавели мои.

Сосны да ели, липы да буки...
Дятел в лесу не устанет стучать...
Мне же достались вечные муки
Жизни железной. Даже без скуки:
Ведь не умеют диоды скучать!

Птичкой хотел бы я в небо взметнуться
Или лягушкой зеленою стать,
Рыбкою шустрою вдруг обернуться
Или личинкою в почву ввернуться..
Роботом жизнь мне дано коротать!

Нет, не заплачет никто над могилой,
Снег почернеет, увянут цветы...
Только роса, как слеза из глаз милой,
На конденсатор мой капнет уныло
И упадет на винты!..

Недурно, правда? Особенно окончание.

П р о ф е с с о р. Действительно, производит впечатление... Но, может быть, вы все-таки скажете, где ваше человечество?

Р о б о т. А его уже нет. Так что мне осталась только поэзия. Мой коллега, в смысле — антиколлега, в значительно худшем положении, бедняга. У него таланта — ни на грош!

П р о ф е с с о р. Антиколлега? Кто это?

Р о б о т. Стратегический Мозг противной стороны. Теперь-то он жалеет. А ведь я ему говорил, объяснял: «Не так, говорю, дотошно. Не до конца. Не всех сразу, а то будет... пшик!» А он: нет и нет. Дескать, это мой главный долг, мол, приказ командующего, а война — тотальная. Служака. И вот вам результат! Океаны испарились, материки затоплены или выжжены, ни одной стратегической цели. Обоюдная победа. И все от избытка патриотизма.

П р о ф е с с о р. Что вы говорите! Это же невысказано! Ужасно! Чудовищно!

Р о б о т. Совершенно с вами согласен. Уж эта мне скрупулезность! Надо было вовремя заключить мир, отстроилось бы то, другое, а там, глядишь, можно было бы начать сначала, — а так что? Приходится слагать элегии да сонеты. По правде говоря, они у меня уже вот где сидят!

П р о ф е с с о р. А ваш коллега?

Р о б о т. Вы хотели сказать, антиколлега? Ну что ж, некоторое время он еще пыжился, отдавал приказы, бомбардировал, но в конце концов сбавил тон. Иногда захаживает

ко мне, поигрываем в шахматешки. Что-то же надо делать. Может быть, вы играете в шахматы? Я бы охотно сменил партнера.

Профессор. Простите, но после того, что я услышал, невозможно сосредоточиться.

Робот. Жаль: я никогда не играл с галлюцинацией. Все-таки хоть какое-то разнообразие. Эх, паскудная доля! *(Встает, со скрипом потягивается.)* Ужасно ноет в суставах. Это от влаги, от испарившихся океанов... *(Подходит к шару и начинает слегка постукивать по нему ногой.)*

Профессор. Это что?

Робот. Супербомба. Оставил себе одну на память. Правда, я так и не знаю точно: а может, и она — моя галлюцинация. Увлекательная проблема, правда? Тут я однажды пытался ее разрешить...

Профессор. А может, вам лучше ее не трогать? А как вы пытались?

Робот *(поднимает с земли отломанную рукоятку).* Потянул за взрыватель, а он оторвался. Совершенно проржавел от влаги. Хотя, может быть, это тоже только иллюзия? Есть у меня одна мыслишка. Попробую по-другому... *(Начинает сильнее бить по шару.)*

Профессор. Прошу вас! Не делайте этого!

Робот *(переставая стучать).* А то что?

Профессор. Бомба может взорваться.

Робот. Скорее всего, нет. Я вижу ее так же четко, как вас, а вас-то ведь нет. Значит, и ее нет.

Профессор. Но она есть! Есть! Клянусь вам, есть!

Робот *(на минуту переставая стучать).* Это вы так говорите. С логической точки зрения это ошибка. То, что одна галлюцинация говорит о другой галлюцинации, не имеет никакого значения. Я могу спокойно попытаться... *(Стучит сильнее, бомба начинает дымить.)*

Хыбек. Господин профессор, бежим!

Профессор. Дорогой робот, уверяю вас, что, как пришельцы с Земли, мы...

Робот стучит изо всех сил, бомба дымится.

Хыбек. Бежим! Скорее!

Бросаются к выключателю. В этот момент — вспышка, дым, грохот. Когда дым рассеивается, оба, Хыбек и Тарантога, лежат под столом.

Профессор. Что это было?

Хыбек. Ну, кажется, я цел... А где робот?

Профессор. Я вовремя успел выключить! Я думаю...

Хыбек. О чем?

Профессор. Может быть, на сегодня хватит?

Хыбек. О, господин профессор, попытаемся еще раз! В конце концов мы найдем, наверно, планету, жители которой уделят нам малую толику своих изобретений и научных открытий. Какой это будет триумф!

Профессор. Ну и энтузиаст же вы, юноша. Не сдаетесь так легко, да? Ну, будь по-вашему, летим, но только в последний раз... (*Садятся. Профессор проверяет кабели.*) Аппаратура действует прекрасно. Наша цель — Крабовидная туманность. Внимание!

V

Появляется белый ящик величиной с холодильник, в нем окошко, в котором видна женская головка. Прелестная, оригинальная прическа, исключительной красоты лицо.

Голова (*мелодично*). Приветствую вас на Грелирандрии. Я — старшая звездная космического порта нашей планеты. Сюда направляют всех путешественников, прибывающих с иных солнечных систем при помощи таких приспособлений, как то, которым воспользовались вы. Какое время суток сейчас на вашей планете, в том месте, в котором вы находитесь?

Профессор. Вечер.

Голова. Следовательно, добрый вечер, дорогие гости. Чем можем служить?

Профессор. Мы — в системе Крабовидной туманности?

Голова. Как нельзя более!

Профессор. Можем мы задать вам вопрос?

Голова. Не только вопрос, вы можете выражать желания, которые мы исполним по мере сил и возможностей. Именно для этого я здесь сижу.

Профессор. Кто вы?

Голова. Я — невидимый автомат для исполнения желаний наших дорогих гостей из Космоса.

Профессор. А вы не ошиблись? Я вас прекрасно вижу, как, впрочем, и этот... шкафчик, в котором вы находитесь...

Голова. Иллюзия, дорогие гости. Вы видите не меня, а такой образ женской красоты, который является вашим идеалом.

Профессор. Ах, вот как? Эх-м, м-хм! А... простите... этот шкафчик, он что, тоже не существует?

Голова. Нет. Он существует лишь в виде пучка электромагнитной энергии. Все остальное — иллюзия, созданная

для удобства наших гостей. Никакого шкафчика нет. Поскольку я могу свободно зондировать ваш мозг, я вижу, что последнее время вы раздумывали, не купить ли холодильник. Видимо, этим и объясняется ваша фата-моргана. Чем еще могу служить?

Хыбек. Скажите, могли бы мы встретиться с кем-нибудь из ваших ученых?

Голова. Ну разумеется. Сию минуту. Извольте пройти дальше.

Шкафчик и голова исчезают, слышны звуки, похожие на шум движущегося лифта. Загорается длинная стрелка. Тарантога и Хыбек выходят.

Лаборатория. Несколько странных приборов, но в общем-то довольно пусто. По обе стороны сцены стоят два шкафчика порядочных размеров. При желании их можно принять за лифты. У каждого дверь, выходящая в зал, рядом с дверями — большие кнопки, как у лифта. Когда эти кнопки нажимают, слышен странный звук, а над шкафчиком загорается что-то вроде рефлектора-электронагревателя — антенна, направленная к такой же антенне противоположного шкафчика. Кроме того, задние стенки шкафчика должны открываться, чтобы актеры могли оттуда выходить. Фон произвольный, например, черный занавес. У каждого шкафчика стоит ученый. Стало быть, их двое. Оба в халатах. Нечеловеческие, странные физиономии.

Ученый I. Ну как? Попробуем еще раз?

Ученый II. Сейчас. Сначала надо покончить с Панкратием. *(Открывает шкафчик, в нем — скелет.)* Помогите мне.

Выносят скелет и кладут в сторонке.

Ученый I. Неприятная история с этим Панкратием, верно?

Ученый II. Что делать. Наука требует жертв. Где следующая?

Ученый I. Уже ждет. *(Кричит в сторону кулис.)* Алло! Давай!

Входит женщина. Ученый I провожает ее к первому шкафчику, закрывает за ней дверь, нажимает кнопку.

Ученый II. Ну?

Ученый I *(открывает дверь, шкафчик пуст).* Уже распалась. Можешь включать.

Ученый II нажимает кнопку своего шкафчика, открывает дверь, выходит женщина, одетая так же, как первая, только ниже ростом.

Ученый II. Опять разница!

Ученый I. Минимальная.

Ученый II. Ну, знаешь! Будут рекламации! Присмотришь к ее лицу. Кроме того, она ниже ростом.

Ученый I. Электромагнитное сжатие. Эффект Доплера.

Ученый II. Так не годится. Ты проверял контуры?

Ученый I. Проверял. Попробуем теперь наоборот. Ладно?

Ученый II. Ладно.

Снова вводят женщину в шкафчик, нажимают кнопку. Звонки, свет, как при каждом нажатии. Из шкафчика первого ученого выходит третья женщина, еще ниже ростом, чем предыдущие.

Ученый I. Еще больше сократилась! Что делать?

Ученый II. Придется применить усилитель. Пойдем, поможешь принести.

Оба выходят. Входят Тарантога и Хыбек.

Хыбек. Послушайте! Будьте любезны!

Женщина уходит. Хыбек бежит за ней, возвращается один.

Куда-то исчезла. Странные порядки. Эй, там! Никого...

Тарантога. Кажется, мы заблудились...

Хыбек. А это что? *(Открывает шкафчик.)* Ага! Профессор! Лифт!

Тарантога. Вы так думаете?

Хыбек. Наверняка лифт. *(Исследует шкафчик изнутри.)* Но внутри нет кнопок. *(Находит кнопку рядом с дверью.)* О, тут есть. Я сяду, вы нажмите. Я поеду первым, а вы за мной.

Тарантога. А кто нажмет мне?

Хыбек. Я могу снова спуститься и нажать. Спущусь по лестнице.

Тарантога. Разве что так.

Хыбек. Профессор, мы зря теряем время! *(Входит в шкафчик. Закрывает дверь.)*

Тарантога *(нажимает кнопку. Звук, свет)*. Что это? Кажется, я совершил глупость... Хыбек! *(Открывает дверь. Пусто.)* Странно. Лифт стоит, а Хыбека нет. Хыбек! Господин магистр! *(Нажимает кнопку второй раз.)*

Входят оба Ученых, несут усилитель, увидев Тарантогу, ставят его на пол.

Господа! Хорошо, что вы пришли! Кажется, лифт испортился.

Ученый I. Какой лифт?

Ученый II. Как вы тут очутились?

Тарантога. Мы пришли с магистром Хыбеком оттуда...

Он поехал первым наверх. На этом лифте...

Ученый I. Это не лифт.

Тарантога. Нет? А что?

Ученый I. Телепортер.

Тарантога. Не понимаю. Так где же все-таки Хыбек?

Ученый I. Вы нажимали кнопку?

Тарантога. Да.

Ученый I. Ну, стало быть, вашего друга уже нет.

Тарантога. Нет? Вы шутите!

Ученый I. Ни Боже мой.

Ученый II. Досадно, конечно, однако на двери этой комнаты есть табличка: «Не входить».

Тарантога. Одна молодая особа сказала, чтобы мы вошли... Но что с Хыбеком, ради Бога?..

Ученый II. Мы исследуем проблему пересылки по радио живых существ с места на место. Это передатчик...

Ученый I. А это приемник...

Ученый II. Если вы действительно нажали кнопку, то ваш друг уже разложен на атомы...

Ученый I. Да, но прошу не принимать этого близко к сердцу.

Тарантога. Боже! Я разложил Хыбека на атомы и должен не принимать этого близко к сердцу?!

Ученый I. Конечно. Сейчас ваш коллега появится в приемнике. Орибазий, будь любезен...

Ученый II. С усилителем или без?

Ученый I. А я знаю? Пусть будет без.

Нажимает кнопку. Из второго шкафчика по очереди выходят два Хыбека.

Хыбек I. Странная история, это, кажется, не лифт.

Хыбек II. У меня в голове закружилось, а потом я словно уснул.

Хыбек I и Хыбек II (вместе). Профессор! (Глядят друг на друга.) Вы кто?

Хыбек II. Хыбек.

Хыбек I. Хыбек.

Говорят это автоматически. Потом удивляются.

Простите, как вы сказали?

Хыбек II. Я сказал: Хыбек. А что?

Хыбек I. Ничего. Только Хыбек — это я. Магистр Хыбек.

Хыбек II. Но не Януш. Януш — я.

Хыбек I. Ничего подобного. Я.

Хыбек II. Тоже мне! Откуда вы тут взялись?

Хыбек I. Пришел с профессором.

Хыбек II. Неправда. С профессором пришел я! Профессор!

Хыбек I. Профессор!

Тарантога. Мне кажется, я схожу с ума.

Ученый I. Сколько раз вы нажали кнопку?

Тарантога. Раз. Ага, и потом еще раз. А разве это имеет какое-нибудь значение?

Ученый I. Разумеется. Вы дважды передали своего коллегу. Дважды, понимаете? Вот и все.

Тарантога. Дважды? Что значит дважды? Так который же из них Хыбек?

Ученый I. Оба. Это ваш друг дважды.

Хыбек I. Что он говорит?

Хыбек II. Это невозможно! У меня есть удостоверение личности!

Хыбек I. У меня тоже! Есть только один магистр Хыбек. Я!

Хыбек II. Ничего подобного. Хыбек — это я!

Смотрят друг на друга враждебно.

Тарантога (к Ученым). Господа! Не стойте так, сделайте что-нибудь! Как это могло случиться?

Ученый II. Очень просто. Вы дважды выслали одну атомную схему. Вы сделали дублет.

Хыбек I. Довольно! Профессор, идемте к директору!

Хыбек II. Идемте. Только я с профессором, а не вы!

Начинают препираться.

Голоса Хыбеков. Отстань!

— Только без рук!

— Вы об этом еще пожалеете!

— Бесстыдник!

— Хам!

Ученый I. Господа! Успокойтесь! Успокойтесь!!! Сейчас мы все приведем в порядок. (Начинает вталкивать их в шкафчик.)

Хыбек I. Что, еще раз? Нет уж, спасибо!

Хыбек II. Почему я? Пусть он войдет!

Ученый I. Вы должны войти оба! Оба! Орибазий, помоги мне!

Ученые вталкивают Хыбеков в шкафчик. В суматохе Ученый II, или Орибазий, попадает в шкафчик с обоими Хыбеками. Слышны голоса: «Не толкайтесь!», «Ой! Нога!», «Ну, что там еще?», «Я не согласен!» Наконец Ученый I захлопывает дверь и нажимает кнопку.

Ученый I. Уфф! Наконец-то.

Тарантога. И что теперь будет?

Ученый I. Порядок будет. Мой коллега включит телепортер. Сейчас. Орибазий? Куда он подевался?

Тарантога (*показывает на шкафчик*). Туда. Вы его сами втолкнули.

Ученый I. Не может быть! Это точно?! (*Открывает. Шкафчик пуст.*) Хм. Ну, это не так страшно... только надо как следует отрегулировать. Да, скажите, у вашего коллеги нет искусственной челюсти или мостика?

Тарантога. Не знаю. А разве это имеет какое-нибудь значение?

Ученый I. Конечно. Мостик вызывает помехи. На всякий случай немного отойдите.

Тарантога. А что, может быть взрыв?

Ученый I. Нет, просто Орибазий не любит телепортации и может немного... покричать. После передачи он долго не может успокоиться. Внимание!

Нажимает кнопку. Из второго шкафа вываливаются Хыбек и Ученый II. Они срослись между собой, на них соответствующим образом сшитый костюм.

Ученый II. Эвтаназий! Ты — подлец! Ты что, спятил, что ли? Зачем ты меня выслал? Смотри, что произошло! (*Рвется к нему.*)

Хыбек. Что такое? Перестаньте меня дергать!

Ученый II. Я тебе покажу, как телепортировать коллег!

Хыбек. Отцепитесь от меня!

Ученый II. Не могу! Не видите, что ли? Мы срослись!

Хыбек. Я протестую!

Ученый I. Господа, не нервничайте! Все наладится. Я пропущу вас сквозь селекционный фильтр.

Ученый II. Как же, наладится! Этот фильтр ни к черту!

Хыбек. Не дергайтесь так, у меня голова мотается, как на веревочке.

Ученый I. Войдите туда, прошу вас, войдите. Ну, войдите еще раз. Сейчас мы это исправим.

Ученый II. Не хочу.

Ученый I. Но, Орибазий...

Ученый II. А если не получится?

Ученый I. Получится, получится...

Ученый II (*обращается к Хыбеку*). Не толкайтесь!

Хыбек. Это вы толкаетесь! Ой! Осторожнее! (*Входят.*)

Ученый I. Господа!

Ученый II. Посчитаемся потом!

Ученый I нажимает кнопку.

Тарантога. И долго еще это протянется?

Ученый I. Уважаемый, эта техника в зачаточном состоянии. Ошибки неизбежны. Но у нее огромное будущее! Согласитесь: какое удобство в путешествиях!

Тарантога. А их сейчас действительно нигде нет?

Ученый I. Можете убедиться сами. Прошу! (*Открывает дверь, шкафчик пуст.*)

Тарантога. Так где же они?

Ученый I. Превратились в пучок радиоволн, плывущих с этой антенны к той. (*Смотрит на часы.*) О, уже поздно! Мне пора на обед. Отступите немного — включаю...

Ученый I нажимает кнопку. Звук. Свет. Из шкафчика медленно выходит Хыбек. Один. Мина самоуверенного идиота.

Прекрасно. Но где Орибазий? Орибазий! Где ты? (*Заглядывает в шкафчик.*)

Тарантога. Как вы себя чувствуете, Хыбек?

Ученый I. Нет его! Что такое? Ни следа... А! Пожалуйста! (*Вынимает что-то из шкафчика.*) Видите? Пряжки от помочей! От Орибазия передались только пряжки! Остальное не передалось. Затухание.

Тарантога. Какое затухание?

Ученый I. Обычный фединг, замирание радиоволн. Вы не слышали о фединге?

Тарантога. Ужас какой-то! И как вы теперь поступите?

Ученый I (*снимает халат*). Я? Пойду обедать. В нашей столовке совсем недурно кормят...

Тарантога. Как! А ваш коллега?

Ученый I. Он только тормозил развитие исследований.

Хыбек, который с момента выхода из шкафа имел мину вполне довольного собою человека и делал себе маникюр перочинным ножичком, теперь плюет на ладонь, приглаживает волосы и наступает на ногу Ученому I.

Ученый I. Простите.

Хыбек (*спокойно, решительно*). Вы из Бохни?

Ученый I. Как, простите? Не понял.

Хыбек (доверительно, с чувством). А по заднице хочешь?

Тарантога. Но, господин магистр!

Ученый I. Сейчас... Кажется, были помехи.

Хыбек. Веселый разговор.

Тарантога. Коллега Хыбек, что с вами...

Хыбек. Во, блин!

Ученый бегом приносит Протез Психики и надевает его Хыбеку на голову. Это нечто вроде шлема с линзой и кабелем; Ученый I включает его в настенную розетку и манипулирует Протезом.

Тарантога. А это что такое?

Ученый I. ПРОПС. Сейчас подстроим. (Крутит.)

Хыбек. Вы знаете Крупку?

Ученый I. Нет, еще не то...

Хыбек. Жаль. А то я бы вам рассказал шуточку...

Тарантога. Что с ним?!

Ученый I. Помехи. Затухание. Тут... (Показывает на голову Хыбека.) Ну, а сейчас как?

Хыбек. Марысенка...

Ученый I. Что за Марысенка?

Хыбек. Так, есть одна. Ничего!

Ученый I. Еще не то. А теперь?

Хыбек. Одолжите сотняжку. Я отдам с полочки.

Ученый I. Кажется, немного получше... (Крутит.)

Тарантога. Что вы, собственно, делаете?

Ученый I. Произошла атрофия интеллекта, так я подгоняю ему Протез Психики. Сокращенно ПРОПС.

Хыбек. Господа! Что за горшок вы напялили мне на голову?

Ученый I. О! О! Пожалуйста!

Хыбек. Извольте сейчас же забрать!

Ученый I. Прелестно! Превосходно! Сколько будет восемьдесят шесть на тридцать четыре?

Хыбек. Смотрите, как бы я не стал вас учить математике!

Ученый I. Чуть многовато агрессивности... минуточку... Модуляторчик... готово...

Хыбек. Что вы, собственно, о себе вообразили? Вы знаете, кто я?

Ученый I. Порядок. Лучше не будет. Ваш коллега оптимально спротезирован. Прошу больше не подкручивать усилитель интеллекта, иначе ваш друг примется делать открытия и изобретения в массовом порядке. А если он неужи-

данно поглупеет, подключите его к розетке, лучше всего на ночь, чтобы подзарядился. Вот штекер. Я кладу ему в карман, видите?

Хыбек. Какой штекер? И вообще, что все это значит? Профессор!

Тарантога. Ничего, ничего! Так надо, дорогой мой... (К Ученому.) Как нам попасть в дирекцию?

Ученый I. Идите за мной. Я вас провожу. Я иду в столовую, нам по пути.

Тарантога. Это нормальные двери? Не телепортер?

Ученый I. Нормальные, нормальные... Идите. (Хыбеку.) Осторожнее, а то у вас протез упадет! (Выходит.)

Входит уборщица. Начинает уборку. Ставит цветку рядом со шкафом, опирая ее о кнопку. Звук, свет. Из шкафа вылетает Ученый II, без пиджака, брюки поддерживает руками.

Ученый II. Эвтаназий! Где этот стервец! Где он!

Уборщица не обращает внимания. Ученый II убегает со сцены. Темнота.

Кабинет Директора Института Грелирандрии. Директор — молодой человек — за столом. За ним большой экран, на котором будут проецироваться различные надписи. Рядом — большое окно, через которое влезет быгонь. На столе микрофоны, кнопки, клавиши и т.п. Два кресла.

Входят Хыбек с ПРОПСом на голове и Тарантога.

Директор. Приветствую вас, господа! Присаживайтесь, пожалуйста! Мне уже звонили... Кажется, произошло недоразумение?

Тарантога. Ничего страшного. Мы не помешали?

Директор. Что вы! Прошу вас, садитесь, садитесь. Я — Директор института по науке. А вы, кажется, с Земли? Стало быть, вы — млекопитающие, не так ли?

Тарантога. Действительно...

Директор. По сему случаю прошу попробовать. (Подает баночку.) Прошу вас, смелее, это наши пилюли для млекопитающих, прелесть...

Тарантога. Благодарю...

Директор. Надеюсь, маленькое недоразумение, случившееся в лаборатории, не нарушит наших сердечных отношений. Чем могу быть полезен?

Тарантога. Скажите, не могла бы развитая цивилизация вашей планеты помочь нашей, земной, науке?

Директор. Ну, конечно, конечно же! Помощь другим планетам — наша слабость! С чего бы начать?.. (Нажимает кнопку. Сбоку выдвигается поднос, на нем небольшие кону-

сы.) Это средство от быгоней. Радикальнейшее! Любой быгонь от такой дозы гибнет на месте.

Т а р а н т о г а. А что такое быгони?

Зуммер. На экране загорается надпись:

«ГРЕЗОРодные НАПИРАЮТ».

Д и р е к т о р (в микрофон). Алло! Семерка? Немедленно отогнать! Отогнать, говорю! Да. Пока все. (Профессору.) Ну, с быгонями покончено. Кроме того, мы можем предложить вам чудесный противозвездный препарат, запатентованный под названием антизвездол. Вот рекламный образец... Есть у нас и новые препараты для чистки летающих тарелок. Какое количество вы хотели бы взять? Одну ракету? Две?

Т а р а н т о г а. Нет, благодарим, вероятно, нам это не пригодится. Может быть, у вас найдется что-нибудь еще?

Зуммер. Надпись: «НАШЕСТВИЕ ЭМОРДАНОВ — СЕКТОР VI».

Д и р е к т о р. А, черт побери! Эморданы, хорошенькое дельце! (Нажимает кнопку. Надпись «СЕКТОР VI» гаснет, зато загораются слова «СЕКТОР XV» и «СЕКТОР XXV». Директор лихорадочно нажимает бесчисленные кнопки, одновременно кричит в микрофон.) Алло! Секция двойников?! Прошу немедленно затоплять сверху донизу! Да!

Надписи гаснут.

Эморданы в это время года — редкость. К счастью, у нас было еще несколько сотен гриташей... Да... Вы простите... Нас все время перебивают... Как там у вас с выхвостками? Тяжеловато? Догадываюсь. Это сущее бедствие! У меня на складе есть новейшие четвертолеты, с помощью которых вы раз и навсегда избавитесь от всех выхвостков. Вот модель... (Достает из ящика письменного стола и подает четвертолет.)

Т а р а н т о г а. Но простите...

Д и р е к т о р. Ничего, ничего. Не стоит благодарности. Межпланетная солидарность — прежде всего. Ну, а как дела с эмнегезами? Филуют? И часто?

Т а р а н т о г а. Собственно...

Появляется надпись: «КРАЛОФИКСИЯ».

Директор бросается к кнопкам.

Д и р е к т о р. Один момент... (Кричит в микрофон.) Внимание! Тревога первой степени! Запустить все костохраски!

Т а р а н т о г а. Что бы у него попросить? Может, средство от облысения?

Х ы б е к. Что-нибудь для долголетия, господин профессор!

Т а р а н т о г а. О, действительно!

Д и р е к т о р. Я вас слушаю...

Т а р а н т о г а. А... может быть, какое-нибудь средство для продления жизни?

Д и р е к т о р (*достает из ящика банку, полную больших пилюль*). Извольте. Абсолютно безотказное средство.

На экране надпись: «СУПЕРКРАЛОФИКСИЯ».

Одну минутку, господа... (*В микрофон.*) Тревога второй степени! Секция охлаждения! Немедленно дайте мне эту секцию! Что? Алло! Замораживайте всех ученых! Как? Нет, не штуками, целыми отделами! Гуманитариев в последнюю очередь! Последними, говорю! Быстро! (*Слышен отдаленный гул.*)

Т а р а н т о г а. Простите, что-нибудь случилось?

Д и р е к т о р. Да нет, ничего особенного. Просто средство предосторожности, кралофиксия всегда начинается с ученых, так что мы на всякий случай упаковываем их в наши подземные морозильники. О чем мы с вами говорили? Ах да. О средстве для долголетия? Этот препарат, так называемый двувечник жизнетропина, как видите, совершенно безопасен, принимать следует три раза в день в течение двух недель... Простите...

В комнату влетает Ученый I, за ним Ученый II с атомным излучателем.

У ч е н ы й I. Господин директор! Господин директор!

У ч е н ы й II. Директор тебе не поможет, стервец!

У ч е н ы й I. Не убивай меня! Я этого не перенешу!!!

Ученый II стреляет, Ученый I падает.

Д и р е к т о р. Фу, что за бесцеремонность! И вы, доктор, не могли сделать это у себя? Неужели вы не видите — у меня гости! Так надымили...

Ученый I лежа достает из кармана излучатель и в агонии стреляет. Ученый II тоже падает.

Нет, настоящий скандал! Простите, ради Бога... (*Вытаскивает за кулисы обоих мертвецов.*) Простите мне эту неприятную сцену...

Т а р а н т о г а. Но это ужасно! Они — мертвы?

Д и р е к т о р. В данный момент. Но у нас есть атомные схемы ученых, мы их воскресим. Другое дело, что они устраивают такие сцены по нескольку раз на неделе.

Т а р а н т о г а. Не может быть!

Д и р е к т о р. Темперамент ученых! В высокоразвитой цивилизации научные споры то и дело кончаются на атомном уровне. Так что я говорил? Да, значит, средство для продления жизни.

Слышен гром.

Не обращайтесь внимания, мы переживаем довольно трудный период, кажется... Ох!

Надпись: «БАЛБОЛИЗ».

Д и р е к т о р (в микрофон). Алло! Восьмая секция! Восьмерка! Дайте немедленно, алло! Почему ничего не слышно?

Надпись: «КАКАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЗРЫВОВ?»

Д и р е к т о р (в микрофон). Взрывайте все, что удастся. В любой последовательности, только быстрее! Давайте! Не тяните! (*Грохот.*) Ну наконец-то у нас будет минута покоя. (*Звонок.*) Алло? (*Тарантоге и Хыбеку.*) Сейчас мы поговорим. Алло? Размораживать поочередно. Всех, конечно, всех. Что? Лифты остановились? Тогда оставьте гуманитариев под конец, не горит! Дорогие господа, средство, которое вы видите, позволяет многократно продлить жизнь...

На экране надпись: «БЫГОНИ».

Простите; пожалуйста, вы можете одолжить мне средство, которое я только что вам подарил?

Т а р а н т о г а (подавая). Конечно...

Д и р е к т о р. Благодарю.

В окно просовывается голова быгоня. Директор кормит его с руки, быгонь ревет, умирает, голова исчезает.

Д и р е к т о р (сажая). Ну, как? Скажете, плохое средство? Алло? Пятая секция? Пришлите две дюжины коробок противобыгонного. Что? Секции нет? Почему взорвана? В спешке? Как это «в спешке»? Какое мне дело! Средство должно быть немедленно доставлено! У меня инопланетные гости... (*К ним.*) Уфф! Простите! Такие времена, что делать...

Слышны рычание и гул.

Т а р а н т о г а. Что, собственно, происходит у вас на планете?

Д и р е к т о р. А, ничего особенного. Эморданы, конделяки, быгони, кроме кралофиксии — ничего нового. Разве только то, что камчалы в последнее время начали нсмногo длинноусить.

Т а р а н т о г а. Это животные?

Д и р е к т о р. Ха-ха-ха! Что за мысль? От животных у нас уже давно и следа не осталось! Проще сказать, это неудачные побочные продукты нашего производства.

Т а р а н т о г а. Живые?

Д и р е к т о р. Конечно. У нас все живое.

Т а р а н т о г а. Не понимаю. Что значит — все?

Хыбек от скуки манипулирует с ПРОПСом. Появляется красивая девушка в эффектном платье. Эта особа представляет собою как бы воплощение мечты гимназиста о сексбомбе, о суперкинозвезде. Двигается, соблазнительно покачивая бедрами. Несколько раз проходит перед Хыбеком. Остальных присутствующих игнорирует. Понемногу начинает соблазнительно улыбаться, показывает ему ножку, наконец, принимается раздеваться. Хыбек вначале замирает в изумлении, потом расплывается в улыбке, поворачивает кресло, чтобы лучше видеть. Во время всей этой пантомимы Директор и Тарантога беседуют, словно ничего не происходит.

Д и р е к т о р. У нас и фабрики, и машины — все живое. Вот, например, несколько лет назад мы запустили инкубатор плавленных сырков. Производством руководил искусственный мозг. Такой мозг, как вы знаете, небезотказен... Он неожиданно разладился и начал производить быгоней. По ошибке, понимаете?

Т а р а н т о г а. Вместо сырков?

Д и р е к т о р. В определенном смысле. С конделяками была другая история...

Хыбек (*тихо, не спуская глаз со стриптиза*). Господин Директор, кто это?

Д и р е к т о р. Кто «кто»?

Хыбек (*показывая головой*). Эта дама...

Девушка продолжает раздеваться.

Т а р а н т о г а. Какая дама?! О чем вы, Хыбек? Тут никого нет!

Хыбек. То есть как нет, я же вижу...

Д и р е к т о р. Кого вы видите?

Хыбек. У вас что, глаз нет? Красивая девушка...

Д и р е к т о р (*встревоженно*). Красивая?

*Хыбек как лунатик встает и идет к ней.
Директор тащит его к креслу, сажает.*

Не будете ли вы так любезны поддержать коллегу?

Тарантога держит.

Хыбек. Не заслонять!

Директор бегом приносит несколько пробок и отвертку, лихорадочно возится с ПРОПСом. Достает перегоревшую пробку. Девушка продолжает раздеваться.

Директор. Конечно! Пожалуйста! Пробка перегорела... *(Показывает ее Тарантоге. После того как пробка вынута из ПРОПСа, девушка застывает, как статуя.)*

Хыбек *(обеспокоенный ее неподвижностью)*. Ну что там еще?

Директор вставляет ему другую, новую пробку. По мере того как он ее вкручивает, девушка быстро собирает свои вещи.

Простите! Подождите! Не уходите!

Директор. Что? Все еще? Ну, а сейчас? *(Докручивает пробку до конца. Девушка величественно уходит. Хыбек вскакивает, бежит за ней.)*

Тарантога. Что с ним?

Директор. Ерунда! Электрическая галлюцинация. Перегорели пробки.

Вбегает Хыбек

Хыбек. Ее нигде нет! Куда она подевалась?!

Директор. Это была иллюзия, дорогой мой. Электрическая иллюзия. Небольшой дефект в вашем ПРОПСе. Отдохните.

Хыбек. Эх, какая она была!

Директор. Может быть, еще одну пробочку?

Хыбек. Нет, благодарю.

Директор *(Тарантоге)*. На всякий случай я дам вам несколько запасных. И прошу следить, чтобы ваш товарищ не начал на собственный страх и риск манипулировать ПРОПСом! К несчастью, это большое искушение...

Тарантога. Значит, эти протезы легко выходят из строя?

Директор. Случается. Но чаще их портят сами хозяева. Умышленно.

Тарантога. Зачем?

Хыбек украдкой опять пытается что-то подкрутить на своем ПРОПСе.

Д и р е к т о р. Прекратите!

Хыбек испуганно отдергивает руку.

Видели? Увы! Это одна из основных проблем нашей цивилизации. Цивилизация требует разумности, и мы создали ПРОПСы... Однако при этом открылось широкое поле для разных злоупотреблений. В последнее время на черном рынке появились специальные, так называемые минусовые вкладыши для ПРОПСов. Они запрещены, но спрос огромен!

Т а р а н т о г а. Как они действуют?

Д и р е к т о р. Отрицательно, то есть уменьшают разумность! После включения за одну минуту человек превращается в абсолютного кретина! Божественное ощущение!

Т а р а н т о г а. Вы, наверно, шутите?

Д и р е к т о р. Что вы! Это общая мечта — хоть на часок, вечером, после ужина.

Т а р а н т о г а. Стать идиотом?! Невероятно! Кто захочет стать идиотом?!

Д и р е к т о р. Как кто? Каждый! Неужели вы не понимаете, сколь прекрасен мир кретина?

Т а р а н т о г а. Что вы говорите? Но это убожество духа...

Д и р е к т о р. Тоже мне! Какое убожество? По-вашему, кретин убог духом? Вы глубоко заблуждаетесь. Его душа — райские кущи, и за вход в эти кущи не платишь и гроша! Человек интеллигентный сначала намучается вдоволь, прежде чем найдет книгу, удовлетворяющую его, искусство, отвечающее его запросам, женщину, душа и тело которой находятся на требуемой им высоте. А кретин неразборчив, кретину все едино, лишь бы оно взволновало океан его воображения! Поэтому идиот всегда и всем доволен! Интеллигенту только бы улучшать, переделывать, исправлять, и то ему не так, и это плохо, а кретин доволен!

Т а р а н т о г а. Но ведь цивилизацию создал разум!

Д и р е к т о р. А это вы откуда взяли? Простите, кто начал создавать цивилизацию? Пещерный человек! Вы думаете, он был разумен? Что вы! Он-то и был идиотом, он не отдавал себе отчета в том, что творил! Цивилизацию зачинали именно идиоты, а разумные люди теперь возятся с последствиями, ломают себе головы, мучаются, как вот я за этим столом! А, кроме того... как скучны все эти модернистские повести, все эти антипьесы, антифильмы, но что делать, скучай не скучай, разум обязывает! Но... вечером, после работы, я надеваю себе такой малюсенький отрицательный протезик — вот он тут, в ящике, — и напеваю идиотские песенки о ручейке на лужайке, о том, что сердце мое разбито... и

плачу, и всхлипываю, и так мне хорошо... И ничего не стыжусь... Может быть, у вас случайно есть с собой какой-нибудь новый шлагер, а?

Т а р а н т о г а. Нет.

Д и р е к т о р. А жаль! Знакомые привозят с Земли, когда ездят туда. Ну, хватит об этом. Простите, заболтался! Так что же я хотел сказать? Ах да! Вы хотели получить средство для продления жизни?

Т а р а н т о г а. Вы уже изволили нам дать...

Д и р е к т о р. Да, правда... Вот тут — гарантия... Препарат продляет жизнь до сорока лет!

Т а р а н т о г а. На сорок?

Д и р е к т о р. Не НА, а ДО. ДО сорока!

Т а р а н т о г а. Как это ДО сорока? Мы живем дольше...

Д и р е к т о р. Не может быть?! Вероятно, у вас есть какое-то более сильное средство?

Т а р а н т о г а. Нет, вообще без средств. Так живем...

Д и р е к т о р. И долго?

Т а р а н т о г а. Бывает, что и до восьмидесяти, девяноста лет...

Д и р е к т о р. Феноменально! Я должен распорядиться, чтобы это проверили. Так... Что там еще? Ага, средство против облысения... Увы, господа, эту проблему мы еще не решили. Но после того как вы узнали о решении проблем быгоней, эморданов, грезородных, а также о методах соблюдения гигиены летающих тарелок, вы, я надеюсь, вернетесь из этой экспедиции на родную планету совершенно удовлетворенные! Счастливого пути и до свидания!

*Хыбек и Тарантога вновь оказываются на Земле,
в квартире Тарантоги.*

Х ы б е к. Сплавил нас.

П р о ф е с с о р. Вы так думаете?

Х ы б е к. Ясно. Маневр космической бюрократии. Отвертись. П-хе! Господин профессор, в следующий раз им это не удастся!

П р о ф е с с о р. В какой следующий раз?

Х ы б е к. А как же! Не можем же мы так... Располагая таким изобретением... Кроме того, я чувствую, что уже привыкаю. Просто надо быть увереннее. Не дадим себя сплавить. Наверно, у вас намечены еще какие-нибудь цели... Господин профессор...

П р о ф е с с о р. Даже и не знаю... Может быть, хватит на сегодня?

Х ы б е к. Что вы!

Профессор. Ну, тогда... ладно. Есть тут у меня на примете небесный объект, называемый NGC 687 дробь 43 по большому звездному каталогу Мессье. Это мне сообщил профессор Тромпка, астроном. Он предполагает, что наблюдаемые изменения светимости звезды вызваны искусственно.

Хыбек. Искусственно?

Профессор. Да. Это говорило бы о наличии цивилизации столь развитой, что ее функционеры по собственной воле уменьшают или увеличивают светимость родной звезды.

Хыбек. Так, как подкручивают фитиль керосинной лампы?

Профессор. Вот именно.

Хыбек. Так чего же мы ждем? Профессор, вперед!

Профессор. Ну-ну! Больше выдержки, юноша! Впрочем, в интересах науки можно попытаться. Приготовьте чистую бумагу и карандаш.

Хыбек. Я готов.

Профессор. Внимание, трогаемся!

VI

Звуки, световые эффекты, появляются звезды, какая-то большая туманность — в углу между шкафом и окном. Затем становится совершенно темно, и только слышны странные звуки. Потом на месте туманности возникает нагромождение белых абстрактных форм; они похожи на извилины головного мозга, но не слыты воедино, а разделены. Вместе они образуют нечто вроде странного огромного безглазого Л и к а, то есть провалы глаз и рот — как бы пустоты между элементами белой композиции.

Л и к (звук исходит неизвестно откуда, голос низкий, но мягкий; бас огромного, склонного к рассеянности добродушного существа). Взять... шесть квинтильонов звездного порошка... одну темную туманность... половину светлой... щепотку космической пыли... смешать... раскрутить... до появления спиральной лепешки. Хм, лепешка! Хорошая? Кто ее знает? Какой «кто»? Может, я? Хо-хо, большие трудности. Я? Да, я. Где? Вероятно, везде. И возможно, даже еще дальше. И все, и все еще я? Ничего больше, только я? О, что за бесконечность! Хм. Не очень подходит. Может, добавить пару белых карликов?

Хыбек. Кто это?

Профессор. Наверно, местное существо.

Хыбек. Сам себе читает кулинарные рецепты?

Профессор. Скорее всего, космические, что-то о звездах. Тише.

Л и к. Что я говорю? Шаровое или спиральное скопление?

Может, больше не перемешивать? Будет слишком горячо. Еще получатся комочки...

Хыбек. Профессор, кажется, он бредит...

Профессор. Тихо, тихо же!

Лик. Я? Это кто, это я говорю? Скверно! Говорю и сам не замечаю, что говорю. Наверно, по причине всеприсутствия. Что должно было получиться теперь? Спиральная галактическая лепешка...

Хыбек. Господин профессор, он, кажется, совсем спятил!

Профессор. Тихо!

Лик. А это что? Что мне все говорится и кажется, будто говорю вовсе не я?

Хыбек. Потому что не вы говорите, а я.

Профессор. Пан Хыбек!

Лик. Ну?! Тут кто-то есть! Но что значит «тут»? «Тут» — значит где? Кто-то говорил?

Отдельные элементы Лица, белых мозговых тканей, образующих щеки Лица, двигаются, складываются в некую гримасу.

О?! Кажется, что здесь вероятно и даже наверное кто-то есть. Не известно где, не известно кто. Ау!

Профессор. Да! Простите, пожалуйста! Мы разумные существа с Земли, прибыли сюда...

Лик. Разумные существа?

Профессор. Простите, да.

Лик. Больше, чем одно?

Профессор. Нас двое землян. Вы не желаете побеседовать? Впрочем, если мы помешали...

Хыбек. Нам хотелось бы, чтобы вы согласились.

Лик. Кто?

Хыбек. Что «кто»?

Лик. Кто должен согласиться?

Хыбек. Вы.

Лик. Что означает «вы»?

Профессор. Если бы вас знали лучше, мы сказали бы «ты». Это вам ни о чем не говорит?

Лик. Хм! «Вы». Где-то я уже это слышал... Хм. «Вы»... Это, кажется, когда есть больше, чем один, а?

Профессор. Да, именно так.

Лик. Интересно. Стало быть, тебя больше, чем один?

Профессор. Да, нас двое.

Лик. Очень интересно. Редкость. Откуда ты?

Профессор. Мы из Млечного Пути, из Солнечной системы с планеты Земля.

Лик. Земля? Что-то не помню. А кто ты такое?

Профессор. Я — ученый, я построил аппарат, с помощью которого мы прибыли, а мой спутник — молодой любитель и поклонник астрономии.

Лик. А ведь и верно, тебя тут двое. Удивительно. Не могу привыкнуть. А что ты делаете со звездами?

Профессор. Пока еще ничего. Мы не так развиты, как вы.

Лик. Вы? А, это я. Да, да. Хорошо. Пусть будет вы. Так, значит, тебя двое? А как ты выглядите?

Профессор. Вы нас не видите?

Лик. Нет.

Профессор. Почему?

Хыбек. Может, вам что-нибудь в глаз попало?

Лик. Нет, ничего не попало. Я вижу совсем неплохо. Туманность формируется, разворачивает спиральные плечи. Неплохо сложена. Неплохо. Магнитные эффекты... Ого, уже появились первые сгустки, протопланетные тоже! Ну, хорошо, это еще займет некоторое время, а пока можно поговорить. О чем, бишь, шла речь? Да, о зрении. Я смотрю не внутрь, а наружу. Внутри для меня нет ничего интересного...

Профессор. Это должно означать, что мы находимся внутри?

Лик. Хо-хо, а где же? Конечно. А у тебя глаза внутри?

Профессор. Нет.

Лик. Жаль.

Профессор. Почему?

Лик. Это была бы еще одна аномалия.

Профессор. А первая?

Лик. То, что тебя двое. А из чего ты, собственно, состоите, а?

Профессор. Вас интересует материал? Мы созданы из белка.

Лик. Из белка? Сейчас... сейчас, надо поискать...

Профессор. Где?

Лик. Хм... В безднах моей... информации... Белок? Ага... Что-о? Ты — из белка? И тебя — двое? Невероятно!

Профессор. Почему?

Лик. Ты — жидкие? Ты вливаетесь в сумерках в пещеры и пульсируете в них? А на заре проходите метаморфозу?

Профессор. Ничего подобного! Мы никуда не вливаемся и не проходим никаких метаморфоз. Кроме того, мы не жидкие.

Хыбек. Вы перепутали нас с кем-то еще.

Лик. Возможно... Сейчас... Бездны... Того... Ну, бездны же! Ага! Ох! Это вы... Может быть, вы люди?

Профессор и Хыбек. Да, люди!

Л и к. О, протуберанция! А может быть, вам только кажется? У вас есть ручки и ножки?

Профессор. Есть руки и ноги.

Л и к. Есть? Хорошенькая история! О, что за удар! Люди! О, люди!.. Только двое? Ну, это еще куда ни шло... А что, вас больше не замесилось?

Профессор. Тут нас двое, но на Земле несколько миллиардов.

Л и к. Как? Уже несколько миллиардов? Так быстро? Не ожидал. Я этого так боялся!.. О, что за встреча! О, это я... это вы... да, чудовищно! Просто не знаю, что и сказать!

Профессор. О чем вы?

Хыбек. Что случилось?

Л и к. Увы! Ничего невозможно сделать! Я бессилен! Простите меня, простите! Я могу только молить вас о снисхождении. Это случайно, честное слово...

Хыбек. Какое-то недоразумение...

Л и к. Если бы, если бы! Но боюсь, что это трагическая действительность. У меня еще была слабая надежда, что не заквасилось, но, вижу, напрасно я так думал...

Хыбек. Но вы ничего плохого нам не сделали!

Л и к. Вам — нет, а вас — да.

Профессор. Как, простите, вы сказали? Нас?..

Л и к. Да, вас... Но, клянусь, по рассеянности, случайно, по недосмотру! Я просто перестал мешать, солнечница у меня снизу подгорела, и получились сгустки. Потом при охлаждении все и осело... свернулось, получился клеевидный раствор, из этого раствора — всякие там желе, а из желе возникли вы через несколько миллиардов оборотов вокруг Солнца... Я уж и не знаю, как просить у вас извинения...

Хыбек. О чем вы?

Профессор. Минутку... Не хотите ли вы этим сказать, что вы нас создали? Все человечество?

Хыбек. Этого не может быть!

Л и к. Случайно, клянусь! Не умышленно! Я чересчур протяженный, меня чересчур много, избыток — мой главный враг, несчастье, ужас. Я хотел создать обычную солнечницу. А когда вернулся, было уже поздно...

Профессор. Вы уверены? По имеющимся у нас данным, мы возникли в ходе биологической эволюции, из животных...

Л и к. И животные были тоже? Вот так история! Вечно одно и то же! Животные, да? Не хотел! Даю вам честное слово, не хотел! Как могу стараюсь этого избежать, потому что знаю, что это за неприятность...

Профессор. Что — неприятность?

Ли к. Человечество. Может быть, у вас и цивилизации есть?

Профессор. Конечно, есть!

Ли к. О небо! И цивилизация тоже! Что же будет, что будет? И вы очень злитесь на меня?

Профессор. По правде говоря, у нас еще не уложилось в голове то, что вы сообщили. Нам необходимо все как следует продумать. Но вы, случаем, все-таки не ошибаетесь?

Ли к. Можно проверить поточнее. Вы розовые внутри?

Профессор. Да.

Ли к. У вас непарная голова и от восьми до девяти ответий?

Хы б е к. Сейчас сосчитаю.

Профессор. Коллега, в этом нет необходимости! все сходится!

Ли к. А щупальца какие-нибудь есть?

Профессор. Нет.

Ли к. Это точно? Никогда не щупаетесь?

Профессор. Почему же, случается, но не щупальца

Ли к. Но все-таки бывает? А внутри что-нибудь стуч.

Профессор. Сердце? Да, бьется.

Ли к. Всегда?

Профессор. Да, но...

Ли к. Сейчас! А клапан у вас есть?

Профессор. Какой клапан?

Ли к. Ага, нет. Неплохо. А придатки?

Профессор. Как они выглядят?

Ли к. Такие небольшие крылышки.

Профессор. Нет. Вот видите!

Ли к. Еще минутку! А не склеиваетесь ли вы время от времени, чтобы потом расклеиться и покрыться почками?

Профессор. Уверяю вас, никакими почками мы не покрываемся.

Хы б е к. Стало быть, это не мы!

Ли к. Ах мои бедные люди, это вы, это вы! Ведь мне ни разу не приходилось видеть вас вблизи. Когда ваша солнечница пережарилась, я был так расстроен этим случаем и неминуемо грозящими последствиями, что бросил ее и удалился, надломленный, а ваш внешний вид воссоздал дедуктивным методом на основе других случаев пережарки... при помощи математики. Из этого у меня получились ручки, ножки, клапаны, придатки и почки. Так вы говорите, почек нет? А что есть?

Профессор. А для чего эти почки?

Л и к. Для продолжения рода. Чтобы вас было все больше, увы...

П р о ф е с с о р. Нет! Мы не почкуемся.

Л и к. А как вы это делаете?

П р о ф е с с о р. Рождаемся.

Л и к. Не может быть!

П р о ф е с с о р. Почему?

Л и к. Чрезвычайная редкость. Космический феномен! Они рождаются... Кто бы мог подумать! И как вам это нравится?

П р о ф е с с о р. Мы считаем это нормальным.

Л и к. Бедняги!

П р о ф е с с о р. А что вы, собственно, делаете, если можно узнать? Что такое солнчица?

Л и к. То есть как, что я делаю? Неба никогда не видели?

Х ы б е к. Вы имеете в виду звезды? Почему же, видели.

Ну и что?

Л и к. Что? Это мне нравится! Неужели не заметили, что звезды шаровые, а туманности спиральные?

П р о ф е с с о р. Заметили.

Л и к. И не задумывались над этим? Почему шаровые, спиральные, а?

П р о ф е с с о р. Потому что они вращаются.

Л и к. Может быть, сами по себе?

П р о ф е с с о р. Так мы и думали. А разве нет?

Л и к. Вот святая наивность! Они вращаются от перемешивания. Понимаете?

П р о ф е с с о р. Так это вы перемешиваете, что ли? Позвольте спросить, зачем?

Л и к. Именно для того, чтобы не пригорало!

П р о ф е с с о р. Странно! Означают ли ваши слова, что вы... хм... перемешиваете галактики для того, чтобы в них не появились разумные существа?

Л и к. Как раз наоборот, для того и перемешиваю, чтобы появились, но нормальные.

П р о ф е с с о р. Стало быть, мы ненормальные?

Л и к. Ах... так вы об этом не знали?

П р о ф е с с о р. Нет.

Л и к. Нет? И ни подозрений, ни догадок?

П р о ф е с с о р. Нет.

Л и к. О тензор! Что я наделал? Зачем я им сказал? О турбулентная пертурбация! Простите! Мне так неприятно. Но разве я мог знать?

П р о ф е с с о р. Ничего, ничего. Может быть, вы нам объясните, какие разумные существа вы считаете нормальными?

Л и к. Я? Дорогие мои, об этом слишком долго говорить. Не проще ли будет, если, вернувшись, вы оглядитесь на своей планете, чтобы увидеть, что там ненормального.

Х ы б е к. Однако мы хотели бы...

Л и к. Если вам так уж хочется, я могу, разумеется, в двух словах... Ох! Горе мне, опять! Опять!!! Опять!!!

Х ы б е к. Что там еще?

П р о ф е с с о р. Вам плохо?

Л и к. Плохо?.. Это все из-за вас! Из-за вас!!!

Х ы б е к. То есть?

Л и к. Вы заговорили меня. И опять пригорело — одно спиральное плечо, снизу, на триста парсеков, и снова у меня убежала солнечица и свернулась, и будут сгустки, и возникнет белок, проклятый белок! И снова будет эволюция, и человечество, и цивилизация, и мне придется объяснять, извиняться, сгибаться пополам, просить прощения, что я-де случайно, нечаянно... Но это вы, а не я! Это вы наделали! Идите уж, знать вас не хочу...

Х ы б е к. Э, так не пойдет! Извинения извинениями, а вы должны вести себя иначе!

Л и к. Что?

Х ы б е к. Да, если вы, как говорите, нас обидели, мы требуем возмещения убытков.

Л и к. Чего вы хотите?

Х ы б е к. Просим предоставить нам... э... машину для исполнения желаний! Вы это, наверное, сможете?

Л и к. Для исполнения желаний?

П р о ф е с с о р. Но... коллега Хыбек... Может быть...

Л и к. Хорошо. Пожалуйста. Как хотите. Для исполнения желаний? Легче легкого. Но предупреждаю: с желаниями надо поосторожнее! Вот ваша машина... А теперь прощайте. Задали вы мне хлопот. О люди, люди!

Х ы б е к. Вы нам, кажется, тоже.

При последних словах Лика на сцену въезжает машина для исполнения желаний.

Господин профессор, мы можем возвращаться!

Профессор нажимает кнопку — слышны звуки, Лик исчезает, но машина остается в кабинете профессора.

П р о ф е с с о р. Ну и ну, вы недурно начинаете, молодой человек!

Х ы б е к. А вы как хотели бы, профессор? Вот плоды нашего путешествия. Разве мысль была плохая? Она пришла мне в голову в последний момент.

Профессор Юноша, я вами недоволен. Вижу, вы не отдаете себе отчета, какова разница между космическим путешествием и хождением в роли просителя. Вы используете ситуацию. Такая нескромность может бросить на нас тень. Если уж стоило просить, то что-нибудь более значительное.

Профессор замолкает, видя, что Хыбек вообще его не слушает; стоит и внимательно осматривает машину для исполнения желаний.

Хыбек. Тут какие-то надписи, но я не могу прочесть, потому что не по-нашему написано... О, есть! *(Нашел листок на шнурке, привязанный к машине, словно этикетка с ценой. Читает.)* «Универсальная модель... исполняет любые желания без ограничений. Изготовитель не несет ответственности за несчастья, причиняемые в связи с деятельностью аппарата третьим лицам...» Тоже мне! «При исполнении желаний катастрофического характера аппарат может разрушиться...»

Профессор. Это, дорогой мой, звучит не очень ободряюще! Что-то мне сдается, не придется нам воспользоваться этим приспособлением.

Хыбек. Но, господин профессор! Для начала мы можем потребовать что-нибудь небольшое, на пробу... *(Машине.)* Прошу мяч для пинг-понга.

Из машины выпадает белый целлулоидный мячик.

Профессор *(встает, с удивлением поднимает мяч)*. Откуда вам в голову пришла мысль о мяче?

Хыбек. Не знаю. Так. Мне почему-то показалось, что это мелочь. Во всяком случае, действует... Ну! *(Набирается духа.)* О чем бы теперь? Хотите стать султаном?

Профессор. Глупости.

Хыбек *(машине)*. Пусть профессор Тарантога станет властелином мира!

Машина начинает работать, светясь и скрежеща.

Профессор *(машине)*. Пусть профессор Тарантога останется тем, кем был! *(Машина со скрипом замирает.)* Пан Хыбек, прекратите глупые шутки. И вообще, надо больше думать и действовать осмотрительнее!

Хыбек. Простите. Я больше не буду. А я могу стать властелином мира?

Профессор. Нет!!!

Хыбек. Почему? Вам это помешает?

Профессор *(злобно)*. Вы — последний человек, в руки которого я отдал бы судьбу мира!

Хыбек. Почему? Если бы не я, мы вернулись бы ни с чем.

Профессор. После того что мы узнали, это было бы, пожалуй, не так плохо...

Хыбек (машине). Ну, тогда прошу сто злотых. *(Машина скрежещет. Профессору.)* Так вы поверили в сказки, которые рассказывал этот странный тип? Я нет... Ого, есть! Пожалуйста! *(Показывает стозлотовый билет, вынутый из машины.)*

Профессор. Но...

Хыбек (быстро машине). Прошу бриллиант, но большой!!! Большой!!! Или нет, пять бриллиантов!!! *(Машина скрежещет.)*

Профессор. Довольно! Никаких бриллиантов и денег!

Хыбек. Ну вот, уже были и исчезли. Профессор, не мешайте, это некрасиво! *(Машине.)* Кучу золота!

Профессор. Никакого золота, ясно? Пан Хыбек, мое терпение тоже не безгранично. Не смейте превращать мой кабинет в склад денег и фальшивых банкнот! *(Машина со скрежетом останавливается.)*

Хыбек. Почему фальшивых? Это первоклассная сотенная, посмотрите!

Профессор. Фальшивая, потому что была отпечатана не Эмиссионным Банком.

Хыбек. А золото?

Профессор. Не нужно нам золото. И вам не стыдно отдавать такие распоряжения? Уж лучше бы узнали, сколько правды содержится в словах того существа. Почему вы не слушаете, что я говорю?

Хыбек (машине). Пусть господин профессор будет в хорошем настроении! *(Машина скрежещет. Профессор начинает смеяться.)*

Профессор. Ха-ха-ха! Тоже мне... Ха-ха-ха... но я... ха-ха... ей-богу... не могу!.. Хо-хо-хо... Здорово... но...ха-ха-ха... *(Кричит сквозь смех.)* Ха-ха, хочу быть ярым, ха-ха, злым хочу быть! *(Машина дребезжит. Профессор перестает смеяться. Кричит.)* Хватит с меня! Вы себе слишком много позволяете!

Хыбек (быстро машине). Прошу мешок золота и чтобы профессор перестал мне мешать...

Профессор. Нет. Чтобы мне тут никакого золота не было, и пусть он немедленно замолкнет!!!

Машина скрежещет. Хыбек онемел. Делает отчаянные жесты, дикие мины, что, мал, не может говорить, машет руками, молитвенно складывает их.

О, наконец-то покой! (Хыбек строит умоляющие мины.) А вы перестанете? *(Хыбек усиленно кивает головой.)* Даете

слово? *(Хыбек утвердительно кивает.)* Хорошо. *(Машины.)* Пусть начнет говорить...

Хыбек. Вы поступаете не по-человечески! В конце концов эту машину придумал я. *(Профессор открывает рот. Хыбек кричит.)* Хорошо, хорошо! Молчу! Придумайте что-нибудь другое. Знаю — долголетие! Теперь-то оно у нас в кармане! Теперь будет наше! Но сначала вернемся назад во времени!

Профессор. Зачем?

Хыбек. Таким образом вы станете моложе, сможете еще многое совершить. Сделаем так: сначала вернемся на... скажем, десять лет, а потом попросим долголетия. Или бессмертия! Пусть время отступит на десять лет!

Машина скрежещет, за окном светает, одновременно электрическая лампа в комнате гаснет. Во время дальнейшего обмена фразами машина скрежещет еще громче, смена дня и ночи происходит все быстрее, то загорается лампа, и за окном ночь, то лампа гаснет, за окном становится светло. Этот ритм все ускоряется, переходит в мигание, наконец в серость, потом наступает полная темнота, в которой слышен стихающий гул машины.

Профессор. Сейчас... надо подумать...

Хыбек. О чем?

Профессор. Это легкомысленно — машина может исчезнуть.

Хыбек. Почему бы ей исчезнуть?

Профессор. Потому что в прошлом машины быть не может. Она здесь сейчас.

Хыбек. Ничего подобного! Не бойтесь. Скорее! Скорее!

Профессор. Хыбек! Что вы наделали? Хыбек...

Хыбек. Все будет хорошо.

Темнота. Наступает тишина. Постепенно светает. Оба сидят на стульях. Нет ни машины, исполняющей желания, ни аппарата для путешествия в Космос. Яркий день. Профессор без бороды, волосы лишь чуть-чуть тронуты сединой. Хыбек выглядит примерно так же, как в начале путешествия, но без очков и ПРОПСа.

Профессор *(как бы выходя из оцепенения).* А это что?

Хыбек *(робко, сейчас это юный студент).* Простите...

Профессор. Ничего. Небольшое головокружение... *(Смотрит на Хыбека.)* Простите, кто вы?

Хыбек. Я — Хыбек. Януш Хыбек.

Профессор. Я — Тарантога. Но откуда вы тут взялись?

Хыбек. Я? Не знаю... Как-то даже странно... *(Осматривается.)* Где я?

Профессор. У меня. Это моя квартира, и я как раз пытаюсь понять, что привело вас сюда... Вы не знаете?

Хыбек. Нет...

Профессор. Я тоже. Простите, а кто вы?

Хыбек. Я учусь в экономическом институте. Кончаю товароведческий, в будущем году защищаю диплом...

Профессор. Хм. И вы не припомните, что вас ко мне привело? Я профессор точных наук.

Хыбек (*вскакивает*). Господин профессор? Ох, простите, пожалуйста. Прошу не обижаться, но я действительно не знаю (*себе под нос*), как я мог сюда попасть.

Профессор (*берет со стола газету*). 27 апреля 1951 года. Странно. Я мог бы поклясться, что пятьдесят первый год давно уже был.

Хыбек. Да?

Профессор. Ну-с, юноша! Ситуация — довольно своеобразная... оба мы не знаем, что скрестило наши пути... Может быть, у вас есть ко мне какое-нибудь дело?

Хыбек. Не могу припомнить... Ей-богу, нет.

Профессор (*встает*). Ну, в таком случае... У меня срочная работа.

Хыбек. Из области астронавтики?

Профессор. Я не интересуюсь астронавтикой. Почему это пришло вам в голову?

Хыбек. Это мое тайное увлечение. Не обижайтесь, пожалуйста!

Профессор. А на что мне обижаться? (*Провожает его к двери.*) Если вспомните, зачем были у меня, пожалуйста, позвоните.

Хыбек. Ох!

Профессор. Что случилось?

Хыбек. Я нашел сто злотых! Тут, в маленьком карманчике! Сто злотых!!

Профессор. Поздравляю и надеюсь, вы не обидитесь, если я с вами распрощаюсь?

Хыбек. Что вы! Мне было очень приятно. Господин профессор, простите...

Профессор. Итак, до свидания...

Хыбек. До свидания. Позвольте откланяться! (*Выходит.*)

Профессор прохаживается по комнате.

Профессор. Симпатичный паренек. Провал памяти, что ли? Ну и я тоже... Странно. Откуда он взял эту астронавтику? А может, действительно заняться? А если попробовать? Да это, мысль! (*Поворачивается и идет к столу.*)

ЧЕРНАЯ КОМНАТА ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ

Телевизионная пьеса

Действующие лица

Профессор Тарантога.

Альфен, старший инспектор, коренастый человек лет тридцати.

Гальт, инспектор, лет сорока.

Ричард Факстон, лет двадцати пяти.

Меланья, кухарка профессора, около пятидесяти пяти лет.

Брикс, тайный агент полиции.

2-й тайный агент.

3-й тайный агент.

Генрих IV, король английский.

Полицейский.

Пещерная красotka.

I

Кабинет инспектора Гальта. Инспектор сидит за письменным столом. Входит полицейский.

Полицейский. Господин инспектор, вернулся Брикс.
Гальт. Давай его сюда!

Полицейский выходит. Входит Брикс. Он выглядит как водопроводчик: чемоданчик с инструментами, в руке сифон от умывальника, шпaga с нанизанными на него водопроводными кранами.

Ну и что там?

Брикс (угрюмо). Ничего.

Czarna komnata profesora Tarantogi, 1963

© Е.Вайсброт, перевод, 1968

Г а л ь т. Что значит «ничего»? Отвечайте: что и как! Профессор вас не распознал?

Б р и к с. Нет. Я пришел в четырнадцать двадцать. Открыла кухарка. Под предлогом профилактики водопровода я проверил всю квартиру.

Г а л ь т. Ванная, туалет?

Б р и к с. Конечно, господин инспектор!

Г а л ь т. Следы крови?

Б р и к с. Никаких.

Г а л ь т. Какие-нибудь волосы, бумажки, мусор?

Б р и к с. Мусор, господин инспектор, не по моей части. Это — Рамбарт.

Г а л ь т. И так-таки ничего не нашли? Ничего подозрительного?

Б р и к с. Ничего. Сифон на кухне немного подтекает.

Г а л ь т. Можете идти.

Брикс в дверях расходится с двумя агентами, одетыми под ассенизаторов. Оба выпачканы мелом и цементом, лица забрызганы, колени в пятнах; мешок, ключи, молотки, моток шнура, фонарь, небольшая веревочная лестница; один агент высокий, второй низкий.

А, это вы. Ну?

В ы с о к и й. Были у профессора.

Н и з к и й. С самого утра.

Г а л ь т. Знаю, а дальше?

В ы с о к и й. Показали письмо из строительного отдела, сказали, что должны проверить, не проникает ли подпочвенная вода в подвалы.

Г а л ь т. Кто вас впустил? Кухарка?

В ы с о к и й. Нет, сам профессор.

Г а л ь т. Не чинил препятствий?

В ы с о к и й. Нет, господин инспектор. Сказал, чтобы мы делали все, что нам угодно.

Г а л ь т. Так прямо и сказал? И что?

В ы с о к и й. Как вы приказали, мы пробили отверстия в бетоне во всех подвалах. В гараже тоже.

Н и з к и й. Всего семьдесят дыр, господин инспектор. Чуть руки не отвалились.

Г а л ь т. Это к делу не относится. Нашли что-нибудь? Останки, кости?

Н и з к и й. Только куриные. Крылышко и кусочек грудки. Наверное, собака заташила.

Г а л ь т. Не прикидывайтесь идиотом! Вы знаете, о чем я говорю.

В ы с о к и й. В подвалах не было ничего. Земля и

земля. Немного камней. Несколько гладких... вот, я прихватил один... *(Вынимает из кармана и кладет на стол.)*

Г а л ь т. Сувенирчики собираете? А в гараже?

Н и з к и й. А в гараже был очень толстый бетон...

Г а л ь т. Не доводите меня до... Нет! Мне нельзя волноваться. А что было под бетоном? Никаких трупов?

В ы с о к и й. Никаких.

Г а л ь т. Остатки сожженных волос? Одежды? Зубы?

Н и з к и й. Нет, господин инспектор...

Г а л ь т. Тогда, может быть, скажете, куда девались одиннадцать парней, здоровых, сильных как быки? А? Может, испарились? Растворились в воздухе?

Н и з к и й. Не знаем, господин инспектор. Мы сделали все, как вы приказали.

Г а л ь т. Стены простучали?

Высокий угрюмо кивает.

Потолки?

Н и з к и й. Потолки тоже.

Стук в дверь. Входит А г е н т, одетый работником телефонной станции. Небольшой аппарат, моток провода, форменная фуражка.

Г а л ь т. Вы можете идти.

А г е н т *(довольно развязно)*. Добрый день, господин инспектор.

Г а л ь т. Привет! Вы от профессора?

А г е н т. Да, инспектор.

Г а л ь т. И ничего?

А г е н т. Не знаю, ничего ли...

Г а л ь т. Как это понять?

А г е н т. Я должен был якобы проверить телефон. Профессор сам облегчил мне задачу, спросив, можно ли поставить дополнительную телефонную розетку в спальне. Я сказал, что должен точно вымерить.

Г а л ь т. Ага! И произвели осмотр?

А г е н т. В пределах возможного. У него в стене нестораемый шкаф.

Г а л ь т *(с некоторым оживлением)*. Нестораемый? Ну вот, пожалуйста. Большой?

А г е н т. Вот такой... *(Обозначает руками довольно маленький ящичек.)*

Г а л ь т *(грустнеет)*. Так туда и один-единственный труп не войдет?

А г е н т. Нет.

Г а л ь т (с последней надеждой). Но, может, после сожжения?

А г е н т. Этого я не знаю. А зачем бы ему держать пепел в сейфе?

Г а л ь т. Ну, ладно, ладно. И что же вы нашли?

А г е н т. Прежде всего вот это... (Подает Гальту парик а-ля Людовик XVI.)

Г а л ь т. Это? (Рассматривает парик.) Обычный парик... (Нюхает.) Где нашли?

А г е н т. На шкафу, под старыми газетами.

Г а л ь т. Что-нибудь еще?

А г е н т. Да. Вот это. (Подает Гальту альбом. Там — фотографии большого формата. На них лица молодых людей, по одному на каждой — во все поле карточки. К бритым, гладким лицам на каждой фотографии дорисованы то эспаньолка, то бакенбарды, то саженная борода и закрученные тонкие усы, то длинные завитые локоны. Подрисовано простым карандашом; похоже, что это делал ребенок.)

Г а л ь т. Так. А это где нашли?

А г е н т. Тоже на шкафу.

Г а л ь т. Что еще?

А г е н т. А этого мало?

Г а л ь т. И что нам это дает?

А г е н т. Но ведь это же фотографии всех исчезнувших!

Г а л ь т. Я и сам вижу. И что? Я должен отдать приказ об аресте на том основании, что склеротик-профессор подрисовывает усы и бороды на фотографиях своих ассистентов?! Если я пойду с этим к прокурору, он меня высмеет!

А г е н т. Но есть еще парик.

Г а л ь т. Парик? Парик... Какая у него с этим связь? Возьмите его в лабораторию на анализ. Или нет — лучше потом. Я его еще раз осмотрю.

А г е н т. Так я загляну через час.

Когда Агент выходит, Гальт рассматривает парик со всех сторон, наконец натягивает его, словно примеряя, на голову. Входит п о л и ц е й с к и й.

Гальт быстро сдергивает парик.

П о л и ц е й с к и й. Приехал старший инспектор Альфен. А вот сегодняшняя почта. (Кладет на стол газеты.)

Г а л ь т. Проси, проси!

Входит молодой, коренастый старший инспектор А л ь ф е н.

А л ь ф е н. Ну, как вы тут, Гальт? Что это за история, с которой вы никак не разделаетесь?

Г а л ь т. Садитесь, Альфен! Рад, что вы наконец приехали.

А л ь ф е н. Раньше не мог. Мы вешали того убийцу старушек, знаете. Слышали, что он делал? Чудовище. Брал кусок воска, швейную иглу, дратву...

Г а л ь т. Что бы он ни делал, Альфен, он ничто в сравнении с этим профессором Тарантогой, уверяю вас!

А л ь ф е н. Даже так? Я не знаю подробностей. Может быть, вы вкратце расскажете?

Г а л ь т. Пожалуйста. Время от времени в печати появляются объявления. Например, такие (*вынимает вырезку из газеты и читает*): «Известному ученому срочно требуется личный секретарь. Молодой, идеалист, холостой, не имеющий родственников, интересующийся наукой, среднего роста, с продолговатым лицом, орлиным носом, возможно более темными глазами. Преимущество предоставляется лицам, владеющим итальянским языком и имеющим высшее образование. Прекрасные материальные условия, в перспективе — прочное место в истории человечества. Обращаться по адресу...» — и так далее.

А л ь ф е н. Говорите, время от времени. И много было таких объявлений?

Г а л ь т. До сих пор одиннадцать. Первое появилось семь месяцев назад.

А л ь ф е н. Они появляются через определенные промежутки времени?

Г а л ь т. Не обязательно. Иногда через неделю, иногда через несколько месяцев. Объявления эти дает некий Тарантога, профессор физики, космологии и чего-то там еще. Обычно откликается несколько молодых людей. Он выбирает одного, дает ему комнату, высокий оклад, а спустя некоторое время так называемый «секретарь» исчезает.

А л ь ф е н. Каким образом?

Г а л ь т. Понятия не имею. Просто в один прекрасный день перестает существовать.

А л ь ф е н. И профессор заявляет в полицию?

Г а л ь т. Что вы! Просто дает очередное объявление!

А л ь ф е н. И все начинается сызнова?

Г а л ь т. В том-то и дело. Поначалу мы ничего не знали. Только после пятого исчезновения этим заинтересовался один из соседей профессора. Дело в том, господин Альфен, что напротив Тарантоги живет Бруммер, судья на пенсии. От нечего делать он начал в бинокль наблюдать за домом Тарантоги, и от него-то мы узнали, что обстоятельства исчезновения всегда одинаковы. В один прекрасный день новый

ассистент входит в дом — я имею в виду виллу профессора, тут есть ее фотография (*подает*) — и больше уже не выходит.

А л ь ф е н. Вы предполагаете убийства?

Г а л ь т. Преднамеренные, систематические, массовые. Да.

А л ь ф е н. Хм... А что, все объявления сформулированы одинаково?

Г а л ь т. Нет. Можете посмотреть. В этой папке вырезки. Иногда он ищет худощавого и высокого, знающего латынь, иногда выпускника физического факультета со склонностью к полноте, иногда лысеющего, с легким косоглазием...

А л ь ф е н. Вы шутите?

Г а л ь т. Мне, Альфен, не до шуток! Тут написано черным по белому!

А л ь ф е н. Вы провели обыск?

Г а л ь т. Официально — нет. Нет основания. Но я послал туда тайных агентов, переодетых под кого только можно. Под строителей, печников, ассенизаторов, телефонистов, электриков и уж сам не знаю под кого. Как раз сегодня вернулись три группы. Прежде всего мы взяли под наблюдение жилую часть. Стены, полы, мебель, канализацию. Потом сад, погреб, чердак, гараж...

А л ь ф е н. И какие результаты?

Г а л ь т. Никаких. Ни следа трюпов. Ничего. Абсолютно ничего.

А л ь ф е н. Личные вещи исчезнувших?

Г а л ь т. Ни следа. Впрочем, у них вообще бывало немного вещей. Чемоданчик, в нем мыло, зубная щетка, пара носочек. Это в основном выпускники или студенты...

А л ь ф е н. А чем, собственно, занимается ваш Тарантога?

Г а л ь т. Не знаю. У него есть домашняя лаборатория, рядом — небольшая закрытая комната, в которую невозможно проникнуть. Дверь покрашена в черный цвет...

А л ь ф е н. Ага! Запретная комната! Что в ней?

Г а л ь т. Дверь открыть не удалось. Четыре специальных цифровых замка.

А л ь ф е н. Может, там у него большой холодильник?

Г а л ь т. Я об этом уже думал. Нет, видите ли, окно комнаты выходит на улицу как раз напротив дома судьи Бруммера. Туда можно заглянуть через бинокль. Кроме того, под предлогом ремонта уличных фонарей мы установили напротив дома Тарантоги пожарную лестницу с агентом, который четыре дня не спускал с комнаты глаз.

А л ь ф е н. И что?

Г а л ь т. Всю комнату через окно не видно, но часть, недо-

ступная наблюдению, сравнительно невелика. Вот план (*показывает*). Заштрихованную часть можно видеть через окно. А вот этот угол не видно. В нем не уместится никакой холодильник. Самое большое — какая-нибудь маленькая мельничка.

А л ь ф е н. Для перемалывания костей?

Г а л ь т. Да. Время от времени профессор входит в комнату, опускает шторы, спустя несколько минут поднимает ее и выходит.

А л ь ф е н. Он бывает там один?

Г а л ь т. Иногда один, иногда с секретарем.

А л ь ф е н. Секретарь тоже выходит из комнаты?

Г а л ь т. В то время, когда мой человек наблюдал за домом, он выходил живым и невредимым. Но я не мог, сами понимаете, держать агента на лестнице до бесконечности. А дом судьбы расположен так, что дверь комнаты полностью не просматривается, даже в бинокль.

А л ь ф е н. Одним словом — ничего не известно.

Г а л ь т. Ничего. То есть... сегодня один из моих людей принес мне вот это. И это (*подает Альфену парик и альбом*). Нашли на шкафу в спальне.

А л ь ф е н (*рассматривая парик в лупу*). Хм... Совершенно новый. Интересно...

Г а л ь т. Что?

А л ь ф е н. Это не театральный парик...

Г а л ь т. Вы думаете?

А л ь ф е н. Уверен. Тонкая работа. Надо узнать, где профессор его заказывал. Может быть, он заказывал и другие. Ага... (*Просматривает альбом.*) Это и есть исчезнувшие?

Г а л ь т. Да.

А л ь ф е н. Кто это намазюкал?

Г а л ь т. Думаем, профессор.

А л ь ф е н. Его телефон прослушивается?

Г а л ь т. Конечно. Но он почти не пользуется телефоном. К тому же — никаких подозрительных разговоров.

А л ь ф е н. Живет один?

Г а л ь т. Со старухой кухаркой.

А л ь ф е н. Какой-нибудь старый колодец в саду?

Г а л ь т. Альфен, за кого вы меня принимаете?! Мы прошупали все газоны на четыре метра вглубь, бетон в гараже и погребах пробит через каждые полметра, стены и фундамент просвечены переносным рентгеном!

А л ь ф е н. Солидная работа. И ничего?

Г а л ь т. Абсолютно!

А л ь ф е н. Профессор препятствовал?

Г а л ь т. Нисколько.

А л ь ф е н. Очень подозрительно...

Г а л ь т. Вы так думаете?

А л ь ф е н. Конечно. Вы позволили бы беспрерывно портить стены и пол в своей квартире?

Г а л ь т. Действительно. Нет, он совсем не мешал. А на прошлой неделе, когда мой агент, переодетый печником, проверил все печки и уже собрался уходить, профессор сказал ему, что он пропустил старый, давно бездействующий камин в прачечной...

А л ь ф е н. Что вы говорите? Превосходно!

Г а л ь т. Что же тут превосходного?

А л ь ф е н. Неужели не понимаете? Да он издевается над вами! Смеется прямо в глаза. Провоцирует...

Г а л ь т. Вы думаете — он унюхал? Догадывается?..

А л ь ф е н. Готов побиться об заклад. Ну так. Постепенно я начинаю представлять себе, как все это выглядит...

Г а л ь т. Да неужели!

А л ь ф е н. Но сначала еще несколько подробностей. Вы пытались связаться с кем-нибудь из этих юношей, прежде чем они исчезали?

Г а л ь т. Да. С последним. Это был некто Ричард Факстон, выпускник физического факультета. Ему требовались средства на дипломную работу, поэтому он и согласился. Я беседовал с ним лично. Предупредил о необходимости сохранять абсолютную тайну. Он уже четыре дня работал у профессора.

А л ь ф е н. Вы его предостерегали?

Г а л ь т. Разумеется. Он должен был ежедневно сообщать по телефону, что все в порядке. Я приказал ему быть начеку и дал оружие.

А л ь ф е н. Оружие? Хорошо. И что?

Г а л ь т. Первые четыре дня он не замечал ничего подозрительного. Потом звонил ежедневно. Он был в прекрасном настроении, шутил.

А л ь ф е н. Не боялся? У него не было желания отказаться от своей должности?

Г а л ь т. Ни малейшего. Сказал, что он вице-чемпион по джиу-джитсу в университетском клубе, спит чутко, дверь закрывает на задвижку, ест только то, что ест профессор, а кроме того — доверяет ему.

А л ь ф е н. Любитель риска?

Г а л ь т. Я бы не сказал. Очень выдержанный, решительный, спокойный тип. Он сказал, что успел полюбить Тарантогу и не верит, чтобы тот мог кого-либо убить. Его просто распирало от любопытства...

А л ь ф е н. Он и сейчас у профессора?

Г а л ь т. Нет. Исчез четыре дня назад. После восемнадцати дней пребывания у Тарантоги.

А л ь ф е н. И перед этим не подал никакого знака, никакого сигнала?

Г а л ь т. Ничегошеньки.

А л ь ф е н. А что-нибудь характерное, чего требовал от него профессор?

Г а л ь т. Пожалуй, ничего. Он делал выписки, приносил книги из университетской библиотеки... То да се. Ах да... Впрочем, это мелочь...

А л ь ф е н. В нашем деле нет мелочей. Слушаю.

Г а л ь т. Профессор просил его изменить прическу. Он носил пробор, а профессор хотел, чтобы он зачесывал волосы назад.

А л ь ф е н. А! Так я и думал! Прекрасно! Еще что-нибудь?

Г а л ь т. Да. Если вы хотите знать даже такие мелочи: у него была стальная коронка на зубе, тут, на переднем... (*Показывает.*) Профессор посоветовал сменить ее на фарфоровый зуб. За свой счет.

А л ь ф е н (*поражен, пытается это скрыть*). Да!.. Хм... После его исчезновения было новое объявление?

Г а л ь т. Нет. А, впрочем, может быть, в сегодняшних газетах... (*Начинает искать.*) Есть! Есть! «Известному ученому срочно нужен молодой, очень способный человек, с всесторонними музыкальными, художественными, литературными интересами, умеющий хорошо рисовать, со способностями к конструированию механических моделей и изобретательской жилкой. Преимущество имеют кандидаты, владеющие итальянским языком, с темными волосами и интенсивно темными глазами. Обращаться...» Опять! Опять! Этот Тарантога, это чудовище в гроб меня сведет! Я из-за него работу потеряю!

А л ь ф е н. Успокойтесь, Гальт! Я сказал, что уже кое-что понял.

Г а л ь т. Так говорите же, Альфен! Чего вы ждете?

А л ь ф е н. У вас найдется какая-нибудь энциклопедия? О, вон там стоит. Дайте, пожалуйста, том на букву «Н».

Гальт подает. Альфен листает, находит портрет Исаака Ньютона во всю страницу, рядом кладет фотографию Ричарда Факстона. В прическе, в строении лица — поразительное сходство. Поскольку Факстон появляется в дальнейшем, снимок должен быть фотографией актера, исполняющего его роль.

А л ь ф е н (*победно*). Видите?

Г а л ь т. Действительно! Подретушировал фотографию, чтобы она была похожа на портрет Ньютона! Как вы догадались? И что это значит?

А л ь ф е н. Детектив — это прежде всего проницательность! Они поразительно похожи. Я думаю, порывшись в энциклопедии, мы отыскали бы портреты и других известных исторических личностей, под которых профессор «подгонял» своих секретарей...

Г а л ь т. Ну хорошо, но зачем? Зачем, я вас спрашиваю?!

А л ь ф е н. По сути это очень просто. Профессор не в своем уме. Его мания — ненависть к знаменитым людям: Ньютону, Шекспиру и другим. Однако их нет в живых уже сотни лет и он ничем не может им напакостить. Что же он делает? Ищет людей, похожих на них хоть поверхностно, увеличивает подобие, требуя изменить прическу, отрастить бороду, усы, носить парик, а когда добивается максимально желаемого эффекта, когда перед ним появляется двойник ненавистного гения — убивает его!! Понимаете?

Г а л ь т. Убивает... Понимаю. Вы... феноменальны, Альфен!

А л ь ф е н. Я это уже слышал.

Г а л ь т (*немного остыв*). Ну хорошо, но... что он делает с трупами?

А л ь ф е н. Я не ясновидец. Я приехал двадцать минут назад. По-вашему, я должен вынуть из кармана неопровержимые улики против профессора?

Г а л ь т. Нет, это я так... Альфен, но он никому не приказывал отпускать бороду или усы...

А л ь ф е н. Нет?

Г а л ь т. Нет. Что вы скажете на это?

А л ь ф е н (*барабанит пальцами по столу*). Ну и что же? Хм... А! Ясно! Ну, конечно... Он не приказывает отпустить бороду или усы, потому что наклеивает им искусственные, — надевает же он им парики! Если бы они выходили из дому с отрастающими бородами, это обратило бы на них внимание. Поэтому он избрал другой путь, более безопасный — гримировку!

Г а л ь т. Да! Это возможно! Я немедленно прикажу разыскать парикмахера, работающего на Тарантогу. А что дальше?

А л ь ф е н. Я вам скажу, что дальше. Профессор ищет молодого человека с темными волосами и глазами, знающего итальянский, умеющего рисовать... Как вы думаете, я подойду?!

Г а л ь т. Что? Вы хотите... сами?!

А л ь ф е н. Я пойду к нему сегодня же. Лучше всего — сейчас. У вас не найдется пистолета? Я не прихватил с собой ничего.

Г а л ь т. Пожалуйста...

Открывает ящик, полный оружия. Альфен примеряет к руке парабеллум, браунинги, подбрасывает, ловит, наконец, прячет один пистолет в задний карман брюк, второй — плоский маленький — в карман пиджака, а третий, большой, помещает в специальной кобуре под левой рукой.

А л ь ф е н. Ну так... Я не силен в живописи, но это... и вот это... заменит мне кисти. А кастета у вас нет?

Г а л ь т. Найдется. Может, резиновую дубинку?

А л ь ф е н. Чересчур велика. Достаточно кастета. *(Берет у Гальта.)* О, этот подойдет. Какая приятная тяжесть! Хорошо. Иду!

Г а л ь т. Успеха, Альфен! *(Провожает его к двери.)* Ну и история...

Стук. Входит полицейский

П о л и ц е й с к и й. Господин инспектор, поступило сообщение от радиоавтомобиля номер шесть. Они установили контакт с фельдшером, к которому ходили все исчезнувшие. Он им ничего не делал, только провожал в поликлинику. Всегда по пятницам.

Г а л ь т. Они ходили в поликлинику? Зачем?

П о л и ц е й с к и й. Делать прививки. Тут это написано *(читает с листа)*: «Черная оспа, чума, холера, тиф, туберкулез, малярия, дизентерия и сонная болезнь». Им делали эти прививки.

Г а л ь т. Прививки? Всем?

П о л и ц е й с к и й. Так точно, господин инспектор.

Г а л ь т. Но зачем?

П о л и ц е й с к и й. Наверно, чтобы не заболели...

Г а л ь т *(бежит к двери)*. Альфен! Альфен!

П о л и ц е й с к и й. Господин старший инспектор уже вышел, господин инспектор.

II

Кабинет Тарантоги. Рабочая комната ученого: старый письменный стол, кресла, уставленные книгами полки. Тарантога и Альфен. Оба сидят.

Т а р а н т о г а. Молодой человек, ожидая в гостиной, вы видели, что пять кандидатов покинули мой дом, так как условия, которые я ставлю, оказались им неприемлемыми. Я вам их изложил. Могу предложить вам славу уходящего века, вы станете необыкновенным человеком, ваше имя станет известно многим поколениям, но с другой стороны, я говорю

это открыто: ваша жизнь будет трудной и полной лишений. Прежде всего вам придется отказаться от всех благ цивилизации, затем вас будут преследовать власть имущие, однако вы найдете и сильных покровителей. Одним словом, венец, которым судьба при моем посредничестве увенчает вас, будет из прекрасных роз с острыми шипами. Принимаете ли вы мое предложение?

А л ь ф е н. Так точно, господин профессор, принимаю.

Т а р а н т о г а. Подумайте как следует. Ибо, если вы решитесь, возврата не будет. Я вывел уже многих ваших предшественников на подобные жизненные пути и до сих пор ни разу не ошибся. С другой стороны, я должен быть осторожным. Судьба возложила на меня миссию, за выполнение которой я отвечаю перед человечеством. Я обязан исполнить ее до конца. Вы — один из тех, от кого будет зависеть будущее мира. Но прошу помнить о колоссальных трудностях, о которых я говорил... Кроме того, вы еще будете подвергнуты испытанию...

А л ь ф е н. Какому испытанию, господин профессор?

Т а р а н т о г а. Сначала вы должны дать согласие и заверить меня в своей скромности честным словом порядочного человека. Я слушаю.

А л ь ф е н. Соглашаюсь и даю вам честное слово.

Т а р а н т о г а. Прекрасно. Теперь так. Я требовал таланта художника. Вы говорили, что он у вас есть.

А л ь ф е н. Я умею рисовать. Разумеется, умею.

Т а р а н т о г а (*вытаскивает из-за шкафа копию «Джоконды» Леонардо да Винчи в натуральную величину*). Посмотрим. Убедимся. Извольте взять этот портрет и сделать копию. Мольберт, холст, кисти и краски вы найдете в приготовленной вам комнате...

А л ь ф е н. Я должен начать немедленно?

Т а р а н т о г а. Похвальное рвение. Но, может быть, у вас есть еще какие-нибудь дела в городе?

А л ь ф е н. Благодарю. Действительно, я охотно воспользуюсь вашим предложением...

Выходит. В дверях расходится с кухаркой Меланьей.

М е л а н ь я (*профессору, когда Альфен вышел*). Господин профессор, он мне не нравится.

Т а р а н т о г а. Ну, ну... И почему же, дорогая моя Меланья?

М е л а н ь я. У него из глаз злом бьет. Господин профессор, уже одиннадцать, вы приказали напомнить, что в одиннадцать должны встретиться с господином Куломбом.

Т а р а н т о г а. Не с Куломбом, Меланья, а с Колумбом. С Христофором Колумбом, тем, что открыл Америку... Иду... иду...

М е л а н ь я. Можно сделать суп со спаржей?

Т а р а н т о г а. Можно, Меланья... А может быть, ты все-таки согласилась бы стать Лукрецией Борджа? Жила бы среди пап и кардиналов...

М е л а н ь я. Э-э, господин профессор, зарядили одно и то же. А кто будет вам готовить? Нет уж, Бог с ними, с этими папами.

Оба выходят. В комнату проскальзывает А ль ф е н , быстро подходит к столу, набирает номер телефона.

А ль ф е н. Алло! Это вы, Гальт? Что? Я принят, да. Будьте спокойны. Если вам захочется позвонить, скажите, что говорит Том, мой товарищ по институту. Да, у меня к вам дело. Старик дал мне скопировать портрет Джоконды Леонардо да Винчи. Ну да, хочет проверить, как я рисую... Не знаете? Этакая улыбающаяся бабенка. Так прикажите немедленно сделать хорошую копию! Я возьму утром. Что? Нет, это должна быть совершенно свежая работа, он может догадаться, краски должны быть еще влажными... Что? Прививки? Э... это наверняка только для отвода глаз. Слушайте, мне кое-что пришло в голову. Проверьте состояние банковского счета профессора. До свидания! Будьте спокойны, я его вам приведу как миленького.

В кабинете Тарантога и Альфен. На мольберте — две Джоконды.

Т а р а н т о г а. Ну, что ж. Недурно. Совсем недурно, молодой человек. Я вами вполне доволен! Правда, чувствуется некоторая спешка, но ведь это проба. А вам следует знать, что вы сами, да, сами, собственными руками будете выполнять оригинал. Хе... хе... интересно, не правда ли? Вас не удивляют мои слова?

А ль ф е н. Нет, почему же... Я... удивлен... немного...

Т а р а н т о г а. Сейчас все поймете. Прошу за мной!

Выходят. Коридор, дверь белая, потом черная, останавливаются перед ней. Тарантога начинает один за другим открывать многочисленные замки, Альфен стоит позади, проверяет, где у него пистолеты, вынимает один и тут же прячет.

Дверь черная, видите? Я специально приказал ее так покрасить. Хе-хе...

А ль ф е н. Да? Вам нравится этот цвет?

Т а р а н т о г а. Не очень, но вам следует знать (входя

в комнату), что полиция подозревает меня в убийствах! Они считают меня душегубом, каким-то Джеком-Потрошителем! Так вот, преступных наклонностей у меня нет, а полицию разочаровывать не хочется, поэтому, чтобы хоть немного ее удовлетворить, я приказал покрасить дверь в черный цвет...

А л ь ф е н. Полиция вас подозревает? Не может быть! Это же глупо!

Т а р а н т о г а. Все зависит от точки зрения. Бедняги, у них только одно на уме: трупы, кровь, скелеты... А они случайно не обращались к вам, когда вы шли ко мне?

А л ь ф е н. Простите, кто?

Т а р а н т о г а. Молодой человек, надо быть сообразительнее! Тот, кого вам придется изображать, был гением. Мы говорили о полиции, стало быть, я спрашивал, не застукали ли вас какой-нибудь агент, не пытался ли уговорить капать на меня...

А л ь ф е н. У вас какие-то странные выражения... Нет, никто не обращался...

Т а р а н т о г а. Удивительно. А что касается странности, то у меня с утра до вечера в доме полиция. Тут уж хочешь не хочешь, а перейдешь на их стиль. Целыми днями хозяйничают в подвалах, гаражах, мне их даже немного жаль. Подкинуть бы им какую-нибудь кость, ведь они именно их ищут, уж так хотят найти, но не могу же я ставить под удар Великое Дело, мою Миссию... Одному бедняге пришлось сидеть под дождем трое суток. На пожарной лестнице!

А л ь ф е н. Не может быть!

Т а р а н т о г а. Видимо, был у него такой приказ. Могли хотя бы зонтик дать, ведь лило как из ведра. Наверняка схватил простуду. Ну, вот... это тут. Это — моя Черная комната, господин... простите, как вас зовут?

А л ь ф е н. Браун. Алек Браун.

Т а р а н т о г а. Правда, правда. Никакой памяти на имена. Ну-с, закроем эту дверь... *(Подходит к окну.)* Ого, судья Бруммер со своим биноклем уже на посту.

А л ь ф е н. Как вы сказали?

Т а р а н т о г а. А! Выживший из ума пенсионер. За неимением лучшего занятия шпионит за мной. Честное слово, когда вот так изо дня в день у тебя в доме разбирают стены и подвалы, заглядывают в кастрюли, пытаясь выяснить, не варится ли там случайно студень из ассистентов, порой так и хочется бросить все это, но долг, молодой человек, долг перед человечеством! Чтоб с ним было, если бы не я? Великий

Боже! Нет, я вынужден продолжать свое дело, пусть даже на это потребуется еще десять лет.

Альфен осматривается. Комната почти пуста. На стене большие электрические часы. У окна, невидимый с улицы, небольшой аппарат, подключенный к электророзетке. На полу — ковер, в центре ковра вырезанный из бумаги белый диск с большим кругом, похожим на мишень. Около аппарата приспособление, несколько напоминающее корабельный машинный телеграф: ручка, диск, на нем надписи: «ВПЕРЕД» — «НАЗАД». В середине «СТОП». Деления: там, где «СТОП», стоит НОЛЬ, слева, где «НАЗАД» — надписи: век XIX, XVIII и так далее. Около стены небольшой табурет, полки с книгами, столик, на нем средневековый рыцарский шлем, песочные часы, тюбики с краской и кисти.

Интересуетесь кистями? Это для Рембрандта. Он забыл их захватить. Ну не будем отвлекаться на мелочи. Дорогой господин Браун, тайна моя чрезвычайно проста. Вот мое изобретение — приспособление для передвижения во времени! Понимаете? Для путешествия во времени.

А л ь ф е н. Для путешествия во времени? И это вы изобрели?

Т а р а н т о г а. Да. Но не будем останавливаться на технических подробностях. Машина, я назвал ее хрономатом, действует одинаково в обе стороны, как в будущее, так и в прошлое. Я могу выслать любого человека как в средневековье, древнюю эпоху или еще дальше, так и в эпохи, которые еще должны наступить. Эта комната, молодой человек, уже видела много пассажиров времени! И вы будете одним из них! А знаете ли вы, зачем я выслал и высылаю таких энергичных и смелых юношей в прошлое? Для блага человечества!

А л ь ф е н. О, в этом я не сомневаюсь! Не сомневаюсь!

Т а р а н т о г а. Мне и в голову не приходило, когда я это изобрел, какие на меня свалятся хлопоты, сколько будет забот: и финансы, и осложнения с полицией, но не в этом дело, вы пришли сюда не для того, чтобы слушать мое брюзжание. Что делать! Свершилось, я изобрел эту машину и теперь должен нести свой крест!

Стук в дверь, голос Меланья.

М е л а н ь я. Господин профессор, господин декан просят вас к телефону.

Т а р а н т о г а. Декан? Ах да! Простите, господин Браун, я оставляю вас на минуту. Только, пожалуйста, не трогайте ничего!

А л ь ф е н. Можете быть спокойны...

Профессор уходит. Альфен подходит к аппарату.

Неужели правда, что столько людей клюнуло на эту липу?

Нажимает рычаг. Легкое жужжание, больше ничего. Нажимает рычаг до конца. Стрелка опускается и останавливается на надписи «ПЕЩЕРНЫЙ ПЕРИОД». Альфен замечает, что аппарат присоединен проводом к чему-то очень похожему на электрокамин с круглым рефлектором. Спираль в центре рефлектора, нацеленного на белый круг на ковре, довольно ярко светится. Альфен, чтобы заглянуть в рефлектор, становится напротив него и оказывается на белом круге. С ним начинается что-то странное. Он ссутуливается, глаза вылезают из орбит, всей фигурой он уподобляется огромной обезьяне, напрягается, делает несколько шагов, руки повисают, словно на них стокилограммовые бицепсы, ноги сгибаются в коленях. Он начинает глухо урчать, бить себя в грудь кулаком. Дверь открывается, входит Т а р а н т о г а, быстро соображает в чем дело, бежит к аппарату, устанавливает указатель на НОЛЬ. Альфен приходит в себя. Будто просыпается. Трясет головой, выпрямляется, оглядывается по сторонам.

Мне показалось, что вы выходили... (Он как в тумане, но это быстро проходит.)

Т а р а н т о г а. Нельзя прикасаться к аппарату, юноша! Я же вам говорил! Извольте слушать... Как вы себя чувствуете?

А л ь ф е н. Прекрасно, а что?

Т а р а н т о г а. Ничего, ничего. Перехожу к объяснению вашей задачи.

А л ь ф е н. Я весь — внимание, господин профессор.

Т а р а н т о г а. Вы должны знать, что я с малых лет восхищался великими людьми, такими гениями, как Архимед, Эсхил, Джордано Бруно, Ньютон, Кеплер и сотнями им подобных. Если бы не они, не развилась бы цивилизация!

А л ь ф е н. Естественно!

Т а р а н т о г а. Так вот, получив в руки такую возможность, я решил посетить этих мудрецов и гениальных художников. Я не хотел сразу отправляться в очень отдаленные эпохи: путешествия во времени несколько отражаются на организме — решил начать с Томаса Эдисона. Это было проще, не надо специально переодеваться. Парики, тоги, туники, ну сами знаете...

А л ь ф е н. Так, так! Ну и что? Как вам понравился Эдисон?

Т а р а н т о г а. Юноша! Знаете, кого я нашел? Абсолютного болвана, лентяя, все его интересы — мелкие карманные кражи. Телефон? Граммофон? Динамо-машина? Ах, об этом

нечего было и говорить! Он разбирался в технике, как обезьяна в симфониях! О, какой шок, какое отчаяние!

А л ь ф е н. И это был Эдисон?

Т а р а н т о г а. Увы! Потом я проделал другие путешествия и был потрясен до мозга костей и разочарован: Гете был достоин Данте, Данте — Стефенсона, а все разом ломаного гроша не стоили! Когда, совершенно измотавшись, я вернулся из прошлого в настоящее, меня осенило! Вот она — моя Миссия!

А л ь ф е н. Вот как! Вы возненавидели этих глупых гениев?

Т а р а н т о г а. Нет. Чего ради я бы стал их ненавидеть? Я думал уже не о них, а о человечестве! Ведь я знал, что Ньютон *должен* открыть закон тяготения, Кеплер — законы движения планет, Коперник — законы движения Земли. Я знал, что *должны* быть написаны «Божественная комедия», произведения Шекспира, Горация, иначе не возникнет наша цивилизация! Поэтому, чтобы спасти престиж и славу великих ученых, артистов, художников, сбересть всю историю человечества, я решил...

Стук в дверь.

Что там?

Г о л о с М е л а н ь и. Вы приказали напомнить, что в двенадцать у вас встреча с господином Ньютоном...

Т а р а н т о г а. А, верно! Что, уже двенадцать? Заговорился... Дорогой господин Браун, позвольте покинуть вас на полчаса? У меня важная встреча...

А л ь ф е н. Разумеется, разумеется. Весьма охотно. У меня как раз дело в городе...

Т а р а н т о г а. Вот и прекрасно. Итак, до встречи...

Альфен выходит.

А л ь ф е н (*в телефонной будке*). Алло, это вы? Да, это я. Ну конечно, он совершенно спятил, я так и думал. Что? Ему кажется, что он создал машину для путешествия во времени. Неплохо, верно? Такой профессор если уж спятит, то спятит! Что? Машина? Вообще не действует! Я ее испробовал! Нет. Что он делает с трупами? Еще не знаю. Но узнаю — наверно, сегодня же. Как там его банковский счет? Что? Увеличивается после каждого исчезновения? Как? Не слышу! Не может быть! Уменьшается, говорите? Он все время только снимает со счета? Может, он помещает добычу где-нибудь в другом месте? Нет? Хм... Я немедленно к вам приеду, надо посоветоваться...

Черная комната. Профессор Тарантога у машины времени. Настраивает аппарат. Запускает его. Зуммер, загорается «рефлектор». Профессор сидит неподвижно, держа руку на рукоятке, как капитан корабля. В центре комнаты (съемка разными камерами) появляется королевское ложе под балдахинном, около ложа — король Генрих IV готовится ко сну. Снимает корону, горностаевую мантию, внезапно замирает, увидев профессора.

Король. Кто ты?! Откуда ты?! Сгинь, сатана!!

Тарантога. Ох... вы — король? Ради Бога, простите. Ваше Королевское Величество, это ошибка...

Король (отступая). Ты — человек? Слуги! Предательство! Тать в моей комнате! Эй, стража! На помощь! Король в опасности!

Слышен далекий топот.

Голоса. Где король?!

— Король!!

— Что случилось?!

— Нападение?!

Тарантога. Но, сир, я вовсе не преступник, это ошибка, ей-богу, простите меня.

Король. В колодки закую, в яму брошу, сгниешь либо крыс телом своим откормишь, ничтожество плюгавое! Посмей только шелохнуться! Сейчас тут будет стража! Ты что, подослан этим паршивцем, королем Франции?!

Тарантога. Ну, я вижу, нам не о чем говорить. Простите, Ваше Королевское Величество. Извольте считать, что это был сон, лишь сон. Прощайте!

Выключает аппарат. Король исчезает, разом наступает тишина.

Уф!.. Ну и история! Рука дрогнула, стрелка перескочила. Который это был Генрих? Третий или Четвертый? Пожалуй, Четвертый! Ну, что делать, придется еще раз!

Нажимает рычаг. Появляется средневековый стол, табурет, на нем Ричард Факстон в одежде Ньютона, длинные завитые волосы. Он пишет что-то гусиным пером на пергаменте. На столе подсвечник с горящими свечами.

Наконец-то! (Громче.) Коллега Факстон!..

Факстон (вздрагивает). Что-то мне померещилось... (Продолжает писать.)

Тарантога. Это я, коллега Факстон!

Факстон (вскакивает). А, это вы, господин профессор!

Т а р а н т о г а. Простите за опоздание. Ну, как? Нашли вы наконец Ньютона?

Ф а к с т о н. Да. *(Показывает синяк и подбитый глаз.)* Вот доказательство.

Т а р а н т о г а. Он вас побил?

Ф а к с т о н. Нет, но напоил до бесчувствия. Я искал его четыре дня в обсерватории, а нашел в местном кабаке. Ну и пьянчуга! Вы знаете, почему он так любит смотреть на падающие яблоки?

Т а р а н т о г а. Закон тяготения?

Ф а к с т о н. Ничего подобного! Его любимое вино — яблочная наливка.

Т а р а н т о г а. Вы пытались уговорить его заняться астрономией?

Ф а к с т о н. Напрасный труд. Если он не слишком пьян и еще может переставлять ноги, его интересуют только юбки.

Т а р а н т о г а. Ну, хорошо, а закон тяготения...

Ф а к с т о н. Уж кто-кто, а он-то наверняка не открывал. Вдобавок он вчера на постоялом дворе подрался с матросами, и заодно мне досталось... Я едва убежал.

Т а р а н т о г а. Стало быть, нет иного выхода — придется вам занять его место!

Ф а к с т о н. Но как?

Т а р а н т о г а. Как я вам уже говорил. Вы ему предложите сменить имя. Пусть называется, скажем, Джонатаном Смитом. Тогда вы примите его имя и сможете уже в качестве Исаака Ньютона спокойно работать. Лучше всего, скажу вам, начать сразу. Вот первый том «Сочинений» Ньютона. *(Подает Факстону толстый том.)*

Ф а к с т о н. Зачем? Я и так наизусть знаю законы Ньютона.

Т а р а н т о г а. Конечно, но вы не имеете права формулировать их своими словами. Необходимо переписать все от «а» до «я»! Иначе не будет «Сочинений» Ньютона!

Ф а к с т о н. От руки! Но это ужасно, профессор! Вы не представляете себе, что значит писать гусиным пером!

Т а р а н т о г а. Что делать, дорогой. Не станете же вы пользоваться в семнадцатом веке пишущей машинкой!

Ф а к с т о н. Боюсь, будут сложности.

Т а р а н т о г а. Думаете, он не согласится? Почему?

Ф а к с т о н. Согласиться-то он согласится. Он собственную бабку за деньги зарежет. Боюсь, он заломит такую цену...

Т а р а н т о г а. Торгуйтесь. Так или иначе — вы должны занять его место. Законы тяготения должны быть открыты! Я постараюсь раздобыть еще немного ценностей. Продам ак-

ции и куплю бриллианты. Вы сможете обменять их на ходовую валюту. Но прошу не транжирить... Дело не в скупости, просто у меня колоссальные расходы...

Факстон. Что такое?

Тарантога. Кант подписал фальшивый вексель — придется выкупать. Коперник даже слышать не хочет о том, что Земля вращается вокруг Солнца, — талдычит, что это противоречит теологии! А знаете ли вы, во что мне стало уговорить Колумба открыть Америку? Только что, час назад, просто жилы из меня вытягивал — ужас! А знаете, что сделал Пифагор; эта свинья? И я, я один должен заменить всех этих ослов! Эсхил уже готов. Данте тоже согласился, но у меня нет даже кандидата на Конфуция, этот ужасный китайский язык, сами понимаете... Да тут еще Галилей соблазнил дочь своей хозяйки, алименты, разумеется, платить должен я. И пока все это не уляжется, ваш коллега не может занять его место! А ведь без Галилея не будет современной физики! Ужас какой-то...

Факстон. А как с Леонардо да Винчи?

Тарантога. Я уже завербовал кандидата, но он больно уж нерасторопный, да и Меланье не нравится, а у нее интуиция; Джоконду он, правда, написал недурно, посмотрите. (*Показывает портрет.*) Однако что-то мне в нем не нравится.

Факстон. Может быть, это агент?

Тарантога. Вы думаете? Но зачем такие штуки? Почему бы им не прийти и не спросить у меня прямо? Я сказал бы, разумеется, при гарантии сохранения служебной тайны. В конце концов, речь же идет о человечестве! Хм... Агент, говорите! Возможно. Может быть, он не так глуп, как прикидывается. И карманы у него какие-то оттопыренные и тяжелые. Ну ладно. Придется применять меры предосторожности.

Факстон. А что делает Кинсель?

Тарантога. Кинсель? Который это? Пастер?

Факстон. Нет. Он должен был отыскать Шекспира...

Тарантога. А-а! Хорошо, что напомнили! Целая история! Кинсель и еще двое моих людей перевероросили всю Англию шестнадцатого века, и ни следа! Его вообще не было, понимаете?

Факстон. Как это не было?

Тарантога. Не было его, и все тут! Он вообще не существовал, не жил — никогда!

Факстон. Но как же вы поступите?

Тарантога. Я просто посадил Кинселя переписывать все трагедии, комедии и сонеты подряд. Он будет издавать это под именем Вильяма Шекспира.

Факстон. Логично, ведь историки так и не выяснили ни того, как Шекспир в действительности выглядел, ни подробностей его биографии. Говорят, произведения Шекспира писал Бекон... Неизвестно, где его могила. Ну, ясно, раз он не жил, то некого было и хоронить. Только, профессор, откуда же в таком случае взялись драмы? «Гамлет»? «Отелло»? И все остальное?

Тарантога. Ну как откуда? Кинсель там, в шестнадцатом веке, сидит и переписывает, я дал ему два первых тома, остальное лежит тут, на полке... Ждет его...

Факстон. Ну да, Кинсель переписывает, это понятно, но откуда взялись сами драмы?

Тарантога. А вот он перепишет в шестнадцатом веке, потом там издаст, и так это наследие доживет до наших дней, то есть до моих, потому что вы-то останетесь Ньютоном. Это решено.

Факстон. Но я спрашиваю, не кто переписывал, а кто написал, кто выдумал?

Тарантога. Перестаньте! А кто выдумал законы Ньютона? Тарантога должен вам отвечать на все загадки истории? Мало того, что я делаю? Мы не можем себе позволить роскошь распутывать такие вопросы, важно, чтобы все ценные произведения и плоды труда гениев возникали в соответствующем времени и месте!

Факстон. Вы правы. Ну, мне пора, я договорился на четыре с Ньютоном.

Тарантога. В кабаке?

Факстон. А где еще? Наверное, опять придется вытаскивать его из канавы. Нет, не так я себе это представлял, господин профессор!

Тарантога. Я тоже не так, даю слово! Но, Факстон, все это для блага человечества! Подумайте, если бы не вы, не ваши коллеги, эти благородные юноши, мы до сих пор лазили бы, как человекообразьяны по деревьям!

Факстон. До свидания, профессор. Жду бриллиантов.

Тарантога. Хорошо. Желаю удачи, дорогой Факстон!

Тарантога хочет передвинуть ручку на НОЛЬ.

Факстон (кричит). Минуточку, профессор! Я кое-что вспомнил! Вы знаете, что я заметил? Ньютон совершенно не похож на свои портреты...

Тарантога. А что тут странного? Ведь это Вы будете там настоящим Ньютоном, это Вы войдете в историю, это Вы сделаете великие открытия, а он умрет в каком-нибудь закоулке от горячки под именем Джонатана Смита! Все, до свидания!

Выключает. Факстон исчезает.

Ну, слава Богу, с Ньютоном покончено. Так. Но этот Леонардо не вызывает доверия... ох, не вызывает. На всякий случай приготовим ножной выключатель.

Берет плоский звоночный выключатель, кладет под ковер кнопкой вверх, провод от выключателя подсоединяет к аппарату. В этот момент внезапно входит А л ь ф е н.

Т а р а н т о г а (поднимаясь). Ну, знаете, молодой человек, могли хотя бы постучать.

Альфен в шляпе, в плаще, застегнутом по шею, с поднятым воротником, рука в кармане. Через минуту он должен оказаться голым, поэтому он либо уже гол под плащом и камера показывает его только до колен, без босых ног, либо он одет в туфли и брюки; в этом случае ему пришлось бы за какие-то десять секунд скинуть с себя туфли, брюки и плащ, а это рискованно, и потому лучше уж не создавать себе трудностей. Впрочем, это на усмотрение режиссера.

А л ь ф е н. Не думаю, чтобы по отношению к вам это было бы недопустимо.

Т а р а н т о г а. О-го-го! И в шляпе... Вы невежливы, знаете ли.

А л ь ф е н. Кончайте комедию.

Т а р а н т о г а. Что я слышу?

А л ь ф е н. Стоять! Ни с места! Не подходить к этому аппарату! Руки вверх!

Т а р а н т о г а. А если не подниму, тогда что?

А л ь ф е н. Вот что! *(Вынимает пистолет.)* Руки вверх, говорю! Буду стрелять!

Тарантога поднимает руки вверх. Альфен прячет пистолет в карман.

Т а р а н т о г а. Вы — полицейский, нарушающий честное слово...

А л ь ф е н. А вы — преступник!

Т а р а н т о г а. Что я слышу? *(Опускает руки, нажимает ногой кнопку выключателя. Жужжание. Рефлектор зажигается.)*

А л ь ф е н. Стоять! Ни с места! Не подходить к этому аппарату! Руки вверх!

Т а р а н т о г а. А если не подниму, тогда что?

А л ь ф е н. Вот что! *(Вынимает пистолет.)* Руки вверх, говорю! Буду стрелять!

Тарантога поднимает руки вверх. Альфен прячет пистолет, как и в прошлый раз.

Т а р а н т о г а. Вы — полицейский, нарушающий честное слово...

А л ь ф е н. А вы — преступник!

Т а р а н т о г а. Что я слышу? *(Опускает руки.)*

А л ь ф е н. Стоять! Ни с места! Не подходить к этому аппарату! Руки вверх!

Т а р а н т о г а. А если не подниму, тогда что?

А л ь ф е н. Вот что! *(Вынимает пистолет, все повторяется.)* Руки вверх, говорю! Буду стрелять!

Т а р а н т о г а. Вы — мошенник!..

А л ь ф е н. А вы — преступник!..

Т а р а н т о г а. Что я слышу?

Второй раз нажимает выключатель ногой. Альфен замирает с пистолетом в руке, словно окаменев.

Ну, как вам понравился так называемый замкнутый круг времени? Какое у вас глупое выражение лица! Вы ничего не понимаете? А это проще простого! Я пустил машину так, что один и тот же момент времени повторяется, словно на испорченной пластинке! И теперь там, где вы остановились, время застопорилось, и поэтому вы не можете пошевелиться... Дорогой мой Браун, или, точнее, мой не особенно умный полицейский! Вы не годитесь в Леонардо да Винчи. Но это ничего. Я нашел для вас другую, не менее почетную, хотя и гораздо более легкую карьеру. Как вы знаете, у человечества кроме гениев, известных из истории, были еще и гении анонимные. Например, те, что в доисторические времена, полмиллиона лет назад, в глубине пещер рисовали на скалах бизонов и сцены охоты! Вы станете одним из величайших пещерных художников, так сказать, неандертальский Леонардо да Винчи! Но прежде чем выслать в эти древние времена, я вынужден вас разоружить и соответственно преобразить, чтобы вы не вызвали там публичного скандала. Как бы это сделать? Знаю! Наверное, часов около восьми утра вы встали с постели и пошли в ванную принять душ; поэтому поставим восемь утра. Вот так... И та-а-ак!

Профессор манипулирует рычагами, очень медленно и столько времени, сколько нужно, чтобы Альфен успел раздеться: он наг и бос, на нем только узкая повязка или плавки. Он стоит неподвижно, в той же позе и на прежнем месте.

Ну, вот! Впрочем, еще кое-что... *(Подходит к Альфену и повязывает ему бедра куском шкуры, делая что-то вроде повязки а-ля Тарзан. В руку вкладывает рулон бумаги.)* Тут нарисован бизон. Вам придется его копировать. Ну, дорогой

полицейский, пришла минута расставания! Прощайте! Желаю удачи!

Одновременно поворачивает рукоять на «ПЕЩЕРНЫЙ ПЕРИОД». Стрелка электрических часов на стене начинает вращаться. В предыдущей мизансцене, когда часы отступали на восемь утра, их изображение могло бы заполнить время, необходимое Альфену, чтобы раздеться. Теперь стрелка крутится, словно пропеллер.

Пятьсот сорок тысяч лет до нашей эры... Пожалуй, достаточно...

Альфен постепенно изменяется, горбится, выпячивает грудь, делается похож на гориллу — согнутые в коленях ноги, голова вобрана в плечи; начинает корчить рожи и бить себя кулаком в грудь.

Превосходно! Всего хорошего!

*Выключает аппарат. Альфен исчезает. Стук в дверь.
Входит Меланья.*

Что такое, дорогая моя Меланья?

Меланья. Господин профессор, пришел какой-то господин. Хочет войти. Похоже, он пришел с тем молодым человеком и ждал на улице, но не дождался и хочет войти!

Тарантога. Ах, вот как! Ну, что ж, хорошо. Сейчас мы его попросим. Хм... Куда бы его выслать? Правда, есть множество свободных мест — разве нам не нужны Атилла, Чингисхан, Ганнибал и тысячи других? Понемногу вышлем всю полицию, дорогая моя Меланья, потому что, следует тебе знать, чрево времени бесконечно и поместит в себе всех.

Меланья. Так просить?

Тарантога. Сейчас. Может быть, сначала проверим, как там поживает так называемый Браун? Сидит он сейчас в нижнем палеолите. Так... Поставим, понимаешь ли, Меланья, стрелку так, чтобы увидеть его спустя десять лет после того, как я его выслал. Проверим, чего он добился за это время...

Включает аппарат. Появляется внутренность пещеры — одна стена, слабо освещенная дрожащим светом как от невидимого костра. Альфен в меховой повязке кончает рисовать огромного бизона. Рядом сидит на корточках по возможности растрепанная, перемазанная, одетая в большую медвежью шкуру, но несмотря на это красивая девушка — Пещерная красотка.

Альфен (кончает рисовать, поворачивается к ней). Хе-хе... Моя — художник, моя — сильный... Моя — убивать мамонта... Твоя — быть самочка моя художник... Хе-хе...

Т а р а н т о г а. Прекрасно рисует, честное слово! Что делает адаптация к местным условиям.

А л ь ф е н. Самочка... самочка идти к художнику...

Альфен пытается ее обнять. Красотка сильно его отталкивает.

А л ь ф е н (*ворчит*). Гррр... грр... Самочка хотеть еще одна бизон? Художник нарисовать... Художник дать... Но самочка тоже дать... Э? Художник сильный... красивый... (*Бьет себя в грудь.*)

Т а р а н т о г а. Ну, этих можно, пожалуй, оставить. (*Выключает аппарат, они исчезают.*)

М е л а н ь я. Э-эх, у господина профессора вечно одно озорство на уме.

Т а р а н т о г а. Прошу тебя, Меланья, не говори о вещах, в которых ты не разбираешься. Без пещерной живописи не было бы живописи вообще.

М е л а н ь я. А я разве что-нибудь говорю? Так просить того господина?

Т а р а н т о г а. Ах да! Совершенно забыл! Проси, немедленно проси!!!

СТРАННЫЙ ГОСТЬ ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ

Телевизионная пьеса

Действующие лица

Профессор Тарантога.

Казимир Новак-Гипперкорн, около тридцати лет.

Магистр Сянко, секретарь профессора, двадцати шести лет.

Директор лечебницы для душевнобольных.

Санитар лечебницы для душевнобольных.

Жена Новака-Гипперкорна, могучая женщина лет тридцати.

Меланья, кухарка профессора.

(Примечание для режиссера. Поскольку Казимир Новак-Гипперкорн — это два очень разных человека, необходим актер с большим мимическим и голосовым диапазоном, который не растеряется от быстрых «перебросок личности». В тексте это лицо будет постоянно именоваться Гостем).

I

Кабинет профессора Тарантоги. Профессор сидит за письменным столом, перед ним — молодой человек в очках, магистр Сянко. В стороне — кипа писем, телефон; рядом корзинка для бумаг. На столе — большой ящик с перегородками.

Тарантога (*просматривая какой-то документ, поданный ему магистром*). Значит, так, дорогой мой... Как вас зовут, простите?

Dziwny gość profesora Tarantogi, 1963

© Ариадна Громова, перевод, 1965

Сянкo. Сянкo.

Тарантога. Ах, правда... Ведь это же тут написано. Магистр Кшиштоф Сянкo... И вы хотели бы стать моим ассистентом, да?

Сянкo. Да, профессор.

Тарантога. Ах, это превосходно, это превосходно! Но, давая это объявление, я имел в виду ассистента, который одновременно был бы научным и личным секретарем... Это вас устраивает?

Сянкo. Да, профессор.

Тарантога. Это великолепно! Я недавно вернулся из Америки... Из Штатов. Они там имеют обыкновение проверять кандидата на любую должность психологическими тестами, но это не для меня. Я применяю свои старомодные методы. Вы сообразительны? Вы образованны?

Сянкo. Мне трудно ответить, профессор. В известной мере...

Тарантога. В известной мере... Э! Если б вы даже не были особенно образованным, это, знаете ли, тоже сойдет, ведь образование передается, а я очень, просто необычайно образован, знаете ли... Я требую только трех вещей: во-первых, умения хранить тайну, во-вторых, умения хранить тайну и, в-третьих...

Сянкo. Умения хранить тайну. Понимаю.

Тарантога. Ну, так мы договорились. Теперь я вам растолкую ваши обязанности. Прежде всего корреспонденция. Вот — сегодняшняя почта! (*Вручает Сянкo кипу писем со стола.*) Просматривайте, пожалуйста, по очереди эти письма, говорите мне, что в них содержится, а я дам вам указания, по которым вы в дальнейшем будете сами решать, что делать с письмами.

Сянкo (*вскрывает первое письмо, читает*). Это приглашение на открытие...

Тарантога. В корзинку.

Сянкo (*бросает письмо в корзинку, берет другое, читает*). Просьба принять почетное гражданство города Хмурукус в Мрущем уезде.

Тарантога. Почему?

Сянкo. Потому что ваша прабабка там родилась.

Тарантога. Со стороны деда по отцовской линии?

Сянкo. Нет, бабки по материнской.

Тарантога. Положите сюда (*указывает отделение в ящичке на столе*). Потом подумаю. Дальше, пожалуйста.

Сянкo. Приглашение на закрытие...

Тарантога. В корзинку...

Сянкo (*бросает письмо, читает новое*). Гм... частное письмо.

Тарантога. Ничего, читайте, пожалуйста!

Сянкo (*читает*). «Профессор наш любимый! Я только всево маленький работник на ниви, балею пачти всем, левое лехкое оккупант отбил, и я как инвалид так бы уж хотел читать ваши книжки, патаму ваши книжки для меня все, только денег у меня нету, так может вы профессор наш любимый, по человечеству, пришлете мне...»

Тарантога. В корзинку! Это мошенник. Он уже всем посылал такие письма. Следующее, пожалуйста!

Сянкo. «Милый профессорчик! Вы со мной не знакомы, но я слыхала, что вы вернулись из-за границы, и рискнула написать. Мне девятнадцать лет, я натуральная блондинка, коллеги в конторе говорят, что у меня зубки, как жемчужинки...»

Тарантога. В корзинку! Пойдите, что там за цифры на обороте?

Сянкo. Это... она сообщает объем груди, талии и этого... ну... 98, 81, 96... так бросить это в корзинку?

Тарантога. Да! Да! Дальше!

Сянкo (*читает*): «Профессор Тарантога, вы изобретатель машины для путешествия во времени... Это какой-то ненормальный, можно выбросить?»

Тарантога. Нет! Читайте дальше, пожалуйста.

Сянкo. «Проводя эксперименты, вы столкнулись с неким феноменом, суть которого я могу объяснить вам только в личной беседе. К сожалению, я заперт в Обленцинском доме для душевнобольных... Я ведь говорил, что это сумасшедший...»

Тарантога. Читайте, пожалуйста, дальше.

Сянкo. «...Поэтому прошу посетить меня под каким-либо предлогом, лучше всего в качестве дальнего родственника. Письмо я переброшу через ограду во время прогулки, как делал это уже с пятью, из которых, видимо, ни одно до вас не дошло. Я предпринял действия, которые помогут мне выбраться из лечебницы через несколько недель, но каждая минута промедления грозит опасностью. С уважением Казимир Новак».

Тарантога. Какая там дата?

Сянкo. На письме нет даты, посмотрю на конверте... Восьмое — значит, неделю назад. Не выбрасывать это?

Тарантога. Нет, дорогой мой! Собираемся и едем. Где этот самый Обленцин?

Сянкo. Под Варшавой. Мы едем в эту лечебницу?

Т а р а н т о г а. Да. Когда мы окажемся там, прошу вас по возможности молчать. Я буду говорить и действовать за нас обоих. Согласны?

С я н к о. Разумеется, если вам так угодно...

Т а р а н т о г а (*встает*). Там, в столике у окна, лежит карманный магнитофон. Возьмите его. Минутку... (*Снимает трубку.*) Меланья? Алло; Меланья, бак в машине полон? Хорошо. Я уезжаю. Открой ворота в гараже. Что? Обед? И обед съедим, и все, что бы ты ни приготовила, будь спокойна. (*Кладет трубку.*) Господин магистр, в дорогу!

II

Кабинет директора психиатрической лечебницы. Типичный психиатр, в очках, весьма образован, говорит лекторским тоном, словно в аудитории, — с вкусом, выразительно, зычно, — любит себя. Сянко и Тарантога сидят.

Д и р е к т о р. Значит, он ваш родственник, этот Новак? Он ничего нам не говорил.

Т а р а н т о г а. Да, то есть дальний, дальний родственник, но я был очень привязан к его матери, знаете ли, доктор... Я бы раньше появился, но, к сожалению, долго пробыл за границей, в Англии, в Америке... Всего неделю назад вернулся...

Д и р е к т о р. Это необычный случай, профессор. Я, видите ли, старый психиатр, но такой богатый, прекрасный комплекс галлюцинаций, с таким глубоким расщеплением личности, с состоянием помрачения, с таким разнообразием шизофренических импульсов — это редкость, это прямо бриллиант.

Т а р а н т о г а. Вот как? Ну, в его семье были такие... но это старая история, ведь это началось еще с его прадеда, пожалуй... повреждение черепа во времена наполеоновских войн.

Д и р е к т о р. Что вы говорите? Я распоряжусь, чтоб это вписали в историю болезни. Ну, сейчас громадное улучшение. Громадное! Такая ремиссия, что, собственно, если б не эти остаточные явления, можно было бы считать его излечившимся и выпустить хоть сегодня. Мы применяли фенотиазин, меллерил, шоки, потом психотерапию... он идеально поддавался психотерапии, скажу вам! Да вы сами увидите, ведь вы хотели с ним поговорить, правда?

Т а р а н т о г а. Да, если это возможно. Он... спокоен?

Д и р е к т о р. Сейчас? Да, совершенно. Прекрасно ориентируется в пространстве и времени, трудности у него лишь в том, чтобы припомнить факты из собственного прошлого.

Т а р а н т о г а. Ничего не помнит?

Д и р е к т о р. Страдает амнезией, то есть утратил память обо всем, что пережил, заполняет пробелы, зияющие в его памяти, конфабуляцией — вымыслами. Это не ложь, ибо он сам не отдает себе отчета в неправдивости этих фактов. Такое явление типично и, в известном смысле, в период выздоровления даже нормально, но должно скоро пройти. Но в то же время, пока больной не вспомнит хоть в общих чертах, кем он был, где работал, где родился, мы не можем считать его излечившимся. Мы ведь даже не знали, что его фамилия действительно Новак.

Т а р а н т о г а. Но теперь вы уже знаете!

Д и р е к т о р. Да. Но он утверждал, что его так зовут, даже в остром периоде болезни. Зато, кроме этого, к сожалению...

Т а р а н т о г а. Ничего не помнит?

Д и р е к т о р. Вспоминал несколько раз, но это была конфабуляция. Сначала он утверждал, что был бухгалтером в Сосновце...

Т а р а н т о г а. Он это говорил во время галлюцинаций?

Д и р е к т о р. Да нет, тогда был типичный шизофренический бред, с любопытной параноидальной примесью, ему казалось, что его преследуют какие-то существа с других планет. Настоящий фантастический роман выдумал. Я говорю о том периоде, когда он понял, что все это шло от болезни, — значит, о ремиссии, не правда ли?.. Впрочем, знаете ли, все усложнялось тем, что у него было раздвоение личности и одна из этих личностей великолепно поддавалась лечению, в то время как другая продолжала сопротивляться... Так что я даже хотел продемонстрировать его на заседании Психиатрического общества, но он начал тогда выздоравливать. Не хочу сказать «к сожалению», хе-хе, ибо я прежде всего врач, но демонстрация на заседании произвела бы впечатленье разорвавшейся бомбы, да, бомбы, уверяю вас, профессор... Но о чем же это я хотел вам сказать?

Т а р а н т о г а. О том, как он припомнил, что был бухгалтером.

Д и р е к т о р. А, именно! Благодарю вас. Итак, мы, естественно, проверяем такого рода утверждения пациентов, ибо часто больной рассказывает что-либо — например, что совершил растрату на миллион, а мы не знаем, бред это или правда. Так что мы проверили, и оказалось, что он никогда не был бухгалтером в Сосновце.

Т а р а н т о г а. Ага! Значит, это был бред?

Д и р е к т о р. Нет, постамнестическая конфабуляция.

Потом он утверждал, что ездил по Поморью и читал лекции от Общества распространения знаний о жизни на других планетах. Это даже согласовалось со структурой предыдущих галлюцинаций. К сожалению, и это оказалось неправдой. Если б не это, мы уже сегодня могли бы его выпустить. Подождем еще, подождем... Прогнозы в таких случаях никогда не бывают стопроцентно надежными.

*Санитар вводит больного в полосатой пижаме —
это и есть Гость.*

Тарантога (*встает*). А; это ты, Казик! Давно мы не виделись. Узнаешь своего дядю?

Гость. Добрый день... дядя... узнаю... узнаю и очень рад...

Тарантога. Ну, так превосходно. Господин директор, можно мне минутку побеседовать с моим внучатым племянником? Думаю, что этот разговор может ему много дать, помочь...

Директор. Ну, разумеется! Естественно! К сожалению, лишь пятнадцать минут, потом наступает время процедуры. Может, вы тут и останетесь? Мне как раз нужно навестить больных в палатах. (*Тихо.*) Хотите, чтоб санитар остался?

Тарантога. Нет, нет, зачем же? Это не нужно. Спасибо!

Директор. Тогда мы пойдем. Юзеф, сначала в шестую! Сестра Анна там?

Санитар. Она в дежурке, господин директор.

Директор. Итак, прошу прощения...

Уходит с санитаром. Минута молчания.

Тарантога. Ну, дорогой племянник, я слушаю.

Гость. Благодарю вас за то, что пришли. Ваше присутствие здесь доказывает, что вы не принимаете меня за сумасшедшего. Правда?

Тарантога. Действительно, можно сделать такой вывод, но говорите же...

Гость. Времени у нас мало, поэтому я перехожу к самому важному. Я не могу выйти из лечебницы, потому что мне не удастся выдумать себе такое прошлое, которое устояло бы против методов их проверки, понимаете?

Тарантога. Еще недостаточно.

Гость. Тогда скажу ясней: я не могу припомнить своего здешнего прошлого, ибо его не существует. Сейчас 1962 год, да?

Тарантога. Да.

Г о с т ь. Я надеялся, что они клюнут на этого сосновецкого бухгалтера, а когда не вышло, переметнулся на Общество распространения знаний, но и это не удалось, и я пока что в тупике.

Т а р а н т о г а. А откуда вы взяли эту бухгалтерию и Общество распространения знаний?

Г о с т ь. Из газет, разумеется... Я начал симулировать ремиссию, как они это называют. Тогда я получил возможность читать газеты и быстро подучился. Но я не могу представить никаких доказательств того, что работал где бы то ни было в Польше или вообще в мире, раз я тут не был и не работал, поскольку не жил тут и не существовал...

Т а р а н т о г а. А откуда вы взялись?

Г о с т ь. Если вы — профессор Тарантога... Вы действительно Тарантога?

Т а р а н т о г а. Я должен предъявить документы?

Г о с т ь. Нет, это просто предосторожность. Я вам верю. Раз вы профессор Тарантога, то вы изобрели известную машину и заметили, что она действует лишь в одном направлении — назад, верно?

Т а р а н т о г а. Это правда.

Г о с т ь. Тогда вы сами сумеете ответить на свой вопрос.

Т а р а н т о г а. Может, и сумею, но хочу это услышать от вас.

Г о с т ь. Вы ставите условия. Хорошо. Я происхожу из будущего.

Т а р а н т о г а. Из какого года?

Г о с т ь. У нас другой счет времени. Но по вашему календарю это вторая половина тридцать пятого столетия.

Т а р а н т о г а. Вы пробовали кому-нибудь это рассказать?

Г о с т ь. Я? Нет. То есть... частично... Я был вынужден... Не будем об этом. Профессор, нам некогда, сейчас за мной придут. Можете вы меня отсюда вытащить?

Т а р а н т о г а. Боюсь, что нет. Пока вы... не вспомните...

Г о с т ь. О, клаустрон! Простите... Я боялся этого. Тогда прошу помочь мне. Нужна история, чтоб им рассказать, правдивая или по крайней мере такая, чтобы могла выдержать их проверку... Ну?

Т а р а н т о г а. Вы говорите вполне современным языком.

Г о с т ь. Но чего мне стоило изучить его в такой краткий срок! Профессор, дайте мне историйку!

Т а р а н т о г а. К сожалению, я не могу смастерить ее на ходу. Я могу подтвердить ее, но я много лет не был на родине, так что понадобится подтверждение третьих лиц.

Г о с т ь. Это правда, так что же делать? Может, этот господин смог бы?..

С я н к о. Я?

Т а р а н т о г а. Нет, это было бы подозрительно. Чтобы именно мой ассистент оказался вашим соучеником или сотрудником... Это может возбудить подозрения, а если история лопнет один раз, то я уже больше не смогу ни помочь вам, ни даже прийти сюда. Что я еще могу для вас сделать?

Г о с т ь. Не знаю. Вы не представляете, как невероятно трудно мое положение, тем более что я не один...

Т а р а н т о г а. Я слышал кое-что о существах с других планет...

Г о с т ь. Ах, это! Это само собой. Я имел в виду нечто совсем иное, чего сейчас даже не пытаюсь вам объяснить, на это понадобилась бы целая ночь, если не две. Может, у вас есть при себе какой-нибудь напильник?

Т а р а н т о г а. Только для ногтей.

Г о с т ь. Можете вы мне его дать?

Т а р а н т о г а. А что вы хотите с ним сделать?

Г о с т ь. Ничего плохого. Пригодился бы мне еще носок.

Т а р а н т о г а. Один?

Г о с т ь. Да.

Т а р а н т о г а. Зачем?

Г о с т ь. Не могу сейчас сказать. Но если вы мне его дадите, я сумею отблагодарить.

Т а р а н т о г а. Каким образом?

Г о с т ь. Вы будете первым, к кому я пойду, покинув эту лечебницу, и я сообщу вам факты... сведения... которые изменяют всю картину мира. Полагаю, что этого хватит за один носок?

Т а р а н т о г а. Вот вам напильник. Ничего не поделаешь, приходится рисковать! Магистр Сянко, может, вы снимете носок?

С я н к о. Я должен снять носок?!

Т а р а н т о г а. Не настаиваю, но очень вас о том прошу.

С я н к о. И я останусь в одном носке?

Т а р а н т о г а. Можете снять оба.

Г о с т ь. Скорей, ради великой глени, скорей!

Сянко снимает туфлю, носок, дает его Гостю, тот прячет носок в карман пижамы. Гость встает.

Т а р а н т о г а. Вы ничего больше сейчас не сообщите?

Г о с т ь. Не могу. Чувствую, что долго не выдержу. Он того и гляди выскочит и такое тут наделает...

Т а р а н т о г а. Кто?

Г о с т ь. Гипперкорн.

Т а р а н т о г а. Кто это?

Г о с т ь. Потом скажу. О, я слышу шаги, уже идут. До свидания! Профессор, благодарю за все. Можете быть уверены, что я сдержу слово!

Входят директор санитаром. Гость вдруг садится на стул, лицо у него начинает дергаться. Он обхватывает лицо руками, отворачивается, зажимает рот рукой, будто стараясь принудить к молчанию взбунтовавшуюся часть тела.

Т а р а н т о г а. Мой племянник немного разнервничался. Волнение, вызванное встречей... Вы, конечно, понимаете...

Д и р е к т о р. Ну, да, да... разумеется. Вы уже уходите?

Т а р а н т о г а. Такое у нас было намерение.

Д и р е к т о р. Надеюсь, что лечение вскоре будет завершено. Сообщать вам о ходе лечения?

Т а р а н т о г а. Как раз об этом я хотел вас просить. Это возможно?

Д и р е к т о р. Ну, разумеется! *(Смотрит на Гостя, который дергается на стуле.)* Ну, что там, дорогой Казимир?

Гость издает странные, пискливые, приглушенные звуки.

Г о с т ь. Это... э... ничего... Это только... и... ик-кота, док-ктор!

Д и р е к т о р. Да-а! Ах, икота... ну, конечно, икота! Разрешите, профессор, я провожу вас. *(Санитару, тихо.)* Отведи его в процедурную, похоже, что понадобится небольшой шок...

III

Кабинет Тарантоги. Сянкo наводит порядок в бумагах. Входит Тарантога, уже без пальто и шляпы, но с портфелем, который бросает на стол.

С я н к о. Профессор, неприятное сообщение.

Т а р а н т о г а. Что случилось?

С я н к о. Примерно час тому назад звонил доктор Кусьмевич из лечебницы в Обленцине. Этот самый... Новак пытался покончить самоубийством.

Т а р а н т о г а. Не может быть!

С я н к о. К счастью, этому удалось помешать, и он лишь поранил себе запястье. Порезался.

Т а р а н т о г а. Моим напильником?!

С я н к о. Да, профессор. Директор выразил подозрение, то есть не сказал этого прямо, но дал понять... Очень удивлялся, откуда попал Новаку в руки такой опасный предмет как раз после нашего посещения.

Т а р а н т о г а. Еще что-нибудь?

С я н к о. Нет.

Т а р а н т о г а. Он не говорил, как Новак себя чувствует?

С я н к о. Сделали ему какой-то укол, чтоб он спал.

Т а р а н т о г а. И что ж вы на меня так смотрите? Думаете, что я сделал глупость, да?

С я н к о. Нет. Я о другом думаю. Размышляю, что он хочет сделать с моим носком.

Т а р а н т о г а. А, действительно! Боюсь, что ничего мы не придумаем. Вы недовольны мной, коллега Сянок! Вы считаете, что я пошел на нелепый риск.

С я н к о. Я ничего не говорил.

Т а р а н т о г а. Незажно, я по глазам вижу, вся комната этим пропитана. Вы считаете, что он сумасшедший?

С я н к о. Голову дам на отсечение!

Т а р а н т о г а. Гм... Вы так в этом уверены?

С я н к о. Профессор! Но... сейчас?! Сейчас, когда директор сказал, что это мания самоубийства, острый приступ депрессии?!

Т а р а н т о г а. Никогда не позволяйте, чтобы за вас думали другие. Что вы сами об этом думаете?

С я н к о. Я не психиатр. Но это было очевидно с первой минуты. Вы можете на меня сердиться, профессор, но я говорю то, что думаю. Такой уж я.

Т а р а н т о г а. Таким вы мне и кажетесь, дорогой, поэтому я вас и принял на работу. Знаете ли вы, чем отличается сумасшедший от великого ученого или изобретателя?

С я н к о. Тем, что сумасшедший болен.

Т а р а н т о г а. Это масляное масло. Тем, что сумасшедший неспособен выполнить свои обещания, осуществить свои предсказания... Его открытия ничего не стоят. Словом, подождем и посмотрим. Можете идти к себе. Вы мне сегодня не понадобятся.

Тарантога один, насвистывая, вынимает из портфеля какие-то бумаги, подходит к шкафчику, достает бутылку коньяку, наливает рюмку, нюхает, выливает обратно в бутылку, с некоторым сожалением запирает коньяк. Звонит телефон, Тарантога подходит.

Тарантога слушает. Уже слышал. Как, простите? Что? (Пауза.) Когда?! (Смотрит на часы.) Это более чем полтора

часа тому назад. Что? Ну, да, да... Но ведь он спал, ему сделали укол? Ах, непонятно? А кто же должен понимать, я? А как себя чувствует директор? (Пауза.) Ага. А пришел в себя? Нет? Что вы сказали? Что за носок? С песком? Ничего не понимаю. Ну, хорошо, но при чем тут я? Хорошо. Буду настороже. Разумеется, если он появится, я немедленно извещу вас. (Пауза.) Автобус в Варшаву? В пижаме он сел в автобус, что ли? (Пауза.) Простите, но у вас странные порядки! Пациент разбивает голову директору, снимает с него одежду, а где все санитары, сестры, врачи? А? Что?! Я вас не учу. Нет, это меня не интересует. А кроме того, молодой человек, даже если б десять ваших директоров испустили дух, не следует быть невежливым. Прощайте.

Кладет трубку. Дверь на балкон открыта. Вилла окружена садом, ночь, на улице темно, вдалеке — свет фонаря. Занавеска вздувается. Штора тоже — с противоположной стороны. Тарантога подходит, медленно, но совершенно спокойно заглядывает за штору, потом за занавеску. Когда он возвращается на середину комнаты, из темноты возникает фигура Гостя. Гость становится за спиной профессора. Тарантога поворачивается, видит его. Минутная пауза.

Гость (говорит совершенно иным голосом. Производит впечатление менее интеллигентного, неспособного сосредоточиваться, быстро соображать, иногда даже слегка растяпистого. Другой человек — очень заурядный; скажем, нечто вроде обыкновенного спортивного болельщика). Вы Тарантога?

Тарантога. Вы не узнаете меня?

Гость. Вы поможете мне? Вы должны мне помочь...

Тарантога. В чем я должен вам помочь?

Гость. Чтоб я мог вернуться...

Тарантога. В Обленцин?

Гость. В какой Обленцин? В сумасшедший дом? Вы что — дураком меня считаете? Ведь я убежал оттуда!

Тарантога. Вы чуть не убили врача.

Гость. А я его не убил? Мне казалось, он умер...

Тарантога. Вы хотели его убить?

Гость. Нет, но в конце концов какое это имело бы значение? Ведь его бы птолемизировали.

Тарантога. Как вы говорите? Пто...

Гость. Ну, взяли бы и птолемизировали. А что?

Тарантога. Нет, ничего. Как с вашим обещанием?

Гость. С каким обещанием? Я ничего вам не обещал.

Тарантога. Так зачем вы сюда пришли?

Г о с т ь. Это было единственное место, какое я знал. Новак дал мне адрес.

Т а р а н т о г а. Новак? А кто же вы?

Г о с т ь. Меня зовут Гипперкорн. Тобиас Амфилон Перастр Гипперкорн. Как только я услышал ваше имя, я ужасно обрадовался, потому что вы сможете мне помочь!

Т а р а н т о г а. А что вам сказало мое имя?

Г о с т ь. Как это — что? Ведь вы же Тарантога, изобретатель машины времени?

Т а р а н т о г а. Об этом вам тоже Новак сообщил?

Г о с т ь. При чем тут Новак? У нас любой знает ваше имя, любой ребенок...

Т а р а н т о г а. Может, вы мне скажете, откуда вы тут взялись и кто вы?

Г о с т ь. Была экскурсия, я и поехал. Почему мне было не поехать? Все ездят. Как хронобус снизился, я сделал глупость. Признаю. Выскочил на минутку. Мимо шла девушка. Она мне понравилась. Никто не заметил, что я удрал. Я пошел за ней. Была там какая-то будка из камня. Девушка остановилась, и только я с ней заговорил, она начала кричать. Прибежали какие-то, посадили меня в будку на колесах... и забрали в этот сумасшедший дом.

Т а р а н т о г а. А в каком году вы родились?

Г о с т ь. В 3567.

Т а р а н т о г а. А в чем состоит птолемизирование?

Г о с т ь. Птолемизация? Ну, в этом я не разбираюсь. Когда есть покойник, значит, труп, то делается птолемизация, чтобы... это самое... чтобы его повторить.

Т а р а н т о г а. Чтобы он воскрес?

Г о с т ь. Я этого слова не знаю.

Т а р а н т о г а. Может, сядем, а? И вы расскажете мне все по порядку.

Садятся.

Г о с т ь. С чего начинать?

Т а р а н т о г а. Вы поляк?

Г о с т ь. Что это означает?

Т а р а н т о г а. Какой вы национальности?

Г о с т ь. Не понимаю. Нацио... что?

Т а р а н т о г а. Вы где-то жили постоянно. Где?

Г о с т ь. Нет, я нигде постоянно не жил. Скучно. По происхождению я магураин, если вы это имеете в виду.

Т а р а н т о г а. Что такое Магура?

Г о с т ь. Такая киприада на Марсе.

Т а р а н т о г а. Оставим это пока. Что вы, собственно, делали там, откуда прибыли?

Г о с т ь. Ничего особенного. Немножко ментенил.

Т а р а н т о г а. Что это означает?

Г о с т ь. Вы не знаете, что это такое?

Т а р а н т о г а. Может, вы мне продемонстрируете?

Г о с т ь (*оглядывает комнату*). Да ведь тут нет ни одного нисика.

Т а р а н т о г а. Что такое нисик?

Г о с т ь. Маленький нис. Переносной.

Т а р а н т о г а. А для чего он служит?

Г о с т ь. Ну, как же? Для ментенья. У меня были неплохие результаты, я доходил до семнадцати паргов на один абстрих.

Т а р а н т о г а. Покажите мне в общих чертах, без нисика.

Гость встает, складывает руки тыльной стороной друг к другу и начинает быстро перебирать пальцами в воздухе, одновременно шевеля большими пальцами так, будто вложил их в отверстие маленького, невидимого аппарата, подбородок у него выдвинут, будто опирается на что-то тоже невидимое, он попеременно подгибает ноги, одной притоптывает, будто в такт, в то же время блаженно вздыхает и закатывает глаза.

Подождите... этот нисик — музыкальный инструмент, что ли, а ментенья — это музыка? Это слышится?

Г о с т ь. Нет, это чувствуется. Это нюхают. Руки вкладывают в нисик. Вот так. Там есть такие выпуклости... Перебирают пальцами и тогда ментят, по братнице.

Т а р а н т о г а. Так это искусство? Или спорт? Домашнее занятие? Работа?

Г о с т ь. Нет, я только так... для удовольствия. Но, пожалуйста, не будем о ментенья! Ведь я же прошу войти в мое положение! Я выскочил из хронобуса, это строго запрещено, из этого может такая глея выйти, прямо не знаю!

Т а р а н т о г а. Как выглядел этот хронобус?

Г о с т ь. Вы хронобус не видали? А, правда, у вас, наверно, другие, старые модели. Он похож на лепешку, круглый такой, вроде как две вместе сложенные тарелки, только очень большой и вверху временница.

Т а р а н т о г а. Летающая тарелка?

Г о с т ь. Мы говорим — хронобус.

Т а р а н т о г а. И на таких хронобусах у вас устраивают экскурсии в прошлое?

Г о с т ь. Да. Но нельзя выходить. Даже ногу нельзя

наружу высунуть. Чтобы чего-нибудь не изменить или как там? Толком не знаю. Во всяком случае, запрещено.

Т а р а н т о г а. Скажите мне, какие важные исторические события произойдут до конца нашего столетия? Сейчас двадцатый век. А что будет делаться в двадцать первом?

Г о с т ь. Не знаю.

Т а р а н т о г а. Как это — не знаете?! Вы историю не изучали?

Г о с т ь. Да я часто болел.

Т а р а н т о г а. Что вы мне тут рассказываете?! Вот что, Гипперкорн или Новак, либо вы будете говорить...

Г о с т ь. Вы не нервничайте. Я скажу правду. Никому еще не говорил, но вам скажу. Когда меня записали в гипназ...

Т а р а н т о г а. В гипназ?

Г о с т ь. Там учат всему. Когда дети спят, так им прикладывают к ушам простни, и они вшептывают, вговаривают понемножечку, закрепляют в памяти все, что нужно. А мне не хотелось учить ни математику, ни историю, ни орбитронику, ничего вообще, я хотел видеть во сне то, что мне понравится, как взрослые. Так я лепил шарики из глины, затыкал ими простни и так вот жил себе в этом гипназе! Вы, наверно, думаете, что я был глупый. Может быть, но зато чего я навидался во сне, профессор! Фараоном был, королем каким-то, с такой золотой шапкой, потом этим... ну... царем... Царь это называлось, да? А как уж немного подрос, так заказал себе ту планету, где десять тысяч прекрасных дам двора королевы Эполисеи и ни одного мужчины! Ну, с этой-то планеты я еле вернулся, ноги подгибались, но уж нажился, так нажился!

Т а р а н т о г а. Где находится эта планета?

Г о с т ь. Как вы сказали? На самом-то деле ее нигде нет, это сны, которые заказывают. Вы выбираете из катасонницы — это список такой — и накручиваете, что угодно. Есть сны, запрещенные для молодежи, но я именно такие и выбирал. Знаете как? Ну, поднял крышку, под зубцы ограничителя засунул пландер моего старшего брата и накручивал, что мне заблагорассудится.

Т а р а н т о г а. Как это делается — с этими снами?

Г о с т ь. Точно не знаю. Есть Центральная, а дома — сонница, вроде этого вот (*показывает на телефон*), только у нее такие рожки, вот тут, на том месте, где кружок с номерами, такой прозрачный шарик, с отверстием, называется возбудильник.

Т а р а н т о г а. Словом, вместо того чтобы учиться, вы смотрели сны, да? И в результате вы неуч, потому что были лентяем?

Г о с т ь. Вроде так. Но разве из этого следует, что из-за меня должно быть вторжение нанов, и глея все возьмет, и потом, как я вернусь, меня выторбят? Ведь я не сделал ничего страшного. Девушка мне понравилась, и...

Т а р а н т о г а. Я уже слышал. А откуда вы знаете обо мне?

Г о с т ь. О вас? Ну, знаете... О вас любой знает! Ведь главная приемница на Марсе называется Тарантогов. Ведь вы же изобрели путешествие во времени...

Т а р а н т о г а. А может, вы знаете, почему моей машине нельзя отправиться в будущее?

Г о с т ь. Ясно, нельзя. Потому что Архирикс велел построить специальный барьер из времяпоглотителей, а то вы влезли бы в наше время, а потом в году... не помню, что-то около трехтысячного, но наверняка не знаю... утвердили этот закон о невмешательстве в прошлые времена. Чтобы глея не попала, и наны, и вообще чтобы ерунды не натворить. Через этот барьер нельзя перебраться.

Т а р а н т о г а. А как же пробираются ваши хронобусы?

Г о с т ь. Это дело другое. Когда экскурсия, так Темпор — бюро путешествий — открывает этот барьер в соответствующем месте, но под правительственным надзором, и там проходят хронобусы. Как вы думаете, этот мой хронобус еще тут? Ждет он меня? Хотя — это невозможно... Наверно, закрыли времяпоглотитель, чтоб глея не попала, но, может, хоть шелку оставили, а?

Т а р а н т о г а. Какую шелку?

Г о с т ь. Такой след, борозда во времени. Изохрон называется или как его там... Не помню. Никогда не интересовался наукой или техникой. Ой, беда со мной будет, беда! Чувствую, повторят меня!

Т а р а н т о г а. Что сделают?

Г о с т ь. Ну, если четыре недели я не подам признаков жизни, повторят меня. Моя Берильда наверняка будет за ним бегать...

Т а р а н т о г а. Кто это?

Г о с т ь. Моя жена.

Т а р а н т о г а. А! Женщина!

Г о с т ь. Не женщина, а женщиница. Меня не хватит на женщину.

Т а р а н т о г а. В чем состоит разница?

Г о с т ь. Как это — в чем? Ведь я же мужчина, верно?

Т а р а н т о г а. Хорошо, хорошо. У вас есть дети?

Г о с т ь. Еще нет. Но я должен был вскоре получить назначение.

Т а р а н т о г а. Назначение? Подумать только! А кто такие эти наны, о которых вы упоминали?

Г о с т ь. Наны? Это умственники. Умственник — это нан либо клеппель, но чаще нан. Случайно помню, мне Новак говорил. Отряд Эвтрихоспоридия, класс Амфотерия, семейство Наниссима. Делятся на ресничных и молочных. С ресничными еще можно выдержать, но молочные — о, это такие пролазы!

Т а р а н т о г а. А что делают эти наны?

Г о с т ь. Как когда. Обычно ничего, только приглядываются. Лезут, куда их не просят. Но хуже всего эта их мазь — глея! Такая, вроде смолы, а уж как заинтересуется человеком — будь здоров! Надо идти отдавать все в арбореалиум.

Т а р а н т о г а. А что такое это все?

Г о с т ь. Что все? Глея? Ну, глея... пасту из нее делают.

Т а р а н т о г а. Пасту?

Г о с т ь. У нас почти все из пасты делаем. У нас нет ничего такого (*показывает на электрическую лампу*).

Т а р а н т о г а. А что?

Г о с т ь. Паста. Даже такой стишок для малышей есть: «Паста светит, паста греет, паста деточек лелеет». Можно стены построить и одежду сделать... У вас нет пасты? Правда, ведь у вас и глея нет.

Т а р а н т о г а. А как вы были одеты, когда сюда прибыли?

Г о с т ь. Я вообще не был одет. В одежде нельзя выйти из хронобуса. Пришлось все снять...

Т а р а н т о г а. И вы голый бежали за этой девушкой, чтобы поухаживать? Любопытные обычаи.

Г о с т ь. Вы смеетесь? Я был не совсем голый, там был куст с такими большими листьями, я отломал ветку.

Т а р а н т о г а. И вы думали, что в таком костюме можно ухаживать?

Г о с т ь. Эта девушка тоже была почти не одета. Два маленьких таких лоскутка были на ней, вроде перевязок... Я вам правду скажу. Я думал... Ну, смейтесь надо мной, ладно! Я думал, что это пещерная эпоха... Мы ведь туда должны были ехать, а это, видимо, была лишь остановка. Почему я мог знать? Вижу: луг, дальше вода какая-то, идет себе девушка...

Т а р а н т о г а. Я это слышал уже несколько раз. Значит, вас зовут Гипперкорн?

Г о с т ь. Да.

Т а р а н т о г а. А где Новак?

Г о с т ь. Спит. Ему сделали укол.

Т а р а н т о г а. Ага. И что произошло потом, когда вы попали в лечебницу?

Г о с т ь. Я им рассказал, что им угрожает из-за меня, хоть я и невольно... Что во время пересадки нан может попасть сюда, а где один нан, там сто, а где сто, там уж и глея, и что из этого может выйти катастрофа в мировом масштабе... А они мне сказали, что все будет хорошо, что нанов не пропустят, что глея не просочилась, и заперли меня в таком ящике... Это называется комната, я уж теперь знаю. Я думал, знаете, что они все с ума сошли...

Т а р а н т о г а. Врачи?

Г о с т ь. Ну да. Вначале. Но Новак меня убедил, что они не знают всего, что мы знаем...

Т а р а н т о г а. И что же?

Г о с т ь. Я пустил его разговаривать, я видел, что он это делает лучше меня. Ну и действительно, он изображал, что ни меня, ни нанов нет, и глеи нет, вообще ничего нет, и что он — какой-то буха... как это? Бухарт, или как там, из этого самого Сосновца... но они вдруг разобрались в этом и не хотели нас выпустить...

Т а р а н т о г а. Вас? Так вас двое?

Г о с т ь. Ну, ясно, я и Новак, выходит, двое... И еще этот нан. Надо же такое несчастье, чтобы он именно тогда занялся пересадкой, когда эта девушка пла...

Т а р а н т о г а (показывает ему на часы). Который теперь час?

Г о с т ь. Двадцать семь сорок девять. Зачем вы мне это показываете? Что это?

Т а р а н т о г а. Часы. Что это за время вы сообщили?

Г о с т ь. Вы же спрашивали о времени, да? Я и сказал.

Т а р а н т о г а. А откуда вы знали, который час?

Г о с т ь. А откуда вы знаете, когда у вас голова болит? Чувствую. Вы не чувствуете времени?

Т а р а н т о г а. Нет. А как вы чувствуете? Чем?

Г о с т ь. Головой. Не знаю, как это делается. Это у всех у нас от рождения. А у вас нет?

Т а р а н т о г а. Сколько часов в ваших сутках?

Г о с т ь. Тридцать. Это марсианские сутки.

Т а р а н т о г а. Так вы с Марса?

Г о с т ь. Я же сказал вам, что я магуранин. Моя киприада находится на Малом Сырте. У меня там два пасикера.

Т а р а н т о г а. Что у вас случилось с рукой? (У Гостя перевязана рука.)

Г о с т ь. Это? Рана. Я нарочно себя поранил.

Т а р а н т о г а. Зачем?

Г о с т ь. Это так было: сегодня утром я поссорился с Новаком. Я ему доверял и позволял делать, что он хочет, но вижу, что время идет, а ничего не получается, не выпускают нас. И мне пришло в голову, что они меня принимают за искусственника.

Т а р а н т о г а. Что это такое?

Г о с т ь. Имитаторник. Вы не знаете? Действительно, у вас я не видал. Когда покупают, то говорят: «Дайте мне кибернака», но обычно мы говорим «искусственники».

Т а р а н т о г а. Роботы?

Г о с т ь. Роботы? Роботы — это раньше было. Когда еще из железа делали. Теперь они только в музеях стоят, совсем заржавевшие. Искусственник сделан из того же самого, что и человек, а разница только та, что у него нет крови. Если уколоть, кровь из него не идет. Так вот, я уколол себя, чтобы им показать, что я человек! Новак не хотел, но я с ним справился. Я ужасно разозлился, что все так без конца тянется. А потом, как пришли со шприцем, так я выпустил Новака, и ему сделали укол. Неплохо, а? А как он заснул, я встал, нашел в пижаме какой-то носок, набил его песком, пошел по коридору, а в дверях встретил этого, главного там, знаете...

Т а р а н т о г а. Врача? Ага! И вы его ударили по голове...

Г о с т ь. Именно. И переоделся. А что мне было делать?

Т а р а н т о г а. Хорошо. Может, вы мне расскажете побольше об этих нанах? Откуда они взялись?

Г о с т ь. Не знаю.

Т а р а н т о г а. Они похожи на людей?

Г о с т ь. Что вы! Они маленькие...

Т а р а н т о г а. А когда они появились?

Г о с т ь. А гляя их знает! Я не нанолог, извиняюсь. Они всегда бегают скопом, чтобы сделать гвул. Стараются обойти человека с трех сторон, дотронуться до него и — трах!

Т а р а н т о г а. Что — трах? Убивают?

Г о с т ь. Ничего подобного! Что вы? Просто — пересадка. Пересаживаются через него, понятно? Им человек нужен только для пересадки.

Т а р а н т о г а. А в чем состоит пересадка?

Г о с т ь. В том, что они обмениваются. Взаимно.

Т а р а н т о г а. Как они выглядят?

Г о с т ь. Они немножко похожи на лосанки. Знаете, что такое лосанки? Вижу, что нет. Это такие прамхи на Марсе.

Т а р а н т о г а. Это тоже какие-то разумные существа?

Г о с т ь. Что вы?! Это так, как на Земле трава, кусты...

Т а р а н т о г а. Значит, наны похожи на растения?

Г о с т ь. Где там! Вы спрашивали, что такое лосанки, да? Лосанки на Марсе то же самое, что на Земле растения. Но у них нет ни ветвей, ни листьев, и они не зеленые.

Т а р а н т о г а. Так чем же они похожи на растения?

Г о с т ь. Тем, что стоят и растут, и это... сахар делают из воздуха, что ли? Фотосинтез это называется, да?

Т а р а н т о г а. Оставим в покое лосанки. Может, вы мне нарисуете нана? Вот вам карандаш и бумага.

Г о с т ь. Я не умею рисовать.

Т а р а н т о г а. А вы попробуйте. Более или менее.

Г о с т ь. В какой фазе его рисовать?

Т а р а н т о г а. А они проходят какие-то фазы?

Г о с т ь. Ясно. Знаете что? Нарисуйте мне воду. Сумеете? Тогда я вам нарисую нана...

Т а р а н т о г а. Значит, они разные по формам? Они прозрачные?

Г о с т ь. По-разному бывает. Раньше люди, похоже, выдержать не могли. Это ведь стесняло, понимаете... Что бы вы там ни делали, дома или в кровати, вдруг выскочит тройка нанов, примерится — и прыг! Но они уже страшно давно появились, так что мы успели привыкнуть. Да и в конце концов от этой их глеи есть польза, я вам говорил. Пасту из нее делают.

Т а р а н т о г а. Они производят эту глею? Как она выглядит?

Г о с т ь. Да как хотите. Она такие штучки отмачивает, ого-го! Как начнет вздуваться, так ясно, что наны поблизости. Она за ними тянется, как хвост.

Т а р а н т о г а. А не пробовали устранить этих нанов? Ликвидировать их как-нибудь?

Г о с т ь. Не знаю. Да ведь глея все равно осталась бы, верно? Она бы нам дала духу! Ведь и так говорят: «А, чтоб у тебя глея протухла!»

Т а р а н т о г а. Это ругательство?

Г о с т ь. Ну да.

Т а р а н т о г а. А почему вы боитесь каких-то неприятностей в связи с нанами?

Г о с т ь. Не для меня. Для вас. Мы-то антинанизованы при рождении. А за то, что я этого нана сюда притащил, мне пришлось бы потом отвечать. Еще выторбят меня за это, или...

Т а р а н т о г а. А расскажите, пожалуйста, как это выглядит, когда три нана делают «пересадку».

Г о с т ь. Да пожалуйста. Значит, предположим, я стою так... *(Встает и, говоря, одновременно показывает все жестами, иллюстрирует мимикой.)* Тут подбегают двое, значит, спереди *(приставляет большие пальцы надо лбом, как рога)*, а третий тут, сзади, пониже крестца... Те проходят через головной мозг, а этот, сзади, делает гвул вверх, через спинной мозг... вот так... *(Показывает, будто сзади у него вырастает хвост.)*

Т а р а н т о г а. Подождите... Ведь так выглядит... Этот, что сзади, выглядит, как хвост?

Г о с т ь. Ну, не очень! Немножко. Он делается все длиннее, с таким лохматым концом. Но только на минутку. Это ведь быстро делается, понимаете...

Т а р а н т о г а. Но это же значит... Так человек выглядит тогда, как дьявол?

Г о с т ь. Как что? Я этого слова не знаю.

Т а р а н т о г а. А не появлялись наны очень-очень давно? Вы ничего об этом не слышали?

Г о с т ь. Будто бы появлялись, но их было очень мало. И назывались они... а, знаю уже! Прананы. Главная их личиночница была на Марсе. Кажется, поодиночке они бывали и на Земле. Что-то до меня доходило. Раньше, когда они появлялись, люди говорили, что это... одержимость, или как там... Вы, может, слышали? Люди их тогда боялись. После пары пересадок, если кто не антинанизован, так прежде всего начинают волосы расти на ногах, такие длинные, черные... Перестань! Сейчас же перестань! У, гвайзель!

Т а р а н т о г а. Что случилось?

Г о с т ь. Новак проснулся! Не лезь! Я с профессором говорю! Ну! Ну-у! *(Строит мины, вращает глазами. Вдруг выражение лица у него меняется. Он продолжает стоять, но превратился в Новака.)*

Г о с т ь *(голосом Новака).* Ах, пырзва ты этакая! Проты! Где я? Профессор Тарантога? Профессор, это я, Казимир Карнак Игнаций Новак, старший временной выпучивальницы номер семь!

Т а р а н т о г а. Что это означает? Где Гипперкорн?!*

Г о с т ь. Этот идиот? Так он вам не сказал? Голова у меня трещит... Сделали мне какой-то проклятый укол... О чем вы спрашивали? Ага, можете не повторять. Знаю. Вот сумасшедший! Бросился на директора, я не мог его удержать. Я думал, он его убьет...

Т а р а н т о г а. Он говорил, что его птолемизируют...

Г о с т ь. Да ведь это идиот, идиот, не понимает, что птолемизацию изобрели только в 2683 году! Пожалуйста, не разговаривайте с ним вообще! Это кретин! Не понимаю, как могли меня подсоединить к такому...

Т а р а н т о г а. Что, простите?!

Г о с т ь. Сейчас вы все поймете. Я не мужчина, профессор, а мужинник. Разница такая же, как между личностью и личинником. Мужинник — это человек, являющийся носителем по крайней мере двух различных и независимых индивидуальностей...

Т а р а н т о г а. Что вы говорите?!

Г о с т ь. Послушайте, пожалуйста! Вы ведь знаете, что человеческий мозг состоит из двух почти совершенно независимых друг от друга полушарий. Арчибальд Пранфосс открыл в 2989 году возможность вводить в мозг одного человека две разные индивидуальности. Сначала это делали только для экономии, понимаете? Например, на межзвездных крейсерах, где мало места для экипажа и где один и тот же человек должен нести вахту двадцать четыре часа в сутки. Так вот, в его мозг вводят две индивидуальности, и пока одна отдыхает и спит, другая стоит на посту. Позднее начали это делать не только в целях служебного уплотнения, потому что это дает громадные возможности, когда личность можно перенести из одного тела в другое. Если, скажем, надоеет общество того, другого, или если кто-либо не хочет больше быть невысоким блондином, а желает стать плечистым брюнетом... или если кому-нибудь захочется опять побезумствовать, как в молодости... Тогда при помощи аппаратуры Пранфосса — Мардивани совокупность нейронной структуры его мозга передается в сферу другого мозга. Есть лишь одно ограничение — обе личности должны быть одного и того же пола. Я именно являюсь, то есть был, старшим временным выпучивальницы номер семь того хронобуса, на котором этот бездельник Гипперкорн путешествовал в пещерную эпоху, и когда я был свободен от дежурства, во время моего сна, этот кретин, увидев какую-то девушку в купальном костюме, выскочил из машины...

Т а р а н т о г а. О, небо! Я начинаю понимать...

Г о с т ь. Он сказал вам о Грапсодроре?

Т а р а н т о г а. Нет.

Г о с т ь. Он давно тут?

Т а р а н т о г а. Около часу...

Г о с т ь. Ну, не прав ли я был, говоря, что это исключительный кретин?! Ведь это же самое важное!! Грапсодрор — это, профессор, тот нан, который как раз пересаживался с двумя другими, когда Гипперкорну вздумалось бежать за раздетой фифочкой! И он теперь сидит во мне, да, собственно, не во мне, а между нами двумя.

Т а р а н т о г а. Это означает, что он... что этот нан находится в вашем теле?

Г о с т ь. Сейчас я и это постараюсь объяснить, но только в двух словах, времени нет! Пранфосс разработал свой метод произвольного подсоединения и отсоединения индивидуальностей именно благодаря исследованию нанов. Он был психиатром-нанологом. Наны делают нечто подобное миллионы лет: передают формулы своих индивидуальностей. Им удобно применять в качестве проводника, в качестве медиума-посредника, человеческий мозг в связи с биоапазитовым полем, которое создается вокруг *corpus callosum*. Я не могу вдаваться в подробности! Этот Грапсодрор сидит во мне, в скрытом, правда, виде, как — ну, не знаю — какие-нибудь ужасные бактерии находятся в скрытом виде в теле человека. Но он не выдержит так долго, я это чувствую, ведь я с ним маюсь уже несколько недель!

Т а р а н т о г а. Вы кто, собственно? Техник? Ученый?

Г о с т ь. У нас это понятия взаимозаменяемые. В нескольких словах: в нашем обществе судьба человека зависит от его интеллектуального уровня. Люди ценные, с выдающимися способностями имеют право на целое собственное тело. Я именно и был таким, был самостоятельным, суверенным мужчиной!

Т а р а н т о г а. Так зачем же вы и Гипперкорн?..

Г о с т ь. В этом-то и состоит трагедия моей жизни. Я влюбился без взаимности в Эльжбету Праннек. Она не хотела меня знать, а когда я начал настаивать, она от меня убежала.

Т а р а н т о г а. Куда?

Г о с т ь. Перебралась сначала к своей подруге, Марте, а когда я ее и там нашел, подсоединилась к Берильде Гипперкорн...

Т а р а н т о г а. А-а!

Г о с т ь. Вот именно! И я в отчаянии, не видя другой возможности, по собственному желанию дал себя подсоединить к мужу Берильды, и лишь тогда мне удалось склонить Эльжбету к супружеству!

Т а р а н т о г а. Значит, эта женщина...

Г о с т ь. Женщинница, не женщина, профессор! Она, так же, как и я, двойственна — как Берильда является женой Гипперкорна, а как Эльжбета — моей женой. Я не хотел бросать своей работы, я высоко ценимый временной, так что когда мне пришлось отправиться в это путешествие, я всячески уговаривал Гипперкорна, пока он не согласился поехать со мной в качестве участника экспедиции. Я хотел, чтоб он был вместе со мной, потому что эта его Берильда ничего не стоит, кокетка, в голове у нее только смешки да сласти, наряды да прогулки, а моя Эльжбета — стереопакулянка третьего избрания! У нее закончена аристорская работа! Теперь вы понимаете? Эй! Эй, отключись, болван! Сейчас я разговариваю! Что ж это такое? Я на тебя жалобу подам, ты, негодяй!

Сумасшедшие мины. Возвращается голос Гипперкорна.

Не слушайте его! Убирайся ты, полизина этакая! Не слушайте его, профессор! А что? А ты про мою что говорил? Нет, это я ему, профессор! Что он себе воображает?! Вылез, потому что мне так захотелось, и все тут! А этого нана мы оба захватили невольно, и точка! Большое дело — нан! Нана никто еще не видал! Что может сделать один нан? Наверняка найдется где-нибудь антинанол...

Т а р а н т о г а. Вы Гипперкорн?

Г о с т ь. Ясно! То, что он говорил, это вранье! Клевета! Его жена, смотрите-ка, важная птица! Он самая настоящая свинья, я уже давно хотел подать на него жалобу! Сначала умолял, на коленях просил, чтоб я ему позволил подсоединиться, а теперь, когда я с моей женой, понимаете, так он насильно включается! Не может подождать, пока Берильда уснет и эта его Эльжбета будет действовать! И вот притаится этак, а я спрашиваю: «Чего ты ищешь, чего хочешь, это не твоя жена, иди спать!» — а он говорит: «Нет, я так только, подумаю немножко, я тебе мешать не буду...» И вдруг ни с того ни с сего по-хамски подбирается к *моей жене*!! Вы слышите?! Хватит! Отключись! Эй! Я тебе сейчас!

Корчит дикие мины, грозит самому себе кулаком.

Г о с т ь (*голосом Новака*). Профессор! Все это — куча мерзких выдумок! Нужна мне его Берильда! Это идиотка,

такая же, как он! Профессор, я сейчас вам объясню, что надо делать, чтобы временно обезвредить этого Гипперкорна! У меня есть для вас масса сенсационных сообщений! Сначала — исторические, я изложу вам ход событий на ближайшие четыреста лет. Я писал об этом магистерскую работу, знаю все даты наизусть. Я не такой балбес, как этот ментильщик-любитель Гипперкорн! А во-вторых, надо навести порядок с этим наном, а то... *(Начинает дрожать всем телом, кричит сдавленным голосом.)* Профессор... возьмите шприц... какое-нибудь... снотворное... бы-стро... Убирайся!

Г о с т ь *(голосом Гипперкорна)*. Он меня хочет усыпить! Как бы не так! Даже не пробуйте, профессор! Как только мы вернемся, подам жалобу, пускай его выселяют в разбитый мозг! Могут мне подселить кого угодно, лишь бы не этого грумлоха!

Т а р а н т о г а. Я считаю, что для общего блага вы должны все же дать говорить Новаку. Он лучше ориентируется и в качестве, так сказать, вашего соседа по телу может...

Г о с т ь. Что-о?! Так вы тоже против меня?! Как-никак хоть я и стеснен, хоть я и с этим дирвуплем, да еще вдобавок с наном в голове, я всегда справлюсь с таким, с позволения сказать, ученым из послепещерной эпохи, как вы! Слушайте меня и выполняйте мои приказы, тогда мы столкнемся, а нет, так вы пожалеете! Прежде всего принесите маленький ножик! Но чтоб был острый!

Т а р а н т о г а. И не подумаю! Дайте слово Новаку!

Г о с т ь. Что-о? А-а... прочь! Отстань! Нет, я тебе сейчас...

Озирается сумасшедшими глазами. Видит большое зеркало на стене, подбегает к нему, и начинается ссора: то голосом Новака, то голосом Гипперкорна, яростно размахивая руками, жестикулируя, грозя себе, даже давая самому себе затрецины, Гость кричит.

Г о с т ь. Гипперкорн, перестань, а то я тебя извайглую!

Г о с т ь. Шать твоя, гнилой древесиной расписанная!

Г о с т ь. Чтоб тебе струпель зеленой в пескоустье!!

Г о с т ь. Катись вместе со своей Эльжбетой, ты, грязнонос нановатый!

Г о с т ь. Погоди, вот вернемся, я как дам тебе матрикулом через гелайстер, так тебе родная штамповница не поможет!

Г о с т ь. А тебя и бортолайза не спрячет, грызна ты мурчапная!

Г о с т ь. Фрук тебе в рентак!

Г о с т ь. Во-он! Прошу меня немедленно отключить!! Не останусь с этим хамом больше ни секунды!

Г о с т ь. Да погоди, ведь нан выскочит...

Г о с т ь. Пусть выскакивает, мне все равно!

Г о с т ь. Профессор, прикажите арестовать этого нанофила!

Г о с т ь. Замурковать его! Расклеивать! Перептолемизировать!

Слышен стук в дверь. Гость вдруг отступает в угол и затихает.

М е л а н ь я (входит). Профессор! Какая-то дама к вам.

*Прежде чем профессор успеваеt ответить,
входит могучая же н а Г о с т я, за ней магистр С я н к о.*

С я н к о. Извините, профессор, эта дама настойчиво утверждала, что у вас находится некий Новак... О! Он и вправду здесь!

Ж е н а. Как ты себя чувствуешь, котик? Добрый вечер, профессор! Не сердитесь, пожалуйста, что я так ворвалась. Я только за мужем пришла...

Т а р а н т о г а. Это... ваш муж? Как его зовут?

Ж е н а (с легким смешком, очень спокойно и по-деловому). Что значит — как? Новак. Казимир Новак. Мы живем на Саской Кемпе... * Он очень скандалил, скажите?

Т а р а н т о г а. Ну... нет...

Ж е н а. Профессор, это вы из вежливости так говорите, но я по его глазам вижу... Он у меня так через каждые два месяца сбегает, вот представьте! Сначала я место ему устроила в кооперативе, но разве у него это в голове! Только бы сказки рассказывать. Другое дело, что это-то он умеет, ночь напролет можно слушать. Но не для меня, не для законной супруги, что вы! А какие истории знает! Он ведь в цирке сначала был чревовещателем, но выгнали его, потому что пил без просыпу. Нигде ему неохота работать. «Ладно, — говорю, — я уж тебя прокормлю, сиди только дома!» А он ушки на макушке, а через несколько дней уж смотрит, как бы улизнуть. И ходу! Ему больше нравится сумасшедшего корчить, вот подумайте, чем с женой жить, как полагается, в хорошей квартире! Интересно мне, какой он тут номер отколол? В прошлом году, как пошел в больницу, сказал, что он — король Мандрагорос из Питвы какой-то, что ли, у него сорок четыре планеты в подданстве. Вот вам! А как ему надоест, так ото всего откажется, выпишут его как здорового, он и вернется... Но в этот раз что-то уж очень долго его

* Жилой район в Варшаве.

не было. Я бегала, расспрашивала... Ага! В Обленцин попал. Но уж и пакостей там наделал! Без милиции не обойдется. Ну, идем, Казик! Только ты мне тут представлений не устраивай, а то перед профессором стыдно будет. Давай домой! Интересно, кто он теперь? Князь Ксафириус со звезды Опал Шесть?

Т а р а н т о г а. Нет. Магуранин с Марса.

Ж е н а. С Марса? Вон как — с Марса! Марсианин, значит? Ну, иди, марсианин ты мой, иди...

Новак покорно идет за ней. Тарантога смотрит на них.

Ж е н а (с порога). Прошу прощения, профессор, за все хлопоты, что он вам доставил, и за потерянное время...

Т а р а н т о г а. О, это ничего, ничего...

Ж е н а. Спокойной ночи!

Выходят. Сяно смотрит на Тарантогу. Тарантога на Сяно.

С я н к о. Вот так история! Он тут часа два просидел, пожалуй, воображаю, что он вам нарасказывал... Хи-хи! (Давится со смеху, сразу закрывает рот.) Извините...

Т а р а н т о г а. Значит, вы склоняетесь к мнению, что он не из будущего?

Сяно издает нечленораздельный звук, смотрит на Тарантогу, как на сумасшедшего.

Т а р а н т о г а (спокойно). А вы обратили внимание на ее ноги?

С я н к о. Нет... А что?

Т а р а н т о г а. Ее туфли... Я сейчас вам объясню. Но сначала будьте любезны, выбегите побыстрее на улицу и посмотрите, что с ними случилось. Ну, идите же, раз я говорю!

Сяно крутнулся на месте, побежал. Профессор прохаживается у открытой балконной двери. Вскоре запыхавшийся Сяно возвращается.

С я н к о (с порога). Нет их... Нигде... Я до угла пробежал... Наверно, ее такси ждало внизу...

Т а р а н т о г а. Не было никакого такси. Я поглядел в окно.

С я н к о. Так как же? Улица видна в обе стороны, она пуста. Никого нет, скоро двенадцать... Вы думаете, они спрятались в саду? Зачем?

Т а р а н т о г а. И в саду они не спрятались. Ее послали, чтоб забрать его отсюда по возможности деликатно. Не вери-

те? Попробуйте завтра через милицию поискать Казимира Новака с женой на Саской Кемпе. Вы все еще ничего не понимаете? Ее выдали туфли. Таких ни одна женщина не надела бы. Она была одета, как одеваются женщины сейчас. Это они могли высмотреть со своих хронобусов — с летающих тарелок... Но туфель с большого расстояния толком не рассмотришь. Это туфли — ну, примерно, начала девятнадцатого века...

С я н к о. А это доказательство?

Т а р а н т о г а. Для меня — да. Я, конечно, не противился, делал вид, что принимаю все за чистую монету, а то они могли бы прибегнуть к более энергичным средствам. Они хотели забрать его отсюда без шума, так, чтоб ни следа не осталось... Даже мысли в чьей-либо голове... Что касается вас, это им удалось. Они исчезли, говорите? Наверно, тротуар под ними расступился! Ну, уже поздно. Ничего не поделаешь, надо спать ложиться, завтра опять рабочий день. Доброй ночи, дорогой магистр Сянка! Спокойных снов...

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ

Радиопьеса

Действующие лица

Профессор Тарантога.

Магистр Сянко.

Изобретатель перпетуум - мобиле.

Закрываатель изобретений.

Инженер Зумпф.

Изобретатель антеррода.

Двое предвосхитителей.

Кабинет профессора Тарантоги. Профессор заводит музыкальную шкатулку, довольно фальшиво напевает мотив. Потом заводит другую. Стук в дверь.

Тарантога. Магистр Сянко, вы? Заходите.

Сянко. Пора начинать, господин профессор. В приемной полно народу.

Тарантога. Много посетителей, вы говорите?

Сянко. Шесть человек.

Тарантога. И тот бородатый маньяк тоже?

Сянко. А как же. Целый час ждет. До того сидел на лестнице.

Тарантога. Так передайте ему: сегодня я не смогу им заняться.

Сянко. Этим его не проймешь. Вы же знаете, господин профессор.

Тарантога. Тогда, пожалуйста, вышвырните его.

Сянко. Мне с ним не сладить, господин профессор.

Тарантога. Скажите, что я его не приму. Пусть уходит.

Godzina przyjęć profesora Tarantogi, 1975

© Константин Душенко, перевод, 1994

Ся н к о. Я уже говорил. Не хочет.

Т а р а н т о г а. Не хочет?

Ся н к о. Не хочет. Он модель принес.

Т а р а н т о г а. Не может быть!

Ся н к о. Принес, господин профессор. Она у него с собой.

Т а р а н т о г а. И что, вертится? Ведь это невозможно. Обыкновенное жульничество. Вы сами видели?

Ся н к о. Как вертится — нет. Она в бумагу завернута.

Т а р а н т о г а. Ах, вот как. Хорошо, пусть войдет.

Входит бородач с большим свертком.

Б о р о д а ч. Вы мне не верили, господин профессор, не верили, а я принес. Вот, пожалуйста! (*Шелест разворачиваемой бумаги.*)

Т а р а н т о г а. Почему вы не стрижены?

Б о р о д а ч (*разворачивая сверток*). Не на что было.

Т а р а н т о г а. Я же вам дал на парикмахера.

Б о р о д а ч. Пришлось прикупить запчасти... винтиков не хватало. Вот! (*Ставит на стол перпетуум-мобиле.*)

Т а р а н т о г а. И это называется перпетуум-мобиле?

Б о р о д а ч. Не «называется», а действительно перпетуум-мобиле! Сейчас увидите! Вечный двигатель, самый что ни на есть настоящий! Завтра иду за патентом!

Т а р а н т о г а (*спокойно*). Он не вертится.

Б о р о д а ч. А я говорю, вертится. Сейчас завертится, только ручку найду... Вот ключи... проездной... запасное колесо... Куда же она подевалась?

Т а р а н т о г а. Я ведь вижу — стоит. Даже не шелохнется.

Б о р о д а ч. Ну да, стоит. А где сказано, что перпетуум-мобиле сам должен заводиться? Нужен первый толчок.

Т а р а н т о г а. Ладно, толкайте, но поживее. Времени у меня нет. Вы отняли его предостаточно — целыми неделями не даете покоя.

Б о р о д а ч. Где ручка? Клянусь головой, я положил ее сюда! А! Вот она. Внимание! Историческая минута! Смотрите!

Слышно, как приходят в сцепление шестерни, что-то начинает вертеться все быстрее и быстрее.

Б о р о д а ч (*торжествующе*). Ну, видите?

Т а р а н т о г а. Вижу, как вы ее вертите. И что с того? Ради Бога, перестаньте!

Б о р о д а ч. Сейчас, сейчас, пусть хоть немного разгонится!

Т а р а н т о г а. Да перестаньте же! Перпетуум-мобиле должен вращаться сам!

Бородач (*крутит*). Знаю. Я тружусь над этой машиной восьмой год!

Тарантога. Господин Фрик, я вам сто, нет тысячу раз говорил, что перпетуум-мобиле невозможен! Нельзя черпать энергию из ничего! Это противоречит законам природы! Ваше так называемое изобретение гроша ломаного не стоит... Да перестаньте крутить, когда с вами разговаривают!

Бородач. Не могу. (*Крутит.*)

Тарантога. Почему?

Бородач. Не могу рисковать! От этого эксперимента зависит слишком многое. Вы сами сказали — если будет вертеться, вы отдадите мне все свое состояние. А вдруг где-то заест, откажет, что тогда?

Тарантога. И долго вы будете валять дурака?

Бородач (*крутит*). Да я не валяю. Это историческая минута. Поглядите только, как изумительно вертится! Настоящий перпетуум-мобиле!

Тарантога. Да не сам же! Это вы вертите!

Бородач. Я так только, на всякий случай. Не обращайтесь внимания. Сам бы тоже вертелся, слово даю!

Тарантога (*угрожающе*). Так вы не перестанете?!

Бородач (*крутит*). Профессор, будьте же человеком... мне нужны триста злотых.

Тарантога. Как, опять?

Бородач (*крутит*). У меня электричество выключат, если я не оплачу счет. А потом, я-то не вечный двигатель. Я должен есть, чтобы двигаться.

Тарантога. Больше я не дам водить себя за нос! Это наглость!

Бородач. Вы что, собственным глазам не верите? Разве свидетельство ваших собственных чувств — не самое лучшее доказательство?

Тарантога. Но машину вращаете вы!

Бородач. Это несущественно.

Тарантога. Значит, не перестанете?

Бородач. Риск слишком велик. Не могу. Но дома вертелось само. Ей-богу! Вы должны мне поверить! Только послушайте, как чудесно жужжит!

Тарантога. Убирайся, мошенник!

Бородач. Почему «мошенник»? Вы разозлились, потому что я доказал, что перпетуум-мобиле возможен!

Тарантога. Невозможен!

Бородач. А это что?

Тарантога. Ну и прохвост! Чего вам от меня надо?

Бородач (*крутит*). Триста злотых, я же сказал...

Т а р а н т о г а. Даю сто при условии, что больше вас не увижу.

Б о р о д а ч. Да это миллионы стоит, а вам каких-то трех сотен жалко? Я допущу вас к участию в прибылях — двадцать процентов ваши.

Т а р а н т о г а. Вон!

Б о р о д а ч (*крутит*). Сорок процентов! Больше не могу. Дай Бог вам быть таким щедрым.

Т а р а н т о г а. Тут двести злотых.

Б о р о д а ч. У меня обе руки заняты, будьте любезны, положите мне сами в карман... Благодарю! Сегодня же начинаю строить модель вдвое большую. Еще увидите. (*Выходит.*)

С я н к о (*входит*). Ну как, господин профессор, крутилось?

Т а р а н т о г а. Да. У меня и теперь еще кружится — в голове. Если он явится еще раз, немедленно вызывайте полицию.

С я н к о. Вы так всегда говорите. Можно звать следующего?

Т а р а н т о г а. Сейчас, только передохну. Кто там на очереди?

С я н к о. Кто-то из новеньких. Я его ни разу не видел.

Т а р а н т о г а. С собой принес что-нибудь?

С я н к о. Нет.

Т а р а н т о г а. Пусть войдет.

З а к р ы в а т е л ь. Здравствуйте...

Т а р а н т о г а. Прошу садиться. Могу уделить вам пять минут ровно. Слушаю.

З а к р ы в а т е л ь. Но, господин профессор, пяти минут мало, речь идет о плодах многолетних раздумий и наблюдений!

Т а р а н т о г а. Осталось четыре минуты пятьдесят секунд. Слушаю.

З а к р ы в а т е л ь. Как вы безжалостны! Хорошо, я попробую, я уже начинаю. Я, господин профессор, не обычный изобретатель.

Т а р а н т о г а. Обычных и не бывает. Что вам угодно?

З а к р ы в а т е л ь. Я не изобретатель и не открыватель. Я антиоткрыватель, иначе говоря, закрыватель. Глубокий анализ всемирной истории во всей ее совокупности привел меня к выводу, что человечеству не нужны уже никакие открытия. Совершенно напротив — оно страдает от их избытка. И я решил помочь человечеству.

Т а р а н т о г а. Каким образом?

З а к р ы в а т е л ь. Путем закрытия особенно вредных открытий. Какой из кошмаров нашего времени страшнее все-

го? Атомная энергия. Следовательно, что нужно сделать? Нужно ее закрыть. Так я решил...

Т а р а н т о г а. Но каким образом?

З а к р ы в а т е л ь. Моим собственным методом — методом добрых разводов.

Т а р а н т о г а. Как, как? Не понял.

З а к р ы в а т е л ь. Очень просто. Все гениальное просто. Смотрите, вот план операции... (*Шелест бумаги.*)

Т а р а н т о г а. Что это? Вы занимаетесь генеалогией?

З а к р ы в а т е л ь. Это генеалогическое дерево Альберта Эйнштейна. Ведь Эйнштейн первый заварил эту кашу с атомами. Это он открыл эквивалентность материи и энергии. Поэтому надо расстроить свадьбу его родителей. Если они не поженятся, у них не будет детей, если у них не будет детей, Эйнштейн никогда не родится, а если он не родится, не будет и атомной бомбы.

Т а р а н т о г а. Вот как! Но ведь они уже поженились, добрых сто лет назад, и он таки родился!

З а к р ы в а т е л ь. Не страшно, — а машина времени на что?

Т а р а н т о г а. Машина времени?

З а к р ы в а т е л ь. Ясное дело. Нужно отъехать назад в прошлое, разыскать родителей Эйнштейна прежде, чем они поженятся, и развести их до свадьбы при помощи разных уловок. Я разработал шесть способов досвадебного развода, а именно: сплетни, игра на самолюбии, разжигание межсемейных раздоров, взятки и подкуп, в крайнем же случае — похищение невесты из-под венца. А если не поможет и это, нужно отъехать в прошлое еще дальше и развести тех родителей, у которых родятся родители Эйнштейна. Где-нибудь да получится, это уж точно!

Т а р а н т о г а. А машину времени вы тоже изобрели?

З а к р ы в а т е л ь. Нет. Я один не могу изобрести все сразу. Машиной займетесь вы, господин профессор. Я даю «Закат», вы — машину времени. Вы половину, и я половину.

Т а р а н т о г а. Какой еще «Закат»?

З а к р ы в а т е л ь. Это секретный код операции «Закрытие атома».

Т а р а н т о г а. Дорогой мой, если бы даже вам удалось сделать то, что вы предлагаете, ничего бы не вышло. Не будь Эйнштейна, формулу открыл бы кто-то другой.

З а к р ы в а т е л ь. Кто?

Т а р а н т о г а. Не знаю. Но кто-нибудь — наверняка.

З а к р ы в а т е л ь. Стало быть, надо найти его родителей и развести.

Т а р а н т о г а. Почтеннейший, нельзя развести всех родителей, иначе вы перестанете существовать. Пока рождаются дети, из них непременно будут вырастать изобретатели и ученые. Впрочем, пять минут истекли. Ваша идея не представляет для меня интереса. Прощайте.

З а к р ы в а т е л ь. Не представляет? Хо-хо!

Т а р а н т о г а. Что?!

З а к р ы в а т е л ь. А то, что я, значит, пойду, а вы останетесь с моей эпохальной идеей!

Т а р а н т о г а. Я? С вашей идеей? Да она никому не нужна!

З а к р ы в а т е л ь. Хо-хо!

Т а р а н т о г а. Да прекратите вы свои «хо-хо»! Я не хотел говорить, но раз уж на то пошло — пожалуйста. Ваша идея — чистейший бред.

З а к р ы в а т е л ь. Хо-хо. Так всегда говорят, а потом на чужих идеях сколачивают капиталец...

Т а р а н т о г а. Какая бессовестная клевета! Чего вам, собственно, надо?

З а к р ы в а т е л ь. Чтобы вы взяли меня в долю...

Т а р а н т о г а. Вы что, не понимаете человеческого языка? Вашу идею я считаю бредовой и не хочу о ней слышать.

З а к р ы в а т е л ь. Да, но я вот уйду, а вы ее будете помнить...

Т а р а н т о г а. Не могу же я ее вычеркнуть из памяти!

З а к р ы в а т е л ь. Знаю, знаю. Я этого и не требую.

Т а р а н т о г а. Тогда чего же?

З а к р ы в а т е л ь. Эквивалента.

Т а р а н т о г а. Денег?

З а к р ы в а т е л ь (*спокойно*). А чего еще.

Т а р а н т о г а. Ну нет, я не позволю себя объегорить. Уходите.

З а к р ы в а т е л ь. Хо-хо...

Т а р а н т о г а. Опять?!!

З а к р ы в а т е л ь. Тысяча монет — и мы расстанемся друзьями.

Т а р а н т о г а. Раньше у меня волосы вырастут на ладони!

З а к р ы в а т е л ь. Тогда пятьсот и ваше честное слово, что вы не воспользуетесь идеей.

Т а р а н т о г а. Могу предложить вам честное слово и пятьдесят грошей на трамвай.

З а к р ы в а т е л ь. Хо-хо!

Т а р а н т о г а. Послушайте, это просто смешно. Ваша идея выеденного яйца не стоит.

З а к р ы в а т е л ь. Как бы не так! А если, допустим, пойти к какому-нибудь фабриканту нейлона и сказать: либо вы берете меня в долю, либо я своим закрывателем закрою открытие нейлона, и тогда плакали ваши денежки... Думаете, не согласится?

Т а р а н т о г а. Я думаю, что вы по натуре не столько открыватель...

З а к р ы в а т е л ь. Закрываетель.

Т а р а н т о г а. ...Ладно, пускай закрываетель, — сколько обыкновеннейший вымогатель. Я ни гроша вам не дам, милейший. Что скажете? Хо-хо!

З а к р ы в а т е л ь. Ничего. Я включу вас в мой черный список.

Т а р а н т о г а. Какой еще список?

З а к р ы в а т е л ь. Не воображайте, будто вы первый выудили у меня эту бесценную идею. Всех, кто отказывает мне в эквиваленте, я заносу в черный список. А когда моя идея осуществится, я по очереди разведу родителей всех кретинов, посмевавшихся показать мне на дверь. Вы тоже перестанете существовать!

Т а р а н т о г а. Убирайтесь.

З а к р ы в а т е л ь. Вы еще пожалеете. (*Уходит.*)

Т а р а н т о г а. Магистр Сянко!

С я н к о. Слушаю. Я как раз собирался войти...

Т а р а н т о г а. У-у-у! Даже жарко стало! Кто следующий?

С я н к о. Новичок какой-то, ни разу у нас не был.

Т а р а н т о г а. С моделью?

С я н к о. Что-то держит под мышкой.

Т а р а н т о г а. Псих?

С я н к о. Не знаю, господин профессор. Глаза у него, вообще-то, блестят и словно бы бегают...

Т а р а н т о г а. Делать нечего: пусть входит...

Входит инженер Зумпф.

З у м п ф. Можно? Инженер Зумпф.

Т а р а н т о г а. Так вы инженер? Это звучит по-деловому. Садитесь. Я слушаю.

З у м п ф. Известно ли вам, что самая страстная мечта человечества — это загробная жизнь? Существовать после смерти — в виде духа. До сих пор, однако, ясности в этом вопросе не было. Сообщения спиритистов подвергались сомнению.

Т а р а н т о г а. Извините, вы спирит? В таком случае...

З у м п ф. Нет. Я не спирит и не верю в духов, потому что их нет. Эту проблему я изучил досконально.

Т а р а н т о г а. Вот как? Но тогда о чем речь?

З у м п ф. Я объясню, если вы не будете перебивать. Духов, как я уже сказал, нет. Однако тем самым вопрос не закрыт, поскольку людям хочется, чтобы духи были. Существует рыночный спрос, значит, нужно наладить производство...

Т а р а н т о г а. Извините, производство чего?

З у м п ф. Духов. Дело не такое уж трудное, как кажется. Сначала я провел анкетирование и выявил ожидания и потребности широкой общественности. Например, дух должен проникать сквозь материальные преграды: стены, двери и прочее, осуществлять левитацию предметов и так далее. Собранные материалы позволили мне разработать опытный образец духа, включая модификации, учитывающие особенно изощренные пожелания...

Т а р а н т о г а. Короче, вы изобрели способ имитации духов, да? Фальшивый товар в научной упаковке? Извините, но это похоже на одурачивание простаков, чтобы не сказать — жульничество...

З у м п ф. Да что вы! Как вы можете так говорить? Фальшивый товар? Жульничество? Ничего подобного. Я ничего не имитирую. Я говорю ясно: духов не было. Но автомобилей ведь тоже не было, а теперь они есть, потому что их сконструировали. Вы полагаете, нельзя сконструировать духов? В таком случае вы ошибаетесь — я уже сделал это. Остановка только за капиталом; получив необходимые средства, я хоть сейчас мог бы начать серийное производство...

Т а р а н т о г а. Духов? Каким же образом?

З у м п ф. При помощи моего аппарата, духотрона. Чертежи и вся техническая документация — в этом портфеле!

Т а р а н т о г а. Можно взглянуть?..

З у м п ф. Мне очень жаль, но это пока невозможно. Сперва мы должны прийти к предварительному соглашению.

Т а р а н т о г а. Значит, никаких дополнительных разъяснений не будет?

З у м п ф. Духотрон еще не запатентован. Поэтому я, к сожалению, ничего не могу добавить.

Т а р а н т о г а. Тогда после получения патента изложите в письменном виде все, что сочтете нужным, и вручите эту записку моему секретарю.

З у м п ф. Исполню в точности... и парочку образцов приложу...

Т а р а н т о г а. Каких образцов?

З у м п ф. Потустороннего свечения. А еще восковые слепки... и фотографическую документацию.

Т а р а н т о г а. Прекрасно. До свидания.

З у м п ф. Честь имею. Я дам о себе знать. *(Выходит.)*

Т а р а н т о г а. Господин Сянко!

С я н к о *(входит)*. Слушаю.

Т а р а н т о г а. Много их там еще?

С я н к о. Трое осталось. А что этот инженер? Псих?

Т а р а н т о г а. Несомненно. Неужели настоящие изобретатели перевелись до единого?

С я н к о. Позвать следующего?

Т а р а н т о г а. Минутку. Что-то голова разболелась. Приму-ка таблеточку. *(Глокает таблетку, запикает водой.)* А вы, господин магистр, до завтра свободны. Раз их там всего трое, я и сам как-нибудь справлюсь.

С я н к о. Хорошо, господин профессор. Значит, до завтра. *(Уходит.)*

Т а р а н т о г а *(открывает дверь в приемную)*. Кто следующий? Прошу.

Ш у с т р я к. Теперь я. Здравствуйте.

Т а р а н т о г а. Слушаю.

Ш у с т р я к. Я человек дела и не буду тратить слов попусту. Я предлагаю не какое-нибудь одно изобретение, а целый секвенс.

Т а р а н т о г а. Секвенс?

Ш у с т р я к. Да. Вы не играете в бридж? Впрочем, неважно. Я могу ввести вас в курс дела, поскольку первая часть секвенса запатентована.

Т а р а н т о г а. Похвально.

Ш у с т р я к. То, что я продемонстрирую под номером первым, — настоящее золотое яйцо, вернее, курица, несущая золотые яйца для концерна, который за вами стоит!

Т а р а н т о г а. Концерн — за мной? Хорошо, хорошо... Итак?

Ш у с т р я к. Вот, взгляните... *(Шелест разворачиваемой бумаги.)*

Т а р а н т о г а. Что это? Стратосферный баллон? Или яйцо? Вы что-то говорили о яйцах...

Ш у с т р я к. Нет. Перед вами модель антитеррористического средства — антерроида, в масштабе сорок к одному. Размеры оригинала всего двадцать семь миллиметров на восемь. Это не яйцо, а микроминиатюрный передатчик, устойчивый к воздействию желудочной кислоты...

Т а р а н т о г а. Радио для приема внутрь?

Ш у с т р я к. Вы на удивление проницательны! Действительно, это радио принимается, а лучше сказать, проглатывается в минуту опасности...

Т а р а н т о г а. Простите, а оно не застрянет в горле?

Ш у с т р я к. Ни в коем случае! Пожалуйста, вот образец — глотайте себе на здоровье. У меня их целая коробка. Вы ничем не рискуете, это только макет.

Т а р а н т о г а. Спасибо, я пока воздержусь.

Ш у с т р я к. Мое историческое изобретение ликвидирует в корне кошмарный бич нашего времени, каковым является терроризм в различных своих проявлениях, особенно в форме похищения людей!

Т а р а н т о г а. Можно узнать, как?

Ш у с т р я к. Можно. Это противоядие против похищений. Допустим, вас решили похитить. Вы себе спокойно едете по шоссе, вдруг вам перегораживают дорогу, под дулом пистолета выволакивают из машины и связывают по рукам и ногам, как барана...

Т а р а н т о г а. М... да, действительно не слишком приятно. И что же?

Ш у с т р я к. Как только вас заставили остановиться, вы, чуя, чем пахнет дело, достаете из жилетного кармана свой антерроид, кладете его на язык — смачивать слюной необязательно, это тефлон — и мгновенно проглатываете. Стоит заранее поупражняться перед зеркалом, поэтому к каждому антерроиду будут прилагаться учебные макеты — лимонный и шоколадный, для отработки навыка молниеносного проглатывания. Перед проглатыванием нужно слегка надкусить, чтобы включился источник питания. С этой минуты антерроид сто часов кряду передает сигналы тревоги, которые принимаются в радиусе ста метров. Желающие могут приобрести суперантерроид с радиусом действия два километра. Все сигналы отличаются один от другого, так что полиция сразу поймет, кто похищен!

Т а р а н т о г а. Ах, вот как... И куда бы ни увезли похищенного, передатчик будет подавать сигналы из его желудка!

Ш у с т р я к. Вот именно.

Т а р а н т о г а. А вдруг ему, то есть жертве, сразу дадут слабительное? Это, знаете ли, весьма вероятно. Подобные новости распространяются быстро. И тогда, прежде чем связывать похищаемого, как барана, почему бы не разжать ему зубы ножом и не затолкать ему в глотку капсулу с хорошей дозой касторки? Что скажете?

Ш у с т р я к. Все учтено, господин профессор. Скорлупа антерроида покрыта мощным закрепляющим средством!

Т а р а н т о г а. Ах, дорогой мой, в таком случае нам угрожает обоюдная гонка.

Ш у с т р я к. То есть как это, господин профессор?

Т а р а н т о г а. Очень просто: мы будем наращивать мощность закрепляющих средств, а они — прочищающих.

Ш у с т р я к. Вы напрасно пытаетесь свести мое изобретение к абсурду. Речь не о том, чтобы вообще остановить работу кишечника — это невозможно; но очень даже возможно задержать выведение передатчика из организма! Вас заталкивают в джутовый мешок или заворачивают в ковер, раз-два, сверток на грузовик, и ходу, а тем временем не успел еще шофер включить первую скорость, как полиция уже засекла сигналы и спешит к вам на помощь. Вертолеты со сверхчувствительными приемниками и так далее. Впрочем, это не все.

Т а р а н т о г а. Еще какие-нибудь усовершенствования?

Ш у с т р я к. Конечно, но теперь уже, так сказать, контрусовершенствования.

Т а р а н т о г а. Как, как?

Ш у с т р я к. Ну, для другой стороны. Как известно, металл экранирует радиоволны. Чтобы сделать невозможной сигнализацию, проще всего запихнуть похищаемого в багажник. Дело усложняется, если жертва окажется солидной комплекции. Спасет положение вот эта изящная пелерина из металлической фольги — превосходный экран! Похититель-мужчина может носить ее в кармане, женщина — в сумочке. Жертва, накрытая моей пелериной, не подает ни малейших признаков жизни. Просто, а?

Т а р а н т о г а. Извините, но это как-то... странно. Вы предлагаете средство против терроризма, а потом — противосредство, и преступники опять на коне! Это, знаете ли, некрасиво!

Ш у с т р я к. Красиво или некрасиво, не знаю, не мое это дело. Все равно кто-нибудь додумается до металлической пелерины и огребет кучу денег, так чего ради он, а не я?

Т а р а н т о г а. Но тогда зачем ломать себе голову, работая для той и другой стороны? Тут — радио, там — фольга, и результат снова ничейный — никто не получил перевеса!

Ш у с т р я к. А чем я хуже тех государств, которые торгуют и танками, и противотанковым оружием? Впрочем, здесь, в чемоданчике, лежит номер третий моего изобретательского секвенса. Вот он!

Т а р а н т о г а. Но это простое тыквенное семечко.

Ш у с т р я к. Нет, семечко — лишь видимость, камуфляж. Внутри у него гетеродин на интегральных микросхемах. Вы держите во рту несколько штук сразу, будто грызете семеч-

ки; но стоит вам плюнуть на похитителя, как семечко намертво приклеивается к его одежде и начинает радировать. Радиус действия девятьсот метров. Если берете больше дюжины — скидка пятнадцать процентов. Невинно поплеывая, похищенный может пометить сигналами всю дорогу, по которой его везут. Даже если они меняют машины.

Т а р а н т о г а. А если ему воткнут кляп?

Ш у с т р я к. И на это имеется контрсредство, только о нем я пока умолчу — оно еще не запатентовано. Дней через пять — пожалуйста.

Т а р а н т о г а. А против него есть какое-нибудь суперконтрсредство, не так ли?

Ш у с т р я к. Ясно. Скажу вам сразу, потому что не люблю терять время даром: в этом чемоданчике их сорок семь штук.

Т а р а н т о г а. Поровну для похитителей и похищаемых, да?

Ш у с т р я к. Более или менее.

Т а р а н т о г а. И вы смаете утверждать, будто с похищениями покончено? Да вы заслужили премию от террористов. Я же, со своей стороны, хотел бы заметить, что...

Ш у с т р я к. Спокойно, профессор, спокойно! Я еще не кончил. Я не захватил образцов, но здесь, в каталоге, вы видите полный набор личных вещей предполагаемого объекта похищения. Набор недешев, факт, но по сравнению с обычной суммой выкупа это просто гроши. Вот брюки и пиджак из особого материала. Когда вас пытаются похитить, то сначала — не правда ли? — хватают за руки, тянут за рукава, за воротник; а в каждый квадратный дюйм материала (первосортный бостон, кстати говоря) вшиты нейлоновые нити. При их растяжении особая пружина включает сирену, укрытую в плечах пиджака, в ватной подкладке. При малейшем намеке на потасовку раздается пронзительный вой, слышимый в радиусе четырехсот метров. Он и мертвого разбудит, да-да! И его ничем не заглушить: даже через трехслойный мешок, обернутый шерстяным одеялом, слышно на всю улицу! Ну, а если за вас берутся вплотную, так, что одежда трещит по швам, воротник в клочья, если с вас срывают пиджак, чтобы завести руки за спину, — тогда их дела совсем плохи, поскольку в борьбу включается еще и жилет. Видите здесь четыре кармашка? Если вас схватили за грудь, нужно только успеть зажмуриться, потому что в кармашках — магнелиевые заряды по десять тысяч люменов каждый. Вспышка как от атомной бомбы, ослепление нападающего обеспечено. Даже если он ненароком отвернулся, это его не спасет, ведь заряды взрываются поочередно, с интер-

валом в секунду: правый верхний, левый нижний, правый нижний, левый верхний, да еще дым! да еще гром!

Т а р а н т о г а. Так, по крайней мере, вы утверждаете.

Ш у с т р я к. Да нет, так оно и есть! Ну, а если похититель рассвирепеет и пнет вас ногой, тут уж ему не позавидуешь! Вещица в заднем кармане брюк, похожая на бумажник, — отнюдь не бумажник, а пластиковый пакет со смесью слезоточивого и усыпляющего газа. Пакет лопается, и те, кто стоит поближе, валятся с ног через полминуты, а те, кто подальше, разбегаются как очумелые, плача навзрыд, а там — головой либо в стену, либо в живот бегущей на подмогу полиции...

Т а р а н т о г а. Ну, а сам-то похищаемый? Эти ваши газы, однако...

Ш у с т р я к. А что ему сделается! Немного всплакнет да всхрипнет. По сравнению с тем, что ожидало бы его у похитителей, — одно удовольствие. Это еще не все. Допустим, у них в машине — резервная группа, и, когда первая линия лежит вповалку, резерв бросается на вас, срывает уже беззащитный жилет, в полной уверенности, что бояться больше нечего, — да не тут-то было! Сзади жилет соединен с подтяжками, а у этих подтяжек, видите ли, очень большие застёжки. Большие, а почему? Да потому, что это не просто застёжки, а патронташи. В каждом по двадцать зарядов вроде тех, которыми усыпляют диких зверей. И всякое покушение на жилет подтяжки отражают десятью выстрелами в секунду по всем направлениям. Так сказать, оборонительный ураганный огонь. Я говорил с юристами, а как же, я всегда консультируюсь у правоведов; тут, знаете ли, комар носа не подточит: ведь если подбираются к вашей рубашке, это уже ситуация необходимой самообороны. Так что подтяжки, собственно, могли бы стрелять боевыми патронами... только это не совсем безопасно для вас.

Т а р а н т о г а. А если ни один заряд не попал, то конец?

Ш у с т р я к. Какой там конец! Остается рубашка, да и кальсоны не сказали последнего слова! Вот где главный резерв обороны — контратака по всему фронту! С виду — обычный элегантный поплин. А на самом деле это двуслойный пластик, а между слоями тоненькие, как волос, трубочки, микроспиральки, заряженные кристалликами дифенилхлориприта, а также обычным боевым порошком. Рубашка действует по принципу крапивы! Спиральки соединены с микрокомпьютером, который вмонтирован в галстук. В узел. Допустим, с вас уже сорвали жилет и берутся за галстук, чтобы врезать вам от души, — вот тут-то компьютер, всесто-

ронне просчитав ситуацию, включает взрыватель, порох вспыхивает, и из разорванной спирали, в огне и в дыму, вылетают кристаллики, поражая всех и каждого в радиусе десяти метров. Что, неплохо?

Т а р а н т о г а. Ну, знаете! Тут вы, пожалуй, переборщили! Носить рубашку, которая готова взорваться, если случайно дернуть за галстук! Покорно благодарю. К тому же ваши ипритовые кристаллики первым делом обожгут того, на ком надета рубашка!

Ш у с т р я к. Не все сразу, профессор, не все сразу! Во-первых, вы можете хоть сто раз дергать за галстук — в узле ведь нет механического взрывателя, там компьютер, который контролирует ваш пульс и давление. И только если все данные свидетельствуют о вашем чрезвычайном волнении — а попробуйте-ка не волноваться, коли вас похищают! — и взрыватель к тому же снят с предохранителя — а снят он потому, что с вас сорвали жилет, — лишь тогда компьютер открывает огонь! У вас на груди и у сонной артерии прикреплены датчики, точно такие, как у космонавтов, а провода от них ведут к галстуку. Во-вторых, этот ипритовый препарат вызывает такое жжение кожи, что можно сойти с ума. Он останавливает рассвирепевшего африканского носорога, а это что-нибудь значит! В-третьих, под рубашкой у вас специальная майка из закаленного титанового листа толщиной 0,01 миллиметра. Ипритовые кристаллики ее не пробьют. В-четвертых, в момент включения взрывателя компьютер посылает приказ воротничку сорочки, и тот моментально наполняется газом, принимает форму кольцевого щита и защищает ваше лицо. Газ поступает из микрорезервуара, приклеенного пластырем между лопатками. Вся операция длится 0,2 секунды. Лицам особо чувствительным я предлагаю легкие защитные перчатки. Ну, как вам это нравится?

Т а р а н т о г а. Да, конечно, однако... носить такую одежду, такое белье, должно быть, тяжеловато. Майка из титанового листа... все эти датчики...

Ш у с т р я к. Вы бы не были так разборчивы, окажись ваше имя в списке кандидатов на похищение, да еще в самом верху. Тяжеловато! А лежать в мешке под кучей картофеля или кокса где-нибудь в подвале, надеясь только на милость Божию, не тяжеловато? Впрочем, и это еще не конец... Кто сказал, что все пойдет по шаблону — сначала вас схватят за воротник, потом за лацканы, потом за жилет и так далее? Какой-нибудь отпетый террорист может и сразу дать по зубам. Так вот, при ударе в челюсть, или если вы просто скрежетнете зубами, у вас изо рта вырывается БВО, и тут уж диктовать условия будете вы.

Т а р а н т о г а. БВО? Какое еще БВО?

Ш у с т р я к. Биологическое вирусное оружие. Вирусы новейшего типа, неслыханно ядовитые. Вы носите их в коренных зубах — в специальных пломбах. Сто процентов летальных исходов!

Т а р а н т о г а. Но ведь больше всего рискует тот, у кого в зубах эти вирусы!

Ш у с т р я к. Ничего подобного — ему уже сделана прививка. А в момент похищения вы разгрызаете капсулу, и достаточно дыхнуть на похитителей, чтобы начать переговоры с позиции силы!

Т а р а н т о г а. С позиции силы?

Ш у с т р я к. Противовирусная вакцина хранится в особом сейфе, под строгой полицейской охраной. Вы заявляете похитителям: если выпустите меня целым и невредимым — получите вакцину, а если нет — всем вам крышка!

Т а р а н т о г а. Так что же, ходить со смертельной заразой во рту? Ну, знаете, это просто чудовищно! А вдруг я случайно надкушу капсулу и дыхну на кого-нибудь совершенно невиноватого? Что тогда?

Ш у с т р я к. Потерпевший заявит в полицию и получит лекарство.

Т а р а н т о г а. А оно надежно на сто процентов?

Ш у с т р я к. Нет. Не на сто. Чудес не бывает. В восьми процентах случаев даже при лечении развивается хронический паралич — эти вирусы поражают нервную систему. Что вы так на меня смотрите? Ничего не подделаешь. Я, что ли, выдумал терроризм? Как аукнется, так и откликнется. Во всяком случае, мое изобретение, основанное на БВО, не имеет себе равных. Вы одним дыхом пресекаете все посягательства похитителей, даже если у вас в зубах вирусы обыкновенного гриппа. Ведь террористы — не бактериологи, как они вас проверяют?

Т а р а н т о г а. Боюсь, они тоже в скором времени наденут бронированные майки, маски, перчатки, и мы вернемся к тому, с чего начали.

Ш у с т р я к. Ошибаетесь. Моя стратегия базируется на новейшей военно-стратегической доктрине. Главное — отпугнуть агрессора. Ведь ядерным арсеналом обзаводятся прежде всего для этого, верно? Поэтому вовсе не надо скрывать, что вы приобрели мой антитеррористический набор. Напротив, пускай все знают, что у вас сирены в пиджаке и в очках, ипритовая рубашка и ядовитая искусственная челюсть!

Т а р а н т о г а. Искусственная? Так сначала нужно вырвать все зубы?

Ш у с т р я к. Нет, зачем же? После двух-трех попыток похищения у вас все равно ни одного не останется. Классическая проблема — щит и меч. Соперничество между ними дает превосходные результаты!

Т а р а н т о г а. Например?

Ш у с т р я к. Разовьются новые сферы услуг: военно-бельевая промышленность, бактериологическая стоматология, галстучная электроника, а значит, появится множество новых рабочих мест. Чем это плохо? Ну, а женская мода изменится в корне. Женщин ведь тоже похищают, чаще всего как заложниц при ограблениях банков. Дамам я могу предложить изящную бижутерию распылительного действия, взрывные джинсы и прочее; вы просто не представляете, сколько аппаратуры можно засунуть в достаточно широкий дамский каблук! Теперь я работаю над устройством, которое при возгласе «Руки вверх!» автоматически ослепляет блиц-вспышкой, вмонтированной в клипсы, и ставит дымовую завесу. Дело сложное, но первые результаты уже налицо. Как видите, я не какой-нибудь оторванный от жизни мечтатель, фантаст, резонер, у которого голова по самую крышку забита отвлеченными идеями, ничего подобного! Я верю в науку, в прогресс и нахожусь в постоянном контакте с обеими сторонами — ради совершенствования образцов.

Т а р а н т о г а. Вы говорите, с обеими?

Ш у с т р я к. Естественно. Как с полицией, так и с наиболее видными похитителями — такими, которые не бросают угроз на ветер. Разумеется, техническая гонка неизбежна, но вы, я думаю, понимаете: в конце концов верх одержит защита. Рано или поздно похитителю придется работать в тройном асбестовом комбинезоне, укрывшись за целой системой бронещитов, используя лазеры и ракеты. А все это по карманам не распишаешь, как ни старайся. Уже теперь примитивное похищение методами Али-Бабы — анахронизм. Техника решает все.

Т а р а н т о г а. Что ж, благодарю вас за это экспозе. Мой секретарь вскоре даст вам ответ...

Ш у с т р я к. Можете не торопиться, мне предложений хватает! Честь имею, господин профессор! *(Выходит.)*

Т а р а н т о г а. До свидания. *(Чуть погода открывает дверь в приемную.)* Прошу. Кто следующий?

1-й посетитель. Мы вместе — я и коллега.

Т а р а н т о г а. В таком случае прошу вас обоих. Присаживайтесь.

1-й посетитель. Сначала я должен объяснить, господин профессор, что мы не предлагаем никаких изобретений.

2-й посетитель. Мы представляем новую профессию, вызванную к жизни велением времени. Мы, господин профессор, предвосхитители. Мы полагаем, что недостаточно делать изобретения — нужно еще заниматься их профилактикой.

Тарантога. Должен вас огорчить: не вам первым пришла в голову эта мысль. Тут у меня уже был субъект, одержимый идеей закрытия открытий...

1-й посетитель. Мой коллега неточно выразился. Под профилактикой изобретений мы понимаем подготовку общества к новшествам, а не закупоривание творческой мысли. Если позволите, мы объясним наш план на конкретном примере.

Тарантога. Слушаю.

2-й посетитель. До сих пор сюрпризы прогресса обрушивались на человечество, как заряд дроби — на зайца в поле, внезапно, без предупреждения и подготовки. Господин Даймлер и господин Бенц отпилили у конной брички дышло, запихнули в нее бензиновый моторчик, и никто не позаботился оценить последствия этого шага. И вот теперь в костях у нас полно свинца, в легких — дыма, а в кармане дыра. Кто-то что-то там мастерит, а после все человечество расхлебывай эту кашу. Дальше так продолжаться не может.

Тарантога. Иначе говоря, вы занимаетесь футурологией?

1-й посетитель. О, нет. Суть нашей деятельности вы лучше всего поймете вот на этом примере. (*Шелест.*) Перед вами Атлас Будущей Анатомии Человека.

Тарантога (*листает*). Да тут какие-то фантастические существа. Что это за шарики?

2-й посетитель. Суставные шарикоподшипники. С ревматизмом покончено навсегда. Как известно, генной инженерии пока нет. Она лишь едва вырисовывается. Правда, ученые требуют вообще отказаться от конструирования на материале человеческого тела, но даже младенцу ясно, чем это кончится. Воздушные шары, паровозы, самолеты, небоскребы тоже когда-то встречали в штывы, и что же? Да ничего! Поэтому мы можем со спокойной совестью утверждать, что в скором времени наступит пора переделки природного образца человека. Гомо сапиенс будет научно раскритикован, переконструирован и усовершенствован. Вот здесь, в этой таблице, вы видите результаты перестройки органов пищеварения...

Тарантога. Что это у него в желудке? Зубы?

1-й посетитель. Эра деликатесов подходит к концу. А чтобы питаться древесной корой, одним зубом во рту мало. Без размельчения мезги в пищеварительном тракте не обойтись. Наша модель может питаться чем угодно, включая торф. Вот здесь вы видите радикальную перестройку мочеполовой системы. А тут изображены нижние конечности самца и самки человека в 2150 году, плюс-минус десять лет допустимого отклонения.

Тарантога. Значит, колени будут сгибаться не вперед, а назад? Нельзя ли узнать, почему?

2-й посетитель. Сидя, человек занимает больше места, чем птица тех же размеров. Пожалуйста, вот сравнительная диаграмма. Сядься, человек вынужден выдвигать колени вперед, и они занимают дополнительное пространство, так что конструкторам автомобилей приходится мучиться еще и над этой проблемой. А курица или страус сидят на лапах, которые не выходят за контуры тела. Переделка коленных суставов неизбежна из-за все возрастающей тесноты, то есть из-за нехватки места. Человека с торчащими вперед коленями будут справедливо третировать как ретрограда, как живой пример закоснелости, темноты и невежества...

1-й посетитель. Гораций, не горячись! Видите ли, профессор, мой коллега — ярый энтузиаст-педекласт.

Тарантога. Извините, как вы сказали?

2-й посетитель. Я сказал «педекласт», или вы что-то недослышали? *Pes, pedis* — нога, *clasis* — разлом, сгиб. Коленками, значит, назад. Это открытие сделал он, но проблема коленей — это второстепенная деталь. Другое дело — поэтапная реконструкция половых отношений. Пожалуйста, вот на этих таблицах, со страницы триста тридцать девять...

Тарантога. Вы намечаете глаз в пупке?

1-й посетитель. Это не просто глаз, и это уже не пупок. Способ размножения мы унаследовали от животных — с пагубными последствиями. Мочевыделительные органы совмещены с половыми; так было проще и экономнее — меньший расход материала. Но, как известно, многоцелевые орудия немногого стоят. Если молоток служит еще и взбивателем пены, рожком для ботинок, отверткой и штопором, то в качестве молотка ему далеко до молотка обычного. Стул, который может служить и тростью, вряд ли будет удобным стулом или хорошей тростью. А кроме того, размещение детородных органов по сей день сохранило — увь! — характер общественного скандала, чтобы не

сказать прямо: пощечины изящному вкусу, хорошему воспитанию и возвышенным идеалам. Блаженный Августин верно заметил, что *inter faeces et uginam nascimur**. Место, откуда человек бросает свой первый взгляд на мироздание, выбрано не слишком удачно как в эстетическом плане, так и с точки зрения достоинства homo sapiens. Только вековой неспособностью осуществить необходимые переделки объясняется невыносимо вульгарное положение дел, существующее и поныне. Поэтому несомненно: как только генная инженерия сдвинет наши закосневшие организмы с мертвой точки, перво-наперво она возьмется за секс!

Т а р а н т о г а. Допустим... но при чем тут пупок?

2-й посетитель. Пупок доселе был совершенно забыт и запущен. Пупок — это девственная почва, нетронутая целина, вы не находите? Чему, скажите на милость, служит пупок? Решительно ничему, а ведь он занимает центральное положение, красуясь в столь видном и выгодном месте! Этому будет положен конец. Итак, не мы решили привлечь пупок к общественно важному делу, поставить его на службу человеку. Мы лишь открыли, куда ведет будущее пупка. Ибо мы, профессор, ничего не выдумываем и не занимаемся предсказаниями. Все, чего мы хотим, — это подготовить общественное мнение, чтобы оно как должное приняло неизбежные перемены, в данном случае — новую анатомию. Необходимо людей просвещать, критикуя то, что у них в животе, в костях, в голове, надо помочь уяснить им всю благотворность геной инженерии и ее последствий. Иначе они заупрямятся, как ослы, новое тело свалится им на головы совершенно внезапно и принесет больше бед, чем пользы. Так ведь и вышло с изобретением автомобиля или ракеты. Теперь понимаете?

Т а р а н т о г а. Ваши намерения мне понятны... но непонятно, во что вы превратили пупок. Из него таращится какой-то глаз!

1-й посетитель. Это медовый, или эротический, глаз. Он подготавливает интимные контакты в духе взаимного уважения и полного равенства всех полов. Больше никто никого не будет седлать, объезжать, пришпоривать и так далее. Конеподобная, так сказать, фаза эротики подходит к концу.

Т а р а н т о г а. А тут что за сборище?

1-й посетитель. Это не сборище, а нормальное супружество будущего.

* Между калом и мочой рождается (*лат.*).

Т а р а н т о г а. Семья со взрослыми отпрысками? И что они делают? Танцуют?

1-й посетитель. Нет. Они производят на свет потомка.

Т а р а н т о г а. Рожают? Одного ребенка? Все вместе?

1-й посетитель. Ну да. Конвейрные роды. Движение за женскую эмансипацию утыкается в анатомию как в каменную стену. Какое тут равенство, если жена должна все сама, а муж — разве что за букетом сходить? Эту допотопную анатомию мы отправим в музей, вслед за каменными топорами.

Т а р а н т о г а. Раз, два, три, четыре, пять... супружество из одиннадцати персон?

1-й посетитель. Да, с отклонением на одного-двух человек в обе стороны. Вы удивлены?

Т а р а н т о г а. До некоторой степени. Вот эта толпа — супруги... Как можно коллективно рожать детей?

1-й посетитель. Так же, как коллективно строят автомобиль. Такая потребность уже ощущается в массах; взять хотя бы групповой секс. До сих пор сохранялось досадное противоречие между публичным характером общественной жизни и интимностью жизни семейной. Согласитесь: проблемы супружеского ложа так и не стали общественными проблемами.

Т а р а н т о г а. И что, это плохо?

1-й посетитель. Ужасно! Супружеский плюрализм снимет это противоречие. Благодаря такому числу партнеров все интимное станет публичным. Сейчас, например, в случае супружеской ссоры нет места посредничеству и арбитражу. Чуть что, сразу в суд. А при дюжине супругов в семье всегда найдется посредник. Дальше: половые различия носят ныне крайний характер — ты либо женщина, либо мужчина, и точка. Это будет исправлено. Плавные переходы, тончайшие градации откроют перед любовью новые горизонты. И наконец, главное — решение завести ребенка. Сегодня это зависит от глупейших случайностей вроде отключения света, лимитов на бензин или объявления забастовки, тогда как в плюралистическом браке сперва соберется летучка. Все будет ставиться на голосование.

Т а р а н т о г а. И дети станут появляться на свет большинством голосов?

1-й посетитель. Разумеется. Это и есть демократия.

Т а р а н т о г а. Не возьму в толк, откуда берется ваша уверенность, что все будет именно так? А если наоборот?

Скажем, человек превратится в гермафродита, и возникнут, образно говоря, единосущие матримониальные ячейки?

1-й посетитель. Анатомически это возможно. Но тут-то и вмешиваемся мы, предвосхитители, чтобы предостеречь от кошмарных последствий унигамии. Это как же? Зачать ребенка машинально, все равно что ковыряя в носу?.. Вот тогда-то нас захлестнет настоящий демографический потоп.

Тарантога. Значит, вы все-таки занимаетесь футурологией? Коль скоро вы предвидите...

2-й посетитель. Будущую анатомию мы предвидим лишь между прочим, в качестве условий нашей основной деятельности. Это был только пример. На основании данных о переменах подобного рода мы консультируем, кодифицируем, предостерегаем, организуем, планируем. Вот, например, уголовный кодекс на 2150 год, а вот — гражданский, составленный с учетом надвигающейся перестройки человека...

Тарантога (листаем). Но тут что-то о здравоохранении...

2-й посетитель. Потому что вы взяли медицинский кодекс. Кстати, здесь ожидаются наибольшие перемены. Заметьте: человек своими чувствами обращен наружу, а не внутрь, то есть не в глубь своего организма. Вы за сто шагов без труда разглядите птичку на дереве, услышите кваканье лягушки где-то по ту сторону пруда, но знать не знаете, что происходит в ваших костях, в животе или в ухе. Сведения, поступающие изнутри организма, смутны, неотчетливы, а значит, обманчивы: тут что-то давит, там что-то стреляет. Подобная неотчетливость крайне усложняет работу врачей. У грядущего человека между лопатками будет изящный дисплей с индикаторами состояния жизненно важных органов. Глянул разок — и диагноз поставлен. А еще через полстолетия не нужно будет ходить по врачам: централизованная медицинская служба будет на расстоянии следить за жизненными процессами любого из граждан и чуть что приступит к лечению по радиосвязи...

Тарантога. Ну, допустим, пупок... глаз в пупке... полигамия... и дисплей на спине... но для чего вон та рукоятка в ухе?

2-й посетитель. Это не рукоятка, а регулятор разумности. Любой человек, как равный среди равных, будет обладать потенциально высоким интеллектом. Но для житейских нужд такой интеллект излишен и даже вреден. Так что

каждый отрегулирует себе разумность по обстоятельствам... Разве не просто?

Т а р а н т о г а. Да как вам сказать... В каких случаях интеллект может быть лишним?

2-й посетитель. Таких случаев сотни, профессор! Общество, состоящее из одних только гениев или, сохрани Боже, профессоров, распалось бы в мгновение ока! Мощный разум капризен, он все критикует и переделывает — как правило, к худшему; но полная неразумность опять-таки нежелательна, это надо признать. Поэтому при рождении каждого человека жеребьевка решит, до какого деления ему позволяется подкручивать себе регулятор разумности. А включать интеллект на всю катушку будет разрешено лишь в исключительных случаях — как теперь разрешается давать полную волю рукам лишь в случае необходимой самообороны.

Т а р а н т о г а. А винт в другом ухе?

2-й посетитель. Модулятор эмоций. Чтобы свободно выбирать и регулировать настроение. Стоит ли мучиться и есть себя поедом из-за того, чего нельзя изменить? Скажем, вам предстоит нелегкое испытание. Вы врубаете свой интеллект на полную мощность, как я уже говорил, а если все-таки ничего не добьетесь — при помощи модулятора поднимаете себе настроение. Кнопочка на затылке — глушитель неприятностей, соединенный с блоком стирания памяти. Он устраняет тягостные воспоминания. Конец детским душевным травмам и всевозможным подсознательным комплексам! Одно движение пальца — и все печальное и докучное забывается. А здесь предохранитель, чтобы вы, почесывая затылок, не стерли всю память начисто, то есть не впали бы в полную амнезию. А это — переключатель чувств. Чтобы можно было полюбить не того, кто случайно приглянется, но того, кого следует полюбить из высших общественно-политических соображений. Впрочем, довольно об этом, профессор. Мы должны ознакомить вас с проблемами поважнее анатомических...

Т а р а н т о г а. Еще важнее?

1-й посетитель. Вы когда-нибудь слышали о теории экзистенциальной относительности?

Т а р а н т о г а. Что-то не припомню... Наверное, нет.

2-й посетитель. Неудивительно, ведь эта теория появится лет через двадцать. Но мы предвосхитили ее и можем ввести вас в курс дела. Представьте, что вам живется по-прежнему, а всем другим профессорам живется гораздо лучше. Разве вы будете рады своей судьбе? Куда там! Вы почувствуете себя обойденным. А если наоборот: им всем

живется гораздо хуже, чем вам, что тогда? Вы возомните себя небывалым счастливецем.

Т а р а н т о г а. И это называется теория относительности? Ваше наблюдение старо как мир.

2-й посетитель. Погодите, это только начало. Раньше человек знал о жизни ровно столько, сколько пережил сам. Как живется в Патагонии или в Китае, он понятия не имел. А часто не знали, что какая-то Патагония вообще существует. Теперь человек живет в двух мирах, в двух концентрических кругах. В малом, внутреннем круге он познает жизнь, как и встарь, непосредственно. Большим кругом стал для него весь мир, который не переживается непосредственно, а «сообщается к сведению». Именно в этом большом круге вы узнаете, что мир движется ко все большей нехватке, дефициту, замедлению темпов развития. Верно? А лет этак тридцать назад в большом круге преобладало мнение, будто мир движется ко все возрастающему благосостоянию. Тогда господствовал оптимизм, теперь пессимизм. Представим себе, что пессимизм победил бы уже тогда. Разумеется, все немедля кинулись бы раскупать нефть и другое сырье, и цены резко подскочили бы. Выходит то, что тогда думали иначе, принесло чистую прибыль. Совершенно независимо от того, каким оказалось грядущее. Цены были стабильными, потому что люди верили в будущее. Отсюда вывод: наше самочувствие определяется не действительным положением дел, а нашими представлениями о нем. Положение дел на сегодняшней день — это не только Земля, но и планеты, звезды, космос, короче, все мироздание. Безмолвие бесконечных пространств ужасало еще Паскаля. На Марсе пустыня, на Венере сущее пекло. К чему вам, скажите на милость, эти ужасы, эти огорчительные подробности? Ваша нога все равно не ступит ни на Марс, ни на Венеру. Так не лучше ли вам узнать, что на Марсе очень славно, а в космосе полно на диво процветающих планет?

Т а р а н т о г а. Погодите. Я уже вижу, куда вы клоните. Нужно сообщать людям известия хотя бы и ложные, зато утешительные. Да?

2-й посетитель. Вы в плену архаических предрасудков, профессор. Будущее выбросит их на свалку. Представления тридцатилетней давности о розовом будущем ныне признаны ложными. Но они обеспечивали отличное самочувствие, стало быть, были полезны.

Т а р а н т о г а. Они были ложными не потому, что их нарочно фальсифицировали. Просто тогда в это верили.

2-й посетитель. То-то и оно! Тогда в это верили, а нынче верят в нечто другое. История учит: вчерашние истины становятся сегодняшней ложью. Правда, это происходит само собой — бесплано и стихийно. С подобной стихийностью пора кончать.

Т а р а н т о г а. То есть заняться теорией гуманного надувательства?

1-й посетитель. Профессор, все мы когда-нибудь умрем. С каждым прожитым годом возрастает вероятность инфаркта, белокровия или рака. Таковы факты. Но разве я стану ежедневно подсчитывать, на сколько увеличилась для меня вероятность белокровия или рака? Так не поступает никто. А если и поступает, мы называем его ненормальным, ипохондриком, человеком, который переживает депрессию и которому нужно лечиться. Вы тоже ведете себя не так, будто в любую минуту можете заболеть раком, но скорее так, будто рак вам вообще не грозит. Мы считаем это нормальным. И никто не думает, будто люди живут в состоянии вечной лжи. Ложь — это совсем иное. Ложь существует во внутреннем круге нашего опыта: скажем, у вас рак, а врачи уверяют, что рака нет и в помине. Ложь существует там, где также существует и правда как нечто доступное непосредственному переживанию; а где ничего такого не существует, нет и лжи. Согласитесь, что Зевс, Афина, кентавры, эринии никогда не существовали. Мы говорим: «это верования древних греков», «это мифология». По-вашему, она была ложью? Если вы хотите быть совершенно последовательным, то должны признать, что была. Но я утверждаю, что ложь — это если бы я всерьез назвал вас кентавром. Так вот, теория экзистенциальной относительности гласит, что внешний круг информации должен благоприятствовать людям. Коль скоро самочувствие определяется тем, что человек думает, а не тем, как на самом деле выглядит то, о чем он думает, следует удовлетворить главную человеческую потребность — в хорошей жизни. Не при помощи наркотиков и химических штук, разрушающих тело и мозг. Но при помощи мифов, фанатизма, каков бы он ни был, или пустых обещаний, гарантирующих рай в другой жизни, другом месте или другом времени. Потребность в хорошей жизни должна быть удовлетворена здесь и теперь.

Т а р а н т о г а. При помощи лжи?

2-й посетитель. Ну, вы опять за свое!

1-й посетитель. Погоди, Гораций. Ты неправильно взялся за дело. Испробуем сократический метод.

Скажите, профессор: на вопросы о том, почему мир таков, каков есть, откуда он взялся, куда идет, считается ли он с существованием человека, — на все эти вопросы мы ведь никогда не получим абсолютно достоверных ответов?

Т а р а н т о г а. Ну... в принципе — да. Это спорные философские вопросы.

1-й посетитель. Говоря «философские вопросы», вы переводите мои слова в плоскость абстракции. Абстракции, которую можно счесть ненужной, в общем-то, роскошью. Дескать, в своей повседневной жизни люди не занимаются такими вопросами. Согласен. Не занимаются, но в каком смысле? В таком, в каком мы обычно не занимаемся фактом, что земля не уходит у нас из-под ног. Что мы в нее не проваливаемся. Иначе говоря: наши верования относительно мироздания и бытия, не поддающиеся проверке, служат почвой, без которой мы и шагу бы не ступили. Эти верования люди создавали когда-то вслепую, бессознательно, как бы на ощупь, и навдумывали их без счета, но все они вырастали сами собой. Как сорняки. Они не были сознательно приспособлены к чаяниям человека и потому удовлетворяли их только частично, а затем устаревали и отмирали. Одни верования были устойчивее, другие зыбче. Но у нас на глазах увядают и те, что дольше других противились разрушительному действию времени. Цивилизация положила конец выращиванию верований по старинке, дедовским способом, их стихийному разрастанию. Осталось лишь несколько скорлупок, над которыми с тревогой склоняются церкви, пытаясь спасти хоть что-нибудь. Их старания возвышенны, но напрасны. Из скорлупок разбитых верований можно склеить только жалких уродцев — порождения абсурда, отчаяния и ослепления. Разумеется, можно проклинать цивилизацию за то, что она навсегда разделалась с эпохой кустарных вер, сулящих душевный покой, — но стоит ли? Теория экзистенциальной относительности не прошлое оплакивает, а проектирует будущее. Когда-то дома возводили без чертежей и расчетов. По-вашему, и сегодня следует строить так же?

Т а р а н т о г а. Нет, если известны лучшие методы...

1-й посетитель. Когда-то считали только на пальцах и на бумаге. По-вашему, следует поступать так и дальше?

Т а р а н т о г а. Разумеется, нет, раз для этого есть машины. И что же?

1-й посетитель. Когда-то веру, которая была нужнее домов и машин, можно было нести людям прямо и непосред-

ственно. Это прошлое, и его не воротить. Но потребность осталась, и с ней нельзя не считаться. Мы возвели материальный мир, мир машин — машину огромную и бездушную. Теперь мы должны вдохнуть душу в эту машину. Нет, не так: мы должны создать новый мир, стоящий над видимым миром, мир понятий, мир, построенный из информации, и дать его человеку. И человек, не теряя опоры под ногами, станет в нем жить.

Т а р а н т о г а. Похоже, в ваших речах нет скрытого цинизма, как я было подумал. Вы говорите не об обмане людей ради их утешения, а о создании совершенно новых верований взамен религиозных. Но этого сделать нельзя. Ведь сначала кому-то пришлось бы все это выдумать: мир, в который следует верить, факты, из которых он состоит, и этот кто-то будет знать, что он сам это выдумал. Следовательно, вначале будет обман. Пусть даже самый возвышенный по намерениям, родственный, быть может, искусству, — но все же обман. Этого нельзя избежать.

2-й п о с е т и т е л ь. Вы правы в том, что этого не сделаешь ни за день, ни за десять лет. Однако вы думаете о будущем в категориях прошлого — таких, как «искусство», «обман», «выдумать» и так далее. Если мы скажем вам «информатика», вы подумаете о компьютерах, которые считают пилюли и звезды, резервируют места в гостиницах, переводят с одного языка на другой, и будете правы. Как прав был и тот, кто две тысячи лет назад говорил о горсточке странствующих из города в город евреев, что это, мол, простые галилейские рыбаки, среди которых подвизается сын то ли плотника, то ли столяра. Разве это не было правдой? А между тем это была не вся правда.

Т а р а н т о г а. Должен признаться: я испытываю некоторое удивление. Вы действительно не изобретатели — скорее уж апостолы. Но я так и не узнал, что вы проповедуете. Чей приход хотите вы возвестить? Информатики? Компьютеров, которые изменят и усовершенствуют мир? Каким образом? Откуда и почему? Ведь это всего лишь одна из профессий — научная информация плюс эксперты, плюс машины, и ничего больше. Или в эти машины невесть откуда снизойдет дух нового откровения?

1-й п о с е т и т е л ь. Профессор, мы не проповедуем никакой определенной веры. Ваше главное возражение касается авторства веры. Дескать, вера при своем зарождении должна быть окутана тайной, и нельзя указать того,

кто ее выдумал. Отсюда, по-вашему, следует, будто ничего нельзя сделать. Это не так. Тайна останется, но будет совершенно иной, чем в религии, — тайна, находящаяся не где-то там, вне мира, вне жизни, а здесь. Вижу, вы готовы мне возразить. Вы хотите, чтобы я прямо сказал: кто, каким образом, на основе каких планов и принципов начнет конструировать эту новую веру, новое жилище человеческой мысли. Так вот: я не могу пользоваться будущими понятиями для обозначения будущих вопросов, потому что они еще не возникли. Я вынужден обращаться к понятиям нашего времени, и потому-то дело идет так туго. Я могу заявить: «Появится инженерия смыслов и ценностей — не для фабрикации пропагандистских иллюзий, а для служения потребностям человека». Я мог бы сказать: «Когда-нибудь будет соткана всемирная сеть информации, защищенная от вторжения экономического своекорыстия и посягательств насилия, сеть, извлекающая из себя тончайшую паутину благих смыслов человеческого существования». Я мог бы сказать: «Последним оправданием какого угодно дела может быть не само это дело, но нечто стоящее над любыми делами; и когда традиционные источники подобного оправдания иссякают, нужно подумать о новых». Или: «Если можно изобрести новую технику, можно изобрести и новые ее применения». Я мог бы придумать множество иных уподоблений, но все они не передают сути. В определенном смысле священник у алтаря ведет себя как дегустатор и как домашняя хозяйка одновременно: сначала потягивает вино из чаши, потом протирает ее куском материи. Пьет вино и вытирает посуду. Ведь правда? Конечно. Но разве об этом речь? Речь скорее идет о союзе с Богом. Но мы не такой союз проповедуем. Мы проповедуем союз человека с самим собой, переход — путем создания новых оправданий его бытия — к оправданиям следующего порядка. Тут вы готовы вмешаться: «А значит, при помощи лжи?» Но это не будет ложью. Это уже не будет ложью. Почему? Да потому же, почему колоссальный пожар — уже не пожар, но звезда, а невероятно сложное химическое соединение — уже не химическое соединение, но жизнь. Точно так же идеальная имитация мышления становится настоящей душой, и, раз уж вы заговорили об этом, идеальная ложь — хотя бы искусство — становится правдой. Разве слова «человек может летать» не были когда-то неправдой? Были — ведь тогда он не мог. Ученый, получивший вирус в пробирке, сам не отличит настоящий вирус от копии, потому что они и вправду неотличимы.

Итак, существует порог, за которым подражание становится сотворением, искусственное — настоящим, а вымысел посрамляет действительность. Понимаете?

Т а р а н т о г а. Понимаю. Господа... вы не переубедили меня. Я не уверовал в ваше видение будущего. Что-то мешает мне — то ли недостаток воображения, то ли избыток скептицизма... а может, и мизантропии. Не знаю. И все же спасибо вам. Любопытно: я не уверовал, а чувствую себя как-то бодрее. Я не принял вашего откровения, но почему-то потеплело на сердце. Отраднo видеть, что в этой юдоли слез, где думают только о бомбах да биржевых бюллетенях, кто-то хочет вселить в нас надежду, источник которой не в экономике и не в геополитике... Не потому ли давление у меня снижается, а с ним идет на убыль и моя мизантропия?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС»: первая публ. (начало повести, под загл. «Конгресс футурологов») в журн. Szpilki (Warszawa), 1970, № 51/52. Полностью опубликовано в сб. «Бессонница» (Lem S. Bezsenność. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971).

Первая публ. на рус. яз. (отрывок, под загл. «Конгресс футурологов», в пер. А.Спички) в журн. Урал, 1972, № 3. Полностью (в пер. К.Душенко) в журн.: Иностранная литература, 1987, № 7.

Повесть переведена на тринадцать иностранных языков.

«ОСМОТР НА МЕСТЕ»: первая публ. — Lem S. Wizja lokalna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. Отрывки публиковались с 1981 г. в журналах.

Первая публ. на рус. яз. (отрывок, под загл. «В Институте Облагораживания среды», в пер. В.Борисова) в газ.: Заря молодежи (Саратов), 1988, 21, 28 мая. Полный перевод К.Душенко в кн. Лем С. Из воспоминаний Ийона Тихого. М., 1990.

Роман переведен на немецкий и японский языки.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ»: первая публ. в сб. «Лунная ночь» (Lem S. Noc księżycowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963). Первая публ. на рус. яз. (в пер. Е.Вайсброта) в кн. На суше и на море. М., 1964.

«ЧЕРНАЯ КОМНАТА ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ»: первая публ. в сб. «Лунная ночь».

Первая публ. на рус. яз. (в пер. Е.Вайсброта): Советское радио и телевидение, 1968, № 2-4.

«СТРАННЫЙ ГОСТЬ ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ»: первая публ. в сб. «Лунная ночь»

Первая публ. на рус. яз. (в пер. А.Громовой) в кн.: Альманах НФ, 1965, вып. 2.

«ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ ПРОФЕССОРА ТАРАНТОГИ» — первая публ. в журн.: Przegląd techniczny — Innowacje (Warszawa) 1975, № 51/52

Книжная публ. в сб. «Повторение» (Lem S. Powtórka Warszawa Iskry, 1979)

Первая публ. на рус. яз. (в сокр. пер. Е.Вайсброта) в журн. Техника — молодежи, 1987, № 5

К Д.

СОДЕРЖАНИЕ

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС. Повесть.

Перевод К. Душенко 5

ОСМОТР НА МЕСТЕ. Роман. *Перевод К. Душенко* 99

ПЬЕСЫ О ПРОФЕССОРЕ ТАРАНТОГЕ

Путешествие профессора Тарантоги. *Перевод Е. Вайсброта* 352

Черная комната профессора Тарантоги. *Перевод Е. Вайсброта* 396

Странный гость профессора Тарантоги. *Перевод А. Громовой* 421

Приемные часы профессора Тарантоги. *Перевод К. Душенко* 448

Библиографическая справка. *К. Д.* 476

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 10 ТОМАХ
Т. 8

Редактор *Я.Л.Нагинская*
Художественный редактор *В.Б.Прищеп*
Технический редактор *Л.Е.Синенко*
Корректоры *Т.В.Калинина, Н.М.Пущина*

Лем С.

Л44 Футурологический конгресс: Повесть. Осмотр на месте: Роман.
Пьесы о профессоре Тарантоге. Собр. соч. в 10 тт. Т.8. — М.: Текст,
1994. — 478 с.

ISBN 5-87106-061-07

Л 4703010100-039 подп.
94

84. 4 П

Подписано в печать 17.05.94. Формат 84x108/32.

Усл.печ.л. 25,20. Уч.-изд.л. 28,16.

Тираж 80 000 экз. Изд. № 154.

Заказ № 2519

Издательство «Текст»
125190 Москва, А-190, а/я 89

Литературно-издательская студия «РИФ»
101000 Москва, Чистопрудный бульвар, 12а,
Международный фонд развития
кино и телевидения для детей и юношества
(«Фонд Ролана Быкова»)

Отпечатано на издательско-полиграфическом
предприятии «Правда Севера»
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32

Издательство «Текст»

**готовит два дополнительных тома
к собранию сочинений
СТАНИСЛАВА ЛЕМА
в 10 томах**

В 1-й дополнительный том войдет ранний роман Лема «Магелланово облако». Этот фантастико-приключенческий роман на русском языке печатался с сокращениями и не переиздавался тридцать лет. «Текст» впервые публикует полный его вариант.

Во 2-м дополнительном томе будет напечатан первый и до сих пор не переводившийся на русский язык роман «Больница Преображения» (1948 г.), действие которого происходит в психиатрической больнице во времена гитлеровской оккупации. В этот же том включен фантастический роман «Фиаско» (1986 г.) — последнее крупное произведение Станислава Лема.

**По вопросам приобретения
обращаться в Информационный центр
издательства «Текст» по адресу:**

**125183 Москва, проезд Черепановых, д.56
Телефоны: (095) 156 86 70, 154 30 40**

S T A N I S L A W
L E M

